



Антология Сатиры и Юмора России

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Михаил Зощенко



Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века



Пётр Петрович имену
подорожане рукавом и сказа
— А я, братицы мои, не люблю
А в особенности не нравятся
Главная причина — я ихнюю
вижу. А князь идеалогиз
каким повстречуется. Да
Я сам тут не жилось не
на догери отставного мурз

А это так вышло.

Был я, конечно, в то вре
мя в камере донс дворян.
Анна Ефимовна Зерина
кутила. Ане что? Бо

два раза подряд, выпер
ли:

но доб, которые в шляпках.
из них аристократии.

и положено каскромь
это своему кавалеру,
по утрам зная. Не спавше.
одной такой аристократки
иного контер-адмирала.

и не комитетники. А

~~и не~~. По домовою книжке -
а, 19 лет, дворянка.

Бог знает я не видел?

Петр Петрович икнул
подерожек рукавом и сказал
— А я, братицы мои, не злоба
А в особенности не крава
Главная прилика — я икну
кну. А икну идеологи
какая повстречуется.
Я сам тут не жмулся
на догери отставного

А это так вышло.

Был я, конечно, в то
время в нашей доме девица.
Анна Викторовна Зирин
ну была. Ане это



Антология Сатиры и Юмора России XX века



Мих. Завенко

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Михаил Зощенко

«ЭКСМО» 2005

УДК 82-7
ББК 84(2 Рос-Рус)6-7
3 78

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Михаил Зощенко

Серия основана в 2000 году



С июня 2003 г. за создание «Антологии Сатиры и Юмора России XX века» издательство «Эксмо» — лауреат премии международного фестиваля «Золотой Остап»

Редколлегия:

Аркадий Арканов, Никита Богословский, Владимир Войнович,
Игорь Иртеньев, проф., доктор филолог. наук Владимир Новиков,
Лев Новоженев, Бенедикт Сарнов, Александр Ткаченко,
академик Вилен Федоров, Леонид Шкурович

Составление тома, предисловие и комментарии Б. М. Сарнов

Редколлегия и издательство «Эксмо» благодарят
издательство «Лимбус Пресс» за предоставленные права
на издание тома М. М. Зощенко

Главный редактор, автор проекта Ю. Кушак

Дизайн обложки А. Мусин

В оформлении переплета использован шарж художника
Б. Б. Малаховского (1935 г.)

Зощенко М.

3 78 Антология Сатиры и Юмора России XX века. Том 39. —
М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 784 с., ил.

УДК 82-7
ББК 84(2 Рос-Рус)6-7

ISBN 5-699-09648-5 (т. 39)
ISBN 5-04-003950-6

© Ю. Н. Кушак, составление, 2005
© ООО «Издательство «Лимбус Пресс»;
М. Зощенко, наследники, 2005
© ООО «Издательство «Эксмо», 2005

Содержание

Предисловие	13
Бенедикт САРНОВ. Свифт, принятый за Аверченко.	22
Автобиография	25
ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ	25
От составителя	27
От автора	30
1. Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин попугая на хлеб менял	31
2. Рассказ о том, как у Семена Семеныча Курочкина ложка пропала	34
3. Рассказ о герое германской кампании	37
4. Рассказ о том, как Семен Семеныч в Лугу ездил	38
5. Рассказ о том, как Семен Семеныч в аристократку влюбился	41
6. Рассказ о том, как Семен Семенович в квартире электричество провел	44

7. Рассказ о том, как Семен Семеныч Курочкин встретил Ленина 46
8. Рассказ о медике и о медицине 48
9. Рассказ о том, как Семен Семеныч Курочкин работал у барона Некса 51
10. Рассказ о том, как Семен Семеныч перестал в бога верить 54
11. Рассказ о колдуне 58
12. Рассказ о собаке и о собачьем нюхе 60

ПАРОДИИ 63

- От составителя 65
- На Виктора Шкловского 67
- На Всеволода Иванова 69
- На Корнея Чуковского 71
- На себя 73

НАД КЕМ СМЕЕТЕСЬ? 75

(Рассказы 20-х годов)

- От составителя 77
- Чищий 79
- Агитатор 81
- Беда 83
- Жертва революции 87
- Приятная встреча 90

Жених	93
Счастье	97
Любовь	100
Фома неверный	103
Пациентка	106
Исповедь	109
Богатая жизнь	111
Случай в провинции	115
Полетели	120
Каторга	123
Обезьяний язык	126
Ошибочка	128
Туман	130
Крестьянский самородок	132
Насхальный случай	135
Пассажиры	137
Неприятность	140
Стакан	142
Иностранцы	145
Землетрясение	147
Больные	151
Бочка	153
Нервные люди	155
Колпак	158
Операция	160
Зубное дело	162
Медицинский случай	164
Веселенькая история	167
Тримаса нэпа	170

Мещанский уклон 172

Прелести культуры 174

Лимонад 177

Часы 179

Рабочий костюм 181

Гости 184

Монтер 187

Прискорбный случай 189

Пушкин 191

Качество продукции 194

Бешенство 197

Закорючка 199

ТЕАТР 201

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 203

Преступление и наказание.
(Комедия в одном действии) 204

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 219

(Рассказы 30-х и 40-х годов)

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 221

Западня 223

Врачевание и психика 227

Какие у меня были профессии 232

Грустные глаза 241

Водяная феерия 245

Слохая жена 249

Огни большого города 253

История болезни	258
В трамвае	263
Спи скорей	266
Опасные связи	270
Нарусиновый портфель	274
В пушкинские дни	280
Сердца трех	287
Шумел камыш	292
Клинический случай	295
Мудоед	299
Роза-Мария	303
Последняя неприятность	307
Поминки	311
Научная аномалия	315
Рогулька	319
Фотокарточка	322
Приключения обезьяны	326

Рассказы о Ленине 333

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	335
В парикмахерской	337
Ленин и часовой	340
Ленин и печник	342

Сентиментальные повести 345

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	347
Предисловие к первому изданию	349
Предисловие ко второму изданию	350
Предисловие к третьему изданию	351

Предисловие к четвертому изданию	351
<i>Коза</i>	353
<i>Страшная ночь</i>	373
<i>Голубая книга</i>	391
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	393
<i>М. Горькому</i>	395
<i>Предисловие</i>	396
<i>Деньги</i>	399
<i>Рассказы о деньгах</i>	423
<i>Послесловие</i>	456
<i>Любовь</i>	458
<i>Рассказы о любви</i>	479
<i>Послесловие</i>	512
<i>Коварство</i>	514
<i>Рассказы о коварстве</i>	541
<i>Послесловие</i>	570
<i>Неудачи</i>	572
<i>Рассказы о неудачах</i>	602
<i>Послесловие</i>	638
<i>Удивительные события</i>	641
<i>Послесловие</i>	672
<i>Приложение к пятому отделу</i>	673
<i>Послесловие ко всей книге</i>	691
<i>Прощание с философом</i>	692
<i>Прощание с читателем</i>	695
<i>Зощенко о себе</i>	697
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	699

О себе	700
О себе, об идеологии и еще кое о чем	702
О себе, о критиках и о своей работе	703
Из «Возвращенной молодости».	
А.М. Горькому	707
Л.В. Нишину	710
И.В. Сталину	711
В.К. Кетлинской	714
А.А. Фадееву	714
Я.Я. Акимову	715
К.А. Федину	716
В.А. Лифшицу	720
К. А. Федину	721
В.Е. Ардову	723
К.И. Чуковскому	724
К. А. Федину	724
Ненаписанный рассказ Зощенко	726
В секретариат ЛО ССП	730
К.И. Чуковскому	731

Письма, документы, свидетельства современников

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ	735
Вера ЗОЩЕНКО. Из дневника	736
Вера ЗОЩЕНКО. Кусочки автобиографии	737
Корней ЧУКОВСКИЙ. Из дневника	739
Сильва ГИТОВИЧ. Из воспоминаний	740
Из докладной записки секретарям ЦК ВКП(б)	
Г. Маленкову и А. Жданову	741

Докладная записка секретаря Ленинградского горкома ВКП(б) по пропаганде и агитации А. Маханова Секретарю ЦК ВКП(б) А. Жданову	742
Резолюция А. Жданова	742
Справка МГБ СССР на писателя Зощенко Михаила Михайловича	742
Всеволод ВИШНЕВСКИЙ. Из беседы с американскими журналистами	745
Сильва ГИТОВИЧ. Из воспоминаний	747
Константин СИМОНОВ. Из статьи «Об Иване Алексеевиче Бунине»	748
Сильва ГИТОВИЧ. Из воспоминаний	748
Из записки Ленинградского обкома КПСС...	749
Сильва ГИТОВИЧ. Из воспоминаний	750
Товарищ Зощенко бьет на жалость (Из книги Б. Сарнова «Перестаньте удивляться»)	751
Выписка из стенограммы заседания президиума ССП от 23.6.1953 г. о приеме в Союз	754
В.В. Зощенко — Л.Н. Тыняновой	758
К. Чуковский. Из дневника	760
Л.К. Чуковская — К.И. Чуковскому	761
К.И. Чуковский — М.М. Зощенко	761
Лидия ЧУКОВСКАЯ. Из книги «Записки об Анне Ахматовой»	762
Конст. ФЕДИН. Из книги «Горький среди нас»	764
Конст. ФЕДИН. Из дневника	765
Л. Пантелеев — Л.К. Чуковской	766
Л. Пантелеев — Л.К. Чуковской	770
Валерия Герасимова. Из дневника	770
ДОН-АМИНАДО. Поезд на третьем пути	771
ПРИМЕЧАНИЯ	773

Свифт, принятый за Аверченко

Лет сорок тому назад три критика — Лазарь Лазарев, Станислав Рассадин и автор этих строк — сочинили пьесу, предназначенную для Московского театра сатиры. Художественный руководитель этого театра Валентин Плучек очень хотел поставить Зощенко. Ничего удивительного в этом его желании не было: Зощенко в те годы, несмотря на все выпавшие на его долю гонения, почитался классиком советской сатиры, и, как говорится, сам бог велел ставить его на сцене театра, именуемого Театром сатиры.

Проще всего, конечно, было бы взять для постановки какую-нибудь его пьесу. Но пьесы этого писателя не шли ни в какое сравнение с его прозой. И Плучек решился на смелый эксперимент: предложил инсценировать прозу Зощенко не профессиональному драматургу (скажем, Григорию Горину), а трем литературным критикам, о которых ему только и было известно, что они — пламенные поклонники таланта Михаила Зощенко и более или менее прилично знают все им написанное. Мы вдохновились заманчивым предложением театра, и пьеса была сочинена.

В финальной сцене, помню, мы использовали рассказ про старичка, который заснул летаргическим сном, а все думали, что он умер. Возникла большая суматоха, старичка никак не могли похоронить: то не могли найти катафалка, то не было лошадей. Когда же наконец и катафалк и лошади нашлись, старичок «воскрес». Но в его «воскресении» никто не поверил, и приехавшие похоронщики, а также соседи по коммуналке, где все это происходило, потребовали, чтобы старичок подал голос. Не отличаясь, как пишет Зощенко, большой фантазией, старичок сказал:

— Хо-хо!

Когда мы прочли нашу пьесу на труппе и артистам предложено было высказаться, наступило долгое молчание. Мы похлодели, решив, что это — провал. Но длинная томительная пау-

за была наконец прервана репликой молоденькой хорошенькой актрисы, сидевшей в первом ряду. Она сказала:

— Хо-хо!

Напряжение было снято. Все рассмеялись, и пьесу в один голос стали хвалить.

Реплика актрисы оказалась, однако, пророческой.

Пьеса была одобрена, принята к постановке, вот-вот уже должны были начаться репетиции. Но тут вдруг разразилась непредвиденная катастрофа.

Как раз в это время молодой Марк Захаров поставил на сцене Театра сатиры спектакль «Доходное место». Спектакль этот оказался до такой степени злободневным, все происходившее на сцене так крепко и точно «рифмовалось» с нашей тогдашней жизнью, что старая пьеса А.Н. Островского наделала шуму куда больше, чем столетие назад, когда она впервые была представлена на сцене Александринского театра. Пьеса игралась чуть ли не в современных костюмах. Во всяком случае, в костюмах, не слишком отличающихся от современных. И Аристарх Владимирович Вышневецкий в исполнении Георгия Павловича Менглетта куда больше походил на какого-нибудь номенклатурного работника ЦК КПСС, нежели на русского чиновника середины прошлого века.

Скандал разразился грандиозный. Екатерина Фурцева, бывшая тогда министром культуры, просто билась в истерике. Кажется, именно тогда и стало мелькать это знаменитое слово, надолго определившее мрачную атмосферу нашей художественной жизни: «аллюзии». Было даже, если не ошибаюсь, специальное постановление, предусматривавшее, как именно следует интерпретировать творения классиков, дабы не возникало у зрителя вот этих самых «аллюзий».

О том, чтобы после такого скандала ставить на сцене того же театра нашу пьесу, само собой, уже не могло быть и речи: она вся, от начала и до конца, была — сплошная аллюзия.

Речь (в лучшем случае) могла идти только о том, чтобы заплатить ни в чем не повинным авторам причитающийся им скромный гонорар.

Но и это тоже оказалось совсем не просто.

— Понимаете, — сказал нам Глущек, — договор у вас с театром. Но деньги платит министерство. Мы вам заплатить не можем. Поэтому вы подайте на нас — то есть на театр — в суд. Театр этот судебный процесс, разумеется, проиграет, и тогда вы получите свои деньги.

Судиться с театром нам, понятное дело, не хотелось. Но Плучек убедил нас, что все это — чистейшей воды формальность. И мы согласились.

Оказалось, однако, что суд вовсе не склонен был превращаться в простую формальность. Адвокат, представлявший интересы театра, отнесся к своей миссии весьма ревностно. Он тщательно изучил не только злополучное постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой и не только знаменитый доклад Жданова, но и всю критическую литературу тех незабвенных лет, когда Зощенко именовали подонком, злопыхателем, очернителем, клеветником и другими словечками того же смыслового и стилистического ряда.

Но эти словечки мелькали только на первом этапе — когда дело слушалось в народном суде. Убедившись, что весь этот джентльменский набор в новой исторической ситуации уже не очень действует, и потерпев в связи с этим сокрушительное поражение, к следующему акту драмы — слушанию дела в городском суде — адвокат решил изменить тактику. Теперь он уже говорил о Зощенко как о замечательном советском писателе, не скупился на комплименты не только в его, но даже и в наш адрес. Да, говорил он, Зощенко — классик советской литературы, выдающийся наш сатирик. И авторы пьесы добросовестно и даже талантливо инсценировали его рассказы. Но их постигла творческая неудача, потому что сегодняшняя наша жизнь не имеет решительно ничего общего с той, которую изображал в своих произведениях этот писатель.

— Ведь мы теперь живем совсем иначе! — то и дело повторял он. Это был как бы постоянный рефрен, пронизывающий всю сложную систему его аргументов.

Что рисовал Зощенко в своих сатирических рассказах? Какие картины он изображал? Он изображал узкий мещанский мирок, темных, невежественных и диких людей. Он был правдивым бытописателем эпохи нэпа. Но сегодня, сейчас мы живем совсем в другой действительности. И жизнь наша ничуть не похожа на ту, которую описывал Зощенко.

— Разве духовный мир современного советского человека так жалок и убог? — патетически восклицал он. — И разве наши люди говорят сегодня таким корявым, уродливым, безграмотным языком?

Зощенко был замечательным писателем, — сказал он в заключение. — Но произведения его не выдержали испытания временем. Сегодня они имеют для нас лишь историческую ценность как отражение быта и нравов давно минувшей эпохи. Что

же касается сегодняшнего, духовно и интеллектуально выросшего советского зрителя, то для него Зощенко безнадежно устарел.

Речь адвоката несколько затянулась, и судья, извинившись перед нами, объявил, что слушание нашего дела будет продолжено несколько позже, а пока он просит нас подождать: суду предстоит заслушать другое дело, не такое сложное, как наше. Мы же, если хотим, можем не покидать зал судебного заседания.

Посоветовавшись, мы сперва хотели было выйти погулять, но как-то замешкались — и остались в зале.

* * *

Вся эта история — то, что театр хочет заплатить нам деньги, но не может, предложение руководителя театра, чтобы авторы, которым он симпатизирует, подали на него в суд, — все это уже само по себе представляло довольно яркую сцену в том театре абсурда, создателем которого был Михаил Зощенко. Но та сцена, свидетелями которой мы стали после этого объявления судьи, была уже до такой степени зощенковской, что невольно приходила в голову мысль: а не подстроил ли, не спланировал ли все это судья нарочно?

Суть разбираемого нового дела была такова.

Истец и ответчик жили в одном доме. Кажется, даже в одном подъезде. Но истец, в отличие от ответчика, был обладателем «Москвича», который за неимением гаража оставлял прямо у подъезда, как раз под окнами ответчика. Ответчика это возмущало. Как выяснилось по ходу дела, возмущало его даже не столько то обстоятельство, что автомобиль соседа ему мешал, как то, что он занял место, где ответчик мог бы ставить свой собственный автомобиль — в том случае, если бы он у него был.

— Но ведь у вас, насколько я понимаю, автомобиля нет? — спрашивал его судья.

— Пока нет. Но я стою в очереди на «Фиат». — отвечал тот. (Вошедшие позже в наш повседневный быт слова «жигуль», «Лада», «шестерка» и т.п. тогда еще не были в ходу.)

Итак, ответчик был до глубины души возмущен тем, что истец своим стареньким «Москвичом» занял то место, которое он мысленно уже запланировал для своего будущего новенького «Фиата». Возмущение это разрешилось тем, что он облил машину истца чернилами. Между соседями произошла по этому поводу небольшая перепалка. Но истец не внял этому предостере-

жению: его «Москвич» по-прежнему стоял под окнами ответчика, всем своим гнусным непрезентабельным видом отравляя ему жизнь.

И тогда ответчик решился на крайнюю меру. Под покровом ночной темноты он старательно обмазал машину истца фекалиями. (Именно это деликатное выражение употреблял судья. Истец пользовался другим, более употребительным и общепонятным выражением, что время от времени вынуждало судью призывать его к порядку.)

Поступок ответчика был, конечно, из ряда вон выходящим. Но тут надобно принять в расчет, что совершен он был, как выражался в таких случаях писатель Зощенко, в минуту сильного душевного волнения.

Короче говоря, перед нами разыгралась драма в совершенном зощенковском духе. С той, правда, разницей, что в речи ее действующих лиц то и дело мелькали слова и понятия, зощенковским героям неизвестные:

— Я тогда как раз сдавал кандидатский минимум, — объяснял свои сложные жизненные обстоятельства истец.

— Я стою в очереди на «Фиат», — отстаивал свои позиции ответчик.

Безусловно, это был он — бессмертный зощенковский герой. Но как, однако, он вырос! Какой приобрел лоск! Как изменились его потребности и весь образ его жизни! Какие, наконец, слова он научился произносить!

* * *

Сегодня этот наш старый знакомец вновь изменил свое обличье. И одевается иначе, не так, как сорок лет тому назад. И слова произносит другие, прежде в его устах совсем немыслимые: «ваучер», «акция», «приватизация», «презентация», «референдум». Наблатыкался — будь здоров! Может загнуть даже что-нибудь и похлеще: «саммит», «консенсус», «парадигма». Кандидатский минимум, «Фиат» — это все детские игрушки, из которых он давно вырос. Нынче он — член-корреспондент, а то и полный академик. Или — бери выще! — бизнесмен, депутат, «сенатор», «спикер». Но суть его осталась неизменной. Изменился только фон, на котором разворачивается панорама сегодняшнего его бытия. Ну и соответственно его представления о ценности окружающих его предметов материального мира.

В те времена, когда этот бессмертный зощенковский герой только еще выходил на историческую арену, наивысшей ценно-

стью, предметом самых страстных, самых жгучих его вожделений были дрова. Один зощенковский рассказ, повествующий об этом вожделенном предмете, так прямо и называется: «Дрова». И предпослан ему соответствующий эпиграф:

И не раз и не два
Вспоминаю святые слова —
Дрова.

(А. Блок)

А история с героем этого рассказа приключилась такая.

Он подарил своей золовке Лизавете Игнатьевне в день ее рождения вязанку дров. За что слегка поплатился:

«Петр Семеныч, супруг ейный, человек горячий и вспыльчивый, в конце вечера ударил меня, сукин сын, поленом по голове.

— Это, — говорит, — не девятнадцатый год, чтобы дрова преподнесь».

Но дальнейшее развитие событий подтвердило, что Петр Семеныч был не прав. Хотя дело происходило не в девятнадцатом году, а несколько позже, дрова все еще продолжали оставаться огромной ценностью. И, как всякая крупная материальная ценность, постоянно подвергались опасности быть украденными:

«Вор на дрова идет специальный. Карманник против него — мелкая социальная плотва. Дровяной вор — человек отчаянный. И враз его никогда на учет не возьмешь».

Короче говоря, постоянно пропадали у героя рассказа и у его соседей дрова. Каждый день — три-четыре полена недочет. Они уже по ночам и караул выставляли, по очереди, ничего не помогало. Исчезали дрова — и все тут.

«И проходит месяц, и заявляется ко мне племянник мой Мишка Бочков.

— Я, — говорит, — дядя, как вам известно, состою в союзе химиков. И могу вам на родственных началах по пустыковой цене динамитный патрон всучить. А вы, — говорит, — заложите патрон в полено и ждите. Мы, — говорит, — петрозаводские, у себя в доме завсегда так делаем, и воры оттого пугаются и красть остерегаются. Средство, — говорит, — богатое. Берите.

— Неси, — говорю, — курицын сын. Сегодня заложим.

Приносит.

Выдолбил я лодочку в полене, заложил патрон. Замуровал. И небрежно кинул полешко на дрова. И жду, что будет.

Вечером произошел в доме взрыв.

Народ смертельно испугался — думает, наводнение, а я-то знаю, и племянник Мишка Бочков знает, в чем тут запятая. А запятая — патрон взорвал в четвертом номере, в печке у Сереги Пестрякова.

Жертва была одна. Серегин жилец — инвалид Гусев — помер с испугу. Его кирпичом по балде звездануло.

А сам Серега Пестряков и его преподобная мамаша и сейчас живут на развалинах.

Ситуация вполне актуальная, не правда ли? Только в наши дни «патроны» закладывают уже не в поленницу, а в более серьезные объекты. Взрывают «Мерседесы», магазины, рынки, жилые дома.

Нет, ей-богу, не так уж изменились зощенковские Мишка Бочков и Серега Пестряков. Изменились их возможности. Ну и соответственно аппетиты.

Но это Зощенко отчасти предвидел. «Я, — говорил он, — пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере, сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех отношениях».

Вот они и повысились. Во всех отношениях.

* * *

«Человек — животное довольно странное. Нет, навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй что, в этом вопросе слегка заврался. Очень уж у человека поступки — совершенно, как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, знаете, сходства с животным миром».

Это рассуждение, которым начинается один из коротких зощенковских рассказов, могло бы предварять буквально каждую рассказанную им историю, каждую воспроизведенную им беседу, каждую изображенную им сцену. Потому что во всех своих рассказах Зощенко изображает не «управдома», «монтера», «молочницу», «продавщицу», «зубного техника», не отдельных особей пестрого человеческого зверинца, а — человека вообще. Его интересуют не отдельные виды и подвиды разнооб-

разных человеческих типов, профессий, занятий, социальных категорий, а именно человек — это «довольно странное животное», которое всем своим поведением так разительно отличается от других представителей животного мира, что «наверяд ли оно произошло от обезьяны».

Вот как изъясняется типичный зощенковский персонаж, постоянно изображаемый им обыватель, жилец коммунальной квартиры, учинивший драку с соседями из-за «ежика», забытого ныне приспособления для чистки примуса:

«— Я, — говорит, — ну ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, — говорит, — покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, — говорит, — на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться» («Нервные люди»).

А вот как рассуждает у него императрица Екатерина Великая о своей сопернице княжне Таракановой:

«— Она выдает себя, между прочим, за дочку Елизаветы Петровны. Или, может быть, это действительно ее дочка. Только она метит на престол. А я этого не хочу. Я еще сама интересуюсь царствовать» («Голубая книга»).

Рассмотрев в своей «Голубой книге» всю многовековую историю человечества, Зощенко пришел к грустному выводу, что за тысячелетия своего исторического существования человек, в сущности, не изменился. Остался таким же, каким был десять, двадцать, тридцать, сорок веков тому назад.

«Может быть, единственно научились пшибче ездить по дорогам. И сами бреются. И радио понимать умеют. И стали летать под самые небеса. И вообще — техника».

Неприглядность мировой истории для Зощенко состоит не в том, что вся она до краев наполнена кровью, грязью, преступлениями. Во всяком случае, не только в этом.

Все дело в чудовищной примитивности и столь же чудовищном постоянстве тех пружин, которые двигали и двигают людьми на протяжении всего их исторического существования. Куда бы ни направлял зощенковский рассказчик свой взгляд, всюду ему видится лишь один, единственный стимул человеческого поведения: желание ухватить, а ухватив, не отдать друго-

му какой-нибудь лакомый кусок. Кусок может быть побольше или поменьше. Это может быть «ежик» для чистки примуса. А может быть — огромная империя, простершаяся «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». Суть дела от этого не меняется.

* * *

Зоценко был признанным главой сатирического цеха советской литературы. Все признавали, что он на голову выше своих собратьев по цеху — Виктора Ардова, Леонида Ленча, Ефима Зозули... Некоторые его поклонники шли гораздо дальше, уверяя, что Зоценко превзошел самого «короля смеха», неподражаемого и непревзойденного Аркадия Аверченко. Но никому — даже из самых близких его друзей — не приходило тогда в голову, что Михаила Зоценко следует сравнивать не с Ардовым и Ленчем, талантливо «продергивающими» в своих фельетонах хулиганов и пьяниц, и даже не с Аверченко, а — с Гоголем, с Достоевским...

Случилось мне как-то заговорить на эту тему с одним литератором старшего поколения, сверстником Михаила Михайловича. Ничего такого уж особенного он мне не сообщил. Беседа текла вяло, и я слушал своего собеседника, как говорится, вполуха. Но вдруг одна его фраза заставила меня встрепенуться.

Впрочем, это сказано слишком слабо. Впечатление, которое эта фраза на меня произвела, можно сравнить только с молнией, вдруг осветившей непроглядную тьму

Фраза была такая:

— Зоценко — это Свифт, которого приняли за Аверченко.

Мой собеседник, произнесший эту реплику, ни в коей мере не пытался выдать ее за свою. Он, по-моему, даже не придавал ей особого значения. На мои попытки установить, кто же автор этого блистательного афоризма, он так и не мог дать внятного ответа.

Позже кто-то мне сказал, что формула эта принадлежит Матвею Бронштейну, талантливому физику, арестованному в 1937 году и погибшему в сталинских застенках.

Если это действительно так, если это — поразительное по глубине и точности — определение действительно принадлежит не писателю, не критику, не литературоведу, а физику, — нам, литераторам, остается только сгореть со стыда.

Автобиография

Я начал писать рассказы,

когда мне было девять лет.

До 25 лет я писал изредка. Иной раз не писал годами. Но стремление к литературной работе было почти всегда.

Стало быть, я имел за плечами пятнадцатилетний опыт, когда после революции начал работать как профессионал.

Я сразу столкнулся с труднейшей задачей — писать для новой страны, для новых, еще неизвестных читателей.

Судя по письмам, которые я получал, многие думали, что я пишу с необычайной легкостью, просто так, как поет птица. Как Маяковский говорил: «Разжал уста и вот — пожалуйста».

Это, конечно, было далеко не так.

Обычно, правда, я писал рассказы легко. Но по временам, когда я искал новую форму или новый жанр, — я сталкивался с необычайными трудностями. Такие, например, трудности мне пришлось одолеть в начале моей работы.

Первые мои литературные шаги после революции были ошибочны. Я начал писать большие рассказы в старой форме и старым, полустертым языком, на котором, правда, и посейчас еще иной раз дописывается большая литература.

Только через год, пожалуй, я понял ошибку и стал перестраиваться по всему фронту. Эта ошибка была естественна. Я родился в интеллигентной семье. Я не был, в сущности, новым человеком и новым писателем. И неко-

торая моя новизна в литературе была целиком моим изобретением.

Мне много пришлось поработать над языком. Весь синтаксис надо было круто менять, чтобы сделать литературную вещь простой и доступной новым читателям. Доказательством того, что я не ошибся, были очень высокие тиражи моих книг. Стало быть, язык, который я взял и который на первых порах казался критике смешным и нарочно исковерканным, был, в сущности, чрезвычайно простым и естественным.

Возможно, конечно, что в этом деле я несколько преувеличивал. Но искусство всегда преувеличение. Иначе получается фотография.

Работу над языком я продолжаю. Кое-что в дальнейшем уберу, кое-что приглажу. В общем, это будет одна из основных задач моей будущей работы.

О будущей своей работе говорить сейчас несколько затруднительно. У меня были большие сомнения, что именно сейчас нужно.

Я был отчасти сбит с толку кучей статей и статейек, которые чего только не требовали от писателя. Одни требовали, чтоб писатель писал главным образом о производстве, другие желали видеть писателя фельетонистом стенной газеты. Третьи говорили, что все «проклятые вопросы» уже решены или решаются руководящими органами и писатель должен истолковывать распоряжения правительства. Это, конечно, не так.

Роль писателя в социалистической стране именно такая же, какая она была и всегда. Писателю, в силу профессионального умения думать и разбираться во всех вопросах, дана исключительная способность видеть многие вещи, которые могут ускользнуть от обычного взгляда.

Итак, будущую свою работу я мыслю, конечно, в прежнем плане — сатира, сатира, осмеивающая человеческие недостатки. Ведь сколько я мог заметить, все недочеты и неудачи, которые бывают в наши дни, упираются главным образом в недочеты человеческой натуры — в глупость, халатность, леность, эгоизм, кбрысть и преступность.

Сатирику хватит еще работы надолго.

Теперь несколько слов о моей личной жизни. Родился в Ленинграде (Петербурге) в 1895 году. В семье художника.

Окончил гимназию. Учился два года в университете на юридическом факультете.

В 14-м году пошел добровольцем на фронт. (Скорей из любопытства, чем из патриотических чувств.)

Был ранен и отравлен газами.

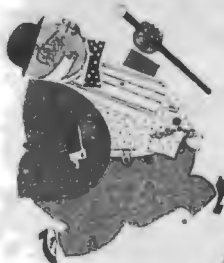
До 17-го года был на фронте. С 17-го по 19-й год был секретарем суда, комендантом почт и телеграфа в Ленинграде, инструктором по кролиководству и куроводству в Смоленской губернии, телефонистом пограничной охраны в Стрельне и Кронштадте. В 19-м году пошел добровольцем на фронт, хотя и был освобожден от воинской повинности по болезни сердца.

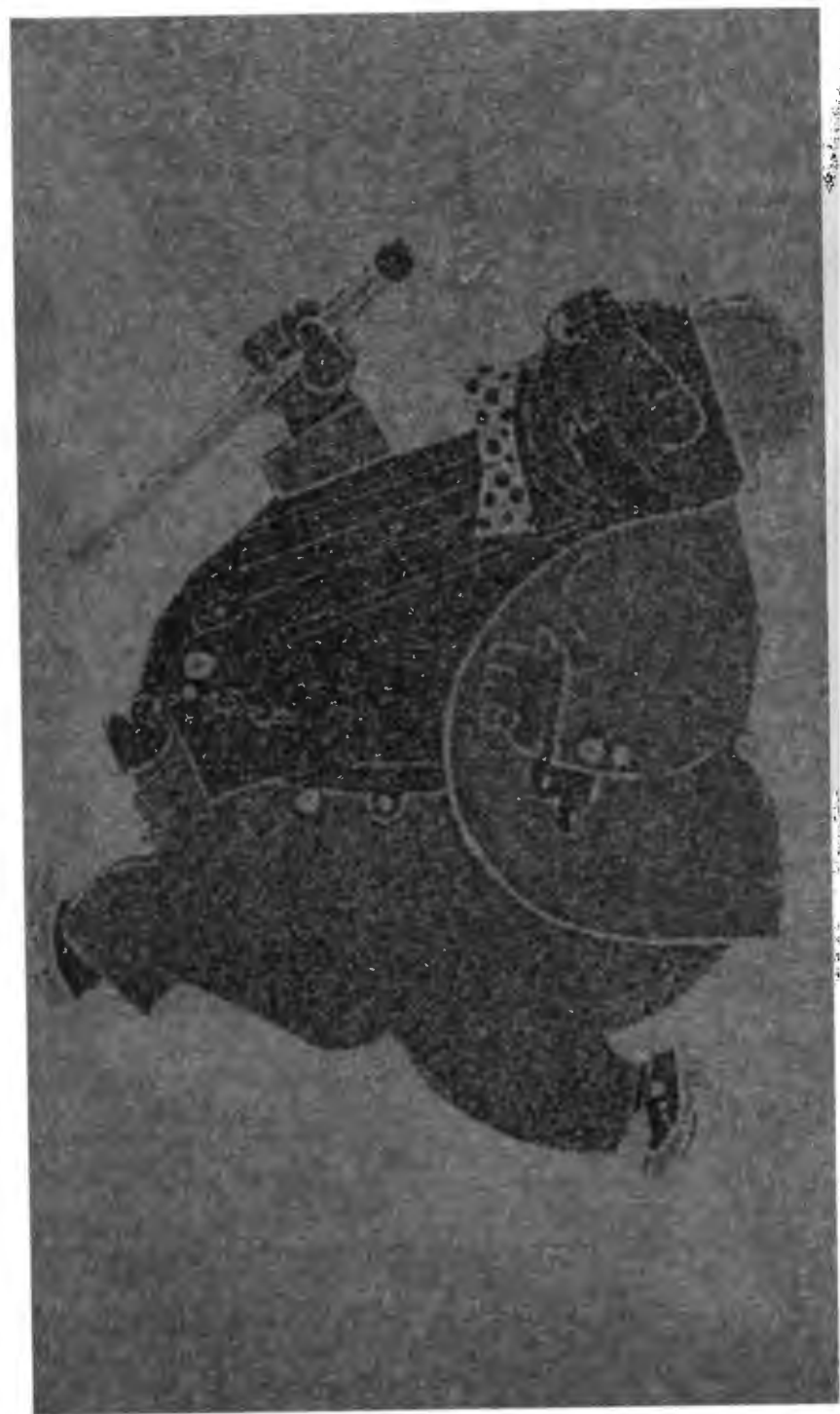
Пробыл в Красной Армии на Нарвском фронте шесть месяцев.

С 20-го по 22-й год переменял много профессий. Был агентом уголовного розыска, служил в милиции, был конторщиком, делопроизводителем и т. д. Изучил несколько ремесел — столярное, сапожное и пр.

С 20-го года начал писать. С 22-го работаю исключительно в литературе. Последние два года имел много общественной работы, по каковой причине и писал редко.

Веселые рассказы





От составителя

В полном объеме этот цикл публиковался только однажды (в сборнике «Веселая жизнь». Л., Госиздат, 1924). Во всех последующих изданиях Зощенко его разрушил, а лучшие и самые известные рассказы, первоначально входившие в этот цикл («Аристократка», «Собачий нюх», «Барон Некс» и др.), всегда печатал отдельно.

Наверняка у него для этого были достаточно веские основания.

И тем не менее я решил представить здесь этот цикл в том виде, в каком он сложился у автора первоначально.

Дополнительным оправданием этого решения послужило еще и такое соображение. Книжки Зощенко 20-х и даже 30-х годов давно уже стали библиографической редкостью. Сейчас они стремительно исчезают: даже в главной библиотеке страны в отделе редких книг сохранились не все тома первого — шеститомного — собрания сочинений Зощенко 1929—1932 гг.

Но главным для меня тут было не это.

Согласно существующим правилам, при выборе окончательного (так называемого — канонического) текста публикуемого писателя решающую роль должна играть последняя воля автора, выраженная в последнем прижизненном издании.

Принцип этот всегда казался мне сомнительным, во всяком случае, неприменимым «в условиях нашего климата». Ну а уж по отношению к Зощенко применение этого текстологического принципа было бы просто убийственным. И дело тут даже не в том, что последние его прижизненные издания подвергались особенно зверской политической цензуре после печально знаменитого по-

становления ЦК. Никак не меньший урон был нанесен зощенковским текстам цензурой эстетической.

Из всех художественных красок, которыми щедро пользовался в своей работе писатель Михаил Зощенко, более всего пострадала именно та, которая всегда была для него главной, определяющей: язык. Едва ли не каждый редактор норовил выправить ту или иную зощенковскую фразу, чтобы она звучала более литературно, более «прилично», более грамотно. В результате едва ли не каждое последующее прижизненное издание Зощенко в текстологическом отношении оказывалось хуже предыдущего.

Вот несколько примеров, взятых почти наугад.

Если в ранних изданиях зощенковский герой жаловался на официантов, что они «подают худо», то в более поздних эта реплика превращается в безликую: «подают плохо». «В середке» заменяется на «в серединке», «остатние» — на «остальные», «шляешься» — на «ходишь».

Зощенко пишет: «Кажси, — говорю, — товар!» Редактор заставляет поправить: не «кажси», а — «покажи». Зощенко пишет: «Приходит она на кухню, становит примус перед собой и разжигает». Редактор поправляет: не «становит», а — «ставит». Зощенковский герой рассказывает: «Я прошу православных граждан потесниться, а они не хочут». Редактор правит: «не хотят», словно дело происходит в пансионе для благородных девиц.

В одном зощенковском рассказе была такая фраза:

«Сидит в безбелье у Катюши и треплется. И мысли вслух выражает...»

Выражение «в безбелье» зощенковский герой, как легко можно догадаться, слепил из слышанного где-то «дезабилье», понятого им по-своему. Слепил, надо сказать, довольно удачно. Во всех поздних изданиях мы, конечно, читаем: «в дезбелье».

В ранних изданиях один зощенковский герой говорил о своей больной жене, что она «брендит», тоже довольно удачно слепив этот «неологизм» из плохо расслышанного «бредит» и явно более ему знакомого глагола «сбрендил». В поздних изданиях жена этого зощенковского героя, конечно, уже не «брендит», а — «бредит».

Все эти изменения не просто ухудшали, обедняли художественную ткань зощенковских рассказов. Они посягали на самые основы созданного писателем художественного мира.

Именно поэтому, приступая к работе над составлением этого тома, я сразу решил для себя, что буду ориентироваться на самые первые, ранние издания книг писателя.

Веселые рассказы

От автора

Есть у меня дорогой приятель

Семен Семеныч Курочкин. Превосходнейший такой человек, весельчак, говорун, рассказчик.

По профессии своей он не то слесарь, не то механик, а может быть, и наборщик — неизвестно мне в точности. Про свое ремесло он не любил рассказывать, а имел видимую склонность и пристрастие к сельскому хозяйству и огородничеству.

Бывало, у нас в Гавани целые дни на огороде копается. То, представьте себе, картофелину на восемь частей режет и сажит так, то на четыре части, то целиком, то шелуху сажит. И поливает после разными водами: речной, стоячей, с примесью какой-нибудь дряни... Чудак-человек! Все ожидал от опытов своих замечательных результатов. Да только пустяки выходило. Осенью картофель копать стал — курам, ей-богу, на смех — мелочь, мелкота, горох...

Смеялись тогда над ним.

Ну да не в этом дело. Был он, вообще, любопытный человек, а главное — умел рассказывать веселые истории.

Бывало, ночью сойдутся к нему дежурные со всех огородов, а он костер разведет и начинает вспоминать про всякое. И все у него смешно выходило. Иной раз история такая трогательная — плакать нужно, а народ от смеха давится, так он комично умел рассказывать.

Да. Плохое дежурство при нем было. Иной раз утром глядишь: на одном огороде два мешка картофеля сперли, на другом турнепс вырыли...

А рассказывал он любопытно. Я уж и не вспомню всех его рассказов. Тут и про войну, и великокняжеские всякие истории. И про попа Семена. И про то, как мужик один на бывшего царя был похож и что из этого вышло. И про домовладельца одного бывшего. Как шарабан у домовладельца этого реквизировали, а он, распалившись, торжественную клятву дал: не буду, дескать, бриться и волосы не буду стричь, покуда не провалится коммуна в тартарары... И как он, волосатый, побольше четырех лет жил всем на смех, а после, на пятый год, при нэпе то есть, покушал через меру пирожных с кремом и помер от несварения...

Нет! Немыслимо всего вспомнить. Ну а некоторые рассказы я записал.

1. Рассказ о том, как Семен Семеныч Курочкин попугая на хлеб менял

Нынче нам, братцы мои, великолепно житье. Все-таки еда хорошая: щи там или что другое... Мясо опять же. А которым по праздникам бабы, может, и пироги с капустой пекут. Вот оно какое великолепие!

На таких харчах мы, братишки, и позабывать стали, что это за голод такой. Позабывать начали, как это мы голодовали раньше.

А ведь и голодовали же мы, братцы, в свое время! Хлеб был в диковинку. Вспомнить удивительно.

А впрочем, не все, скажем, голодовали. Которые мужички, крестьяне то есть, — неплохо те жили. Все им из города везли: инструмент, и драгоценные изделия, и ценности всякие.

Уж и поклонялся же город деревне. Поклонялись городские мужичкам. А и шельма же, братцы, мужичок наш, полюбовно будет это сказано! Ах ты, шельма какая!

Баба моя — кокетка, надо сказать, — зеркало повезла раз в деревню. Небольшое такое зеркальце, но вблизи, скажем, рожу всю видно. Повезла, братцы мои. Думала, к празднику мало-мальски пуд мучки сволокет назад. Плакалась еще, дура такая: как это, говорит, тяжесть такую повезу.

Приехала в одну деревню. Куда там!

Часишки, зеркала, рояли — в каждой избе. А тут, извините за выражение, небольшое зеркальце.

Ткнулась баба моя в одну избу — шесть куриных яиц дают. В другую ткнулась — опять шесть куриных. Вот, думает, клюква.

— Куда же, — спрашивает, — мне куриные яйца в дорогу. Дайте хоть крупы какой-нибудь или мучки, что ли. Не дают.

— А нет, — говорят, — за зеркала у нас официальный тариф — на куриные яйца.

Так и вернулась баба моя ни с чем.

Мужик-то, впрочем, один прельстился зеркалом.

— Эх, — говорит, — жалко, что махонькое зеркальце. Я бы, — говорит, — для тебя нарушил бы нормы, дал бы тебе крупой. Ну да неподходящее зеркальце. Мне, — говорит, — такое надо, чтоб и ноги видать было.

И зачем ему, братцы мои, ноги нужно видать?

Ах, шельма какой мужик!

А я вот тоже раз съездил. За Вологду. Смешно вспомнить. Попугая вез.

И ни за что бы я не поехал, да опять-таки баба моя пристала.

Баба моя кокетка, надо сказать, от хлеба с малороссийским салцем нипочем не откажется... Пристала и пристала. Поезжай да поезжай.

Ну и соседи тоже:

— Поезжайте, — говорят, — Семен Семеныч. Вы человек разговорчивый, вкрутите мужичкам.

А мне что? Я и поехал.

А перед отъездом-то разговоры всякие были. Чего везти в деревню. Один говорит: ленты вези, кружева. Другие — ситчик попестрей. Третьи — бусы. Что дикарям, ей-богу.

Пошел я на толкучку. Думаю: куплю-ка, в самом деле, такую вещь, чтобы сразу в рожу кидалась.

Вот и купил, братцы мои, попугая в клетке.

Сидит, представьте себе, на толчке многоуважаемая дама такая (может быть, бывшая графиня) и домашним барахлом торгует. И тут же при ней клетка, а в клетке попка. И сидит эта попка на кольце, качается и орет по-французски: шармант, — что в переводе на русский язык — прелестно, значит.

Вот, братцы мои, я и приобрел птицу эту. То-то, думаю, удивлю деревню.

И удивил, слов нету.

А купил я эту попку за недорого. Хлебом, не помню — восемь, не помню — десять фунтов дал.

И вскоре после того и поехал.

В теплушке ехал. Разговор, помню, поднялся вокруг меня, смех.

— Куда, — спрашивают, — везешь птицу? Зачем?

— Везу, — говорю, — в деревню на хлеб менять. Почему, — спрашиваю, — попугаи в этих местах ходят? В какой цене? Не продешевить чтобы.

Смеются.

— Товар, — говорят, — неизвестный.

Предложил мне тут же какой-то субчик полпуда ядрицы за птицу, да не отдал я.

Приехал в одну деревню. Народ вокруг меня столпился. Хохочут. Ребята тоже хохочут. Прутьями дразнят птицу. Под перья ей дуют.

Ну, думаю, понравился товар.

Принялся я с бабой одной торговаться и совсем было в цене сошелся, да явился какой-то инвалид, что ли. Из армии.

— Стоп, — говорит, — братцы! Обман. Попка это не настоящая. Настоящая попка «дурак» орет, а эта, — говорит, — что-то невнятно произносит.

Ну и смутил сделку, чертов инвалид. Пуд только стала давать баба.

Дальше я пошел.

В одну, в другую деревню — не берут. Хохочут, под перья дуют, а не берут. А которые бы и взяли, да обижаются, зачем «дурак» не произносит.

Два дня мотался я, братцы мои, с птицей, запарился, утомился — сказать невозможно. Прямо бы за полпуда отдал. Но и полпуда перестали давать.

— Вид, — говорят, — у птицы плохой.

А это верно: птица тоже запарилась. Все-таки дорога, да и под перья ей дули, да и ронял я ее раза два.

И вот посоветовал мне один старичок в дальнюю деревню идти. А то, говорит, народ тут при железной дороге балованный, чего хотят — сами не знают.

Вот я и пошел.

А путь дальний. Жара. Пылища в нос бьет. Чересчур я тогда утомился. Вижу, и птица моя утомилась до невозможности. С кольца своего сошла, сидит внизу, нахмурившись, и хлеб не клюет.

Ну, думаю, не скончалась бы раньше времени. Плохой вид. Вот, думаю, глупость какая будет, ежели так.

А сам все нажимаю, все быстрее да быстрее.

И вот пришел к вечеру в нужную деревню.

— Ну, — говорю, — попка, подбодришь.

В одну избу зашел.

— Не нужно ли, — говорю, — попугая?

— Нужно, — говорит мужик. — А почему товар? Покажи.

Стал я ему попку показывать, смотрю: лежит моя птица брюхом кверху, и лапки у ней врозь. Обиделся мужичок.

— Что ж, — говорит, — это ты дохлой птицей торгуешь?

Ох, чуть я не прослезился тогда. Вывалил попку из клетки, клетку бросил.

А мужик хохочет надо мной.

— Перестань, — говорит, — клетку бросать. Я тебе за нее шесть куриных яиц дам.

И дал.

— А жалко, — говорит, — что скончалась птица. Я бы, — говорит, — тебе за нее четыре пуда дал. Мне, — говорит, — очень попугаи нравятся.

К утру назад пошел. И больше в деревню не ездил.

2. Рассказ о том, как у Семен Семеновича Курочкина ложка пропала

Я, братцы мои, человек все-таки хитрый — из хохлов. Кого угодно могу сам одурачить... А вот раз, представьте себе, меня хиромантией одурачили. Гаданием то есть.

Из-за этого гадания я, можно сказать, лишился единственного друга.

Я, конечно, даже рад, что преступник схвачен и добродетель все-таки торжествует, но все же дельце-то неприятное было.

Ох, не нравится мне чтой-то хиромантия. Шарлатанство это, братцы мои, пустяки. Я теперь лучше, ей-богу, бедному десять рублей дам, нежели на гадание истрачу.

А дельце из-за ложки вышло.

И, конечно, человек бедный. Недвижимого имущества у меня нету. А что комод стоит в моей комнатке, то, прямо скажу, не мой это комод, а хозяйский. Кровать тоже хозяйская. А из движимого имущества только у меня и есть что серебряная ложка. И ложка эта, кроме своей ценности, еще приятна мне по своим воспоминаниям. Бабушка покойная мне эту ложку преподнесла в день моего рождения.

Так вот однажды ложка эта у меня пропала. Как сейчас помню: оставил я ее в котелке с кашей. Прихожу со службы, из второго батальона, гляжу: котелок, братцы мои, помыт, каша сожрана, а ложки нету. Всю комнату я обшарил — ложку как корова языком слизала.

Подозрений у меня ни на кого не было. Во всей квартире проживали я, хозяйка да еще из треста служащий, Иван Герасимович. Чудный человек. Единственный мне друг и дорогой приятель. Вместе мы с ним голодовали в свое время и спиртешко пили.

Пошел к хозяйке.

— Вот, — говорю, — представьте себе, пропала у меня ложечка.

А хозяйка и говорит:

— Это ничего. Я, — говорит, — даже рада, потому что дело это поправимое. Вот вам адресок — к дорогой моей приятельнице и знаменитой гадалке-хиромантке. Немедленно идите к ней, она вам за сущие пустяки объяснит и укажет, кто спер, например, вашу ложечку.

Я и пошел.

Прихожу. Темная, представьте себе, комната. Человечий череп на столе. Для испуга, что ли. Кошка тут же вертится. А сама хиромантка бабища здоровая, в нос говорит, для эффекта. И все время подмигивает, и с носу пудра у ней сыплется.

Рассказал я, в чем дело, она карты раскинула.

— Ну да, — говорит, — так и есть: пропала у вас чайная ложечка.

— Столовая, — говорю, — пропала, а не чайная.

Хиромантка нахмурилась и говорит:

— Вы меня зря не перебивайте. Карты не могут врать. Ложка у вас, действительно, столовая пропала, но, может, мы сй чай мешали...

— Да, — говорю, — это верно.

— А если — верно, то пятерку на карты кладите. Только кладите не рваную. Рваную не любят карты.

Положил я пятерку, какая была почище, а гадалка и говорит:

— Ложка ваша украдена брунетом. Если хотите, могу, за известную плату, заочно вам показать личность виновника.

Заплатил я ей еще пятерку, а она в стакан воды набуровила и говорит:

— Смотрите пристально и наблюдайте.

— Нет, — говорю, — ничего не вижу.

— Ну а теперь, — говорит, — бурлит вода?

— Да, — говорю, — когда пальцы крутите, то бурлит.

— Ну, если бурлит, то идите со спокойной совестью домой и ждите, что будет.

Я и пошел.

Прихожу домой.

Какой же, думаю, брунет спер мою ложечку? Уж не дорогой ли мой приятель Иван Герасимович, благо брунет он.

И прошло уже несколько дней... Что такое? Жил Иван Герасимович смирнехонько — тише воды, ниже травы, а тут загулял. Да как еще! В кинематографы ходит, пьет, колбасу жрет — гуляет, вообще.

Ну, думаю, не иначе как гуляешь ты на мою ложечку. На жалованье так не разгуляешься.

И такая у меня к нему ненависть настала, что и сказать невозможно. И однажды не выдержал я характера — заявил в губмилицию.

Надзиратель явился с управдомом. Прошли они к Ивану Герасимовичу в комнату. А Иван Герасимович как увидел их — оробел, побледнел, в ноги им рухнул.

— Хватайте, — говорит, — меня! Я преступник. Я растратил казенные суммы.

— А ложечку мою как же? — спрашиваю. Молчит.

Стали его уводить.

— Позвольте, — говорю, — а как же ложечка-то?

Посмотрел он на меня, усмехнулся горько.

— И ты, — говорит, — брат? Нет у меня больше приятелей! Не брал я твоей ложечки. Это знай.

Так его и увели.

И прошел год. Баба моя, помню, приехала из деревни. Принялась раз комнату убирать, глядит: в крысиной норе ложка торчит.

Вот она вещь какая! А приятеля-то я все-таки лишился навсегда. И хотя он и преступник, а все же мне его жалко.

3. Рассказ о герое германской кампании

Как, братцы мои, вы не знаете Васьки Егудилова? Удивительно все-таки. Какого-то, например, бывшего генерала из немцев, Гинденбурга, знаете, бывшего кронпринца тоже знаете, а про Ваську Егудилова ничего не слышали?

Странно это.

Вот говорят, будто генерал Брусилов прорыв под Перемышлем устроил. Так ничего подобного — это Васька Егудилов прорыв устроил.

Васька Егудилов, ей-богу, замечательней какого-нибудь Пуанкаре.

Эх, нет пророка в отечестве своем!

А я Ваську встретил как-то. В пивную мы зашли. По старой дружбишке платил за меня Васька. Небрежно этак выбросил полста. На чай, впрочем, не дал. Человек на него посмотрел, а Васька сдачу спрятал и говорит:

— На чай, братишка, не даю по идее. Это, — говорит, — унижает человеческое достоинство.

А человек говорит:

— Ничего. Вы, — говорит, — дайте, мы привыкли.

Но Васька не дал. Ну да не в этом дело.

В нынешнее время я не знаю, какой Васька. Говорят, будто он замечательный работник и герой гражданской войны — неизвестно. Я Ваську Егудилова только по царской армии помню.

Ах и растяпа же был человек! Ах и спать же он мог удивительно! Да, можно сказать, он всю германскую войну проспал. Мог он спать подряд целные сутки. Мог и под ружейную перестрелку спать, и под легкую артиллерию, и под бомбометы...

Так вот какой удивительный случай произошел. 28 июля, кажется, был, братцы мои, по царской армии приказ: наступать до полнейшего искоренения противника...

Что до других армий — неизвестно, а полк наш выступил утром. И дошел наш полк до германской проволоки, и залег там, оттого что сильнейшую пулеметную пальбу открыл неприятель.

Залегли солдаты наши в разных местах, с тем чтобы к ночи назад ползти, а Васька Егудилов, надо сказать, залег в канавку и заснул там, собачий нос.

Под утро отступил наш полк обратно в окопы, а Васька Егудилов спокойно остался в поле.

День проходит, два.

Ну, думаем, погиб наш Васька героем.

А трупов перед окопами навалено было все поле. Жара. Дух смертельный. А убрать покойников невозможно: стреляет противник.

Стали наши генералы да командиры рассуждать, как из положения выйти... Разговоры, сём-пересём, тары да бары, а мертвечинка тем временем разложилась до невозможности.

Только однажды замечаем — флаг белый над противником, и выходит, братцы мои, немчик и заявляет:

— Даем вам два часа на уборку трупов.

Вышли мы с носилками, с лопатами, стали убитых убирать, смотрим: из канавы на носилки лезет Васька Егудилов. Живехонький.

— Стоп, — сказали немцы, — не трогать этого. Это пленный.

Стали мы с немцами рассуждать — не разрешают брать. Чуть не заплакал тут Васька. Вынул ручную бомбу да как шмякнет ее в германцев!

Батюшки, что было тогда... Крики, стрельба, пулеметы... И такой возгорелся бой, что и не бывало никогда такого. А к ночи мы повели наступление и прорыв сделали. А говорят, что герой генерал Брусилов. Пустяки это. Васька Егудилов — герой германской кампании.

4. Рассказ о том, как Семен Семенович в Лугу ездил

Ужасно я люблю всякие путешествия. Меня, братцы мои, хлебом не корми, позволь мне только поехать куда-нибудь. Поездом или пароходом — мне это все равно.

Главное, чтоб были два или три приятных собеседника. С ними я согласен хоть в Патагонию ехать. Очень мне нравится беседовать с незнакомыми.

В свое время я очень много ездил. А когда бесплатно было, я и с поезда не вылезал.

А трудно тогда приходилось. Пассажир был алой, нерасговорчивый, чуть что — ногами пихался. И вообще — дикая, безобразие. Мне даже раз на желудок мешок с крупной уронили. Конечно, я сам виноват. Я на пол прилег. Ужасно утомился — стоял три ночи, ну и прилег. Предупредил еще:

— Братцы, — говорю, — я на пол прилег, не наступите на лицо.

На лицо не наступили, но от толчка с полки мешок упал. И спасибо, братцы, что небольшой мешок упал. Рядом стоял пуда на два.

А то однажды стеарином мне в глаз капнули. Это обернулся. Наклонился он, собачий нос, надо мной со свечкой.

— Ваш, — говорит, — билет?

И капнул. Нечаянно, говорит. А мне от этого не легче. У меня до сих пор на глазу отметина осталась. Вот ежели приподнять веко, то на роговой оболочке каждый гражданин может увидеть желтоватое пятно величиной с горошину.

Да. Трудно тогда было. С теперешним положением сравненья нету.

Я вот на днях в Луту ездил. Чудесно ехать. Порядок, европейская аккуратность, чистота. Жаль только, пассажиры мне плохие попались. Не очень разговорчивые. Один носом клюет — спать ему, видите ли, хочется, другой — мужичок — кушает всю дорогу. Да как кушает! Срезет кусок хлеба, масла на него наворотит и жует. Потом опять. Это он заснуть боялся.

Был еще третий — старикан. Тоже дрянь-пассажир. Из него, из собаки, слова клещами нужно выжимать. Я уж к нему и так и так — молчит. Начал я ему рассказывать, как мука на меня упала, — молчит. Показал я ему пятно на роговой оболочке. Пятно он осмотрел, но ничего такого интересного не сказал.

Наконец, после одной большой станции, говорю ему:

— Уважаемый гражданин, а великолепно теперь в поездах ехать. Не правда ли? Порядок. Едешь будто по германской территории.

— Чего? — спрашивает.

— Словно, — говорю, — по германской земле едешь... С чего бы это изменение такое?

— А это, — говорит, — дисциплина. Русскому человеку невозможно без дисциплины.

— Это, — говорю, — верно. Золотые слова. В каждом деле прежде всего дисциплина. Будь то военное дело или даже водный транспорт.

— Да, — отвечает старик. — Только русский человек неправильно дисциплину понимает.

— То есть, — говорю, — как же неправильно, если такой порядок?

— А так...

И не успел тут старик слов договорить, как встает вдруг мужичок со своего места.

— Вы, — говорит, — про что разговариваете? Я, — говорит, — этого слова — дисциплина — слышать не могу...

— А что? — спрашиваем.

— Вы, — говорит, — про Ваську Чеснокова слышали? Черный такой мужик?

— Нет, — говорим.

— Ну так, — говорит, — это его и убили по дисциплине этой.

— Да ну? — спрашиваю.

— Да, — говорит, — ей-богу. В германскую войну. На фронте... Пригнали нас в окопы, а мы ни уха ни рыла в военном деле... А тут Лешку Коновалова... Вы Лешки не знали ли?

— Нет.

— Ну так вот. Лешку Коновалова часовым поставили. А начальник строгий был. Начальник подошел к Лешке, харей его повернул к противнику и говорит:

— Вот, за бугром противник. Ежели кто из-за бугра покажется — лепи туда пулей.

А случилось, что за бугор Васька Чесноков пошел. Там он картошку рыл. Трава высокая — немцу не видно. Возвращается.

А часовой Лешка видит, что фигура из-за бугра прет, ружье вскинул. Только смотрит: знакомая фигура — Васька Чесноков.

— Эу! — закричал Лешка. — Васька, ты?
Тот руками машет. Я, дескать. Заплакал Лешка, вы-
стрелил...

— Ну и что же? — спросил я.

— Ну и убил...

Мужичок отрезал кусок хлеба и принялся снова же-
вать. Старичок засмеялся.

— Вот, — говорит, — не угодно ли!

Я говорю:

— Это не доказательство. Это глупость. Вот вы, — го-
ворю, — хотели что-то рассказать.

— Да, — говорит, — хотел, да некогда. Сходить мне
сейчас. — Взял он корзинку и на площадку вышел.

Поезд, конечно, остановился. А я стал в окно смотреть.

И вижу: выходит на платформу дежурный. Красивый
такой мужчина, в галифе.

Вышел он, прутиком по сапогу хлопает, усишки подви-
гает. На дам косится.

Прислонился к забору.

— Эй, — кричит, — Игнат!

Подходит к нему сторож.

— Игнат, — говорит дежурный, — принеси-ка, брат,
напирасы. На столе у меня лежат.

Игнат бросился в вокзал.

«Дисциплина, — подумал я. — А пожалуй что старик
и прав: неправильно многие дисциплину понимают...» По-
езд наш пошел дальше. Больше мне ни с кем поговорить
не пришлось.

5. Рассказ о том, как Семен Семенович в аристократку влюбился

Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Еже-
ли баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые,
или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая ари-
стократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристо-
краткой, гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вы-
шло. В театре она и развернула свою идеологию во всем
объеме.

А встретился я с ей во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит такая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, — говорю, — ты, гражданка? Из какого номера?

— Я, — говорит, — из седьмого.

— Пожалуйста, — говорю, — живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?

— Да, — отвечает, — действует.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Семен Семенович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно.

Ну а раз она мне и говорит:

— Что вы, — говорит, — Семен Семенович, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, — говорит, — как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, — говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерейке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо.

Поскучал я, поскучал, вниз пошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, — говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?

— Не знаю, — говорит.

И сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезанным, выюсь вокруг нее и предлагаю:

— Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, — говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду — и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крикнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кивалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье. Я говорю:

— Натошак-то не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет, — говорит, — мы привыкшие.

И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, — говорю, — взад!

А она испугалась. Открыла рот. А во рте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, — говорю, — к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.

— С вас, — говорит, — за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как, — говорю, — за четыре? Когда четвертое в блюде находится.

— Нету, — отвечает, — хотя оно и в блюде находится, но надкус на ём сделан и пальцем смято.

— Как, — говорю, — надкус, помилуйте. Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят: надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось — народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушайте, — говорю. — Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушать. А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай, — говорит, — я докушаю.

И докушал, сволочь. За мои-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах счастье, гражданка. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

6. Рассказ о том, как Семен Семенович в квартире электричество провел

Нынче, братцы мои, какое самое модное слово, а? Нынче самое что ни на есть модное слово, конечно, электрификация.

Дело это, не спорю, громадной важности — Советскую Россию светом осветить. Но и в этом есть пока что свои неважные стороны. Я не говорю, товарищи, что платить дорого. Платить недорого. Не дороже денег. Я не об этом говорю.

А вот про что.

Жил я, товарищи, в громадном доме. Дом весь шел под керосином. У кого коптилка, у кого небольшая лампочка, у кого и нет ничего — поповской свечкой светится. Беда прямо!

А тут проводить свет стали.

Первым провел уполномоченный. Ну провел и провел. Мужчина он тихий, вида не показывает. Но ходит все-таки странно и все время задумчиво сморкается.

Но вида еще не показывает.

А тут дорогая наша хозяйшкa Елизавета Игнатьевна Прохорова приходит раз и предлагает квартиру осветить.

— Все, — говорит, — проводят. И сам, — говорит, — уполномоченный провел.

Что ж! Стали и мы проводить.

Провели, осветили — батюшки светы! Кругом гниль и гнусь.

То, бывало, утром на работу уйдешь, вечером явишься, чий попьешь — и спать. И ничего такого при керосине не видно было. А теперь зажгли, смотрим — тут туфля чья-то рваная валяется, тут обои отодраны и клочки торчат, тут клоп рысью бежит — от света спасается, тут тряпица неизвестно какая, тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится...

Батюшки светы! Хоть караул кричи. Смотреть на такое зрелище грустно.

Канаве, например, такое в нашей комнате стояло. И думал, ничего себе канаве — хорошее. Сидел часто на нем по вечерам. А теперь зажег электричество — батюшки светы! Ну и ну! Ну и канаве! Все торчит, все висит, все изнутри лезет. Не могу сесть на такое канаве — душа протестует.

Ну, думаю, не богато я живу. Хоть из дому беги. Противно на все глядеть. Работа из рук падает.

Вижу, и хозяйшкa Елизавета Игнатьевна ходит грустная, и шуршит у себя на кухне, прибирается.

— Чего, — спрашиваю, — хлопчете? — А она рукой машет.

— Я, — говорит, — Семен Семенович, и не думала, что так бедновато живу.

Взглянул я на хозяйкино барахлишко — действительно, думаю, не густо: гниль и гнусь и тряпицы разные. И все это светом залито, и все в глаза бросается.

Стал я приходить домой скучный. Приду, свет зажгу и ткнусь в койку.

После раздумал, получку получил, купил мелу, развел и приступил к работе. Обойки отодрал, паутинки смел, канаве подальше убрал, выкрасил, раздраконил — душа радуется.

Но хоть и получилось хорошо, да не совсем. Зря я, братишки, деньги ухлопал — отрезала хозяйка провода.

— Больно, — говорит, — бедно выходит при свете-то. Чего, — говорит, — бедность такую светом освещать.

Я уж просил и доводы приводил — никак.

— Съезжай, — говорит, — с квартиры. Не желаю, — говорит, — я со светом жить. Нет у меня денег — ремонты ремонтировать.

А легко ли съезжать, товарищи, если я на ремонт уйму денег ухлопал? Так и покорился.

Эх, братцы, и свет хорошо, да и со светом плохо!

7. Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин встретил Ленина

В этом деле врать не годится. Если ты видел Владимира Ильича — говори: видел там-то, при таких-то обстоятельствах. А если не видел — молчи и не каркай по-пустому. Так-то будет лучше для истории.

А что Иван Семеныч Жуков хвалится, будто он на митинге видел Владимира Ильича и будто Ильич все время смотрел ему в лицо, то это вздор и сущая ерунда. Не мог Ильич смотреть ему в лицо — лицо как лицо, борода грубая, тычком, нос простой и заурядный. Не мог Ильич смотреть на такое лицо, тем более что Иван Семеныч Жуков нынче ларек открыл — торгует, и, может, у него гири неклеимые.

За такое вранье я еще при встрече плюну в бесстыжие глаза этого Жукова.

Вообще от такого вранья только путаница может произойти в истории.

Я вот видел нашего дорогого вождя Владимира Ильича Ленина — не вру.

Я, может, специально от Мартынова пропуск в Смольный достал. Я, может, часа три как проклятый в коридорах ходил — ждал. И ничего — не хвастаюсь. А если и говорю теперь, то для истории.

А встал я в коридоре ровно в три часа пополудни. Встал и стою что проклятый. А тут возле меня такой мужчина в меховой шубе стоит и ногами дергает от холода.

— Чего, — спрашиваю, — стоите и ногами дергаете?

— Да, — говорит, — замерз. Я, — говорит, — шофер Ленина.

— Ну? — говорю.

Посмотрел я на него — личность обыкновенная, усишки заурядные, нос.

— Разрешите, — говорю, — познакомиться.

Разговорились.

— Как, — говорю, — возите? Не страшно ли возить? Пассажир-то не простой. А тут вокруг столбы, тумбы — не наехать бы, тыфу-тыфу, на тумбу.

— Да нет, — говорит, — дело привычное.

— Ну, смотрите, — говорю, — возите осторожно.

Ей-богу, так и сказал. И не хвастаюсь. А если и говорю, то для истории.

А шофер, хороший человек, посмотрел на меня и говорит:

— Да уж ладно, постараюсь.

Ей-богу, так и сказал. Постараюсь, говорит.

— Ну, — говорю, — старайся, братишка.

А он рукой махнул: дескать, ладно.

— То-то, — говорю.

Хотел я записать наш исторический разговор, бац — карандаша нету. Роюсь в одном кармане: спички, тонкая бумага на заvertку, нераскупоренная пачка восьмого номера — а карандаша нету. Роюсь в другом кармане — тоже нету.

Побежал я во второй этаж в канцелярию — дали огрызок.

Возвращаюсь поскорей назад — нету шофера. Сейчас тут стоял в шубе и ногами дергал, а сейчас нету. И шубы нету.

Я туда, сюда — нету.

Выбегаю на улицу — шофер на машине сидит, машина шумит и трогается. А в машине — дорогой вождь, Владимир Ильич, сидит, и воротничок поднят.

Приложил я руку к козырьку, хотел закричать «ура», но забоялся часового и отошел влево.

Отошел и не хвастаюсь. Не кричу налево и направо — дескать, и я видел Ильича.

Ну видел и видел. Про себя я счастлив, а которые люди хотят от меня подробностей узнать, пущай прямо ко мне обращаются.

8. Рассказ о медике и о медицине

Нынче, граждане, в народных судах все больше медиков судят. Один, видите ли, операцию погаными руками произвел, другой — с носа очки обронил в кишки и найти не может, третий — ланцет потерял во внутренностях или же не то отрезал, чего следует, какой-нибудь неопытной дамочке.

Все это не по-европейски. Все это круглое невежество. И судить таких врачей надо.

Но вот за что, товарищи, судить будут медика Егорыча? Конечно, высшего образования у него нету. Но и вины особой нету.

А заболел тут один мужичок. Фамилия Рябов. Профессия — ломовой извозчик. Лет от роду 37. Беспартийный.

Мужик хороший — слов нету. Хотя и беспартийный, но в союзе состоит и ставку по третьему разряду получает.

Ну, заболел. Слег. Подумаешь, беда какая. Пухнет, видите ли, у него живот и дышать трудно. Ну, потерпи! Ну, бутылку с горячей водой приложи к брюху — так нет. Испугался очень. Задрожал. И велит бабе своей, не жалея никаких денег, пригласить наилучшего, знаменитого врача.

А баба что? Баба всплакнула насчет денег, но спорить с больным не стала. Пригласила врача.

Является этаким долговязый медик с высшим образованием. Фамилия Воробейчик. Беспартийный.

Ну, осмотрел он живот. Пощупал, чего следует, и говорит:

— Ерунда, — говорит. — Зря, — говорит, — знаменитых врачей понапрасну беспокоите. Маленько, — говорит, — объелся мужик, через меру. Пушай, — говорит, — конистир ставит и курей кушает.

Сказал и ушел. Счастливо оставаться.

А мужик загрустил.

Эх, думает, так его за ногу! Какие дамские рецепты ставят. Отец, думает, мой не знал легкие средства, и я мать не желаю. А курей пушай кушает международная буржуазия.

И вот погрузил мужик до вечера. А вечером велит бабе своей, не жалея никаких денег, пригласить знаменитого Егорыча с Малой Охты.

Баба, конечно, взгрустнула насчет денег, но спорить с больным не стала — поехала. Приглашает. Тот, конечно, покобенился.

— Чего, — говорит, — я после знаменитых медиков туда и обратно ездить буду? Я человек без высшего образования, писать знаю плохо. Чего мне взад-вперед ездить?

Ну, покобенился, выговорил себе всякие льготы: сколько хлебом и сколько деньгами — и поехал. Приехал. Здравствуйте. Щупать руками желудок не стал.

— Наружный, — говорит, — желудок тут ни при чем. Нет, — говорит, — дело во внутреннем. А внутренний щупай — болезнь от того не ослабнет. Только разбередить можно.

Расспросил он только, чего первый медик прописал и какие рецепты поставил, горько про себя усмехнулся и велит больному писать записку — дескать, я здоров и папаша покойный здоров, во имя отца и святого духа.

И эту записку велит проглотить.

Выслушал мужик, намотал на ус.

Эх, думает, так его за ногу! Ученые свет — неученье тьма. Говорило государство учись — не учился. А как бы пригодилась теперь наука.

Покачал мужик бородашкой и говорит через зубы:

— Нету, — говорит, — не могу писать. Не обучен. Знаю только фамилии подписывать. Может, хватит?

— Нету, — отвечает Егорыч, нахмурившись и теребя усишки. — Нету. Одно фамилие не хватит. Фамилие, — говорит, — подписывать от грыжи хорошо, а от внутренней полная записка нужна.

— Чего же, — спрашивает мужик, — делать? Может, вы за меня напишете, потрудитесь?

— Я бы, — говорит Егорыч, — написал, да, — говорит, — очки на рояли забыл. Пушай кто-нибудь из родных и знакомых пишет.

Ладно. Позвали дворника Андрона.

А дворник, даром что беспартийный, а спец: писать и подписывать может.

Пришел Андрон. Выговорил себе цену, попросил карандаш, сам сбегал за бумагой и стал писать.

Час или два писал, вспотел, но написал:

«Я здоров и папаша покойный здоров во имя отца и святого духа. Дворник дома № 6 Андрон».

Написал. Подал мужику. Мужик глотал, глотал — проглотил.

А Егорыч тем временем попрощался со всеми любезно и отбыл, заявив, что за исход он не ручается — не сам больной писал.

А мужик повеселел, покушал даже, но к ночи все-таки помер.

А перед смертью рвало его сильно и в животе резало.

Ну, помер — рой землю, покупай гроб — так нет. Пожала баба денег — пошла в союз жаловаться — дескать, нельзя ли с Егорыча деньги вернуть.

Денег с Егорыча не вернули — не таковский, но дело всплыло.

Разрезали мужика. И бумажку нашли. Развернули, прочитали, ахнули — дескать, подпись не та, дескать, подпись Андронova — и дело в суд. И суду доложили: подпись не та, бумажка обойная и размером для желудка велика — разбирайтесь!

А Егорыч заявил на следствии: я, братцы, ни при чем, не я писал, не я глотал и не я бумажку доставал. А что дворник Андрон подпись свою поставил, а не больного — недосмотрел я. Судите меня за недосмотр.

А Андрон доложил: я, говорит, два часа писал и запарился. И, запарившись, свою фамилию написал. Я, говорит, и есть убийца. Прошу снисхождения.

Теперь Егорыча с Андроном судить будут. Неужели же осудят?

9. Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин работал у барона Некса

И, братцы мои, никогда не любил баронов и графов, но в своей жизни я все-таки встретил одного умильного бирончика. Я и теперь как вспомню о нем, так смеюсь, будто меня щекотят под мышками.

Фамилия-то у него немецкая, но был он русский человек по всем статьям. И даже мужиков любил.

А поехал я к нему в имение, в Орловскую губернию. И не один я, а трое нас поехало — спецов-водопроводчиков: я, Василь Тарасович да еще мастерок, мальчишка Васька.

Приехали. Делов, видим, на копейку — трубы провести по саду. Только и всего. Втроем, положила руку на сердце, и делать нечего. А условие на месяц.

Ладно. Работаем. Пища неплохая, чудная. Воздух и все такое — вообще сущая благодать.

Но только проходит три дня — начали мы между собой обижаться и роптать. Что такое? Не отстает от нас барон ни на шаг. Утром мы на работу — тут барон. Мы в сторону — и барон в сторону. Ходит мелкими шажками по аллеям и цветы нюхает.

Хорошо. Мы на кухню — и барон за нами. Мы за стол — и он садится. И сидит, что заяц. И на нас смотрит.

Тьфу ты, думаем, в рот ему муха! Неужели же не доверит и следит, чтоб свинцовую трубу у него не сперли?

Вот раз мы вышли на работу, а Василь Тарасович подмигнул нам и вдруг к барону подходит. А в руке у него лопата. Становится он к барону грудь к груди и говорит:

— Здравствуйте. Всем, — говорит, — мы довольны и бесконечно вам благодарны, и все нам тут вокруг нравится, и делов на копейку, но, — говорит, — ежели вы к нам недоверие имаете и над нами держите контроль в смысле свинцовых труб, то мы к тому не привыкли. Раз условие — исполним. А вам нечего ходить позади да цветки нюхать.

Сказал — и лопату влево бросил, дескать, счастливо оставаться, прощайте.

Смотрим — барон осунулся сразу, похудел, заморгал очами и говорит тихим басом:

— Что вы, — говорит, — братцы! Да рази я что? Я ничего. Рази я конгроль держу? Нет, — говорит, — просто, — говорит, — чувствую я себя в вашем обществе **молодцом**. У меня, — говорит, — и аппетит является, и сон, и бодрость. Вы, — говорит, — уж позвольте мне вокруг вас **находиться**. Уж не обижайтесь.

Мы, конечно, посмеялись.

— Ладно, — говорим. — Ежели с этой стороны — **пожалуйста**. Ваше дело хозяйское.

А с того дня и пошло все в гору, да круче. Дали мы согласие на свою голову.

Утром, едва встали, глаза продрали — является наш барон.

— Не пора ли, — говорит, — братишки? Здравствуйте.

И сам от нетерпения ручки свои трет и волнуется. И торопит. Попьем чаю, выйдем на работу — барон уж тут. Интересуется ходом работы. И все пустяками. Только мешает.

Поработаем — пожалуйста, граждане, **кушать**. Присаживайтесь. Не стесняйтесь. Будьте как дома. Стол роскошный. И все скромное — щи или там лапша. И все с мясом.

Ну а барон, конечно, тут же трется.

— Кушайте, — говорит, — дорогие приятели. Я, — говорит, — люблю, когда мастеровые мужики кушают. От этого, — говорит, — у меня аппетит является и сон.

Насмотрится на нас, как мы лопаем, и велит себе прибор нести. Начинает кушать с нами. Да только где же ему с нами? Старичок он нежный, болезненный, **ложку хлебнет**, непременно обожжется, захаркает и дышит после, что жабба. Смотреть на него неловко.

Покушали. Ладно. Пожалуйста на траву ложиться. А барон тут же. Хлопочет, стерва.

— Ложись, — говорит, — робя, под вишнями.

Ну, ляжем, — нам что?

— Дыши, — говорит, — полным ртом и вдыхай **испорченный воздух**. Это, — говорит, — полезно по гигиене.

И сам ляжет на спину и дышит ртом.

Ах, в рот ему муха!

Ну, начнем и мы, ради смеха, дышать. Дышим. Полон рот насекомой дряни наберется. Поплюем, после посмеемся и спать.

Проснулись — купаться, граждане. К пруду пожалуйте. Хочешь не хочешь — лезь.

Мы купаемся, а барон тут же полощется на берегу и кончит от счастья.

И вот прожили мы таким образом две недели. И разнели нас, что кабанов. Ходим жирные, скучаем и работать не можем. А барон рад и доволен.

Сперва и мы радовались. Дескать, вот какое райское место нашли. Все было смешно и в диковинку. Ну а после наскучило. И до того наскучило — дышать нечем, до краев дошло. Дни считаем, когда окончим.

А тут еще барон придумал последнюю моду: велит вечером по аллеям ходить мелким шагом. Ходим мы по аллеям, что лошади, а уйти не можем — обижаются.

Нам-то еще ничего — ну ходим и ходим, а вот мастерок наш чуть не плачет. Мальчишка небольшой, шестнадцатилетний, ему бы, подлецу, в рюшки играть, а тут, извините за выражение, ходи по аллеям.

И, конечно, дошло до краев. Бывало, мальчишка как увидит барона, так затрясется весь, зубами заскрипит.

— Я, — говорит, — ему, старому сычу, покажу. Я, — говорит, — ему, черту драповому, напакую.

И действительно, стал мастерок барону пакостить. То клумбу с цветками ногами затопчет, то на веранду лягуху выпустит, то перед барскими окнами в кусты сядет. Хоть плачь...

Видим — не может так продолжаться.

Поднажали мы поскорей с работой, кончили в три дня и докладываем:

— Окончили. С вас приходится.

А барон чуть не плачет.

— Оставайтесь, — говорит, — голубчики. Мне, — говорит, — еще нужно трубы проложить. А мастерок пушай пакостит — я потерплю.

— Нет, — говорим, — дудки.

— Ну, — говорит, — приезжайте тогда на другое лето. Вот вам задаток.

Взяли мы задаток, покушали, полежали в траве, собрали манатки и тронулись. Поехали. До свиданья. Счастливого оставаться. Не скучайте.

И вот едем мы в поезде и до самой Москвы толкуем про барона, вспоминаем и над Васькой издеваемся. А у самой Москвы Васька нам и говорит:

— Вы, — говорит, — надо мной не смейтесь. Я, — говорит, — все же чертова старика прищемил. Я, — говорит, — ему напакостил.

— Да что ты? — спрашиваем.

— Ей-богу. Я, — говорит, — на самое прощанье в его конюшню влез да трем лошадям хвосты подстриг.

Ах, в рот ему муха!

Ну, потрепали мы Ваську за вихры, а самим смешно. Тем дело и кончилось.

А может, Васька и соврал, сукин кот. Может, он из гордости сказал. Неизвестно это.

Только на другое лето к барону не поехали.

10. Рассказ о том, как Семен Семенович перестал в бога верить

В святых я, братцы мои, давненько не верю. Еще до революции. А что до бога, то в бога перестал я верить с монастыря; как побывал в монастыре, так и закаялся.

Конечно, все это верно, что говорят про монастыри, — такие же монахи люди, как и мы прочие: и женки у них имеются, и выпить они не дураки, и повеселиться — но только не в этом сила. Это давно известно.

А вот случилась в монастыре одна история. После этой истории не могу я спокойно глядеть на верующих людей. Пустяки ихняя вера. Дешевка. От этой дешевки я и в бога перестал верить.

А случилось это, братцы мои, в Новодеевском монастыре.

Был монастырь богатый. И богатство свое набрал с посетителей. Посетители жертвовали. Бывало, осенью, как понапрут всякие верующие, как начнут лепты вносить — чертям тошно. Один вносит за спасение своей души, дру-

той за спасение плавающих и утопающих, третий так себе шкисит — с жиру бесится.

Многие вносили — принимай только. И принимали. Будьте покойны.

Ну а, конечно, который внесет — норовит уж за свои денюжки пожить при монастыре и почетом попользоваться. Да норовит не просто пожить, а охота ему, видите ли, к святой жизни прикоснуться. Требует и келью отдельную, и служку, и молебны.

Ублаготворяли их. Нельзя иначе.

А только осенью келий этих никак не хватало всем желающим. Уж простых монахов вытесняли на время по сараям, и то было тесно.

А сначала было удивительно — с чего бы это народ сюди прет? Что тут за невидаль? Потом выяснилось: была тут и природа богатая, климат, и, кроме того, имелась приманка для верующих.

Жили в монастыре два монаха-молчальника, один столпник и еще один чудачок. Чудачок этот мух глотал. Не то чтобы живых мух, а настойку из мух пил натошак. Так сказать, унижал себя и подавлял свою плоть.

Бывало, с утра пораньше народ соберется вокруг его сарайчика и ждет. А он, монах то есть, выйдет к народу, помолится, поклонится в пояс и велит выносить чашку. Вынесут ему чашку с настойкой, а он снова поклонится народу и начинает пить эту гнусь.

Ну, народ, конечно, плюется, давится, которые слабые димы, блюют и с ног падают, а он, сукин сын, вылакает гнусь до дна, не поморщится, перевернет чашку, дескать, пустая, поклонится и к себе. Только его и видели до другого дня.

Один раз пытались верующие словить его, дескать, не настоящая это настойка из мух. Но оказалось верно — честь честию. Монах сам показал, удостоверил и сказал народу:

— Что я, Бога, что ли, буду обманывать?

После этого слава пошла о нем большая.

А что до других монахов — были они не так интересны. Ну хотя бы молчальники. Ну молчат и молчат. Эка невидаль! Столпник тоже пустяки. Стоит на камне и думает, что святой. Пустяки!

Был еще один такой — с гирькой на ноге ходил. Этот нравился народу. Ободряли его. Смешил он верующих. Но только долго он не проходил — запил, гирьку продал и ушел восвояси.

А все это, конечно, привлекало народ. Любопытно было. Оттого и шли сюда. А шли важные люди. Были тут и фоны, и бароны, и прочая публика. Но из всех самый почетный и богатый гость был московский купчик, Владимир Иванович.

Много денег он всадил в монастырь. Каялся человек. Грехи замаливал.

— Я, — говорил он про себя, — всю жизнь грешил, ну а теперь пятый год очищаюсь.

А старенький это был человек. Бороденка была у него совсем белая. И на первый взгляд он был похож на святого Кирилла или Мефодия. Чего такому-то не каяться?

А приезжал он в монастырь часто.

Бывало, приедет, остановит коляску версты за три и прет пешком.

Придет вспотевший, поклонится братии, заплачет. А его под ручки. Пот с него сотрут, и водят вокруг, и шепчут на ухо всякие пустяки.

Ну, отогреется, проживет недельку, отдарится — и снова в город. А там опять в монастырь. И опять кается.

А каялся он прямо на народе. Как услышит монастырский хор — заплачет, забьется: «Ах, я такой! Ах, я этакий!»

Очень на него хор действовал. Жалел только старик, что не дамский это монастырь.

— Жаль, — говорил, — что не дамский, а то я очень обожаю самое тонкое пение сопран.

Так вот, был Владимир Иванович самый почетный гость. А от этого все и случилось.

Продавалось рядом с монастырем имение. Имение дворянское. «Дубки». Имение удобное — земли рядом. Вот игумен и разгорелся на него. Монахи тоже.

Стал игумен вместе с экономом мозгами раскидывать — как бы им подобрать к своим рукам. Да никак. Хоть и денег тьма, да купить нельзя. По закону не показано. По закону мог монастырь землю получить только в дар.

Вот игумен и придумал механику. Придумал он устроить это дело через Владимир Иваныча. Посетитель поч-

тешный, седой — купит и подарит после. Только и делов. Ну, так и сделали. А купчик долго отнекивался.

— Нет, — говорит, — куда мне. От мирских дел я давно отошел. мозги у меня не на то самое направлены, а на очищение и на раскаяние — не могу, простите.

Но уломали. Мраморную доску обещали приклепать на стене с заглавием купчика. Согласился купчик.

И вот дали ему семьдесят тысяч рублей золотом, отслужили молебствие с водосвятием и отправили покупать.

Покупал он долго. Неделю. И приехал назад в монастырь вспотевший и вроде как не в себе. Приехал утром. Экипажа не слез, к игумену не пошел, а велел только выносить свои вещи из кельи. Ну а монахи, конечно, сбежались — увидели. И игумен вышел.

— Здравствуйте, — говорит. — Сходите.

— Здравствуйте, — говорит. — Не могу.

— Отчего же, — спрашивает, — не можете? Не больны ли? Как, дескать, ваше самочувствие и все такое?

— Ничего, — говорит Владимир Иванович, — спасибо. И, — говорит, — приехал попрощаться да вещички кой-какие забытые взять. А сойти с экипажа не могу — ужасно гороплюсь и вообще.

— А вы, — говорит игумен, — через не могу. Какого черта! Нужно нам про дело говорить. Купили?

— Купил, — отвечает купчик, — обязательно купил. Такое богатое имение не купить грешно, отец настоятель.

— Ну и что же? — спрашивает игумен. — Оформить надо... Дар-то...

— Да нет, — отвечает купчик — Я, — говорит, — раздумал. Я, — говорит, — не подарю вам это имение. Разве мыслимо разбрасываться таким добром? Что вы?

Чего тут и было после этих слов — невозможно рассказать. Игумен, конечно, ошалел, нос у него сразу заложил — ни чихнуть, ни сморкнуться не может. А эконономужчина грузный — освирепел, нагнулся к земле и, за неимением под рукой камня, схватил гвоздь этакий длинный, барочный и бросился на Владимира Ивановича. Но не школол — удержали.

Владимир Иванович побледнел, откинулся в экипаже.

— Пушай, — говорит, — пропадают оставленные вещи.

И велел погонять.

И уехал. Только его и видели.

Говорили после, будто он примкнул к другому монастырю, в другой монастырь начал жертвовать, но насколько верно — никто не знает.

А история эта даром не прошла. Которые верующие монахи, стали расходиться из монастыря. Первым ушел молчальник.

— Ну, — говорит, — вас к чертям собачьим.

Плюнул и пошел, хотя его и удерживали. А засим ушел я. Меня не удерживали.

11. Рассказ о колдуне

Чудеса, граждане! Кругом, можно сказать, пар, электрическая энергия, швейные, ножные машинки, и тут же наряду с этим — колдуны и кудесники.

Совершенные чудеса!

У мужика в деревне сеялка и веялка, и землю свою мужик раздраконирует паровым трактором, и тут же рядом и почти в каждой деревне проживает колдун. Живет, хлеб жует и мужичков поцукивает.

Странные и непонятные вещи!

На днях вот в одной деревне убили колдуна. Ну, убили, убили — забыть надо. Так не забыли мужички. Плачут теперь и рыдают и рвут на себе волосенки

Потому — пугаются, что будет наказание свыше. А пришел этот колдун перед самой своей гибелью к одному среднему мужику. А примета такая: пришел колдун — значит, жди беды: либо корова скончается, либо другое несчастье.

Пришел колдун и сел за стол. А глаза у самого мутные, усы книзу, и бороденка треплется.

Сидит колдун за столом и почесывает левую руку. Ну, конечно, в избе испугались. Хозяйка мечется, кричит, прет на стол все съедобное. Старуха кланяется между тем колдуну в пояс и наивно спрашивает:

— И чего ты, батюшка, пришел, сел за стол и чешешь левую ручку? Не случится ли какой бедашки или горя?

А колдун, нахмурясь, отвечает:

— Может, бабка, и случится. А случится, так откупишься, божья старушка. Бояться беды нечего.

А хозяин, инвалид Тимошка, цыкает на старушку и сам к колдуну подходит.

— Нечего, — говорит, — дарма тут сидеть — прохладиться. Нечего, — говорит, — тут ручки чесать — блох у меня разводить. Почесал и хватит — катись колбаской.

Ахнули в избе от нахальной реплики. А колдун посерел, встал, понюхал пустой воздух и вышел.

Ну вышел — вышел. Баба плачет, старушка хрюкает, а Тимошка, выпятив грудь, отвечает:

— Я, — говорит, — еще премного жалею, что колдуна между глаз не ударил. Я, — говорит, — колдунов завсегда и переносье бью.

И вот наступила ночь. Баба плачет, старушка хрюкает. А Тимошка на лавке лежит и носом посвистывает. Ндруг среди ночи баба Тимошку будит.

— Ну, — говорит, — дождались — несчастье. Слушай!

И верно: со двора из хлева тоненько так теля заливается.

Ну зажгли фонарь, вышли во двор — верно: стоит теленок посередь хлева, хвостик свой приподнял ввысь и орет, орет — ушам скучно.

Дали телке хлебца моченого — не берет. Дали молока — отказывается.

И орет всю ночь. И утром орет. И в обед орет. Вечером бабы поднаперли на Тимошку. Велели повалиться ему в ноги колдуну и выпросить прощение. Тимошка покобенился, но пошел. Пришел.

— Чего, — спрашивает колдун, — не телка ли орет?

Испутался Тимошка.

— Да, — говорит, — гражданин колдун, орет телка. Не вели, — говорит, — казнить, а вели миловать. С меня, — говорит, — приходится.

— Ладно, — сказал колдун.

И пошел. Он пошел впереди, а Тимошка за ним. Дошли до дому, а колдун и говорит:

— Как войдем в ворота, отвернися в сторону и шепчи молитвы. Я же потружусь и сам пойду к теленку.

И пошел к теленку.

А Тимошка обождал слегка — и за ним. Колдун в хлев, а Тимошка припал к стене и в щелку смотрит, чего колдун порожить будет.

А колдун между тем взял в руку телячий хвост и вынимает из него булавку.

Закричал тут Тимошка, запер хлев, созвал мужиков и объяснил дело.

Начали колдуна бить.

Били колдуна, били — молчал колдун, но, помирая, сказал:

— Не я всунул в телячий хвост булавку — Бог всунул.

С тем и помер.

Ну помер — помер. На сегодня, например, помер — завтра несчастье: у мужика в соседней деревне корова ногой куру задавила.

Месяц или два прошло — бац, еще несчастье — шел пьяненький мужик домой, свалился в канаву и ногу себе вывернул. Два эти несчастья случились, и мужички ждут третьего. А третье случится, будут ждать четвертого.

Будет теперь колдун крошить народ человеческий.

12. Рассказ о собаке и о собачьем нюхе

Дела меня, товарищи, не веселят. Одна тут собака мне все настроение испортила.

На днях было.

У купчишки тут у одного, у Еремея Бабкина, сперли шубу енотовую. Взыл, конечно, этот самый Бабкин. Пожалел шубу.

— Шуба-то, — говорит, — больно отличная. Жалко. Не пожалею, — говорит, — денег, а найду преступника.

И вызвал по телефону Еремей Бабкин уголовного собаку — ищейку.

Прибыла собака. И агент с ней. Этакий в обмотках и в кепочке. А собака сердитая. И морда острая. Так и тычется во всякую дрянь. Ужасная собачища.

Ткнул этот самый агент собаку свою в следы возле купчишкиной двери, сказал «пс» и отошел.

Понюхала собачища воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле из пятого номера подходит и нюхает ей подол.

Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка поскорей в сторону, и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пускает.

Рухнула бабка на колени перед агентом.

— Да, — говорит, — попалась. Не отпираюсь. И, — говорит, — пять ведер закваски — это так. И аппарат — это действительно верно. Все, — говорит, — находится в ванной комнате. Ведите меня поскорей в милицию.

Ну, народ, конечно, ахнул.

-- А шуба? — спрашивают.

-- Про шубу, — говорит, — ничего не знаю, а остальное это так. Сознаюсь.

Ну, увели бабку.

Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «пс» и отошел. Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к гражданину управдому подходит. Побелел управдом, упал навзничь.

-- Вяжите, — говорит, — меня, люди добрые, сознательные граждане. Я, — говорит, — и есть первый преступник. Я, — говорит, — за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.

Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем нанюхалась воздуху и подходит к гражданину из седьмого номера и тербит его за штаны. Побелел гражданин, свалился перед народом.

— Виноват, — говорит, — виноват. Я, — говорит, — подлец и мазурик. Я, — говорит, — это верно, в трудовой книжке год подчистил, мне бы, — говорит, — жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь коммунальными услугами. Берите меня.

Растерялся народ. Что, думает, за собака.

А купец Еремей Бабкин заморгал очами, вынул деньги и подает агенту.

— Уводи, — говорит, — свою чертову собаку.

А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит. Растерялся купец, отошел в сторонку, а собака за ним. Подходит к нему и галоши нюхает. Побледнел купец, заблелкотал.

— Ну, — говорит, — бог правду видит, если так, я, — говорит, — и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, — говорит, — не моя. Шубу-то, — говорит, — я у брата своего зажил.

Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать. Схватила она двоих или троих и держит. Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, другой супругу свою утюгом тюкнул.

Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент. И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет.

Побледнел агент, упал перед собакой.

— Вяжите, — говорит, — меня. Кусайте меня. Я, — говорит, — на ваш собачий харч три червонца получил, а два себе зажил.

Что было дальше — неизвестно. Я поскорей убрался.

Пародии





От составителя

К жанру литературной пародии Зощенко обратился лишь однажды и вроде как не всерьез: эти свои пародии он считал скорее в шутку. Так сказать, для домашнего употребления. Но именно в этом жанре Зощенко впервые нашел себя, ощутил свое истинное литературное призвание.

Вот как рассказывает об этом К.И. Чуковский, руководивший «Студией», где среди других его учеников оказался молодой «работник угрозыска» Михаил Зощенко:

«Полонская вспоминает такой характерный для него эпизод. Как-то в самом начале занятий я поручил им обоим представить к такому-то сроку краткие рефераты о поэзии Блока. Перед тем как взяться за работу, она предложила Михаилу Михайловичу совместно с нею обсудить эту тему. Зощенко без всяких оговорок отказался от ее предложения.

— Я буду писать сам, — сказал он, — и ни с кем не желаю советоваться...

Когда он выступил в Студии со своим рефератом, стало ясно, почему он держал его в тайне и уклонялся от сотрудничества с кем бы то ни было: реферат не имел ни малейшего сходства с обычными сочинениями этого рода и даже как бы издевался над ними. С начала до конца он был написан в пародийно-комическом стиле... Здесь впервые наметился его будущий стиль: он написал о поэзии Блока вульгарным слогом заядлого пошляка Вовки Чучелова, физиономия которого стала впоследствии одной из любимейших масок писателя...

Еще резче выразилось его строптивое нежелание подчиняться нашей студийной рутине через две или три недели, когда я задал студентам очередную работу — написать небольшую статейку о поэзии Надсона.

Через несколько дней я получил около десятка статей. Принес свою работу и Зощенко — на длинных листах, вырванных из бухгалтерской книги.

Принес и подал мне с еле заметной ухмылкой.

— Только это совсем не о Надсоне...

— О ком же?

Он помолчал.

— О вас...

Придя домой, я начал читать его рукопись и вдруг захохотал как сумасшедший. Это была меткая и убийственно злая пародия на мою старую книжку «От Чехова до наших дней». С сарказмом издевался пародист над изъянами моей тогдашней литературной манеры, очень искусно утрируя их и доводя до абсурда (Корней Чуковский «Зощенко»).

Оба случая, о которых рассказывает в своих воспоминаниях К. Чуковский, относятся к 1919 году, из чего следует, что именно в жанре пародии Зощенко сделал первые, еще полупрофессиональные, свои шаги в литературе.

Но дело тут не в хронологии, а в том, что пародия — это основа основ художественного метода писателя Михаила Зощенко. Метода, которому он оставался верен на протяжении всей своей творческой жизни:

«Я хочу сделать одно признание. Дело в том, что я — пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде... Я только пародирую» (М. Зощенко. «О себе, о критиках и о своей работе»).

На Виктора Шкловского

О «Серапионовых братьях»

Вязка у них одна — «Серапионовы братья»

Литературных традиций несколько. Предупреждаю заранее: я в этом не виноват.

Я не виноват, что Стерн родился в 1713 году, когда Филдингу было семь лет...

Так вот, я возвращаюсь к теме. Это первый альманах — «Серапионовы братья». Будет ли другой, я не знаю.

Беллетристы привыкли не печататься годами. У верблюдов это поставлено лучше (см. Энцикл. слов.).

В Персии верблюд может не пить неделю. Даже больше. И не умирает.

Журналисты люди наивные — больше года не выдерживают.

Кстати, у Лескова есть рассказ: человек, томимый жаждой, вспарывает брюхо верблюду перочинным ножом, находит там какую-то слизь и выпивает ее.

Я верблюдов люблю. Я знаю, как они сделаны.

Теперь о Всеволоде Иванове и Зощенко. Да, кстати о билете.

Балет нельзя снять кинематографом. Движения неделимы. В балете движения настолько быстры и неожиданны, что съемщиков просто тошнит, а аппарат пропускает ряд движений.

В обычной же драме пропущенные жесты мы дополняем сами, как нечто привычное.

Итак, движение быстрее $1/7$ секунды неделимо.

Это грустно.

Впрочем, мне все равно. Я человек талантливый.

Снова возвращаюсь к теме.

В рассказе Федина «Песнь души» у собаки — душа. У другой собаки (сука) тот же случай. Прием этот называется нанизыванием. (См. работу Ал. Векслер.)

Потехня этого не знал. А Стерн этим приемом пользовался. Например: «Сантиментальное путешествие Йорика»...

Прошло четырнадцать лет...

Впрочем, эту статью я могу закончить как угодно. Могу бантиком завязать, могу еще сказать о комете или о Розанове. Я человек не гордый.

Но не буду — не хочу. Пусть Дом литераторов обижается. А сегодня утром я шел по Невскому и видел: трамвай задавил старушку. Все смеялись.

А я нет. Не смеялся. Я снял шапку (она у меня белая с ушками) и долго стоял так.

Лоб у меня хорошо развернут.

На Всеволода Иванова

Кружевные травы

Травы были пахучие и высокие,

под брюхо лошади. От ветра они шебуршали сладостно, будто осока осенью, и припадали к земле, кланяясь. Пахло землей и навозом приторно и тягуче.

У костра сидели два мужика и разговаривали.

— У-у, лешаки! — тихо сказал Савоська Мелюзга и матерно сплюнул в сторону.

Другой мужик, тоже Савоська, по прозвищу Савоська Ли-юн-чань, поправил костер и сказал строго:

— Да. Скажу я тебе, парень... Привязали мы этих чело-
вечков к деревьям... За одну ногу, скажем, к одной верхуш-
ке, за другую к другой и отпустили. А кишка, парень, дело
тонкое, кишка от натуги непременно рвется...

Савоська Мелюзга потянулся у костра и сказал глухо:

— Врешь?.. Ну, а как ты, парень, про бога думаешь? А?

— Не знаю, — строго ответил Савоська. — Кучея его
знает. Про бога и, скажем, про праведную землю не могу те-
бе, парень, ничего сказать. Не знаю. Про большевиков,
скажем, знаю. Сёдни слышал. Про Ленина тоже люди ба-
ют разное...

Серая большая овчарка с шумом сорвалась с места и
кинулась в темноту. Шебуршали травы сладостно, будто
человечьи кости осенью... (Кто сыграет в эти кости?)

Ах, травы, травы! Горючий песок! Нерадостны прохо-
жму голубые пески, цветные ветра, кружевные травы.

Послышались шаги, и к костру подошел человек тон-
кий, будто киргизская лучина строганая, и сказал сурово:

— Здорово, братаны! Как у вас тут насчет бога? А?

Савоська Мелюзга засмеялся матерно и сказал:

— Садись, лешай. Угощайся. Наварили сѣдни на ма-
ланьину свадьбу.

Прохожий сел, посмотрел в котел и глухо сказал:

— А ведь меня, парень, тоже Савоськой звать...

— Ах, стерва! — тихо удивился Савоська Мелюзга и лег
на шинель.

— Люди бают, — начал Савоська Мелюзга, — места эн-
ти быдто не простые, название им быдто дадено бывшим
князем Рюрихом. Кружевные травы — название им даде-
но.

Прохожий снял с плеча берданку и выстрелил в воздух.
Сумрачным гулом покатилося по лесам и степям, пригну-
лись травы еще ниже к земле, и из-за деревьев испуганно
вышла луна.

— Это я в бога, — просто сказал прохожий и матерно
улыбнулся.

Запахло кружевными травами сладостно и тягуче.

На Корнея Чуковского

О Бор. Пильняке

I.

«Пришла тихая любовь...»

«Я люблю Алексея...»

«Мое сердце колотится любовью...»

«Наталя необыкновенная, нынче революция, когда вы будете моей?»

Поразительно! Загадочно! И откуда у писателя столько чувства? И как это до сих пор никто не заметил?

II

Возьмите любой рассказ Пильняка. Главное занятие героев — любовь. Все любят. Все изнемогают от любви.

«...Ребята ловили девок, обнимали, целовали, мяли...»

«Леонтьевна кричит: — Спать не дают, лезут к неразлучной женщине...»

И все-то у писателя любовь. Даже звери изнемогают от любовной страсти.

«...Самец бросился к ней, изнемогая от страсти».

«...Волк тихо подошел к оврагу».

Такая уж у писателя провинциальная эротика! Попробуйте отнять это чувство — от писателя ничего не останется.

III

Теперь самое главное.

Посмотрим, как Пильняк относится к религии... Перелистываю первый попавшийся рассказ.

«...Осенью Марина забеременела...»

«...Женщину нужно разворачивать, как конфетку...»

«...Облако было похоже на женскую грудь...»

«...Волк подошел к оврагу...»

Нет! Ни словечка о религии! Он писатель-атеист. И как это я до сих пор не заметил? Но позвольте, что это? Да так ли я читаю? Я даже подумал: уж не ослеп ли я? Уж не поступил ли в студию Дункан?

«...Танька коренастая босая». «...Старик босой». «...Шлепая босыми ногами». И даже какой-то мужик в розовых портах босой. И все-то у него босые. Кажется, отними у него босых — и ничего больше не останется.

Но зачем же, зачем же, зачем все босые?

IV

Необыкновенно! Непостижимо! Какая-то босонология! Какой-то невероятный мир босых! Некуда спрятаться от босых ног.

Аганька босая.

Прохожий босой.

Даже генерал, наверное, босой или сапоги сейчас снимет. Я даже подумал: уж не снять ли и мне сапоги?

Но снимай не снимай — ничего не изменится. Такая уж у писателя идеология. Любый мужик у него босой, а если не босой, то пьяница или колдун. И поразительное явление: как только на одну секундочку появляется человек в сапогах, все герои в один голос кричат: «Довольно! Бейте его! Перестаньте! Снимай сапоги!»

«Сапоги снимай, на печь полезай!» — говорит Егорка Арине в повести «Голый год».

Волк подошел к оврагу...

V

Теперь попробуем полюбить Пильняка.

Он талантлив очаровательно. Он писатель любви и босых ног. Он, воистину, писатель любви и революции. Он весь в революции.

Современнейший из современных писателей.

Слоновое приключение

Жил я, запомнил, в деревне Большие Кабаны.

Дом каменный строил. Ладно. Строил.

Навез кирпичей. Телеграмма: началась германская кампания — пожалуйста бриться.

Сбросил я кирпичи в сторону, собрал свое рухлядишко (штаны кой-какие) и пошел тихонько.

Только иду я лесом — слон на мене.

Ах ты, думаю, так твою так. Да. Слон.

А он хоботьем крутит и гудит это ужасно как.

Очень я испугался, задрожал, а он думает, что это тигр задрожал, и гудит еще пуще.

Оглянулся я по сторонам, поблевал малехонько, смотрю — канава. Лег я в канаву и дышу не шибко.

Только лежу не шибко — лягуха зелененькая за палец меня чавкает.

Ах ты, думаю, так твою так. Лягуха.

А она все чавкает.

— Ты что ж это, — спрашиваю, — за палец-то мене, дура, чавкаешь?

А она ужасно так испугалась и на верех. Я за ней на верех, а в полшаге — мертвое тело. Лежит и на мене глядит.

Поблевал я малехонько и задрожал.

Только дрожу — смотрю, передо мной германский фронт. Ну, думаю, началась кампания — пожалуйста бриться.

Только я так подумал, прилег на фронт — великий князь мене к себе кличут.

Поблевал я малехонько, а он такое:

— Очень, — говорит, — ты героический человек, становись, например, ко мне придворным паликмахером.

Стал я к нему придворным паликмахером, целные сутки, например, его брею, а он восхищается, и все ему мало.

Только вдруг взбегает человек:

— Перестаньте, — кричит, — бриться. Произошла, — говорит, — февральская революция.

Оглянулся я по сторонам, поблевал малехонько и тихонько вышел.

Жад кем
смеетесь?





От составителя

В конце 20-х годов Михаил Зощенко был — без преувеличения — самым знаменитым русским писателем. Популярность его была безгранична. Сочинения Зощенко под гомерический хохот тысяч зрителей читали с эстрады знаменитейшие артисты. Где-то в провинции постоянно обнаруживался самозванец, выдававший себя за писателя Зощенко, дабы, пользуясь его славой, срывать кризиснообразные цветы удовольствия.

Да, это была самая настоящая слава, которую даже неличайшим из великих нечасто доводилось обрести при жизни.

Эту громкую славу писателю принесли его короткие рассказы и фельетоны.

Говоря о них, Зощенко иронически называл их «мелкой, неуважаемой формой» литературы, с которой обычно связывают «самые плохие литературные традиции». Это была шпилька в адрес традиционного представления об иерархии жанров, согласно которому повесть относится к более высокому жанру, чем короткий рассказ, а фельетон и вовсе должен быть помещен на самой низшей ступени этой иерархической лестницы.

Самому Зощенко такой подход был бесконечно чужд, даже враждебен. И он не раз высказывался на эту тему со всей присущей ему прямоотой и определенностью. Например, вот так:

«Относительно моей литературной работы сейчас среди критиков происходит некоторое замешательство.

Критики не знают, куда собственно меня причислить — к высокой литературе или к литературе мелкой, недостойной, быть может, просвещенного внимания критики.

А так как большая часть моих вещей сделана в неуважаемой форме — журнального фельетона и коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предreshена...

В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей.

Но когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части: вот, дескать, мои повести — это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказы — журнальная юмористика, сатириконт, собачья ерунда, — это неверно.

И повести и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого разделения: вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот — повесть для потомства» («О себе, о литературе и о своей работе»).

Я склонен рассматривать этот иронический выпад как эстетическое завещание писателя, из которого я старался исходить, составляя этот том.

Исходя из этого «эстетического завещания», я отказался от традиционного подразделение коротких зощенковских новелл на «рассказы» и «фельетоны». Руководствовался я при этом еще и тем соображением, что грань между рассказом и фельетоном у Зощенко, как правило, весьма условна и, в сущности, неразличима. Сам он постоянно одни и те же свои юмористические истории публиковал сперва под рубрикой «Фельетоны», а потом, в более поздних изданиях, переводил их в разряд «Рассказов».

Нищий

Сновадился ко мне один нищий ходить.

Парень это был здоровенный: ногу согнет — портки лопаются, и к тому же нахальный до невозможности. Он стучал в мою дверь кулаками и говорил не как принято: «подайте, гражданин», а:

— Нельзя ли, гражданин, получить безработному!

Подавал я ему раз, другой, третий. Наконец говорю:

— Вот, братишка, получай пять рублей и отстань, сделай милость. Работать мешаешь... Раньше как через неделю на глаза не показывайся.

— Ладно, — сказал нищий, рассматривая на свет полученные деньги. — Пускай так. Значит, это за неделю вперед? Хорошо-с, прощайте...

Через неделю ровно нищий снова появился. Он поздоровался со мной, как со старым знакомым, за руку. Спросил, чего пишу и сколько я получаю за работу — подневно или как.

Я дал ему пятерку, он кивнул мне головой, потряс мою руку и ушел.

И всякую неделю, по пятницам, приходил он ко мне, получал свою пятерку, жал мне руку и уходил. Иногда, впрочем, присаживался на кровать и интересовался политическими новостями и литературой.

А раз как-то, получив деньги, он помялся у двери и сказал:

— Прибавить, гражданин, нужно. По курсу чтобы... Невыгодно мне... Рубль падает...

Я посмеялся над его нахальством, но прибавил:

— Вот, — говорю, — еще два рубля — не могу больше.

— Ну что ж, — говорит, — пушай так. Ладно.

Он спрятал деньги в карман, поговорил со мной о финансах Республики и ушел, громко стуча американскими сапожниками.

Наконец, на днях это было, он приходит ко мне. Денег у меня не было.

— Нету, — говорю, — братишка, сейчас. Извини. В другой раз зайди.

— Как, — говорит, — в другой раз? Договор дороже денег... Плати сейчас.

— Да как же, — говорю, — ты можешь требовать?

— Да нет, плати сейчас. Я, — говорит, — не согласен ждать. Я, — говорит, — могу в инспекцию заявить. Нынче вас за это не погладят по головке... Довольно.

Посмотрел я на него — нет, не шутит. Говорит серьезно, обидчиво, кричать даже начал на меня.

— Послушай, — говорю, — дурья голова, сам посуди, ну можешь ли ты с меня требовать?

— Да нет, — говорит, — ничего не знаю. Пушай тогда инспекция разбирается.

Занял я у соседа семь рублей — дал нищему. Он взял деньги и, не прощаясь, даже не кивнув мне головой, ушел.

Больше он ко мне не приходил — наверное, обиделся.

Сторож авиационной школы

Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню.

— Ну что ж, товарищ Косоносов, — говорили ему приятели перед отъездом, — поедете, так уж вы, тово, поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам: вот, мол, авиация развивается... Может, мужички на аэроплан сложатся.

— Это будьте уверены, — говорил Косоносов, — поагитирую. Что другое, а уж про авиацию, не беспокойтесь, скижу.

В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в совет.

— Вот, — сказал, — желаю поагитировать. Как я есть приехавши из города, так нельзя ли собрание собрать?

— Что ж, — сказал председатель, — валяйте, завтра соберу мужичков.

На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая.

Григорий Косоносов вышел к ним, поклонился и, с непривычки робея, начал говорить дрожащим голосом.

— Так вот, этово... — сказал Косоносов, — авиация, то-варищи крестьяне... Как вы есть народ, конечно, темный, то, этово, про политику скажу... Тут, скажем, Германия, и тут Керзон. Тут Россия, а тут... вообще...

— Это ты про что, милый? — не поняли мужички.

— Про что? — обиделся Косоносов. — Про авиацию я. Развивается, этого, авиация... Тут Россия, а тут Китай.

Мужички слушали мрачно.

— Не задерживай! — крикнул кто-то сзади.

— Я не задерживаю, — сказал Косоносов. — Я про

авиацию... Развивается, товарищи крестьяне. Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю...

— Непонятно! — крикнул председатель. — Вы, товарищ, ближе к массам...

Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал:

— Так вот, этово, товарищи крестьяне... Строят еропланы и летают после. По воздуху то есть. Ну, иной, конечно, не удержится — бабахнет вниз. Как это летчик товарищ Ермилкин. Взлететь взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь...

— Не птица ведь, — сказали мужики.

— Я же и говорю, — обрадовался Косоносов поддержке, — известно — не птица. Птица — та упадет, ей хоть бы хрен — отряхнулась и дальше... А тут накось, выкуси... Другой тоже летчик, товарищ Михаил Иванович Попков. Полетел, все честь честью, бац — в моторе порча... Как бабахнет...

— Ну? — спросили мужики.

— Ей-богу. А то один на деревья сверзился. И висит, что маленький. Испужался, блажит, умора... Разные бывают случаи... А то раз у нас корова под пропеллер сунулась. Раз-раз, чик-чик — и на кусочки. Где роги, а где вообще брюхо — разобрать невозможно... Собаки тоже, бывает, попадают.

— И лошади? — спросили мужики. — Неужто и лошади, родимый, попадают?

— И лошади, — сказал Косоносов. — Очень просто.

— Ишь, сволочи, вред им в ухо, — сказал кто-то. — До чего додумались! Лошадей крошить... И что ж, милый, развивается это?

— Я же и говорю, — сказал Косоносов, — развивается, товарищи крестьяне... Вы, этово, соберитесь миром и жертвуйте.

— Это на что же, милый, жертвовать? — спросили мужики.

— На ероплан, — сказал Косоносов.

Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.

Егор Иваныч, по фамилии Глотов,

мужик из деревни Гнилые Прудки, два года копил деньги на лошадь. Питался худо, бросил махорку, а что до самого-ни, то забыл, какой и вкус в нем. То есть как ножом отрезало — не помнит Егор Иваныч, какой вкус, хоть убей.

А вспомнить, конечно, тянуло. Но крепился мужик. Очень уж ему нужна была лошадь.

«Вот куплю, — думал, — лошадь и клюкну тогда. Будете покойны».

Два года копил мужик деньги и на третий подсчитал свои капиталы и стал собираться в путь.

А перед самым уходом явился к Егору Иванычу мужик из соседнего села и предложил купить у него лошадь. Но Егор Иваныч предложение это отклонил. И даже испугался.

— Что ты, батюшка! — сказал он. — Я два года солому жрал — ожидал покупки. А тут накося — купи у него лошадь. Это вроде как и не покупка будет... Нет, не пугай меня, браток. Я уж в город лучше поеду. По-настоящему чтобы.

И вот Егор Иваныч собрался. Завернул деньги в портянку, натянул сапоги, взял в руки палку и пошел.

А на базаре Егор Иваныч тотчас облюбовал себе лошадь.

Была эта лошадь обыкновенная, мужицкая, с широко раздутым животом. Масти она была неопределенной — вроде сухой глины с навозом.

Продавец стоял рядом и делал вид, что он ничуть не заинтересован, купят ли у него лошадь.

Егор Иваныч повертел ногой в сапоге, ощупал деньги и, любовно поглядывая на лошадь, сказал:

— Это что ж, милый, лошадь-то, я говорю, это самое, продаешь али нет?

— Лошадь-то? — небрежно спросил торговец. — Да уж продаю, ладно. Конечно, продаю.

Егор Иваныч тоже хотел сделать вид, что он не нуждается в лошади, но не утерпел и сказал, сияя:

— Лошадь-то мне, милый, вот как требуется. До зарезу нужна мне лошадь. Я, милый ты мой, три года солому жрал, прежде чем купить ее. Вот как мне нужна лошадь... А какая между тем цена будет этой твоей лошади? Только деловыми говори.

Торговец сказал цену, а Егор Иваныч, зная, что цена эта не настоящая и сказана, по правилам торговли, так, между прочим, не стал спорить. Он принялся осматривать лошадь. Он неожиданно дул ей в глаза и в уши, подмигивая, прищелкивая языком, виляя головой перед самой лошадиной мордой и до того запугал тихую клячу, что та, невозмутимая до сего времени, начала тихонько лягаться, не стараясь, впрочем, попасть в Егор Иваныча.

Когда лошадь была осмотрена, Егор Иваныч снова ощупал деньги в сапоге и, подмигнув торговцу, сказал:

— Продается, значит... лошадь-то?

— Можно продать, — сказал торговец, несколько обижаясь.

— Так... А какая ей цена-то будет? Лошади-то?

Торговец сказал цену, и тут начался торг.

Егор Иваныч хлопал себя по голенищу, дважды снимал сапог, вытаскивая деньги, и дважды надевал снова, божился, вытирал рукой слезы, говорил, что он шесть лет лопал солому и что ему до зарезу нужна лошадь — торговец сбавлял цену понемногу. Наконец в цене сошлись.

— Бери уж, ладно, — сказал торговец. — Хорошая лошадь. И масть крупная, и цвет, обрати внимание, какой заманчивый.

— Цвет-то... Сомневаюсь я, милый, в смысле лошадиного цвету, — сказал Егор Иваныч. — Неинтересный цвет... Сбавь немного.

— А на что тебе цвет? — сказал торговец. — Тебе что, пахнуть цветом-то?

Сраженный этим аргументом, мужик оторопело посмотрел на лошадь, бросил шапку наземь, задавил ее ногой и крикнул:

— Пушай уж, ладно!

Потом сел на камень, снял сапог и вынул деньги. Он долго и с сожалением пересчитывал их и подал торговцу, слегка отвернув голову. Ему было невыносимо смотреть, как скрюченные пальцы разворачивали его деньги.

Наконец торговец спрятал деньги в шапку и сказал, обращаясь уже на «вы»:

-- Ваша лошадь... Ведите...

И Егор Иваныч повел. Он вел торжественно, цокал языком и называл лошадь Маруськой. И только когда прошёл площадь и очутился на боковой улице, понял, какое событие произошло в его жизни. Он вдруг скинул с себя шапку и в восторге стал давить ее ногами, вспоминая, как хитро и умно он торговался. Потом пошел дальше, размахивая от восторга руками и бормоча:

— Купил!.. Лошадь-то... Мать честная... Опутал его... Торговца-то...

Когда восторг немного утих, Егор Иваныч, хитро смеясь себе в бороду, стал подмигивать прохожим, приглашая их взглянуть на покупку. Но прохожие равнодушно проходили мимо.

«Хоть бы землячка для сочувствия... Хоть бы мне землячка встретить», — подумал Егор Иваныч.

И вдруг увидел малознамого мужика из дальней деревни.

— Кум! — закричал Егор Иваныч. — Кум, поди-кось поскорей сюда!

Черный мужик нехотя подошел и, не здороваясь, посмотрел на лошадь.

— Вот... Лошадь я, этово, купил! — сказал Егор Иваныч.

— Лошадь, — сказал мужик и, не зная, чего спросить, добавил: — Стало быть, не было у тебя лошади?

— В том-то и дело, милый, — сказал Егор Иваныч, — не было у меня лошади. Если б была, не стал бы я трепаться. Пойдем, я желаю тебя угостить.

— Вспрыснуть, значит? — спросит земляк, улыбаясь. — Можно. Что можно, то можно... В «Ягодку», что ли?

Егор Иваныч качнул головой, хлопнул себя по голенищу и повел за собой лошадь. Земляк шел впереди.

Это было в понедельник. А в среду утром Егор Иваныч возвращался в деревню. Лошади с ним не было. Черный мужик провожал Егор Иваныча до немецкой слободы.

— Ты не горюй, — говорил мужик. — Не было у тебя лошади, да и эта не лошадь. Ну, пропил — эка штука. Зато, браток, вспрыснул. Есть что вспомнить.

Егор Иванович шел молча, сплевывая длинную желтую слюну. И только когда земляк, дойдя до слободы, стал прощаться, Егор Иванович сказал тихо:

— А я, милый, два года солому лопал... Зря...

Земляк сердито махнул рукой и пошел назад.

— Стой! — закричал вдруг Егор Иванович страшным голосом. — Стой! Дядя... милый!

— Чего надо? — строго спросил мужик.

— Дядя... милый... братишка, — сказал Егор Иванович, моргая ресницами. — Как же это? Два года ведь солому зря лопал... За какое самое... За какое самое это... вином торгуют?

Земляк махнул рукой и пошел в город.

Жертва революции

Ефим Григорьевич снял сапог

и показал мне свою ногу. На первый взгляд ничего в ней особенного не было. И только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины.

— Заживают, — с сокрушением сказал Ефим Григорьевич. — Ничего не поделаешь — седьмой год все-таки пошел.

— А что это? — спросил я.

— Это? — сказал Ефим Григорьевич. — Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Ну и, мол, кровь проливал и собой жертвовал. Ну а у меня все-таки явные признаки. Признаки не сокрут... Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой — я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен революционным мотором.

Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал:

— Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так чтобы как прохожий или там какая-нибудь мелкая пешка, по своей невнимательности или слабости зрения, напротив — я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию. Вы бывшего графа Орешина не знали?

— Нет.

— Ну так вот... У этого графа я и служил. В полотерах... Хочешь не хочешь, а два раза натри им пол. А один раз,

конечно, с воском. Очень графы обожали, чтобы с воском. А по мне, так наплевать — только расход лишний. Хотя, конечно, блеск получается. А графы были очень богатые и в этом смысле себя не урезывали.

Так вот такой был, знаете ли, случай: натер я им полы, скажем, в понедельник, а в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция, а во вторник, за четыре дня до революции, бежит ко мне ихний швейцар и зовет:

— Иди, — говорит, — кличут. У графа, — говорит, — кража и пропажа, а на тебя подозрение. Живо! А не то тебе голову отвернут.

Я пиджачишко накинул, похряпал на дорогу — и к ним. Прибегаю. Вваливаюсь, натурально, в комнаты. Гляжу — сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками бьет.

Увидела она меня и говорит сквозь слезы:

— Ах, — говорит, — Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики, девяносто шестой пробы, обсыпанные брильянтами?

— Что вы, — говорю, — что вы, бывшая графиня! На что, — говорю, — мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, — говорю. — Извините за выражение.

А она рыдает.

— Нет, — говорит, — не иначе как вы сперли, комси-комса.

И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает:

— Я, — говорит, — чересчур богатый человек, и мне раз плюнуть и растереть ваши бывшие часики, но, — говорит, — это дело я так не оставлю. Руки, — говорит, — свои я не хочу пачкать о ваше хайло, но подам ко взысканию, комси-комса. Ступай, — говорит, — отселева.

Я, конечно, посмотрел в окно и вышел.

Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики.

И лежу я день и два — пищу перестал вкушать и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики.

И вдруг — на пятый день — как ударит меня что-то в голову.

Батюшки, думаю, да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре, думал, медальон, и пихнул.

Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав кофе, побежал на улицу. А жил бывший граф на Офицерской улице.

И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? С чего бы это, думаю.

Спрашиваю у прохожих. Отвечают:

— Вчера произошла Октябрьская революция.

Поднажал я — и на Офицерскую.

Прибегаю к дому. Толпа. И тут же мотор стоит. И сразу меня как-то осенило: не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит... Ну ладно. Подошел я ближе, спрашиваю:

— Чего тут происходит?

А это, говорят, мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем. Ликвидируем этот класс.

И вдруг вижу я — ведут. Бывшего графа ведут в мотор. Настолкал я народ, кричу:

— В кувшинчике, — кричу, — часики ваши, будь они прокляты! В кувшинчике с пудрой.

А граф, стерва, нуль на меня внимания и садится.

Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как зашуршит в тую минуту, как пихнет меня колесьями в сторону.

Ну, думаю, есть одна жертва.

Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел сапог и сказал:

— Вот-с, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал в свое время и являюсь, так сказать, жертвой революции. Конечно, я не то чтобы этим задаюсь, но я не позволю никому над собой издеваться. А между прочим, председатель жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных метрах, да еще тое место, где комод стоит, — тоже. Да еще издевается: под комодом, говорит, у вас расположено около полметра пола. А какие же это полметра, ежели это место комодом занято? А комод — хозяйский.

Приятная встреча

Счастливый предприниматель

Матвей Иванович Перетыкин вошел в купе мягкого вагона. Место у окна было занято. Какой-то бритый гражданин в кожаной фуражке сидел, облокотившись на подушку.

«Жаль, — подумал Перетыкин. — Придется ехать с этой личностью. Интересно знать — кто такой... Партийный, наверное... Фуражка кожаная, бритый... Ишь, развалился».

Перетыкин сел на диван. Гражданин в кожаной фуражке читал газету.

«Гм, — подумал Перетыкин, осматривая соседа, — комиссарствует... В мягких вагонах катается... Чулочки-то какие — лиловые... Какая-нибудь важная шишка».

— Виноват, — пробормотал бритый, протягивая ноги.

— Ничего-с, — сказал Матвей Иванович. — Вы, товарищ, протяните удобней ноги... Мне ничего это, не мешает...

Бритый снова углубился в газету. Полчаса ехали молча.

— Извиняюсь, товарищ, — сказал вдруг Перетыкин, — вы изволите в Москву?

— В Москву...

— Так-с... Разрешите, уважаемый товарищ, полюбопытствовать, чего хорошего в газетах пишут? Я, знаете ли, последнее время воздухоплаванием интересуюсь...

— Что?

— Я, говорю, интересуюсь вопросами авиации... Не правда ли, уважаемый товарищ, это важнейший вопрос современной политики? И какое мощное явление, какой народный подъем: все фабрики, все учреждения, каждый

гражданин — жертвует на воздушный флот... Годика через два мы будем обладать десятками тысяч аэропланов...

— М-м, — сказал незнакомец. Перетыкин приятно улынулся.

— С таким мощным флотом мы черт его знает что можем сделать. Мы можем любые условия продиктовать державам. Англию можем в кулак сжать. Ага, дескать, не нравятся вам звуки «Интернационала»? Ноты посылать? А не хотите ли, сто аэропланов с бомбами на вас пошлем?.. Хе-хе.

— Да, это верно...

— Еще бы не верно! — воскликнул Перетыкин. — Правительство гениально поступает... Обладая столь обширным флотом, мы...

Человек в кожаной фуражке беспокойно посмотрел на Перетыкина.

— Я извиняюсь, — сказал он, — вы давно изволите состоять в партии?..

— Я? — засмеялся Перетыкин. — Я, уважаемый товарищ, не состою в партии. Но я, уважаемый товарищ, так сказать, вполне на платформе... Я вот как увижу, например, кожаную фуражку — так совершенно дрожу от восхищения... Здоровый, крепкий народ...

— Да, да, — забормотал незнакомец, — совершенно верно...

— Да-с, — сказал Перетыкин восхищенно, — я, знаете ли, дорогой товарищ, еще с детства отличался склонностью к левым взглядам... На меня в училище пальцами даже показывали — вон, дескать, идет Перетыкин... То есть, так сказать, главный зачинщик и бунтовщик. Я даже раз, знаете ли, образ снял и спрятал в порты...

— Образ? — спросил незнакомец. — Вот у нас давеча в магазине тоже образ сняли...

— То есть как в магазине? — спросил Перетыкин. — Вы изволите состоять в каком-нибудь государственном тресте?

— Да нет, — сказал незнакомец, — зачем в тресте?.. В магазине... Мы портерную держим...

— Портерную? Так вы, значит... Так вы тово... Непартийный? Чего же вы распелись?

— Кто распелся? — сказал бритый. — Это вы распелись... Флот, могущество!.. Подумаешь...

— Да и вы тоже хороши — поддакивает, как идиот... Уберите ваши паршивые ноги с дивана, или я проводника позову...

— Что? Паршивые ноги? Возьмите свои слова назад!

— Видал! — сказал Перетыкин, делая кукиш. — Думает — надел кожаную фуражку, так и государственный человек! Только в сомнение людей вводит... Идиот...

— Вы сами идиот! — сказал бритый. — Вы сами начали... Флот, Англию в кулак!.. Кого? Англию? Да Англия, ежели захочет, ногтем вас придавит... Флот! Подумаешь... Десяток паршивых аэропланов сделают и думают, что весь мир победили.

— Да, — сказал Перетыкин, — это верно. Да и сделают ли? Откуда они моторы возьмут?

— Вот именно, — сказал человек в кожаной фуражке, — откуда они возьмут? Сами, что ли, сделают?

— А если и сделают, — подхватил Перетыкин, — то куда они будут годны? Курам на смех. Давеча мой племянник поднимался с аэродрома за плату... Зря, говорит, деньги бросил. Кроме, говорит, крыльев — ни черта не видел. А другой, знаете ли, и крыльев не увидит — мотор трещит, стучит...

— Или еще тоже на колбасе поднимаются, — сказал бритый. — На Марсовом. Тоже зря деньги огребают. Ну, поднялся, а дальше что... Без мотора не уедешь.

— И вид, наверное, пустяковый с колбасы? — воскликнул Перетыкин.

— Да какой же вид! Смешно. Я Казанский собор вблизи могу рассмотреть. Чего я, как идиот, на колбасу полезу... Авиация тоже! Нельзя же так, господа!

— Вот именно! — воскликнул Перетыкин. — Пустяки затеяли с этой авиацией...

Через полчаса бритый гражданин спал, надвинув на глаза кожаную фуражку. Ноги бритого гражданина упирались в колени Перетыкина.

— Ничего-с, — бормотал Перетыкин, — вы протянитесь поудобнее... Очень приятно познакомиться... Очень приятная встреча!

Ч^а днях женился Егорка Басов.

Взял он бабу себе здоровую, мордастую, пудов на пять весом. Вообще, повезло человеку.

Перед тем Егорка Басов три года ходил вдовцом — никто не шел за него. А сватался Егорка чуть не к каждой. Даже к хромой солдатке из местечка. Да дело расстроилось из-за пустяков.

Об этом сватовстве Егорка Басов любил поговорить. При этом врал он невероятно, всякий раз сообщая все новые и удивительные подробности.

Все мужики наизусть знали эту историю, но при всяком удобном случае упрашивали Егорку рассказать сначала, заранее давась от смеха.

— Так как же ты, Егорка, сватался-то? — спрашивали мужики, подмигивая.

— Да так уж, — говорил Егорка, — обмишурился.

— Заторопился, что ли?

— Заторопился, — говорит Егорка. — Время было, конечно, горячее — тут и косить, тут и носить, и хлеб собирать. А тут, братцы мои, помирает моя баба. Сегодня она, скажем, свалилась, а завтра ей хуже. Мечется, и бредит, и с печки падает.

— Ну, — говорю я ей, — спасибо, Катерина Васильевна, без ножа вы меня режете. Не вовремя помирать решили. Потерпите, — говорю, — до осени, а осенью помирайте.

А она отмахивается.

Ну, позвал я, конечно, лекаря. За пуд овса. Лекарь пересыпал овес в свой мешок и говорит:

— Медицина, — говорит, — бессильна что-либо предпринять. Не иначе как помирает ваша бабочка.

— От какой же, — спрашиваю, — болезни? Извините за нескромный вопрос.

— Это, — говорит, — медицине опять-таки неизвестно.

Дал все-таки лекарь порошки и уехал.

Положили мы порошки за образа — не помогает Брендит баба, и мечется, и с печки падает. И к ночи помирает.

Взвыл я, конечно. Время, думаю, горячее — тут и носить, тут и косить, а без бабы немислимо. Чего делать — неизвестно. А ежели, например, жениться, то опять-таки на ком это жениться? Которая, может, и пошла бы, да неловко ей наспех. А мне требуется наспех.

Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал.

Приезжаю в местечко. Хожу по знакомым.

— Время, — говорю, — горячее, разговаривать много не приходится, нет ли, — говорю, — среди вас какой ни на есть захудалой бабочки, хотя бы слепенькой. Интересуюсь, — говорю, — женитьбой.

— Есть, — говорят, — конечно, но время горячее, браком никто не интересуется. Сходите, — говорят, — к Ани-сье, к солдатке, может, ту обломаете.

Вот я и пошел.

Прихожу. Смотрю — сидит на сундуке баба и ногу чешет.

— Здравствуйте, — говорю. — Перестаньте, — говорю, — чесать ногу — дело есть.

— Это, — отвечает, — одно другому не мешает.

— Ну, — говорю, — время горячее, спорить с вами много не приходится: вы да я — нас двое, третьего не требуется, окрутимся, — говорю, — и завтра выходите на работу снопы вязать.

— Можно, — говорит, — если вы мной интересуетесь.

Посмотрел я на нее. Вижу — бабочка ничего, что надо, плотная, и работать может.

— Да, — говорю, — интересуюсь, конечно. Но, — говорю, — ответьте мне, все равно как на анкету, сколько вам лет от роду?

— А лет, — отвечает, — не так много, как кажется. Лета мои не считаны. А год рождения, сказать — не соврать, одна тыща восемьсот восемьдесят шестой.

— Ну, — говорю, — время горячее, долго считать не приходится. Ежели не врите, то ладно.

— Нет, — говорит, — не вру, за вранье бог наказывает. Собирайтесь, что ли?

— Да, — говорю, — собирайтесь. А много ли имеете вещичек?

— Вещичек, — говорит, — не так много: дыра в кармане да вошь на аркане. Сундучок да перина.

Изяли мы сундучок и перину на телегу. Прихватил я еще горшок и два полена, и поехали.

Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундучке приселась и планы решает — как жить будет, да чего ей стрипать, да не мешало бы, дескать, в баньку сходить — три года не хожено.

Наконец приехали.

— Вылезайте, — говорю.

Вылезает бабочка с телеги. Да смотрю, как-то неинтересно вылезает — боком и вроде бы хромает на обе ноги. Фу ты, думаю, глупость какая!

— Что вы, — говорю, — бабочка, вроде бы хромаете?

— Да нет, — говорит, — это я так, кокетничаю.

— Да как же, помилуйте, так? Дело это серьезное, ежели хромаете. Мне, — говорю, — в хозяйстве хромать не требуется.

— Да нет, — говорит, — это маленько на левую ногу. Полвершка, — говорит, — всего и нехватка.

— Пол, — говорю, — вершка или вершок — это, — говорю, — не речь. Время, — говорю, — горячее — мерить не приходится. Но, — говорю, — это немисливо. Это и воду понесете — расплескаете. Извините, — говорю, — обмиснурилсис.

— Нет, — говорит, — дело заматано.

— Нет, — говорю, — не могу. Все, — говорю, — подходит: и мордovorот ваш мне нравится, и лета — одна тыща восемьсот восемьдесят шесть, но не могу. Извините — промисгал ногу.

Стала тут бабочка кричать и чертыхаться, драться, конечно, полезла, не без того. А я тем временем выношу полегоньку имущество на двор.

Съездила она меня раз или два по морде — не считал, и после и говорит:

— Ну, — говорит, — стручок, твое счастье, что заметил. Вези, — говорит, — назад.

Сели мы в телегу и поехали.

Только не доехали, может, семи верст, как взяла меня ужасная злоба.

Время, думаю, горячее, разговаривать много не придется, а тут извольте развозить невест по домам.

Скинул я с телеги ейное имущество и гляжу, что будет. А бабочка не усидела и за имуществом спрыгнула. А я повернул кобылку — и к лесу.

А на этом дело кончилось.

Как она домой дошла с сундуком и с периной, мне неизвестно. А только дошла. И через год замуж вышла. И теперь на сносях.

Одной раз хочется подойти

к незнакомому человеку и спросить: ну, как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое.

С тех пор как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю.

Иные шуточкой на это отшучиваются — дескать, живу — хлеб жую. Иные врать начинают — дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по шестому разряду, семьей доволен.

И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. А ответил мне дорогой мой приятель, Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик. Человек сам немудреный. И с бородой.

— Счастье-то? — спросил он меня. — А как же, обязательно счастье было.

— Ну, и что же, — спросил я, — большое счастье было?

— Да уж большое оно или оно маленькое — неизвестно, а только оно на всю жизнь запомнилось.

Иван Фомич выкурил две папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать.

— А было это, дорогой товарищ, лет, может, двадцать или двадцать пять назад. И был я тогда красивый и молодой, усики носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье привалит. А года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дите ро-

дила. И как жена в свое время скончалась. И как дите тоже скончалось. Все шло тихо и гладко. И особенного счастья в этом не было.

Ну а раз, 27 ноября, вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю.

Сижу и пью с блюдечка. И думаю: вот, дескать, года идут своим чередом, а счастья-то и незаметно.

И только я так подумал — слышу разные возгласы. Оборачиваюсь — хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть. А его хозяин из-за столика выбивает и не позволяет сесть.

— Нету, — кричит, — вашему брату солдату не дозволено в трактирах за столики присаживать. Мне за его штраф плати. Ступай себе, милый.

А солдат пьяный и все присаживается. А хозяин его выбивает. А солдат родителей вспоминает.

— Я, — кричит, — такой же, как и не вы! Желаю за столик присесть.

Ну, посетители помогли — выперли солдата. А солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стекло. И теку.

А стекло зеркальное — четыре на три, и цены ему нету.

У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть.

— Что ж это, — кричит, — граждане? Разорил меня солдат. Сегодня суббота, завтра воскресенье — два дня без стекла. Стекольщика враз не найти, и без стекла посетители обижаются.

А посетители, действительно, обижаются:

— Дует, — говорят, — из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут эвон дыра какая.

Вдруг я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкою чайник, чтоб он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину.

— Я, — говорю, — любезный коммерсант, стекольщик.

Ну, обрадовался он, пересчитал в кассе деньги и спрашивает:

— А сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить?

— Нету, — говорю, — любезный коммерсант, из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло четыре на

три. А цена тому зеркальному стеклу будет семьдесят пять целковых и бой мне. Цена, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса.

— Что ты, — говорит хозяин, — объелся? Садись, — говорит, — обратно за столик и пей чай. За такую, — говорит, — сумму я лучше периной заткну отверстие.

И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину.

И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается то наружу, то вовнутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются — дескать, темно, и некрасиво чай пить.

А один, спасибо, встает и говорит:

— Я, — говорит, — на перину и дома могу глядеть, на что мне ваша перина?

Ну, хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом и дает деньги.

Чаю я не стал допивать, зажал деньги в руку и побежал.

Прибегаю в стекольный магазин — магазин закрывается. Умоляю и прошу — впустили.

И все, как я и думал, и даже лучше: стекло четыре на три тридцать пять рублей, за переноску — пять, итого сорок.

И вот стекло вставлено.

Допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку, после — рататуй. Съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. А в руке чистых тридцать рублей. Хочешь — на них пей, хочешь — на что хочешь.

Эх и пил же я тогда! Два месяца пил. И покупки, кроме того, сделал: серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег.

Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьешко. Но только раз. А вся остальная жизнь текла ровно, и большого счастья не было.

Иван Фомич замолчал и снова, неизвестно для чего, подмигнул мне.

Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни такого счастья не было.

Впрочем, может, я не заметил.

Вечеринка кончилась поздно.

Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном:

— Обождите, радость моя... Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле... Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое, а вы идете... Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши... Так и захворать очень просто по морозу...

— Нет, — сказала Машенька, надевая калоши. — И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?

— Тык я вспотевши же, — говорил Вася, чуть не плача.

— Ну одевайтесь!

Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку.

Было холодно. Светила луна. И под ногами скрипел снег.

— Ах, какая вы беспокойная дамочка, — сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль. — Не будь вы, а другая — ни за что бы не пошел провожать. Вот, ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошел.

Машенька засмеялась.

— Вот вы смеетесь и зубки скалите, — сказал Вася, — а я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы, и лежите до первого трамвая — и лягу. Ей-богу...

— Да бросьте вы, — сказала Машенька, — посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам! Какая чудная красота!

— Да, замечательная красота, — сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома. — Действительно, очень красота... Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства... Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой моей смерти и до самопожертвования. Ей-богу... Вот скажите: ударюсь. Илья Чесноков, затылком об эту стенку — ударюсь.

— Ну, поехали, — сказала Машенька не без удовольствия.

— Ей-богу, ударюсь. Желаете?

Парочка вышла на Крюков канал.

— Ей-богу, — снова сказал Вася, — хотите вот — брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу доказать...

Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что летит.

— Ах! — закричала Машенька. — Вася! Что вы!

Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря.

— Чего разорались? — тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.

Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке. Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.

— Ну ты, мымра, — сказал человек глухим голосом. — Скидавай пальто. Да живо! А пикнешь — стукну по балде, и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай!

— Па-па-па... — сказал Вася, желая этим сказать: пожалуйста, как же так?

— Ну! — человек потянул за борт шубы.

Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.

— И сапоги тоже сымай! — сказал человек. — Мне и сапоги требуются.

— Па-па-па... — сказал Вася, — пожалуйста... мороз...

— Ну!

— Даму не трогаєте, а мене — сапоги снимай, — проговорил Вася обидчивым тоном. — У ей и шуба, и калоши, а я сапоги снимай.

Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал:

— С ее снимешь, понесешь узлом — и засыпался. Знаю, что делаю. Снял?

Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.

— У ей и шуба, — снова сказал Вася, — и калоши, а я отдувайся за всех...

Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал:

— Сиди и не двигайся и зубами не колоти. А ежели крикнешь или двинешься — пропал. Понял, сволочь? И ты, дамочка.

Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез.

Вася обмяк, скис и, кулем сидя на снегу, с недоверием посматривал на свои ноги в белых носках.

— Дождались, — сказал он, со злобой взглянув на Машеньку. — Я же ее провожай, я и имущества лишайся. Да?

Когда шаги грабителя стали совершенно не слышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким, пронзительным голосом:

— Караул! Грабят!

Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.

Фома неверный

Фома Крюков три года не получал

от сына писем, а тут, извольте — получайте, Фома Петрович, из города Москвы, от родного сына пять целковых.

«Ишь ты, — думал Фома, рассматривая полученную повестку. — Другой бы сын небось три рубля отвалил бы, и хвтит. А тут извольте — пять целковых. При таком обороте рублишко и пропить можно».

Фома Крюков попарился в бане, надел чистую рубаху, выпил полбутылки самогона и поехал на почту.

«Скажи на милость, — думал Фома дорогой, — пять целковых! И чего только не делается на свете! Батюшки светы! Царей нету, ничего такого нету, мужик в силе. Сын-то, может, державой правит... По пять рублей денег отцу отваливает... Или врут люди насчет мужиков-то? Ой, врут! Сын-то, может, в номерных, в гостинице служит!»

Фома приехал на почту, подошел к прилавку и положил извещение.

— Деньги, — сказал Фома, — деньги мне от сына доплатить.

Кассир порывлся в бумагах и положил на прилавок полчервонца.

— Так! — сказал Фома. — А письма мне сын не пишет?

Кассир ничего не ответил и отошел от прилавка.

«Не пишет, — подумал Фома. — Может, после напишет. Можем ждать, если, скажем, есть деньги».

Фома взял деньги, посмотрел на них с удивлением и вдруг стукнул ладонью по прилавку.

— Эй, дядя! — закричал Фома. — Каки деньги сушь-то, гляди?!

— Какие деньги? — сказал кассир. — Новые деньги...

— Новые? — переспросил Фома. — Может, они, это са-

мое, липовые, а? Думаешь, выпившему человеку все сунуть можно? Знаки-то где?

Фома посмотрел на свет, повертел в руке, потом опять посмотрел.

— Ну? — с удивлением сказал Фома. — Это кто там такой есть? Изображен-то... Не мужик ли? Мужик. Ей-богу, мужик. Ну? Не врут, значит, люди. Мужик изображен на деньгах-то. Неужели же не врут? Неужели же мужик в такой силе?

Фома снова подошел к прилавку.

— Дядя, — сказал Фома, — изображен-то кто? Извини за слова...

— Уходи, уходи! — сказал кассир. — Получил деньги и уходи к лешему... Где изображен-то?

— Да на деньгах!

Кассир посмотрел на мужика и сказал, усмехаясь:

— Мужик изображен. Ты, ваше величество, заместо царя изображен. Понял?

— Ну? — сказал Фома. — Мужик? А как же это я, дядя, ничего не знаю и ничего не ведаю? И землю пахаю. И все у нас пахают и не ведают.

Кассир засмеялся.

— Ей-богу, — сказал Фома. — Действительно, подтверждают люди: деятели, говорят, теперь крестьянские. И крестьянство в почете. А как на деле, верно ли это или врут люди — неизвестно... Но если на деньгах портрет... Неужели же не врут?

— Ну, уходи, уходи, — снова сказал кассир. — Не путайся тут.

— Сейчас, — сказал Фома. — Деньги только дай спрятать, с портретом, ха... А я, дядя, имей в виду, царей этих самых и раньше не любил... Ей-богу...

Фома с огорчением посмотрел на сердитого кассира и вышел. «Скажи, пожалуйста, — думал Фома, — портрет выводят... Неужели же мужику царский почет?»

Фома погнал лошадь, но у леса вдруг повернул назад и поехал в город.

Остановился Фома у вокзала, привязал лошадь к забору и вошел в помещение.

Было почти пусто. У дверей, положив под голову мешок, спал какой-то человек в мягкой шляпе.

Фома купил на две копейки семечек и присел на окно, но, посидев минуту, подошел к спящему и вдруг крикнул:

— Эй, шляпа, слазь со скамьи! Мне сесть надо...

Человек в шляпе раскрыл глаза, оторопело посмотрел на Фому и сел. И, зевая и сплевывая, стал свертывать папироску. Фома присел рядом, подвинул мешок и стал со вкусом жевать семечки, сплевывая шелуху на пол.

«Не врут, — думал Фома. — Почет все-таки заметный. Слушают. Раньше, может, в рожу бы влепили, а тут слушают, пугаются. Ишь ты, как все случилось, незаметно приключилось... Скажи на милость... Не врут».

Фома встал со скамьи и с удовольствием прошелся по залу.

Потом подошел к кассе и заглянул в окошечко.

— Куда? — спросил кассир.

— Чего куда?

— Куда билет-то, дура голова?

— А никуда, — равнодушно сказал Фома, разглядывая помещение кассы. — Могу я посмотреть внутри кассу ай нет?

— А никуда, — сказал кассир, — так нечего и рыло зря пилить.

— Рыло? — обиженно сказал Фома. — Кому говоришь-то?

— Ишь, пьяная морда! — сердито сказал кассир. — Тоже в окно глядит... Черт серый...

Фома нагнулся к окошечку и вдруг плюнул в кассира и быстро пошел к выходу.

Фому схватили, когда он отвязывал лошадь. Он вырылся, кричал, пытался даже укусить сторожа за щеку, но его неумолимо волокли к дежурному агенту.

Там, слегка успокоившись, Фома пытался что-то объяснить, размахивал руками, вынимал из шапки деньги и предлагал агенту взглянуть на них.

Но агент, ежесекундно макая перо в пузырек, писал протокол об оскорблении действием кассира при исполнении служебных обязанностей. И еще о том, что Фома, находясь явно в нетрезвом виде, ел в закрытом помещении семечки и плевал на пол.

Фома поставил под протоколом крестик и, вздыхая и дергая головой, вышел из помещения.

Отвязал лошадь, сел в телегу, достал из шапки деньги и посмотрел на них. Потом махнул рукой и сказал:

— Врут, черти...

И погнал лошадь к дому.

В сельскую больницу Пелагея

приехала за тридцать верст. Выехала на рассвете и в полдень остановилась у белого одноэтажного дома.

— Хирург-то принимает? — спросила она мужика, сидящего на крыльце.

— Хирург-то? — с интересом спросил мужик. — А ты не больна ли будешь? Животом, что ли?

— Больна, — ответила Пелагея.

— Я, милая, тоже больной, — сказал мужик — Пшеном обьелся... Седьмым записан.

Пелагея привязала лошадь к плетню и вошла в больницу.

Больных принимал фельдшер Иван Кузьмич. Был он маленький, старенький и ужасно знаменитый. Все вокруг знали его, хвалили и называли без причины хирургом.

Пелагея вошла к нему в комнату, низко поклонилась и присела на край стула.

— Больна, что ли? — спросил Иван Кузьмич.

— Больна я, — сказала Пелагея. — То есть вся насквозь больная. Каждая косточка ноет и трясется. Сердце гниет заживо.

— С чего бы это? — равнодушно спросил фельдшер. — С каких пор?

— С осени, Иван Кузьмич. С самой осени. Осенью я заболела. Как, знаете ли, супруг Димитрий Наумыч приехал из города, так я и заболела. Я стою, например, возле стола и лепешки в муке валяю. Димитрий Наумыч любил эти самые лепешки. Где-то, думаю, он теперь. Димитрий Наумыч-то? В городе он. Советский — депутат...

— Позволь, бабонька, — сказал фельдшер, — ври, да не завирайся. Чем больна-то?

— Да я ж и говорю, — сказала Пелагея, — стою возле стола, кручу лепешки... Вдруг тетка Агафья, что баран, прибегает и рукой машет. «Иди, — кричит, — Пелагеюшки, иди поскорей. Твой-то никак приехал из города и идет будто по улице с мешком и с палкой». Зашлось у меня сердце. Подкосились ноги. Стою душой и лепешку мну... Бросила после лепешки, выбежала во двор. А во дворе солнце играет, играет. Воздух легкий. А налево, этак у хлева, желтый теленок стоит и хвостиком мух пугает. Взглянула я на теленка — слезы каплют. Вот, думаю, Димитрий Наумыч-то обрадуется этому самому желтому теленку...

— Позволь, — хмуро сказал фельдшер, — ты дело говори.

— Я ж и говорю, батюшка Иван Кузьмич. Не сердись только. Дело я говорю... Выбежала я за ворота. Гляжу этак, знаете ли, — налево церковь, коза клоповская ходит, петух ножкой ворошит, а направо, по самой серединке, гляжу — Димитрий Наумыч идет. Глянула я на него. Сердце закатилось, икота подступает. Ой, думаю, мать честная, пресвятая богородица! Ой, думаю, тошненько!

А он-то идет серьезным, мелким шагом. Борода по воздуху треплется. И платье городское на нем. И в штиблетах... Как увидела штиблеты, будто что оторвалось у меня внутри. Ой, думаю, куда ж я такая-то, необразованная, го-жусь ему в пару, если он, может, первый человек и депутат советский... Встала я душой у плетня и ногами не могу идти. Перебираю пальцами плетень и стою. А он-то, Димитрий Наумыч, депутат советский, доходит до меня мелким ходом и здоровается.

«Здравствуйте, — говорит, — Пелагея Максимовна. Сколько, — говорит, — лет, сколько зим не виделись с вами...»

Мне бы, дуре, мешок у Димитрия Наумыча схватить, а я гляжу на штиблеты и не двигаюсь. Ой, думаю, отвык от меня мужик. Штиблеты носит. С городскими, может, с комсомолками разговаривает.

А Димитрий Наумыч отвечает басом:

«Ох, — говорит, — Пелагея, Пелагея, такая-то ты есть. Темная, — говорит, — ты у меня, Пелагея Максимовна. Про что, — говорит, — я с тобой теперь разговаривать буду? Я, — говорит, — человек просвещенный и депутат советский. Я, — говорит, — может, четыре правила арифме-

тики насквозь знаю. Дробь, — говорит, — умею... А ты, — говорит, — вон какая! Небось, — говорит, — и фамилию не можешь подписывать на бумаге? Другой бы очень просто бросил бы тебя за темноту и необразованность».

А я стою у плетня и лепечу слова: дескать, конечно, Димитрий Наумыч, бросьте меня такую-то, что вам стоит.

А он берет меня за ручку и отвечает:

«Я шутку пошутил, Пелагея Максимовна. Оставьте думать. Я, — говорит, — это так. Что вы...»

Снова закатилось у меня сердце, икота подступает.

«Я, — говорю, — Димитрий Наумыч, будьте спокойны, тоже, конечно, могу дробь узнать и четыре правила. Или фамилию на бумаге подписывать. Я, — говорю, — не осрамлю вас, образованного...»

Фельдшер Иван Кузьмич встал со стула и прошелся по комнате.

— Ну, ну, — сказал он, — хватит, завралась... Чем болеешь-то?

— Болею-то? Да теперь ничего, Иван Кузьмич. Полегче будто теперь. На здоровье не могу пожаловаться... А он-то, Димитрий Наумыч, говорит: «Пощутил, — говорит, — я». Вроде как, значит, шутку он выразил.

— Ну да, пошутил, — сказал фельдшер. — Конечно. Порошков, может, тебе дать?

— А не надо, — сказала Пелагея. — Спасибо тебе, Иван Кузьмич, за советы. Мне ехать надо.

И Пелагея, оставив на столе кулек с зерном, пошла к двери. Потом вернулась.

— Дробь-то мне, Иван Кузьмич... Где мне про эту самую дробь-то теперь узнать? К учителю, что ли, мне ехать?

— К учителю, — сказал фельдшер, вздыхая, — конечно. Медицины это не касается.

Пелагея низко поклонилась и вышла на улицу.

Иван Кузьмич

Пелагея

Фельдшер

Димитрий Наумыч

Пелагея

Фельдшер

Димитрий Наумыч

Пелагея

На Страстной неделе бабка Фекла

сильно разорилась — купила за двугривенный свечку и поставила ее перед угодником.

Фекла долго и старательно прилаживала свечку поближе к образу. А когда приладила, отошла несколько поодаль и, любуясь на дело своих рук, принялась молиться и просить себе всяких льгот и милостей взамен истраченного двугривенного.

Фекла долго молилась, бормоча себе под нос всякие свои мелкие просьбишки, потом, стукнув лбом о грязный каменный пол, вздыхая и кряхтя, пошла к исповеди.

Исповедь происходила в алтаре за ширмой.

Бабка Фекла стала в очередь за какой-то древней старушкой и снова принялась мелко креститься и бормотать.

За ширмой долго не задерживали.

Исповедники входили туда и через минуту, вздыхая и тихонько откашливаясь, выходили, кланяясь угодникам.

«Торопится поп, — подумала Фекла. — И чего торопится? Не на пожар ведь. Торопыга какой...»

Фекла вошла за ширму, низко поклонилась попу и принялась к ручке.

— Как звать-то? — спросил поп, благословляя.

— Феклой зовут.

— Ну рассказывай, Фекла, — сказал поп, — какие грехи? В чем грешна? Не злословишь ли по-пустому? Не редко ли к Богу прибегаешь?

— Грешна, батюшка, конечно, — сказала Фекла, кланяясь.

— Бог простит, — сказал поп, покрывая Феклу епитрахилью. — В Бога-то веруешь ли? Не сомневаешься ли?

— В Бога-то верую. Конечно, — сказала Фекла. — Сын-то приходит, например, выражается, осуждает, одним словом... А я-то верую.

— Это хорошо, matka, — сказал поп. — Не поддавайся легкому соблазну. А чего, скажи, сын-то говорит? Как осуждает?

— Осуждает, — сказала Фекла. — Это, — говорит, — пустяки — ихняя вера. Нету, — говорит, — не существует Бога, хоть все небо и облака обыщи...

— Бог есть, — строго сказал поп. — Не поддавайся на это... А чего, вспомни, сын-то еще говорит?

— Да разное говорил.

— Разное! — сердито сказал поп. — А откуда все сие окружающее? Откуда планеты, звезды и луна, если Бога-то нет? Сын-то ничего такого не говорил — откуда, дескать, все сие окружающее? Не химия ли это?

— Не говорил, — сказала Фекла, моргая глазами.

— А может, и химия, — задумчиво сказал поп. — Может, matka, конечно, и Бога нету — химия все...

Бабка Фекла испуганно посмотрела на попа. Но тот положил ей на голову епитрахиль и стал бормотать слова молитвы.

— Ну иди, иди, — уныло сказал поп. — Не задерживай верующих.

Фекла еще раз испуганно оглянулась на попа и вышла, вздыхая и смиренно покашливая.

Потом подошла к своему уютничку, посмотрела на свечку, поправила обгоревший фитиль и вышла из церкви.

Богатая жизнь

Кустарь-переплетчик Спиридонов

выиграл по золотому займу пять тысяч рублей золотом.

Первое время Илья Иваныч ходил совсем ошалевший, производил руками, тряс головой и приговаривал:

— Ну и ну... Ну и штука... Да что же это, братцы?..

Потом, освоившись со своим богатством, Илья Иваныч принимался высчитывать, сколько и чего он может купить на эту сумму. Но выходило так много и так здорово, что Спиридонов махал рукой и бросал свои подсчеты.

Ко мне, по старой дружбишке, Илья Иваныч заходил раза два в день и всякий раз со всеми мелочами и новыми подробностями рассказывал, как он узнал о своем выигрыше и какие удивительные переживания были у него в тот счастливый день.

— Ну что ж теперь делать-то будешь? — спрашивал я. — Чего покупать намерен?

— Да чего-нибудь куплю, — говорил Спиридонов. — Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства... Штаны, конечно...

Илья Иваныч получил наконец из банка целую грудку новеньких червонцев и исчез без следа. По крайней мере, он не заходил ко мне более двух месяцев.

Но однажды я встретил Илью Иваныча на улице.

Новый светло-коричневый костюм висел на нем мешком. Розовый галстук лез в лицо и щекотал подбородок. Илья Иваныч ежесекундно одергивал его, сплевывая от злости. Было заметно, что и костюм, и узкий жилет, и пышный галстук мешали человеку и не давали ему спокойно жить.

Сам Илья Иванович очень похудел и осунулся. И лицо было желтое и нездоровое, со многими мелкими морщинами под глазами.

— Ну как? — спросил я.

— Да что ж, — уныло сказал Спиридонов. — Живем. Дровец, конечно, купил... А так-то, конечно, скучновато.

— С чего бы?

Илья Иванович махнул рукой и пригласил меня в пивную. Там, одергивая розовый галстук, Илья Иванович сказал:

— Вот все говорят: буржуи, буржуи... Буржуйам, дескать, не житье, а малина. А вот я сам, скажем, буржуем бывал, капиталистом... А чего в этом хорошего?

— А что?

— Да как же, — сказал Спиридонов. — Нуте-ка, сами считайте. Родственники и свойственники, которые были мои и женины, — со всеми расплевался. Поссорился. Это, скажем, раз. В народный суд попал я или нет? Попал. По делу гражданки Быковой. Разбор будет. Это, скажем, два... Жена, супруга то есть, Марья Игнатьевна, насквозь все дни сидит на сундучке и плачет... Это, скажем, три... Налетчики дверь мне в квартире ломали или нет? Ломали. Хотя и не сломали, но есть мне от этого беспокойство? Есть. Я, может, теперь из квартиры не могу уйти. А если в квартире сидишь, опять плохо — дрова во дворе крадут. Куб у меня дров куплен. Следить надо.

Илья Иванович с отчаянием махнул рукой.

— Чего же ты теперь делать-то будешь? — спросил я.

— А я не знаю, — сказал Илья Иванович. — Прямо хоть в петлю... Я как в первый день получил деньги, так всё и началось, все несчастья... То жил спокойно и безмятежно, то полезло со всех концов.

А я как в квартиру с деньгами вкатился, так сразу вижу, что неладно что-то. Родственники, конечно, вижу, колбасятся по квартире. То нет никого, а то сидят на всех стульях. Поздравляют. Я, конечно, дал каждому для потехи по два рубля. А Мишка, женин братишка, наиболее колбасится.

— Довольно, — говорит, — стыдно по два рубля отваливать, когда, говорит, капиталец есть.

Ну, слово за слово, руками по столу — драка. Кто кого бьет — неизвестно. А Мишка снял с вешалки мое демисезонное пальтишко и вышел.

Ну, расплевался я с родственниками. Стал так жить.

Купил, конечно, всякого добра. Кастрюли купил, пшени на два года. Стал думать, куда еще деньги присобачить. Смотрю — жена по хозяйству трется, ни отдыху ей, ни гроку.

Не дело, думаю. Хоть и баба она, а все-таки равноправная баба. Стоп, думаю. Возьму, думаю, ей в помощь небольшую девчонку. Пущай девчонка продукты стряпает.

Ну, взял. Девчонка крупу стряпает, а жена, на досуге, сидит целые дни на сундучке и плачет. То работала и веселилась, а то сидит и плачет. Ей, видите ли, на досуге всякие несчастья стали вспоминаться, и как папа ее скончался, и как она замуж за меня вышла... Вообще полезла ей в голову полная ерунда от делать нечего.

Дал я, конечно, супруге денег.

— Сходи, — говорю, — хотя бы в клуб или в театр. Я бы, — говорю, — и сам с тобой пошел, да мне, видишь ли, за дровами последить надо.

Ну, поплакала баба — пошла в клуб. В лото стала играть. Днем плачет — на досуге, а вечером играет. А я за дровами слежу. А девчонка продукты стряпает.

А после председатель заходит и говорит:

— Ты, — говорит, — что ж это, сукин кот, подростков эксплуатируешь? Почему, — говорит, — девчонка Быкова не зарегистрировавши? Я, — говорит, — на тебя в народный суд подам, даром что ты деньги выиграл...

Илья Иваныч снова махнул рукой, поправил галстук и замолчал.

— Плохо, — сказал я.

— Еще бы не плохо, — оживился Илья Иваныч. — Сижку, скажем, за пивом, а в груди сосет. Может, сию минуту дрова у меня сперли. Или, может, в квартиру лезут... А у меня самовар новый стоит. И сидеть неохота, и идти неохота. Что ж дома? Жена, конечно, может быть, плачет. Девчонка Быкова тоже плачет — боится под суд идти... Мишка, женин брат, наверное, вокруг квартиры колбасится — влезть хочет... Эх, лучше бы мне и денег этих не шигрывать!

Илья Иванович расплатился за пиво и грустно пожал мне руку. Я было хотел его утешить на прощанье, но он вдруг спросил:

— А чего, это самое... Розыгрыш-то новый скоро ли будет? Тысчонку бы мне, этово, неплохо выиграть для ровного счета...

Илья Иванович одернул свой розовый галстук и, кивнув мне головой, торопливо пошел к дому.

Случай в провинции

Многое я перепробовал в своей жизни,

а вот циркачом никогда не был.

И только однажды публика меня приняла за циркового трансформатора.

Не знаю, как сейчас, а раньше ездили по России такие специалисты-трансформаторы. Они, скажем, выходили на эстраду, почтительнейше раскланивались публике, затем, убравшись на одно мгновение за кулисы, снова появлялись, но уже в другом костюме, с другим голосом и в другой роли.

Вот за такого трансформатора однажды меня и приняли.

Это было в революцию, в двадцатом или двадцать первом году.

Хлеб был тогда чрезвычайно дорог.

За фунт хлеба в Питере запрашивали два полотенца, три простыни или трехрядную гармонь.

А потому однажды осенью поэт-имажинист Николай Иванов, пианистка Маруся Грекова, я и лирический поэт Дмитрий Цензор выехали из Питера в поисках более легкого хлеба.

Мы решили объехать с пестрой музыкально-литературной программой ряд южных советских городов.

Мы ехали своим чистым искусством заработать кусок ржаного солдатского хлеба.

И в конце сентября, снабженные всякими мандатами и документами, мы выехали из Питера в теплушке, взяв направление на юго-восток.

Ехали долго.

В дороге подробно распределили свои роли и продумали программу.

Решено было так. Первым номером выступает пианистка Маруся с легкими музыкальными вещицами. Она дает, так сказать, верный художественный тон всему нашему вечеру. Вторым номером — имажинист. Он вроде как усложняет нашу программу, давая понять своими стихами, что искусство не всегда доступно народу.

Засим я — с юмористическими рассказами. И наконец лирический поэт Дмитрий Цензор. Он, так сказать, лаком покрывает всю нашу программу. Он создает впечатление легкого, тонкого вечера.

Программа была составлена замечательно.

— Товарищи! — говорил имажинист. — Мы первые в Советской России на верном пути. Мы сознательно снижаемся до масс, мы внедряемся в самую гущу. Этой программой мы докажем, что чистое искусство не пропадет. За нами стоит народ.

Пианистка Маруся молча слушала и, для практики, пальчиками на своих коленях разыгрывала какой-то сложный мотив.

Я покуривал махорку с чаем и печально сплевывал на пол зеленую едкую слюну.

А поэт Дмитрий Цензор говорил мечтательно:

— Чистое искусство народу необходимо... Нам понесут теплые душистые караван хлеба, цветы, вареные яйца... Денег мы не возьмем. На черта нам дались деньги, если на них ничего сейчас не купишь...

Наконец двадцать девятого числа мы приехали в небольшой провинциальный дождливый город.

На станции нас приветливо встретил агент уголовного розыска. Он долго и внимательно читал наши мандаты, потом взял под козырек, шутливо приветствуя этим русскую литературу.

Он нам по секрету сообщил, что он сам из интеллигентных слоев и что он в свое время кончил два класса местной женской прогимназии и что поэтому он и сам не прочь между двумя протоколами побаловаться чистым искусством.

На наш литературный вечер он обещал непременно прибыть.

Мы остановились у Марусиных знакомых.

Первые дни прошли в необыкновенных хлопотах и в беготне.

Нужно было достать разрешение, получить зал, осветить его и сговориться с устроителем.

Устроитель был тонкий и ловкий человек. Он категорически уперся на своем, говоря, что чистая поэзия вряд ли будет доступна провинциальной публике и поэтому необходимо разжижить нашу программу более понятными номерами — музыкой, пением и цирком.

Это, конечно, очень портило нашу программу. Однако спорить мы не стали — иного выхода не было.

Вечер был назначен на завтра в бывшем купеческом клубе.

Тридцатого сентября, в восемь часов вечера, мы, взволнованные, сидели за кулисами в специально отведенной для нас уборной.

Зал был набит до последнего предела.

Человек сто красноармейцев, множество домашних хозяек, городских девиц, служащих и людей всевозможных свободных профессий ожидали с нетерпением начала программы, похлопывая в ладоши и требуя поднятия занавеса.

Первым, как помню, выступило музыкальное трио. Затем жонглер и эксцентрик. Успех у него был потрясающий. Публика ревела, гремела и вызывала его бесконечно.

Затем шли наши номера.

Маруся Грекова вышла на эстраду в глухом черном платье.

Когда Маруся появилась на сцене, в публике произошло какое-то неясное волнение. Публика приподнялась со своих мест и смотрела на пианистку. Многие хохотали.

Маруся с некоторой тревогой села за рояль и, сыграв короткую вещьцу, остановилась, ожидая одобрения. Однако одобрения не последовало.

В страшном смущении, без единого хлопка, Маруся удалилась за кулисы.

За ней почти немедленно выступил имажинист.

Гром аплодисментов, крики и одобрителный гул не умолкали долго.

Польщенный таким вниманием и известностью даже в небольшом провинциальном городе, имажинист низко раскланялся, почтительно прижимая руку к сердцу.

Он прочел какие-то ядовитые, но неясные стишки и ушел в сильном душевном сомнении — аплодисментов опять-таки не было.

Буквально не было ни единого хлопка.

Третьим, сильно напуганный, выступил я.

Еще более длительные, радостные крики раздались при моем появлении.

Задняя публика вставала на скамейки, напирала на впереди сидящих и рассматривала меня, как какое-то морское чудо.

— Ловко! — кричал кто-то. — Ловко, братцы, запущено!

— Ах, сволочь! — визгливо кричал кто-то с видимым восхищением.

Я, в сильном страхе, боясь за свою судьбу и еле произнося слова, начал лепетать свой рассказ.

Публика терпеливо слушала мой лепет и даже подбадривала меня отдельными выкриками:

— Ах, сволочь, едят его мухи!

— Крой! Валяй! Дави! Ходи веселей!

Пролепетав рассказ почти до конца, я удалился, с трудом передвигая ноги. Аплодисментов, как и в те разы, не было. Только какой-то высокий красноармеец встал и сказал:

— Ах, сволочь! Идет-то как! Гляди, братцы, как переступает нарочно.

Последним должен был выступить лирический поэт.

Он долго не хотел выступать. Он почти плакал в голос и ссыался на боли в нижней части живота. Он говорил, что он только вчера приехал из Питера, не осмотрелся еще в этом городе и не свыкся с такой аудиторией.

Поэт буквально ревел белугой и цеплялся руками за кулисы, однако дружным натиском мы выперли его на сцену.

Дикие аплодисменты, гогот, восхищенная брань потрясли весь зал.

Публика восторженно гикала и ревела.

Часть публики ринулась к сцене и с диким любопытством рассматривала лирического поэта.

Поэт обомлел, прислонился к роялю и, не сказав ни одного слова, простоял так минут пять. Затем качнулся, открыл рот и, почти неживой, вполз обратно за кулисы.

Аплодисменты долго не смолкали. Кто-то настойчиво бил пятками в пол. Кто-то неистово требовал повторения.

Мы, совершенно потрясенные, забились в своей уборной и сидели, прислушиваясь к публике.

Наш устроитель ходил вокруг нас, с испугом поглядывая на наши поникшие фигуры.

Имажинист, скорбно сжав губы, в страшной растерянности сидел на диване, потом откинул свои волосы назад и твердо сказал:

— Меня поймут через пятьдесят лет. Не раньше. Мои стихи не доходят. Это я теперь вижу

Маруся Грекова тихо плакала, закрыв лицо руками.

Лирический поэт стоял в неподвижной позе и с испугом прислушивался к крикам и реву.

Я ничего не понимал. Вернее, я думал, что чистое искусство дошло до масс, но в какой-то странной и неизвестной для меня форме.

Однако крики не смолкали.

Вдруг послышался топот бегущих ног за кулисами, и нашу уборную ворвалось несколько человек из публики.

— Просим! Просим! — радостно вопил какой-то гражданин, потрясая руками.

Мы остолбенели.

Тихим, примиряющим голосом устроитель спросил:

— Товарищи... Не беспокойтесь... Не волнуйтесь... Все будет... Сейчас все устроим... Что вы хотели?

— Да который тут выступал, — сказал гражданин. — Публика очень даже требует повторить. Мы, как делегация, просим... Который тут сейчас с переодеванием, трансформатор.

Вдруг в одно мгновение все стало ясно. Нас четверых приняли за трансформатора Якимова, выступавшего в прошлом году в этом городе. Сегодня он должен был выступить после нас.

Совершенно ошеломленные, мы механически оделись и вышли из клуба.

И на другой день уехали из города.

Маленькая блондинка пианистка, саженного роста имажинист, я и, наконец, полный, румяный лирический поэт — мы вчетвером показали провинциальной публике поистине чудо трансформации.

Однако цветов, вареных яиц и славных почестей мы так и не получили от народа. Придется ждать.

Д святая объединенная

артель кустарей два года собирала деньги на аэроплан.

И в газетах воззвания печатала, и особые красочные плакаты вывешивала, и дружескую провокацию устраивала. И чего-чего только не делала! Одних специальных собраний устроено было не меньше десятка.

А какой был подъем! Какие были мечты! Планы какие! Сколько фантазии и крови было истрачено на одно лишь название аэроплана!

На собраниях председателя артели буквально закидывали вопросами. Кустари главным образом интересовались: будет ли аэроплан принадлежать всецело Добролету или же он будет являться собственностью артели? И может ли каждый кустарь, внесший некоторую сумму, летать на нем по воздуху?

Председатель, счастливый и возбужденный, говорил охриплым голосом:

— Товарищи, можно! Конечно, можно! Летайте себе на здоровье. Дайте только вот собрать деньги... И тогда полетим... Эх, красота! Простор...

— Главное, что на собственном полетим, — восхищались в артели. — На чужом-то, братцы, и лететь как-то не охота. Скучно на чужом лететь...

— Да уж какое там летанье на чужом, — подтверждали кустари. — На своем, братцы, и смерть красна.

Председатель обрывал отдельные восхищенные выкрики и просил организованно выражать свои чувства.

И все кустари, восхищенные новой идеей и возможностью летать по воздуху, наперерыв просили слова, яркими красками расписывали ближайшие возможности и клей-

мили несмываемым позором малодушных, не внесших еще на аппарат.

Даже секретарь артели, несколько унылый и меланхолический субъект, дважды отравленный газами в царскую войну, на вопрос председателя высказаться по существу говорил:

— Без аэроплана, товарищи, как без рук. Ну на чем лететь прикажете? На столе не полетишь. А тут захотел куда-нибудь полететь — сел и полетел. Только и делов.

Два года артель с жаром и пылом собирала деньги и на третий год стала подсчитывать собранные капиталы.

Оказалось — семнадцать рублей с небольшими копейками.

На экстренном, чрезвычайном собрании председатель сказал короткую, но сильную речь.

— В рассуждении того, — сказал председатель, — что аэроплан стоит неизмеримо дороже, куда предполагают уважаемые товарищи девать эти вышеуказанные суммы? Передать ли эти суммы Добролету или есть еще какие предложения? Прошу зафиксировать вопрос путем голосования рук.

Голоса разделились.

Одни предлагали деньги внести в Добролет, другие предлагали купить небольшой, но прочный пропеллер из ирельской березы и повесить его на стене клуба, над портретами вождей. Третьи советовали закупить некоторое количество бензина и держать его всегда наготове. Четвертые указывали на необходимость произвести ремонт в помещении кухни.

И только несколько человек, из числа явно малодушных, затребовали деньги назад.

Им было возвращено семь рублей.

Остальные десять рублей с копейками решено было передать в Добролет.

Однако казначей распорядился иначе.

В один ненастный осенний вечер казначей артели Иван Бобриков проиграл в карты эти деньги.

На экстренном, чрезвычайном собрании было доложено, что собаку казначея арестуют, имущество конфискуют и вырученные деньги передадут Добролету с отличным письменным пожеланием.

Председатель артели говорил несколько удивленным тоном:

— А на что нам, братцы, собственный аэроплан? В сущности, на кой шут он нам сдался? И куда на нем лететь?

— Да, лететь-то, действительно, как будто и некуда, — соглашались в артели.

— Да я ж и говорю, — подтверждал председатель, — некуда лететь. Передадим деньги в такую мощную организацию, как Добролет. А собственных аппаратов нам не надо.

— Конечное дело, не надо, — говорили кустари. — Одна мука с этими аэропланами.

— Аэроплан не лошадь, — уныло заявлял секретарь, — на лошадь сел и поехал, а тут поди попробуй. И бензин наливай, и пропеллер закручивай... Да еще не в ту дыру плеснут бензин — и пропала машина, пропали народные денежки...

— А главное, лететь-то, братцы, некуда, — с удивлением бормотал председатель.

Закончив вопрос о воздушном флоте и решив деньги передать Добролету, кустари перешли к обсуждению текущих дел. Собрание заволновалось.

Ст ^о есть каторжный труд —

велосипеды теперь иметь.

Действительно верно, громадное через них удовольствие, физическое развлечение и все такое. На собаку опять же можно наехать. Или куренка попугать.

Но только, несмотря на это, от велосипеда я отказываюсь. Я тяжело захворал через свою машину, через свой этот аппарат.

Я надорвался. И теперь лечусь амбулаторно. Грыжа у меня открылась. Я теперь, может быть, инвалид. Собственная машина меня уела.

Действительно, положение такое — на две минуты машину невозможно без себя оставить — упрут. Ну и приходилось в силу этого машину на себе носить в свободное от кутанья время. На плечах.

Бывало, в магазин с машиной заходишь — публику за прилавков колесьями загоняешь. Или к знакомым в разные анги подымаешься. По делам. Или к родственникам.

Да и у родственников тоже сидишь — за руль держишься. Мало ли какое настроение у родственников. Я не шучу. В чужую личность не влезешь. Отвертят заднее колесо или внутреннюю шину вынут. А после скажут: так и было.

В общем, тяжело приходилось.

Неизвестно даже, кто на ком больше ездил. Я на велосипеде или он на мне.

Конечно, некоторые довоенные велосипедисты пробовали оставлять на улице велосипеды. Замыкали на все заморы. Однако не достигало — угоняли.

Ну и приходилось считаться с мировоззрением остальных граждан. Приходилось носить машину на себе

Конечно, человеку со здоровой психикой не составляет труда понести на себе машину. Но тут обстоятельства для меня сложились неаккуратно.

А понадобился мне в срочном порядке целковый. На пропой души.

Надо, думаю, где-нибудь забодать.

Благо, машина есть — сел и поехал. Заехал к одному приятелю — дома нету. Заехал к другому — денег дома нету, а приятель дома.

А один приятель хотя проживает в третьем этаже, зато другой — в седьмом. Туда и назад с машиной смотался — и язык высунул.

После того поехал к родственнице. На Симбирскую улицу. К родной тетке.

А она, зануда, на шестом этаже живет.

Поднялся со своим аппаратом на шестой этаж. Смотрю, на дверях записка. Дескать, приду через полчаса.

Шляется, думаю, старая кочерыжка.

Ужасно я расстроился и сгоряча вниз сошел. Мне бы с машиной наверху обождать, а я сошел от расстройства чувств. Стал внизу тетку ждать.

Вскоре она приходит и обижается на меня, зачем я с ней наверх идти не хочу.

— У меня, — говорит, — с собою около гривенника. Остальные деньги на квартире.

Взял я машину на плечо, пошел за теткой. И чувствую, икота поднимается и язык наружу вылезает. Однако дошел. Получил деньги сполна. Пошамал для подкрепления организма. Накачал шину и вниз сошел.

Только дошел донизу — гляжу, парадная дверь закрыта. У них в семь часов закрывается.

Ничего я тогда не сказал, только ужасно заскрипел зубами, надел на себя велосипед и стал опять подниматься.

Сколько времени я поднимался — не помню. Шел прямо как сквозь сон.

Начала меня тетка выпускать с черного хода. Сама, зануда, смеется.

— Ты бы, — говорит, — машину наверху оставлял, если внизу боишься.

После перестала смеяться — видит, ужасная бледность разлилась по моему лицу. А я, действительно, держусь за руль и качаюсь.

Однако вышел на улицу. Но ехать от слабости не мог.

А теперь обнаружился последствия — хвораю через эту каторгу.

Утешаюсь только тем, что мотоциклистам еще хуже. Вот небось переживают!

И хорошо еще, что у нас небоскребов не удосужились построить. Сколько бы народу полегло!

М рудный этот русский язык.

дорогие граждане! Беда, какой трудный.

Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну взять французскую речь. Все хорошо и понятно. Кескесе, мерси, комси — все, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова.

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением.

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились.

Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами.

Началось дело с пустяков.

Мой сосед, не старый еще мужчина с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:

— А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?

— Пленарное, — небрежно ответил сосед.

— Ишь ты, — удивился первый, — то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное

— Да уж будьте покойны, — строго ответил второй. — Сегодня сильно пленарное, и кворум такой подобрался — только держись.

— Да ну? — спросил сосед. — Неужели и кворум подобрался?

— Ей-богу, — сказал второй.

— И что же он, кворум-то этот?

— Да ничего, — ответил сосед, несколько растерявшись. — Подобрался, и все тут.

— Скажи на милость, — с огорчением покачал головой первый сосед. — С чего бы это он, а?

Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:

— Вот вы, товарищ, небось не одобряете эти пленарные заседания... А мне как-то они ближе. Все как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня... Хотя и, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.

— Не всегда это, — возразил первый. — Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и отсюда, с точки зрения, то — да, индустрия конкретно.

— Конкретно фактически, — строго поправил второй.

— Пожалуй, — согласился собеседник. — Это я тоже допускаю. Конкретно фактически. Хотя как когда...

— Всегда, — коротко отрезал второй. — Всегда, уважаемый товарищ. Особенно если после речей подсекция заваривается минимально. Дискуссии и крику тогда не оберешься...

На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все смолкло. Только соседи мои, несколько разгоряченные спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед наклонился ко второму и тихо спросил:

— Это кто ж там такой вышедши?

— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.

Оратор простер руку вперед и начал речь.

И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причем второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он все же был прав в только что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-русски!

Сегодня день-то у нас какой?

Среда, кажись? Ну да, среда. А это в понедельник было. В понедельник народ у нас чуть со смеху не подох. Потому смешно уж очень. Ошибка вышла.

Главное, что народ-то у нас на фабрике весь грамотный. Любого человека разбуди, скажем, ночью и заставь его фамилию свою написать — напишет.

Потому тройка у нас была выделена очень отчаянная. В три месяца ликвидировала всю грамотность. Конечно, остались некоторые не очень способные. Путали свои фамилии. Гусев, например, путал. То «сы» не там выпишет, то росчерк не в том месте пустит, то букву «гы» позабудет. Ну а остальные справлялись.

И вот при таком-то общем уровне такой, представьте, ничтожный случай!

Главное, кассир Еремей Миронович случайно заметил. В субботу, скажем, получка, а в понедельник кассир ведомость проверяет — просчета нет ли. И чикает он на счетах и вдруг видит в ведомости крестик. Кругом подписи, а тут в графе — крестик.

«Как крестик? — думает кассир. — Почему крестик?»

Отчего это крестик, раз грамотность подчистую ликвидирована и все подписывать могут?

Поглядел кассир, видит — супротив фамилии «Хлебников» этот крестик.

Кассир бухгалтеру — крестик, дескать. Бухгалтер секретарю. Секретарь дальше.

Разговоры пошли по мастерским: вот так тройка! За такое, дескать, время грамотность не могли ликвидировать.

Предзавком бежит в кассу. Ведомость велит подать. Тройка тут же, вокруг кассы, колбасится. Глядят. Да, видят, крестик супротив Хлебникова.

— Какой это Хлебников? — спрашивают. — Отчего это Хлебников не ликвидирован? Отчего это все грамотные и просвещенные, а один Хлебников пропадает в темноте и в пропасти? И как это можно? И чего тройка глядела и каким местом думала?

А тройка стоит тут же и плечами жмет.

Вызвали Хлебникова. А он квалифицированный токарь. Идет неохотно.

Спрашивают его:

— Грамотный?

— Грамотный, — говорит.

— Можешь, — спрашивают, — фамилию подписывать?

— Могу, — говорит. — Три, — говорит, — месяца ликвидировали.

Предзавком руками разводит. Тройка плечами жмет. А кассир ведомость подает.

Дали ведомость Хлебникову. Спрашивают:

— Кто подписывал крестик?

Глядел, глядел Хлебников.

— Да, — говорит, — почерк мой. Я писал крестик. Пьяный был дюже. Не мог фамилию вывести.

Тут смех вокруг поднялся.

Тройку все поздравляют — не подкачали, дескать. Хлебникову руку жмут.

— Ну, — говорят, — как гора с плеч. А мы-то думали, что ты, Хлебников, по сие время как слепой бродишь в темноте и в пропасти...

А за вторую половину месяца, при всей своей грамотности, Хлебников снова спяну вывел крестик. Но этому никто уж не удивлялся. Потому — привыкли. И знали, что человек грамотный.

А ведь сейчас, граждане,

ни черта не разберешь — кто грамотный, а кто неграмотный.

Один, например, гражданин знает свою фамилию с закорючкой подписывать, а писать вообще не знает. Другой гражданин писать знает, а прочесть, чего написал, не может. Да и не только он не может, а дайте ученому профессору, и ученый профессор ни черта не разберется. Даром что профессор. Такое написано — будто кура наследила или дохлая муха нагадила.

Ну а теперь, дорогие товарищи, как же этих граждан считать прикажете? Грамотные эти граждане или они неграмотные? Одни говорят: да, грамотные. Другие говорят: да нет. Вот тут и разбирайся.

Или, например, Василий Иванович Головешечкин. Да он и сам не знает, грамотный он или нет. Человек, можно сказать, совсем сбился в этом тумане просвещения.

Председатель однажды чуть даже не убил его за это. Главное, что два дня всего осталось до полной ликвидации неграмотности. Скажем, к Первому мая велено было в губернии начисто ликвидировать неграмотность. А за два дня до этого бежит Василий Иванович в сельсовет и докладывает, запыхавшись, — дескать, неграмотный он.

Председатель чуть его не уколошил на месте.

— Да ты, — говорит, — что ж это, сукин сын? Да как же ты ходишь не ликвидировавшись, раз два дни осталось?

Василий Иванович разъясняет положение, дескать, неспособен, способностей, дескать, к наукам нету. Председатель говорит:

— Ну что, — говорит, — я с тобой, с чучелой, делать буду? Кругом, — говорит, — начисто ликвидировано, а ты

один декреты нарушаешь. Беги, — говорит, — поскорей в тройку, проси и умоляй. Может, они тебя в два дня как-нибудь обернут. Пушай хотя гласные буквы объяснят.

Василий Иванович говорит:

— Гласные, — говорит, — буквы я знаю. Чего их всякий раз показывать. Голова заболит.

Тут председатель обратно чуть не убил Василия Ивановича.

— Как, — говорит, — знаешь? Может, ты и фамилию писать знаешь?

— Да, — говорит, — и фамилию.

— Значит, ты, сукин сын, грамотный?

— Да выходит, что грамотный, — говорит Василий Иванович. — Да только какой же я грамотный? Смешно.

Председатель опять чуть не убил Василия Ивановича после этих слов.

— Нет, — говорит, — у меня инструкций разбираться в ваших образованиях, чучело, — говорит, — ты окаянное! Только, — говорит, — людей пугаешь перед праздником. А еще грамотный.

И опять чуть не убил Василия Ивановича.

А теперь Василий Иванович сильно задается. И говорит, что он грамотный. И вообще с высшим образованием. Даже может в вузах преподавать, а только неохота ему преподавать, и жена вообще не пускает, да и детишки, между прочим, плачут — пугаются, что папашку в вузах убьют.

Так и живет теперь человек с высшим образованием. И ведь чудно как случилось. Еще неделю назад скулил человек, что неграмотный, а теперь это такое образование ему выпало. Как говорится — не было ни гроша, а вдруг пуговица.

Крестьянский самородок

Фамилию этого самородка

и крестьянского поэта я в точности не запомнил. Кажется — Овчинников. А имя у него было простое — Иван Филиппович.

Приходил Иван Филиппович ко мне три раза в неделю. Потом стал ходить ежедневно.

Дела у него были ко мне несложные. Он тихим, как у таракана, голосом читал свои крестьянские стишки и просил, по возможности скорей, пристроить их по знакомству в какой-нибудь журнал или в газетку.

— Хотя бы одну штуковину напечатали, — говорил Иван Филиппович. — Охота посмотреть, как это глядит в печати.

Иногда Иван Филиппович присаживался на кровать и говорил, вздыхая:

— К поэзии, уважаемый товарищ, я имею склонность, прямо скажу, сыздетства. Сыздетства чувствую красоту и природу... Бывало, другие ребята хохочут, или рыбку удят, или в пятачок играют, а я увижу, например, бычка или тучку и переживаю... Очень я эту красоту сильно понимал. Тучку понимал, ветерок, бычка... Это все я, уважаемый товарищ, очень сильно понимал.

Несмотря на понимание бычков и тучек, стишки у Ивана Филипповича были весьма плохие. Надо бы хуже, да не бывает. Единственно подкупало в них полное отсутствие всяких рифм.

— С рифмами я стихотворения не пишу, — признавался Иван Филиппович. — Потому с рифмами с этими одна путаница выходит. И пишется меньше. А плата все равно — один черт, что с рифмой, что и без рифмы.

Первое время я честно ходил по редакциям и предлагал стишки, но после и ходить бросил — не брали...

Иван Филиппович приходил ко мне рано утром, садился на кровать и спрашивал:

— Ну как? Не берут?

— Не берут, Иван Филиппович.

— Чего же они говорят? Может, они, как бы сказать, в происхождении моем сомневаются? То пушай не сомневаются — чистый крестьянин. Можете редакторам так и сказать: от сохи, дескать. Потому кругом крестьянин. И дед крестьянин, и отец, и которые прадеды были — все насквозь крестьяне. И женились Овчинниковы завсегда на крестьянках. Ей-богу. Бывало, даже смех вокруг стоит. «Да чего вы, — говорят, — Овчинниковы, все на крестьянках женитесь? Женитесь, — говорят, — на других...» — «Нету, — говорим, — знаем, что делаем». Ей-богу, уважаемый товарищ. Пушай не сомневаются...

— Да не в том дело, Иван Филиппович. Так не берут. Не созвучно, говорят, эпохе.

— Ну. это уж оно тово, — возмущался Иван Филиппович. — Это-то не созвучные стихотворения? Ну, это они объелись... Как это не созвучные, раз я сыздетства природу чувствовал? И тучку понимал, бычка... За что же, уважаемый товарищ, не берут-то? Пушай скажут. Нельзя же голословно оскорблять личности! Пушай хотя одну штучку возьмут.

Натиск поэта я стойко выдерживал два месяца.

Два месяца я, нервный и больной человек, отравленный газами в германскую войну, терпел нашествия Ивана Филипповича из уважения к его происхождению. Но через два месяца я стал сдавать.

И наконец, когда Иван Филиппович принес мне большую поэму или балладу, черт ее разберет, я окончательно сдал.

— Ага, — сказал я, — поэмку принесли?

— Поэмку принес, — добродушно подтвердил Иван Филиппович, — очень сильная поэмка вышла... Два дня писал... Как прорвало. Удержу нет...

— С чего бы это?

— Да уж не знаю, уважаемый товарищ. Творчество нашло. Пишешь и пишешь. Руку будто кто водит за локоть. Подхновенье...

— Вдохновенье! — сказал я. — Стишки пишешь... Работать нужно, товарищ, вот что! Дать бы тебе камни на солнцепеке колоть, небось бы...

Иван Филиппович оживился и просиял:

— Дайте, — сказал он. — Если есть, дайте. Прошу и умоляю. Потому до крайности дошло. Второй год без работы пухну. Хотя бы какую работишку найти...

— То есть как? — удивился я. — А поэзия?

— Какая поэзия, — сказал Иван Филиппович тараканьим голосом. — Жрать надо... Поэзия!.. Не только поэзия, я, уважаемый товарищ, черт знает на что могу пойти... Поэзия...

Иван Филиппович решительным тоном занял у меня трешку и ушел.

А через неделю я устроил Ивана Филипповича курьером в одну из редакций. Стишки он писать бросил.

Нынче, хотя безработицы нету, ходит ко мне бывший делопроизводитель табачной фабрики — поэт от станка. Он откровенно говорит: «Хочу, знаете, к своему скромному канцелярскому заработку немножко подработать на этой самой поэзии».

Пасхальный случай

Вот, братцы мои, и праздник

на носу — Пасха православная.

Которые верующие, те, что бараны, потащат свои куличи святить. Пушай тащат! Я не поташу. Будет. Мне, братцы, в прошлую Пасху на кулич ногой наступили.

Главное, что я замешкался и опоздал к началу. Прихожу к церковной ограде, а столы уже заняты. Я прошу православных граждан потесниться, а они не хотят. Ругаются.

— Опоздал, — говорят, — черт такой, так и станови свой кулич на землю. Нечего тут тискаться и пихаться — куличи поспронеешь.

Ну, делать нечего, поставил свой кулич на землю. Которые опоздали, все наземь ставили.

И только поставил, звоны и перезвоны начались.

И вижу, сам батя с кисточкой прется.

Макнет кисточку в ведро и брызжет вокруг. Кому в рожу, кому в кулич — не разбирается.

А позади бати отец-дьякон выступает с блюдцем, собирает пожертвования.

— Не скупись, — говорит, — православная публика! Клади монету посереде блюдца.

Проходят они мимо меня, а отец-дьякон зазевался на свое блюдо и — хлоп ножищей в мою тарелку. У меня аж дух захватило.

— Ты что ж, — говорю, — длинногривый, на кулич-то наступаешь?.. В пасхальную ночь...

— Извините, — говорит, — нечаянно.

Я говорю:

— Мне с твоего извинения не шубу шить. Пушай мне

теперь полную стоимость заплатят. Клади, — говорю, — отец-дьякон, деньги на кон!

Прервали шествие. Батя с кисточкой появился.

— Это, — говорит, — кому тут на кулич наступили?

— Мне, — говорю, — наступили. Дьякон, — говорю, — сукин кот, наступил.

Батя говорит:

— Я, — говорит, — сейчас кулич этой кисточкой кроплю. Можно будет его кушать. Все-таки духовная особа наступила...

— Нету, — говорю, — батя. Хотя все ведро на его выливай, не согласен. Прошу деньги обратно.

Ну, пры поднялась. Кто за меня, кто против меня. Звонарь Вавилыч с колокольни высовывается, спрашивает:

— Звонить, что ли, или пока перестать?

Я говорю:

— Обожди, Вавилыч, звонить. А то под звон они меня тут совсем объежорят.

А поп ходит вокруг меня, что больной, и руками разводит.

А дьякон, длинногривый дьявол, прислонился к забору и щепочкой мой кулич с сапога счищает.

После выдают мне небольшую сумму с блюда и просят уйти, потому, дескать, мешаю им криками.

Ну, вышел я за ограду, покричал отседа на отца-дьякона, посрамил его, а после пошел.

А теперь куличи жру такие, несвяченные.

Вкус тот же, а неприятностей куда как меньше.

И зачем только позволяют пассажирам

на третьих полках в Москву ездить? Ведь это же полки багажные. На багажных полках и пушай багажи ездят, а не публика.

А говорят — культура и просвещение! Иль, скажем, тепловоз теперь к поездам прикрепляют и ездят после. А между прочим — такая дикая серость в вагонах допускается.

Ведь это же башку отломить можно. Упасть если. Вниз упадешь, не вверх.

А может, мне в Москву и не надо было ехать. Может, это Васька Бочков, сукин сын, втравил меня в поездку.

— На, — говорит, — дармовую провизионку. Поезжай в Москву, если тебе охота.

— Братишечка, — говорю, — да на что мне в Москву-то ехать? Мне, — говорю, — просто неохота ехать в Москву. У меня, — говорю, — в Москве ни кола ни двора. Мне, — говорю, — братишечка, даже и остановиться негде в Москве этой.

А он говорит:

— Да ты для потехи поезжай. Даром все-таки. Раз, — говорит, — в жизни счастье привалило, а ты, дура-голова, огниживаешься.

С субботы на воскресенье я и поехал.

Вхожу в вагон. Присаживаюсь сбоку. Еду. Три версты отъехал — жрать сильно захотелось, а жрать нечего.

«Эх, — думаю, — Васька Бочков, сукин сын, в какую длинную поездку втравил. Лучше бы мне, — думаю, — сидеть теперь на суше в пивной где-нибудь, чем взад и вперед ездить».

А народу между тем многовато поднабралось. Тут у окна, например, дяденька с бородкой. Тут же рядом и старушечку бог послал. И какая это вредная, ядовитая старушечка попалась — все локтем пихается.

— Расселся, — говорит, — дьявол. Ни охнуть, ни вздохнуть.

Я говорю:

— Вы, старушечка, божий одуванчик, не пихайтесь. Я, — говорю, — не своей охотой еду. Меня, — говорю, — Васька Бочков втравил.

Не сочувствует.

А вечер между тем надвигается. Искры с тепловозу дождем сыплются. Красота кругом и природа. А только мне неохота на природу глядеть. Мне бы, думаю, лечь да прикрыться.

А лечь, гляжу, некуда. Все места насквозь заняты.

Обращаюсь к пассажирам:

— Граждане, — говорю, — допустите хотя в серединку сесть. Я, — говорю, — сбоку свалиться могу. Мне в Москву ехать.

— Тут, — отвечают, — кругом все в Москву едут. Поезд не плакатный все-таки. Сиди где сидел.

Сижу. Еду. Еще три версты отъехал — нога зачумела. Встал. И гляжу — третья полка виднеется. А на ней корзина едет.

— Граждане, — говорю, — да что ж это? Человек, — говорю, — скрючившись должен сидеть, и ноги у него чумают, а тут вещи... Человек, — говорю, — все-таки важней, чем вещи... Уберите, — говорю, — корзину, чья она.

Старушечка, кряхтя, подымается. За корзиной лезет.

— Ист, — говорит, — от вас, дьяволов. покою ни днем, ни ночью. На, — говорит, — идол, полезай на такую верхотуру. Даст, — говорит, — бог, башку-то и отлочишь на ночь глядя.

Я и полез.

Полез, три версты отъехал и задремал сладко.

Вдруг как пихнет меня в сторону, как кувыркнет вниз. Гляжу — падаю. Спросонья-то, думаю, каково падать.

И как шваркнет меня в бок, об башку, об желудок, об руку... Упал.

И, спасибо, ногой при падении за вторую полку зацепился — удар все-таки мягкий вышел.

Сажу на полу и башку шупаю — тут ли. Тут.

А в вагоне шум такой происходит. Это пассажиры шумят, не сперли бы, думают, ихние вещи в переполохе.

На шум бригада с фонарем сходится.

Обер спрашивает:

— Кто упал?

Я говорю:

— Я упал. С багажной полки. Я, — говорю, — в Москву еду. Васька Бочков, — говорю, — сукин сын, втравил меня в поездочку.

Обер говорит:

— У Бологое завсегда пассажиры вниз сваливаются. Дюже резкая остановка.

Я говорю:

— Довольно обидно упавшему человеку про это слышать. Пушай бы, — говорю, — лучше бригада не допускала ни верхних полках ездить. А если лезет пассажир, пушай спихивают его или урезонируют — дескать, не лезьте, гражданин, скатиться можно.

Тут и старушка крик поднимает:

— Корзину, — говорит, — башкой смял.

Я говорю:

— Человек важнее корзинки. Корзинку, — говорю, — купить можно. Башка же, — говорю, — бесплатно все-таки.

Покричали, поохали, перевязали мне башку тряпкой и, не останавливая поезда, поехали дальше.

Доехал до Москвы. Вылез. Посидел на вокзале.

Выпил четыре кружки воды из бака. И назад.

А башка до чего ноет, гудит. И мысли все скабрзные идут. Э-э, думаю, попался бы мне сейчас Васька Бочков — и бы ему пересчитал ребра. Втравил, думаю, подлец, в какую поездку.

Доехал до Ленинграда. Вылез. Выпил из бака кружку воды и пошел, покачиваясь.

Неприятность

Вот довольно поучительный факт.

Необходимо знать каждому гражданину.

Один наш знакомый человек всыпался в историю.

А была у него небольшая квартира. Первоначально это была большая квартира. А после раздела наш знакомый имел одну комнату, кухню и переднюю.

А знакомый был очень такой подвижной, характерный человек. Вообще энергичный. А главное — ему с семьей мало было одной комнаты.

И начал он прикидывать в уме, чего ему сделать. И вдруг придумал.

Передняя комната — это, думает, излишняя роскошь. Я не эппман. Гости могут не раздеваясь сидеть. Или пущай польты под себя подкладывают. Дай, думает, из этой просторной передней я себе две комнаты сочиню. Столовую комнату и детскую.

Очень загорелся наш знакомый на это дело. Однако — человек бывалый — побежал до правления и попросил разрешения воздвигнуть стенку.

Там очень обрадовались.

— Пожалуйста, — говорят, — об чем речь!

И с этим согласием наш знакомый в ударном порядке занялся строительством и в скором времени заимел симпатичную квартирку из трех комнат.

И только он обжился в этом помещении, вдруг правление заявляется.

— Так что, — говорят, — как известно, у вас теперича три комнаты. Так что, — говорят, — образовались внутрикомнатные излишки. Вам, — говорят, — как удобнее —

вселить к вам или, наоборот, вы будете платить в тройном счете?

— За что же, — говорит, — платить? Ведь это передняя.

— Была, — говорят, — передняя, а теперича наглядно видать две комнаты.

Очень загрустил наш друг. И через день собственными силами сломал злополучную стенку. И снова теперь имеет переднюю.

А только он снова имеет неприятность. Зачем сломал стенку без разрешения и тем самым нанес ущерб жилищному строительству. И вообще возникает уголовное дело.

Давеча мы встретили нашего знакомого. Идет скучный.

— Лучше бы, — говорит, — не рыпался.

Пожалуй, верно.

Ст ут недавно маляр

Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.

И меня пригласила.

— Приходите, — говорит, — помянуть дорогого покойника чем бог послал. Курей и жареных утей у нас, — говорит, — не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно, вволю и даже можете с собой моей брать.

Я говорю:

— В чае хотя интерес не большой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно. — говорю, — добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.

— Ну, — говорит, — приходите тем более.

В четверг я и пошел.

А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает.

А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишко неважный, надо сказать, — шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону.

Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай.

Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы.

Вдова отвечает:

— Никак, батюшка, стакан тюкнули?

Я говорю:

— Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится.

А деверь нажрался арбуза и отвечает:

— То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают.

А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается.

— Это, — говорит, — чистое разорение в хозяйстве — стаканы бить. Это немыслимое дело — бить. Это, — говорит, — один — стакан тюкнет, другой — крантик у самовара начисто оторвет, третий — салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?

А деверь, паразит, отвечает:

— Об чем, — говорит, — речь. Таким, — говорит, — гостям прямо морды надо арбузом разбивать.

Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю:

— Мне, — говорю, — товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, — говорю, — товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, — говорю, — чай у вас шваброй пахнет. Тоже, — говорю, — приглашение. Вам, — говорю, — чертям, три стакана и одну кружку разбить — и то мало.

Тут шум, конечно, поднялся, грохот.

Деверь наиболее других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился.

И вдова тоже трясется мелко от ярости.

— У меня, — говорит, — привычки такой нету — швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после нас людей тень наводите. Маляр, — говорит, — Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов... Я, — говорит, — щучий сын, не оставляю вас так после этого.

Ничего я на это не ответил, только говорю:

— Тьфу на всех, и на деверя, — говорю, — тьфу.

И поскорее вышел.

Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной.

Являюсь и удивляюсь.

Нарсудья дело рассматривает и говорит:

— Нынче, — говорит, — все суды такими делами за-
крючены, а тут еще, не угодно ли. Платите, — говорит, —
этой гражданке двутривенный и очищайте воздух в камере.

Я говорю:

— Я платить не отказываюсь, а только пушай мне этот
треснувший стакан отдадут из принципа.

Вдова говорит:

— Подавись этим стаканом. Бери его.

На другой день, знаете, ихний дворник Семен прино-
сит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший. Ни-
чего я на это не сказал, только говорю:

— Передай, — говорю, — своим сволочам, что теперь я
их по судам затаскаю.

Потому, действительно, когда характер мой задет, —
я могу до трибунала дойти.

Иностранцы

Иностранца я всегда сумею

отличить от наших советских граждан. У них, у буржуазных иностранцев, в морде что-то заложено другое. У них морда, как бы сказать, более неподвижно и презрительно держится, чем у нас. Как, скажем, взято у них одно выражение лица, так и смотрится этим выражением лица на все остальные предметы. Некоторые иностранцы для полной выдержки монокль в глазах носят. Дескать, это стеклышко не уроним и не сморгнем, чего бы ни случилось.

Это, надо отдать справедливость, здорово.

А только иностранцам иначе и нельзя. У них там буржуазная жизнь довольно беспокойная. Им там буржуазная мораль не позволяет проживать естественным образом. Без такой выдержки они могут ужасно осрамиться.

Как, например, один иностранец костью подавился. Курятину, знаете, кушал и заглотал лишнее. А дело происходило на званом обеде. Мне про этот случай один знакомый человек из торгпредства рассказывал.

Так дело, я говорю, происходило на званом банкете. Кругом, может, миллионеры пришли. Форд сидит на стуле. И еще разные другие.

А тут, знаете, наряду с этим человек кость заглотал.

Конечно, с нашей свободной точки зрения в этом факте ничего такого оскорбительного нету. Ну проглотил и проглотил. У нас на этот счет довольно быстро. «Скорая помощь». Мариинская больница. Смоленское кладбище.

А там этого нельзя. Там уж очень исключительно изысканное общество. Кругом миллионеры расположились. Форд на стуле сидит. Опять же фраки. Дамы. Одного электричества горит, может, больше как на двести свечей.

А тут человек кость проглотил. Сейчас сморкаться начнет. Харкать. За горло хвататься. Ах, боже мой! Моветон и черт его знает что.

А выйти из-за стола и побежать в ударном порядке в уборную — там тоже нехорошо, неприлично. Ага, скажут, побежал до ветру. А там этого абсолютно нельзя.

Так вот этот француз, который кость заглотал, в первую минуту, конечно, смертельно испугался. Начал было в горле копать. После ужасно побледнел. Замотался на своем стуле. Но сразу взял себя в руки. И через минуту заулыбался. Начал дамам посылать разные воздушные поцелуи. Начал, может, хозяйскую собачку под столом трепать.

Хозяин до него обращается по-французски:

— Извиняюсь, — говорит, — может, вы чего-нибудь действительно заглотали несъедобное? Вы, — говорит, — в крайнем случае скажите.

Француз отвечает:

— Коман? В чем дело? Об чем речь? Извиняюсь, — говорит, — не знаю, как у вас в горле, а у меня в горле все в порядке.

И начал опять воздушные улыбки посылать. После на бламанже налег. Скушал порцию.

Одним словом, досидел до конца обеда и никому виду не показал.

Только когда встали из-за стола, он слегка покачнулся и за брюхо рукой взялся — наверное, кольнуло. А потом опять ничего.

Посидел в гостиной минуты три для мелкобуржуазного приличия и пошел в переднюю.

Да и в передней не особо торопился, с хозяйкой побеседовал, за ручку подержался, за калошами под стол нырлял вместе со своей костью. И отбыл.

Ну, на лестнице, конечно, поднажал.

Бросился в свой экипаж.

— Вези, — кричит, — куриная морда, в приемный покой.

Подох ли этот француз или он выжил, — я не могу вам этого сказать, не знаю. Наверное, выжил. Нация довольно живучая.

Землетрясение

Во время знаменитого крымского

землетрясения жил в Ялте некто такой Снопков.

Он сапожник. Кустарь. Он держал в Ялте мастерскую. Не мастерскую, а такую каменную будку имел, такую небольшую халупку.

И он работал со своим приятелем на пару. Они оба-два приезжие были. И производили починку обуви как местному населению, так и курсовым гражданам.

И они жили определенно не худо. Зимой, безусловно, голодовали, но летом работы чересчур хватало. Другой раз даже выпить было некогда. Ну, выпить-то, наверное, время хватало. Чего-чего другого...

Так и тут. Перед самым, значит, землетрясением, а именно, кажется, в пятницу одиннадцатого сентября, сапожник Иван Яковлевич Снопков, не дождавшись субботы, выкушал полторы бутылки русской горькой.

Тем более он кончил работу. И тем более было у него две бутылки запасено. Так что чего же особенно ждать? Он взял и выкушал. Тем более он еще не знал, что будет землетрясение.

И вот выпил человек полторы бутылки горькой, немножко, конечно, поколбасился на улице, спел чего-то там такое и назад к дому вернулся.

Он вернулся к дому назад, лег во дворе и заснул, не дождавшись землетрясения.

А он, выпивши, обязательно во дворе ложился. Он под крышей не любил в пьяном виде спать. Ему нехорошо было под потолком. Душно. Его мучило. И он завсегда чистое место себе требовал.

Так и тут. Одиннадцатого сентября, в аккурат перед самым землетрясением, Иван Яковлевич Снопков набрался горькой, сильно захмелел и заснул под самым кипарисом во дворе.

Вот он спит, видит разные интересные сны, а тут параллельно с этим происходит знаменитое крымское землетрясение. Домишки колышутся, земля гудит и трясется, а Снопков спит себе без задних ног и знать ничего не хочет.

А что до его приятеля, так его приятель с первого удара дал тигалю и расположился в городском саду, боясь, чтоб его камнем не убило.

Только рано утром, часов, может, около шести, продрал свои очи наш Снопков. Проснулся наш Снопков под кипарисом и, значит, свой родной двор нипочем не узнает. Тем более ихнюю каменную будку свалило. Не целиком свалило, а стена расползлась и забор набок рухнул. Только что кипарис тот же, а все остальное признать довольно затруднительно.

Продрал свои очи наш Снопков и думает:

«Мать честная, куда ж это меня занесло? Неужели, — думает, — я в пьяном виде вчера еще куда-нибудь зашел? Ишь ты, крутом какое разрозненное хозяйство! Только не понять — чье. Нет, — думает, — нехорошо так в дым напиваться. Алкоголь, — думает, — чересчур вредный напиток, ни черта в памяти не остается».

И так ему на душе неловко стало, неинтересно.

«Эва, — думает, — забрел куда. Еще спасибо, — думает, — во дворе прилег, а нуте на улице: мотор может меня раздавить или собака может чего-нибудь такое отгрызть. Надо, — думает, — полегче пить или вовсе бросить».

Стало ему нехорошо от этих мыслей, загорюнился он, вынул из кармана остальные полбутылки и тут же от полного огорчения выкушал.

Выкушал Снопков жидкость и обратно захмелел. Тем более он не жрал давно, и тем более голова была ослабши с похмелюги.

Вот захмелел наш Снопков, встал на свои ножки и пошел себе на улицу.

Идет он по улице и с пьяных глаз нипочем улицу не узнает. Тем более после землетрясения народ стаями ходит.

И все на улице, никого дома. И все не в своем виде, полуподетые, с перинами и матрацами.

Вот Снопков ходит себе по улице, и душа у него холодеет.

Господи, думает, семь-восемь, куда же это я, в какую дыру зашел? Или, думает, я в Батум на пароходе приехал? Или, может, меня в Турцию занесло? Эвон народ ходит раздевшись, все равно как в тропиках.

Идет, пьяный, и прямо чуть не рыдает.

Вышел на шоссе и пошел себе, ничего не признавая.

Шел, шел и от переутомления и от сильного алкоголя свалился у шоссе и заснул как убитый.

Только просыпается — темно, вечер. Над головой звезды сверкают. И прохладно. А почему прохладно — он лежит при дороге раздетый и разутый. Только в одних подштанниках.

Лежит он при дороге, совершенно обобранный, и думает:

«Господи, — думает, — семь-восемь, где же это я обрат-
но лежу?»

Тут действительно испугался Снопков, вскочил на свои босые ножки и пошел по дороге.

Только прошел он сгоряча верст, может, десять и пришел на камушек.

Он присел на камушек и загорюнился. Местности он не узнает, и мыслей он никаких подвести не может. И душа и тело у него холодеют. И жрать чрезвычайно хочется.

Только под утро Иван Яковлевич Снопков узнал, как и чего. Он у прохожего спросил.

Прохожий ему говорит:

— А ты чего тут, для примеру, в кальсонах ходишь?

Снопков говорит:

— Прямо и сам не понимаю. Скажите, будьте любезны, где я нахожусь?

Ну, разговорились. Прохожий говорит:

— Так что до Ялты верст, может, тридцать будет. Эва куда ты зашел!

Ну, рассказал ему прохожий насчет землетрясения, и что где разрушило, и где еще разрушается.

Очень Снопков огорчился, что землетрясение идет, и спешил в Ялту.

Так через всю Ялту и прошел он в своих кальсонах. Хотя, впрочем, никто не удивился по случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился.

После подсчитал Снопков свои убытки: уперли порядочно. Наличные деньги — шестьдесят целковых, пиджак — рублей восемь, штаны — рубля полтора и сандалии почти что новенькие. Так что набежало рублей до ста, не считая пострадавшей будки.

Теперь И.Я. Снопков собрался ехать в Харьков. Он хочет полечиться от алкоголя. А то выходит себе дороже.

Чего хочет автор сказать этим художественным произведением?

Этим произведением автор энергично выступает против пьянства. Жало этой художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя.

Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи — землетрясение и то могут проморгать.

Или как в одном плакате сказано: «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!»

И очень даже просто.

С человек — животное довольно

странное. Нет, навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй что, в этом вопросе слегка заврался.

Очень уж у человека поступки — совершенно, как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, знаете, сходства с животным миром. Вот если животные разговаривают на каком-нибудь своем наречии, то вряд ли они могли бы вести такую беседу, как я давеча слышал.

А это было в лечебнице. На амбулаторном приеме. И раз в неделю по внутренним болезням лечусь. У доктора Онушкина. Хороший такой, понимающий медик. Я у него пятый год лечусь. И ничего, болезнь не хуже.

Так вот, прихожу в лечебницу. Записывают меня седьмым номером. Делать нечего — надо ждать.

Вот присаживаюсь в коридоре на диване и жду.

И слышу — ожидающие больные про себя беседуют. И сада довольно тихая, вполголоса, без драки.

Один такой дядя, довольно мордастый, в коротком полушальто, говорит своему соседу:

— Это, — говорит, — милый ты мой, разве у тебя болезнь — грыжа. Это плюнуть и растереть — вот вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня морда выпуклая. Я тем не менее очень больной. Я почками хвораю.

Сосед несколько обиженным тоном говорит:

— У меня не только грыжа. У меня легкие ослабшие. И вот еще жировик около уха.

Мордастый говорит:

— Это безразлично. Эти болезни разве могут равняться с почками!

Вдруг одна ожидающая дама в байковом платке язвительно говорит:

— Ну что ж, хотя бы и почки. У меня родная племянница хворала почками — и ничего. Даже шить и гладить могла. А при вашей морде болезнь ваша малоопасная. Вы не можете помереть через эту вашу болезнь.

Мордастый говорит:

— Я не могу помереть! Вы слышали? Она говорит, я не могу помереть через эту болезнь. Много вы понимаете, гражданка! А еще суетесь в медицинские разговоры.

Гражданка говорит:

— Я вашу болезнь не унижаю, товарищ. Это болезнь тоже самостоятельная. Я это признаю. А я к тому говорю, что у меня, может, болезнь посерьезнее, чем ваши разные почки. У меня — рак.

Мордастый говорит:

— Ну что ж — рак, рак. Смотря какой рак. Другой рак — совершенно безвредный рак. Он может в полгода пройти.

От такого незаслуженного оскорбления гражданка совершенно побледнела и затряслась. Потом всплеснула руками и сказала:

— Рак в полгода. Видали! Ну, не знаю, какой это рак ты видел. Ишь морду-то отрастил за свою болезнь.

Мордастый гражданин хотел достойным образом ответить на оскорбление, но махнул рукой и отвернулся.

В это время один ожидающий гражданин усмехнулся и говорит:

— А собственно, граждане, чего вы тут расхвастались?

Больные посмотрели на говорившего и молча стали ожидать приема.

Вот, братцы, и весна наступила.

А там, глядишь, и лето скоро. А хорошо, товарищи, летом! Солнце пекет. Жарынь. А ты ходишь этаким чертом без пиленок, в одних портках, и дышишь. Тут же где-нибудь птичечки порхают. Букашки куда-нибудь стремятся. Чернышечки чирикают. Хорошо, братцы, летом.

Хорошо, конечно, летом, да не совсем.

Года два назад работали мы по кооперации. Такая струя в нашей жизни подошла. Пришлось у прилавка стоять. В двадцать втором году.

Так для кооперации, товарищи, нет, знаете, ничего гадского, когда жарынь. Продукт-то ведь портится. Тухнет продукт ай нет? Конечное дело, тухнет. А ежели он тухнет, есть от этого убытки кооперации? Есть.

А тут, может, наряду с этим лозунг брошен — режим экономии. Ну как это совместить, дозвольте вас спросить?

Нельзя же, граждане, с таким полным эгоизмом подходить к явлениям природы и радоваться и плясать, когда наступает тепло. Надо же, граждане, и об общественной пользе позаботиться.

А помню, у нас в кооперативе испортилась капуста, стухла, извините за такое некрасивое сравнение.

И мало того что от этого прямой у нас убыток кооперации, так тут еще накладной расход. Увозить, оказывается, надо этот спорченный продукт. У тебя же, значит, испортилось, ты же на это еще и денежки свои докладывай. Вот обидно!

А бочка у нас стухла громадная. Этакая бочища, пудов, может, на восемь. А ежели на килограммы, так и счету нет. Вот какая бочища!

И такой от нее скучный душок пошел — гроб.

Заведующий наш, Иван Федорович, от этого духа прямо смысл жизни потерял. Ходит и нюхает.

— Кажись, — говорит, — братцы, разит?

— Не токмо, — говорим, — Иван Федорович, разит, а прямо пахнет.

И запашок действительно, надо сказать, острый был. Прохожий человек по нашей стороне ходить даже остерегался. Потому с ног валило.

И надо бы эту бочечку поскорее увезти куда-нибудь к чертовой бабушке, да заведующий, Иван Федорович, мнет-ся. Все-таки денег ему жалко. Подводу надо нанимать, пятое, десятое. И везти к черту на рога за весь город. Все-таки заведующий и говорит:

— Хоть, — говорит, — и жалко, братцы, денег, и процент, — говорит, — у нас от этого ослабнет, а придется увезти этот бочонок. Дух уж очень тяжелый.

А был у нас такой приказчик, Васька Веревкин. Так он и говорит:

— А на кой пес, товарищи, бочонок этот вывозить и тем самым народные соки-денежки тратить и проценты себе слабить? Нехай выкатим этот бочонок во двор. И подождем, что к утру будет.

Выперли мы бочку во двор. Наутро являемся — бочка чистая стоит. Сперли за ночь капусту.

Очень мы, работники кооперации, от этого факта повеселели. Работа прямо в руках кипит — такой подъем наблюдается. Заведующий наш, голубчик Иван Федорович, ходит и ручки свои трет.

— Славно, — говорит, — товарищи, пушай теперь хоть весь товар тухнет, завсегда так делать будем.

Вскоре стухла еще у нас одна бочечка. И кадушка с огурцами.

Обрадовались мы. Выкатили добро на двор и калиточку приоткрыли малость. Пушай, дескать, повидней с улицы. И валяйте, граждане!

Только на этот раз мы проштрафились. Не только у нас капусту уволокли, а и бочку, черти, укатали. И кадушечку слямзили.

Ну а в следующие разы спорченный продукт мы на рогожку вываливали. Так с рогожей и выносили.

Нервные люди

Н/едавно в нашей коммунальной

квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттапали.

Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорит, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет.

А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались совсем, не разжигается.

Она думает: «С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провались совсем!»

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, — отвечает, — подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, — говорит, — до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руки взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степаныч Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.

Так является этот Иван Степаныч и говорит:

— Я, — говорит, — ну ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, — говорит, — покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, — говорит, — на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это, — говорит, — за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось.

А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Крутом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать — троих кроешь. И, конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду — с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему:

— Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

— Пушай, — говорит, — нога пропадает! А только, — говорит, — не могу я теперича уйти. Мне, — говорит, — сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.

Тут какой-то паразит за милицией кинулся.

Является мильтон. Кричит:

— Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очутился.

Бросился по своим комнатам.

Вот те, думают, клюква, с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?

Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И из башки кровь каплет

Через две недели после этого факта суд состоялся.

А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался — прописал ижицу.

У нас в коммунальной квартире

в передней колпак разбился. На электрической лампочке.

Один из жильцов, сукин сын, явился домой под мухой и начал что-то со столиком делать, играть, что ли. Подкидывать, что ли, начал. И сбил колпак. Хороший такой был, плоский, матовый колпачок.

А после, не желая платить за этот колпак, съехал с квартиры.

Целый год жильцы собирали деньги на колпак. И когда собрали, то единогласно поручили мне приобрести эту вещь.

Вчера я пошел покупать. А знаете, как нынче покупать? Горе!

Зашел в один магазин — нету колпаков.

Зашел в другой — есть колпаки, но уличные. Со столбами.

В третьем магазине работник прилавка подает мне небольшой, как будто подходящий колпак, но усталым голосом заявляет, что этот колпак взят с выставки, с витрины, и потому не продается.

В пятом магазине сказали:

— На что вам, товарищ, колпак? Купите выключатель. Или вот эту люстру. В крайнем случае на ней можно повеситься...

В седьмом заведывающий сердито махнул на меня рукой, когда я проник в магазин, и сказал, что сегодня продажи не производится по случаю переучета украденных вещей за текущий месяц.

Девятый и десятый магазины были закрыты по случаю годового учета.

В тринадцатом магазине произошел такой исторический разговор:

Я говорю:

— Нет ли у вас...

Заведывающий уныло высморкался в рукава и сказал:

— Нету...

— Позвольте, — говорю, — я же еще не сказал, что мне нужно.

— Да нету, — сказал заведывающий. — Ну что вы в самом деле — маленький, что ли!

Тогда, не заходя в четырнадцатый магазин, я отправился прямо в древтрест и купил на собранные деньги небольшую подставку для палок и зонтиков.

Жильцы, между прочим, даже обрадовались. Оно, говорят, и к лучшему. А то опять кто-нибудь наклюкается и ковырнет этот хрупкий предмет.

И если подумать глубже и философски, то на черта человеку сдался колпак?

Эта маленькая грустная история

произошла с товарищем Петюшкой Ящиковым. Хотя как сказать — маленькая! Человека чуть не зарезали. На операции.

Оно, конечно, до этого далеко было. Прямо очень даже далеко. Да и не такой этот Петька, чтобы мог допустить себя свободно зарезать. Прямо скажем: не такой это человек. Но история все-таки произошла с ним грустная.

Хотя, говоря по совести, ничего такого грустного не произошло. Просто не рассчитал человек. Не сообразил. Опять же на операцию в первый раз явился. Без привычки.

А началась у Петюшки пшечная болезнь. Верхнее веко у него на правом глазу начало раздувать. И за три года с небольшим раздуло прямо в чернильницу.

Смотался Петя Ящиков в клинику. Докторша ему попала молодая, интересная особа.

Докторша эта ему говорила:

— Как хотите. Хотите — можно резать. Хотите — находитесь так. Эта болезнь не смертельная. И некоторые мужчины, не считаясь с общепринятой наружностью, вполне привыкают видеть пред собой все время этот набалдашник.

Однако, красоты ради, Петюшка решился на операцию. Тем более и докторша ему понравилась. И вот он взял и согласился. Тогда велела ему докторша прийти завтра. На завтра Петюшка Ящиков хотел было заскочить на операцию сразу после работы. Но после думает:

«Дело это хотя глазное и наружное, и операция, так сказать, не внутренняя, но пес их знает — как бы не приказали костюм раздеть. Медицина — дело темное. Не за-



Фотография середины 1910 г.г.



Ему 2 года. Фотография 1897 г.



Перед экзаменом на офицерское звание. 1915 г.



Перед отправкой на фронт. 1916 г.



«Золотоположная свинья» в
1916 году на фронте.

Господа офицеры Милитарного
полка Кавказск. Грнад. Дивизии.

Я командир батальона. В учении

Группка идеологичеки не выдѣр
жена. Наша молодая общественность
Простити меня — был огнен манд!

В то время мы не было 20 лет.

М. Ясу





На русско-германском фронте. Июль 1916 года

сбросить ли, в самом деле, домой — перенести нижнюю рубаху?» Побежал Петюшка домой.

Главное, что докторша молодая. Охота была Петюшке ныль в глаза пустить — дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато, будьте любезны, рубашечка — чистый мадаполам. Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть. Заскочил домой. Надел чистую рубаху. Шею бензином вытер. Ручки под краном сполоснул. Усики кверху растопырил. И покатился.

Докторша говорит:

— Вот это операционный стол. Вот это ланцет. Вот это наша пшеничная болячка. Сейчас я вам все это сделаю. Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол.

Петюшка слегка даже растерялся. То есть, думает, прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное происшествие. Ой-ой, думает, носочки-то у меня неинтересные, если не сказать хуже.

Начал Петюшка Ящиков все-таки свою китель сдирать, чтоб, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки.

Докторша говорит:

— Китель оставьте трогать. Не в гостинице. Снимите только сапоги.

Начал Петюшка хвататься за сапоги, за свои джимми. После говорит:

— Прямо, — говорит, — товарищ докторша, не знал, что с ногами ложиться. Болезнь глазная, верхняя — не предполагал. Прямо, — говорит, — товарищ докторша, рубашку переменял, а другое, извиняюсь, не трогал. Вы, — говорит, — на них не обращайтесь внимания во время операции.

Докторша, утомленная высшим образованием, говорит:

— Ну валяй скорей. Время дорого.

А сама сквозь зубы хохочет.

Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задыхается. Аж рука дрожит.

А могла бы резать со своей дрожащей ручкой!

Разве можно так человеческую жизнь подвергать опасности?

Но, между прочим, операция кончилась прекрасно. И глаз у Петюшки теперь без набалдашника.

Зубное дело

С этого года у Егорыча зубное дело

покачнулось. Начали у него зубы падать. •

Конечно, годы идут, само собой. Организм, так сказать, разрушается. Кость, может быть, по непрочности довоенного материала выветривается.

Одним словом, у Ивана Егорыча Колбасьева, проживающего в нашем доме, начали с этого года зубы крошиться и выпадать.

Один-то зуб ему, это верно, выбили при разговоре. А другие самостоятельно начали падать. Так сказать, не дожидаясь событий. Скажем, жует человек или говорит о заработной плате и вообще рядом поблизости никаких людей нету, а зубы сыплются. Прямо удивительно. Шесть зубов в короткое время потерял.

Но только Егорыч этого никогда не боялся. Он не боялся остаться без зубов. Человек он застрахованный. Ему всегда обязаны на свое место зубы поставить.

С этими мыслями он так и жил на свете. И всегда говорил:

— Я, — говорит, — зубами никогда не стесняюсь. Мне выбивать можно. По другому предмету или по носу я никогда не позволю себя ударить, а зубное дело у меня тихое и спокойное. У нас, у застрахованных, завсегда полное спокойствие в этом смысле.

И когда, значит, Иван Егорыч потерял шесть зубов, тогда он решил устроить себе капитальный ремонт. Захватил он с собой документы и пошел в клинику.

В клинике ему говорят:

— Пожалуйста. Можно поставить. Только у нас правило: восемь зубов должно не хватать. Ежели больше — ваше

счастье, наше несчастье. А мелкими подрядами клиника занимается. Такой закон для застрахованных.

Егорыч говорит:

— У меня шесть.

— Нету, — говорят, — невозможно тогда, товарищ. Подождите своего времени.

Тут Егорыч даже рассердился.

— Да что ж это, — говорит, — поленом, что ли, мне остальные зубы вышибать?

— Вышибать, — говорят, — не надо. Зачем же природу портить? Обождите, может, на ваше счастье, они сами выпадут.

В полном расстройстве чувств пошел Егорыч домой.

Такое, думает, было спокойное зубное дело, и какие, знаете, неожиданности.

Начал Егорыч ждать, когда выпадут у него эти лишние незаконные зубы.

Вскоре один выпал. А другой Егорыч начал рашпилем трогать — подчищать и тоже скovyрнул со своего насиженного места.

Побежал Егорыч в клинику

— Теперича, — говорит, — как в аптеке, — в аккурат носемь зубов.

— Пожалуйста, — говорят ему, — теперь совершенно можно. У вас как, подряд восемь зубов не хватает или как? А то у нас правило: надо, чтоб подряд не хватало. Если не подряд, а в разных местах, то мы не беремся — потому такой зубной гражданин жевать еще может.

Егорыч говорит:

— Нету. Не подряд.

— Тогда, — говорят, — не можем.

Ничего на это Егорыч не сказал, только заскрипел остатными зубами и вышел из клиники.

Эва, думает, какие неожиданности! Такое было аккуратное душевное состояние, а теперь ничего подобного.

Сейчас Егорыч живет тихо, пищу ест жидкую и остатные свои зубы чистит щеточкой три раза в день.

В этом отношении клиническое правило обернулось выгодно.

Медицинский случай

Можно сказать, всю свою жизнь

я ругал знахарей и всяких таких лекарских помощников.

А сейчас горой заступлюсь.

Уж очень святое наглядное дело произошло.

Главное, все медики отказались лечить эту девочку. Руками разводили, черт ее знает, чего тут такое. Дескать, медицина в этом теряется.

А тут простой человек, без среднего образования, может, в душе сукин сын и жулик, поглядел своими бельмами на девочку, подумал, как и чего, и пожалуйста — имеете заместо тяжелого недомогания здоровую личность.

А этот случай был с девочкой.

Такая небольшая девочка. Тринадцати лет. Ее ребяташки испугали. Она была вышедши во двор по своим личным делам. А ребяташки, конечно, хотели подшутить над ней, попугать. И бросили в нее дохлой кошкой. И у нее через это дар речи прекратился. То есть она не могла слова произносить после такого испуга. Чего-то бурчит, а полное слово произносить не берется. И кушать не просит.

А родители ее были люди, конечно, не передовые. Не в авангарде революции. Это были небогатые родители, кустари. Они шнурки к сапогам производили. И девочка тоже чего-то им вертела. Какое-то колесо. А тут вертеть не может и речи не имеет.

Вот родители мотали, мотали ее по всем врачам, а после и повезли к одному специальному человеку. Про него нельзя сказать, что он профессор или врач тибетской медицины. Он просто лекарь-самородок.

Вот привезли они своего ребенка в Шувалово до этого специалиста. Объявили ему, как и чего.

Лекарь говорит:

— Вот чего. У вашей малютки прекратился дар речи через сильный испуг. И я, — говорит, — так мерекаю. Ну-те, я ее сейчас обратно испугаю. Может, она, сволочь такая, снова у меня заговорит. Человеческий, — говорит, — организм достоин всеобщего удивления. Врачи, — говорит, — и разная профессура сама, — говорит, — затрудняется узнать, как и чего и какие факты происходят в человеческом теле. И я, — говорит, — сам с ними то есть совершенно согласен и. — говорит, — затрудняюсь вам сказать, где у кого печенка лежит и где селезенка. У одного, — говорит, — тут, а у другого, может, не тут. У одного, говорит, кишки болят, а у другого, может, дар речи прекратился, хотя, — говорит, — язык болтается правильно. А только, — говорит, — надо на все находить свою причину и ее выбивать поленом. И в этом, — говорит, — есть моя сила и учение. Я, — говорит, — дознаюсь до причины и ее искореняю.

Конечное дело, родители забоялись и не советуют девчонку поленом ударять. Медик говорит:

— Что вы, что вы! Я, — говорит, — ее поленом не буду ударять. А я, — говорит, — возьму махровое или, например, вафельное полотенце, посажу, — говорит, — вашу маленькую лахудру на это место, и пускай она сидит минуты три. А после, — говорит, — я тихонько выбегу из-за дверей и как ахну ее полотенцем. И, может, она протрезвится. Может, она шибко испугается, и, я так мерекаю, может, она снова у нас разговорится.

Тогда вынимает он из-под шкапа вафельное полотенце, усаживает девчонку куда надо и выходит.

Через пару минут он тихонько подходит до нее и как ахнёт ее по заправку.

Девчонка как с перепугу завизжит, как забьется.

И, знаете, заговорила.

Говорит и говорит, прямо удержу нету. И домой прогнется. И за свою мамку цепляется. Хотя взгляд у ней стал еще более беспокойный и такой вроде безумный. Родители говорят:

— Скажите, она не станет после этого факта дурочкой?

Лекарь говорит:

— Этого я не могу вам сказать. Мое, — говорит, — дело сообщить ей дар речи. И это есть налицо. И, — говорит, — меня не так интересует ваша трешка, а мне, — говорит, — забавней видеть подобные результаты.

Родители подали ему трешку и отбыли.

А девчонка действительно заговорила. Действительно верно, она немного в уме свихнулась, немножко она такая стала придурковатая, но говорит как пишет.

Веселенькая история

Л Лиговский поезд никогда

шибко не едет. Или там путь не позволяет, или семафоров очень много наставлено — сверх нормы, — я этого не знаю. Но только ход поезда удивительно медленный. Прямо даже оскорбительно ехать. И, конечно, через такой ход в вагоне бывает ужасно как скучно. Прямо скажем — делать нечего.

На публику глядеть, конечно, мало интереса. Обидятся еще. Чего, скажут, смотришь? Не узнал?

А своим делом заняться тоже не всегда можно. Читать, например, нельзя. Лампочки особо мутные. И ужасно высоко присобачены. Прямо как угольки сверху светят, а радости никакой.

Хотя насчет лампочки это зря сказано. Эта веселенькая история произошла днем. Но оно и днем скучно ехать.

Так вот, в субботу днем в вагоне для некурящих пассажиров ехала Феклуша, Фекла Тимофеевна Разуваева. Она из Лигова до Ленинграда ехала за товаром. Она яблоками и семечками торгует в Лигове на вокзале.

Так вот, эта самая Феклуша поехала себе на Щукин. На Щукин рынок. Ей охота была приобрести ящик браку антоновки.

И присела она с Лигова у окошка и поехала. Едет и едет.

А напротив ее едет Федоров Никита. Рядом, конечно, Анна Ивановна Блюдечкина — совслужащая из соцстраха. Все лиговские. На работу едут.

А вскоре после Лигова еще новый пассажир входит. Пустынный.

Он до этого времени на площадке ехал. И садится он наискось от Феклы Тимофеевны Разуваевой. Садится он наискось и едет.

Фекла Тимофеевна, пускай ей будет полное здоровье и благополучие, развязала косынку и, развязавши, стала свободно размышлять на торговые темы, мол, сколько в ящике может быть антоновки и так далее.

После поглядела она в окно. А после, от полной скуки, стала Фекла Тимофеевна подремывать. То ли в теплом вагоне ее, милую, развезло, или скучные картины природы на нее подействовали, но только начала Фекла Тимофеевна клевать носом. И зевнула.

Первый раз зевнула — ничего. Второй раз зевнула во всю ширь — аж все зубы можно пересчитать. Третий раз зевнула еще послаще. А военный, который наискось сидел, взял и добродушно сунул ей палец в рот. Пошутил. Ну, это часто бывает — кто-нибудь зевнет, а ему палец в рот. Но, конечно, это бывает между, скажем, настоящими друзьями, заранее знакомыми или родственниками со стороны жены. А этот совершенно незнакомый. Фекла Тимофеевна в первый раз его видит.

По этой причине Фекла Тимофеевна, конечно, испугалась. И, с перепугу, поскорей захлопнула свой чемодан. И при этом довольно сильно тяпнула военного за палец зубами.

Ужасно тут закричал военный. Начал кричать и выражаться. Мол, палец ему почти начисто оттяпали. Тем более что палец совершенно не оттяпали, а просто немного захватили зубами. И крови-то почти не было — не больше полстакана.

Началась легкая перебранка. Военный говорит:

— Я, — говорит, — ну, просто пошутил. Если бы, — говорит, — я вам язык оторвал или что другое, тогда кусайте меня, а так, — говорит, — я не согласен. Я, — говорит, — военныйслужащий и не могу позволить пассажирам отгрызать свои пальцы. Меня за это не похвалят.

Фекла Тимофеевна говорит:

— Ой! Если бы ты мне за язык взялся, я бы тебе полную кисть руки оттяпала. Я не люблю, когда меня за язык хватают.

Начала тут Фекла Тимофеевна на пол сплевывать — дескать, может, и палец-то черт знает какой грязный и черт знает за что брался, — нельзя же такие вещи строить — негигиенично.

Но тут ихняя дискуссия была нарушена — подъехали к Ленинграду. Фекла Тимофеевна еще слегка полаялась со своим военным и пошла на Шукин.

Тримаса нэпа

На праздники я обыкновенно

в Луту езжу. Там, говорят, воздух очень превосходный — сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят. Я не знаю. Не думаю.

Главное, что в Луту ездить — сущее наказание. Народу больно много. Пихаются. На колени садятся без разрешения. Корзинки и тючки на голову ставят. Не только бронхит — душевную болезнь получить можно.

Прошлый раз по пути из Луги на какой-то станции, несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Не старый еще. С усиками. Довольно франтовато одетый. В русских сапогах. И с ним — старуха. Такая обыкновенная старуха с двумя тюками и с корзинкой.

Собственно, сначала эта старуха в вагон вошла со своим багажом. А за ней уж этот тип со своими усиками.

Старуха, значит, впереди идет — пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой. И все командует ей:

— Неси, — кричит, — ровней корзину-то. Просыплешь чего-то там такое... Становь теперича ее под лавку! Засупонивай, я говорю, ее под лавку. Ах, чертова голова! Узел-то не клади гражданам на колени. Клади временно на голову... Обожди, сейчас я подниму его на верхнюю полку. Фу ты, я говорю, дьявол какой!

Только видят пассажиры — действия гражданина не настоящие, форменное нарушение уголовного кодекса труда. Одним словом, пассажиры видят: нарушена норма в отношении старослужащего человека.

Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие — дескать, не пора ли одернуть, если он зарвался и

кричит и командует одной прислугой. Где ж это возможно одной старухе узлы на головы ложить? Это же форменное безобразие.

— Это, — говорят, — эксплуатация трудящихся! Нельзя же так кричать и командовать на глазах у публики. Это унижает ейное старушечье достоинство.

Вдруг один наиболее из всех нервный гражданин подходит до этого, который с усиками, и берет его прямо за грудки.

— Это, — говорит, — невозможно допускать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса нэпа.

То есть, когда этого нового взяли за грудки, он поблел и откинулся. И только потом начал возражать.

— Позвольте, — говорит, — может быть, никакой гримасы нету? Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду? Довольно, — говорит, — оскорбительно слушать подобные слова в нарушении кодекса.

Тут среди публики некоторое замешательство произошло. Некоторый конфуз: дескать, вмешались не в свои семейные дела. Прямо неловко. Оказывается, это всего-навсего мамаша, а не домработница.

Наиболее нервный человек не сразу, конечно, сдался.

— А пес, — говорит, — ее разберет! На ней афиша не наклеена — мамаша или папаша. Тогда объявлять надо при входе.

Но после сел у своего окна и говорит:

— Извиняюсь все-таки. Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша. Мы подумали как раз, знаете, другое. Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся.

До самого Ленинграда который с усиками оскорблялся явным числом за нанесенные ему обиды.

— Это, — говорит, — проехаться не дадут — сразу берут за грудки. Затрагивают, у которых, может быть, билеты есть. Положите, мамаша, ногу на узел — унести могут... Какие такие нашлись особенные... А может быть, я с семнадцатого года живу в Ленинграде.

Другие пассажиры сидели молча и избегали взгляда ного оскорбленного человека.

Мещанский уклон

Э тот случай окончательно

может доконать человека.

Василия Тарасовича Растопыркина — Васю Растопыркина, этого чистого пролетария, беспартийного черт знает с какого года — выкинули давеча с трамвайной площадки.

Больше того — мордой его трахнули об трамвайную медную полустойку. Он был ухвативши за нее двумя руками и головой и долго не отцеплялся. А его милиция и обер-стрелочник стягивали.

Стягивали его вниз по просьбе мещански настроенных пассажиров.

Конечно, слов нет, одет был Василий Тарасович не во фраке. Ему, знаете, нету времени фраки и манжетки на грудь надевать. Он, может, в пять часов шабашит и сразу домой прёт. Он, может, маляр. Он, может, действительно, как собака грязный едет. Может, краски и другие предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает и ходить пешком ему трудно.

И не может он, ввиду скромной зарплаты, автомобиль себе нанимать для разездов и приездов. Ему автомобили — не по карману. Ему бы на трамвае проехаться — и то хлеб. Ой, до чего дожили, до чего докатились!

А пошабашил Василий Тарасович в пять часов. В пять часов он пошабашил, взял, конечно, на плечи стремянку и ведрышко с остатней краской и пошел себе к дому.

Пошел себе к дому и думает.

Цельный день, думает, лазию по стремянкам и разноцветную краску на себя напущаю и не могу идтить пешком. Дай, думает, сяду на трамвай как уставший пролетарий.

Тут, конечно, останавливается перед ним трамвай № 6. Василий Тарасович просит, конечно, одного пассажира поддержать в руке ведрышко с остатней краской, а сам, конечно, становится на площадку стремянку.

Конечно, слов нет, стремянка не была сплошной чистоты — не блестела. И в ведрышко — раз в нем краска — нельзя свои пальцы окунать. И которая дама сунула туда руку — сама, дьявол ее задави, виновата. Не суй рук в чужие предметы!

Но это все так, с этим мы не спорим: может, Василий Тарасович, действительно верно, не по закону поступил, что со стремянкой ехал. Речь не об этом. Речь — о костюме. Нэпманы, сидящие в трамвае, решительно взбунтовались как раз именно насчет костюма.

— То есть, — говорят, — не можно к нему прикоснуться совершенно, то есть, отпечатки бывают.

Василий Тарасович резонно отвечает:

— Очень, — говорит, — то есть, понятно. — раз масляная краска на олифе, то отпечатки завсегда случаются. Было бы, — говорит, — смертельно удивительно, если бы без отпечатков.

Тут, конечно, одна нэпманша из кондукторов трезвонит, конечно, во все звонки, и вагон останавливается. Останавливает вагон и хамским голосом просит сойти Василия Тарасовича.

Василий Тарасович говорит:

— Трамвай для публики или публика для трамвая — это же, — говорит, — понимать надо. А я, — говорит, — может, в пять часов шабашу. Может, я маляр?

Тут, конечно, происходит печальная сцена с милицией и обер-стрелочником. И кустаря-пролетария Василия Тарасовича Растопыркина сымают, как сукина сына, с трамвайной площадки, мордой задевают об полустойку и высаживают.

Со стремянкой уж и в вагоне проехаться нельзя! До чего докатились!

Ирелести культуры

Всегда я симпатизировал

центральным убеждениям.

Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней.

Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.

И действительно, при военном коммунизме куда как было свободней в отношении культуры и цивилизаций. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться — сиди в чем пришел. Это было достижение.

А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы на счет того же раздевания в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается — красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком.

Товарищ Локтев и его дама Ньюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить — не помню.

Встречают и уговаривают. Горло, говорят, Василий Митрофанович, от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль — «Грелка».

И, одним словом, уговорили меня пойти в театр — провести культурно вечер.

Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты по рубль тридцать. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться.

— Польша, — говорят, — сымайте.

Локтев, конечно, с дамой моментально скинули пальто. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. Прямо, думаю, срамота может произойти. Главное — рубаха нельзя сказать, что грязная. Рубаха не особо грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. Срамота, думаю, с такой крупной пуговицей в фойе идти.

Я говорю своим:

— Прямо, — говорю, — товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто сымать. Все-таки подтяжки там и сорочка опять же грубая.

Товарищ Локтев говорит:

— Ну, покажись.

Расстегнулся я. Показываюсь.

— Да, — говорит, — действительно, видик...

Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит:

— Я, — говорит, — лучше домой пойду. Я, — говорит, — не могу, чтоб кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, — говорит, — еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольно, — говорит, — вам неловко в таком отвлеченном виде в театры ходить.

Я говорю:

— Я не знал, что я в театры иду, — дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу, — что тогда?

Стали мы думать, чего делать. Локтев, собака, говорит:

— Вот чего. Я, — говорит, — Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко.

Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя.

— Ой, — говорит, — мать честная, я, — говорит, — сам сегодня не при жилетке. Я, — говорит, — тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки поприличней. Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко.

Дама говорит:

— Лучше, — говорит, — я, ей-богу, домой пойду. Мне, — говорит, — дома как-то спокойней. А то, — говорит, — один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук вместо пиджака. Пушай, — говорит, — Василий Митрофанович в пальто попросит пойти.

Просим и умоляем, показываем союзные книжки — не пускают.

— Это, — говорят, — не девятнадцатый год — в пальто сидеть.

— Ну, — говорю, — ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти.

Но как подумаю, что рубль тридцать заплачено, не могу идти — ноги не идут к выходу. Локтев, собака, говорит:

— Вот чего. Ты, — говорит, — подтяжки отстегни, — пушай их дама понесет заместо сумочки. А сам валяй как есть: будто у тебя это летняя рубашка апаш и тебе, одним словом, в ней все время жарко.

Дама говорит:

— Я подтяжки не понесу, как хотите. Я, — говорит, — не для того в театры хожу, чтоб мужские предметы в руках носить. Пушай Василий Митрофанович сам несет или в карман себе сунет.

Раздеваю пальто. Стою в рубашке, как сукин сын. А холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю. А кругом публика смотрит. Дама отвечает:

— Скорей вы, подлец этакий, отстегивайте помочи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду.

А мне скоро тоже не отстегнуть. Мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются — сразу отстегивать. Я упрежнения руками делаю.

После приводим себя в порядок и садимся на места.

Первый акт проходит хорошо. Только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался.

Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию. Объясняют насчет меня. Дамам, говорят, противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорят, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын.

Я говорю:

— Я верчусь от холода. Посидите-ка в одной рубахе. А я, — говорю, — братцы, и сам не рад. Что же сделать?

Волокут меня, конечно, в контору. Записывают все как есть. После отпускают.

— А теперь, — говорят, — придется вам трешку по суду отдать.

Вот гадость-то! Прямо не угадаешь, откуда неприятности...

Я, конечно, человек непыющий.

Бжели другой раз и выпью, то мало — так, приличия ради или славную компанию поддержать. Больше как две бутылки мне враз нипочем не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела, и четверть выкушал.

Но это было в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли.

А теперь старею.

Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался. Андрожал.

— У вас, — говорит, — полная девальвация. Где, — говорит, — печень, где мочевой пузырь, распознать, — говорит, — нет никакой возможности. Очень, — говорит, — вы испортились.

Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему. Дай, думаю, сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь. Врач никакой девальвации не нашел.

— Органы, — говорит, — у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь, — говорит, — вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца — очень еще отличное, даже, — говорит, — шире, чем надо. Но, — говорит, — пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может включиться.

А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой. Мне только-только в начале нэпа сожж три года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое. И пузырь, глав-

ное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться. Надо, думаю, в самом деле пить бросить. Взял и бросил.

Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую.

Покушал суп. Начал вареное мясо кушать — охота выпить. Заместо, думаю, острых напитков попрошу чего-нибудь помягче — нарзану или же лимонаду. Зову.

— Эй, — говорю, — который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду.

Приносят, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе. В графине. Наливаю в стопку.

Пью я эту стопку, чувствую: кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт! Налил остатки — самая настоящая водка.

— Неси, — кричу, — еще!

Вот, думаю, поперло-то!

Приносит еще.

Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось — самая натуральная.

После, когда деньги заплатил, замечание все-таки сделал.

— Я, — говорю, — лимонаду просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова?

Тот говорит:

— Так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово. Еще с прежних времен... А натурально-го лимонаду, извиняюсь, не держим — потребителя нету.

— Неси, — говорю, — еще последнюю.

Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится — жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.

Главное — Василий Конопатов

с барышней ехал. Поехал бы он один — все обошлось бы главным образом. А тут черт дернул Васю с барышней на трамвае выехать.

И, главное, как сложилось все дефективно! Например, Вася и привычки никогда не имел по трамваям ездить. Никогда пёхом пёрся. То есть случая не было, чтоб парень в трамвай влез и добровольно гривенник кондуктору отдал.

А тут нате вам — манеры показал. Мол, не угодно ли вам, дорогая барышня, в трамвае покататься? К чему, дескать, туфлями лужи черпать?

Скажи на милость, какие великосветские манеры!

Так вот, влез Вася Конопатов в трамвай и даму за собой впёр. И мало того что впёр, а еще и заплатил за нее без какого скандалу.

Ну, заплатил — и заплатил. Ничего в этом нет особенного. Стой, подлая душа, на месте, не задавайся. Так нет, начал, дьявол, для фасона за кожаные штуки хвататься. Ни верхние держатели. Ну и дохватался.

Были у парня небольшие часы — сперли.

И только сейчас тут были. А тут вдруг хватился, хотел перед дамой пыль пустить — часов и нету. Заголосил, конечно.

— Да что ж это, — говорит. — Раз в жизни в трамвай опрешься, и то трогают.

Тут в трамвае началась, конечно, неразбериха. Остатки вагон. Вася, конечно, сразу на даму свою подумал, не она ли вообще увела часы. Дама — в слезы.

— Я, — говорит, — привычки не имею за часы хвататься.

Тут публика стала наседать.

— Это, — говорит, — нахальство на барышню тень наводить.

Барышня отвечает сквозь слезы:

— Василий, — говорит, — Митрофанович, против вас я ничего не имею. Несчастье, — говорит, — каждого человека пригинает. Но, — говорит, — пойдемте, прошу вас, в угрозыск. Пущай там зафиксируют, что часы — пропажа. И, может, они, слава богу, найдутся.

Василий Митрофанович отвечает:

— Угрозыск тут ни при чем. А что на вас я подумал — будьте любезны, извините. Несчастье, это действительно, человека пригинает.

Тут публика стала выражаться. Мол, как это можно? Если часы — пропажа, то обязательно люди в угрозыск ходят и заявляют.

Василий Митрофанович говорит:

— Да мне, — говорит, — граждане, прямо некогда и, одним словом, неохота в угрозыск идти. Особых делов, — говорит, — у меня там нету. Это, — говорит, — не обязательно идти.

Публика говорит:

— Обязательно. Как это можно, когда часы — пропажа. Идемте, мы свидетели.

Василий Митрофанович отвечает:

— Это насилие над личностью.

Однако все-таки пойти пришлось.

И что бы вы, милые мои, думали? Зашел парень в угрозыск, а оттуда не вышел. Так-таки вот и не вышел. Застрял там. Главное — пришел парень со свидетелями, объясняет.

Ему говорят:

— Ладно, найдем. Заполните эту анкету. И объясните, какие часы.

Стал парень объяснять и заполнять — и запутался.

Стали его спрашивать, где он в девятнадцатом году был. Велели показать большой палец. Ну и конченное дело. Приказали остаться и не удаляться. А барышню отпустили.

И подумать, граждане, что творится! Человек в угрозыск не моги зайти. Замечают.

Рабочий костюм

Вот, граждане, до чего дожили!

Рабочий человек и в ресторан не пойдя — не впускают. На рабочий костюм косятся. Грязный, дескать, очень для обстановки.

На этом самом Василий Степаныч Конопатов пострадал. Собственной персоной. Выперли, братцы, его из ресторана. Вот до чего дожили.

Главное, Василий Степаныч как только в дверь вошел, так сразу почувствовал, будто что-то не то, будто швейцар как-то косо поглядел на его костюмчик. А костюмчик изместно какой — рабочий, дрянь костюмчик, вроде прозожды. Да не в этом сила. Уж очень Василию Степанычу до слез обидным показалось отношение.

Он говорит швейцару:

— Что, — говорит, — косишься? Костюмчик не по вкусу? К манишечкам небось привыкши?

А швейцар Василия Степаныча цоп, например, за локоть и не пускает.

Василий Степаныч в сторону.

— Ах так! — кричит. — Рабочего человека в ресторан не пущать? Костюм неинтересный?

Тут публика, конечно, собралась. Смотрит. Василий Степаныч кричит:

— Да, — говорит, — действительно, граждане, манишечки у меня нету, и галстуки, — говорит, — не болтаются... И, может быть, — говорит, — я шею три месяца не мыл. Но, — говорит, — я, может, на производстве преку и потею. И, может, некогда мне костюмчики взад и вперед передевать.

Тут пищевики наседать стали на Василия Степаныча. Под руки выводят. Швейцар, собака, прямо коленкой под-нажимает, чтобы в дверях без задержки было.

Василий Степаныч Конопатов прямо в бешенство пришел. Прямо рыдает человек.

— Товарищи, — говорит, — молочные братья! Да что ж это происходит в рабоче-крестьянском строительстве? Без манишечки, — говорит, — человеку пожарить не позволяют...

Тут поднялась катавасия. Потому народ видит — идеология нарушена. Стали пищевиков оттеснять в сторону. Кто бутылкой машет, кто стулом...

Хозяин кричит в три горла — дескать, теперь ведь заведение закрыть могут за допущение разврата.

Тут кто-то с оркестра за милицией сбегал.

Является милиция. Берет родного голубчика, Василия Степаныча Конопатова, и сажает его на извозчика.

Василий Степаныч и тут не утих.

— Братцы, — кричит, — да что ж это? Уж, — говорит, — раз милиция держит руку хозяйчика и за костюм человека выпирает, то, — говорит, — лучше мне к буржуйам в Америку плыть, чем, — говорит, — такое действие выносить.

И привезли Васю Конопатова в милицию и сунули в каталажку.

Всю ночь родной голубчик, Вася Конопатов, глаз не смыкал. Под утро только всхрапнул часочек. А утром его будят и ведут к начальнику.

Начальник говорит:

— Идите, — говорит, — товарищ, домой и остерегайтесь подобные факты делать.

Вася говорит:

— Личность оскорбили, а теперь — идите... Рабочий, — говорит, — костюмчик не по вкусу? Я, — говорит, — может, сейчас сяду и поеду в Малый Совнарком жаловаться на ваши действия.

) Начальник милиции говорит:

— Брось, товарищ, трепаться. Пьяных, — говорит, — у нас правило — в ресторан не допускать. А ты, — говорит, — даже на лестнице наблевал.

— Как это? — спрашивает Конопатов. — Значит, меня не за костюм выперли?

Тут будто что осенило Василия Степаныча.

— А я, — говорит, — думал, что за костюмчик. А раз, — говорит, — по пьяной лавочке, то это я, действительно, понимаю. Сочувствую этому. Не спорю.

Пожал Вася Конопатов ручку начальнику, извинился за причиненное беспокойство и отбыл.

Конечно, об чем говорить!

Гость нынче пошел ненормальный. Все время приходится за ним следить. И чтоб пальто свое надел. И чтоб лишнюю барашковую шапку не напялил.

Еду-то, конечно, пушай берет. Но зачем же еду в салфетки заворачивать? Это прямо лишнее. За этим не поведишь, так гости могут в две вечеринки все имущество вместе с кроватями и буфетами вывезти. Вон какие гости пошли!

У моих знакомых на этой почве небольшой инцидент развернулся на этих праздниках.

Приглашено было на Рождество человек пятнадцать самых разнообразных гостей. Были тут и дамы, и не дамы. Пьющие и выпивающие.

Вечеринка была пышная. На одну только жратву истрачено было около семи рублей. Выпивка — на паях. По два с полтиной с носу. Дамы бесплатно. Хотя это, прямо сказать, глупо. Другая дама налижется до того, что любому мужчине может сто очков вперед дать. Но не будем входить в эти подробности и расстраивать свои нервы. Это уж дело хозяйское. Им видней.

А хозяев было трое. Супруги Зефиоровы и ихний старик — женин папа — Евдокимыч.

Его, может, специально пригласили на предмет посмотреть за гостями.

— Втроем-то, — говорят, — мы очень свободно за гостями доглядеть можем. Каждого гостя на учет возьмем.

Стали они глядеть.

Первым выбыл из строя Евдокимыч. Этот старикан, дай бог ему здоровья и счастливой старости, в первые же пять минут нажрался до того, что «мама» сказать не мог.

Сидит, глазами играет и дамам мычит определенные вещи.

Сам хозяин Зефиоров очень от этой папиной выпивки расстроился и огорчился и сам начал ходить по квартире — следить, как и чего и чтоб ничего лишнего.

Но часам к двенадцати от полного огорчения и сам набрался до полного безобразия. И заснул на видном месте — в столовой на подоконнике.

Впоследствии обнаружилось, что ему надуло фотографическую карточку, и три недели он ходил с флюсом.

Гости, похвалив вволю, начали играть и веселиться. Начались жмурки, горелки и игра в щеточку.

Во время игры в щеточку открывается дверь и входит мадам Зефиорова, бледная как смерть, и говорит:

— Это, — говорит, — ну чистое безобразие! Кто-то сейчас выкрутил в уборной электрическую лампочку в двадцать пять свечей. Это, — говорит, — прямо гостей в уборную нельзя допускать.

Начался шум и треволение. Папаша Евдокимыч, конечно, протрезвился вмиг, начал беспокоиться и за гостей хвататься. Дамы, безусловно, визжат, не допускают себя напять.

— Хватайтесь, — говорят, — за мужчин, в крайнем случае, а не за нас.

Мужчины говорят:

— Пушай тогда произведут поголовный обыск.

Приняли меры. Закрыли двери. Начали устраивать обыск. Гости самолично поочередно выворачивали свои шарманы, и расстегивали гимнастерки и шаровары, и снимали сапоги. Но ничего такого предосудительного, кроме нескольких бутербродов и полбутылки мадеры, двух небольших рюмок и одного графина, обнаружено не было.

Хозяйка, мадам Зефиорова, начала горячо извиняться — дескать, погорячилась и кинула тень на такое изысканное общество. И высказала предположение, что, может быть, кто и со стороны зашел в уборную и вывинтил лампу.

Однако момент был испорчен. Никто играть в щеточку не захотел больше, танцы под балалайку тоже расстроились, и гости начали тихонько расходиться.

А утром, когда хозяин продрал свои очи, все выяснилось окончательно.

Оказалось, что хозяин из боязни того, что некоторые зарвавшиеся гости могут слимонить лампочку, выкрутил ее и положил в боковой карман.

Там она и разбилась.

Хозяин, видимо, круто налег на нее, когда заснул на подоконнике.

Я, братцы мои, зря спорить

не буду, кто важней в театре — актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят.

Дело это произошло в Саратове или Симбирске, одним словом, где-то недалеко от Туркестана. В городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер — Иван Кузьмич Мякишев.

На общей группе, когда весь театр в двадцать третьем году снимали на карточку, монтера этого пихнули куда-то сбоку — мол, технический персонал. А в центр, на стул со спинкой, посадили тенора.

Монтер Иван Кузьмич Мякишев ничего на это хамство не сказал, но затаил некоторую грубость.

А тут такое подошло. Сегодня, для примеру, играют «Руслан и Людмила». Музыка Глинки. Дирижер — маэстро Кицман. А без четверти минут восемь являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами приперлись — неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу — посмотреть на спектакль. Монтер говорит:

— Да ради бога, медам. Сейчас я вам пару билетов вырваню. Посидите тут, у будки.

И сам, конечно, к управляющему. Управляющий говорит:

— Сегодня вроде как выходной день. Народу пропасть. Каждый стул на учете. Не могу.

Монтер говорит:

— Ах так, — говорит. — Ну так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас важнее и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать.

И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет к чертовой бабушке, замкнул на все ключи будку и сидит — отчаянно флиртует.

Тут произошла, конечно, форменная обструкция. Управляющий бегаёт. Публика орёт. Кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не уперли. А бродяга главный оперный тенор, привыкший завсегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенором:

— Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, — говорит, — темно — я ухожу. Мне, — говорит, — голос себе дороже. Пуцай сукин сын монтер поет.

Монтер говорит:

— Пуцай не поет. Наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре сымается, то и пуцай одной рукой поет, другой свет зажигает. Дерьмо какое нашлось! Думает — тенор. так ему и свети все время. Теноров нынче нету!

Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором. Вдруг управляющий является, говорит:

— Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, корова их забодай!

Монтер говорит:

— Вот они, чертовы девицы! Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, — говорит, — я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко.

Дал он сию минуту свет.

— Начинайте, — говорит.

Сажает тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль.

Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме.

Ирискорбный случай

Как хотите, товарищи.

«Николаю Ивановичу я очень сочувствую. Пострадал этот милый человек на все шесть гривен и ничего такого особенно выдающегося за эти деньги не видел.

Только что характер у него оказался мягкий и уступчивый. Другой бы на его месте все кино, может, разбросал и публику из залы выкурил. Потому шесть гривен ежедневно на полу не валяются. Понимать надо.

А в субботу голубчик наш, Николай Иванович, немножко, конечно, выпил. После получки.

А был этот человек в высшей степени сознательный. Другой бы выпивший человек начал бузить и расстраиваться, а Николай Иванович чинно и благородно прошелся по проспекту. Спел что-то там такое. Вдруг глядит — перед ним кино. Дай, думает, все равно — зайду в кино. Человек, думает, я культурный, полуинтеллигентный, чего мне зря по панелям в пьяном виде трепаться и прохожих задевать? Дай, думает, я ленту в пьяном виде посмотрю. Никогда ничего подобного не видел.

Купил он за свои пречистые билет. И сел в переднем ряду. Сел в переднем ряду и чинно-благородно смотрит.

Только, может, посмотрел он на одну надпись — вдруг в Ригу поехал. Потому очень тепло в зале, публика дышит, и темнота на психику благоприятно действует.

Поехал в Ригу наш Николай Иванович, все чинно-благородно — никого не трогает, экран руками не хватает, лампочек не выкручивает, а сидит себе и тихонько в Ригу едет.

И вдруг стала трезвая публика выражать неудовольствие по поводу, значит, Риги. Могли бы, говорят, товарищи,

для этой цели в фойе пройтись, только, говорят, смотрящих драму отвлекаете на другие идеи.

Николай Иванович — человек культурный, сознательный — не стал, конечно, зря спорить и горячиться. А встал и пошел тихонько. Чего, думает, с трезвыми связываться? От них скандалу не оберешься.

Пошел он к выходу. Обращается в кассу.

— Только что, — говорит, — дамочка, куплен у вас билет, прошу вернуть назад деньги. Потому как не могу картину глядеть — меня в темноте развозит.

Кассирша говорит:

— Деньги мы назад выдавать не можем, ежели вас развозит — идите тихонько спать.

Поднялся тут шум и перебранка. Другой бы на месте Николая Иваныча за волосья бы выволок кассиршу из кассы и вернул бы свои пречистые. А Николай Иванович, человек тихий и культурный, только, может, раз и пихнул кассиршу.

— Ты, — говорит, — пойми, зараза, не смотрел я еще на твою ленту. Отдай, говорят, мои пречистые.

И все так чинно-благородно, без скандалу — просит, вообще, вернуть свои же деньги.

Тут заведующий прибегает.

— Мы, — говорит, — деньги назад не вертаем, раз, — говорит, — взято, будьте любезны досмотреть ленту.

Другой бы на месте Николая Ивановича плюнул бы и зава и пошел бы досматривать за свои пречистые. А Николай Иванычу очень грустно стало насчет денег, начал он горячо объясняться и обратно в Ригу поехал.

Тут, конечно, схватили Николая Ивановича, как собаку, поволокли в милицию. До утра продержали. А утром взяли с него трешку штрафа и выпустили.

Очень мне теперь жалко Николая Ивановича. Такой, знаете, прискорбный случай: человек, можно сказать, и ленты не глядел, только что за билет подержался — и пожалуйста, гоните за это мелкое удовольствие три шесть гривен. И за что, спрашивается, три шесть гривен?

Двадцатью годами назад убили

или дуэли Александра Сергеевича Пушкина.

Вся Россия, можно сказать, горюет и слезы льет в эту прискорбную годовщину. Но, между прочим, больше всех горюет и убивается Иван Федорович Головкин.

Этот милый человек при одном только слове — Пушкин — ужасно вздрагивает и глядит в пространство.

И как же ему, братцы, не глядеть в пространство, если обнаружилась такая, можно сказать, печальная сторона жизни гениального поэта.

Мы, конечно, начнем нашу повесть издалека, чтобы не оскорбить память знаменитого гения. Начнем примерно с 1121 года. Тогда будет все наглядней.

В 1921 году, в декабре месяце, приехал из армии в родной свой городок Иван Федорович Головкин.

А тут как раз нэп начался. Оживление. Булки стали выискивать. Торговлишка завязалась. Жизнь, одним словом, ключом забила.

А наш приятель Головкин, несмотря на это, ходит по городу безуспешно. Помещения не имеет. И спит по субботам у знакомых. На собачьей подстилке. В передней комнате.

Ну и, конечно, через это настроен скептически.

— Нэп, — говорит, — это форменная утопия. Полгода, — говорит, — не могу помещения отыскать.

В 1923 году Головкин все-таки словчился и нашел помещение. Или он въездные заплатил, или вообще фортуна к нему обернулась, но только нашел.

Комната маленькая. Два окна. Пол, конечно. Потолок. Но все есть. Ничего против не скажешь.

А очень любовно устроился там Головкин. На шпалеры разорился — оклеил. Гвозди куда надо приколотил, чтоб уютней выглядело. И живет, как падишах.

А время, конечно, идет. Вот уже восемьдесят седьмая годовщина ударяет со дня смерти нашего дорогого поэта Пушкина. Потом восемьдесят восьмая.

На восемьдесят девятой годовщине разговоры, конечно, поднялись в квартире. Пушкин, дескать. Писатель. Жил, дескать, в свое время в этом помещении. Осчастливил, дескать, жилплощадь своим нестерпимым гением. Не худо бы в силу этого какую ни на есть досточку приклеить с полным обозначением и в назидание потомству.

Иван Федорович Головкин тоже сдуру участие принял в этой дощечке на свою голову.

Только вдруг в квартире ропот происходит. Дамы мечутся. Кастрюльки чистят. Углы подметают.

Комиссия приходит из пяти человек. Помещение осматривает.

Увидела комиссия разную домашнюю требуху в квартире — кастрюли и пиджаки — и горько так вздохнула. Тут, говорит, когда-то Александр Сергеевич Пушкин жил. А тут наряду с этим форменное безобразие наблюдается. Вон метла стоит. Вон брюки висят — подтяжки по стенам развеваются. Ведь это же прямо оскорбительно для памяти гения!

Ну, одним словом, через три недели выселили всех жильцов из этого помещения.

Головкин, это верно, очень ругался. Крыл. Выражал свое особое мнение открыто, не боясь никаких последствий.

— Что ж, — говорит, — это такое? Ну, пускай он гений. Ну, пускай стишки сочинил: «Птичка прыгает на ветке». Но зачем же средних людей выселять? Это же утопия, если жильцов выселять.

Хотел Головкин в Пушкинский заповедник поехать — ругаться, но после занялся подыскиванием помещения.

Он и сейчас еще ищет. Осунулся, поседел. Требуемый такой стал. Все расспрашивает, кто да кто раньше жил в этом помещении. И не жил ли здесь, оборони создатель, Демьян Бедный или Мейерхольд. А если жил, то он, Головкин, и даром не возьмет такого помещения.

А это верно: как это некоторые крупные гении легкомысленно поступают — мотаются с квартиры на квартиру, переезжают. А после такие печальные результаты.

Да вот недалеко ходить, в наше время наш знакомый поэт, Митя Цензор, Дмитрий Михайлович. Да он за последний год не менее семи комнат сменил. Все, знаете, никак не может ужиться. За неплатеж.

А ведь, может, он, черт его знает, гений!

Ох и обложат же его лет через пятьдесят за эти семь комнат.

Единственно, может быть, жилищный кризис несколько ослабнет к тому времени. Одна надежда.

Качество продукции

У моих знакомых, у Гусевых,

немец из Берлина жил. Комнату снимал. Почти два месяца прожил.

И не какой-нибудь там чухонец или другое национальное меньшинство, а настоящий германец из Берлина. По-русски — ни в зуб ногой. С хозяевами изъяснялся руками и головой.

Одевался, конечно, этот немец ослепительно. Белье чистое. Штаны ровные. Ничего лишнего. Ну прямо гравюра.

А когда уезжал этот немец, то много чего оставил хозяевам. Цельный ворох заграничного добра. Разные пузырьки, воротнички, коробочки. Кроме того, почти две пары кальсон. И свитер почти не рваный. А мелочей разных и не счесть — и для мужского, и для дамского обихода.

Все это в кучу было свалено в углу, у рукомойника.

Хозяйка, мадам Гусева, дама честная, ничего про нес такого не скажешь, намекнула немчику перед самым отъездом — дескать, битте-дритте, не впопыхах ли изволили заграничную продукцию оставить.

Немчик головой лягнул, дескать, битте-дритте, пожалуйста, заберите, об чем разговор, жалко, что ли.

Тут хозяева налегли на оставленную продукцию. Сам Гусев даже подробный список вещам составил. И уж, конечно дело, сразу свитер на себя напялил и кальсоны взял.

После две недели ходил с кальсонами в руках. Всем показывал, невозможно как гордился и хвалил немецкое качество.

А вещи, действительно, были хотя и ношенные и, вообще говоря, чуть держались, однако слов нет — настоящий неограниченный товар, глядеть приятно.

Между прочим, среди оставленных вещей была такая фляга не фляга, но вообще такая довольно плоская банка с порошком. Порошок вообще розовый, мелкий. И душок довольно симпатичный — не то лориган, не то роза.

После первых дней радости и ликования начали Гусевы гадать, что за порошок. Нюхали, и зубами жевали, и на огонь сыпали, но угадать не могли.

Носили по всему дому, показывали вузовцам и разной интеллигенции, но толку не добились.

Многие говорили, будто это пудра, а некоторые заявляли, будто это мелкий немецкий тальк для подсыпки гольфо что родившихся немецких ребят.

Гусев говорит:

— Мелкий немецкий тальк мне ни к чему. Только что родившихся ребят у меня нету. Пушай это будет пудра. Пушай я буду после каждого бритья морду себе подсыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни.

Начал он бриться и пудриться. После каждого бритья ходит розовый, цветущий и прямо благоухает.

Крутом, конечно, зависть и вопросы.

Тут Гусев, действительно, поддержал немецкое производство. Много и горячо нахваливал немецкий товар.

— Сколько, — говорит, — лет уродовал свою личность разными русскими отбросами и вот наконец дождался. И когда, — говорит, — эта пудра кончится, то прямо и не знаю, как быть. Придется выписать еще баночку. Очень уж чудный товар. Прямо душой отдыхаю.

Через месяц, когда пудра подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку.

Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох.

Конечно, другой, менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством. И даже, может быть, у менее жизнерадостного человека рожа покрылась бы прыщами и утрями от излишней мнительности. Но не таков был Гусев.

— Вот это я понимаю, — сказал он. — Вот это качество продукции! Вот это достижение. Это, действительно, не

переплюнешь товар. Хочешь — морду пудри, хочешь — блох посыпай! На все годится. А у нас что?

Тут Гусев, похвалив еще раз немецкое производство, сказал:

— То-то я гляжу — что такое? Целый месяц пудрюсь, и хоть бы одна блоха меня укусила. Жену, мадам Гусеву, кусают. Сыновья тоже цельные дни отчаянно чешутся. Собака Нинка тоже скребется. А я, знаете, хожу и хоть бы что. Даром что насекомые, но чувствуют, шельмы, настоящую продукцию. Вот это действительно...

Сейчас порошок у Гусева кончился. Должно быть, снова его кусают блохи.

Бешенство

Натерпелись мы вчера страху

То есть форменный испуг на себе испытали.

Может, член правления Лапушкин до сих пор сидит у себя на квартире, трясется. А он зря не станет трястись. И его знаю.

А главное, все эти дни были, сами знаете, какие жаркие. Не только, скажем, крупное животное — клоп и тот может по такой жаре взбеситься, если, конечно, его на голыше поддерживать.

А тут еще в газетах сообщают: по двадцать шесть животных ежедневно бесятся.

Тут действительно сдрейфишь.

А мы, для примера, у ворот стояли. Разговаривали.

Стоим у ворот, разговариваем насчет бешенства и вдруг видим — по нашей стороне, задржав хвост, собака дует.

Конечно, она довольно спокойно бежит. По виду нипочем не скажешь, что она бешеная. Хвостик у ней торчит, и слюны пока не видать. Только что рот у ней подозрительно закрыт и глаза открыты.

В таком виде и бежит.

Добегла она до члена правления. Член правления, конечно, ее палкой.

Ляпнул ее по башке палкой. Видим — собака форменно бешеная. Хвост у ней после удара обмяк, книзу висит. И вообще начала она на нас кидаться. Хотя слюны пока не показывает.

Начала она кидаться, а дворник Володин не растерялся, вооружился камушком и тяпнул ее по башке.

Тяпнул ее по башке. Глядим — все признаки налицо.

Рот раскрыт. Слюна вышибает. Хвост колбасой. И вообще — накидывается.

Член правления кричит:

— Спасайся, робя! Бешеная...

Бросились мы кто куда. А дворник Володин в свисток начал свистеть.

Тут кругом на улице рев поднялся. Крики. Суматоха. Тут постовой бежит. Револьверы вынимает.

— Где тут, — кричит, — ребятишки, бешеная собака? Сейчас мы ее уконтрапупим!

Поднялась тут стрельба. Член правления из окон своей квартиры командует, куда стрелять и куда проходим бежать.

Вскоре, конечно, застрелили собачку.

Только ее застрелили, вдруг хозяин ее бежит. Он в подвале сидел, спасался от выстрелов.

— Да что вы, — говорит, — черти, нормальных собак кончаете? Совершенно, — говорит, — нормальную собаку уконтрапупили.

— Брось, — говорим, — братишка! Какая нормальная, если она кидается.

А он говорит:

— Трех нормальных собак у меня в короткое время прикончили. Это же, — говорит, — прямо немыслимо! Нет ли, — говорит, — в таком случае свободной квартирки в вашем доме?

— Нету, — говорим, — дядя.

А он взял свою Жучку на плечи и пошел. Вот чудак-то!

Закорючка

Вчера пришлось мне в одно

очень важное учреждение смотаться. По своим личным делам.

Перед этим, конечно, позавтракал поплотней для укрепления духа. И пошел.

Прихожу в это самое учреждение. Отворяю дверь. Выгираю ноги. Вхожу по лестнице. Вдруг сзади какой-то гражданин в тужурке назад кличет. Велит обратно спускаться.

Спустился обратно.

— Куда, — говорит, — идешь, козлиная твоя голова?

— Так что, — говорю, — по делам иду.

— А ежели, — говорит, — по делам, то прежде, может быть, пропуск надо взять. Потом наверх соваться. Это, — говорит, — тут тебе не Андреевский рынок. Пора бы на одиннадцатый год революции понимать. Несознательность какая!

— Я, — говорю, — может быть, не знал. Где, — говорю, — пропуска берутся?

— Эвон, — говорит, — направо в окне.

Подхожу до этого маленького окна. Стучу пальцем. Голос, значит, раздается:

— Чего надо?

— Так что, — говорю, — пропуск.

— Сейчас.

В другом каком-нибудь заграничном учреждении на этой почве развели бы форменную волокиту, потребовали бы документы, засняли бы морду на фотографическую карточку. А тут даже в личность не посмотрели. Просто голая рука высунулась, помахала и подает пропуск.

Господи, думаю, как у нас легко и свободно жить и дела обделывать! А говорят: волокита. Многие беспочвенные интеллигенты на этом даже упадочные теории строят. Черт их поberi! Ничего подобного.

Выдали мне пропуск.

Который в тужурке говорит:

— Вот теперича проходи. А то прёт без пропуска. Этак может лишний элемент пройти. Учреждение опять же могут взорвать на воздух. Не Андреевский рынок. Проходи теперича.

Смотался я с этим пропуском наверх.

— Где бы, — говорю, — мне товарища Щукина увидеть?

Который за столом подозрительно говорит:

— А пропуск у вас имеется?

— Пожалуйста, — говорю, — вот пропуск. Я законно вошел. Не в окно влез.

Поглядел он на пропуск и говорит более вежливо:

— Так что товарищ Щукин сейчас на заседании. Зайдите лучше всего на той неделе. А то он всю эту неделю заседает.

— Можно, — говорю. — Дело не волк — в лес не убежит. До приятного свидания.

— Обождите, — говорит, — дайте сюда пропуск, я вам на ём закорючку поставлю для обратного прохода.

Спускаюсь обратно по лестнице. Который в тужурке говорит:

— Куда идешь? Стой!

Я говорю:

— Братишка, я домой иду. На улицу хочу пройти из этого учреждения.

— Предъяви пропуск.

— Пожалуйста, — говорю, — вот он.

— А закорючка на ём имеется?

— Определенно, — говорю, — имеется.

— Вот, — говорит, — теперича проходи.

Вышел на улицу, съел французскую булку для подкрепления расшатанного организма и пошел в другое учреждение по своим личным делам.

Meatp





От составителя

Отнюдь не принадлежа к славной когорте борцов за торжество российских приоритетов и вовсе не исповедуя концепцию, согласно которой Россия является родиной слонов, я все же хочу заявить, что подлинным основоположником художественного метода, получившего наименование театра абсурда, по справедливости должен считаться не Сэмюэль Беккет и не Эжен Ионеско, как это принято думать, а русский писатель Михаил Зощенко.

По части разрушения всех традиционных форм традиционного реалистического театра он, конечно, несколько отстал от своих западных коллег. Речь его героев хотя и бессвязна, порой алогична, но это все-таки более или менее осмысленная человеческая речь, а не принципиально лишенный всякого смысла поток сознания. И в носорогов или каких-нибудь других представителей животного мира зощенковские герои тоже не превращаются. Но по части абсурда этот «театр Зощенко» не уступит не то что Ионеско или Беккету, но и самому Кафке.

Тут, правда, надо сказать, что под словосочетанием «Театр абсурда Михаила Зощенко» я подразумеваю не только — и даже не столько — произведения Зощенко, предназначенные для сцены.

Как я уже говорил в предисловии к этому тому, пьесы Зощенко как раз не могут быть причислены к главным художественным достижениям писателя. Но одноактная комедия «Преступление и наказание» представляет нечто исключение. В «Театре абсурда», каковым является весь художественный мир, созданный Михаилом Зощенко, — это одна из самых ярких его жемчужин.

Преступление и наказание

Комедия в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Горбушкин, заведующий кооперативом

Жена Горбушкина

Брат жены

Бананов, перекупщик

Сосед

Неизвестный

Красноармеец

Ломовик

Квартира Горбушкина. Стол. Картины на стене. Висячая лампа под шелковым абажуром. Горбушкин с женой сидят за самоваром. Горбушкин просматривает газету.

1

Горбушкин (*читая*). Ого... Эва как... Фу ты, фу ты... Ишь ты, как...

Жена. Ну, чего еще?

Горбушкин (*читает*). Фу ты, фу ты... Ого, ого, ого... Ух ты, ух ты, ух ты.

Жена. Да говори ты толком — чего еще?

Горбушкин (*читает*). Ух ты... ух ты... М-да... Вот так да... Угу.

Жена. Ну, мне буквально дурно делается от твоего мычания... Ну?

Горбушкин. Вот и ну — высшая мера наказания за расхищение народного имущества.

Жена. А ты-то при чем? Ты-то чего крикаешь?

Горбушкин. А я разве сказал, что я при чем? Дура какая. Вообще говорю: за расхищение — высшая мера.

Ж е н а. А чего ты расхищаешь-то? Подумаешь! Раз в год какое-нибудь гнилье принесет и после этого газеты читать не может — ему высшая мера снится.

Г о р б у ш к и н. Я вообще говорю. Вот, мол, говорю, — нышел революционный декрет.

Ж е н а. Декрет! Другие заведующие несут, несут, несут — ставить некуда.

Г о р б у ш к и н. А я не несу — я, по-вашему, розы нюхаю? Дура какая. А это что? А это чего? А на тебе чего? *(Глядит в газету.)* Ух ты, ух ты, ух ты...

Ж е н а. Немного домой принес — в этом пороку нету. Другие на сторону продают и то без криков газеты читают...

Г о р б у ш к и н. А сахар? Сахар-то я на сторону продал? *(Опять смотрит в газету.)* Ух ты, ух ты, ух ты.

В передней звонок. Разговор.

Ж е н а. К нам кто-то пришедши.

Г о р б у ш к и н. Кто ж это приперся с утра пораньше? Уж не братец ли ваш, подлец? *(Прячет сыр.)*

Ж е н а. Братец попозже собирался.

Г о р б у ш к и н. Ах, да, это Бананов. Он мне деньги принес... за сахар... Ух ты, ух ты, ух ты.

Ж е н а *(роняет вилку)*. Нет, не он. Вилка упавши. Должно быть, дама сейчас явится — я в эту примету глубоко верю.

Иходит К р а с н о а р м е е ц. Жена Горбушкина ахает. Горбушкин, налив чай, забывает закрыть кран самовара. Паника и замешательство.

2

К р а с н о а р м е е ц. Извините, граждане. Не пугайтесь... Я от следователя послан... Гражданин Горбушкин... который тут?

Горбушкин показывает рукой на жену. Жена показывает на мужа. Замешательство.

Ж е н а. Вот они... Они — Горбушкин.

Красноармеец. Тогда будьте любезны, пойдемте со мной. Только следователь велел спешно. Вот повестка.

Жена. Следователь?!

Горбушкин. Ух ты, ух ты, ух ты. *(Дрожащими руками берет повестку, читает.)* Бре... бре... кру... Не могу глядеть — буквы прыгают... Бре... бре... кру. П... п... п... по... делу... по делу...

Жена. По делу?!

Горбушкин. Вот я тебе говорил... я тебе говорил. А ты не верила... *(Смотрит на газету.)* Ух ты, ух ты... *(Мечется по комнате.)*

Красноармеец. Велели к десяти.

Горбушкин *(торопливо одевается. Сует руку не в тот рукав)*. Ух ты, ух ты...

Жена. Возьмите хотя немного несъеденных продуктов. Кулек-то захватите.

Горбушкин *(застегивает пальто — верхнюю пуговицу на нижнюю петлю)*. Я г... г... готов... Ведите меня, товарищ.

Идут к выходу.

3

Жена *(одна)*. Что ж это, батюшки-светы!.. *(Мечется по комнате, вытаскивает сверток из-за картины, опять прячет.)* Куда ж это я теперича дену?

Телефонный звонок.

Где ж это опять звонят?.. Ах да... Але... я... але... Это, братец, вы стоите у телефона? Гришу-то, это самое, понимаете... Да нет, хуже... Ну да, да... Только сейчас. Не знаю. Ничего не знаю. Только скорей являйтесь. *(Снова берет сверток из-за картины.)* Ну куда ж это мне деть? *(Убегает.)*

Входит перекупщик Бананов с деньгами в руках.

4

Бананов. Эва, собака, как роскошно живет. А плачется, ворюга. Деньги ему — вынь и положь. Сам небось хапнул сахар, а мне за него плати. Обидно. *(Кашляет.)* И ждать заставляет по полчаса. *(Присаживается на стул.)*

Продуктов-то, продуктов-то насыпано! Мать честная! Небось трескает без устали... А мне деньги носи. *(Подходит к столу. Кушает, осторожно озираясь.)* И таким иродам письма пишут. *(Читает брошенную повестку.)* «Срочно. Гражданину Горбушкину... Прошу вас явиться для дачи свидетельского показания по делу Щукина. Следователь Кемин». Скажите, пожалуйста, такого арапа еще в свидетели вызывают... А я ему зря ходи... Пуцай тогда сам приходит. *(Идет к выходу. Возвращается.)* Продуктов-то! *(Снова ест, снова идет к выходу и опять возвращается, намазывает хлеб маслом. Запихивает в рот.)*

Входит жена Горбушкина со свертком в руках.

5

Ж е н а *(испуганно)*. Ах!.. Это кто? Кто это?!

Б а н а н о в *(жуя бутерброд)*. Кхм... кхм...

Ж е н а. Кто это? Я кричать буду.

Б а н а н о в *(прожевывая)*. Кхм... Извиняюсь... Это самое... сейчас скажу... Комок в горле застрял...

Ж е н а. Что вам надо?

Б а н а н о в. Извиняюсь. Комок в горле — нервная спазма схватила... Я к Григорию Иванычу — Бананов... Но поскольку Григорий Иваныч...

Ж е н а. Ах, вы знаете... Да, да... арестован Григорий Иваныч.

Б а н а н о в. А-арес-тован... Как арестован?.. Ну... Я уж пойду тогда... Я думал совсем напротив. Я думал по делу... свидетель... Ох ты черт...

Ж е н а. И что теперича делать — ума не приложу...

Б а н а н о в. Да, это у них бывает... Сначала, знаете, свидетель, а после и не свидетель... Это часто бывает... Ну, и пойду, пойду. Ох ты черт... *(Поспешно уходит.)*

6

Ж е н а *(ставит стул на стол. Прячет сверток на лампу)*. Сюда, что ли, деть...

Входит сосед.

С о с е д. Кхм, кхм...

Ж е н а. Ктой-то? Кто это?

С о с е д. Да что вы, Анна Васильевна, пужаетесь. Соседа уж своего узнавать перестали?

Ж е н а. Ах, это вы... извиняюсь.

С о с е д. Куда ж это вы, я извиняюсь, на потолок полезли?

Ж е н а. Да это я так... Поглядеть — чего там делается...

Паутина...

С о с е д. Да, от таких делов полезешь... Вижу — ведут вашего супруга. Дай, думаю, зайду — успокою даму. Обыска-то еще не было?

Ж е н а (встревоженно). Обыска? Нет, не было.

С о с е д. Ну, тогда будет.

Ж е н а. Батюшки мои, неужели же будет?

С о с е д. А как же, Щукина помните? Ну, который проворовался. Обыск и, говорят, полная конфискация имущества.

Ж е н а. Полная кон-фискация?!

С о с е д. Да вы оставьте беспокоиться. Я же специально пришел вас успокоить. Дама вы, так сказать, в цветущем возрасте... Можете еще нравиться. На вас, пожалуй, еще жениться могут. Мало ли чего бывает...

Входит б р а т ж е н ы.

7

Б р а т (торопливо). Ну чего? Ну? По какому делу? (К соседу.) А этот еще чего?

Ж е н а. Это сосед наш.

С о с е д. Решил маленько успокоить даму. Вижу — повели голубчика. Ну, думаю, дама теперь чересчур встревожена... Пойду, думаю, успокою.

Б р а т (к сестре). Дело-то какое, я говорю?

Ж е н а. И сама, братец, не знаю.

Б р а т. Ну, бросьте свои дамские штучки. «Не знаю!» Ну, припомните, чего у него было.

Ж е н а. И прямо, братец, сама теряюсь. Было. Конечно, было. Сахар и туалетное мыло... Наверное, конечно... мало ли...

Б р а т. Это плохо. Это тогда плохо. Тогда надо чего-нибудь спешно сейчас придумывать.

Сосед. Это, я так понимаю, полная конфискация имущества может сейчас произойти.

Брат. Чего? Конфискация? Ну да, я же и говорю. Тут надо на полных порах гнать. Сейчас же кругом все имущество продавайте. *(Тянет коврик, на котором стоят сосед и сестра. Сворачивает.)*

Жена. Неужели же, братец, кругом все имущество продавать?

Сосед. Тут, я так понимаю, вам надо подчистую все продавать. Рафинад, для примера, я себе возьму.

Брат. Сахар в продажу не поступает. Я на себя сахар беру. *(Подходит к телефону.)* Але. Семьсот шестнадцать — тридцать два.

Сосед. Тогда, может, из текстильного товара?

Брат *(сестре)*. Нюша, покажите им быстро пальто и костюмы. Им костюмы в аккурат будут. Только быстро у меня. Быстро!

Горбушкина показывает костюмы.

Сосед *(рассматривает на свет)*. Костюмы — это, конечно, мало интересу. Хотелось бы чего-нибудь такое более вечное... Сколько за это сильно поношенное тряпье на круг хотите?

Брат *(в телефон)*. Але. Федор Палыч? Да, это я... Чего? Именно так. Кругом все продается. Полная спешная распродажа. Ну да, разная обстановка. Да, и шкапы. И картины, и картины. Чего? Чьих кистей? Каких кистей? Кистей? Кистей, кажись, нет. *(Смотрит на картину.)* Нету, картина без кистей. Ну, обыкновенная рама, и кистей, видите, нету. Чего? А, это. *(К сестре.)* Он говорит: какие-то кисти.

Жена *(сердито)*. Какие кисти? Нет у меня кистей.

Брат. Але. Кистей у вдовы нету. Чего? Ах, это. А-а. *(К сестре.)* Он говорит: чьих кистей? Ну, какие мастера?

Жена. Да какие кисти? Без кистей!

Сосед. Нет, это так прежние буржуазные классы гумашно выражались: чьи кисти. Кто, одним словом, картины красил? Смех, ей-богу.

Жена. А пес их знает, кто их красил.

Брат. Фамилии. Он фамилии спрашивает. Только быстро отвечайте.

Ж е н а. Ай, я не могу про это думать... Этот, как его, на «ой» фамилия. Или, погоди, на «ух»...

С о с е д. Ахов? Чехов?

Б р а т (в телефон). На «ух» фамилия начинается.

Ж е н а. Или, погоди, — на «ай».

Б р а т. На «ай» начинается. Айвазовский? Ну да, этот, Айвазовский. Одним словом, на одной картине чудная сухая березовая роща — метров сорок сухих березовых дров, а на другой, извиняюсь, простая вода. За рощу не меньше трехсот, а за воду — сговоримся. Значит, ждем вас, Федор Палыч.

С о с е д. Ну, я забираю этот товар, Анна Васильевна. А насчет супруга вы оставьте беспокоиться. Я на это так всегда гляжу. Меня, например, лично это никогда не пугает. Только бы, думаю, не высшую меру. Высшую меру я действительно с трудом переношу, а остальное как-нибудь утрясется.

Б р а т. Деньги-то он, бродяга, уплатил? Чего он вам зубы заговаривает?

С о с е д. Уплатил, уплатил. Не сомневайтесь. (Уходит.)

Б р а т. Давайте сюда деньги-то. Чего вам в руках держать-то.

Ж е н а. Да ничего... Я бы подержала.

8

Б р а т. Тут надо, для примера, очень все спешно провернуть. Тут надо — полная быстрота. Сейчас этот небель возьмет. Этот — шкапы. Этот пушай — костюмы. Я тоже чего-нибудь возьму. Уж не оставлю вас по мере возможности. Помогу, чем могу.

Ж е н а. Да уж спасибо, братец. Только как же это так? Ну, это прямо имущество на глазах уплывает.

Б р а т. А вы, сестра, не можете много понимать. Человек засыпавшись по такому важному делу. Неисчислимы убытки, может быть, государству нанесены. Тут нам с вами одной минуты зевать нельзя. Тут надо совершенно ударно провернуть. А которые придут — у вас и нет ничего. Жена в полной нищете на койке сидит... Да вы одеты-то как! Одеты-то вы как? Накрутили на себя, ну, ровно

верблюдов. А ну, оденьте темненькое платьице победней. Остальное все продавайте... Куда вы сверток-то тычете, дайте его сюда.

Жена уходит. Входит, потирая руки, Неизвестный (*перекупщик мебели*).

9

Брат. Федор Палыч! Очень приятно и все такое. Пожалуйста, глядите небель. Только просьба поскорее.

Неизвестный. Так. Это можно купить... Так. Картины. (*Рассматривает через кулак.*) Можно... Сколько за этот хлам хотите?

Брат. Там еще чудная дамская спальня.

Неизвестный (*смотрит, открыв дверь*). Можно. Это тоже можно. Сколько на круг за весь этот лом? Три возьмите.

10

Жена (*входит в тряпье*). Ох-ох, три.

Неизвестный. Ну, тогда четыре дам, и разговор кончен. (*Снимает картины. Ставит стулья на стол.*)

Брат. Соглашайтесь, сестра, соглашайтесь. Нам тут каждая минута дорога. Пишите ему расписку.

Жена. Батюшки мои! Да что ж это получается?! Да как же это так?! (*Пишет расписку, берет деньги.*)

Неизвестный. Тогда я лошадь сейчас пришлю. (*Уходит.*)

Брат. Только лошадь-то поскорей засылайте...

11

Брат. Тут, сестра, главное — быстрота. Вы мой характер знаете — я в панику не вхожу. Но дело делать — я понимаю. Тут надо провернуть в ударных темпах.

Жена. Да, я понимаю, конечно. Я вхожу в ваше положение. Но только мне имущества жалко. Это что же, мне перича в своей квартире и сесте не на что будет?

Б р а т. Ах, да. А квартера? Квартеру-то ведь вы купили за десять тысяч. Тут надо сейчас и квартеру проверить. *(Звонит по телефону.)* Але, три ноля пятнадцать. Але. Я, я. Квартера — две комнаты. У застройщика. *(К сестре.)* Да не хватайтесь вы за меня руками. *(В телефон.)* Нет, небель, к сожалению, уже продана. И костюмы проданы. Нет, это все продано. Вдова все продала. Тогда заходите насчет квартирки.

Входит сосед в новом широченном костюме.

12

С о с е д. Пугаюсь я, что костюмчик на мне несколько широковато сидит. А?

Б р а т. Обыкновенно сидит.

Ж е н а. Очень миленько на них сидит.

С о с е д. Нет, чувствую, что широко.

Б р а т. Откуда же широко? *(Руками сзади зажимает костюм.)* Оно даже как бы скорей узко на вас.

С о с е д *(чуть не плача)*. Где же, помилуйте, узко.

Б р а т. Известно, узко. Даже грудью дышать не можете.

Ж е н а. Очень на них миленько сидит.

С о с е д. Нет, знаете, чего-то не то. И плечо режет. Нет, узко мне. Чувствую, что узко.

Б р а т. Ну, знаете, вы фигуриете. Вы же только что говорили — широко.

С о с е д. Разве я говорил — широко? Нет, я говорил — узко. Именно говорил — узко. Дышать трудно.

Б р а т. Ну, знаете, вас не поймешь. *(Отпускает пиджак.)* Где же узко, когда материя ложится свободными складками. Скорей уж широко.

С о с е д. Или широко. Пес его знает. Ей-богу, широко.

Б р а т. И, прямо, никакой широты не наблюдается. Эвон как фигурку облепляет. Вы, прямо, не знаете, чего хотите.

Ж е н а. Они сами не понимают, чего они хотят.

С о с е д *(чуть не плачет)*. Тогда я колпак еще возьму. Как бы в премию. Меня такие колпаки немножко интересуют.

Б р а т. Берите колпак. Только быстро, быстро. На носках, прямо, ходите.

Сосед влезает на стол и отвязывает колпак.

Ж е н а. Да что ж это на моих глазах делается? Куда ж ты, сатана, на стол-то вперся?!

С о с е д. Извиняюсь. (Уходит с колпаком, на ходу захватывая с собой пару стульев.)

Б р а т. Стулья-то на место положьте. Небель вся продана.

С о с е д. Извиняюсь.

Б р а т. Этажерка тоже продана. Не хватайтесь за предметы руками. Кругом все продано. Квартерка только осталась.

С о с е д. Квартерку я бы принял, ежели бы в рассрочку. Вашей квартирой я завсегда не перестаю любоваться.

Ж е н а. Братцы-батьюшки! Что ж это такое?! А я-то, для примеру, где же буду находиться?

Б р а т. Ах, черт! Это верно. Где ж вдова-то находиться будет?

С о с е д. Да в крайности ей угол уступить можно.

Б р а т. Пишите расписку. Или дайте я напишу. Вы только подпишитесь. Не цепляйтесь за меня руками.

Сосед уходит с колпаком и распиской.

13

Б р а т. Ну, теперича, кажись, все. Сейчас этот небель уйдет, и можете дышать спокойно.

Ж е н а. Это, ну, прямо — что ж такое произошло?.. А ежели вызовут меня? Чего я скажу?

Б р а т. А если вызовут вас, вы им скажите — нет ничего, вот я вся тут.

Ж е н а. Или, может быть, им сказать: на иждивении у брата нахожуся.

Б р а т. Еще чего! У брата! И, прямо, меня не упоминай. Прямо меня забудьте. Прямо нет меня. Ай, ей-богу... Ах ты черт! Какое, скажут, родство, да пятое-десятое. Может быть, вам, сестра, замуж выйти? Слушайте, не можете ли вы быстро жениться, замуж выйти, а? Только быстро.

Ж е н а. Как это?

Б р а т. Тогда бы у нас очень великолепно получилось. Нищей нет, сама, дескать, на иждивении у мужа, пятое-десятое... Нет ли у вас какого-нибудь дурака на примете?

Ж е н а. И прямо, братец, что вы говорите!

Б р а т. Только быстро, быстро. Ну, кто у вас есть?

Ж е н а. Ну как же это так?

Б р а т. Ну, вот этот, что приходил — сосед. Он, как вы думаете, не женится? А ну, позовите его быстро. Быстро, быстро.

Ж е н а. Да что ж это, ей-богу? Да как же так? Да вот он, никак, и сам идет.

14

С о с е д. Ей-богу, не возьму костюмы. Кругом все смеются.

Б р а т. А, да перестаньте вы канючить. Вы мне лучше скажите — чего вы к моей сестре так часто в гости заскакиваете? Только, может, ее коньпроменьтируете.

С о с е д. То есть как же, помилуйте, часто. За месяц только раз и зашел — успокоить даму!

Б р а т. «Успокоить даму»! Мы знаем это спокойствие. Еще врёт. Он раз зашел. Да он, нахал, на моих глазах третий раз входит. Коньпроменьтирует. А если она вам нравится, то вы так и скажите.

С о с е д. То есть кто это нравится, помилуйте...

Б р а т. Да сестра-то, я говорю, нравится вам — вот возьмите и женитесь на ней.

С о с е д. Да я, разве я... разве я сказал, что она нравится?

Б р а т. Да давеча-то говорили...

С о с е д. Я? Ну, знаете... Я... я про костюмы говорил. И совсем даже в обратном смысле. Костюмы, говорил, мне нравятся.

Б р а т. Нет, вы мне баки не заколачивайте. А возьмите и женитесь на ней, если нравится. Только быстро, быстро. В ударных темпах.

С о с е д (*чуть не плачет*). Ну как же это так, помилуйте! За что же я буду жениться? Я прямо вас не понимаю.

Б р а т. А и понимать нечего — взял и женился.

Ж е н а. Конечно, если они не хотят, то об чем же говорить.

Б р а т. Как не хотят! Хотут, да стесняются.

С о с е д. Ей-богу же, не хочу... Я прямо не понимаю вас... Как же так, помилуйте! Я же ничего не говорил еще... Чего ж вы меня суετε куда попало.

Брат. Ах, ему говорить надо... Вот вы и говорите — мол, хочу жениться. Я вам говорить не мешаю.

Сосед. Нет, я прямо чего-то не понимаю. Я не хочу... Я не хочу жениться. Чего ж это я сдуру возьму и вдруг — женюсь? Чего вы, ей-богу, ко мне пристали.

Жена. Об чем тогда говорить.

Брат. Такая интересная женщина. Я, прямо, не понимаю его. А если нету у человека вкуса, то так и скажите и не вводите людей в заблуждение.

Сосед. Я... я не ввожу в заблуждение. Я вкус имею... Только я говорю...

Брат. Вы имеете вкус? Не смешите меня. Такая славная, интересная женщина. А корпус, корпус у ней какой! Нет, я вижу, вы ничего в женщинах не понимаете.

Сосед. Нет, я понимаю... Я признаю, что это такая, что ли, интересная... Но только я... Я прямо не знаю, как же так...

Брат. Хорошая, стройная походка. Другая идет, как перблюд, а эта ровно кладет ноги. Ать, два, ать, два.

Сосед. Я это понимаю, признаю. Конечно, она мне нравится — у меня вкус есть... Но только как же это так, помилуйте!..

Брат. Сестра, подойдите к ним. Возьмите их за руку.

Сосед. Ну как же так, помилуйте! Я прямо теряюсь...

Брат. Тем более вы развестись всегда можете, и об чем толковать — я не понимаю.

Сосед. Ну, да разве что если развестись, тогда я, помилуй, женюсь.

Брат. Конечно, женитесь. Только быстро, быстро. Нуна, побегите сию минуту в загс — разведитесь... да заодно там кому-нибудь кухонную посуду загоните. Поцелуйтесь с ним.

Жена. Ну как же это так. (Целуются. Уходит.)

15

Брат. Ну вот, а хныкали. Какую жену оторвал!

Сосед. Да нет, я только говорил...

Брат. И говорить нечего... Взял и женился.

Сосед. Позвольте, позвольте... Ну, хорошо, я женился, и зачем же я тогда костюмы у ей купил, а?

Б р а т. Вот и будете в них щеголять медовый месяц...

С о с е д. Но я же за них деньги заплатил, а поскольку я женюсь, так это же мне вроде как все равно даром бы перешло. Это что, я, значит, у самого себя купил, а? Нет, знаете, я так не согласен...

Б р а т. Так вы сначала купили, а потом женились. Чего вы тень на плетень наводите? Только вводите в заблуждение.

С о с е д. Как же так, помилуйте! Нет, я так не согласен. Раз я женюсь, значит, костюмы и так мои. Тогда отдайте мне деньги. Или я жениться не буду.

Б р а т. Нате, выкусите — отдайте ему деньги. Сестра, может быть, уже развелась, может быть, она женщина... может быть, у нее большое самолюбие. А он — жениться не будет.

С о с е д. Как же так... И за квартиру я задаток дал... Как же так. Нет, ей-богу, я так не могу... Я... Я...

Б р а т. Об чем вы загораетесь? Ну, хорошо, я вам отдам половину.

Входит л о м о в и к.

16

Л о м о в и к. Эту, что ли, небель везти?

Б р а т. Эту, эту.

С о с е д. Да, а небель? А зачем вы тогда небель продаете? Зачем же вы мою небель продали? Не трогайте мою небель. Ей-богу, я не буду жениться. Глядите, чего он делает — он роняет мою небель.

Б р а т. А чего ж вы тянули канитель? Только своим поведением срамили женщину. Вот женились бы раньше, и небель бы вам осталась.

С о с е д. Как же, помилуйте, раньше — вы же мне только сию минуту сказали, чтоб я женился.

Б р а т. А сами вы не могли додуматься? Вот и отвечайте теперь за все.

С о с е д. Ну как же так, ей-богу.

Б р а т. А идите вы к лешему! Вот глядите, никак невеста идет.

Входит ж е н а.

Сосед. Анна Васильевна, что ж это такое? Я чего-то не пойму. Пушай они не трогают мою небель.

Брат. Небель продана — об чем толковать. *(Сестре.)* Ну что, развелась? Только быстро отвечайте.

Жена. Развелась. А кухонную посуду соседям продала.

Сосед *(визгливо)*. Как кухонную посуду?! Зачем же вы мою кухонную посуду продаете? А мы из чего кушать будем?

Брат *(сестре)*. Какой паскудный у вас жених попался. Мы так славно расторговались, а он все недоволен — кричит, как сова. А мне как раз нездоровится сегодня — у меня голова болит.

Жена. Чего ж нам с ним довольным-то быть?

Сосед. Вот именно. Тогда пушай нам наши деньги отдает.

Брат. Ладно, заткнися. Сказал — дам половину. *(Ломовику.)* И вот это. Это тоже выносите.

Сосед. Прямо у меня голова, как в тумане. Чего-то я ничего не понимаю.

Брат. Хоть к невесте-то подойдите. Стоит, как болван.

Жена. Чего вы на них кричите — видите, совсем запушили человека. *(Подходит к нему. Нежно разговаривают. Целуются.)*

Брат. А ну, сестра, пригласите там каких-нибудь гостей — охота маленько станцевать.

Сестра уходит.

Сосед. Ей-богу, я танцевать не буду. У меня сегодня настроение какое-то неподходящее — чего вы мне танцы предлагаете.

Брат. А зачем женился? Не надо было жениться.

Входит Горбушкин.

Горбушкин *(поет)*. Колокольчики-бубенчики звенят, звенят. Про ошибки моей юности твердят...

Жена. Гриша!

Горбушкин (не замечая разгрома в комнате). Очень вежливо поступили. Очень. Извиняемся, говорят, что повестку не по почте прислали, очень, говорят, вы срочно нам понадобились свидетелем. Ага, — говорю, — конечно я с этим и шел — свидетелем. Я говорю: колокольчики-бубенчики... По какому делу, говорю, я свидетелем? Они говорят, и так вежливо, красиво. Расскажите, говорят, нам, чего знаете про Щукина. Он, говорят, в короткое время проворовался. Пожалуйста, говорю. Беру стул, присаживаюсь этак вот к сто... (Испуганно смотрит на полупустую, развороченную комнату.) Это чего? Это, я говорю, чего?

Брат жены на цыпочках осторожно смывается.

Ж е н а. Это... это мы думали... Это мы, Григорий Иванович...

С о с е д. Прямо голова как в тумане.

Горбушкин (орет). Это чего?! Это чего в моей камере происходит!

Входит ломовик.

Л о м о в и к. Все, что ли?

Трое стоят, раскрывши рты.

1935 — 1936

Уважаемые граждане





От составителя

В 1929 году Госиздат предложил Михаилу Зощенко издать трехтомное собрание его рассказов. Передать писателю это известие в издательстве попросили К.И. Чуковского.

Выполняя это приятное поручение, Корней Иванович не сомневался, что Зощенко будет не только польщен, но и от души обрадован: издание трехтомника — это ведь не только признание заслуг писателя перед литературой, это еще и немалая материальная выгода. А какой писатель не дорожит возможностью получить хороший гонорар! Помимо чисто житейских радостей, это еще и возможность спокойно работать, не размениваясь на мелочи, на обязательную литературную поденщину. Благословенная и столь редко достижимая возможность писать для себя, для души — так, как хочется, не думая о заработке, о хлебе насущном. В деньгах Зощенко тогда нуждался, это Чуковский знал совершенно точно.

Короче говоря, Корней Иванович имел все основания полагать, что Зощенко, узнав, какой он приготовил ему такой сюрприз, будет счастлив.

Но Зощенко не только не выразил по этому поводу восторга, но даже не проявил ни малейшей заинтересованности.

Он сказал:

— Это мне не любопытно. Получишь 15 тысяч и разлетишься, ничего делать не захочешь. Писать бросишь. Да и не хочется мне в красивых коленкорových переплетах ходить. Я хочу еще года два на воле погулять — с диким читателем дело иметь.

Кто же он такой — этот дикий читатель, контакт с которым ему был важнее и дороже и денег, и почета, и красивых коленкорových переплетов?

Примерно в это же время Зощенко опубликовал большую книгу, состоящую из писем читателей к нему. Эти читательские письма он сопровождал короткими комментариями, а в предисловии к ней написал:

«Последние 2—3 года я получаю от читателей довольно много писем... Меня запрашивают, как жить, как писать стихи и что читать. Мне предлагают сюжеты, критикуют меня, одобряют и поругивают.

Видимо, читатель меня воспринимает не совсем так, как критика».

И дальше он довольно прямо давал понять, что этот настоящий, подлинный его читатель — тот самый «дикий» читатель, на которого он и хотел ориентироваться, — в отличие от критиков, воспринимает его правильно. Так, как он сам хотел бы, чтобы его воспринимали. И немудрено: ведь основная масса этих его «диких» читателей — это и есть те самые «уважаемые граждане», которые стали постоянными героями всех его коротких рассказов и главным его художественным открытием.

Один мой знакомый парнишка —

он, между прочим, поэт — побывал в этом году за границей.

Он объездил Италию и Германию для ознакомления с буржуазной культурой и для пополнения недостающего гирдероба.

Очень много чего любопытного видел.

— Ну, конечно, — говорит, — громадный кризис, безработица, противоречия на каждом шагу. Продуктов и промтоваров очень много, но купить не на что.

Между прочим, он ужинал с одной герцогиней. Он сидел со своим знакомым в ресторане. Знакомый ему говорит:

— Хочешь, сейчас я для смеха позову одну герцогиню. Настоящую герцогиню, у которой пять домов, небоскреб, виноградники и так далее.

Ну, конечно, наворачивает.

И, значит, звонит по телефону. И вскоре приходит такая красоточка лет двадцати. Чудно одетая. Манеры. Небрежное выражение. Три носовых платочка. Туфельки на босу ногу.

Заказывает она себе шнельклопс и в разговоре говорит:

— Да, знаете, я уже, пожалуй, неделю мясного не кушала.

Ну, поэт кое-как по-французски и по-русски ей отвечает, дескать, помилуйте, у вас а ла мезон столько домов, денег, дескать, наворачиваете, приbedняeтeсь, тeнь нaвoдитe.

Она говорит:

— Знаете, уже полгода, как жильцы с этих домов мне минртплату не вносят. У населения денег нет.

Этот небольшой фактик я рассказал так, вообще. Для разгона. Для описания буржуазного кризиса. У них там очень отчаянный кризис со всех сторон. Но, между прочим, на улицах у них чисто.

Мой знакомый поэт очень, между прочим, хвалил ихнюю европейскую чистоту и культурность. Особенно, говорит, в Германии, несмотря на такой вот громадный кризис, наблюдается удивительная, сказочная чистота и опрятность.

Улицы они, черт возьми, мыльной пеной моют. Лестницы скоблят каждое утро. Кошкам не разрешают находиться на лестницах и лежать на подоконниках, как у нас.

Кошек своих хозяйки на шнурочках выводят прогуливать. Черт знает что такое.

Все, конечно, ослепительно чисто. Плюнуть некуда.

Даже такие второстепенные места, как, я извиняюсь, уборные, и то сияют небесной чистотой. Приятно, неоскорбительно для человеческого достоинства туда заходить.

Он зашел, между прочим, в одно такое второстепенное учреждение. Просто так, для смеху. Заглянул — верно ли есть отличие, — как у них и у нас.

Оказывается, да. Это, говорит, ахнуть можно от восторга и удивления. Волшебная чистота, голубые стенки, на полочке фиалки стоят. Прямо уходить неохота. Лучше, чем в кафе.

Что, думает, за черт. Наша страна ведущая в смысле политических течений, а в смысле чистоты мы еще сильно отстаем. Нет, думает, вернусь в Москву — буду писать об этом и Европу ставить в пример. Конечно, у нас многие ребята действительно относятся ханжески к этим вопросам. Им, видите ли, неловко писать и читать про такие низменные вещи. Но я, думает, пробью эту косность. Вот вернусь и поэму напишу — мол, грязи много, товарищи, не годится... Тем более у нас сейчас кампания за чистоту — исполню социальный заказ.

Вот наш поэт находится за закрытой дверью. Думает, любуется фиалками, мечтает, какую поэму он отгрохает. Даже приходят к нему рифмы и строчки. Чего-то там такое:

Даже сюда у них зайти очень мило —
Фиалки на полках цветут.
Да разве ж у нас прошел Аттила,
Что такая грязь там и тут.

А после, напевая последний немецкий фокстротик «Ауфвидерзейн, мадам», хочет уйти на улицу.

Он хочет открыть дверь, но видит — дверь не открывается. Он подергал ручку — нет. Приналег плечом — нет, не открывается.

В первую минуту он даже слегка растерялся. Вот, думает, попал в западню.

После хлопнул себя по лбу.

«Я, дурак, — думает, — позабыл, где нахожуся — в капиталистическом мире. Тут у них за каждый шаг небось пфенниг плати. Небось, думает, надо им опустить монетку — тогда дверь сама откроется. Механика. Черти. Кровопийцы. Семь шкур дерут. Спасибо, думает, у меня в кармане мелочь есть. Хорошо был бы я гусь без этой мелочи».

Вынимает он из кармана монеты. «Откуплюсь, — думает, — от капиталистических шук. Суну им в горло монету или две».

Но видит — не тут-то было. Видит — никаких ящиков и отверстий нету. Надпись какая-то есть, но цифр на ней никаких не указано. И куда именно пихать и сколько пихать — неизвестно.

Тут наш знакомый прямо даже несколько струхнул. Начал легонько стучать. Никто не подходит. Начал бить ногой в дверь.

Слышит — собирается народ. Подходят немцы. Лопочут на своем диалекте.

Поэт говорит:

— Отпустите на волю, сделайте милость.

Немцы чего-то шушукаются, но, видать, не понимают всей остроты ситуации. Поэт говорит:

— Геноссе, геноссе, дер тюр, сволочь, никак не открывается. Компренешен. Будьте любезны, отпустите на волю. Два часа сижу.

Немцы говорят:

— Шпрехен зи дейч?

Тут поэт прямо взмолился:

-- Дер тюр, — говорит, — дер тюр отворите. А ну вас к черному!

Вдруг за дверью русский голос раздается:

— Вы, — говорит, — чего там? Дверь, что ли, не можете открыть?

— Ну да, — говорит. — Второй час бьюсь.

Русский голос говорит:

— У них, у сволочей, эта дверь механическая. Вы, — говорит, — наверное, позабыли машинку дернуть. Спустите воду, и тогда дверь сама откроется. Они это нарочно устроили для забывчивых людей.

Вот знакомый сделал, что ему сказали, и вдруг, как в сказке, дверь открывается. И наш знакомый, пошатываясь, выходит на улицу под легкие улыбки и немецкий шепот.

Русский говорит:

— Хотя я есть эмигрант, но мне эти немецкие затеи и колбасня тоже поперек горла стоят. По-моему, это издевательство над человечеством...

Мой знакомый не стал, конечно, поддерживать разговор с эмигрантом, а, подняв воротничок пиджака, быстро поднажал к выходу.

У выхода сторож его почистил метелочкой, содрал малую толику денег и отпустил восвояси.

Только на улице мой знакомый отдышался и успокоился.

«Ага, — думает, — стало быть, хваленая немецкая чистота не идет сама по себе. Стало быть, немцы тоже силой ее насаждают и придумывают разные хитрости, чтоб поддержать культуру. Хотя бы у нас тоже чего-нибудь подобное сочинили».

На этом мой знакомый успокоился и, напевая «Ауфвидерзейн, мадам», пошел в гости как ни в чем не бывало.

Врачевание и психика

1

Вчера я пошел лечиться в амбулаторию.

Народу чертовски много. Почти как в трамвае.

И, главное, интересно отметить — самая большая очередь к нервному врачу, по нервным заболеваниям. Например, к хирургу всего один человек со своей развороченной мордой, с разными порезами и ушибами. К гинекологу — две женщины и один мужчина. А по нервным — человек тридцать.

Я говорю своим соседям:

— Я удивляюсь, сколько нервных заболеваний. Какая ниссоразмерная пропорция.

Такой толстоватый гражданин, наверное бывший рыночный торговец или черт его знает кто, говорит:

— Ну еще бы! Ясно. Человечество торговать хочет, а гут, извольте, глядите на ихнюю торговлю. Вот и хворают. Ясно...

Другой, такой желтоватый, худощавый, в тужурке, говорит:

— Ну, вы не очень-то распушайте свои мысли. А не то и позвоню куда следует. Вам покажут — человечество... Какая сволочь лечиться ходит...

Такой, с седоватыми усишками, глубокий старик, лет пятидесяти, так примиряет обе стороны:

— Что вы на них нападаете? Это просто, ну, ихнее заблуждение. Они про это говорят, забывши природу. Нервные заболевания возникают от более глубоких причин. Человечество идет не по той линии... цивилизация, город, гримвай, бани — вот в чем причина возникновения нервных заболеваний... Наши предки в каменном веке и выпилили, и пятое-десятое, и никаких нервов не понимали. Да и врачей у них, кажется, не было.

Бывший торговец говорит с усмешкой:

— А вы чего — бывали среди них или там знакомство поддерживали? Седоватый, а врать любит...

Старик говорит:

— Вы произносите глупые речи. Я выступаю против цивилизации, а вы несете бабью чушь. Пес вас знает, чем у вас мозги набиты.

Желтоватый, в тужурке, говорит:

— Ах, вам цивилизация не нравится, строительство... Очень я слышу милые слова в советском учреждении. Вы, — говорит, — мне под науку не подводите буржуазный базис. А не то знаете, чего за это бывает.

Старик робеет, отворачивается и уж до конца приема не раскрывает своих гнилых уст.

Советская мадам в летней шляпке говорит, вздохнувши:

— Главное, заметьте, все больше пролетарии лечатся. Очень расшатанный класс...

Желтоватый, в тужурке, отвечает:

— Знаете, я, ей-богу, сейчас по телефону позвоню. Тут я прямо не знаю, какая больная прослойка собравшись. Какой неглубокий уровень! Класс очень здоровый, а что отдельные единицы нервно хворают, так это еще не дает картины заболевания.

Я говорю:

— Я так понимаю, что отдельные единицы нервно хворают в силу бывшей жизни — война, революция, питание... Так сказать, психика не выдерживает такой загруженной жизнью.

Желтоватый начал говорить:

— Ну, знаете, у меня кончилось терпение...

Но в эту минуту врач вызывает: «Следующий». Желтоватый, в тужурке, не заканчивает фразы и спешно идет за ширмы.

2

Вскоре он там начинает хихикать и говорить «ой». Это врач его слушает в трубку, а ему щекотно. Мы слышим, как больной говорит за ширмой:

— Так-то я здоров, но страдаю бессонницей. Я сплю худо, дайте мне каких-нибудь капель или пилюль.

Врач отвечает:

— Пилюль я вам не дам — это только вред приносит. Я держусь новейшего метода лечения. Я нахожу причину и с ней борюсь. Вот я вижу — у вас нервная система расшаталась. Я вам задаю вопрос — не было ли у вас какого-нибудь потрясения? Припомните.

Больной сначала не понимает, о чем идет речь. Потом несет какую-то чушь и наконец решительно добавляет, что никакого потрясения с ним не было.

— А вы вспомните, — говорит врач, — это очень важно — вспомнить причину. Мы ее найдем, развенчаем, и вы снова, может быть, оздоровитесь.

Больной говорит:

— Нет, потрясений у меня не было.

Врач говорит:

— Ну, может быть, вы в чем-нибудь взволновались... Какое-нибудь очень сильное волнение, потрясение?

Больной говорит:

— Одно волнение было, только давно. Может быть, лет десять назад.

— Ну, ну, рассказывайте, — говорит врач, — это вас облегчит. Это значит, вы десять лет мучились, и по теории относительности вы обязаны это мученье рассказать, и тогда вам снова будет легко и будет хотеться спать.

Больной мямлит, вспоминает и наконец начинает рассказывать.

3

— Возвращаюсь я тогда с фронта. Ну, естественно — гражданская война. А я дома полгода не был. Ну, вхожу в квартиру... Да. Поднимаюсь по лестнице и чувствую — у меня сердце в груди замирает. У меня тогда сердце маленько пошаливало — я был два раза отравлен газами в ирскую войну, и с тех пор оно у меня пошаливало.

Вот поднимаюсь по лестнице. Одет, конечно, весьма небрежно. Шинелька. Штанцы. Вши, извиняюсь, ползают. И в таком виде иду к супруге, которую не видел полгода. Безобразие.

Дохожу до площадки.

Думаю — некрасиво в таком виде показаться. Морда неинтересная. Передних зубов нету. Передние зубы мне

зеленая банда выбила. Я тогда перед этим в плен попал. Ну, сначала хотели меня на костре спалить, а после дали по зубам и велели уходить.

Так вот, поднимаюсь по лестнице в таком неважном виде и чувствую — ноги не идут. Корпус с мыслями стремится, а ноги идти не могут. Ну, естественно — только что тиф перенес, еще хвораю.

Еле-еле вхожу в квартиру. И вижу: стол стоит. На столе выпивка и селедка. И сидит за столом мой племянник Мишка и своей граблей держит мою супругу за шею.

Нет, это меня не взволновало. Нет, я думаю: это молодая женщина — чего бы ее не держать за шею. Это чувство меня не потрясает.

Вот они меня увидели. Мишка берет бутылку водки и быстро ставит ее под стол. А супруга говорит:

— Ах, здравствуйте.

Меня это тоже не волнует, и я тоже хочу сказать «здравствуйте». Но отвечаю им «те-те»... Я в то время маленько заикался и не все слова произносил после контузии. Я был контужен тяжелым снарядом и, естественно, не все слова мог произносить.

Я гляжу на Мишку и вижу — на нем мой френч сидит. Нет, я никогда не имел в себе мешчанства! Нет, я не жалею сукно или материю. Но меня коробит такое отношение. У меня вспыхивает горе, и меня разрывает потрясение.

Мишка говорит:

— Ваш френч я надел все равно как для маскарада. Для смеху.

Я говорю:

— Сволочь, сымай френч!

Мишка говорит:

— Как я при даме сыму френч?

Я говорю:

— Хотя бы шесть дам тут сидело, сымай, сволочь, френч.

Мишка берет бутылку и вдруг ударяет меня по башке.

4

Врач перебивает рассказ. Он говорит:

— Так, так, теперь нам все понятно. Причина нам ясна... И, значит, с тех пор вы страдаете бессонницей? Плохо спите?

— Нет, — говорит больной, — с тех пор я ничего себе пишу. Как раз с тех пор я спал очень хорошо.

Врач говорит:

— Ага! Но когда вспоминаете это оскорбление, тогда и не спите? Я же вижу — вас взволновало это воспоминание.

Больной отвечает:

— Ну да, это сейчас. А так-то я про это и думать позабыл. Как с супругой развелся, так и не вспоминал про это ни разу.

— Ах, вы развелись...

— Развелся. Вышел за другую. И затем за третью. После за четвертую. И завсегда спал отлично. А как сестра приехала из деревни и заселилась в моей комнате вместе со своими детьми, так я и спать перестал. В другой раз с дежурства придешь, ляжешь спать — не спится. Ребятишки бегают, веселятся, берут за нос. Чувствую — не могу заснуть.

— Позвольте, — говорит врач, — так вам мешают спать?

— И мешают, конечно, и не спится. Комната небольшая, проходная. Работаешь много. Устаешь. Питание все-таки среднее. А ляжешь — не спится...

— Ну а если тихо? Если, предположим, в комнате тихо?

— Тоже не спится. Сестра на праздниках уехала в Гатчину с детьми. Только я начал засыпать, соседка несет тушилку с углями. Оступается и сыплет на меня угли. Я хочу спать и чувствую: не могу заснуть — одеяло тлеет. А рядом на мандолине играют. А у меня ноги горят..

— Слушайте, — говорит врач, — так какого же черта ны ко мне пришли?! Одевайтесь. Ну хорошо, ладно, я вам дам пилюли.

За ширмой вздыхают, зевают, и вскоре больной выходит оттуда со своим желтым лицом.

— Следующий, — говорит врач.

Толстоватый субъект, который беспокоился за торговлю, спешит за ширмы.

Он на ходу машет рукой и говорит:

— Нет, неинтересный врач. Верхогляд. Чувствую — он мне тоже не поможет.

Я гляжу на его глуповатое лицо и понимаю, что он прав — медицина ему не поможет.

Какие у меня были профессии

Я не знаю, сколько есть

разных профессий. Один знакомый интеллигент мне сказал, будто всего на земном шаре триста девяносто профессий.

Ну, это он, конечно, перехватил, но, вероятно, все же около ста профессий имеется.

Нет, все сто профессий я не имел, но вот пятьдесят профессий я действительно испытал.

И вот перед вами человек, который испытал на себе пятьдесят профессий.

Интересно, кем я только не был.

Нет, я, конечно, не был там каким-нибудь экономистом, химиком или там пиротехником, скульптором и так далее. Нет, я не был академиком или там профессором анатомии, алгебры или французского языка. Я не скрою от вас — я не занимал разные интеллигентские посты, не смотрел в подзорные трубы, чтоб видеть разные небесные явления, планеты и кометы, не шлялся по шоссе с такой, знаете, маленькой трубочкой на треножнике для измерения высоты поверхности. Не строил мосты или там здания для посольства. И не затемнял свой рассудок математическими вычислениями количества белых шариков в крови.

Да, эти профессии, не скрою от вас, я не испытывал. Мне не хватало для этого всей высоты образования и знания иностранных языков. Тем более что до революции я был отчасти малограмотный. Читать мог, но писать уже не всегда осмеливался.

И через это, конечно, к сожалению, не могу вам ничего рассказать про такие возвышенные профессии, которые основаны там на науке или там технике или медицине.

Хотя должен вам сказать, что с медициной я сталкивался и даже одно время был врачом. Меня избрали на этот пост свои же полковые товарищи вскоре после февральской революции.

Я тогда служил в царской армии и был рядовым ефрейтором.

Вот после революции ребята мне и говорят:

— У нас полковой врач такая, извините, холера, что никому почти освобождения не дает, несмотря на февральскую революцию. Очень бы хотелось его заменить. Вот бы, — говорят, — хорошо, если бы вы согласились на эту должность. Тем более, — говорят, — все должности сейчас выборные — вот бы мы тебя и выбрали.

Я говорю:

— Отчего же. Конечно, выбирайте. Я, — говорю, — человек, понимающий явления природы. Понимаю, что после революции ребятам хотелось бы смотаться по домам и поглядеть, как и чего. Керенский, — говорю, — этот артист на троне, завертел волынку до победного конца. И полковой врач ему в дудочку подыгрывает и нашего брата не отпускает. Выбирайте меня врачом — я вас почти всех отпущу.

Вот вскоре после того сменяют командира полка, сменяют подряд офицеров и нашего пресловутого медика. И на его место назначают меня приказом.

Работа оказалась, конечно, трудная и, главное, бестолковая.

Едва послушаешь больного в трубку, как он хнычет и отпрашивается домой. А если его не отпускаешь, он очень на врача наседает и чуть не хватает его за горло.

Профессия совершенно глупая и небезопасная для жительства.

А если больному дашь порошки — он их жрать не хочет, а швыряет порошки врачу в лицо и велит писать увольнительную.

Ну, для формы спросишь — какая у тебя болезнь? Ну, больной сам, конечно, назвать болезнь не может и тем самым ставит врача в тупик, поскольку врач не может все болезни знать наизусть и не может писать в каждой пулкенке только: брюшной тиф или там вздутие живота.

Другие, конечно, говорят:

— Пиши чего хочешь, только отпусти, поскольку душа болит — охота поглядеть на домашних.

Ну, напишешь ему: душевная болезнь, — и с этой дией отпускаешь.

Но вот вскоре надоедает мне эта бестолковая профессия. И вот пишу я сам себе путевку с обозначением: душевная болезнь первой категории.

Выезжаю с фронта и, значит, на этом заканчиваю эту свою профессию.

После судьба кидает меня в разные стороны — туда и сюда, как, извините за сравнение, скорлупу в бурном море.

Я делаюсь милиционером. После слесарем, сапожником, кузнецом. Я подковываю лягающих лошадей, дою коров, дрессирую бешеных и кусачих собак. Играю на сценах. Поднимаю занавеси. И так далее, и тому подобное, и прочее.

При этом снова год нахожусь на фронте в Красной Армии и защищаю революцию от многочисленных врагов.

Снова освобождаюсь по чистой. Занимаю должность инструктора по кролиководству и куроводству. Становлюсь агентом уголовного розыска. Делаюсь шофером. И по временам пишу критические отзывы и острые дискуссионные статьи относительно театра и литературы.

И вот перед вами человек, который имел в своей жизни пятьдесят, а может, даже и больше профессий.

Некоторые профессии были у меня странные и удивительные. Была у меня до революции одна очень такая странная профессия.

А был я тогда в Крыму. И служил в одном имении. Там было четыреста коров. Масса коз, много курей и до черта баранов. Все это создавало почву для развития сельскохозяйственного дела.

И вот меня нанимают туда пробольщиком.

Одним словом, в мою обязанность входит пробовать качество масла и сыра.

Это масло и сыр отправлялись на пароходе за границу. И надо было все это пробовать, чтоб мировая буржуазия не захворала от недоброкачественного товара.

Конечно, дай вам попробовать масла или сыру — вы небось не откажетесь. Но если, предположим, пробовать эту продукцию с утра и до вечера и ежедневно и целый год, то вы волком завоете и свет перед вами померкнет.

Нет, я не был специалистом по этому делу. И совершенно случайно попал на эту профессию.

Мне тогда было двадцать три года. Все было тьфу и трын-трава. И я тогда шлялся по крымским дорогам, надеясь где-нибудь найти работу.

И вот иду по дороге и слышу — молочным хозяйством пахнет. А тут тем более я не ел два дня. И вот взял и пошел на этот приторный запах. Думаю, подкараулю какую-нибудь корову, подою маленько и тем самым подкреплю свои ослабшие силы.

Вижу — за забором сарай. Наверное, думаю, там коровы. Перемахнул через забор. Захожу в сарай. Вижу — там не коровы, а круги сыра лежат. Только я хотел стибрить кусок сыру — вдруг управляющий идет.

— Ты, — говорит, — что, из наших рабочих?

Нет, я особенно не смутился. Думаю — успею дать тигалю. Тем более — кругом народу нету и забор близко. И поэтому отвечаю с некоторым нахальством:

— Нет, не из рабочих, но имею мечту на нечто подобное. Он говорит:

— А, к примеру, зачем же ты в руку сыр взял?

Я говорю не без нахальства:

— Хотел, знаете, этот сыр попробовать — сдается мне, что он кисловат на вкус. Не умеете делать, а беретесь.

Вижу — управляющий даже растерялся от моих слов. Даже, видать, не понимает, что к чему. Он говорит:

— Как это? Почему кисловат? Ты что, каналья, специалист, что ли, по молочному хозяйству?

Я думал, он шутит, чтоб себя разозлить, с тем чтобы покрепче меня ударить. И говорю:

— Вы угадали. По молочному хозяйству я есть первый специалист города Москвы. И мимо этих молочных продуктов не могу пройти, чтобы их не попробовать.

Вдруг управляющий улыбается, жмет мне руки и говорит:

— Голубчик!

Он говорит:

— Голубчик, если ты специалист, то я тебе дам преогромное жалованье, только сделай милость, становись скорей на работу. Тут на днях заграничный пароход приходит, надо груз отправлять, а рассортировать товар и его попробовать некому. И сдается мне, что иностранная буржуазия наглотается негодных продуктов, и после неприятностей не оберешься. А у меня, как назло, один специа-

лист холерой заболел и теперь категорически не хочет ничего пробовать.

Я говорю:

— Пожалуйста. А что надо делать?

Он говорит:

— Надо попробовать шестьсот двадцать бочек масла и тысячу кругов сыру.

У меня даже желудок задрожал от голоду и удивленья, и я отвечаю:

— Пожалуйста. Об чем речь? Принесите мне буханку хлеба, и я сейчас к этому приступлю с преогромной радостью. Я, — говорю, — давно мечтал именно такую профессию себе найти — пробовать то и се.

И сам в душе думаю — нажрюсь до отвала, а там пущай из меня лепешку делают. И небось не сделают — убегу на своих сытых ногах.

— Ну, — говорю, — несите поскорей буханку, я очень тороплив в работе. Если мне что загорится — мне сразу вынь и положь. Несите хлеб, а то я прямо соскучился без этой своей профессии.

Вижу — управляющий глядит на меня с недоверием. Он говорит:

— Тогда я сомневаюсь, что ты есть лучший в мире специалист по молочному хозяйству. Молочные продукты пробуют без хлеба и без ничего, иначе не узнаешь, какой именно сорт и какой вкус.

Тут я вижу, что засыпался, но говорю:

— Это я сам знаю. И вы есть толстобрюхий дурак, если не понимаете. Я хлеб не для еды буду употреблять, а мне надо соприкасать эти два продукта, в силу чего я увижу окисление, и тогда, попробовав, не ошибусь в расчете, какая там есть порча. Это, — говорю, — есть последний заграничный метод. Я, — говорю, — удивляюсь на вашу сесть и отсталость от Европы.

Тут меня торжественно ведут туда и сюда. Записывают. Одевают в белый балахон и говорят: «Ну, пойдем к бочкам».

А у меня от страха душа в пятках и ноги еле двигаются.

Вот пошли мы к бочкам, но тут, на мое счастье, вызывают управляющего по спешному делу. Тут у меня на сердце отлегло. Я говорю рабочим:

— Выручайте, братцы, то есть ни черта не понимаю в этом деле. Хотя укажите поскорей, чем пробовать масло — пальцем или особой щепочкой.

Вот рабочие смеются надо мной, умирают со смеху, тем не менее рассказывают, чего надо делать и, главное, чего говорить.

Вот управляющий приходит — я ему прямо затемнил глаза. Говорю разные специальные фразы, правильно пробую. Вижу — человек даже расцвел от моей высокой квалификации.

И вот к вечеру, нажравшись до отвала, я решил не уходить с этого хлебного места. И вот остался.

Профессия оказалась глупая и бестолковая. Надо пробовать масло особой такой тонкой ложечкой. Надо подковырнуть масло из глубины бочки и пробовать его. И чуть маленько горечь, или не то достоинство, или там лишняя муха, или соль — надо браковать, чтоб не вызвать недолюбливания среди мировой буржуазии.

Ну, сразу, конечно, я не понимал разницы — каждое масло мне чересчур нравилось, но после кое-чему научился и стал даже покрикивать на управляющего, который чересчур был доволен, что нашел меня. И даже написал своему владельцу письмо, где наплел про себя разные истории и просил себе надбавку или там какой-нибудь трудовой орден за отличные дела.

Так вот, конечно, первые дни мне профессия нравилась. Бывало, отхватишь сыру да навернешь масла — лучше, думаю, работы и не бывает на земном шаре. После вижу — что-то не тово.

Через две недели я начал страдать, вздыхать и мечтать уже с этим расстаться.

Потому за день напробуюсь жиров, и глаза ни на что не глядят. Хочешь чего-нибудь скушать, а душа не принимает. И внутри как-то тошно, жирно. Никакая пища неинтересна, и жизнь кажется скучной и бестолковой.

И при этом еще строго запрещалось пить. Никакого вина или там водки нельзя было в рот брать. Потому алкоголь отбивает вкус, и через это можно натворить безобразных делов и перепутать качество.

Короче говоря, через две недели я ложился после работы вверх брюхом и неподвижно лежал на солнце, рассчитывая, что горячее светило вытопит у меня лишний жир и

мне снова захочется ходить, гулять, кушать борщ, котлеты и так далее...

А был там у меня в этих краях один приятель. Один прекрасный грузин. Некто Миша. Очень чудный человек и душевный товарищ. И был он тоже дегустатор, пробольщик. Но только в другом деле. Он пробовал вино.

Там в Крыму были такие винные подвалы — удельного ведомства. Вот там он и пробовал.

И профессия его, чересчур бестолковая, была даже хуже моей. Ему даже кушать не разрешалось. С утра до вечера он пробовал вино и только вечером имел право чего-нибудь покушать.

Меня мучило от жиров, и в рот ничего не хотелось взять. И выпить не разрешалось. И аппетита не было.

А у него наоборот. Его распирало от вина. Он с утра насосется разных крымских вин и еле ходит, и прямо свет ему не мил.

Вот в другой раз встретимся мы с ним вечером — я сытый, он пьяный, и видим — наша дружба ни к чему. Говорить ни о чем неохота. Он хочет кушать, я, наоборот, хочу выпить. Общих интересов мало, и вкус во рту мерзкий. И сидим мы вроде как обалделые и в степь глядим. А в степи ничего. А над головой — небо и звезды. А где-то, может быть, идет жизнь, полная веселья и радости... Вот я ему однажды и говорю:

— Надо, — говорю, — уходить. И хотя у меня контракт до осени, но я, безусловно, этого не выдержу. Я отказываюсь кушать масло. Это унижает мое человеческое достоинство. Я смотаю удочки, стираю круг сыру — и только меня толстобрюхий управляющий и видел.

Он говорит:

— До осени уходить не расчет. Работы сейчас не найти. А надо нам с тобой чего-нибудь такое оригинальное придумать. Дай срок — я придумаю, голь на выдумки хитра.

И вот однажды он мне и говорит:

— Знаешь что — давай временно поменяемся профессией. Давай я буду пробовать масло, а ты временно пробуй вино. Недельку или две поработаем так, а после опять поменяемся. А потом опять. Вот оно и получится у нас какое-то равновесие. И, главное, отдохнем, если они, черти, не дадут отпуска, а заставляют без отдыха жрать и пить.

Я очень радуюсь этим словам, но выражаю сомнение, что наши управляющие захотят этого. Он говорит:

— Это я берусь уладить.

И вот берет он меня за руку и ведет к своему управляющему по винной части.

— Вот, — говорит, — этот низенький опытный господин смело может меня заменить на две недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала, и я интересуюсь ее повидать. А он за меня будет пробовать и соблюдать ваши интересы.

Управляющий говорит:

— Ладно. Покажите ему, какие тут вина и как чего надо делать. И через две недели возвращайтесь. А то мы направили тут делов. Вместо столового вина взяли «Алико-те» в Москву отправили. Чистое безобразие.

Вот тогда я, в свою очередь, беру Мишу за руку и веду его к своему толстоброухому управляющему.

— Вот, — говорю, — этот высокий опытный господин смело может заменить меня на две недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала, и я интересуюсь ее повидать и покалякать с ней о разных разностях.

Управляющий говорит:

— Ладно. Покажите ему, как и чего, и через две недели приезжайте. А то и так у нас беспорядок. Вместо сливочного масла мы отправили в Персию сметану. Персы могут обидеться и не захотят ее кушать.

Вот стали мы на свою новую работу.

Я пробую вино. А Миша пробует масло.

Но тут с нами происходит чушь и неразбериха.

В первый же день Миша наедается масла и сыру до того, что заболевает судорогами. А я с первых же двадцати глотков от непривычки пить до того захмелел, что подрался с Мишиным управляющим. И хотел его в винную бочку поковырнуть за то, что он сказал плохие слова про моего приятеля.

Тут на другой день мне дали по шапке и велели убираться.

И Мише дали расчет и тоже велели убираться.

Вот встречаемся мы с ним и смеемся. Думаем — наплевать. Отдохнули пару дней и теперь снова можем приняться за свое ремесло.

Но тут случается так, что оба наши управляющие снюхались и узнали наш обман: и какие у нас две недели, и какая у нас тетка в Тифлисе, и какой у нас опыт.

Оба они призывают нас, кричат страшными голосами и велют убираться.

Нет, мы особенно не горевали. Я взял круг сыру, а Миша вина. И всю дорогу мы шли и пели песни. А после устроились на другую работу.

А вскоре разразилась война. Потом революция. И я потерял своего друга из виду.

И недавно узнаю, что он проживает на Кавказе и имеет хорошую, чудную командную должность.

И я мечтаю к нему поехать. Мечтаю встретить его, поговорить и сказать ему: «Молодец!»

Ох, он, наверное, обрадуется, когда увидит меня! Тоже, может быть, скажет мне: «Молодец!» И велит подать лучший шашлык.

Тут мы с ним будем кушать и вспоминать, кем мы были и кем стали.

Грустные глаза

Мне нравятся веселые люди.

Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий говор. Крики.

Мне нравятся румяные девушки с коньками в руках. Или такие, знаете, в майках, в спортивных туфельках, прыгающие вверх и вниз.

Я не люблю эту самую поэзию, где грусть, и печаль, и разные вздохи, и разные тому подобные меланхолические посклицивания вроде: «эх», «ну», «чу», «боже мой», «ох», «фу ты» и так далее.

Мне даже, знаете, смешно делается, когда хвалят чего-нибудь грустное или, например, говорят при виде какой-нибудь особы:

— Ах, у нее, знаете, такие прекрасные грустные глаза. И такое печальное поэтическое личико.

Я при этом думаю: «За что ж тут хвалить? Напротив, надо сочувствовать и надо вести названную особу на медицинский пункт, чтоб выяснить, какие болезни подтачивают ее нежный организм и почему у нее сделались печальные глаза».

Нет, у людей бывает очень странный взгляд на вещи. Восхищаться грустными вещами. Восторгаться печальными фактами. Прямо даже не понять, как это бывает.

Вот прежние интеллигенты и вообще, знаете, старая Россия как раз особенно имела такой восторг ко всему печальному. И находила чего-то в этом возвышенное.

Как у Пушкина сказано. Не помню только, как там строчки расположены. Нынешняя поэзия меня в этом смысле окончательно сбила с панталыку. Одним словом, сказано:

От ямщика
До
Первого поэта
Мы
Все
Поем
Уныло...
Печалию согрета
Гармония
И .
Наших
Дев
И муз.

Очень жаль. И гордиться, так сказать, этим не приходится. Нынче мы желаем развенчать эту грусть. Мы желаем, так сказать, скинуть ее с возвышенного пьедестала.

А как-то, знаете, однажды зашел ко мне в гости мой приятель. Ну, мы с ним на «ты». Вообще со школьной скамьи. Делимся новостями. И друг у друга в долг занимаем.

Вот он приходит ко мне и говорит, что он влюбился в одну особу до потери сознания и вскоре на ней женится.

И тут же начинает расхваливать предмет своей любви.

— Такая, — говорит, — она у меня красавица, такие у нее грустные глазки, что я и в жизни никогда таких не видел. И эти, — говорит, — глазки такой, как бы сказать, колорит дают, что из хорошенькой она делается премированная красавица. Личико у нее нельзя сказать, что интересное, и носик немножко подгулял, и бровки какие-то странные — очень косматые, но зато ее грустные глаза с избытком прикрывают все недостатки и делают ее из дурушки ничего себе. Я, знаешь, — говорит, — ее и полку бил-то за эти самые глаза.

— Ну и дурак, — говорю я ему. — Вот и выходит, что ты форменный дурак. Прошляпился со своей женитьбой. Ряд у нее грустные глаза, значит, у нее в организме чего-нибудь не в порядке — либо она истеричка, либо почками страдает, либо вообще чахоточная. Ты, — говорю, — возьми да порасспроси ее хорошенько. Или поведи к врачу, но советуйся.

Ох, тут он очень возмутился, начал швыряться вещами, кричать и срамить меня за излишнюю склонность к грубому материализму.

— Я, — говорит, — жалею, что к тебе зашел. У меня такое было поэтическое настроение, а ты своими ручищами загрязнил мое чувство.

Стал он прощаться и уходить.

Я попытался ему рассказать, как я однажды встретил в Кисловодске одного носильщика с такими грустными глазами, что можно обалдеть. И при расспросе оказалось, что у него было ущемление грыжи. И теперь он должен бросить свою профессию.

Однако приятель не стал до конца слушать и, обидевшись еще сильнее за нетактичные параллели и сравнения, холодно подал мне руку и при этом бормотал разные оскорбительные слова — дескать, ты черта лысого понимаешь в поэзии. Сам прошляпил красоту в жизни.

Вот проходит что-то около полгода. Я забываю эту историю. Но вдруг однажды встречаю своего приятеля на улице.

Он идет с расстроенным лицом и хочет не заметить меня.

Я подхожу к нему и спрашиваю, что случилось.

— Да так, — говорит, — разные неприятности. Ты мне накаркал — у жены, знаешь ли, легочный процесс открылся. Не знаю, теперь на юг мне ее везти или в санаторию положить.

Я говорю:

— Ну ничего, поправится. Но, конечно, — говорю, — если поправится, то не будет иметь такие грустные глаза.

Он усмехнулся, махнул рукой — дескать, отвяжись — и пошел от меня.

И вот этой весной я встречаю его снова.

Он идет, подняв воротничок своего пальто. Вижу — морда у него расстроенная. Глаза блестят, но смотрят грустно и даже уныло.

— Вот, — говорит, — теперь сам, черт возьми, захворал туберкулезом. После гриппа. Конечно, может быть, и от жены заразился. Но вряд ли. Скорей всего от усталости захворал.

— А жена? — говорю.

Он говорит:

— Она поправилась. Только я с ней развелся. Мне нравятся поэтические особы, а она после поправки весь свой

стиль потеряла. Ходит, поет, изменять начала на каждом шагу...

— А глаза? — говорю.

— А глаза, — говорит, — какие-то у ней буркалы стали, а не глаза. Никакой поэзии не осталось.

Тут я попрощался со своим приятелем и пошел по своим делам. И по дороге сочувственно поглядывал на тех прохожих, у кого грустные глаза.

Водяная феерия



ДИН МОСКОВСКИЙ РАБОТНИК

кинематографии прибыл в Ленинград по делам службы.

И он остановился в гостинице «Европа».

Прекрасный, уютный номер. Две постели. Ванна. Ковры. Картинки. Все это, так сказать, располагало нашего приезжего видеть людей и приятно проводить время.

В общем, к нему стали заходить друзья и приятели.

И как это всегда бывает, некоторые из его приятелей, приходя, принимали ванну. Поскольку многие живут в квартирах, где нет ванн. А в баню ходить многие, конечно, не так-то любят и вообще забывают об этой бытовой процедуре. А тут такой удобный случай: зашел к приятелю, поболтал, пофилософствовал и тут же помылся. Тем более тут горячая вода. Казенная простынка и так далее.

И многие, конечно, через это любят, когда у них есть приезжие друзья.

Короче говоря, дней через пять наш приезжий москвич несколько даже утомился от подобной неуклонной линии своих друзей.

Но, конечно, крепился до самого последнего момента, когда наконец разыгралась катастрофа.

А к нему как-то вечером пришли почти что сразу шесть знакомых.

Тары да бары, и тут же среди гостей образовалась до «гой ванны» небольшая очередь.

Трое быстро помылись и, попив чайку, ушли.

Но четвертая была старая дама. Родственница приезжего. И та мылась исключительно долго. И даже, кажется, что-то стирала из своего гардероба.

И до того она там долго возилась, что москвич и дождавшиеся просто захандрили. Она час с четвертью не выходила из ванны.

Но поскольку она была родная тетка нашего москвича, то он и не разрешил своим друзьям никаких эксцессов по ее адресу.

Короче говоря, когда она вышла, было уже далеко за полночь.

Один из приятелей не стал больше ждать и ушел. А другой, удивительно настойчивый и нахальный, все-таки во что бы то ни стало пожелал непременно сегодня вымыться, чтоб ему для чего-то завтра быть чистым.

И вот он дождался теткиного выхода. Вымыл ванну. И пустил горячую воду. И сам прилег на кушетку и стал дожидаться, когда ванна наполнится.

Но тут как-то случилось, что от сильного утомления он заснул. И москвич вдобавок задремал на диване.

А вода, наполнив ванну, вышла наружу и в короткое время затопила номер и даже протекла в другой этаж. Но поскольку в нижнем этаже была гостиная и там никого не было, то катастрофу не сразу заметили.

Короче говоря, наши два приятеля проснулись от сильного тепла и пара. Причем москвичу, как он после рассказывал, снился сон, что он в Гаграх.

Но когда он проснулся, то увидел, что весь номер в воде и поверх плавают туфли, газеты и разные деревянные изделия.

Горячая вода не позволила, конечно, сразу прекратить наводнение, поскольку они не решились добежать до ванны, чтоб закрыть кран. Они, сидя на диванах, не могли рискнуть спустить свои ноги в воду, от которой шел пар.

Но потом, кое-как передвигая стулья и перепрыгивая с одного стула на другой, перетрусивший приятель москвича добрался до ванны и закрыл кран.

И только они закрыли кран и вода стала куда-то утекать, как в номер вбегает администрация с побледневшими лицами.

Осмотрев ванну и нижний этаж, администрация совместно с прибывшим инженером стала о чем-то совещаться.

А среди наших друзей завязался тяжелый спор: кто виноват и кому платить убытки.

Приятель москвича, еле дыша от страха, сказал, что рублей сорок он как-нибудь покроет, но все, что свыше, пусть оплачивает владелец номера, который легкомысленно допущал мыться посторонних.

Тут между ними завязался спор, который мог бы кончиться печально, если б рядом не было администрации.

Москвич дрожащим голосом говорит администрации:

— А скажите, на какую сумму могут быть убытки?

Администрация говорит:

— Видите, внизу в гостиной размыло лепные украшения: одну крупную античную фигуру и трех херувимов. Так что это сильно увеличит расходы.

Услышав о лепных украшениях и херувимах, приятель москвича буквально задрожал.

Москвич, с тоской взирая на администрацию, прошептал:

— А на какую сумму размыло этих херувимов?

Инженер говорит:

— Тысчонок, мы так полагаем, семь-восемь будет стоить эта операция...

Сумма эта совершенно подкосила силы москвича, и он прилег на диван, мало чего соображая.

А приятель его выказал себя с нехорошей стороны. Он поступил как подлец, пытаясь, так сказать, дать тигалю. Но был задержан слабой, но честной рукой приезжего.

Приезжий москвич, еле ворочая языком; говорит администрации:

— Тысчонки бы за две нельзя? В крайнем случае не надо мне ставить этих херувимов. Не такое сейчас время, чтоб платить за этих самых херувимов...

Администрация говорит.

— Да вы напрасно горячитесь и торгуетесь. Мы, кажется, с вас убытков не требуем.

Услышав эти слова, приятель москвича закрыл глаза, думая, что это сон.

Но администрация говорит:

— На вас мы не возлагаем никакой вины. Тут наш технический недосмотр. Мы плохо рассчитали утечку воды, и это наша техническая слабость.

Инженер тут же дает научное пояснение. Он говорит, показывая на ванну:

— Видите, тут наверху ванны имеется дырка, в которую вода должна утекать по мере наполнения ванны. И при

научно правильном расчете вода не имеет права выйти за пределы краев. Но тут мы выказали некоторую слабость, и дырка, как вы могли видеть, не успела поглотить текущую жидкость. Так что мы просим у вас извинения за причиненное беспокойство. В дальнейшем этого не будет. Мы исправим. Это технические неполадки, которым не место в нашей славной современности.

Услышав эти слова, приятель москвича хотел упасть на колени, чтоб возблагодарить администрацию и судьбу, но приезжий не разрешил ему это сделать.

Он сказал инженеру:

— Конечно, иначе не могло и быть. Но скажите, кто мне возместит убытки: у меня испортились ночные туфли и чемодан подмок, и, может быть, там что-нибудь тоже испортилось благодаря вашей технической слабости.

Администрация говорит:

— Подайте заявление — мы возместим убытки.

На другой день москвич получил сорок шесть рублей за подмокший чемодан.

Приятель москвича тоже хотел воспользоваться случаем, чтоб содрать небольшую сумму за счет техники, но это ему сделать не удалось, так как он не имел права ночью находиться в чужом номере.

На другой день он все же пришел в гостиницу и там принял ванну, несмотря на то что москвич был этим крайне недоволен и даже рассердился.

Плохая жена

Один муж, сильно занятый

на службе и перегруженный разными делами, поручил своей жене присмотреть за займами.

У него выигрышных займов было больше как на две тысячи рублей. И вот он все надеялся выиграть. Он любил выпить и с друзьями побеседовать. И этот выигрыш был бы ему крайне необходим.

И вот каково же было его удивление, когда кассир на его работе однажды говорит:

— Поздравляю, Федя, с выигрышем.

Тот удивляется и спрашивает:

— А что такое? Я ничего не знаю. С чем ты мне поздравление делаешь?

Кассир говорит:

— Да как же — ты выиграл тысячу рублей. Вот, — говорит, — мы тебе эти займы выдавали, и у нас остались в списках твои номера. Я для потехи посмотрел и вижу — ты выиграл. Неужели ты не знаешь? Это уже было с месяц назад.

Вот наш муж рысью побежал домой и дома говорит:

— Где же выигрыш?

Жена очень смущается и говорит:

— Я не знаю. Ничего подобного. Кассир нахально врет.

Тут у них происходит крупный разговор, в результате чего муж ей под конец делает такое замечание:

— Тогда, — говорит, — мне придется на тебя в товарищеский суд подать за сокрытие выигрышей. И хотя мне даже как-то странно подобные дела выносить на решение жилищной общественности, но тем не менее я это сделаю, чтобы доказать, какая ты есть в наши дни нахальная

и вредная жена, не могущая служить примером для нашей современности.

И вот на днях происходит этот товарищеский суд. И все жильцы с их дома присутствуют на этом суде. Поскольку это очень любопытное дело.

Председатель товарищеского суда товарищ Егоров ее спрашивает:

— Ну, как дела?

И она, не зная, какой найти выход, говорит:

— Да, это я выиграла. Признаюсь.

Муж говорит:

— Вот видите теперь, что это за персона. Она утаила выигрыш. И, наверно, что-нибудь на это себе купила.

Председатель говорит:

— Ах да, в самом деле, где же эти деньги?

Жена, не привыкшая стоять перед общественностью, сразу говорит, смутившись:

— Я их отдала.

Муж говорит:

— Посмотрите, она их кому-то отдала. Это прямо интересно становится.

Председатель говорит:

— Кому ж вы и за что их отдали? Это действительно странно.

Жена, смутившись, говорит:

— Я их отдала Володе.

Муж, закачавшись, говорит:

— Боже мой, товарищ Егоров. Это, вероятно, Володька Ньюшин. Я их давно подозревал. Это хорошо, что я на него в суд подал. По крайней мере я теперь кое-что для себя выясняю.

Егоров говорит:

— Суд не входит в ваши интимные отношения. Но поскольку деньги мужа, то зачем же, глупая, вы их отдали? Вот он на вас теперь в суд подал, и вам за это приходится судиться.

Тогда жена отбрасывает всякий ложный стыд и произносит речь.

Она говорит:

— В чем дело? Да, я Ньюшину передала эти выигрышные деньги. Кто есть мой муж? Он есть, товарищи, любитель выпить. Он — любитель закусить. Он любит посидеть с друзьями... Он есть неудачная фигура на фоне нашей

щественной жизни. И я не намерена скрываться — Ньюшин мой любовник. И я ему передала выигрыш. Мой супруг все равно бы их пропил, а тут по крайней мере что-нибудь да будет.

Муж, снова закачавшись, говорит:

— Лишите ее слова! Мне худо делается.

Судья говорит:

— Не могу же я лишить ее слова — она только что разговаривалась. Какой вы странный.

Жена говорит, употребляя демагогический прием:

— Ньюшин есть советский изобретатель. Он дважды что-то изобрел. И он изобретает в третий раз музыкальный ящик. И его открытие, он говорит, перевернет и опрокинет всех композиторов и все страны Европы. И как я могла, будучи советской гражданкой, отдать деньги пьянице? Нет, я их лучше отдала человеку с гениальным дарованием.

Муж говорит:

— Отдать тысячу рублей какому-то сопляку! Ой, какая жалость, что товарищеский суд не может ее приговорить на десять лет.

Судья говорит:

— На десять лет ее, конечно, нельзя приговорить. Но я ей хочу задать вопрос. Скажите, гражданка, вот вы Ньюшина любите и даете ему такую сумму. А насчет мужа небрежно выражаетесь. А позвольте вас спросить, зачем тогда вы живете с этим мужем? Вот и жили бы себе с этим одаренным Ньюшиным.

Жена говорит:

— Видите, так Ньюшин ничего не имеет. У него вся дорога впереди. А муж все-таки прилично зарабатывает. И вот, как видите, иногда выигрывает.

Тогда председатель говорит:

— Нам странно слушать такие речи. Это, — говорит, — позорный взгляд на современность. Жить с этим ради денег, а выигрыш давать другому. Ну, я от вас этого не ожидал. И вас непременно надо к чему-нибудь присудить, поскольку вы глубоко отрицательное явление в нашей жизни.

После чего, посоветовавшись с заседателями, председатель объявил приговор, встреченный аплодисментами: приговорить к общественному порицанию и вернуть мужу половину выигрыша, поскольку вторая половина принадлежит жене и она вправе этим распорядиться.

Жена, услышав этот приговор, говорит:

— Деньги я ему, собаке, верну, но я ему, подождите, тоже пулю завинчу.

И на другой день она в отсутствие мужа продает зеркальный шкаф, принадлежащий ему, и вдобавок его плюшевую оттоманку. И вырученные деньги возвращает мужу.

Она говорит:

— Поскольку мне принадлежит половина предметов, так вот я кое-что и продала из твоих вещей.

Муж, увидев, что проданы по дешевке вещи, служившие украшением его комнаты, пришел в исключительное расстройство. Он пошел к председателю жакта и сказал ему:

— Она мои вещи уже стала продавать. Я с ней разведусь, поскольку я не могу жить с такой арапкой.

Председатель говорит:

— Вот и хорошо.

Через два дня без особых скандалов муж с ней развелся. Но поскольку жена никуда не уехала и нарочно осталась жить в его небольшой комнатке, то получился абсурд, благодаря которому муж от полного расстройства чувств сильно прихворнул.

А что касается изобретателя Ньюшина, то он не довел свое изобретение до конца, а, получив деньги, загулял и благодаря этому поссорился со своей дамой-патронессой — покровительницей изобретателей.

Но она, собственно, недолго расстраивалась и, види, что она теперь с двух сторон свободна, вступила в связь с одним инженером. Но поскольку инженер был женат, то получился опять абсурд, так как разведенный муж не мог даже теперь выгонять его, когда тот заскакивал в гости к его бывшей половине.

Но тут, к счастью мужа, у которого уже возник невроз сердца, она разошлась со своим инженером и неожиданно вышла замуж за одного провинциального фотографа, который прибыл в Ленинград за фотографическими принадлежностями. Но тут он ее встретил, влюбился и увез с собой в Торжок.

А бывший ее муж до того этому обрадовался, что снова стал здоров и даже перед отъездом подарил ей какой-то красивый расписной коврик, чтобы она совместно со своим дураком фотографом могла уютно обставить свое новое жилище.

Огни большого города

К одному жильцу с нашей

коммунальной квартиры прибыл из деревни его отец.

Конечно, он прибыл по случаю болезни своего сына. Без этого он, наверное, до конца своих дней не увидел бы Ленинграда. Но поскольку захворал его сын, вот он и прибыл.

А сын его был наш жилец. И он служил в одном ресторане официантом. Он там порции подавал и был на хорошем счету.

И, может быть, стараясь еще больше, он однажды, разгорячившись своим ночным трудом, выскочил на улицу, с тем чтобы пойти домой, и, конечно, через это простудился на своем, так сказать, кулинарном посту. Он захворал сначала насморком и семь дней чихал. Но потом простуда перешла к нему на грудь, и температура вдруг поднялась до плюс сорока градусов выше нуля.

Вдобавок еще до этого, желая в свободный день культурно провести время, он поехал в Павловск осмотреть дворцы, и там он немного надорвался, помогая своей супруге войти в вагон.

Так что все это, вместе взятое, дало печальную картину заболевания человека в полном расцвете его сил.

И, будучи от природы мнительным, наш бедный официант был уверен, что он уже не поправится и уже, как говорится, не приступит больше к исполнению своих прямых обязанностей.

И вот через это он и пригласил своего папу приехать в Ленинград, чтобы сказать ему последнее прощание.

Не то чтобы он горячо любил своего папеньку и вот те-

перь на закате своей жизни он во что бы то ни стало захотел его увидеть, напротив, он в течение сорока лет о нем не справлялся и совершенно как бы безучастно относился к факту его существования. Но его супруга, увидя у своего мужа такую невозможно высокую температуру, скорее из самолюбия — мол, все как у людей, — дала папе телеграмму: дескать, приезжайте в Ленинград, ваш сын захворал.

И когда сын уже начал поправляться, в Ленинград, всем на удивление, прибыл из весьма далеких мест его папанька в лаптях, с мешком за спиной и с палкой. Правда, потом оказалось, у старика в мешке были сапоги, но он их принципиально не носил, говоря об этом: «Богатый берет рожу, а бедный — одежду».

Конечно, все, и в том числе сын, рассчитывали, что приедет скромный, отчасти даже религиозный старец лет семидесяти и будет тут произносить постные речи и всего пугаться. Но оказалось совершенно, как говорится, напротив.

Оказалось, что старикан был на редкость задиристый, немного скандалист, грубиян и брехун. И вдобавок он был не то чтобы контрреволюционер, но он отличался исключительной отсталостью в политическом смысле.

Он моментально во дворе дома схлестнулся с дворником и отодрал за уши одного подростка, пришедшего в гости к своему дяде, живущему тут двенадцать лет.

Потом он у нас в жакте резко беседовал с председателем, так что тот удивился, какие бывают взгляды на современность, и даже хотел об этом сообщить по месту его жительства.

В довершение всего приезжий отец напугал своего сына тем, что с места в карьер навел в конторе справку, не может ли он тут получить площадь для постоянного проживания в Ленинграде.

Конечно, сам по себе старик, наверное, был сравнительно хороший, но тут с первого дня его приезда почти все жильцы оказались не на высоте в смысле культуры. Они все начали над ним подтрунивать, шутили над ним, как над дураком, смеялись насчет его провинциальных, деревенских манер. И каждый старался сказать ему какую-нибудь чушь, вроде того как ему при встрече всякий

раз говорил дворник петушиным голосом: «С какого именно колхоза прибыли, молодой человек?»

Да и сын его, официант Гаврилов, тоже, конечно, не отставал от общего настроения и в другой раз, давясь от смеха, говорил старику, нарочно глядя в газету:

— Сегодня, папаны, не ходите на улицу — ожидается облава на седых и рыжих.

Конечно, все это делалось довольно любовно и без злобы, но все-таки, как говорится, это, наверное, не было чем-нибудь приятным для приезжего старика, который прожил семьдесят два года и был, наверное, умнее их всех, вместе взятых. А они думали, что это — простофиля, дурак и серый мужик, и вот что с ним делали.

И это, конечно, имело отрицательную реакцию на его поведение.

И сколько дней он тут прожил, столько скандалов имело место. Были крики, сцены грубости и так далее.

В довершение всего на седьмой день своего пребывания он в пивной надрызгался и стал там буяннить. И даже его хотели представить в милицию. Но он от всех скрылся и пошел шляться по улицам.

И вот он идет по улице и песни играет. А сам старенький, седенький и одетый по-деревенски, в высшей степени незатейливо.

И вот он идет по улицам и вдруг видит, что заблудился.

Конечно, это абсурд — тут заблудиться. Тем более он адрес знает. Но с пьяных глаз он испугался и даже прорезвел.

И спросил прохожего, куда ему идти. Но прохожий не знал и велел ему обратиться к органам милиции.

Конечно, наш старик обробел сразу подойти к стоящему на посту милиционеру и от волнения прошел еще два-три квартала.

Но потом подошел к постовому с опаской, думая, что тот засвистит и закричит на него.

Но тот, согласно внутренней инструкции, отдал честь подошедшему, приложив к козырьку свою руку в белой перчатке.

Приготовившись к скандалу и привыкши к этому, старик от неожиданности немного растерялся и залепетал лишние слова, не идущие к делу.

А постовой, спросив у него, какая ему нужна улица, показал, куда идти, и, снова отдав честь, занялся своим делом.

Но этот маленький жест почтения и вежливости, рассчитанный в свое время на генералов и баронов, произвел исключительное впечатление на нашего приезжего старика.

Старик аж задрожал, когда ему постовой отдал честь вторично и, стало быть, тем самым показал, что тут ошибки не было, а было то, что ему полагалось.

И тогда старик, как потом выяснилось, снова еще раз подошел уже к другому милиционеру и снова получил приветствие, которое с еще большей силой запало в его слабую душу.

Конечно, я не знаю, может ли быть, чтоб это сразу отразилось на характере, но все заметили, что старикан вернулся домой в высшей степени сдержанный и, проходя мимо дворника, не вступил с ним в обычные пререкания, а молча отдал ему честь и проследовал к себе.

Не знаю, может ли быть, что такая мелочь и такой, в сущности, пустяк могли сыграть известную роль в смысле перековки характера, но все заметили, что с папашей Гавриловым что-то произошло другое и в высшей степени оригинальное.

Кое-кто видел, как он на углу около своего дома пару раз подходил к милиционеру и с ним вежливо беседовал.

И многие, грубоватые в своем уме, увидев перемену, приписали ее страху, который старик испытал, когда его хотели волочить в милицию. Но некоторые поняли по-другому.

И один интеллигент с нашей квартиры, страдающий сахарной болезнью, сказал про этот случай:

— Я завсегда отстаивал ту точку зрения, что уважение к личности, похвала и почтение приносят исключительные результаты. И многие характеры от этого раскрываются буквально как розы на рассвете.

Большинство с ним не согласилось, и даже у нас в квартире произошла безрезультатная дискуссия.

А дня через три папаша Гаврилов заявил своему сыну, что срочные дела требуют его отбытия в деревню.

Некоторые из нашей квартиры, желая загладить перед стариком свои неуклюжие шутки, пошли его провожать на вокзал.

И когда поезд тронулся, папа, стоя на площадке, отдал всем провожающим честь.

И все засмеялись, и папа засмеялся и уехал к себе на родину.

И там он, наверное, внесет теперь некоторую любезность в свои отношения к людям. И от этого ему в жизни станет еще более светло и приятно.

История болезни

Откровенно говоря,

я предпочитаю хворать дома.

Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома.

А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали облегчить мои невероятные страдания.

Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось.

Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х».

Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, она на волоске висит — и вдруг приходится читать такие слова.

Я сказал мужчине, который меня записывал:

— Что вы, — говорю, — товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, — говорю, — больным не доставляет интереса это читать.

Фельдшер, или как там его — лекпом, удивился, что и ему так сказал, и говорит:

— Глядите: больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рта не идет от жара, а тоже, — говорит, — наводит на все самокритику. Если, — говорит, — вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать.

Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, 39 и 8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал:

— Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, — говорю, — можно больным такие речи слушать? Это, — говорю, — морально подкашивает их силы.

Фельдшер удивился, что тяжелобольной так свободно с ним объясняется, и сразу замая разговор. И тут сестричка подскочила.

— Пойдемте, — говорит, — больной, на обмывочный пункт.

Но от этих слов меня тоже передернуло.

— Лучше бы, — говорю, — называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, — говорю, — красивей и возвышает больного. И я, — говорю, — не лошадь, чтоб меня обмывать.

Медсестра говорит:

— Даром что больной, а тоже, — говорит, — замечает всякие тонкости. Наверно, — говорит, — вы не выздоровеете, что во все нос суе.

Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться.

И вот я стал раздеваться и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверно, из больных.

Я говорю сестре:

— Куда же вы меня, собаки, привели — в дамскую ванну? Тут, — говорю, — уже кто-то купается.

Сестра говорит:

— Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайтесь внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды.

Я говорю:

— Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, — говорю, — определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне.

Вдруг снова приходит лекпом.

— Я, — говорит, — первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему, нахалу, не нравится, и это ему нехорошо. Умиравшая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее, может быть, около сорока темпера-

туры, и она ничего в расчет не принимает и все видит как сквозь сито. И, уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, — говорит, — я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания.

Тут купающаяся старуха подает голос:

— Вынимайте. — говорит, — меня из воды, или, — говорит, — я сама сейчас выйду и всех тут вас распатрону.

Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться.

И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть.

И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купанья они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект не по мерке, но потом я увидел, что у них это — нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубашках, а большие — в маленьких.

И даже мой комплект оказался лучше, чем другие. На моей рубашке больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида, а на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди, и это морально унижало человеческое достоинство.

Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить.

А положили меня в небольшую палату, где лежало около тридцати разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжелобольные. А некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели. Другие играли в пешки. Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем.

Я говорю сестрице:

— Может быть, я попал в больницу для душевнобольных, так вы так и скажите. Я, — говорю, — каждый год в больницах лежу и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар.

Та говорит:

— Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтоб он от вас мух и блох отгонял?

Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание.

Только очнулся я, наверно, так думаю, дня через три. Сестричка говорит мне:

— Ну, — говорит, — у вас прямо двужильный организм. Вы, — говорит, — скрозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, — говорит, — если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, — говорит, — вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением.

Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием — коклюшем.

Сестричка говорит:

— Наверно, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверно, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули.

В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал: «Перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет».

А я нервничал просто потому, что они меня не выпиывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отметить. То, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит:

— У нас такое переполнение, что мы прямо не поспеем больных выписывать. Вдобавок у вас только восемь дней перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то они терпят.

Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой. Супруга говорит:

— Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы при-

шло извещение, в котором говорится: «По получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа».

Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтоб с кем-нибудь там схлестнуться, но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел. И теперь хвораю дома.

В трамвае

Вавеча еду в трамвае.

И стою, конечно, на площадке, поскольку я не любитель внутри ехать.

Стою на площадке и любуюсь окружающей панорамой.

А едем через Троицкий мост. И очень вокруг все поразительно красиво. Петропавловская крепость с золотым шпилем. Нева со своим державным течением. Тут же солнце закатывается. Одним словом, очень, как говорится, божественно.

И вот стою на площадке, и душа у меня очень восторженно воспринимает каждую краску, каждый шорох и каждый отдельный момент.

Разные возвышенные мысли приходят. Разные гуманные фразы теснятся в голове. Разные стихотворения на ум приходят. Из Пушкина что-то такое всплывает в память: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца...»

И вдруг кондукторша разбивает мое возвышенное настроение, поскольку она начинает спорить с одним пассажиром.

И тут я, как говорится, с высоты заоблачных вершин спускаюсь в надземный мир с его узкими интересами, мелкими страстями и недочетами.

Молодая, интересная собой кондукторша ядовито говорит пассажиру:

— Что ж вы думаете: я даром вас повезу? Платите, кроме говоря, деньги или сойдите с моего вагона.

И слова, которые она произносит, относятся к скромному человеку. И стоит этот человек со своим постным лицом и, одним словом, не платит за проезд. Он отвиливал платить. И то роется в карманах и ничего там не находит, то говорит уклончиво:

— Такая славненькая кондукторша, и такие хорошенькие у нее губки, и так она сильно ерепенится и этим портит свою наружность... Ну нет у меня денег... Сейчас сойду, милочка, только одну остановку проеду...

— То есть никакой остановки я тебе даром не дам проехать, — говорит кондукторша. — А если у тебя денег нет, так зачем же ты, нахал, в трамвай вперся? Вот чего я никак не пойму.

Пассажир говорит:

— Тоже пешком идти — может быть, у меня пузыри на ногах? Какие нечувствительные люди в настоящее время. Совершенно не входят в положение человека. Только за все деньги, деньги и деньги. Прямо, может быть, этого не оберешься. Только давай, давай, давай...

Гуманные чувства заполняют мое сердце. Мне становится жалко человека, у которого нет даже нескольких грошей на проезд в трамвае.

Я вынимаю деньги и говорю кондукторше:

— Примите за того, который с постным лицом. Я заплачу за него.

Кондукторша говорит:

— Никакой уплаты со стороны я не разрешаю.

— То есть, — говорю, — как же вы можете не разрешить? Вот тебе здравствуйте!

— А так, — говорит, — и не разрешу. И если у него нету денег, то и пущай он пешком шкандыбает. А на своем участке работы я не позволю поощрять то, с чем мы боремся. И если у человека нету денег — значит, он их не заслужил.

— Позвольте, — говорю, — это негуманно. К человеку надо гуманно относиться, когда ему плохо, а не наоборот. Человека, — говорю, — надо жалеть и ему помогать, когда с ним что-нибудь происходит, а не тогда, когда ему чудно живется. А вдобавок это, может быть, мой родственник, и я его желаю поддержать на основе родственных чувств.

— А вот я вашего родственника сейчас отправлю в одно местечко, — говорит кондукторша и, свесившись с трамвая, начинает трещать в свой свисток.

Пассажир с постным лицом говорит, вздохнувши:

— Какая попалась на этот раз ядовитая бабенка. А ну, брось свистеть и поезжай дальше: я сейчас заплачу.

Он вынимает из кармана записную книжку, вытаскивает из нее три червонца и со вздохом говорит:

— Крупная купюра, и через это в трамвае мне ее не хотелось зря менять. Но поскольку эта особа с ума сходит и не позволяет пассажирам производить поддержку, то вот примите, если, конечно, найдется сдачи, что вряд ли.

Кондукторша говорит:

— Чего вы суετε мне в нос такие крупные деньги? У меня нету сдачи. Нет ли у кого разменять?

Я было хотел разменять, но, увидя суровый взгляд пассажира, отложил свои намерения.

— Вот то-то и оно, — сказал пассажир. — Через это я и не давал купюру, поскольку знаю, что это безрезультатно и в трамвае не могут ее разменять.

— Какая канитель с этим человеком, — говорит кондукторша. — Тогда я трамвай сейчас остановлю и его к черту ссажу. Он мне тормозит мою работу.

И она берется за звонок и хочет звонить.

Пассажир, вздохнувши, говорит:

— Эта кондукторша что-нибудь особенное. То есть я в первый раз вижу такое поведение. А ну, погоди звонить, я сейчас заплачу. Вот действительно какой ядовитый человек попался...

Он роется в кармане и достает двугривенный. Кондукторша говорит:

— Что ж ты, дармоед, раньше-то не давал? Небось хотел на пушку проехать.

Пассажир говорит:

— Всем давать — потрохов не хватит. Прими деньги и заткни фонтан своего красноречия. Через такие мелочи грешит своим языком в течение часа. Прямо надоело.

— И хотя это мелочи, — сказала кондукторша, обращаясь к публике, — но они затрудняют плавный ход движения государственного аппарата. И я через это пропустила целую массу безбилетных пассажиров. И его пятнадцать копеек обошлись государству рублей шесть.

Через две остановки злополучный пассажир со своей мелкой, склочной душой сошел с трамвая. И тогда кондукторша сказала:

— Какие бывают отпетые подлецы!

Потом мы снова въехали на какой-то мост, и я снова унылся картинами природы, позабыв о мелочах, связанных с движением транспорта.

 **Откровенно говоря, я не люблю**

путешествовать. Меня останавливает вопрос, где переночевать.

Из ста случаев мне только два раза удалось в гостинице комнату зацепить.

И то в последний раз я получил номер отчасти случайно. Они меня не за того приняли. Потом-то на другой день они, конечно, спохватились и предложили очистить помещение, но я и сам уехал.

А сначала любезность их меня удивила.

Портье, нюхая розу, сказал:

— Только осмелюсь вам сказать, ваш номер будет с дефектом. Там у вас окно разбито. И если, допустим, ночью кошка в ваш номер прыгнет, так вы не путайтесь.

Я говорю:

— А зачем же кошка будет ко мне прыгать? Вы меня удивляете.

Портье говорит:

— Видите, там у нас в аккурат на уровне окна имеется помойная яма, так что животные не разбираются, где чего есть, а прыгают, думая, что это то же самое.

Конечно, когда я вошел в номер, я всецело понял психологию кошек. Они смело могли не разобратся в действительности.

Вообще говоря, номер люкс мне не нужен, но эта грязная каморка с колченогим стулом меня немного покорила.

Главное, меня удивило, что в комнате была лужа.

Я стал звать кого-нибудь, чтоб это убрать, но никто не пришел. Тогда я разговорился с портье.

Он говорит:

— Если у вас имеется лужа, то, наверно, я так думаю, кто-нибудь там воду опрокинул. Сегодня у меня нет свободного персонала, но завтра я велю эту лужу вытереть, тем более что к утру она, наверно, и сама высохнет. Климат у нас теплый.

Я говорю:

— Потом номер уж очень жуткий. Темно, и из мебели всего стул, кровать и какой-то ящик. Конечно, — говорю, — разные бывают гостиницы. Недавно, — говорю, — в Донбассе, а именно в Константиновке, я вместо одеяла покрывался скатертью...

— До скатертей мы не доходим, — сказал портье, — но вместо пододеяльников у нас действительно положены короткие отрезы. А что касается темноты, то, конечно, вам не узоры писать. Спите скорей, гражданин, и не тревожьте администрацию своей излишней болтовней.

Я не стал с ним спорить, чтобы не разгуляться, и, придя в номер, разделся и юркнул в кровать.

Но в первую минуту я даже не понял, что со мной. Я, как на горке, съехал вниз.

Я хотел приподняться, чтоб посмотреть, какая это кровать, что на ней так удобно съезжать. Но тут запутался ногами в простыне, в которой были дырки. Выпутавшись из них, я зажег свет и осмотрел, на чем я лежу.

Оказалось, что начиная от изголовья продавленная сетка кровати устремлялась книзу, так что спящему человеку действительно не было возможности удерживаться в горизонтальном положении.

Тогда я положил подушку в ноги, а под нее сунул свой чемодан и таким образом лег наоборот.

Но тут оказалось, что я не лежу, а сижу.

Тогда я в середину сунул пальто и портфель и лег на это сооружение с намерением, как говорится, задать храповицкого.

И вот я уже стал дремать, как вдруг меня начали кусать клопы.

Нет, два-три клопа меня бы не испугали, но тут, как говорится, был громадный военный отряд, действующий совместно с прыгающей кавалерией.

Я поддался панике, но потом повел планомерную борьбу.

Но когда борьба была в полном разгаре, вдруг неожиданно потух свет.

В полной беззащитности я начал нервно ходить по номеру, ахая и причитая, как вдруг раздался стук в дощатую стену, и грубый женский голос произнес:

— Что вы тут, черт возьми, вертитесь в комнате, как ненормальный!

В первую минуту я остолбенел, но потом у меня с соседкой началась словесная баталия, которую даже совестно передать, поскольку, сгоряча и нервно настроенные, мы наговорили друг другу кучу самых архиобидных слов.

— Если я с вами, черт возьми, когда-нибудь встречу, — сказала мне под конец соседка, — то я вам непременно дам плюху, имейте это в виду.

Мне прямо до слез хотелось ей на это что-нибудь возразить, но я благоразумно смолчал и только швырнул в ее стену ящик, чтобы она подумала, что я в нее стреляю. После этого она замолчала.

А я, отодвинув от стены постель, взял графин с водой и сделал вокруг кровати водяное кольцо, чтобы ко мне не прилезли посторонние клопы. После чего я снова лег, предоставив свое, как говорится, бренное тело на волю божию.

Под адские укусы я уже стал засыпать, как вдруг за стеной раздался ужасный женский крик.

Я закричал соседке:

— Если вы нарочно завизжали, чтоб меня разбудить, то завтра вы мне ответите за свой хулиганский поступок.

Тут у нас снова поднялся словесный бой, из которого выяснилось, что к ней в кровать прыгнула со двора кошка и через это она испугалась.

Дурак портье, наверно, перепутал. Он мне обещал кошку, но у меня окно было целое, а у нее нет.

В общем, я опять задремал. Но, настроенный нервно, я то и дело вздрагивал. А при вздрагивании всякий раз меня будила сетка от кровати, которая издавала злобещий звон, визжание и скрежет.

Начиналось утро. Я снял тюфяк с кровати и положил его на пол. Полное блаженство охватило меня, когда я лег на это славное ложе.

«Спи скорей, твоя подушка нужна другому», — сказал я сам себе, вспомнив, что такой плакат висел в прошлом году в Доме крестьянина в городе Феодосии.

В эту минуту во дворе раздался визг электрической пилы. В общем, ослабевший и зеленый, я покидал мою несчастную гостиницу.

Я решил, что моей ноги не будет в этом отеле и в этом городе. Но судьба решила иначе.

В поезде, отъехав сто километров, я обнаружил, что мне дали не мой паспорт. А так как это был дамский паспорт, то ехать дальше не представлялось возможности.

На другой день я вернулся в гостиницу.

Конечно, мне было адски неловко встретиться с моей соседкой, которая тоже, оказывается, уехала и теперь вернулась с моим паспортом.

Это оказалась славная девушка, инструкторша по плаванию. И мы с ней потом мило познакомились и позабыли о ночной драме. Так что пребывание в гостинице все же имело известные плюсы. И в этом смысле путешествия иной раз приносят забавные встречи.

Современная молодая женщина

не любит, когда ей говорят уменьшительные слова. Она не любит, когда ей говорят: «ротик», «ручки» или «ножки».

Она на это сердится. И даже, я так думаю, через это может разрыв произойти.

Одна особа мне так и сказала:

— Какие, к черту, ножки. Я, — говорит, — сорок первый размер бареток ношу, а вы, — говорит, — все свое. Подлец вы, — говорит, — а не человек. Вы, — говорит, — мне жизнь губите своей дурацкой чувствительностью.

Откровенно вам сказать, я даже опешил от таких слов. Она говорит:

— Это, — говорит, — в прежнее время избалованные дамы или там графини любили в своих будуарах такие сентиментальности. А я, — говорит, — плюю на таких мужчин, как вы.

— Вот тебе, — говорю, — здравствуйте. Как, — говорю, — понимать ваши слова?

А как понимать ее слова, когда она с тех пор мне по телефону ни разу не звонила и при встрече со мной не поздоровалась? А это верно: современные молодые женщины любят что-нибудь смелое, героическое. Им, я заметил, не нравятся что-нибудь обыкновенное. Они любят, чтобы мужчина был непременно летчик или там в крайнем случае бортмеханик. Тогда они расцветают, и их не узнать.

А интересно их спросить: что же, все люди, что ли, должны быть летчиками и бортмеханиками?

Конечно, я ничего не говорю, профессия бортмеханика до некоторой степени удивительная, и она вызывает

разные эмоции у зрителей. Но тоже, как говорится, невозможно, чтоб все без исключения летали под небеса.

Некоторым приходится занимать более скромные земные посты в канцеляриях и так далее.

А то им еще почему-то нравятся кинооператоры. Это уж прямо, как говорится, неизвестно почему. Крутит ручку и думает — Наполеон.

Еще тоже вызывают женскую любовь приехавшие из Арктики. Ну, льды там. Снег. Северное сияние. Подумаешь!

Вообще говоря, я четыре раза женился, и все как-то такое у меня не вытанцовывалось. Ну, первые две жены увлеклись бортмеханиками. Третья сошлась с кинооператором. Ну, как говорится, это бывает. Но четвертый брак меня удивил своей неожиданностью. И я как гражданин, испытавший это, должен предостеречь остальных мужчин от подобных бракосочетаний.

У меня было знакомство с одной особой. И мы решили с ней пожениться. Но я ее честно предупредил:

— Имейте в виду, — говорю, — я не порхаю под небеса и навряд ли, — говорю, — для вашего удовольствия когда-нибудь прыгну с крыши с парашютом. Так что если вы увлекаетесь небесной профессией, то вопросов, как говорится, к вам не имею. И тогда давайте замнем вопрос о браке.

Она говорит:

— Профессия не играет роли. И к летчикам я отношусь равнодушно. Но мне единственно важно, чтоб наш союз был до некоторой степени свободный. Я не люблю стеснений личности. Я, — говорит, — до вас семь лет была замужем, и муж меня даже в театр с кем-нибудь не пускал. И теперь я бы желала иметь с вами брак, основанный на товарищеских условиях. И если, например, вы кем-нибудь увлечетесь, я вам ничего не скажу. А если я кого-нибудь встречу, то и вы тем более мне не будете возражать. И тогда наш брак, наверно, будет более продолжительный, основанный на разумном понимании двух любящих сердец. А то, что муж будет иметь мелкую профессию, то это даже и лучше. По крайней мере он будет знать свое место и не станет с меня требовать невозможного.

Я говорю ей:

— Я четвертый раз женюсь, и у меня, — говорю, — ум на разум заходит от всевозможных понятий. То, — гово-

рю, — одна не велит уменьшительные слова ей говорить. То, — говорю, — другая сходится с кинооператором. То, — говорю, — вы еще что-то мне преподносите. Но, — говорю, — поскольку мое сердце занято вами, то пускай будет по-вашему.

И вот, конечно, мы женимся и живем на разных квартирах. И все у нас идет хорошо и дружелюбно. Но вдруг она через неделю увлекается одним своим знакомым, который прибыл из Арктики.

Она мне говорит согласно нашего договора:

— Если хотите, давайте разойдемся. Но если еще питаете ко мне некоторые чувства, то давайте придерживаться наших условий. Тем более мой знакомый снова в скором времени уезжает в экспедицию, и тогда у нас с вами опять что-нибудь хорошее получится.

И вот я, как дурак, ожидаю его отъезда месяц и два. И наконец моя соседка по комнате говорит:

— Напрасно будете ее ждать. Ваше дело битое: она к вам нипочем назад не вернется.

Но проходит еще месяц, и вдруг моя супруга возвращается со словами: я, дескать, его окончательно отшила, тем более что он снова уехал в свое северное путешествие.

Я говорю:

— Но теперь с моей стороны возникли препятствия: я, — говорю, — увлекся своей соседкой. А если у вас остались ко мне чувства, то, — говорю, — я согласен с ней разойтись.

И вот я стал расходиться со своей соседкой. И только я с ней разошелся, гляжу: моя супруга через месяц спокойной жизни снова увлеклась приятелем и спутником по путешествию того человека, который уехал в Арктику. А тот полярник почему-то остался. И она им увлеклась. И стала с ним жить.

Вот я, согласно условию, жду несколько месяцев и вдруг узнаю, что у нее будет от него ребенок.

Я говорю ей:

— Интересный брак у нас получается. Эти, — говорю, — полярники, бортмеханики и кинооператоры меня буквально с ног валят.

Она говорит:

— Хотите — подождите, когда он меня разлюбит или когда ребенок немного подрастет. И тогда будем продол-

жать наши условия. А не хотите — так как хотите. Вообще, — говорит, — вы мне прямо надоели своим вечным нытьем и недовольством. Я, — говорит, — не от себя завишу. Мое сердце мне подсказывает, каких современных мужчин мне любить и каких ненавидеть. Не только, — говорит, — вы не имеете значка ГТО, но хоть бы для смеха прошли курс санитарной обороны. Уж я не говорю, чтобы вы были ворошиловский стрелок или поехали бы куда-нибудь на север. Не эти, — говорит, — профессии вас с ног валят, а просто у вас характер неинтересный, далекий от современности. Нынче богачей нету, и капиталом свое убожество прикрывать не приходится, так что надо улучшать свою личность, чтоб заслужить женскую любовь. Я говорю:

— То одна не велит уменьшительных слов произносить, то другая детей преподносит. И вдобавок мне лекции читает.

Вдруг она открывает дверь в соседнюю комнату и кричит уменьшительные слова:

— Ванечка, этот типус опять к нам скандалить пришел. И хотя он мой муж, но выгони его к черту. Я, — говорит, — чувствую, что через него истерику наживу.

И вдруг входит в комнату приятель того, который в Арктику уехал. Здоровенный такой мужчина, закаленный северным воздухом. И вдобавок парашютист, со значком.

— Об чем, — говорит, — молодой человек, вы тут загораетесь?

Я попрощался с ним и ушел с намерением все это описать, чтоб другие нелетающие мужчины остерегались попадать в такое же, как говорится, непромокаемое положение.

Я гляжу против таких свободных браков. Я стою за более крепкий брак, основанный на взаимном чувстве. А где это чувство взять, ежели я и парашюта никогда в глаза не видел? И севернее Лигова нигде не жил.

Прямо хоть становись героем, чтобы сравняться с осязательным населением.

Нарусиновый портфель

Я прошу извинить, дорогие читатели,

что задерживаю вас на таком пустяке, на незначительном факте, не стоящем, может быть, вашего просвещенного внимания, устремленного в другие дали. Но уж очень забавное дело я слушал в народном суде.

Один, представьте себе, муж весьма часто ходил на вечерние сверхурочные работы. Так он, по крайней мере, объяснял своей жене. А на самом деле у него никаких сверхурочных не было, а попросту он ходил в гости к одной своей землячке из Ростова.

У них в свое время в городе Ростове была пылкая любовь, и вот теперь они снова не без интереса встречались: они ходили в кино, в театры и так далее.

Но дома он, конечно, говорил, что у него экстренные занятия, брал для отвода глаз портфель и шествовал к своей подруге.

Наверно, он не хотел, как говорится, затемнять семейные горизонты личными делами и поэтому так поступал. Тем более что у него была жена и сынишка лет десяти.

Вот однажды, придя со службы домой и покушавши, он сказал жене, что сегодня вечером он должен пойти на одно экстренное заседание.

Жена начала ахать и говорить, что его что-то уж слишком загрузили делами, что он, благодаря этому, совершенно отбилсь от дому, что это ни на что не похоже и что если это так будет продолжаться, то она напишет об этом кому-нибудь из крупных хозяйственников, что, дескать, вот что получается.

Еле отвертевшись от семейных разговоров, наш муж надел пальто, взял портфель и направился к выходу.

Но едва он хотел выйти на лестницу, как вдруг в квартиру вошел счетчик из Электротокка.

Наш муж, желая посмотреть, сколько у него нагорело электричества, немного задержался в передней. И, узнав сумму, вытащил бумажник из кармана и дал деньги своей жене с просьбой тут же расплатиться. А сам поскорей вышел, чтобы снова, чего доброго, не возникли разговоры.

Но тут случилось так, что он, торопясь и волнуясь, что опаздывает, взял портфель счетчика вместо своего портфеля и с ним поспешно вышел.

А это был обыкновенный грубый парусиновый портфель. И в нем были разные официальные бланки, документы, карточки и так далее.

Но наш инженер, находясь мыслями в другом месте, просто даже не заметил, что он несет.

А надо сказать, что в его собственном портфеле, как на грех, были положены конфеты, которые он хотел преподнести своей знакомой, какое-то еще дамское шелковое кашне и хорошенький бювар для писания писем.

Вот, значит, этот злополучный портфель с подарками остался в передней на стуле, а сам инженер с парусиновой чепухой прибыл к своей подруге.

Но поскольку он запоздал или уж я не знаю что, она не смогла его принять. То есть она вышла к нему в переднюю и с ним мило объяснилась, но сказала, что у нее сейчас сидит приехавший из провинции какой-то ее дядя с маминей стороны и она, думая, что инженер не придет, договорилась уж со своим дядей куда-то пойти.

Находясь в большом огорчении, наш инженер не сразу, конечно, ушел, а он долго канючил в передней, говоря, что он всего-то опоздал на пять минут и что это очень жаль, что у него сорвался вечер. И тогда она пообещала встретиться с ним завтра.

Вот наш инженер, находясь в расстройстве чувств, стал прощаться со своей подругой. И собрался уже уйти, как вдруг увидел в своих руках какую-то парусиновую штуку, какой-то замызганный, не его портфель.

В полной уверенности, что это он сейчас взял его по ошибке, он положил его на столик в передней и стал искать свой портфель.

А в передней, под стулом, стоял чей-то портфель. И наш инженер, найдя его, до некоторой степени даже удивился

и стал вспоминать, когда же это он успел засунуть свой портфель под стул.

Но так как его землячка снова начала спешно с ним прощаться и его выпроваживать, то он и не стал больше задумываться над этой материей, а, вытащив портфель из-под стула и решив, что он подарки сделает завтра, еще раз приложился к ручке своей знакомой и вышел с чужим имуществом. И она ему ничего не сказала, поскольку она, наверно, тоже не знала, что это портфель ее дяди. И вдобавок в передней царил полумрак.

И вот, выйдя на улицу, наш инженер побрел потихоньку домой, размахивая портфелем.

А надо сказать, что дома у него был уже полный переполюх. Счетчик, получив деньги и не найдя своей парусины, поднял тарарам и, думая, что это хозяйский мальчишка, играя с портфелем, затащил его куда-нибудь в комнаты, стал везде искать и, разыскивая, перевернул всю квартиру вверх дном.

Жена тоже деятельно помогала искать, но, найдя портфель мужа, удивилась, что он не взят. И из чисто женского любопытства заглянула туда — что там есть. И, найдя вещи, несколько странные для сверхурочных занятий, взволновалась и, уйдя в свою комнату, стала обдумывать, что бы все это значило.

Сынишка же инженера, десятилетний мальчик, увидев содержание портфеля, выгреб из него коробку конфет и, как говорится, отдал должное кондитерским изделиям.

Придя к мысли, что муж ей говорит неправду о сверхурочных занятиях, жена начала плакать. Но тут раздался телефонный звонок, и грубый мужской голос сказал, что если еще не пришел ее муж, то пусть она передаст ему, что там, где он сейчас был, он оставил свой портфель с бумагами, а вместо него взял по ошибке чужой портфель. И пусть он, как придет, срочно это вернет, так как они садятся ужинать, а в портфеле остались кое-какие съестные припасы.

Жена сквозь слезы обещала, что передаст мужу, и, повесив трубку, начала рыдать, поняв отчасти, где ее муж бывает.

В общем, в доме был полный кавардак, когда на семейном горизонте вновь появился наш злосчастный супруг.

Счетчик из Электротока, который перевертывал теперь кухню кверху дном, набросился на вошедшего инженера, требуя моментально найти его портфель, в котором заключалось электрическое хозяйство всего района.

Не понимая еще, о чем идет речь, муж услышал рыдания своей супруги и поспешил к ней в комнату. И там вскоре разразилась буря, так что счетчик и не рискнул туда войти, а с видом великомученика сел в коридоре на стул и стал ждать, чем все это кончится.

Тут сынишка инженера, увидев новый портфель, поинтересовался, что еще принес папа. И хотя бабушка запрещала трогать этот портфель, тем не менее мальчик выгреб из него еще одну коробку конфет, маринованные пикули, паюсную икру и бычки в томате. Мальчик, не чувствуя больше аппетита к конфетам, отнес их в буфет. А бабушка, будучи не в курсе дела и полагая, что продукты принесены для дома, поставила пикули, икру и бычки на окно. Причем, пробуя икру, больше, чем следует, налегла на нее, так что на окно попало, собственно говоря, весьма незначительное количество.

Во время этих хозяйственных процедур и в момент наивысших криков в спальне снова раздался телефонный звонок. И муж сконфуженно начинает в трубку объяснять, что это просто ошибка и что портфель будет моментально доставлен.

И с этими словами инженер идет в коридор, находит там счетчика, извиняется перед ним, дает ему адрес и рубль на автобус и просит взять портфель, лежащий в передней, и обменять его на свой, случайно занесенный в другое место.

Счетчик, довольный, что портфель с денежными бумагами наконец найден, не стал слишком много распространяться и, только слегка поругавшись с рассеянным интеллигентом, отбыл, захватив для обмена портфель, опустошенный бабушкой и внуком.

Но едва в квартире наступила тишина и утомленные супруги прилегли после бури отдохнуть, как вдруг снова раздался телефонный звонок и грубый мужской голос скалял жене, что ее супруг, видимо, попросту арап, если из чужого портфеля он выгреб все, что там было. И что, если на то пошло, пусть он оставит себе бычки в томате, но икру и пикули пусть моментально вернет, иначе ему несдоб-

ровать. И что даже его знакомая просит ему передать, что он подлец.

Муж, чувствуя, что идет скандальный разговор, вырвал трубку от жены и стал кричать, что он ничего из портфеля не брал и даже его не открывал и пусть все убираются к черту. А что за посланного человека он не отвечает, и если тот взял что-нибудь из портфеля, то пусть они и имеют с ним дело.

Тогда грубый мужской голос стал мягче и сказал, что посланный человек еще не ушел и что он вытряхнет из него душу, но икру и пикули вернет.

Наконец все смолкло. Муж и жена, объединенные общим военным фронтом, несколько даже примирились. И жена взяла с него торжественное обещание, что впредь таких вещей не будет.

Однако, примерно через час, в квартиру явился весьма бледный и в растерзанном виде счетчик и поднял невероятный скандал, требуя возврата каких-то продуктов. Но так как ни муж, ни жена об этих продуктах ничего не знали, а бабушка уже спала сном праведницы, то рассердившийся инженер велел счетчику моментально уйти. Счетчик сказал, что подобных людей он еще не видел в своей жизни и что на инженера и на того мужчину, который чуть не вытряхнул из него душу, он завтра же подает в народный суд. Тем более что, мало того что он потерял рабочий день, — он еще получил нервное и физическое потрясение и вдобавок до сих пор не получил своего портфеля с денежными документами, за который тот требует выкуп.

В общем, счетчик, действительно, подал в суд. И на суде распуталась вся цепь событий.

Публика невероятно веселилась, когда выступавшие свидетели объясняли, как это все было. Но смех достиг наивысшего напряжения, когда бабушка начала рассказывать, как она съела икру.

Народный судья, женщина, отметила в своем слове, что мещанский быт с его изменами, враньем и подобной чепухой еще держится в нашей жизни и что это приводит к печальным результатам. Так, например, пострадавший на своем посту счетчик является в некотором роде жертвой этого дела.

Обвиняемый мужчина, который, кстати сказать, оказался не дядей подруги инженера, а бывшим женихом,

приехавшим из Ростова, принес свои извинения счетчику. Инженер тоже горячо извинился.

Суд вынес инженеру общественное порицание, а дядю из Ростова за то, что он немного помял счетчика, справедливо приговорил к принудительным работам на два месяца.

Публика этот приговор встретила с удовлетворением.

Что будет дальше, мы не можем вам сказать, но, поскольку на горизонте дяди не будет два месяца, возможно, что произойдет примирение между инженером и его подругой. И тогда, может быть, снова возникнет какая-нибудь ерунда на семейном фронте.

В пушкинские дни

Первая речь о Пушкине

С чувством гордости хочется отметить,

что в эти дни наш дом не плетется в хвосте событий.

Нами, во-первых, приобретен за 16 р. 50 к. однотомник Пушкина для всеобщего пользования. Во-вторых, гипсовый бюст великого поэта установлен в конторе жакта, что, в свою очередь, пусть напоминает неаккуратнымплательщикам о невзносе квартплаты.

Кроме того, под воротами дома нами вывешен художественный портрет Пушкина, увитый елочками.

И, наконец, данное собрание само за себя говорит.

Конечно, может быть, это мало, но, откровенно говоря, наш жакт не ожидал, что будет такая шумиха. Мы думали: ну, как обыкновенно, отметят в печати: дескать, гениальный поэт, жил в суровую, николаевскую эпоху. Ну, там на эстраде начнется всякое художественное чтение отрывков или там спокуют что-нибудь из «Евгения Онегина».

Но то, что происходит в наши дни, — это, откровенно говоря, заставляет наш жакт насторожиться и пересмотреть свои позиции в области художественной литературы, чтоб нам потом не бросили обвинение в недооценке стихотворений и так далее.

Еще, знаете, хорошо, что в смысле поэтов наш дом, как говорится, бог миловал. Правда, у нас есть один квартирант, Цаплин, пишущий стихи, но он бухгалтер и вдобавок такой нахал, что я прямо даже и не знаю, как я о нем буду говорить в пушкинские дни. Приходит позавчера в жакт, угрожает и так далее. «Я, — кричит, — тебя, длинновязый черт, в гроб загоню, если ты мне до пушкинских

дней печку не переложить. Я, — говорит, — через нее утворю и не могу стихов писать». Я говорю: «При всем чутком отношении к поэтам я тебе в данное время не могу печку переложить, поскольку наш печник загулял». Так ведь кричит. За мной погнался. Еще спасибо, что среди наличного состава жильцов у нас нет разных, знаете, писательских кадров и так далее. А то бы тоже, наверно, в печенку въелись, как этот Цаплин.

Ну, мало ли, что он может стихи писать. Тогда, я извиняюсь, и мой семилетний Колюнька может в жакт претензии предъявлять: он тоже у меня пишет. И у него есть недурненькие стихотворения:

Мы, дети, любим тое время, когда птичка в клетке.
Мы не любим тех людей, кто враг пятилетке.

Шпингалету семь лет, а вот он как бойко пишет! Но это еще не значит, что я его хочу равнять с Пушкиным. Одно дело — Пушкин, а другое дело — угоревший жилец Цаплин. Прохвост такой! Главное, навстречу жена идет, а он за мной как погонится. «Я, — кричит, — тебя в мою печку головой сейчас суну». Ну что это такое?! Сейчас пушкинские дни происходят, а он меня так нервирует.

Пушкин пишет так, что его каждая строчка — верх совершенства. Такому гениальному жильцу мы бы еще осенью переложили печку. А что ему будем перекладывать, Цаплину, — это я прямо поражаюсь.

Сто лет проходит, и стихи Пушкина вызывают удивление. А, я извиняюсь, что такое Цаплин через сто лет? Нахал какой!.. Или живи тот же Цаплин сто лет назад. Воображаю, что бы там с него было и в каком бы виде он до наших дней дошел!

Откровенно говоря, я бы на месте Дантеса этого Цаплина ну прямо изрешетил. Секундант бы сказал: «Один раз в него стрельните», а я бы в него все пять пуль выпустил, потому что я не люблю нахалов.

Великие и гениальные поэты безвременно умирают, а этот нахал Цаплин остается, и он нам еще жилы повытянет.

(Голоса. Расскажите про Пушкина.)

А я про Пушкина и говорю, а не про Лермонтова. Стихи Пушкина, я говорю, вызывают удивление. Каждая строчка популярна. Которые и не читали, и те его знают. Лично мне нравятся его лирические стихи из «Евгения Онегина»: «Что ты, Ленский, не танцуешь» и из «Пиковой дамы»: «Я хотел бы быть сучочком».

(Голоса. Это оперное либретто. Это не Пушкина стихи.)

То есть как это не Пушкина? Что вы мне баки заколачиваете?.. Хотя я перелистываю наш однотомник и вижу — в «Пиковой даме» действительно нет стихов... Ну, если эти стихи «Если б милые девицы все б могли летать как птицы» не Пушкина, то я уж и не знаю, что про этот праздник подумать. Короче говоря, я не буду Цапину перекладывать печку. Одно дело — Пушкин, а другое дело — Цап-лин. Нахал какой!

Вторая речь о Пушкине

Конечно, я, дорогие товарищи, не историк литературы. Я позволю себе подойти к великой дате просто, как говорится, по-человечески.

Такой чистосердечный подход, я полагаю, еще более приблизит к нам образ великого поэта.

Итак, сто лет отделяют нас от него! Время действительно бежит неслыханно быстро!

Германская война, как известно, началась двадцать три года назад. То есть когда она началась, то до Пушкина было не сто лет, а всего семьдесят семь.

А я родился, представьте себе, в 1879 году. Стало быть, был еще ближе к великому поэту. Не то чтобы я мог его видеть, но, как говорится, нас отделяло всего около сорока лет.

Моя же бабушка, еще того чище, родилась в 1836 году. То есть Пушкин мог ее видеть и даже брать на руки. Он мог ее нянчить, и она могла, чего доброго, плакать на руках, не предполагая, кто ее взял на ручки.

Конечно, вряд ли Пушкин мог ее нянчить, тем более что она жила в Калуге, а Пушкин, кажется, там не бывал, но все-таки можно допустить эту волнующую возмож-

ность, тем более что он мог бы, кажется, заехать в Калугу повидать своих знакомых.

Мой отец, опять-таки, родился в 1850 году. Но Пушкина тогда уже, к сожалению, не было, а то он, может быть, даже и моего отца мог бы нянчить.

Но мою прабабушку он наверняка мог уже брать на ручки. Она, представьте себе, родилась в 1763 году, так что великий поэт мог запросто приходить к ее родителям и требовать, чтобы они дали ему ее поддержать и ее понынчить... Хотя, впрочем, в 1837 году ей было, пожалуй, лет этак шестьдесят с хвостиком, так что, откровенно говоря, я даже и не знаю, как это у них там было и как они там с этим устроивались... Может быть, даже и она его нянчила... Но то, что для нас покрыто мраком неизвестности, то для них, вероятно, не составляло никакого труда, и они прекрасно разбирались, кого нянчить и кому кого качать. И если старухе действительно было к тому времени лет под шестьдесят, то, конечно, смешно даже и подумать, чтобы ее кто-нибудь там нянчил. Значит, это уж она сама кого-нибудь там нянчила.

И, может быть, качая и напевая ему лирические песенки, она, сама того не зная, пробудила в нем поэтические чувства и, может быть, вместе с его пресловутой нянькой Ариной Родионовной вдохновила его на сочинение некоторых отдельных стихотворений.

Что же касается Гоголя и Тургенева, то их могли нянчить почти все мои родственники, поскольку еще меньше времени отделяло тех от других. Вообще я так скажу: дети — украшение нашей жизни, и счастливое детство — это, как говорится, очень и очень немаловажная проблема, разрешенная в наши дни. Детские ясли, очаги, комнаты матери и ребенка на вокзалах — все это суть достойные признаки одного и того же дела... Да, так про что же это я?

(Голос с места. Про Пушкина...)

Ах да... Вот я и говорю — Пушкин... Столетняя дата. А там, глядишь, вскоре ударят и другие славные юбилеи — Тургенев, Лермонтов, Толстой, Майков и так далее и так далее. И пойдет чесать. Вообще, между нами говоря, в другой раз даже как-то удивляешься, почему к поэтам бывает такое отношение. К певцам, например, я не скажу, чтоб у

нас плохо относились, но уж настолько с ними не носятся, как с этими. А тоже, как говорится, таланты. И за душу хватают. И эмоциональность. И пятое-десятое.

Конечно, я не спору, Пушкин — великий гений, и каждая его строчка представляет для нас известный интерес. Некоторые, например, уважают Пушкина даже за его мелкие стихотворения. Но я бы лично этого не сказал. Мелкое стихотворение — оно и есть, как говорится, мелкое и не совсем крупное произведение. Не то чтобы его может каждый сочинять, но, как говорится, посмотришь на него, а там решительно нет ничего такого уж слишком, что ли, оригинального и художественного. Например, представьте себе набор таких, я бы сказал, простых и маловысокохудожественных слов:

Вот бегают дворовый мальчик,
В салазки Жучку посадив...
Шалун уж заморозил пальчик.

(Голос с места. Это «Евгений Онегин»... Это не мелкое стихотворение.)

Разве? А мы в детстве проходили это как отдельное стихотворение. Ну, тем лучше, очень рад. «Евгений Онегин» — это действительно гениальная эпопея... Но, конечно, и в каждой эпопее могут быть свои отдельные художественные недостатки. Вообще я так скажу: для детей это очень интересный поэт. И в свое время там у них он, может быть, даже был попросту детский поэт. А до нас, может быть, дошел уже несколько в другом виде. Тем более наши дети знаете как выросли. Их уже не удовлетворяет детский стих:

Паровозик чук-чук-чук,
Колесики тук-тук-тук.
Госиздату гип-ура,
Пети-мети автора.

Помню, знаете, у нас в классе задали выучить одно мелкое, ерундовое стихотворение Пушкина. Не то про венчик, не то про птичку или, кажется, про ветку. Что будто бы растет себе ветка, а ей поэт художественно говорит: «Скажи мне, ветка Палестины...»

(Голос с места. Это из Лермонтова...)

Разве? А я их, знаете, обыкновенно путаю... Пушкин и Лермонтов — это для меня как бы одно целое. Я в этом не делаю различия...

(Шум в зале. Голоса. Вы лучше расскажите про творчество Пушкина.)

Я, товарищи, к этому и подхожу. Творчество у Пушкина вызывает удивление. Ему за строчку стихов платили по червонцу. Кроме того, постоянно переиздавали. А он, не смотря на это, писал, и писал, и писал. Прямо удержу нету.

Конечно, придворная жизнь ему сильно мешала сочинять стихи. То балы, то еще что-нибудь. Как сказал сам поэт:

Откуда шум, неистовые клики?
Кого, куда зовут и бубны, и тимпан...

Тимпан! Договорится же человек до этого...

Конечно, не будем останавливаться на биографических данных поэта: это всем известно. Но тоже, как говорится, с одной стороны — личная жизнь, квартира в семь комнат, экипаж, с другой стороны — сам царь, Николай Палкин, придворная жизнь, лицей, Дантес и так далее. И, между нами говоря, Тамара ему, конечно, изменила...

(Шум в зале. Крики. Наталья, а не Тамара.)

Разве? Ах да, Наталья. Это у Лермонтова — Тамара... Вот я и говорю. А Николай Палкин, конечно, сам стихов не писал. И поневоле, конечно, мучился и завидовал поэту...

(Шум в зале. Отдельные возгласы, переходящие в крики. Некоторые встают. Довольно! Уберите оратора!)

Так вот, я кончаю, товарищи... Влияние Пушкина на нас огромно. Это был гениальный и великий поэт. И приходится пожалеть, что он не живет сейчас вместе с нами. Мы бы его на руках носили и устроили бы поэту сказочную жизнь, если бы, конечно, знали, что из него получится именно Пушкин. А то бывает, что современники надеются на своих и устраивают им приличную жизнь, дают автомобили и квартиры, а потом оказывается, что это не то и не то. А уже, как говорится, взятки гладки... Вообще, тем-

ная профессия, ну ее к богу в рай. Певцы как-то даже больше радуют. Запоют, и сразу видно, какой голос.

Итак, заканчивая свой доклад о гениальном поэте, я хочу отметить, что после торжественной части будет художественный концерт.

*(Одобрительные аплодисменты. Все встают и идут
в буфет.)*

Сердца трех

И озовольте рассказать

о нижеследующем забавном факте.

Один ленинградский инженер очень любил свою жену. То есть, вообще говоря, он относился к ней довольно равнодушно, но, когда она его бросила, он почувствовал к ней пылкую любовь. Это иной раз бывает у мужчин.

Она же не очень его любила. И, находясь в этом году на одном из южных курортов Черноморского побережья, устроила там весьма легкомысленный роман с одним художником.

Муж, случайно узнав об этом, пришел в негодование. И когда она вернулась домой, он, вместо того чтобы расстаться с ней или примириться, стал терзать ее сценами ревности и изо дня в день оскорблял ее грубыми и колкими замечаниями о курортных знакомствах и так далее.

Она нигде не служила, тем не менее она решила от него уйти.

И в один прекрасный день, когда муж ушел на работу, она, не желая объяснений и драм, взяла чемодан со своим гардеробом и ушла к своей подруге, чтобы у нее временно пожить до приискания службы и комнаты.

И в тот же день она повидалась со своим художником и рассказала ему, что с ней.

Но мастер кисти и резца, узнав, что она ушла от мужа, встретил ее крайне холодно, если не сказать больше. И даже имел нахальство заявить, что на юге бывают одни чувства, а на севере другие и что на курорте в пять раз все бывает интересней, чем при нормальной обстановке.

Они не поссорились, но попрощались в высшей степени холодно.

Между тем муж, узнав, что она ушла из дому с чемоданом, пришел в огорчение. Только теперь он понял, как пламенно ее любит.

Он обегал всех ее родных и заходил во все дома, где она, по его мнению, могла находиться, но нигде ее не нашел.

Его бурное отчаяние сменилось меланхолией, и он даже хотел повеситься, о чем и заявил в частной беседе ответственному съемщику по своей квартире.

Председатель жакта, озабоченный судьбой этого квартиранта, поспешил навестить его, чтобы предостеречь от пагубного шага.

Он так сказал ему:

— В соревновании на лучшее, образцовое жилище наш дом выходит на первое место в районе. И нам было бы крайне досадно, если бы вы со своей стороны что-нибудь сейчас допустили. И если у вас есть хоть какая-нибудь общественная жилка, то вы уж как-нибудь обойдитесь без этого.

Видя, что гражданский призыв ни с какой стороны не тронул инженера, председатель так ему сказал:

— Вы живете, замкнувшись в своем душном мире, и через это ваши страдания очень велики. Вас перевоспитывать — так это надо запастись терпением. Если хотите, я в дальнейшем займусь с вами. Но пока я вам дам хороший совет: напечатайте объявление в газете: дескать (как в таких случаях пишется), люблю и помню, вернись, я твой, ты моя и так далее. Она это прочтет и непременно явится, поскольку сердце женщины не может устоять против печати.

Этот совет нашел живейший отклик в измученной душе инженера, и он действительно среди отрезов драпа и велосипедов поместил свое объявление: «Маруся, вернись, я все прошу».

К этой классической фразе он еще добавил несколько вольных строк о своих страданиях, но эти строчки вымарали ему в конторе, поскольку уж очень, знаете ли, получалось как-то сугубо жалостливо и вносило дисгармонию в общий стиль объявлений.

За это объявление инженер заплатил тридцать пять рублей. Но когда он заплатил деньги, он обратил внимание на дату и пришел в ужас, узнав, что его объявление появится только через пятнадцать дней.

Он стал горячиться и объяснять, что он не велосипед продает и что он не может так долго ждать. И они из уважения к его горю сбавили ему четыре дня, назначив объявление на первое августа.

Между тем на другой день после сдачи объявления его жена явилась в жакт, чтобы выписаться. И там он имел счастье с ней увидеться и объясниться.

Он так ей сказал в присутствии домоуправления:

— Семь лет я крепился и ни за что не хотел прописывать вашу преподобную мамашу в нашей проходной комнате, но, если теперь вы вернетесь, я ее, пожалуй, так и быть — пропишу.

Она дала согласие вернуться, но хотела, чтобы он прописал также ее брата. Но он уперся на своем и согласился принять на свою площадь только ее мамашу, которая буквально через несколько часов туда и переехала.

Два или три дня у них шло все очень хорошо. Но потом жена имела неосторожность встретиться со своим портретистом.

Тот, узнав, что она вернулась к мужу, проявил к ней исключительную нежность и отзывчивость. И сказал ей, что его чувства снова вспыхнули, как на юге, и что он теперь опять будет мучиться и страдать, что она все время находится с мужем, а не с ним.

Весь вечер они провели вместе и были очень счастливы и довольны.

Муж, беспокоясь, что ее так долго нет, вышел к воротам поторопить события. И тут, у ворот, он впервые увидел живописца, который под руку вел его жену.

Тут снова у них начались семейные драмы, еще более тяжелые и шумные, чем раньше, поскольку ее мама, даром что ей было шестьдесят пять лет, принимала теперь в них самое деятельное участие.

Тогда молодая женщина снова ушла от мужа и, находясь под впечатлением пылких слов художника, явилась к нему, чтобы у него, если он хочет, остаться.

Но портретист не проявил к этому горячего желания, сказав, что он человек непостоянный, что сегодня ему кажется одно, завтра — другое и что одно дело — любовь, а другое дело — брак и что он хотел бы не менее полгода обдумать этот шаг, прежде чем на что-нибудь определенное решиться.

Тогда она поссорилась с художником и осталась жить у подруги, которая вскоре и устроила ее на службу в психиатрической лечебнице.

Между тем ее муж, погоревав несколько дней, неожиданно утешился, случайно встретив подругу своего детства.

У них и раньше что-то намечалось, но теперь, находясь в одиночестве, он почувствовал к ней большую склонность и предложил ей поселиться у него.

И она была этому рада, поскольку она только недавно прибыла из Ростова и еще, как говорится, тут не осмотрелась в смысле помещения.

В общем, ровно через одиннадцать дней вышло злощастное объявление.

Сам муж, позабыв о нем, не принял во внимание этот день. Но его жена, томясь у подруги, как раз наткнулась на этот призыв и была очень поражена и обрадована.

«Все-таки, — подумала она, — он меня исключительно любит. В каждой его строчке я вижу его невыразимое страдание. И я вернусь к нему, поскольку художник большой нахал, и я сама виновата, что так легкомысленно отнеслась к курортному знакомству».

Не будем нервировать читателей дальнейшим описанием. Скажем только, что появление жены с газетой в руках было равносильно разорвавшейся бомбе.

Муж, лепеча и перебегая от одной женщины к другой, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных объяснений.

Жена с презрением сказала, что, если бы не это объявление, она и не переступила бы порога этого мещанского жилища. Подруга из Ростова, заплакав, сказала, что она вовсе не желает склеивать его разбитое сердце своим присутствием и что если он дал такое исключительно сильное объявление с публичным описанием своих чувств, то он, во всяком случае, должен был бы подождать какого-нибудь результата.

В общем, обе женщины, дружески обнявшись, ушли от инженера, с тем чтобы к нему не возвращаться.

Председатель жакта, узнав от инженера о новой тревоге в доме, так ему сказал:

— Всем хорош наш дом. И вышел на первое место. И ремонт своевременно произведен. И среди жильцов полное единодушие по всем основным вопросам. И только вы

вносите чепуху и бестолочь в мирное течение нашей жизни. Идите домой и поступайте теперь как хотите. Вас перевоспитывать — так это надо сначала с ума сойти.

Оставшись в квартире вместе с ее мамашей, инженер впал в бурное отчаяние, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вечером не вернулась к нему его подруга из Ростова. Тем самым она показала, что ее сердце не столь ожесточилось, как у жены.

Правда, на другой день к нему хотела вернуться также и жена, но, узнав от своей мамы, что землячка из Ростова опередила ее, осталась у подруги.

Она вскоре втянулась в работу в своей психиатрической лечебнице и недавно вышла замуж за тамошнего психиатра. И сейчас она очень довольна и счастлива.

Художник, узнав о ее счастье, горячо поздравлял ее с новой жизнью и, нежно вздыхая, попросил разрешения почаще у нее бывать.

В общем, сердца трех после столь сильных передрыг вполне утихомирились.

Четвертое же сердце — художника, — надо полагать, вовсе не участвовало во всей нашей правдивой истории о печальных последствиях курортных романов.

Что касается объявлений, то медлительность этого дела то есть никак не отвечает требованиям жизни. Тут надо по крайней мере в шесть раз скорее.

Шумел камыш

М ут недавно померла одна старуха.

Она придерживалась религии — говела и так далее. Родственники ее отличались тем же самым. И по этой причине решено было устроить старухе соответствующее захоронение.

Приглашенный поп явился в назначенный час на квартиру, облачился в парчовую ризу и, как говорится, приступил к исполнению своих прямых обязанностей.

Только вдруг родственники замечают, что батюшка несколько не в себе: он, видать, выпивши и немного качается.

Родственники начали шептаться: дескать, ах ты боже мой, какая неувязка, поп-то, глядите, не стройно держится на ногах. Тогда один из родственников, кажется, бывший камердинер и старейший специалист по части выпивки, подходит к батюшке и так ему тихо говорит:

— Некрасиво поступаете, святой отец. Зачем же вы с утра пораньше надрались... Вот теперь вы под мухой и этим снижаете религиозное настроение у родственников. Нуте, дыхните на меня.

Прикрыв рот рукой, батюшка говорит:

— Не знаю, как вы, а я в своем натуральном виде. А только я сегодня с утра не жравши, и, может быть, через это меня немножко кренит. Нет ли, вообще говоря, у вас тут чем-нибудь заправиться?

Батюшку повели на кухню. Поджарили яичницу и дали ему рюмку коньяку, чтоб перебить настроение.

Подзаправившись, батюшка снова приступил к работе. Но качка у него продолжалась не в меньшей степени.

Но поскольку он уравнивал эту качку помахиванием кадила, то все сходило более или менее удовлетворительно. Хотя религиозное настроение у родственников было окончательно сорвано, тем более своим кадилом батюшка задевал то одного, то другого родственника и тем самым вызывал среди них ропот и полное неудовольствие.

Наконец усопшую понесли по лестнице, чтоб, как говорится, водрузить ее печальные останки на колесницу.

Батя, как ему полагалось, шел впереди.

Вдруг родственники не без ужаса слышат, что вместо «со святыми упокой» батюшка затянул что-то несообразное.

И вдруг все замечают, что он поет песню:

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь сидела до утра...

Родственники остолбенели, когда услышали эти слова.

Один из родственников, бывший камердинер, подходит к священнику и так ему говорит:

— Ну, знаете, это слишком — арии петь. Мы вас пригласили, чтобы вы нам спели что-нибудь подходящее к захоронению усопшей, а вы пустились на такое паскудство. Ну-ка, без всяких отговорок, дыхните на меня.

Дыхнув на камердинера, поп говорит:

— Когда я выпивши, я почему-то завсегда сворачиваю на эту песню. Усопшей это безразлично, а что касается родственников, то мне решительно на них наплевать.

Бывший камердинер говорит:

— Конечно, в другое время мы бы вас выслушали с интересом, поскольку песня действительно хороша и я даже согласен записать ее слова, но в настоящий момент с вашей стороны просто недопустимое нахальство — это петь.

Тут среди родственников начались крики. Раздались возгласы:

— Позовите милиционера!

Во дворе собралась публика. Дворник, подойдя к воротам, дал тревожный свисток.

Вот приходит милиционер. Родственники говорят ему:

— Вот поглядите, какого попа мы пригласили. Что вы нам на это скажете?

Милиционер говорит:

— Все-таки этот служитель культа еще владеет собой. Вот если б он у вас падал, то я бы отвел его в отделение милиции. Но он у вас еще держится и только не то поет. А что он там у вас поет — милиции это не касается. Пушай он хоть на голове ходит и «Чижика» поет — милиции это совершенно безразлично.

Родственники говорят:

— Что же нам в таком случае делать?

Батюшка говорит:

— Что вы, ей-богу, скандал устраиваете. Может быть, осталось пройти сорок шагов, и как-нибудь с божьей помощью я дойду.

Бывший камердинер говорит:

— Идите. Но если вы опять начнете не то петь, то я вам непременно чем-нибудь глотку заткну.

Вот процессия двинулась дальше. И батюшка владел собой хорошо. Но когда гроб устанавливали на колесницу, батюшка снова тихо запел:

Ах, не одна трава помята,
Помята девичья краса...

Тут камердинер, совсем озверев, хотел кинуться на богослужителя, но родственники удержали, а то получилось бы вовсе безобразие и вовсе исказило бы церковную идею захоронения усопших.

В общем, батюшка, рассердившись на всех, ушел. И колесница благополучно тронулась в путь.

Эту историю мы рассказали вам без единого слова выдумки. В чем и подписуемся.

Клинический случай

Вот какой удивительный случай

произошел со мной.

Давеча захожу в одну амбулаторию полечиться. У меня, как говорится медицинским языком, нервы стали пошаливать.

И вот вхожу в кабинет врача и вижу перед собой брюнета, сидящего за столиком.

Рассказываю ему, что со мной. И он начинает меня слушать.

Он послушал через трубку мое утомленное сердце и говорит:

— Небось высокогато живете? В пятом или в шестом этаже? Эвон как сердце трепыхается.

— Нет, — говорю, — живу во втором этаже.

— Ах, во втором этаже! Это меня устраивает, — говорит врач. — Может, в таком случае, ссоритесь с жильцами? Небось коммунальная квартира? Сорок жильцов, крики и так далее?

— Да нет, — говорю, — наоборот: проживаю в маленькой квартирке, где один только глухой профессор с супругой и я.

Доктор говорит:

— Ах, вот как! Это становится интересным. Нуте, положите нога на ногу. Сейчас я вас ударю медицинским молоточком по коленке и увижу, что с вами.

Увидев, что моя нога от удара высоко подскочила, доктор говорит:

— Так и есть. Функциональное расстройство нервной системы.

Я говорю:

— Какое лечение пропишете?

Доктор отвечает:

— Если хотите, пропишу пилюли. Но их бесцельно глотать. Конечно, сразу вам хуже, пожалуй, от них не будет, но я сомневаюсь, что они вам какую-нибудь пользу принесут.

Я говорю:

— А что же тогда делать при этом моем заболевании?

Доктор говорит:

— Многим помогает перемена обстановки. Переезд в другой город. Перемена службы. Обмен квартиры. Все-таки человеку приходится жить сорок лет в одной и той же комнате. Иногда хочется пожить в другой. А для нервов это крайне полезно.

Я говорю:

— В другой город я не поеду. А что касается обмена квартир, то, — говорю, — это можно сделать, но жалко: хорошая, — говорю, — у меня комната. Чего я буду с бухты-барахты менять ее на худшую?

Доктор говорит:

— А что, большой метраж, что ли?

— Метраж, — говорю, — небольшой — семнадцать метров плюс небольшой отдельный коридорчик.

Доктор говорит:

— Это становится интересным. А встанет в этом вашем мизерном коридорчике книжный шкаф?

Я говорю:

— Свободно могут встать два шкафа и табуретка, и еще останется узкий проход в комнату.

— М-да, — говорит врач, — такие комнаты редко бывают в хорошем районе.

— Нет, — говорю, — и район ничего себе — Петроградская сторона.

— Ах, вот как! Действительно, жалко менять такую комнату. Конечно, если доплату дадут, то вы не жалеете, меняйте и переезжайте.

— Без доплаты, — говорю, — естественно, я и не перееду.

— А много ли хотите доплаты? — говорит врач.

Я говорю:

— Надо осмотреть комнату. Может, мне подкинут такую площадь, что жизни будешь не рад. И вообще я не хочу менять. Что вы, ей-богу, ко мне привязались?

Доктор говорит:

— Конечно, если не хотите, то и не переезжайте. Я же вас за воротник не тащу. Я вам говорю с точки зрения медицины: переезжайте в том случае, если это вам интересно. А если вам неинтересно, то и сидите в своей берлоге, хворайте нервными заболеваниями, умирайте преждевременно.

Я говорю:

— Прямо уж и не знаю, что делать. Главное — комната веселенькая, на солнечной стороне.

— Ах, даже на солнечной стороне! — говорит врач. — Это становится интересным. И что же, целиком она на солнце, или она немножко глядит на запад?

— Целиком, — говорю, — на юг. Солнце так и жарит целый день.

— Многие сердечники, — говорит врач, — это худо переносят. Короче говоря, сколько хотите доплаты, если вам дать комнату в двенадцать метров в четвертом этаже?

Я говорю:

— Хотелось бы прежде осмотреть эту вашу паршивую комнатенку.

— В таком случае, — говорит доктор, — запишите мой адрес и вечером приходите. Насиловать вашу волю я не буду. И за просмотр, за визит, с вас ничего не возьму. А пока одевайтесь и идите с богом, посоветуйтесь с женой.

Вот я оделся и вышел на улицу. И прошел сгоряча два квартала. Потом мне стало досадно, что я плохо полечился. И я решил вернуться к врачу, чтоб спросить, не нужно ли мне ванны принимать с какой-нибудь мурой — морской солью и так далее.

И вот я снова поднимаюсь к этому врачу и вхожу в его кабинет.

А там уже другой пациент. И врач, слушая его в трубку, говорит:

— М-да, сердцебиение порядочное. Небось в пятом этаже живете?

Пациент уныло говорит:

— Живу в седьмом этаже.

— М-да, — говорит врач, — дураков мало меняться с вами. Одевайтесь.

Тогда я подхожу к столу и говорю:

— Довольно странно мне слышать ваши слова, обращенные к другому пациенту. Раз вы со мной договорились насчет комнаты, то зачем же вам снова расспросами заниматься?

Доктор говорит:

— Четвертый месяц ищу комнату — не могу найти. Всех опрашиваю, и это вошло у меня в привычку. Что касается вашей комнаты, то район меня не совсем устраивает, и через это я стал сомневаться. Уходите оба, сейчас ко мне еще один пациент придет, может быть, из центрального района.

Тут в дверь постучали, и вошел еще один пациент, которому врач сказал:

— Раздевайтесь. Побеседуем, что у кого болит.

В общем, теперь я хочу полечиться у другого врача. А то этот меня еще больше расстроил. И даже у меня теперь начались головные боли.

А может быть, у меня начались головные боли оттого, что мой квартирант-профессор целые дни кипятит какую-то химию в своей колбочке. От этого в квартире вредный запах. И я, кажется, действительно возьму и поменяю свою комнату.

Вот завтра пойду к какому-нибудь врачу и побеседую с ним об этом. Было бы славно, если б попался врач вроде этого. Впрочем, сильно сомневаюсь, что еще раз встречу такого же боевого медика.

В этом году у нас в доме

состоялся товарищеский суд.

Судили одного квартиранта Ф. за его хулиганский поступок.

Дело в том, что у нас огромный дом с населением свыше тысячи жильцов. И наш дом имеет свою стенную газету под названием «За жабры».

Так вот этот квартирант Ф., прочитав там однажды стихи про себя, пришел в бешенство и с криком «Всех перестреляю!» сорвал эту газету.

Кроме того, он дернул за волосы двенадцатилетнего парнишку — сына редактора газеты. И вдобавок с воплем «Я тебе голову сорву!» погнался за поэтом, автором этих стихов.

Факт, конечно, печальный, недостойный нашей современности.

А надо сказать, что наша газета раньше не пользовалась успехом среди жильцов. На нее мало обращали внимания, поскольку, кроме редактора, никто не затруднял себя чтением этого печатного органа.

Но потом решено было повысить уровень этой газеты. И было решено привлечь к работе одного поэта-сатирика, живущего в соседнем доме.

Тот долго отказывался, но потом сказал:

— Я за деньгами не гонюсь. Но я люблю работать «на интерес». Это меня стимулирует. Положите мне за строчку хотя бы по гривеннику, и тогда я не только подыму вам газету, но прямо из нее устрою кипящий котел, в котором, не жалея себя, буду варить всех ваших жильцов, так что они, как говорится, света божьего не увидят. И тогда я ру-

чаюсь за успех: толпа будет стоять около вашей стенной газеты.

Сначала этот поэт-сатирик описывал убожество лестниц и недочеты помойной ямы, но, когда ему повысили гонорар до тридцати копеек за строчку, он перешел на людей и в короткое время отхлестал своими стихами почти всех жильцов, включая дам и детей.

После этого он, не встречая сопротивления, пошел, как говорится, делать второй круг по тем же людям, с каждым разом заостряя свою сатиру все больше и круче.

Наконец он поместил стихи против квартиранта Ф., который, как мы говорили, пришел в бешенство, натворил черт знает что и теперь предстал перед судом.

Разорванная стенная газета была склеена. И стихи были оглашены на суде. Вот эти стихи:

К подлецу Ф.

Квартплату в срок не вносит,
Говорит, что денег нет.
А замшевую кепку носит
Сей обнаглевший наш брюнет.
И барышень в такси катает —
На это у него хватает.
Дрова он колет на полу,
Топор вонзается в паркет.
Ударим мы его по лбу,
Чтоб сей зазнавшийся брюнет
Не мог вредить у нас в дому.

Вот эти стихи и вызвали припадок бешенства жильца Ф. На суде квартирант Ф. сказал:

— В этом стихотворении имеется только одна строчка правды, в которой говорится, что я ношу замшевую кепку. Все остальное суть наглая ложь. Квартплату я вношу аккуратно и только один месяц просрочил по случаю беременности моей жены. Что касается такси, то это я вез мою жену на консультацию в родильный дом. Насчет же того, что я дрова колю на полу, — это есть чистая выдумка. Пол действительно у меня порублен, но это в голодные годы прежний жилец колол тут дрова. А сейчас у нас есть дворник, который и может подтвердить, что все дрова он мне

колет во дворе. Все это, вместе взятое, вызвало у меня затемнение рассудка, и я совершил поступки, недостойные советского гражданина.

Председатель товарищеского суда говорит:

— Как это, право, нехорошо у вас получилось. Вы бы вместо того чтобы рвать печатный орган, взяли бы и заявили в редакцию — дескать, вот какой на вас поклев. А вы вместо этого даете волю своим рукам: рвете газету и дерете за вихры ни в чем не повинного мальчика двенадцати лет, сына редактора газеты. Как это некультурно у вас получилось. Мне прямо совестно за вас.

Квартирант Ф. говорит:

— За этот мой последний поступок я согласен покраснеть. Но видите, в чем дело. Когда я пришел к редактору и стал просить его поместить опровержение, он мне так сказал: «Я теперь сам вижу, что про тебя стишки неверные. Но ты как-нибудь эту обиду переживи в своей душе. Я опровержение печатать не буду, поскольку это уронит авторитет моей газеты. Вот, скажут, враньем занимаются, а потом дадут обратный ход. Ты есть частное лицо, а мы — общественный орган. Мы важней, чем ты. Проглоти обиду и не подымай шуму». И тогда я ни с чем уйду от этого редактора, а тут его мальчишка еще мне вслед кричит: «Барышень в такси катает, на это у него хватает». Тут маленький я и потрепал его за вихры. Очень извиняюсь.

Председатель говорит редактору:

— Как это, право, нехорошо с вашей стороны не поместить опровержения. Глядите, до чего вы довели этого квартиранта своей сатирой. Глядите, он до сих пор весь дрожит.

Редактор говорит:

— Теперь я сам вижу, что я недоглядел за своим сатириком-людоедом. С тех пор как мы увеличили ему гонорар, он как с ума сошел. Он согласен своего брата в луже утопить. Я обещаю снова сбавить ему гонорар до десяти копеек за строчку, а то он тут весь дом по ветру пустит.

Председатель говорит:

— Сбавлять не надо, а вы должны с позором выгнать его из газеты, поскольку в газете должны работать только исключительно кристально честные люди. Мы теперь наглядно видим, что один мелкий арап может не только рас-

строить всех жильцов: он может всех перессорить и всех обозлить... Его мало выгнать, его надо под суд отдать, что я непременно и сделаю. А что касается квартиранта Ф., то его поступок в высшей степени неправильный. Он должен был обжаловать клевету, но он пустился на свою расправу, за что мы присуждаем его к общественному порицанию.

На этом заседание суда кончилось.

Через две недели вышла новая газета с опровержением и с указанием, что поэт-сатирик освобожден от работы.

Задумал один житель села Ф.,

некто товарищ Лебедев, окрестить своего младенца.

Так-то он шел до сих пор против религии. Он церкви не посещал. Ничего такого церковного не делал. И даже, наоборот, имея передовые взгляды, состоял одно время в кружке безбожников.

Но у него в этом сезоне родилась девочка. И вот ее-то он и задумал окрестить.

Вернее, его жена, эта малодушная мать, подбила его это сделать. И не так даже жена, как ее недалёковидные родители дали тон всему делу. Поскольку они начали вякать: ах, дескать, некрасиво, если не крестить, дескать, вдруг она вырастет или, наоборот, умрет и будет некрещеная, что тогда.

Ну, несерьезные разговоры политически отсталых людей.

А Лебедев удивительно не хотел крестить свою девочку. Тем не менее душа у него дрогнула, когда на него напали. И он, имея внутренние противоречия, дал свое согласие. Он им так сказал:

— Ладно. Крестите ее. Только мне бы не хотелось, чтобы вокруг этого вопроса шум стоял. Безусловно, я волен распоряжаться своим мировоззрением. Хочу — крещу, хочу, наоборот, — не крещу. Но все-таки разговоры начнут-ся, пятое-десятое; дескать, крестил все-таки, собачий нос, обратился, дескать, к услугам церкви, дескать, даром, скажут, дядя его в мирное время у домовладельца дворником служил.

На это жена ему сказала, что если он сам не надерется по случаю крещения дочери, то никакого шума не будет стоять около этого вопроса.

И вот родители договорились со священником, чтобы тот им окрестил девочку. И тот за пятерку взялся это сделать и назначил им день и час.

А тем временем родители зарегистрировали своего младенца в загсе под именем Роза, получили там мануфактуру и в определенный день явились в церковь для совершения крещения.

А в тот день там крестили еще одного младенца. И наши, ожидая своей очереди, стояли и глядели, как это происходит.

И сам Лебедев, будучи все-таки настроен против религии и имея, так сказать, критический взгляд на все церковное, не мог, безусловно, стоять молча. Он не мог инертно стоять. И он все время задира л батюшку своими колкими замечаниями.

И чего батюшка ни сделает, Лебедев на это ехидно улыбается, а то и просто ему что-нибудь под руку говорит. «Ну, загнул», — говорит. Или там: «Ну, еще чего придумал...» Или, глядя на рыжеватую растительность батюшки, вдруг говорит: «Ни одного рыжего среди святых не было... А этот рыжий».

Это последнее замечание вызвало смех среди родственников. Так что батюшка даже на минуту прервал крещение и на всех сердито поглядел.

А когда он взялся за лебедевского младенца, то Лебедев отчасти потерял чувство меры и уже начал открыто долбить батюшку своими ехидными замечаниями.

И даже шутливо, правда, сказал:

— Ну, гляди, борода, чтобы ребенок мой не простыл благодаря твоему крещению. А то я тебе прямо храм спалю.

У батюшки даже руки затряслись, когда он это услышал. Он так сказал Лебедеву:

— Слушайте, я вас не понимаю, если вы пришли сюда меня поддевать, то я на вас удивляюсь. Вы отдаете себе отчет, что получается? В тот момент, когда я держу вашу девочку в руках, вместо очистительной молитвы у меня в душе разгорается против вас злоба и сквернословие, и вот какую путевку в жизнь я даю мысленно вашей девочке. Да, может, теперь ее всю жизнь будет лихорадить, или, наоборот, она станет глухонемая.

Лебедев говорит:

— Ну, если ты мне младенца испортишь, то я тебе все кудри вырву, имей это в виду.

Батюшка говорит:

— Знаешь что. Лучше заверни своего щенка в одеяло и выкатывайся из храма. И я тебе верну пятерку, и мы разойдемся по-хорошему, чем я буду все время такое нахальство слышать.

Тут родственники начали одергивать Лебедева: дескать, заткни, действительно, глотку-то; дескать, обожди, вот выйдешь из храма, и тогда отводи душу; дескать, не задерживай попа, а то он нам, чего доброго, девочку на пол опрокинет. Гляди, у него руки трясутся и колени подгибаются.

И хотя Лебедева раздирали внутренние противоречия, но он сдержался и ничего такого не ответил священнику. Только он ему сказал:

— Ну ладно, ладно, не буду больше. Веди благородней крещение, длинногивый.

Вот батюшка начал произносить церковные слова. Потом, обратившись к Лебедеву, говорит:

— Какое имя мне произносить? Как вы назвали своего ребенка?

Лебедев говорит:

— Мы ее назвали — Роза.

Батюшка говорит:

— То есть сколько хлопот вы мне доставили своим пощением. Мало того, что вы меня поддевали, так теперь выясняется, что вы не то имя дали младенцу. Роза — суть еврейское имя, и под этим именем я ее крестить отказываюсь. Заверните ее в одеяло и идите себе из храма.

Лебедев, растерявшись, говорит:

— Еще того чище. То он на ребенка лихорадку нагоняет, то он вообще отказывается его крестить. А это имя есть от слова «роза», то есть это есть растение, цветок. А другое дело, например, Розалия Семеновна — кассирша из кооператива. Там я не спорю: есть еврейское имя. А тут вы не можете отказываться ее так крестить.

Батюшка говорит:

— Заверните своего ребенка в одеяло. Я его вообще не буду крестить. У меня в святцах нет такого имени.

Родственники говорят священнику:

— Слушайте, мы же его в загсе под этим именем записали. Что вы, ей-богу, горячку разводите.

Лебедев говорит:

— Я же вам говорил. Вот какой это поп. Он против загса идет. И сейчас всем видать, какое у него нахальное политическое мировоззрение.

Поп, видя, что родные не уходят и ребенка не уносят, стал разоблачаться. Он снял свою парчовую ризу. И тут все увидели, что он теперь ходит в штанах и высоких сапогах.

И он в таком богохульном виде подходит к образам и гасит свечи. И хочет выплеснуть воду из купели.

А в храме, между прочим, находилось одно приезжее лицо. Оно прибыло сюда по делам, для проверки кооператива. И теперь оно нарочно, просто так, от нечего делать, зашло в церковь, чтобы посмотреть, что там и как там сейчас бывает.

И теперь это лицо взяло слово и говорит:

— Я хотя стою против обрядов и даже удивляюсь на темноту местных жителей, но раз ребенка уже развернули и родители горят желанием его окрестить, то это надо исполнить во что бы то ни стало. И чтобы выйти из создавшегося положения, я предлагаю вашего ребенка назвать двойным именем. Например: у вас оно Роза, а тут, например, оно пускай Мария. И вместе это дает Роза-Мария. И даже есть такая оперетка, которая нам сигнализирует, что это в Европе бывает.

Поп говорит:

— Двойных имен у меня в святцах нету. И я даже удивляюсь, что вы меня этим собираетесь сбить. Если хотите, я ее Марией назову. Но Роза — я даже мысленно произносить не буду.

Лебедев говорит:

— Ну, пес с ним. Пушай он тогда ее Марией назовет. А после мы разберемся.

Батюшка снова надел свою ризу и быстро, в течение пяти минут, произвел всю церковную операцию.

Лебедев беседовал с приезжим лицом и благодаря этому никаких своих замечаний по поводу действий попа не вставлял. Так что все прошло вполне благополучно.

Но надежды Лебедева — чтобы не было шуму вокруг этого вопроса — не оправдались. Как видите, сия история попала даже в печать.

Последняя неприятность

А а этот раз позвольте рассказать

драматический эпизод из жизни умерших людей.

А так как это факт, то мы и не позволим себе в своем изложении допускать слишком много смеха и шуток, для того чтобы не обидеть оставшихся в живых.

Но поскольку эта история до некоторой степени комична и смех, как говорится, сам по себе может прорваться, то мы заранее попросим у читателя извинения за невольную, быть может, нетактичность по отношению к живым и мертвым.

Конечно, сам факт в своем первоначальном смысле ничего комического не имел. Наоборот, умер один человек, один небольшой работник, индивидуально незаметный в блеске наших дней.

И, как это часто бывает, после смерти начались пышные разговоры: дескать, сгорел на своем посту, ах, кого мы потеряли, вот это был человек, какая жалость, друзья, что мы его лишились.

Ну, ясно, конечно, безусловно, при жизни ему ничего такого оригинального никто не говорил, и он, так сказать, отправился в дальний путь, сам того не подозревая, что он собой представляет в фантазии окружающих людей.

Конечно, если бы он не умер, то еще неизвестно, как бы обернулась эта фантазия. Скорей всего те же окружающие, как говорится, загнули бы ему салазки или показали бы ему кузькину мать и где раки зимуют.

Но поскольку он безропотно умер, то вот оно так и получилось божественно.

С одной стороны, друзья, прелестно умирать, а с другой стороны — мерси, лучше не надо, как-нибудь обойдемся без вашей чувствительной благодарности.

Короче говоря, в том учреждении, где он работал, состоялась после занятий беседа, и на этой беседе вспоминали разные трогательные эпизоды из жизни умершего.

Потом сам директор взял слово. И в силу ораторского искусства он загнул свою речь до того чувствительно, что сам слегка прослезился. И, прослезившись, похвалил умершего сверх всякой меры.

Тут окончательно разыгрались страсти. И каждый наперерыв старался доказать, что он потерял верного друга, сына, брата, отца и учителя.

Из рядов вдруг один пронзительно крикнул, что надо бы захоронение попышней устроить, чтобы другие служащие тоже стремились бы к этому. И, видя это, они, может быть, еще более поднажмут и докажут всем, что они этого заслуживают.

Все сказали: это правильно. И директор сказал: пусть союз на стенку лезет — захоронение будет отнесено на казенный счет.

Тогда встал еще один и сказал, что таких замечательных людей надо, вообще говоря, хоронить с музыкой, а не везти молча по пустынным улицам.

Тут, утирая слезы, встает со своего места родственник этого умершего, его родной племянник, некто Колесников. Он так говорит:

— Боже мой, сколько лет я жил с моим дядей в одной квартире! Не скажу, чтобы мы часто с ним ругались, но все-таки мы жили неровно, поскольку я и не думал, какой у меня дядя. А теперь, когда вы мне об этом говорите, каждое ваше слово, как расплавленный металл, капает на мое сердце. Ах, зачем я не устроил уютную жизнь моему дяде! Теперь это меня будет мучить всю мою жизнь. Нет, я не поленюсь смотаться в одно местечко, где, как мне известно, имеется лучший духовой оркестр из шести труб и одного барабана. И мы пригласим этот оркестр, чтобы он сыграл моему дяде что-нибудь особенное.

И все сказали:

— Правильно, пригласи этот оркестр, и этим ты частично загладишь свое хамское поведение по отношению к своему дяде. Уж, наверно, у вас с ним был ежедневный мордобой, и только тебе неловко нам в этом признаться.

Короче говоря, через два дня состоялось захоронение. Было много венков, масса народу. Музыканты действовали

тельно играли недурно и привлекали внимание прохожих, которые то и дело спрашивали: «Кого хоронят?»

Сам племянник этого дяди подошел на ходу к директору и так ему тихо сказал:

— Я пригласил этот оркестр, но они поставили условие — заплатить им сразу после захоронения, поскольку они вскоре уезжают на гастроли в Старую Руссу. Как нам поступить, чтобы заплатить им без особой мотни?

Директор говорит:

— А разве за оркестр не ты будешь платить?

Племянник удивился и даже испугался. Он говорит:

— Вы же сами сказали, что похороны на казенный счет. А я только бегал приглашать оркестр.

Директор говорит:

— Так-то так, но как раз оркестр у нас по смете не предусмотрен. Собственно говоря, умерло маленькое, незначительное лицо, и вдруг мы с бухты-барахты пригласили ему оркестр! Нет, я не могу на это пойти, мне союз за это холку намнет.

Которые шли с директором, те тоже сказали:

— В конце концов, учреждение не может платить за каждого скончавшегося. Еще скажи спасибо, что заплатили за грузовик и за всякую похоронную муру. А за оркестр сам плати, раз это твой дядя.

Племянник говорит:

— Что вы — опухли, откуда я двести рублей возьму?

Директор говорит:

— Тогда сложиись вместе со своими родственниками и как-нибудь вывернись из беды.

Племянник сам не свой подбежал на ходу к вдове и доложил ей, что происходит.

Вдова еще больше зарыдала и отказалась что-либо платить.

Колесников пробился сквозь толпу к оркестру и сказал им, чтобы они перестали дудить в свои трубы, поскольку дело запуталось и теперь неизвестно, кто будет платить.

В рядах оркестрантов, которые шли строем, произошло некоторое замешательство. Главный из них, который михал рукой и бил в медные тарелки, сказал, что он это предчувствовал. Он сказал:

— Музыку мы не прекратим, а доиграем до конца и чужез суд потребуем деньги с того, кто сделал заказ.

Тогда Колесников снова на ходу пробился к директору, но тот, предвидя неприятности, сел в машину и молча отбыл.

Беготня и суетня вызвали удивление в рядах процессии. Отъезд директора и громкое стенание вдовы еще того более поразили всех присутствующих. Начались разговоры, расспросы и шептания, тем более что кто-то пустил слух, будто директора срочно вызвали по вопросу о сокращении штатов в их учреждении.

В общем, к кладбищу подошли в полном беспорядке. Само захоронение состоялось в крайне быстром темпе и без речей. И все разошлись не особенно довольные. И некоторые бранили умершего, вспоминая из его мелкой жизни то одно, то другое.

На другой день племянник умершего дяди до того нажал на директора, что тот обещал согласовать вопрос с союзом. Но при этом сказал, что дело вряд ли пройдет, так как задача союза — заботиться о живых, а не валандаться с мертвыми.

Так или иначе, Колесников пока что продал свое драповое пальто, чтобы отвязаться от оркестрантов, которые действительно ни перед чем не остановились бы, чтобы получить свои причистые.

Свое пальто племянник загнал за 260 руб. Так что после расплаты с оркестром у него остался навар — 60 монет. На эти деньги племянник своего дяди пьет третий день. И это обстоятельство сигнализирует нам, что учреждение во главе с директором оказалось не на высоте.

Будучи выпившим, племянник этого дяди пришел ко мне и, утирая рукавом слезы, рассказал мне об этой своей мелкой неприятности, которая для него была, наверно, далеко не последней. Для дяди же эта мелкая неприятность была последней.

Н е так давно скончался один милый человек.

Конечно, он был незаметный работник. Но когда он, как говорится, закончил свой земной путь, о нем многие заговорили, поскольку это был очень славный человек и чудный работник своего дела.

Его все очень расхваливали и заметили его после кончины.

Все обратили внимание, как он чистенько и культурно одевался. И в каком порядке он держал свой станок: он пыль с него сдувал и каждый винтик гигроскопической ваткой обтирал.

И вдобавок он всегда держался на принципиальной высоте.

Этим летом он, например, захворал. Ему худо стало на огороде. Он в выходной день пришел на свой огород и там что-то делал. Ухаживал за растениями и плодами. И вдруг ему приключилось худо. У него закружилась голова, и он упал.

Другой бы на его месте закричал: «Накапайте мне валерианки!» или: «Позовите мне профессора!» А он о своем здоровье не тревожился. И, упавши, сказал: «Ах, кажется, и на грядку упал и каротельку помял».

Тут хотели за врачом побежать, но он не разрешил отнимать от дела рабочие руки.

Но все-таки его отнесли домой, и там он под присмотром лучших врачей хворал в течение двух месяцев.

Конечно, ему чудные похороны закатали. Музыка играла траурные вальсы. Много сослуживцев пошло его провожать на кладбище.

Очень торжественные речи произносились. Хвалили его и удивлялись, какие бывают на земле люди.

И под конец один из его близких друзей, находясь около его вдовы, сказал:

— Которые хотят почтить память своего друга и товарища, тех вдова просит зайти к ней на квартиру, где будет подан чай.

А среди провожающих был один из его сослуживцев, некто М. Конечно, этот М. особенно хорошо не знал усопшего. Но пару раз на работе его видел.

И теперь, когда вдова пригласила зайти, он взял и тоже пошел. И пошел, как говорится, от чистого сердца. У него не было там каких-нибудь побочных мыслей. И на поминки он пошел не для того, чтобы заправиться. Тем более сейчас никого едой не удивишь. А он пошел просто идейно. «Вот, — подумал, — такой славный человек, дай, — думает, — зайду, послушаю воспоминания его родственников и в тепле посижу».

И вот, значит, вместе с одной группой он и пошел.

Вот приходят все на квартиру. Стол, конечно, накрыт. Еда. Пятое-десятое.

Все разделись. И наш М. тоже снял с себя шапочку и пальто. И ходит промежду горюющих родственников, прислушивается к воспоминаниям.

Вдруг к нему в столовой подходят трое.

— Тут, — говорят, — собравшись близкие родственники. И среди них вы будете чужой. И вдова расценивает ваше появление в ее квартире как нахальство. Наденьте на себя ваше пальто и освободите помещение от вашего присутствия.

Тому, конечно, неприятно становится от этих слов, и он начинает им объяснять, дескать, он пришел сюда не для чего-нибудь другого, а по зову своего сердца.

Один из них говорит:

— Знаем ваше сердце — вы зашли сюда пожрать, и тем самым вы оскорбили усопшего. Выскакивайте пулей из помещения, а то вы в такой момент снижаете настроение у друзей и родственников.

И с этими словами он берет его пальто и накидывает на его плечи.

А другой знакомый хватает его фуражку и двумя руками напяливает ее на голову так, что уши у того мнутя.

Нет, они, конечно, его не трогали, и никто из них на него даже не замахнулся. Так что в этом смысле все обошлось до некоторой степени культурно. Но они взяли его за руки и вывели в переднюю. А в передней родственники со стороны вдовы немного на него поднажали, и даже один из них слегка поддал его коленкой. И это было тому скорее морально тяжело, чем физически.

В общем, он, мало что соображая, выскочил на лестницу с обидой и досадой в душе.

И он три дня не находил себе покоя.

И вот вчера вечером он пришел ко мне.

Он был расстроен, и у него от обиды подбородок дрожал и из глаз слезы капали.

Он рассказал мне эту историю и спросил, что я насчет этого думаю.

И я, подумавши, сказал:

— Что касается тебя, милый друг, то ты совершил маленькую ошибку. Ты зашел туда по зову своего сердца. И в этом я тебе верю. Но вдова имела в виду только близких и знавших ее супруга хорошо. Вот если бы тебя завод пригласил на вечер его памяти и оттуда тебя бы выкурили и назвали чужим — вот это было бы удивительно. И в этих тонкостях следует всегда разбираться. Но что касается их, то они с тобой поступили грубо, нетактично и, я бы сказал, некультурно. А что один из них напялил на тебя фуражку, то он попросту свинья, и ну его к черту, дурака!

Тут сидевший у меня М. немного даже просиял. Он сказал:

— Теперь я понимаю, в каком смысле они меня назвали чужим. И все остальное меня теперь не волнует.

Тут я пожал ему руку. Подарил ему книгу. И мы расстались лучшими друзьями.

И когда он ушел, я подумал о том, что те же самые люди, которые так грубо выгнали его, наверно, весьма нежно обращаются со своими машинами. Наверно, берегут их и лелеют. И, уж во всяком случае, не вышвырнут их на лестницу, а на ящике при переноске напишут: «Не бросать!» или «Осторожно!»

Об этом, друзья, я как-то раз написал, но вот еще раз вспомнил.

Засим я подумал, что не худо бы и на человечке что-нибудь мелом выводить. Какое-нибудь там петушиное слово: «Фарфор!», «Легче!» Поскольку человек — это человек, а машина его обслуживает.

И, подумавши об этих делах, я решил для поучения записать этот фактический рассказ. И вот он перед вами.

Научная аномалия

Вчера я решил немножко помыться.

Не то чтобы я давно не мылся, но все-таки месяц с небольшим прошло с тех пор, как я в последний раз купался на изморье.

А тут такое великолепие: наконец-то починили ванну в нашей квартире!

Не то чтобы ванна у нас была сломана или она протекала, нет, она была исправна, но черти жильцы имели обыкновение стирать в ней. Лили воду, мочили пол, так что он у нас вообще никогда не просыхал. И благодаря этому балки подгнили и наша ванна со всеми потрохами едва не провалилась в нижний этаж.

Еще спасибо, там жил инженер, который сразу заметил грозную опасность и успел на свой комод подставить какую-то балку, на которой и удержалась вся эта механика.

Но вот благодаря старанию квартуполномоченного, у которого друг детства служит в жилотделе, нашу ванну наконец починили: всего спустя год после того, как она подгнила.

В общем, вчера я решил помыться в этой ванне.

Я отлично ее вытопил остатками ящика из-под дров и приступил к процедуре.

Конечно, некоторые жильцы моются не особенно культурно. Некоторые лезут в ванну сразу с ногами и головой. И в одной и той же воде моют все что ни попало.

Лично я так не поступаю. Я сначала налил в тазик воды и вымыл в нем ноги и голову, а засим уж стал напускать воду в ванну, чтоб то же самое проделать со своим корпусом.

Но едва я открыл кран, как увидел, что вода течет ненормально, тонкой струйкой.

Я развинтил кран до отказа и тут убедился, что вода вообще больше не течет.

Я надел трусики и выскочил на лестницу, чтоб спросить у соседей, как у них с водой: общее ли это явление или только наша ванна не подает воду.

Оказалось, что у соседей тоже перестала вода течь.

Но в момент разговора с соседями наша входная дверь захлопнулась на французский замок, благодаря сквозняку.

И я в своих трусиках остался на лестнице. Голова мокрая. Мыльная пена на затылке и на ушах. Ноги тоже в мыльной пене. Усы висят книзу. Кошмар!

Я стал трезвонить, чтоб мне открыли дверь, но вдруг вспомнил, что в квартире никого нет, все ушли, и только осталась одна маленькая девочка, которая при всем желании не могла открыть мне двери по причине того, что она еще не умела ходить.

Тогда я стал просить соседей, чтоб они меня приютили на время. Но соседи грубо мне в этом отказали, ссылаясь на то, что у них гости и я могу их перемарать мыльной пеной.

Их нечуткость меня рассердила, и я побежал вниз, в домовую контору, чтобы выяснить у нашего управдома, что случилось с водой.

Управдом сказал:

— Теперь я вижу, что мы зря вам починили ванну. Когда у вас не было ванны, все было тихо. А теперь, когда у вас ванна, вы в своих трусиках врываетесь в контору, шумите и кричите, как будто это я закрыл воду. Воду закрыл водопроводчик для того, чтобы выяснить, отчего второй год вода не поднимается в шестой этаж.

Я говорю:

— Почтеннейший! Как было бы хорошо, если б хотя за полчаса вы предупредили жильцов о закрытии. Конечно, это мелочи жизни, но в этом акте предупреждения мы увидели бы уважение к людям, которые садятся в ванну.

Усмехнувшись, управдом говорит:

— Еще чего захотели! Для этой цели надо иметь особый персонал.

Я говорю:

— Могли бы записку под воротами вывесить. Вот это было бы культурное обслуживание жильцов на базе взаимного понимания.

Управдом говорит:

— Конечно, записку можно было бы вывесить, но тогда бы эту записку прочли все жильцы без разбору. А среди них, как вам известно, имеются неаккуратные плательщики, лодыри и прочий недоброкачественный элемент. А я не намерен их культурно обслуживать.

В момент нашего разговора я пронзительно вскрикнул, вспомнив, что ванна моя топится, в то время как в колонке нет воды. Возможно, что колонка уже распаялась...

Вместе с управдомом мы кинулись в подвал, где орудовал водопроводчик. Мы упросили его временно дать воду, чтоб спасти ванну от гибели.

Тот нехотя согласился. И мы втроем поднялись в наш четвертый этаж.

Но дверь была закрыта, и мы не могли попасть в квартиру.

Тут я вторично пронзительно вскрикнул. Вода ведь пущена по всему дому, а у меня в ванне кран развинчен до отказа. Небось вода хлынула за края ванны, и наша квартира вскоре будет затоплена.

Мы уже хотели ломать двери, но в этот момент на лестнице показался наш квартирант — профессор кислых щей Барбарисов.

Он открыл двери, и мы с трепетом вошли в ванную комнату.

Но там оказалось все в порядке: в топке чуть тлел огонек, а из крана едва капала вода.

Управдом развел руками, а водопроводчик задумчиво сказал:

— Лично мне понятно, почему у вас едва капает вода: все нижние жильцы раскрыли краны, и сейчас, после перерыва, слишком велико потребление воды. Это и спасло нашу квартиру от наводнения.

Управдом сказал:

— Может быть, и в шестой этаж вода у нас не поступает по той же самой причине?

Водопроводчик согласился с этим мнением. Он сказал:

— И очень просто, ибо ниже шестого этажа слишком много жильцов, которые то пьют, то льют воду, то вообще забывают крантики закрыть. Ясно, что для верхних не всегда хватает.

Профессор кислых щей Барбарисов заключил нашу беседу научной сентенцией. Он сказал:

— Весь мир возник из воды. Вода присутствует почти что в каждой вещи. В грибах, в ягодах, в человеке и даже в книгах. И только ее почему-то бывает мало в питьевых ларьках, в буфетах и иной раз в домах. И это есть научная аномалия.

Неожиданно из крана хлынула вода и тем самым опрокинула научные домыслы профессора.

В общем, через час с четвертью я благополучно домыл свой корпус.

Утром над нашим пароходом стали

кружиться самолеты противника.

Первые шесть бомб упали в воду. Седьмая бомба попала в корму. И наш пароход загорелся.

И тогда все пассажиры стали кидаться в воду.

Не помню, на что я рассчитывал, когда бросился за борт, не умея плавать. Но я тоже бросился в воду. И сразу погрузился на дно.

Не знаю, какие там бывают у вас химические или физические законы, но только при полном неумении плавать я выплыл наружу.

Выплыл наружу и сразу же ухватился рукой за какую-то рогульку, которая торчала из-под воды.

Держусь за эту рогульку и уже не выпускаю ее из рук. Благоговяю небо, что остался в живых и что в море понатыканы такие рогульки для указания мели и так далее.

Вот держусь за эту рогульку и вдруг вижу — кто-то еще подплывает ко мне. Вижу — какой-то штатский вроде меня. Прилично одетый — в пиджаке песочного цвета и в длинных брюках.

Я показал ему на рогульку. И он тоже ухватился за нее.

И вот мы держимся за эту рогульку. И молчим. Потому что говорить не о чем.

Впрочем, я его спросил — где он служит, но он ничего не ответил. Он только выплюнул воду изо рта и пожал плечами. И тогда я понял всю нетактичность моего вопроса, заданного в воде.

И хотя меня интересовало знать — с учреждением ли он плыл на пароходе, как я, или один, — тем не менее я не спросил его об этом.

Ну вот держимся мы за эту рогульку и молчим. Час молчим. Три часа ничего не говорим. Наконец мой собеседник произносит:

— Катер идет...

Действительно, видим: идет спасательный катер и подбирает людей, которые еще держатся на воде.

Стали мы с моим собеседником кричать, махать руками, чтоб с катера нас заметили. Но нас почему-то не замечают. И не подплывают к нам.

Тогда я скинул с себя пиджак и рубашку и стал махать этой рубашкой: дескать, вот мы тут, сюда, будьте любезны, подъезжайте.

Но катер не подъезжает.

Из последних сил я машу рубашкой: дескать, войдите в положение, погибает, спасите наши души.

Наконец с катера кто-то высовывается и кричит нам в рупор:

— Эй вы, трам-тарарам, за что, обалдели, держитесь — за мину!

Мой собеседник как услышал эти слова, так сразу шарахнулся в сторону. И, гляжу, поплыл к катеру...

Инстинктивно я тоже выпустил из рук рогульку. Но как только выпустил, так сразу же с головкой погрузился в воду.

Снова ухватился за рогульку и уже не выпускаю ее из рук.

С катера в рупор кричат:

— Эй ты, трам-тарарам, не трогай мину!

— Братцы, — кричу, — без мины я как без рук! Потону же сразу! Войдите в положение! Плывите сюда, будьте так великодушны!

В рупор кричат:

— Не можем подплыть, дура-голова, — подорвемся на mine. Плыви сюда. Или мы уйдем сию минуту.

Думаю: «Хорошенькое дело — плыть при полном неумении плавать». И сам держусь за рогульку так, что даже при желании меня не оторвать.

Кричу:

— Братцы, моряки! Уважаемые флотские товарищи! Придумайте что-нибудь для спасения ценной человеческой жизни!

Тут кто-то из команды кидает мне канат. При этом в рупор и без рупора кричат:

— Не вертись, чтоб ты сдох, взорвется мина!

Думаю: «Сами нервируют криками. Лучше бы. — думаю, — я не знал, что это мина, я бы вел себя ровней. А тут, конечно, дергаюсь — боюсь. И мины боюсь, и без мины еще того больше боюсь».

Наконец ухватился за канат. Осторожно обвязал себя за пояс.

Кричу:

— Тяните, ну вас к черту... Орут, орут, прямо надоело...

Стали они меня тянуть. Вижу, канат не помогает. Вижу — вместе с канатом, вопреки своему желанию, опускаюсь на дно.

Уже ручками достаю морское дно. Вдруг чувствую — тянут кверху, поднимают.

Вытянули на поверхность. Ругают — сил нет. Уже без рупора кричат:

— С одного тебя такая длинная канитель, чтоб ты сдох... Хватаешься за мину во время войны... Вдобавок не можешь плыть... Лучше бы ты взорвался на этой мине — обезвредил бы ее и себя...

Конечно, молчу. Ничего им не отвечаю. Поскольку — что можно ответить людям, которые меня спасли. Тем более сам чувствую свою недоразвитость в вопросах войны, непонимание техники, неумение отличить простую рогульку от бог знает чего.

Вытащили они меня на борт. Лежу. Обступили.

Вижу — и собеседник мой тут. И тоже меня отчитывает, бранится — зачем, дескать, я указал ему схватиться за мину. Дескать, это морское хулиганство с моей стороны. Дескать, за это надо посылать на подводные работы от грех до пяти лет. Собеседнику я тоже ничего не ответил, поскольку у меня испортилось настроение, когда я вдруг обнаружил, что нет со мной рубашки. Пиджак тут, при мне, а рубашки нету.

Хотел попросить капитана — сделать круг на ихнем интересе, чтоб осмотреться, где моя рубашка, нет ли ее на палубе. Но, увидев суровое лицо капитана, не решился его об этом просить.

Скорей всего рубашку я на мине оставил. Если это так, то, конечно, пропала моя рубашка.

После спасения я дал себе торжественное обещание изучить военное дело. Иначе нельзя. Отставать от других в этих вопросах не полагается.

В этом году мне понадобилась

фотокарточка для пропуска. Не знаю, как в других городах, а у нас на периферии заснять на карточку не является простым, обыкновенным делом.

У нас имеется одна художественная фотография. Но она помимо отдельных граждан снимает еще группы и мероприятия. И, может быть, поэтому слишком долго приходится ждать получения своих заказов.

Так что, являясь скорее отдельным лицом, чем группой или мероприятием, я побеспокоился заранее и заснял за два месяца до срока.

Когда мне подали мои фотокарточки, я удивился, как непохоже я вышел. Передо мной был престарелый субъект совершенно неинтересной наружности.

Я сказал той, которая подала мне карточки:

— Зачем же вы так людей снимаете? Глядите, какие полосы и морщины проходят сквозь все лицо.

Та говорит:

— Обыкновенно снято. Только надо учесть, что у нас ретушер на бюллетене. Некому замазывать дефекты вашей нефотогеничной наружности.

Фотограф, находясь за портьерой, говорит:

— А чем он там еще, нахал, недоволен?

Я говорю:

— Неважно сняли, уважаемый. Изуродовали. Разве ж я такой?

Фотограф говорит:

— Я опереточных артистов снимаю, и то они настолько не обижаются. А тут нашелся один такой — морщин

ему много... Объектив берет слишком резко, рельефно... Не знаете техники, а тоже суетесь быть критиком.

Я говорю:

— На что ж мне рельеф на моем лице — войдите в положение. Мне бы, — говорю, — просто сняться, как я есть. Чтoб было на что глядеть.

Фотограф говорит:

— Ах, ему еще глядеть нужно. Его же сняли, и он еще на это глядеть хочет. Капризничает в такое время. Дефекты видит... Нет, я жалею, что я вас так прилично снял. В другой раз я вас так сниму, что вы со стоном на карточки взглянете.

Нет, я не стал с ним спорить. Неважно, думаю, какая карточка на пропуске. И так все видят, какой я есть.

И с этими мыслями являюсь в отделение. Сержант милиции стал лепить карточку на мой пропуск. После говорит:

— По-моему, на карточке это не вы.

— Где же, — говорю, — не я. Уверяю вас, это я. Спросите фотографа. Он подтвердит.

Сержант говорит:

— Всякий раз фотографа спрашивать, это что и будет. Нет, я хочу на карточке видеть данное лицо, без вызова фотографа. А тут я наблюдаю совсем не то. Какой-то больной сыпным тифом. Даже щек нет. Пойдите переснимитесь.

— Товарищ, — говорю, — начальник, войдите в положение...

— Нет, нет, — говорит, — и слышать ничего не хочу. Переснимитесь.

Бегу в фотографию. Говорю фотографу:

— Видите, как слабо снимаете. Не наклеивают вашу продукцию.

Фотограф говорит:

— Продукция самая нормальная. Но, конечно, надо учесть, что для вас мы не засветили полную иллюминацию. Снимали при одной лампочке. И через это тени упали на ваше лицо, затемнили его. Однако не настолько они его затемнили, чтоб ничего не видеть. Эвон как уши у вас прилично вышли.

— Ну хорошо, — говорю, — уши. А щеки, — говорю, — где? Уж щеки-то, — говорю, — должны быть как принадлежность человеческого лица.

Фотограф говорит:

— Не знаю. Ваших щек мы не трогали. У нас свои есть.

— Тогда, — говорю, — где же они, мои щеки? Я, — говорю, — две недели провел в доме отдыха. Четыре кило веса прибавил. А вы тут одной своей съемкой черт знает что со мной сделали.

Фотограф говорит:

— Да что, я себе взял ваши щеки, что ли? Кажется, вам ясно говорят — затемнение упало на них. И через это они не получились.

Я говорю:

— А как же тогда без щек?

— А, — говорит, — как хотите. Переснимать не буду. Всех переснимать — это я премии лишусь и плана не выполню. А мне план дороже вашей нефотогеничной наружности.

Посетители говорят мне:

— Не нервнируйте фотографа. А то он еще хуже будет людей снимать.

Один из посетителей говорит мне:

— Уважаемый, бегите на рынок. Там фотограф «Пушкой» снимает.

Бегу на рынок. Нахожу фотографа. Тот говорит:

— Нет, я снимаю только со своей бумагой. Без бумаги лучше не являйтесь ко мне, все равно снимать не буду. А с бумагой сниму. И если у вас есть перина — тоже сниму. Ко мне тетя из Барнаула приехала — ей спать не на чем.

Я было хотел уйти, но тут слышу, какой-то продавец меня к себе кличет. Говорит:

— Давай подходи к моему магазину. Имею готовую продукцию.

Смотрю, у него на газете разложены всякие разные готовые фотографии. Их штук триста. Продавец говорит:

— Выбирай себе любую и делай с ней что хочешь. Хоть на лоб себе наклеивай. Погоди, я тебе сам подберу. Тебе как — по размеру или по сходству?

— По сходству, — говорю. — Только, — говорю, — выбирай такую, чтоб щеки были.

Тот говорит:

— Можно и со щеками. Но только они будут дороже на пять рублей. На, прими вот эту фотокарточку. Лучше ее не найти. И щеки есть, и нельзя сказать, чтоб сходство на-чисто отсутствовало.

Я заплатил тридцать рублей за две фотокарточки и пошел в отделение.

Сержант милиции стал лепить мою карточку. После говорит:

— Так ведь это ж баба.

— Где же, — говорю, — баба. Мужчина в пиджаке.

Сержант говорит:

— Где же, к черту, мужчина, если у него на груди брошка. Через эту брошку я и замечаю, что это баба.

Поглядел я на фотокарточку — вижу, действительно женщина. Маркизетовая кофточка под пиджаком. На груди брошка с пейзажем. А прическа мужская. И щеки мои.

Сержант говорит:

— Явитесь сюда с настоящими карточками. Но если вы еще раз предъявите мне женскую или детскую фотокарточку, то вряд ли отсюда выйдете, поскольку у меня мелькают подозрения, что вы хотите скрыться под чужой наружностью.

Целую неделю я провел как в тумане. Хлопотал, где бы сняться. На восьмой день, беседуя с фотографом, я почувствовал себя худо. И тогда они вынесли меня в сад и положили на траву, чтоб там меня овеял свежий воздух. Придя к себе, я пошел в отделение. Положил на стол свои первые фотокарточки без щек и сказал сержанту:

— Вот все, что я имею, товарищ начальник. И больше ничего не предвидится.

Сержант поглядел на карточки, потом на меня и говорит:

— Вот теперь ничего себе получилось. Похожи.

Я хотел сказать, что я и не переснимался вовсе. После изглянул на себя в зеркало — действительно, вижу, есть теперь некоторое сходство. Получилось.

Сержант говорит:

— И хотя на карточке вы немного более облезлый, чем на самом деле, но, — говорит, — я так думаю, что через год мы сравняемся.

Я говорю:

— Я раньше сравниюсь, поскольку мне нужно еще сниматься для проездного документа, для членского билета и для посылки фотокарточек моим родственникам.

Тут сержант наклеил мою фотокарточку и горячо похвалил меня с получением пропуска.

Приключения обезьяны

В одном городе на юге был

зоологический сад. Небольшой зоологический сад, в котором находились — один тигр, два крокодила, три змеи, зебра, страус и одна обезьяна, или, попросту говоря, мартышка. И, конечно, разная мелочь — птички, рыбки, лягушки и прочая незначительная чепуха из мира животных.

В начале войны, когда фашисты бомбили этот город, одна бомба попала прямо в зоологический сад. И там она разорвалась с громадным оглушительным треском. Всем зверям на удивленье.

Причем были убиты три змеи — все сразу, что, быть может, и не является таким уж тяжелым фактом, и, к сожалению, страус.

Другие же звери не пострадали и, как говорится, только лишь отделались испугом.

Из всех зверей наиболее всего была перепугана обезьяна, мартышка. Ее клетку опрокинуло воздушной волной. Эта клетка упала со своего возвышения. Боковая стенка сломалась. И наша обезьяна выпала из клетки прямо на дорожку сада.

Она выпала на дорожку, но не осталась лежать неподвижной по примеру людей, привыкших к военным действиям. Наоборот. Она тотчас влезла на дерево. Оттуда прыгнула на забор. С забора на улицу. И, как угорелая, побежала.

Бежит и, наверное, думает: «Э, нет, — думает, — если тут бомбы кидают, то я не согласна». И, значит, что есть силы бежит по улицам города. И до того шибко бежит, будто ее собаки за пятки хватают.

Пробежала она через весь город. Выбежала на шоссе. И бежит по этому шоссе прочь от города. Ну — обезьяна. Не человек. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться в этом городе.

Бежала, бежала и устала. Переутомилась. Влезла на дерево. Съела муху для подкрепления сил. И еще пару червячков. И заснула на ветке, там, где сидела.

А в это время ехала по дороге военная машина. Шофер увидел обезьяну на дереве. Удивился. Тихонько подкрался к ней. Накрыл ее своей шинелькой. И посадил в свою машину. Подумал: «Лучше я ее подарю каким-нибудь своим знакомым, чем она тут погибнет от голода, холода и других лишений военного времени». И, значит, поехал вместе с обезьяной.

Приехал в город Борисов. Пошел по своим служебным делам. А мартышку в машине оставил. Сказал ей:

— Подожди меня тут, милочка. Сейчас вернусь.

Но мартышка наша не стала ждать. Она вылезла из машины через разбитое стекло и пошла себе по улицам гулять.

И вот идет она по улице как миленькая. Гуляет, прохаживается, задеря хвост. Народ, конечно, удивляется, хочет ее поймать. Но поймать ее не так-то легко. Она живая, проворная, бегаёт быстро на своих четырех руках. Так что ее не поймали, а только замучили напрасной беготней.

Замучилась она, устала и, конечно, кушать захотела.

А в городе где она может покушать? На улицах ничего такого съедобного нет. Не может же она со своим хвостом в столовую зайти. Или в кооператив. Тем более — денег у нее нет. Скидки нет. Продуктовых карточек она не имеет. Кошмар.

Все-таки она зашла в один кооператив. Почувствовала, что там что-то имеется. А там отпускали населению овощи — морковь, брюкву и огурцы.

Заскочила она в этот магазин. Видит — большая очередь. Нет, в очереди она не стала стоять. И не стала расталкивать людей, чтоб пробиться к прилавку. Она прямо по головам покупателей добежала до продавщицы. Вскочила на прилавок. Не спросила, почем стоит кило моркови. А просто схватила целый пучок моркови и, как говорится, была такова. Выбежала из магазина, довольная своей покупкой. Ну — обезьяна. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться без продовольствия.

Конечно, в магазине шум произошел, гам, переполох. Публика закричала. Продащица, которая вешала брюкву, та вообще чуть в обморок не грохнулась от неожиданности. И действительно, можно напугаться, если вдруг рядом вместо обычного, нормального покупателя скачет что-то такое мохнатое, с хвостом. И еще вдобавок денег не платит.

Публика бросилась за обезьяной на улицу. А та бежит и на ходу морковку жует, кушает. Не понимает, что к чему.

И вот впереди всех бегут мальчишки. За ними взрослые. А позади бежит милиционер и дует в свой свисток.

И вдруг, откуда ни возьмись, выскочила собака. И тоже погналась за нашей мартышкой. При этом, такая нахалка, не только тявкает и лает, а прямо-таки норовит схватить обезьяну своими зубами.

Наша мартышка побежала быстрее. Бежит и, наверное, думает: «Эх, — думает, — зря покинула зоосад. В клетке спокойнее дышится. Непременно вернусь в зоосад при первой возможности».

И вот бежит она что есть мочи, но собака не отстает и вот-вот хочет ее схватить.

И тогда наша обезьяна вскочила на какой-то забор. И когда собака подпрыгнула, чтоб схватить мартышку хотя бы за ногу, та со всей своей силы ударила ее морковкой по носу. И до того больно ударила, что собака завизжала и побежала домой со своим разбитым носом. Наверное, подумала: «Нет, граждане, лучше я буду спокойно дома лежать, чем ловить вам обезьяну и испытывать такие неприятности».

Короче говоря, собака убежала, а наша обезьяна прыгнула во двор.

А во дворе в это время колот дрова один мальчик, подросток, некто Алеша Попов.

Вот он колет дрова и вдруг видит обезьяну. А он очень любил обезьян. И всю жизнь мечтал иметь при себе какую-нибудь такую обезьянку. И вдруг — пожалуйста.

Алеша скинул с себя пиджачок и этим пиджачком накрыл мартышку, которая забилась в угол на лестнице.

Мальчик принес ее домой. Накормил ее. Чаем напоил. И обезьяна была очень довольна. Но не совсем. Потому что Алешина бабушка сразу ее невзлюбила. Она накричала на мартышку и даже хотела ударить ее по лапе. Все из-за того, что, когда пили чай и бабушка положила свою откусан-

ную конфету на блюдечко, обезьяна схватила эту бабушкину конфету и запихала ее в свой рот. Ну — обезьяна. Не человек. Тот если и возьмет что, так не на глазах же у бабушки. А эта прямо в присутствии бабушки. И, конечно, довела ее чуть не до слез.

Бабушка сказала:

— Вообще, это крайне неприятно, когда в квартире живет какая-то макака с хвостом. Она будет меня пугать своим нечеловеческим видом. Будет прыгать на меня в темноте. Будет кушать мои конфеты. Нет, я категорически отказываюсь жить в одной квартире с обезьяной. Кто-нибудь из нас двоих должен находиться в зоологическом саду. Неужели же непременно я должна перейти в зоологический сад? Нет, уж пусть лучше она находится там. А я буду продолжать жить в моей квартире.

Алеша сказал своей бабушке:

— Нет, бабушка, вам не надо переходить в зоосад. И вам гарантирую, что мартышка больше ничего у вас не съест. Я ее воспитаю, как человека. Я научу ее кушать с ложечки. И пить чай из стакана. Что касается прыжков, то не могу же я запретить ей лазать на лампу, которая висит на потолке. Оттуда, конечно, она может прыгнуть вам на голову. Но вы, главное, не пугайтесь, если это произойдет. Потому что это всего лишь безобидная обезьяна, привыкшая в Африке прыгать и скакать.

На другой день Алеша ушел в школу. И попросил свою бабушку присмотреть за обезьяной. Но бабушка не стала ей смотреть. Она подумала: «Вот еще, стану я смотреть за всяким чудовищем». И с этими мыслями бабушка вышла и нарочно заснула в кресле.

И тогда наша обезьяна вылезла через открытую форточку на улицу. И пошла себе по солнечной стороне. Неизвестно — может быть, она прогуляться хотела, но, может быть, и решила снова заглянуть в магазин, чтоб там что-нибудь себе купить. Не на деньги, а так.

А по улице проходил в это время один старик. Инвалид Гаврилыч. Он шел в баню и в руках нес небольшую корзинку, в которой лежало мыло и белье.

Он увидел обезьяну и сначала даже не поверил своим глазам, что это обезьяна. Он подумал, что это ему показало, поскольку перед этим он выпил кружку пива.

Вот он с удивлением смотрит на обезьяну. И та на него смотрит. Может быть, думает: «Это еще что за чучело с корзинкой в руках?»

Наконец Гаврилыч понял, что это настоящая обезьяна, а не воображаемая. И тогда он подумал: «Дай-ка я ее словлю. Отнесу завтра на рынок и там продам ее за сто рублей. И на эти деньги подряд выпью десять кружек пива». И с этими мыслями Гаврилыч стал ловить обезьяну, приговаривая:

— Кыс, кыс, кыс... подойди сюда.

Нет, он знал, что это не кошка, но он не понимал, на каком языке с ней надо разговаривать. И только потом сообразил, что это высшее существо из мира зверей. И тогда он вытащил из кармана кусочек сахара, показал его обезьяне и сказал ей, поклонившись:

— Красавица мартышка, не желаете ли скушать кусочек сахара?

Та говорит: «Пожалуйста, желаю...» То есть вообще-то она ничего не сказала, потому что она говорить не умеет. Но она просто подошла, схватила этот кусочек сахара и стала его кушать.

Гаврилыч взял ее на руки и посадил в свою корзинку. А в корзинке было тепло и уютно. И наша мартышка не стала оттуда выскакивать. Быть может, она подумала: «Пусть этот старый пень понесет меня в своей корзинке. Это даже интересно».

Сначала Гаврилыч думал отнести ее домой. Но потом ему не захотелось домой возвращаться. И он пошел с обезьянкой в баню. Подумал: «Еще и лучше, что я с ней в баню схожу. Я там ее вымою. Она будет чистенькая, приятенькая. На шею ей бантик повяжу. И мне за нее на рынке дороже дадут».

И вот он со своей мартышкой пришел в баню. И стал с нею мыться.

А в бане было очень жарко — прямо как в Африке. И наша мартышка была очень довольна такой теплой атмосферой. Но не совсем. Потому что Гаврилыч намылил ее мылом, и мыло попало в рот. Конечно, это невкусно, но уж не настолько, чтоб кричать, царапаться и отказываться мыться. В общем, наша мартышка стала плевать, но тут мыло попало ей в глаз. И от этого мартышка совершенно обезумела. Она укусила Гаврилыча за палец, вырвалась из его рук и, как угорелая, выскочила из бани.

Она выскочила в ту комнату, где раздевались люди. И там она всех перепугала. Никто же не знал, что это обезьяна. Видят — выскочило что-то такое круглое, белое, в пене. Кинулось сначала на диван. Потом на печку. С печки на ящик. С ящика кому-то на голову. И снова на печку.

Некоторые нервные посетители закричали и стали выбегать из бани. И наша обезьяна тоже выбежала. И спустилась вниз по лестнице.

А там, внизу, находилась касса с окошечком. Обезьяна прыгнула в это окошечко, думая, что там ей будет спокойней и, главное, не будет такой суетни и толкотни. Но в кассе сидела толстая кассирша, которая ахнула и завизжала. И выбежала из кассы с криком:

— Караул! Кажется, бомба попала в мою кассу! Накапайте мне валерианки!

Нашей мартышке надоели все эти крики. Она выскочила из кассы и побежала по улице.

И вот бежит она по улице, вся мокрая, в мыльной пене. А за ней снова бегут люди. Впереди всех мальчишки. За ними взрослые. А за взрослыми милиционер. А за милиционером наш престарелый Гаврилыч, кое-как одетый, с сапогами в руках.

Но тут снова, откуда ни возьмись, выскочила собака, та самая, которая вчера за ней гналась.

Но собака на этот раз не погналась за ней. Собака только посмотрела на бегущую обезьяну, почувствовала сильную боль в носу и не побежала, даже отвернулась. Наверно, подумала: «Носов не напасешься — бегать за обезьянами». И хотя отвернулась, но сердито залаяла — дескать, беги, но чувствуй, что я тут.

А в это время наш мальчик, Алеша Попов, вернувшись из школы, не нашел дома своей любимой обезьянки. Он очень огорчился. И даже слезы показались на его глазах. Он подумал, что теперь уже никогда больше он не увидит своей славной, обожаемой обезьянки.

И вот от скуки и грусти он вышел на улицу. Идет по улице меланхоличный такой. И вдруг видит — бегут люди. Нет, сначала он не подумал, что они бегут за его обезьяной. Он подумал, что они бегут благодаря воздушной тревоге. Но тут он увидел свою обезьянку, всю мокрую, в мыле. Он бросился к ней. Схватил ее на руки. И прижал к себе, чтоб никому ее не отдавать.

И тогда все бегущие люди остановились и окружили мальчика.

Но тут из толпы вышел наш престарелый Гаврилыч. И, всем показывая свой укушенный палец, сказал:

— Граждане, не велите этому парнишке брать на руки мою обезьяну, которую я завтра хочу продать на рынке. Это моя собственная обезьяна, которая укусила меня за палец. Взгляните все на этот мой распухший палец. И это есть доказательство того, что я говорю правду.

Мальчик Алеша Попов сказал:

— Нет, это моя обезьяна. Видите, с какой охотой она пошла ко мне на руки. И это тоже доказательство того, что я говорю правду.

Но тут из толпы выходит еще один человек — тот самый шофер, который привез обезьяну в своей машине. Он говорит:

— Нет, это не ваша обезьяна. Это моя мартышка, потому что я ее привез. Но я снова уезжаю в свою воинскую часть и поэтому я подарю обезьяну тому, кто ее так любовно держит в своих руках, а не тому, кто хочет ее безжалостно на рынке продать ради своей выпивки. Обезьяна принадлежит мальчику.

И тут вся публика захлопала в ладоши. И Алеша Попов, сияющий от счастья, еще крепче прижал к себе обезьяну. И торжественно понес ее домой.

Гаврилыч же со своим укушенным пальцем пошел в баню мыться.

И вот с тех пор обезьяна стала жить у мальчика Алеши Попова. Она и сейчас у него живет. Недавно я ездил в город Борисов. И нарочно зашел к Алеше — посмотреть, как там она у него живет. О, она хорошо живет! Она никуда не убегает. Стала очень послушной. Нос вытирает носовым платком. И чужих конфет не берет. Так что бабушка теперь очень довольна, не сердится на нее и уж больше не хочет переходить в зоологический сад.

Когда я вошел в комнату к Алеше, обезьяна сидела за столом. Она сидела важная такая, как кассирша в кино. И чайной ложечкой кушала рисовую кашу.

Алеша сказал мне:

— Я воспитал ее, как человека, и теперь все дети и даже отчасти взрослые могут брать с нее пример.

Рассказы о Ленине





От составителя

Рассказы из этого зощенковского цикла в «Антологии Сатиры и Юмора» как будто не совсем уместны. Кое-кто, наверно, подумает, что даже и совсем неуместны: в них ведь вроде нет, да и не может быть никакого юмора, а тем более — сатиры: каждому советскому писателю в той или иной форме надо было перекреститься на эту икону, вот Михаил Михайлович и выполнил этот обязательный для всех социальный заказ.

Но на самом деле тут все не так просто.

Граф Блудов объяснял императору Николаю, что между самодержавием и деспотизмом есть разница. Стоит она в том, что самодержец может по своему произволу изменять законы, но до тех пор, пока он сам их не отменил (или не изменил), он тоже, как и все его подданные, должен им подчиняться.

Для жителей страны, которую описывал своим сатирическим пером Михаил Зощенко, это, как выразился бы зощенковский персонаж Иван Федорович Головкин, — «форменная утопия». И именно об этом и говорят нам — и бы даже сказал, орут, вопят каждой своей строкой — зощенковские «Рассказы о Ленине».

Самый главный человек в государстве — а ничем не отличается от простых смертных. В пиджаке. В обыкновенной кепке. Не приказал прислать ему парикмахера, а сам скромно пришел в парикмахерскую. Отказался пройти без очереди. Приняв предложение рабочего, уступившего ему очередь, поблагодарил. Уходя, сказал всем: «До свидания, товарищи!» Мог бы ведь и не благодарить, а принять как должное. А вот — поблагодарил. Мог бы и не «любить»: «До свидания!» А вот — сказал...

Эти простые, нормальные, естественные поступки вызывают у окружающих не просто изумление, а благо-

говейный восторг. И не зря. Потому что, как сказано в народном анекдоте, — «Мог бы и полоснуть!».

Мог бы не то что прикрикнуть, приструнить, осадить, взыскать, наказать. Захотел бы, так и расстрелять мог бы.

Известно, что даже апокрифы по-своему отражают реальность. Зощенковские апокрифы о Ленине отражают ее по-зощенковски, то есть — сатирически. Надо только увидеть, куда, как выразался в таких случаях зощенковский рассказчик, направлено жало этой художественной сатиры.

В парикмахерской

Один рабочий, некто Григорий Иванов,

приехал по делам службы в Кремль.

Он приехал из Питера сдавать в кремлевский склад оружие — винтовки, шашки, штыки, револьверы и разные огнестрельные припасы.

И вот он выполнил эту свою задачу и со спокойной душой гуляет по Кремлю — мечтает где-нибудь тут увидеть товарища Ленина, на которого он давно хотел посмотреть.

Но он нигде Ленина не встретил и в плохом настроении зашел в кремлевскую парикмахерскую. Думает: «Постригусь и побреюсь, чтоб в аккуратном виде вернуться домой».

Вот он заходит в кремлевскую парикмахерскую. И занимает свою очередь.

А народу в парикмахерской много. Два мастера стригут и бреют. А посетители ожидают.

Григорий Иванов в грустном настроении сидит в этой парикмахерской минут двадцать. И все время жалеет, что нигде не встретил Ленина.

Вдруг открывается дверь, и входит новый посетитель. И тут все видят: это пришел Владимир Ильич Ленин — Председатель Совета Народных Комиссаров.

И тогда все, которые были в парикмахерской, встают и говорят:

— Здравствуйте, товарищ Ленин!

Наш рабочий Григорий Иванов тоже здоровается и, улыбаясь от счастья, смотрит на товарища Ленина, хочет

получше его запомнить, чтобы потом рассказать другим об этой встрече.

Между тем товарищ Ленин тоже со всеми здоровается и говорит:

— Ну, кто последний ожидает?

Все удивились, что Ленин так спросил. И все подумали: «Это нехорошо, если Ленин будет ждать очереди. Он глава правительства, и ему каждая минута дорога».

И тогда все, которые были в парикмахерской, перебивая друг друга, говорят Ленину:

— Владимир Ильич, это неважно, кто последний. Сейчас освобождается кресло у мастера, и мы просим вас занять это место без очереди.

Ленин говорит:

— Благодарю вас, товарищи. Но только это не годится. Надо соблюдать очередь и порядок. Мы сами создаем законы и должны выполнять их во всех мелочах жизни.

И с этими словами Ленин берет стул, садится, вынимает из кармана газету и начинает ее читать.

Тогда встает со стула наш рабочий Григорий Иванов и, сильно волнуясь, говорит товарищу Ленину:

— В аккурат сейчас подошла моя очередь. Но я скорей соглашусь остаться небритым в течение пяти лет, чем я заставлю вас ожидать. И если вы, товарищ Ленин, не согласились нарушать порядок, то я имею законное право уступить вам свою очередь, с тем чтобы занять последнюю, вашу.

И все, которые были в парикмахерской, сказали:

— Он хорошо и правильно говорит.

И парикмахерские мастера, щелкнув ножницами, тоже сказали:

— Владимир Ильич, придется сделать, как предложил рабочий.

И тогда Ленин улыбнулся. И все увидели, что он не хочет обидеть рабочего и не хочет огорчить мастеров и посетителей.

Ленин прячет газету в карман и, сказав: «Благодарю», садится в кресло.

И все смотрят, как парикмахер осторожно и вежливо его бреет.

И все смотрят на товарища Ленина и думают: «Это великий человек! Но какой он скромный».

Но вот мастер кончил работу. И Ленин вышел из помещения, всем сказав:

— До свидания, товарищи. Благодарю вас.

Ленин и часовой

Один молодой рабочий, некто

товарищ Лобанов, охранял Смольный. То есть он стоял у дверей и проверял документы.

Он проверял у всех, кто входил в Смольный. Потому что, если не проверить, мог бы войти какой-нибудь враг. Тем более это было в самом начале революции, и нужна была особая бдительность.

И вот, стоит этот Лобанов у дверей Смольного в качестве часового и просматривает документы.

А он был красногвардеец, этот Лобанов. Вдобавок он был путиловский рабочий, исключительно преданный делу революции. И поэтому его и поставили на такой ответственный пост.

Стоит он на этом посту. Винтовка в левой руке. Револьвер сбоку. За поясом ручная граната. Настроение великолепное.

И всем, кто подходит к Смольному, он говорит:

— Минуточку, товарищ! Прежде чем войти, покажите ваш пропуск, чтобы я мог узнать, кто вы такой. А то я дежурю в первый раз и мало кого знаю в лицо.

Ну и, конечно, каждый, кто входил в Смольный, показывал Лобанову свой пропуск.

И Лобанов, беря под козырек, говорил:

— Вот теперь проходите! С моей стороны задержки не будет!

И вот, представьте себе, идет Ленин.

Идет пешком. Скромный такой. В своем черном осеннем пальто и в кепке.

Идет быстро, но вместе с тем задумчиво. Даже по сторонам не смотрит: до того, видать, углублен в свои мысли.

Подходит к дверям Смольного и хочет туда пройти.

А часовой Лобанов не знал в лицо товарища Ленина. Портретов в то время печатали мало. И сам Владимир Ильич только недавно приехал в Петроград. Ну и, конечно, Лобанов мог не знать Ленина по внешнему виду.

В общем, Ленин подходит к дверям. И Лобанов ему говорит:

— Минуточку, товарищ! Покажите ваш пропуск!

Ленин не стал возражать. Он, как бы очнувшись от своей задумчивости, тихо сказал:

— Ах, да, пропуск! Извините, товарищ, сейчас найду.

И стал искать свой пропуск в боковом кармане.

А в этот момент подошел к дверям Смольного один какой-то человек, должно быть, из служащих. И, видя, что часовой не пропускает Ленина, возмутился. И крикнул:

— Это же Ленин! Пропустите!

Лобанов тихо ответил этому человеку:

— Без пропуска я затрудняюсь пропустить. До этого раза я еще не имел счастья видеть товарища Ленина. И вдобавок, я и вас не знаю и даже не посмотрел еще вашего документа.

Служащий возмутился еще больше и крикнул:

— Извольте немедленно пропустить Ленина!

Вдруг Ленин говорит:

— Не надо ему приказывать и тем более не надо кричать. Часовой поступает совершенно правильно. Порядок для всех одинаков.

Тут Ленин достает из бокового кармана пропуск. Подает его часовому. Лобанов с трепетом разворачивает этот пропуск. И видит: это действительно пропуск Владимира Ильича Ленина.

Лобанов берет под козырек и говорит Ленину:

— Я прошу извинить, Владимир Ильич, что потребовал ваш пропуск.

Ленин отвечает:

— Вы правильно поступили, товарищ. Благодарю вас за отличную службу.

 Однажды Ленин гулял в лесу

и вдруг увидел, что какой-то мужчина дерево пилит.

А это пилил дерево некто Николай Бендерин. Немолодой мужчина, с огромной бородой. И очень дерзкий.

Он был по профессии печник. Но, кроме того, он мог все делать. У него сломалась телега. И вот он пришел в лес, чтобы спилить дерево для починки этой телеги.

Вот он пилит дерево. И вдруг слышит: кто-то ему говорит:

— Добрый день.

Бендерин оглянулся. Смотрит: перед ним стоит Ленин. А Бендерин, конечно, не знал, что это Ленин. И ничего ему не ответил. Только кивнул головой: дескать, ладно, здравствуйте, не мешайте мне пилить. Ленин говорит:

— Зачем вы дерево пилите? Это общественный лес. И тут нельзя пилить.

А Бендерин дерзко отвечает:

— Хочу и пилю. Мне надо чинить телегу.

Ничего на это не ответил Ленин и ушел.

Через некоторое время, может быть там через месяц, Ленин опять встретил этого печника. На этот раз Ленин гулял в поле. Немножко устал. И присел на траву отдохнуть.

Вдруг идет этот печник Бендерин и дерзко кричит Ленину:

— Зачем вы тут сидите и траву мнете? Знаете, почему сейчас сено? Будьте добры, встаньте с травы.

Ленин встал и пошел к дому.

А с Лениным была его сестра. Вот сестра и говорит печнику Бендерину:

— Зачем вы так грубо кричите? Ведь это Ленин, Председатель Совета Народных Комиссаров.

Бендерин испугался и, ничего не сказав, побежал домой. И дома говорит жене:

— Ну, Катерина, пришла беда. Второй раз встречаю одного человека и с ним грубо разговариваю, а это, оказывается, Ленин, Председатель Совета Народных Комиссаров. Что мне теперь будет, не могу представить.

Но вот проходит еще некоторое время, может быть там два месяца, и наступает зима.

И понадобился Ленину печник. Надо было исправить камин, а то он дымил.

А кругом по всем деревням только и был один печник, этот Бендерин.

И вот приезжают к этому Бендерину два военных и говорят:

— Вы печник Бендерин?

У Бендерина испортилось настроение, и он отвечает:

— Да, я печник Бендерин.

Военные говорят:

— В таком случае одевайтесь. Едем к Ленину в Горки.

Бендерин испугался, когда услышал эти слова. И настроение у него еще более испортилось.

Он одевается, руки дрожат. Говорит жене:

— Ну, прощайте, Катерина Максимовна. Наверно, уж с вами больше не увидимся. Наверно, Ленин припомнил все мои грубости: и как я его в поле пугнул, и как насчет дерева дерзко ответил. Наверно, он все это вспомнил и решил меня в тюрьму посадить.

И вот вместе с военными едет печник в Горки. Военные приводят Бендерина в комнаты. И навстречу ему из кресла поднимается Ленин.

Ленин говорит:

— А, старый знакомый. Помню, помню, как вы меня на покосе пугнули. И как дерево пилили.

Бендерин задрожал, когда услышал эти слова. Стоит перед Лениным, мнет шапку в своих руках и бормочет:

— Простите меня, старого дурака.

Ленин говорит:

— Ну, ладно, чего там! Я уж забыл про это. Что касается травы, то, пожалуй, вы были правы. Это не дело, что я сидел на покосе и мял траву. Ну, да не в этом дело. А не мо-

жете ли вы, дорогой товарищ Бендерин, сослужить мне одну маленькую службу? Дымит у меня камин. И надо его исправить, чтоб он не дымил. Можете ли вы это сделать?

Бендерин услышал эти приветливые слова и от радости дар речи потерял.

Только кивает головой: дескать, могу исправить. И руками показывает: дескать, пусть мне принесут кирпичи и глину.

Тут приносят Бендерину глину и кирпичи. И он начинает работать. И вскоре все выполняет в лучшем виде и с превышением.

Тут снова приходит Владимир Ильич и благодарит печника Бендерина. Он дает ему деньги и приглашает за стол выпить стакан чаю.

И вот печник Бендерин садится с Лениным за стол и пьет чай с печеньем. И Ленин дружески с ним беседует.

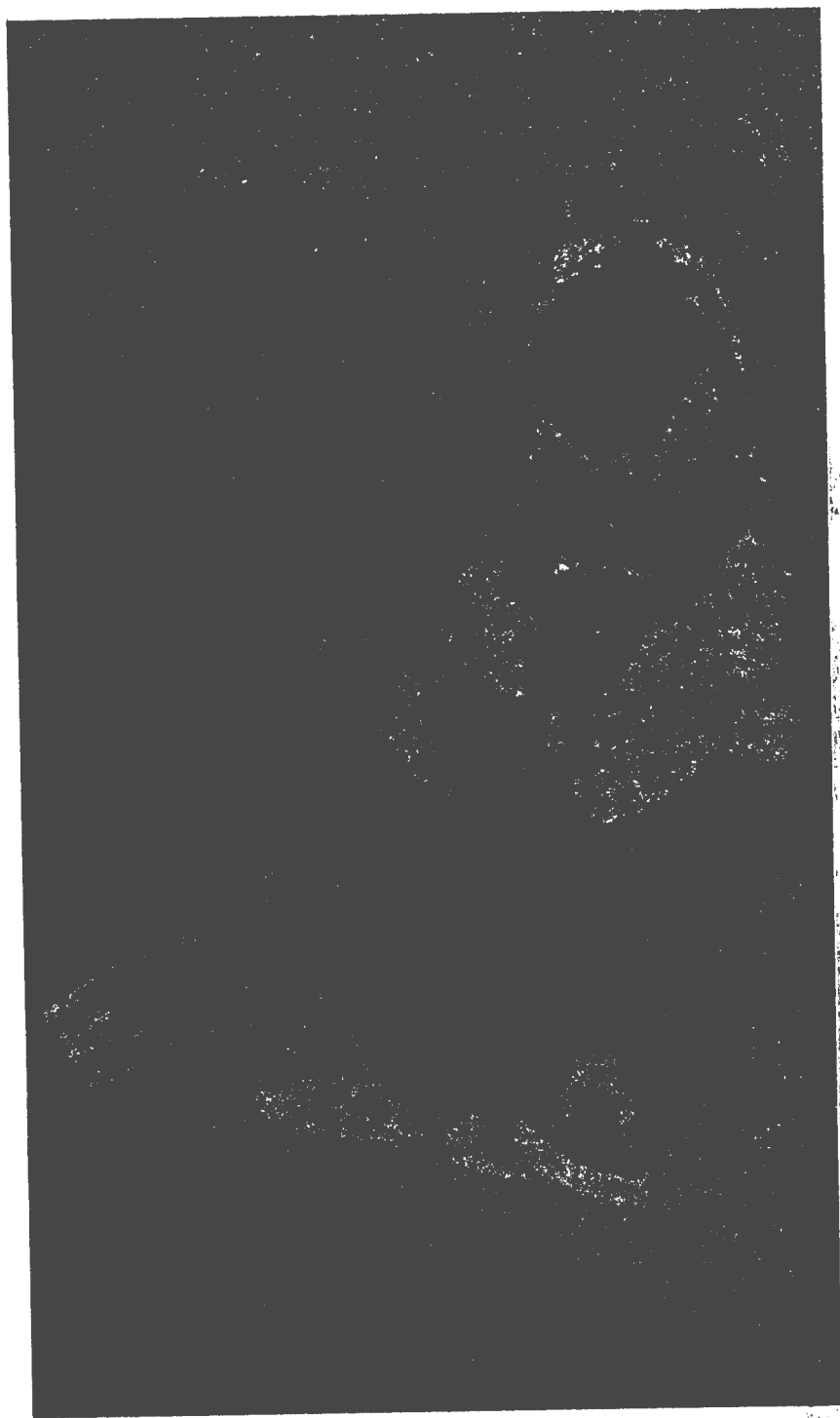
И, попивши чаю, печник Бендерин прощается с Лениным и сам не свой возвращается домой.

И дома говорит жене:

— Здравствуйте, Катерина Максимовна. Я думал, что мы с вами не увидимся, но выходит наоборот. Ленин — это такой справедливый человек, что я даже и не знаю, что мне теперь о нем думать.

Сентиментальные повести





От составителя

Многие современники Зощенко и даже самые близкие его друзья искренне огорчались, что свой огромный литературный дар писатель тратит на мелкую литературную поденищину. Они считали, что делает он это исключительно для заработка. Некоторые из них даже жаловались на него в своих письмах Горькому, просили Алексея Максимовича высоким своим авторитетом вмешаться в это дело, повлиять на Зощенко, внушить ему, что он просто не имеет права растрачивать свой талант сатирика на всякую ерунду.

Но сам Зощенко смотрел на это иначе. И не раз прямо об этом говорил. Даже в печати.

«Критики, — иронически писал он, — не знают, куда собственно меня причалить — к высокой литературе или к литературе мелкой, недостойной, быть может, просвещенного внимания критики.

А так как большая часть моих вещей сделана в неуважаемой форме — журнального фельетона и коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предрешена...

В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей.

Но когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части: вот, дескать, мои повести — это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказы — журнальная юмористика, сатириконт, собачья ерунда, — это неверно.

И повести, и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого подразделения: вот, дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот — повесть для потомства.

Правда, по внешней форме повесть моя ближе подходит к образцам так называемой высокой литературы. В ней, я бы сказал, больше литературных традиций, чем в моем юмористическом рассказе. Но качественность их лично для меня одинакова.

А дело в том, что в повестях («Сентиментальные повести») я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах я пишу о человеке более простом. И само задание, сама тема и типы диктуют мне форму.

Вот отчего так, казалось бы, резко делится моя работа на две части.

Но критика обманута внешними признаками».

(М. Зощенко. О себе, о критиках и о своей работе.)

Насчет того, что «Сентиментальные повести» не отличаются от мелких его рассказов более высокой «качественностью», Зощенко сказал чистую правду. А вот то, что вся разница между этими двумя жанрами его прозы сводится только к выбору героя, — это еще, как говорится, бабушка надвое сказала. Ведь не только из-за выбора героя «Сентиментальные повести» наводят на мысль о кровной, генетической связи писателя Михаила Зощенко с Гоголем, Достоевским и другими гигантами великой русской литературы XIX века.

Предисловие к первому изданию

Эта книга, эти сентиментальные повести написаны в самый разгар нэпа и революции.

И читатель, конечно, вправе потребовать от автора настоящего революционного содержания, крупных тем, планетарных заданий и героического пафоса — одним словом, полной и высокой идеологии.

Не желая вводить небогатого покупателя в излишние траты, автор спешит уведомить с глубокой душевной болью, что в этой сентиментальной книге не много будет героического.

Эта книга специально написана о маленьком человеке, об обывателе, во всей его неприглядной красе.

Пушай не ругают автора за выбор такой мелкой темы — такой уж, видимо, мелкий характер у автора. Тут уж ничего не поделаешь. Кому что по силам, кому что дано.

Один писатель широкими мазками набрасывает на огромные полотна всякие эпизоды, другой описывает революцию, третий военные ритуранели, четвертый занят любовными шашнями и проблемами. Автор же, в силу особых сердечных свойств и юмористических наклонностей, описывает человека — как он живет, чего делает и куда, для примеру, стремится.

Автор признает, что в наши бурные годы прямо даже совестно, прямо даже неловко выступать с такими ничтожными идеями, с такими будничными разговорами об отдельном незначительном человеке.

Но критики не должны на этот счет расстраиваться и портить свою драгоценную кровь. Автор и не лезет со своей книгой в ряд остроумных произведений эпохи.

Быть может, поэтому автор и назвал свою книгу сентиментальной.

На общем фоне громадных масштабов и идей эти повести о мелких, слабых людях и обывателях, эта книга о жалкой уходящей жизни действительно, надо полагать, зазвучит для некоторых критиков какой-то визгливой флейтой, какой-то сентиментальной оскорбительной требухой.

Однако ничего не поделаешь. Придется записать так, как с этим обстояло в первые годы революции. Тем более мы смеем думать, что эти люди, эта вышеуказанная прослойка пока что весьма сильно распространена на свете. В силу чего мы и предлагаем вашему высокому вниманию подобную малогероическую книгу.

А что в этом сочинении бодрости, может быть, кому-нибудь покажется маловато, то это неверно. Бодрость тут есть. Не через край, конечно, но есть. Последние же страницы книги прямо брызжут полным весельем и сердечной радостью.

Март 1927 г.
И.В. Коленкоров

Предисловие ко второму изданию

Ввиду многочисленных запросов сообщаем, что вышеуказанная подпись И.В. Коленкоров — есть подпись подлинного автора сентиментальных повестей.

Вот краткая биографическая справка о нем.

И.В. Коленкоров — родной брат Ек. Вас. Коленковой, тепло и любовно выведенной в повести «Люди» наряду с другими героинями. Он родился в 1882 году в городе Торжке (Тверской губ.), в мелкобуржуазной семье дамского портного. Получил домашнее образование. В молодые годы был пастухом. Потом играл в театре. И наконец мечта его жизни воплотилась в действительность — он стал писать стихи и рассказы.

В настоящее время И.В. Коленкоров, принадлежащий к правому крылу попутчиков, перестраивается и, вероятно, в скором времени займет одно из видных мест среди писателей натуральной школы.

Сентиментальные же повести написаны им под руководством писателя М.М. Зощенко, ведущего литератур-

ный кружок, в котором около пяти лет находился наш славный автор.

И в настоящее время, выпуская эту книгу, Иван Васильевич приносит т. Зощенко свою благодарность и желает ему дальнейшей удачи в многотрудной педагогической деятельности.

Май 1928 г.
К.Ч.

Предисловие к третьему изданию

В силу постоянных запросов сообщаем, что роль писателя М. Зощенко в этом труде свелась главным образом к исправлению орфографических ошибок и выравниванию идеологии. Основная же работа принадлежит вышеуказанному автору, И.В. Коленкову. Так что по-настоящему на обложке книги надо было бы поставить фамилию Коленкова. Однако И.В. Коленков, не желая прослыть состоятельным человеком, отказался от этой чести в пользу М. Зощенко. Гонорар же Иван Васильевич получил полностью.

Сообщая об этом, пользуемся случаем сказать, что некоторые сентиментальные нотки, нытье и кое-какое идеологическое шатание в ту и другую сторону следует отнести не к руководителю литкружка, а отчасти к автору, И.В. Коленкову, отчасти же к тем литературным персонажам, которые выведены в этих повестях.

Тут перед вашими глазами пройдет целая галерея уходящих типов.

И новому, современному читателю необходимо их знать, чтоб увидеть уходящую жизнь во всех ее проявлениях.

Июль 1928 г.
С.Л.

Предисловие к четвертому изданию

В силу прошлых недоразумений писатель уведомляет критику, что лицо, от которого ведутся эти повести, есть, так сказать, воображаемое лицо. Это есть тот средний ин-

теллигентский тип, которому случилось жить на переломе двух эпох.

Неврастения, идеологическое шатание, крупные противоречия и меланхолия — вот чем пришлось наделить нам своего «выдвиженца» И.В. Коленкова. Сам же автор — писатель М.М. Зощенко, сын и брат таких нездоровых людей, — давно перешагнул все это. И в настоящее время он никаких противоречий не имеет. У него на душе полная ясность и розы распускаются. А если в другой раз эти розы вянут и нету настоящего сердечного спокойствия, то совершенно по другим причинам, о которых автор расскажет как-нибудь после.

В данном же случае это есть литературный прием. И автор умоляет почтеннейшую критику вспомнить об этом замысловатом обстоятельстве, прежде чем замахнуться на беззащитного писателя.

Апрель 1929 г., Ленинград
Мих. Зощенко

1

Без пяти четыре Забежкин

сморкался до того громко, что нос у него гудел, как труба иерихонская, а бухгалтер Иван Нажмуудинович от испуга издрагивал, ронял ручку на пол и говорил:

— Ох, Забежкин, Забежкин, нынче сокращение штатов идет, как бы тебе, Забежкин, тово, — под сокращение не попасть... Ну куда ты торопишься?

Забежкин прятал платок в карман и тряпочкой начинал обтирать стол и чернильницу.

Двенадцать лет сидел Забежкин за этим столом. Двенадцать лет! Подумать даже страшно, какой это срок немаленький. Ведь если за двенадцать лет пыль, скажем, ни разу со стола не стереть, так, наверное, и чернильницы не видно будет?

В четыре ровно Забежкин двигал нарочно стулом, громко говорил: «четыре», четыре костяшки отбрасывал на счетах и шел домой. А шел Забежкин всегда по Невскому, хоть там и крюк ему был. И не потому он шел по Невскому, что на какую-нибудь встречу рассчитывал, а так — любопытства ради: все-таки людей разнообразие, и магазины черт знает какие, да и прочесть смешно, что в каком ресторане люди кушают.

А что до встреч, то бывает, конечно, всякое... Ведь вот, скажем, дойдет Забежкин сейчас до Садовой, а на Садовой, вот там, где черная личность сапоги гуталином чистит, — дама вдруг... Черное платье, вуалька, глаза... И подойдет эта дама к Забежкину... «Ох, — скажет, — молодой человек, спасите меня, если можете... Ко мне пристают,

оскорбляют меня вульгарными словами и даже гнусные предложения делают»... И возьмет Забежкин даму эту под руку, так, касаясь едва, и вместе с тем с необыкновенным рыцарством, и пройдут они мимо оскорбителей презрительно и гордо... А она, оказывается, дочь директора какого-нибудь там треста.

Или еще того проще — старичок. Старичок в высшей степени интеллигентный идет. И падает вдруг. Вообще, головокружение. Забежкин к нему... «Ах, ах, где вы живете?»... Извозчик... Под ручку... А старичок, комар ему в нос, — американский подданный... Вот, скажет, вам, Забежкин, триллион рублей...

Конечно, все это так, вздор, романтизм, бессмысленное мечтание. Да и какой это человек может подойти к Забежкину? Какой это человек может иметь что-либо вообще с Забежкиным? Тоже ведь и наружность многое значит. А у Забежкина и шея тонкая, и все-таки прически никакой нет, и нос загогулиной. Ну, еще нос и шея куда ни шло — природа, а вот прически, верно, — никакой нету. Надо будет отрастить в срочном порядке. А то прямо никакого виду.

И будь у Забежкина общественное положение значительное, то и делу был бы оборот иной. Будь Забежкин квартальным надзирателем, что ли, или хотя бы агрономом, то и помириться можно бы с наружностью. Но общественное положение у Забежкина не ахти было какое. Впрочем, даже скверное. Да вот, если сделать смешное сравнение, при этом смеясь невинно, если бухгалтера Ивана Нажмудиновича приравнять щуке, а рассыльного Мишку — из союза молодежи — сравнить с ершом, то Забежкин, даром что коллежский регистратор бывший, а будет никак не больше уклейки или даже колюшки крошечной.

Так вот, при таких-то грустных обстоятельствах, могли Забежкин на какой-нибудь романтизм надеяться?

2

Но однажды приключилось событие.

Однажды Забежкин захворал. То есть не то чтобы слишком захворал, а так, виски заломило это ужасно как.

Забежкин и линейку к вискам тискал, и слюнями лоб мазал — не помогает. Пробовал Забежкин в канцелярские дела углубиться.

Какие это штаны? Почему две пары? Не есть ли это превышение власти? Почему бухгалтеру Ивану Нажмуудиновичу сверх комплекта шинелька отпущена и куда это он, собачий нос, позадевал шинельку эту? Не загнал ли, подлая личность, на сторону казенное имущество?

Виски заломило еще пуще.

И вот попросил Забежкин у Ивана Нажмуудиновича домой пораньше уйти.

— Иди, Забежкин, — сказал Иван Нажмуудинович, и таким печальным тоном, что и сам чуть не прослезился. — Иди, Забежкин, но помни — нынче сокращение штатов...

Взял Забежкин фуражку и вышел.

И вышел Забежкин по привычке на Невский, а на Невском, на углу Садовой, помутилось у него в глазах, покачнулся он, поскреб воздух руками и от слабости необыкновенной к дверям магазина прислонился. А из магазина в это время вышел человек (так, обыкновенного вида человек, в шляпе и в пальто коротеньком) и, задев Забежкина локтем, приподнял шляпу и сказал:

— Извиняюсь.

— Господи! — сказал Забежкин. — Да что вы? Да пожалуйста...

Но прохожий был далеко.

«Что это? — подумал Забежкин. — Чудной какой прохожий. Извиняюсь, говорит... Да разве я сказал что-нибудь против? Да разве он пихнул меня? Это же мошь, мошкара, мошка крылами задела... И кто ж это? Писатель, может быть, или какой-нибудь всемирный ученый... Извиняюсь, говорит. Ах ты, штука какая! И ведь лица даже не рассмотрел у него...»

— Ах! — громко сказал Забежкин и вдруг быстро пошел за прохожим.

И шел Забежкин долго за ним — весь Невский и по набережной. А на Троицком мосту вдруг потерял его из виду. Две дамы шли — шляпки с перьями — заслонили, и как и Неву сгинул необыкновенный прохожий.

А Забежкин все шел вперед, махал руками, сиял носом, просил извинения у встречаемых и после неизвестно кому подмигивал.

«Ого, — вдруг подумал Забежкин, — куда же это такое я зашел? Каменноостровский... Карповка... Сверну», — подумал Забежкин. И свернул по Карповке.

И вот — трава. Петух. Коза пасется. Лавчонки у ворот. Деревня, совсем деревня!

«Присяду», — подумал Забежкин и присел у ворот на лавочке.

И стал свертывать папиросу. А когда свертывал папиросу, увидел на калитке объявление:

«Сдается комната для одинокого. Женскому полу не тревожиться».

Три раза кряду читал Забежкин объявление это и хотел в четвертый раз читать, но сердце вдруг забилося слишком, и Забежкин снова сел на лавку.

«Что ж это, — подумал Забежкин, — странное какое объявление? И ведь не зря же сказано: одинокому. Ведь это что же? Ведь это, значит, намек. Это, дескать, в мужчине нуждаются... Это мужчина требуется, хозяин. Господи, твоя воля, так ведь это же хозяин требуется!»

Забежкин в волнении прошелся по улице и вдруг заглянул в калитку. И отошел.

— Коза! — сказал Забежкин. — Ей-богу, правда, коза стоит... Дай бог, чтоб коза ее была, хозяйкина... Коза! Ведь так, при таком намеке, тут и жениться можно. И женюсь. Ей-богу, женюсь. Ежели, скажем, есть коза — женюсь. Баста. Десять лет ждал — и вот... Судьба... Ведь ежели рассуждать строго, ежели комната внаймы сдается, — значит, квартира есть. А квартира — хозяйство, значит, полная чаша... Поддержка... Фикус на окне. Занавески из тюля. Занавесочки тюлевые. Покой... Ведь это же ботвинья по праздникам!.. А жена, скажем, дама солидная, порядок обожает, порядком интересуется. И сама в сатиновом капоте павлином по комнате ходит. И все так великолепно, все так благородно, и все только и спрашивает: «Не хочешь ли, Петечка, покушать?» Ах ты, штука какая! Хозяйство ведь. Корова, возможно, или коза дойная. Пускай коза лучше — жрет меньше.

Забежкин открыл калитку.

— Коза! — сказал он, задыхаясь. — У забора коза. Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно. Ежели коза, то смешно даже... Пускай Иван Нажмудинович завтра скажет: вот, дескать, слишком мне тебя жаль, Забежкин, но уволен ты

по сокращению штатов... Хе-хе, ей-богу смешно... Удивится, сукин сын, поразится до чего, ежели после слов таких в ножки не упаду, просить не буду... Пожалуйста. Коза есть. Коза, черт меня раздери совсем! Ах ты, вредная штука! Ах ты, смех какой!.. А женскому-то полу плюха какая, женский-то пол до чего дожил — не тревожиться. Не лезь, дескать, комар тебе в нос, здесь его величество, мужчина, требуется...

Тут Забежкин еще раз прочел объявление и, выпятив грудь горой, с необыкновенной радостью вошел во двор.

3

У помойной ямы стояла коза. Была она безрогая, и вымя у ней висело до земли.

«Жаль, — с грустью подумал Забежкин, — старая коза, дай бог ей здоровья».

Во дворе мальчишки в чижика играли. А у крыльца девка какая-то столовые ножи чистила. И до того она с остервенением чистила, что Забежкин, забыв про козу, остановился в изумлении.

Девка яростно плевала на ножи, изрыгала слюну прямо-таки, втыкала ножи в землю и, втыкая, сама качалась на корточках и хрипела даже.

«Вот дура-то», — подумал Забежкин.

Девка изнемогала.

— Эй, тетушка, — сказал Забежкин громко, — где же это тут комната внаймы сдается?

Но вдруг открылось окно над Забежкиным, и чья-то бабья голова с флюсом, в платке вязаном, выглянула во двор.

— Товарищ, — спросила голова, — вам не ученого ли агронома Пампушкина нужно будет?

— Нет, — ответил Забежкин, снимая фуражку, — не имею чести... Я насчет, как бы сказать, комнаты, которая внаймы.

— А если ученого агронома Пампушкина, — продолжала голова, — так вы не ждите зря, он нынче принять никак не может, он ученый труд пишет про что-то.

Голова обернулась назад и через минуту снова выглянула.

— Несколько слов в защиту огородных вредителей...

— Чего-с? — спросил Забежкин.

— А это кто спрашивает? — сказал агроном, сам подходя к окну. — Здравствуйте, товарищ!.. Это, видите ли, статья: «Несколько слов в защиту огородных вредителей»... Да вы поднимитесь наверх.

— Нет, — сказал Забежкин, пугаясь, — я комнату, которая внаймы...

— Комнату? — спросил агроном с явной грустью. — Ну, так вы после комнаты... Да вы не стесняйтесь... Третий номер, ученый агроном Пампушкин... Каждая собака знает...

Забежкин кивнул головой и подошел к девке.

— Тетушка, — спросил Забежкин, — это чья же, например, коза будет?

— Коза-то? — спросила девка. — Коза эта из четвертого номера.

— Из четвертого? — охнул Забежкин. — Да это не там ли, извиняюсь, комната сдается?

— Там, — сказала девка. — Только сдана комната.

— Как же так? — испугался Забежкин. — Не может того быть. Да ты что, опупела, что ли? Как же так — сдана комната, ежели я и время потратил, проезд, хлопоты...

— А не знаю, — ответила девка, — может, и не сдана.

— Ну, то-то — не знаю, дура такая. Не знаешь, так лучше и не говори. Не извращай событий. Ты вот про кур лучше скажи — чьи куры ходят?

— Куры-то? Куры Домны Павловны.

— Это какая же Домна Павловна? Не комнату ли она сдает?

— Сдана комната! — с сердцем сказала девка, в подол собирая ножи.

— Врешь. Ей-богу, врешь. Объявление есть. Ежели бы объявления не было, тогда иное дело, — я бы не сопротивлялся. А тут — объявление. Колом не вышибешь... Заладила сорока Якова: «сдана, сдана...» Дура такая. Ты лучше скажи: индейский петух — наверное уж не ее?

— Ее.

— Ай-я-яй! — удивился Забежкин. — Так ведь она же богатая дама?

Девка ничего не ответила, икнула в ладонь и ушла. Забежкин подошел к козе и пальцем потрогал ей морду. «Вот, — подумал Забежкин, — ежели сейчас лизнет в руку — счастье: моя коза».

Коза понюхала руку и шершавым тонким языком лизнула Забежкина.

— Ну, ну, дура! — сказал, задыхаясь, Забежкин. — Корку хочешь? Эх, была давеча в кармане корка, да не найду что-то... Вспомнил, съел я ее, Машка. Съел, извиняюсь... Ну, ну, после дам...

Забежкин в необыкновенном волнении нашел четвертую квартиру и постучал в зеленую рваную клеенку.

— Вам чего? — спросил кто-то, открывая дверь.

— Комната...

— Сдана комната, — сказал кто-то басом, пытаясь закрыть дверь. Забежкин крепко ее держал руками.

— Позвольте, — сказал Забежкин, пугаясь, — как же так? Позвольте же войти, уважаемый товарищ... Как же так? Я время потратил... Проезд... Объявление ведь...

— Объявление? Иван Кириллыч! Ты что ж это объявление-то не снял?

Тут Забежкин поднял глаза и увидел, что разговаривает он с дамой и что дама — размеров огромных. И нос у ней никак не меньше забежкинского носа, а корпус такой обильный, что из него смело можно двух Забежкиных выкроить, да еще кой-что останется.

— Сударыня, уважаемая мадам, — сказал Забежкин, снимая фуражку и для чего-то приседая, — мне бы хоть чуланчик какой-нибудь отвратительный, конурку, конуренушку...

— А вы из каких будете? — спросила изрядным басом Домна Павловна.

— Служащий...

— Ну что ж, — сказала Домна Павловна, вздыхая, — пушай тогда. Есть у меня еще одна комнатуха. Не обижайтесь только — подле кухни...

Тут Домна Павловна по неизвестной причине еще раз грустно вздохнула и повела Забежкина в комнаты.

— Вот, — сказала она, — смотрите. Скажу прямо: дрянь комната. И окно — дрянь. И вид никакой, а в стену. А вот с хорошей комнатой опоздали, батюшка. Сдана хорошая комната. Военному телеграфисту сдана.

— Прекрасная комната! — воскликнул Забежкин. — Мне очень нравятся такие комнаты подле кухни... Разрешите — я и перееду завтра...

— Ну что ж, — сказала Домна Павловна. — Пушай тогда. Переезжайте.

Забежкин низенько поклонился и вышел. Он подошел к воротам, еще раз с грустью прочел объявление, сложил его и спрятал в карман.

«Да-с, — подумал Забежкин, — с трудом, с трудом счастье дается... Вот иные в Америку и в Индию очень просто ездят и комнаты снимают, а тут... Да еще телеграфист... Какой это телеграфист? А ежели, скажем, этот телеграфист да помешает? С трудом, с трудом счастье дается!»

4

Забежкин переехал. Это было утро. Забежкин вкатил тележку во двор, и тотчас все окна в доме открылись, и бабья голова с флюсом, высунувшись из окна на этот раз по пояс, сказала: «Ага!» И ученый агроном Пампушкин, оставив ученую статью «Несколько слов в защиту вредителей», подошел к окну.

И сама Домна Павловна милостиво сошла вниз.

Забежкин развязывал свое добро.

— Подушки! — сказали зрители.

И точно: две подушки, одна розовая с рыжим пятном, другая синенькая в полоску, были отнесены наверх.

— Сапоги! — вскричали все в один голос.

Перед глазами изумленных зрителей предстали четыре пары сапог. Сапоги были новенькие, и сияли они носками, и с каждой пары бантиком свешивались шнурки. И бабья голова с флюсом сказала с уважением: «Ого!» И Домна Павловна милостиво потеряла полные свои руки. И сам ученый агроном прищурил свои ученые глаза и велел мальчишкам отойти от тележки, чтобы видней было.

— Книги... — конфузясь, сказал Забежкин, вытаскивая три запыленные книжки.

— Книги?

И ученый агроном счел необходимым спуститься вниз.

— Очень приятно познакомиться с интеллигентным человеком, — сказал агроном, с любопытством рассмат-

ривая сапоги. — Это что же, — продолжал он, — это не по ученому ли пайку вы изволили получить сапоги эти?

— Нету, — сказал Забежкин, сияя, — это в некотором роде частное приобретение и, так сказать, подвижность. Иные, знаете ли, деньги предпочитают в брильянтах держать... а, извиняюсь, что такое брильянты? Только что блеск да бессмысленная игра огней...

— М-м, — сказал агроном с явным сожалением, — то-то я и смотрю — что такое? — будто бы и не такие давали по ученому. Цвет, что ли, не такой?

— Цвет! — сказал Забежкин в восторге. — Это цвет, наперное, не такой. Такой цвет — раз, два и обчелся...

— Катюшечка! — крикнул агроном голове с флюсом. — Вынеси-ка, голубчик, сапоги, что давеча по ученому пайку получали.

Сожительница агронома вынесла необыкновенных размеров рыжие сапоги. Вместе с сожительницей во двор вышли все жильцы дома. Вышла даже какая-то, очень древнего вида, старушка, думая, что раздадут сапоги бесplatно. Вышел и телеграфист, ковыряя в зубах спичкой.

— Вот! — закричал агроном, обильно брызгая в Забежкина слюной. — Вот, милостивый государь, обратите ваше внимание!

Агроном пальцем стучал в подметку, пробовал ее зубами, подбрасывал сапоги вверх, бросал их наземь, — они падали как поленья.

— Необыкновенные сапоги! — орал агроном на Забежкина таким голосом, точно Забежкин вел агронома расстреливать, а тот упирался. — Умоляю вас, взгляните! На-те! Бросайте их на землю, бросайте — я отвечаю!

Забежкин сказал:

— Да. Очень необыкновенные сапоги. Но ежели их на камни бросать, то они могут не выдержать...

— Не выдержат? Эти-то сапоги не выдержат? Да чувствуете ли вы, милостивый государь, какие говорите явные пустяки? Знаете ли, что вы меня даже оскорбляете этим. Не выдержат! — горько усмехнулся агроном, наседа на Забежкина.

— На камни, безусловно, выдержат, — с апломбом ска-мил вдруг телеграфист, вылезая вперед, — а что касается... Под тележку если, например, и тележку накатить враз — нипочем не выдержат.

— Катите! — захрюкал агроном, бросая сапоги. — Катите, на мою голову!

Забежкин налег на тележку и двинул ее. Сапоги помялись и у носка лопнули.

— Лопнули! — закричал телеграфист, бросая фуражку наземь и топча ее от восторга.

— Извиняюсь, — сказал агроном Забежкину, — это нечестно и нетактично, милостивый государь! Порядочные люди прямо наезжают, а вы боком... Это подло даже, боком наезжать. Нетактично и по-хамски с вашей стороны!

— Пускай он отвечает, — сказала сожительница агроному. — Он тележку катил, он и отвечает. Это каждый человек начнет на сапоги тележку катить — сапог не напацешься.

— Да, да, — сказал агроном Забежкину, — извольте теперь отвечать полностью.

— Хорошо, — ответил печально Забежкин, интересуясь телеграфистом, — возьмите мою пару.

Телеграфист, выплюнув изо рта спичку и склонившись над сапогами, хохотал тоненько с привизгиваньем, будто его щекотали под мышками.

«Красавец! — с грустью думал Забежкин. — И шея хороша, и нос нормальный, и веселиться может...» Так переехал Забежкин.

5

На другой день все стало ясно: телеграфист Забежкину мешал.

Не Забежкину несла Домна Павловна козье молоко, не Забежкину пеклось и варилось на кухне, и не для Забежкина Домна Павловна надела чудный сиреневый капот. Все это пеклось, варилось и делалось для военного телеграфиста, Ивана Кирилловича.

Телеграфист лежал на койке, тренькал на гитаре и пел нахальным басом. В песнях ничего смешного не было, но Домна Павловна смеялась.

«Смеется, — думал Забежкин, слушая, — и, наверное, сидит в ногах телеграфистовых. Смеется... Значит, ей, ду-ре, весело, а весело, значит, ощущает что-нибудь. Так ведь и опоздать можно».

Целый день Забежкин провел в тоске. Наутро пошел в канцелярию. Работать не мог. И какая, к чертовой матери, работа, ежели, скажем, такое беспокойство. Мало того что о телеграфисте беспокойство, так и хозяйство все-таки. Тоже вот домой нужно прийти. Там на двор. Кур проверить. Узнать — мальчишки не гоняли ли, а если, скажем, гонял кто — вздрючить того. Козе тоже корку отнести нужно... Хозяйство...

«А хоть и хозяйство, — мучился Забежкин, — да чужое хозяйство. И надежда малюсенькая. Малюсенькая, оттого что телеграфист мешает».

Придя домой, Забежкин прежде всего зашел в сарай.

— Вот, Машка, — сказал Забежкин козе, — кушай, дура. Ну, что смотришь? Грустно? Грустно, Машка. Телеграфист мешает... Убрать его, Машка, требуется. Ежели не убрать — любовь корни пустит.

Коза съела хлеб и обнюхивала теперь Забежкину руку.

— А как убрать его, Машка? Он, Машка, спортсмен, крепкий человек, не поддастся на пустяки. Он, сукин сын, давеча в трусиках бегал. Закаленный. А я, Машка, человек ослабший, на меня революция подействовала... И как убрать, ежели он и сам заметно хозяйством интересуется. Чего это он, скажи, пожалуйста, заходил в сарай давеча?

Коза тупо смотрела на Забежкина.

— Ну, пойду, Машка, пойду, может, и выйдет что. Тут с телеграфиста начать надо. Телеграфист — главная запяга. Не будь его, я бы, Машка, вчера еще с Домной Павловой кофей бы пил... Ну, пойду...

И Забежкин пошел домой. Он долго ходил по своей узкой комнате, бубнил под нос невнятное, размахивая руками, потом вынул из комода сапоги и, грустно покачивая головой, завернул одну пару в бумагу. И пошел к телеграфисту.

В комнату Забежкин вошел не сразу. Он постоял у двери Ивана Кирилловича, послушал. Телеграфист кряхтел, морочался по комнате, двигал стулом.

«Сапоги чистит», — подумал Забежкин и постучал. Точно: телеграфист чистил сапоги. Он дышал на них, внимательно обводил суконкой и ставил на стул то одну, то другую ногу.

— Пардон, — сказал телеграфист, — я ухожу, извиняюсь, скоро.

— А ничего, — сказал Забежкин, — я на секундочку... Я, как сосед ваш по комнате и, так сказать, под одним уважаемым крылом Домны Павловны, почел долгом представиться: сосед и бывший коллежский регистратор Петр Забежкин.

— Ага, — сказал телеграфист, — ладно. Пожалуйста.

— И, как сосед, — продолжал Забежкин, — считаю своим долгом, по кавказскому обычаю, подарок преподнести — сапожки.

— Сапоги? За что же, помилуйте, сапоги? — спросил телеграфист, любясь сапогами. — Мне даже, напротив того, неловко, уважаемый сосед... Я не могу так, знаете ли.

— Ей-богу, возьмите...

— Разве что по кавказскому обычаю, — сказал телеграфист, примеряя сапоги. — А вы что же, позвольте узнать, уважаемый сосед, извиняюсь, на Кавказ путешествовали?.. Горы, наверное? Эльбрус, черт его знает какой? Нравы... Туда, уважаемый сосед, и депеши на другой день только доходят... Чересчур отдаленная страна...

— Нет, — сказал Забежкин, — это не я. Это Иван Наумудинович на Кавказ ездил. Он даже в Нахичевани был...

Еще Забежкин хотел рассказать про кавказские нравы, но вдруг сказал:

— Батюшка, уважаемый сосед, молодой человек! Вот я сейчас на колени опускаюсь...

И Забежкин встал на колени. Телеграфист испугался и закрыл рот.

— Батюшка, уважаемый товарищ, бейте меня, уничтожайте! До боли бейте.

Телеграфист, думая, что Забежкин начнет его сейчас бить, размахнулся и ударил Забежкина.

— Ну, так! — сказал Забежкин, падая и вставая снова. — Так. Спасибо! Осчастливили. Слезы у меня текут... Дрожу и решенья жду — съезжайте с квартиры, голубчик, уважаемый товарищ.

— Как же так? — спросил телеграфист, закрывая рот. — Станные ваши шутки.

— Шутки! Драгоценное слово — шутки! Батюшка сосед, Иван Кириллович, вам с Домной Павловной баловство и шутки, а мне — настоящая жизнь. Вот весь перед вами заголился... Съезжайте с квартиры, в четверг же съезжайте... Остатний раз прошу. Плохо будет.

— Чего? — спросил телеграфист. — Плохо? Мне до самой смерти плохо не будет... А если приспичило вам... да нет, странные шутки... Не могу-с.

— Батюшка, я еще чем-нибудь попрошу...

— Не могу-с... Да и за что же мне с квартиры съезжать? Мне нравится эта квартира. Да вы, впрочем, хорошенько попросите... Расход ведь в переездах, и вообще, вы попросите. Я люблю, когда меня просят.

Забежкин бросился в свою комнату и через минуту вернулся.

— Вот! — сказал он, задыхаясь. — Вот сапожки и шнурки вот запасные.

Телеграфист примерил сапоги и сказал:

— Жмут. Ну, ладно. Дайте срок — съеду. Только странные ваши шутки...

Забежкин ушел в свою комнату и тихонько сел у окна.

6

Забежкин на службу не пошел.

С куском хлеба он пробрался в сарай и сел перед козой на корячки.

— Готово, Машка. Шабаш. Убрал вчера телеграфиста. Кобенился и сопротивлялся, ну, да ничего — свалил... Сапоги ему, Машка, отдал... Теперь что же, Машка? Теперь Домна Павловна осталась. Тут, главное, на чувства рассчитывать нужно. На эстетику, Машка. Розу сейчас пойду куплю. Вот, скажу, вам роза — нюхайте... Завтра куплю, а нынче запарился я, Машка... Ну, ну, нету больше. Хватит.

Забежкин прошел в свою комнату и лег на кровать. Розу он купить не успел, Домна Павловна пришла к нему раньше. Она сказала:

— Ты что ж это сапогами-то даришься? Ты к чему это сапоги телеграфисту отдал?

— Подарил я, Домна Павловна. Хороший он очень человек. Чего ж, думаю, ему не подарить? Подарил, Домна Павловна.

— Это Иван Кириллыч-то хороший человек? — спросила Домна Павловна. — Неделью, подлец, не живет и до свиданья. С квартиры съезжает... Это он-то хороший человек? Отвечай, если спрашиваю?!

— А я, Домна Павловна, думал...

— Чего ты думал? Чего ты, раззява, думал?

— Я думал, Домна Павловна, — он и вам нравится. Вы завсегда с ним хохочете...

— Это он-то мне нравится? — Домна Павловна всплеснула руками. — Да он цельные дни бильярды гоняет, а после с девчонками... Чего я в нем не видала? Да он и вниманья-то своего на меня не обратит... Ну, и врать же ты... Да он, прохвост ты человек, при наружности своей любую тонконогую возьмет, а не меня. Ну и дурак же ты...

— Домна Павловна, — сказал Забежкин, — про тонконогую это до чего верно вы сказали — слов нет. Это такой человек, Домна Павловна... Он заврался давеча: люблю, говорит, тонконогих, а на полненькую и вниманья не обращаю. Ведь это он, Домна Павловна, про вас намекал.

— Ну? — спросила Домна Павловна.

— Ей-богу, Домна Павловна... Он тонкую возьмет, ей-богу, правда — уколоться об локоть можно, а он и рад, гадина. А вот я, Домна Павловна, я на крупную фигуру всегда обращаю свое вниманье. Я, Домна Павловна, такими, как вы, увлекаюсь.

— Ври еще!

— Нет, Домна Павловна, мне нельзя врать. Вы для меня это очень превосходная дама... И для многих тоже... Ко мне, помните, Домна Павловна, человек заходил — тоже заинтересовался. Это, спрашивает, кто же такая гранд-дам интереснейшая?

— Ну? — спросила Домна Павловна. — Так и сказал?

— Так и сказал, дай бог ему здоровья. Это, говорит, не актриса ли Люком?

Домна Павловна села рядом с Забежкиным.

— Да это какой же, не помню чего-то? Это не тот ли — рыжеватый будто и угри на носу?

— Тот, Домна Павловна. Тот самый, и угри на носу, дай бог ему здоровья!

— А я думала, он к Ивану Кириллычу прошел... Так ты бы его к столу пригласил. Сказал бы: вот, мол, Домна Павловна кофею просит выкушать... Ну, а что он еще такое говорил? Про глаза ничего не говорил?

— Нет, — сказал Забежкин, задыхаясь, — нет, Домна Павловна, про глаза это я говорил. Я говорил: люблю такие превосходные глаза, млею даже, как посмотрю... Вообще, многоуважаемые глаза...

— Ну, ну, уж и любишь? — удивилась Домна Павловна. — Поел, может, чего лишнего — вот и любишь.

— Поел! — вскричал Забежкин. — Это я-то поел, Домна Павловна! Нет, Домна Павловна, раньше это точно я превосходно кушал, рвало даже, а нынче я, Домна Павловна, на хлебце больше.

— Глупенький, — сказала Домна Павловна, — ты бы ко мне пришел. Вот, сказал бы...

— А я вас, Домна Павловна, совершенно люблю! — вскричал Забежкин. — Скажите: упади, Забежкин, из окна, — упаду, Домна Павловна! Как стелечка на камни лягу и имя еще прославлять буду!

— Ну, ну, — сказала Домна Павловна, конфузясь.

И ушла вдруг из комнаты. И только Забежкин хотел к козе пройти, как Домна Павловна снова вернулась.

— Побожись, — сказала она строго, — побожись, что верно сказал про чувства.

— Вот вам крест и икона святая...

— Ну, ладно. Не божись зря. Кольца купить нужно... Чтоб венчанье и певчие.

— И певчие! — закричал Забежкин. — И певчие, Домна Павловна. И все так великолепно, все так благородно... Дозвольте же в ручку поцеловать, Домна Павловна! Вот-с... А я-то, Домна Павловна, думал — чего это мне не по себе все? На службе невтерпеж даже, домой рвусь... А это чувство...

Домна Павловна стояла торжественно посреди комнаты. Вокруг нее ходил Забежкин и говорил:

— Да-с, Домна Павловна, чувство... Давеча я, Домна Павловна, опоздал на службу, — раз мечтался на разные разности, а когда пришел, Иван Нажмуудинович ужасно так строго на меня посмотрел. Я сел и работать не могу. Сажу и на книжке де и пе рисую. А Иван Нажмуудинович галочки сосчитал (у нас, Домна Павловна, всегда, кто опоздал, галочку насупротив фамилии пишут), так Иван Нажмуудинович и говорит: «Шесть галочек насупротив фамилии Забежкин... Это не поперли бы его по сокращению штатов»...

— А пушай! — сказала Домна Павловна. — И так хватит.

Венчанье Домна Павловна назначила через неделю.

7

В тот день, когда телеграфист собрал в узлы свои вещи и сказал: «Не поминайте лихом, Домна Павловна, завтра я съеду», — в тот день все погибло.

Ночью Забежкин сидел на кровати перед Домной Павловной и говорил:

— Мне, Домна Павловна, счастье с трудом дается. Иные очень просто и в Америку ездят, и комнаты внаймы берут, а я, Домна Павловна... Да вот, не пойдя я тогда за прохожим, ничего бы и не было. И вас бы, Домна Павловна, не видеть мне, как ушей своих... А тут прохожий. Объявление. Девицам не тревожиться. Хе-хе, плюха-то какая девицам, Домна Павловна!

— Ну, спи, спи! — строго сказала Домна Павловна. — Поговорил и спи.

— Нет, — сказал Забежкин, поднимаясь, — не могу я спать, у меня, Домна Павловна, грудь рвет. Порыв... Вот я, Домна Павловна, мысль думаю... Вот коза, скажем, Домна Павловна, такого счастья не может чувствовать...

— А?

— Коза, я говорю, Домна Павловна, не может ощущать такого счастья. Что ж коза? Коза — дура. Коза и есть коза. Ей бы, дуре, только траву жрать. У ней и запросов никаких нету. Ну, пусти ее на Невский — срамota выйдет, недоразумение... А человек, Домна Павловна, все-таки запросы имеет. Вот, скажем, меня взять. Давеча иду по Невскому — тыква в окне. Зайду, думаю, узнаю, какая цена той тыкве. И зашел. И все-таки человеком себя чувствуешь. А что ж коза, Домна Павловна? Вот хоть бы и Машку нашу взять — дура, дура и есть. Человек и ударить козу может, и бить даже может и перед законом ответственности не несет — чист, как стеклышко.

Домна Павловна села.

— Какая коза, — сказала она, — иная коза при случае и забодать может человека.

— А человек, Домна Павловна, козу палкой, палкой по башке по козлиной.

— Ну и коза, коза может молока не дать, как телеграфисту давеча.

— Как телеграфисту? — испугался Забежкин. — Да чего ж он ходит туда? Да как же это коза может молока не дать, ежели она дойная?

— А так и не даст!

— Ну, уж это пустяки, Домна Павловна, — сказал Забежкин, расхаживая по комнате. — Это уж... Что ж это? Это бунт выходит.

Домна Павловна тоже встала.

— Что ж это? — сказал Забежкин. — Да ведь это же, Домна Павловна, вы про революцию говорите. А вдруг да когда-нибудь, Домна Павловна, животные революцию объявят. Козы, например, или коровы, которые дойные. А? Ведь может же такое быть когда-нибудь? Начнешь их доить, а они бодаются, копытами по животам бьют. И Машка наша может копытами... А ведь Машка наша, Домна Павловна, забодать, например, Иван Нажмудиныча может?

— И очень просто, — сказала Домна Павловна.

— А ежели, Домна Павловна, не Иван Нажмудиныча забодает Машка, а комиссара, товарища Нюшкина? Товарищ Нюшкин из мотора выходит, Арсений дверку перед ним — пожалуйста, дескать, товарищ Нюшкин, а коза Машка спрятавшись за дверкой стоит. Товарищ Нюшкин — шаг, и она подойдет да и тырк его в живот, по глупости.

— Очень просто, — сказала Домна Павловна.

— Ну, тут народ стекается. Конторщики. А товарищ Нюшкин очень даже рассердится. «Чья, — скажет, — это коза меня забодала?» А Иван Нажмудиныч уж тут, задом вертит. «Это коза, — скажет, — Забежкина. У него, — скажет, — кроме того, насупротив фамилии шесть галочек». — «А, Забежкина, — скажет товарищ комиссар, — ну так уволен он по сокращению штатов». И баста.

— Да что ты все про козу-то врешь? — спросила Домна Павловна. — Откуда это твоя коза?

— Как откуда? — сказал Забежкин. — Коза, конечно, Домна Павловна, не моя, коза ваша, но ежели брак, хотя бы даже гражданский, и как муж, в некотором роде...

— Да ты про какую козу брендишь-то? — рассердилась Домна Павловна. — Ты что, у телеграфиста купил ее?

— Как у телеграфиста? — испугался Забежкин. — Ваша коза, Домна Павловна.

— Нету, не моя коза... Коза телеграфистова. Да ты, прохвост этакий, идол собачий, не на козу ли нацелился?

— Как же, — бормотал Забежкин, — ваша коза. Ей-богу, ваша коза, Домна Павловна.

— Да ты что, опупел? Да ты на козу рассчитывал? Я сию минуту тебя наскрозь вижу. Все твои кишки вижу...

В необыкновенном гневе встала с кровати Домна Павловна и, покрыв одеялом обильные свои плечи, вышла из комнаты. А Забежкин прилег на кровать да так и пролежал до утра не двигаясь.

8

Утром пришел к Забежкину телеграфист.

— Вот, — сказал телеграфист, не здороваясь, — Домна Павловна приказала, чтобы в двадцать четыре часа, иначе — судом и следствием.

— А я, — закричала из кухни Домна Павловна, — а я, так и передай ему, Иван Кириллыч, скотине этому, я и видеть его не желаю.

— А Домна Павловна, — сказал телеграфист, — и видеть вас не желает.

Домна Павловна кричала из кухни:

— Да посмотри, Иван Кириллыч, не прожег ли он матрац, сукин сын. Курил давеча. Был у меня один такой субчик — прожег. И перевернул, подлец, — не замечу, думает. Я у них, у подлецов, все кишки наскрозь вижу. Сволочь!..

— Извиняюсь, — сказал телеграфист Забежкину, — пересядьте на стул.

Забежкин печально пересел с кровати на стул.

— Куда же я перееду? — сказал Забежкин. — Мне и переехать-то некуда...

— Он, Домна Павловна, говорит, что ему и переехать некуда, — сказал телеграфист, осматривая матрац.

— А пушай куда хочет, хоть кошке под хвост! Я в его жизнь не касаюсь.

Телеграфист Иван Кириллыч осмотрел матрац, заглянул, без всякой на то нужды, под кровать и, подмигнув Забежкину глазом, ушел.

Вечером Забежкин нагрузил тележку и выехал неизвестно куда.

А когда выезжал из ворот, то встретил агронома Пампушкина.

Агроном спросил:

— Куда? Куда это вы, молодой человек?

Забежкин тихо улыбнулся и сказал:

— Так, знаете ли... прогуляться...

Ученый агроном долго смотрел ему вслед. На тележке поверх добра на синей подушке стояла одна пара сапог.

9

Так погиб Забежкин.

Когда против его фамилии значилось восемь галок, бухгалтер Иван Нажмуудинович сказал:

— Шабаш. Уволен ты, Забежкин, по сокращению штатов.

Забежкин записался на биржу безработных, но работы не искал. А как жил — неизвестно.

Однажды Домна Павловна встретила его на Дерябкинском рынке. На толчке. Забежкин продавал пальто.

Был Забежкин в рваных сапогах и в бабьей кацавейке. Был он небрит, и бородавка у него росла почему-то рыжая. Узнать его было трудно!

Домна Павловна подошла к нему, потрогала пальто и спросила:

— Чего за пальто хочешь?

И вдруг узнала — это Забежкин. Забежкин потупился и сказал:

— Возьмите так, Домна Павловна.

— Нет, — ответила Домна Павловна, хмурясь, — мне не для себя нужно. Мне Иван Кириллычу нужно. У Ивана Кириллыча пальто зимнего нету... Так я не хочу, а вот что: денег я тебе, это верно, не дам, а вот приходи — будешь обедать по праздникам.

Пальто накинула на плечи и ушла.

В воскресенье Забежкин пришел. Обедать ему дали на кухне. Забежкин конфузился, подбирал грязные ноги под стул, качал головой и ел молча.

— Ну как, брат Забежкин? — спросил телеграфист.

— Ничего-с, Иван Кириллыч, терплю, — сказал Забежкин.

— Ну, терпи, терпи. Русскому человеку невозможно, чтобы не терпеть. Терпи, брат Забежкин.

Забежкин съел обед и хлеб спрятал в карман.

— А я-то думал, — сказал телеграфист, смеясь и подмигивая, — я-то, Домна Павловна, думал — чего это он, сукин сын, икру передо мной мечет? А он вот куда сети закинул — коза.

Когда Забежкин уходил, Домна Павловна спросила тихо:

— Ну а сознайся, соврал ведь ты насчет глаз вообще?

— Соврал, Домна Павловна, соврал, — сказал Забежкин, вздыхая.

— Н-ну, иди, иди, — нахмурилась Домна Павловна, — не путайся тут!

Забежкин ушел.

И каждый праздник приходил Забежкин обедать. Телеграфист Иван Кириллович хохотал, подмигивал, хлопал Забежкина по животу и спрашивал:

— И как же это, брат Забежкин, ошибся ты?

— Ошибся, Иван Кириллыч...

Домна Павловна строго говорила:

— Оставь, Иван Кириллыч. Пущай ест. Пальто тоже денег стоит.

После обеда Забежкин шел к козе. Он давал ей корку и говорил:

— Нынче был суп с луком и турнепс на второе...

Коза тупо смотрела Забежкину в глаза и жевала хлеб. А после облизывала Забежкину руку.

Однажды, когда Забежкин съел обед и корку спрятал в карман, телеграфист сказал:

— Положь корку назад. Так! Пожрал и до свиданья. К козе нечего шлаться!

— Пущай, — сказала Домна Павловна.

— Нет, Домна Павловна, моя коза! — ответил телеграфист. — Не позволю... Может, он мне козу испортит по злобе. Чего это он там с ней колдует?

Больше Забежкин обедать не приходил.

Страшная ночь

1

Сишешь, пишешь, а для чего

пишешь — неизвестно.

Читатель небось усмехнется тут. А деньги, скажет. Деньги-то, скажет, курицын сын, получаешь? До чего, скажет, жиреют люди.

Эх, уважаемый читатель! А что такое деньги? Ну, получишь деньги, ну, дров купишь, ну, жене приобретешь какие-нибудь там боты. Только и всего. Нету в деньгах ни душевного успокоения, ни мировой идеи.

А впрочем, если и этот мелкий, корыстный расчет откинуть, то автор и совсем расплевался бы со всей литературой. Бросил бы писать. И ручку с пером сломал бы к чертовой бабушке.

В самом деле.

Читатель пошел какой-то отчаянный. Накидывается он на любовные французские и американские романы, а русскую современную литературу и в руки не берет. Ему, видите ли, в книге охота увидеть этакий стремительный полет фантазии, этакий сюжет, черт его знает какой.

А где же все это взять?

Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действительность не такая?

А что до революции, то опять-таки тут запятая. Стремительность тут есть. И есть величественная, грандиозная фантазия. А попробуй ее написать. Скажут — неверно. Неправильно, скажут. Научного, скажут, подхода нет к вопросу. Идеология, скажут, не ахти какая.

А где взять этот подход? Где взять, я спрашиваю, этот научный подход и идеологию, если автор родился в мелкобуржуазной семье и если он до сих пор еще не может подавить в себе мешанских корыстных интересов к деньгам, к цветам, к занавескам и к мягким креслам?

Эх, уважаемый читатель! Беда как неинтересно быть русским писателем.

Иностранец, тот напишет — ему как с гуся вода. Он тебе и про Луну напишет, и стремительность фантазии пустит, и про диких зверей наплетет, и на Луну своего героя пошлет в ядре в каком-нибудь...

И ничего.

А попробуй у нас, сунься с этим в литературу. Попробуй, скажем, в ядре нашего техника Курицына, Бориса Петровича, послать на Луну. Засмеют. Оскорбятся. Эва, скажут, наплел, собака!.. Разве это, скажут, возможно!

Вот и пишешь с полным сознанием своей отсталости.

А что слава, то что ж слава? Если о славе думать, то опять-таки какая слава? Опять-таки неизвестно, как еще потомки взглянут на наши сочинения и какой фазой Земля повернется в геологическом смысле.

Вот автор недавно прочел у немецкого философа, будто вся-то наша жизнь и весь расцвет нашей культуры есть не что иное, как междуледниковый период.

Автор признается: трепет прошел по его телу после прочтения.

В самом деле. Представь себе, читатель... На минуту отойди от своих повседневных забот и представь такую картину: до нас существовала какая-то жизнь и какая-то высокая культура, и после она стерлась. А теперь опять расцвет, и опять совершенно все сотрется. Нас-то, может быть, это и не заденет, а все равно досадное чувство чего-то проходящего, не вечного и случайного и постоянно меняющегося заставляет снова и снова подумать совершенно заново о собственной жизни.

Ты вот, скажем, рукопись написал, с одной орфографией вконец намучился, не говоря уж про стиль, а, скажем, через пятьсот лет мамонт какой-нибудь наступит ножицей на твою рукопись, ковырнет ее клыком, понюхает и отбросит, как несъедобную дрянь. Вот и выходит, что ни в чем нет тебе утешенья. Ни в деньгах, ни в славе, ни в по-

честях. И вдобавок жизнь какая-то смешная. Какая-то очень она небогатая.

Вот выйдешь, например, в поле, за город... Домишко какой-нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коро- венка стоит этакая скучная до слез... Бок в навозе у ней... Хвостом треплет... Жует... Баба этакая в сером трикотаж- ном платке сидит. Делает что-то руками. Петух ходит. Кру- гом бедно, грязно, некультурно... Ох, до чего скучно это видеть!

И подходит, скажем, к бабе этаким русый, вроде ходя- чего растения, мужик. Подойдет он, посмотрит светлыми глазами, вроде стекляшек, — чего это баба делает? Икнет, почешет ногу об ногу, зевнет. «Эх, — скажет, — спать, что ли ча, пойти. Скушно чтой-то... » И пойдет спать.

А вы говорите: подайте стремительность фантазии.

Эх, господа, господа товарищи! Да откуда ее взять? Как ее приспособить к этой деревенской действитель- сти? Скажите! Сделайте такую милость, такое великое одолжение. И рады бы, так сказать, раздуть кадило, да не с чего.

А если в город, опять-таки, пойти, где светят фонари светлым светом, где граждане в полном сознании своего человеческого величия ходят взад и вперед, — опять-таки не всегда можно увидеть эту стремительность фантазии.

Ну, ходят.

А пойдя, читатель, попробуй, потрудись, пойдя за тем человеком — чаще всего ерунда выйдет.

Идет, оказывается, человек в долг признаться три руб- ля денег или на любовное свидание он идет. Ну что это та- кое!

Придет, сядет напротив своей дамы, что-нибудь скажет ей про любовь, а может, и ничего не скажет, а просто поло- жит руку свою на дамское колено и в глаза посмотрит.

Или придет человек посидеть у хозяина. Выкушает стаканчик чаю, посмотрится в самовар — мол, рожа какая кривая, усмехнется про себя, на скатерть варенье капнет и уйдет. Шапку напялит набок и уйдет.

А спроси его, сукинова сына, зачем он приходил, какая в этом мировая идея или польза для человечества, — он и сам не знает.

Конечно, в данном случае, в этой скучной картине городской жизни автор берет людей мелких, ничтожных, себе подобных и отнюдь не государственных деятелей или, скажем, работников просвещения, которые действительно ходят по городу по важным общественным делам и обстоятельствам.

Этих людей автор никак не имел в виду, когда говорил про дамские, например, колени или просто как рожей в самовар смотрятся. Вот эти, действительно, может быть, чего-нибудь думают, страдают, заботятся. Хотят, может быть, чтоб другим поинтереснее жилось. И, может быть, мечтают, чтоб этой стремительности фантазии было больше.

Автор, заранее забегаая вперед, дает эту отповедь зарвавшимся критикам, которые явно из озорничества попытаются уличить автора в искажении провинциальной действительности и в нежелании видеть положительных сторон.

Действительность мы не искажаем. Нам за это денег не платят, уважаемые товарищи.

А что видим то, чего бывает, то это абсолютный факт.

Автор вот знал одного такого городского человека. Жил он тихо, как и все почти живут. Пил и ел, и даме своей на колени руки клал, и в очи ей глядел, и вареньем на скатерть капал, и три рубля денег в долг без отдачи занимал.

Об этом человеке автор и напишет свою очень короткую повесть. А может быть, эта повесть будет и не о человеке, а о том глупом и ничтожном приключении, за которое человек, в порядке принудительного взыскания, пострадал на двадцать пять рублей. Это случилось весьма недавно — в августе 1923 года.

Фантазией разбавлять этот случай? Создавать занимательную марьяжную интрижку вокруг него? Нет! Пущай французы про это пишут, а мы потихоньку, а мы помаленьку, мы вровень с русской действительностью.

А веселого читателя, который ищет бойкий и стремительный полет фантазии и который ждет пикантных подробностей и происшествий, автор с легким сердцем отсылает к иностранным авторам.

2

Эта короткая повесть начинается с полного и подробного описания всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

По профессии своей Котофеев был музыкант. Он играл в симфоническом оркестре на музыкальном треугольнике.

Может быть, и существует особое, специальное название этого инструмента — автор не знает, во всяком случае читателю, наверное, приходилось видеть в самой глубине оркестра, вправо — сутулого какого-нибудь человека с несколько отвисшей челюстью перед небольшим железным треугольником. Человек этот меланхолически позвякивает в свой нехитрый инструмент в нужных местах. Обычно дирижер подмигивает для этой цели правым глазом.

Странные и удивительные бывают профессии.

Такие бывают профессии, что ужас берет, как это человек до них доходит. Как это, скажем, человек додумался по канату ходить, или носом свистеть, или позвякивать в треугольник.

Но автор не смеется над своим героем. Нет. Борис Иванович Котофеев был отличного сердца человек, неглупый и со средним образованием.

Жил Борис Иванович не в самом городе, а жил он в предместье, так сказать, на лоне природы.

Природа была не ахти какая замечательная, однако небольшие сады у каждого дома, трава, и канавы, и деревянные скамейки, усыпанные шелухой подсолнухов, — все это делало вид привлекательным и приятным.

Весной же было здесь совершенно очаровательно.

Борис Иванович жил на Заднем проспекте у Лукерьи Блохиной.

Представьте себе, читатель, небольшой деревянный, желтой окраски дом, низенький шаткий забор, широкие желтоватые кривые ворота. Двор. На дворе по правую руку небольшой сарай. Грабля с поломанными зубьями, стоящая здесь со времен Екатерины II. Колесо от телеги. Камень посреди двора. Крыльцо с оторванной нижней ступенькой.

А войдешь на крыльцо — дверь, обитая рогожей. Сенцы этикие, небольшие, полутемные, с зеленой бочкой в углу. На бочке досточка. На досточке ковшик.

Ватер с тонкой, в три доски, дверью. На двери деревянная вертушечка. Небольшая стекляшка вместо окна. Паутина на ней.

Ах, знакомая и сладкая сердцу картина!

Все это было как-то прелестно. Прелестно тихой, скучной, безмятежной жизнью. И оторванная даже ступенька у крыльца, несмотря на свой невыносимо скучный вид, и теперь приводит автора в тихое созерцательное настроение.

А Борис Иванович всякий раз, вступая на крыльцо, отплевывался с омерзением в сторону и покачивал головой, глядя на обломанную корявую ступеньку.

Пятнадцать лет назад Борис Иванович Котофеев впервые ступил на это крыльцо и впервые перешагнул порог этого дома. И здесь он остался. Он женился на своей хозяйке, на Лукерье Петровне Блохиной. И стал полновластным хозяином всего этого имения.

И колесо, и сарай, и грабля, и камень — все стало его неотъемлемой собственностью.

Лукерья Петровна с беспокойной усмешкой глядела на то, как Борис Иванович становился всего этого хозяином.

И под сердитую руку она всякий раз не забывала прикрикнуть и одернуть Котофеева, говоря, что сам-то он ничий, без кола — без двора, осчастливленный ее многими милостями.

Борис Иванович хотя и огорчался, но молчал.

Он полюбил этот дом. И двор с камнем полюбил. Он полюбил жить здесь за эти пятнадцать лет.

Вот, бывают такие люди, о которых можно в десять минут рассказать всю ихнюю жизнь, всю обстановку жизни, от первого бессмысленного крика до последних дней.

Автор попробует это сделать. Автор попробует очень коротко, в десять минут, но все-таки со всеми подробностями рассказать о всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

А впрочем, и рассказывать нечего.

Тихо и покойно текла его жизнь.

И если всю эту жизнь разбить на какие-то периоды, то вся жизнь распадется на пять или шесть небольших частей.

Вот Борис Иванович, окончив реальное училище, вступает в жизнь. Вот он музыкант. В оркестре играет. Вот его

роман с хористкой. Женитьба на своей хозяйке. Война. Потом революция. А перед этим — пожар местечка.

Все было просто и понятно. И ничто не вызывало ни какого сомнения. А главное, все это казалось не случайным. Все это казалось таким, как должно быть и как это бывает у людей, согласно, так сказать, начертанию истории.

Даже революция, сначала крайне смутившая Бориса Ивановича, после оказалась простой и ясной в своей твердой установке на определенные, отличные и вполне реальные идеи.

А все остальное — выбор профессии, дружба, женитьба, война — все это представлялось не случайной игрой судьбы, а чем-то необычайно солидным, твердым и безоговорочным.

Единственно, пожалуй, любовное приключение несколько разбивало стройную систему крепкой и не случайной жизни. Здесь дело обстояло несколько сложнее. Тут Борис Иванович допускал, что это был случайный эпизод, который мог бы и не быть в его жизни. Дело в том, что Борис Иванович Котофеев в начале своей музыкальной карьеры сошелся с хористкой из городского театра. Это была юная опрятная блондинка с неопределенными светлыми глазами.

Сам Борис Иванович был довольно красивый еще, двадцатидвухлетний юноша. Единственно, пожалуй, несколько портила его отвисшая нижняя челюсть. Она придавала лицу скучное, растерянное выражение. Однако пышные стоячие усики в достаточной мере скрадывали досадный выступ.

Как началась эта любовь — не вполне известно. Борис Иванович сидел постоянно в глубине оркестра и в первые годы, из боязни ударить в инструмент не вовремя, положительно не спускал глаз с дирижера. И когда он успел перемигнуться с хористкой — так и осталось невыясненным.

Впрочем, в те годы Борис Иванович пользовался жизнью полностью. Он жуировал, ходил вечерами по городскому бульвару и даже посещал танцевальные вечера, на которых иногда, с голубым распорядительским бантом, бабочкой порхал по залу, дирижируя танцами.

Очень возможно, что знакомство как раз и началось на каком-нибудь вечере.

Во всяком случае, знакомство это Борису Ивановичу счастья не принесло. Роман начался удачно. Борис Иванович построил даже план своей дальнейшей жизни совместно с этой миленькой и симпатичной женщиной. Но через месяц неожиданно блондинка покинула его, едко посмеявшись над его неудачной челюстью.

Борис Иванович, несколько сконфуженный этим обстоятельством и таким легким уходом любимой женщины, решил, после недолгого раздумья, сменить свою жизнь провинциального льва и отчаянного любовника на более спокойное существование. Он не любил, когда что-нибудь происходило случайное и такое, что могло измениться.

Вот тогда-то Борис Иванович и переехал за город, сняв за небольшую плату теплую комнату со столом.

И там он женился на своей квартирной хозяйке. И этот брак с домом, хозяйством и размеренной жизнью вполне утешил его встревоженное сердце.

Через год после брака произошел пожар.

Огонь уничтожил почти половину местечка.

Борис Иванович, обливаясь потом, самолично вытаскивал из дому мебель и перины и складывал все в кустах.

Однако дом не сгорел. Только полопались стекла и облупилась краска.

И уже утром Борис Иванович, веселый и сияющий, втаскивал назад свой скарб.

Это надолго оставило след. Борис Иванович несколько лет подряд делился своими переживаниями со знакомыми и соседями. Но и это сейчас стерлось.

И вот, если закрыть глаза и подумать о прошлом, то все: и пожар, и женитьба, и революция, и музыка, и голубой распорядительский бант на груди — все это стерлось, все слилось в одну сплошную, ровную линию.

Даже любовное событие стерлось и превратилось в какое-то досадное воспоминание, в скучный анекдот о том, как хористка просила подарить ей сумочку из лакированной кожи, и о том, как Борис Иванович, откладывая по рублю, собирал нужную сумму.

Так жил человек.

Так жил он до тридцати семи лет, вплоть до того момента, до того исключительного происшествия в его жизни, за которое он был по суду оштрафован на двадцать

пять рублей. Вплоть до этого самого приключения, ради которого автор, собственно, и рискнул испортить несколько листов бумаги и осушить небольшой пузырек чернил.

3

Итак, Борис Иванович Котофеев прожил до тридцати семи лет. Очень вероятно, что он еще будет жить очень долго. Человек он очень здоровый, крепкий и с широкой костью. А что прихрамывает Борис Иванович слегка, чуть заметно, то это еще при царском режиме он стер свою ногу.

Однако нога жить не мешала, и жил Борис Иванович ровно и хорошо. Все было ему по плечу. И никогда и ни в чем сомнений не было. И вдруг в самые последние годы Борис Иванович стал задумываться. Ему вдруг показалось, что жизнь не так уж тверда в своем величии, как это рисовалось ему раньше.

Он всегда боялся случайности и старался этого избежать, но тут ему показалось, что жизнь как раз и наполнена этой случайностью. И даже многие события из его жизни показались ему случайными, возникшими от вздорных и пустых причин, которых могло и не быть.

Эти мысли взволновали и устроили Бориса Ивановича.

Борис Иванович раз даже завел об этом речь в кругу своих близких друзей.

Это было на его собственных именинах.

— Странно все, господа, — сказал Борис Иванович. — Все как-то, знаете, случайно в нашей жизни. Все, я говорю, на случае основано... Женился я, скажем, на Луше... Я не к тому говорю, что недоволен или что-нибудь вообще. Но случайно же это. Мог бы я вовсе не здесь комнату снять. Я случайно на эту улицу зашел... Значит, что же это выходит? Случай?

Друзья криво усмехались, ожидая семейного столкновения. Однако столкновения не последовало. Лукерья Петровна, соблюдая настоящий тон, вышла только демонстративно из комнаты, выдула коврик холодной воды и снова вернулась к столу свеженькая и веселенькая. Зато ночью устроила столь грандиозный скандал, что сбежавшие соседи пытались вызвать пожарную часть для ликвидации семейных распрей.

Однако и после скандала Борис Иванович, лежа с открытыми глазами на диване, продолжал обдумывать свою мысль. Он думал о том, что не только его женитьба, но, может, и игра на треугольнике и вообще все его призвания — просто случай, простое стечение житейских обстоятельств.

«А если случай, — думал Борис Иванович, — значит, все на свете непрочное. Значит, нету какой-то твердости. Значит, все завтра же может измениться».

У автора нет охоты доказывать правильность вздорных мыслей Бориса Ивановича. Но на первый взгляд, действительно, все в нашей уважаемой жизни кажется отчасти случайным. И случайное наше рождение, и случайное существование, составленное из случайных обстоятельств, и случайная смерть. Все это заставляет и впрямь подумать о том, что на земле нет одного строгого, твердого закона, охраняющего нашу жизнь.

А в самом деле, какой может быть строгий закон, когда все меняется на наших глазах, все колеблется, начиная от самых величайших вещей до мизернейших человеческих измышлений.

Скажем, многие поколения и даже целые замечательные народы воспитывались на том, что Бог существует.

А теперь мало-мальски способный философ с необычайной легкостью, одним росчерком пера, доказывает обратное.

Или наука. Уж тут-то все казалось ужасно убедительным и верным, а оглянитесь назад — все неверно, и все по временам меняется, от вращения Земли до какой-нибудь там теории относительности и вероятности.

Автор — человек без высшего образования, в точных хронологических датах и собственных именах туговато разбирается и поэтому не берется впустую доказывать.

Тем более что об этом Борис Иванович Котофеев вряд ли, конечно, думал. Был он хотя и неглупый человек со средним образованием, но не настолько уж развит, как некоторые литераторы.

И все-таки он и то заметил какой-то хитрый подвох в жизни. И даже стал с некоторых пор побаиваться за твердость своей судьбы.

Но однажды его сомнение разгорелось в пламя. Однажды, возвращаясь домой по Заднему проспекту, Борис

Иванович Котофеев столкнулся с какой-то темной фигурой в шляпе.

Фигура остановилась перед Борисом Ивановичем и худым голосом попросила об одолжении.

Борис Иванович сунул руку в карман, вынул какую-то мелочишку и подал нищему. И вдруг посмотрел на него.

А тот сконфузился и прикрыл рукой свое горло, будто извиняясь, что на горле нет ни воротничка, ни галстука. Потом, тем же худым голосом, нищий сказал, что он — бывший помещик и что когда-то он и сам горстями подавал нищим серебро, а теперь, в силу течения новой, демократической жизни, он принужден и сам просить об одолжении, поскольку революция отобрала его имение.

Борис Иванович принялся расспрашивать нищего, интересуясь подробностями его прошлой жизни.

— Да что ж, — сказал нищий, польщенный вниманием. — Был я ужасно какой богатый помещик, деньги куры у меня не клевали, а теперь, как видите, в нищете, в худобе и жрать нечего. Все, гражданин хороший, меняется в жизни в свое время.

Дав нищему еще монету, Борис Иванович тихонько пошел к дому. Ему не было жаль нищего, но какое-то неясное беспокойство овладело им.

— Все в жизни меняется в свое время, — бормотал добрейший Борис Иванович, возвращаясь домой.

Дома Борис Иванович рассказал своей жене, Лукерье Петровне, об этой встрече, причем несколько сгустил краски и прибавил от себя кой-какие подробности, например как этот помещик кидался золотом в нищих и даже разбил им носы тяжеловесными монетами.

— Ну и что ж, — сказала жена. — Ну, жил хорошо, теперь — плохо. В этом нет ничего ужасно удивительного. Вот недалеко ходить — сосед наш тоже чересчур бедствует.

И Лукерья Петровна стала рассказывать, как бывший учитель чистописания Иван Семеныч Кушаков остался ни при чем в своей жизни. А жил тоже хорошо и даже сигары курил.

Котофеев как-то близко принял к сердцу и этого учителя. Он стал расспрашивать жену, почему и отчего тот впал в бедность.

Борис Иванович захотел даже увидеть этого учителя. Захотел немедленно принять самое горячее участие в его

плохой жизни. И он стал просить свою жену, Лукерью Петровну, чтобы та сходилa поскорей за учителем, привела бы его и напоила чаем.

Для порядку побранившись и назвав мужа «вахлаком», Лукерья Петровна все же накинула косынку и побежала за учителем, снедаемая крайним любопытством.

Учитель, Иван Семенович Кушаков, пришел почти немедленно.

Это был седоватый, сухонький старичок в длинном худом сюртуке, без жилета. Грязная рубашка без воротника выпирала на груди комком. И медная, желтая, ужасно яркая запонка выдавалась как-то далеко вперед своей пупочкой.

Седоватая щетина на щеках учителя чистописания была давно не брита и росла кустиками.

Учитель вошел в комнату, потирая руки и на ходу прожевывая что-то. Он степенно, но почти весело поклонился Котофееву и зачем-то подмигнул ему глазом.

Потом присел к столу и, пододвинув тарелку с ситником с изюмом, принялся жевать, тихо усмехаясь себе под нос.

Когда учитель поел, Борис Иванович с жадным любопытством стал расспрашивать о прежней его жизни и о том, как и почему он так опустилcя и ходит без воротничка, в грязной рубашке и с одной голой запонкой.

Учитель, потирая руки и весело, но ехидно подмигивая, стал говорить, что он, действительно, неплохо жил и даже сигары курил, но с изменением потребностей в чистописании и по декрету народных комиссаров предмет этот был исключен из программы.

— А я с этим свыкся уж, — сказал учитель, — привык. И на жизнь не жалуюсь. А что ситный скушал, то в силу привычки, а вовсе не от голоду.

Лукерья Петровна, сложив руки на переднике, хохотала, предполагая, что учитель уже начинает завираться и сейчас заврется окончательно. Она с нескрываемым любопытством глядела на учителя, ожидая от него чего-то необыкновенного.

А Борис Иванович, покачивая головой, бормотал что-то, слушая учителя.

— Что ж, — сказал учитель, снова без нужды усмехаясь, — так и все в нашей жизни меняется. Сегодня, ска-





Михаил Зощенко



Вера Зоценко. Фотография 1923 г.



Зоценко-читатель



Зощенко-покупатель



«Серapiоны». 1922 г.

Слева направо: К. Федин, М. Слонимский, Н. Тихонов,
Е. Полонская, М. Зощенко, Н. Никитин, И. Груздев,
В. Каверин





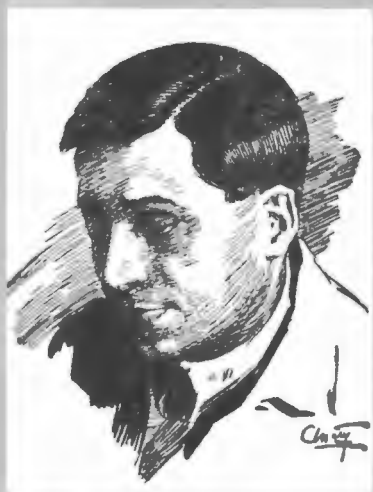


Валерий Зощенко вместе с мамой.
Фотография 1925 г.

ВЕЧЕР
— СЕГОДНЯ
А. РЕМИЗОВ
Н. НИКИТИН
ЗОЩЕНКО
ЛУНЦ



Художник Юрий Аненков



Художник А. П. Апсит



Художник
Геннадий Новожилов



Художник Н. П. Акимов



Художник
Борис Малаховский



Ал. Архангельский.
Шарж Кукрыниксов

Случай в бане

Вот, братцы мои, гражданочки, какая со мной хреновина вышла. Прямо помереть со смеху.

Сижу это я, значит, и вроде как будто смешной рассказ сочиняю. Про утопленника.

А жена говорит:

— Что это, — говорит, — елки-палки, у тебя, между прочим, лицо индифферентное? Сходил бы, — говорит, — в баньку. Помылся.

А я говорю:

— Что ж, — говорю, — схожу. Помоюсь.

И пошел.

И что ж вы, братцы мои, гражданочки, думаете? Не успел это я мочалкой, извините за выражение, спину намылить, слышу — караул кричат.

«Никак, — думаю, — кто мылом подавился или кипятком ошпарился?»

А из предбанника, между прочим, человечек выскакивает. Голый. На бороде номерок болтается. Караул кричит.

Мы, конечно, к нему. «В чем дело? — спрашиваем. — Что, — спрашиваем, — случилось?»

А человек бородой трясет и руками размахивает.

— Караул, — кричит, — у меня луп сперли!

И действительно. Смотрим, у него вместо пупа — голое место.

Ну, тут, конечно, решили народ обыскать. А голых обыскивать, конечно, плевое дело. Ежели спер что, в рот, конечно, не спрячешь.

Пародия Ал. Архангельского «Случай в бане» была одной из лучших пародий на произведения М. Зощенко

Обыскивают. Гляжу, ко мне очередь подходит. А я, как на грех, намылился весь.

— А ну, — говорят, — гражданин, смойтесь.

А я говорю:

— Смыться, — говорю, — можно. С мылом, — говорю, — в подштаники не полезешь. А только, — говорю, — напрасно себя утруждаете. Я, — говорю, — ихнего пупа не брал. У меня, — говорю, — свой есть.

— А это, — говорят, — посмотрим.

Ну, смылся я. Гляжу, — мать честная! Да никак, у меня два пупа!



Шарж Кукрыниксов на М. Зощенко



М. М. Зощенко после выступления.
Фотография 1934 г.





жем, отменили чистописание, завтра — рисование, а там, глядишь, и до вас достучаются.

— Ну, уж вы того, — сказал Котофеев, слегка задохнувшись. — Как же до меня-то могут достучаться... Если я в искусстве... Если я на треугольнике играю.

— Ну и что ж, — сказал учитель презрительно, — наука и техника нынче движется вперед. Вот изобретут вам электрический этот самый инструмент — и крышка... И достучались.

Котофеев, снова слегка задохнувшись, взглянул на жену.

— И очень просто, — сказала жена, — если в особенности движется наука и техника...

Борис Иванович вдруг встал и начал нервно ходить по комнате.

— Ну и что ж, ну и пуцай, — сказал он, — ну и пуцай.

— Тебе пуцай, — сказала жена, — а мне отдувайся. Мне же, дуре, на шею сядешь, пилат-мученик.

Учитель завозился на стуле и примиряюще сказал:

— Так и все: сегодня чистописание, завтра рисование... Все меняется, милостивые мои государи.

Борис Иванович подошел к учителю, попрощался с ним и, попросив его зайти хотя бы завтра к обеду, вызвался проводить гостя до дверей.

Учитель встал, поклонился и, весело потирая руки, снова сказал, выйдя в сени:

— Уж будьте покойны, молодой человек, сегодня чистописание, завтра рисование, а там и по вас хлопнут.

Борис Иванович закрыл за учителем двери и, пройдя в свою спальню, сел на кровати, охватив руками свои колени.

Лукерья Петровна, в стоптанных войлочных туфлях, вошла в комнату и стала прибирать ее к ночи.

— Сегодня чистописание, завтра рисование, — бормотал Борис Иванович, слегка покачиваясь на постели. — Так и вся наша жизнь.

Лукерья Петровна оглянулась на мужа, молча и с остервенением плюнула на пол и стала распутывать свалявшиеся за день свои волосы, стряхивая с них солому и щепки.

Борис Иванович посмотрел на свою жену и меланхолическим голосом вдруг сказал:

— А что, Луша, а вдруг да и вправду изобретут ударные электрические инструменты? Скажем, кнопочка неболь-

шая на пюпитре... Дирижер тыкнет пальцем, и она звонит...

— И очень даже просто, — сказала Лукерья Петровна. — Очень просто... Ох, сядешь ты мне на шею!.. Чувствую, сядешь...

Борис Иванович пересел с кровати на стул и задумался.

— Горюешь небось? — сказала Лукерья Петровна. — Задумался? За ум схватился... Не было бы у тебя жены да дома, ну куда бы ты, голоштанник, делся? Ну, например, попрут тебя с оркестру?

— Не в том, Луша, дело, что попрут, — сказал Борис Иванович. — А в том, что превратно все. Случай... Почему-то я, Луша, играю на треугольнике. И вообще... Если игру скинуть с жизни, как же жить тогда? Чем, кроме этого, я прикреплен?

Лукерья Петровна, лежа в постели, слушала мужа, тщетно стараясь разгадать смысл его слов. И предполагая в них личное оскорбление и претензию на ее недвижимое имущество, снова сказала:

— Ох, сядешь мне на шею! Сядешь, пилат-мученик, сукин кот.

— Не сяду, — сказал Котофеев.

И, снова задохнувшись, он встал со стула и принялся ходить по комнате.

Страшное волнение охватило его. Рукой проведя по голове, будто стараясь скинуть какие-то неясные мысли, Борис Иванович снова присел на стул.

И сидел долго в неподвижной позе.

Затем, когда дыхание Лукерьи Петровны перешло в легкий, с небольшим свистом, храп, Борис Иванович встал со стула и вышел из комнаты.

И, найдя свою шляпу, Борис Иванович напялил ее на голову и в какой-то необыкновенной тревоге вышел на улицу.

4

Было всего десять часов.

Стоял отличный, тихий августовский вечер.

Котофеев шел по проспекту, широко махая руками.

Странное и неясное волнение его не покидало.

Он дошел, совершенно не заметив того, до вокзала.

Прошел в буфет, выпил бокал пива и, снова задохнувшись и чувствуя, что не хватает дыхания, опять вышел на улицу.

Он шел теперь медленно, уныло опустив голову, думая о чем-то. Но если спросить его, о чем он думал, он не ответил бы — он и сам не знал.

Он шел от вокзала все прямо и на аллее, у городского сада, присел на скамейку и снял шляпу.

Какая-то девица, с широкими бедрами, в короткой юбке и в светлых чулках, прошла мимо Котофеева раз, потом вернулась, потом снова прошла и наконец села рядом, взглянув на Котофеева.

Борис Иванович вздрогнул, взглянул на девушку, мотнул головой и быстро пошел прочь.

И вдруг Котофееву все показалось ужасно отвратительным и невыносимым. И вся жизнь — скучной и глупой.

— И для чего это я жил... — бормотал Борис Иванович. — Приду завтра — изобретен, скажут. Уже, скажут, изобретен ударный электрический инструмент. Поздравляю, скажут. Ищите, скажут, себе новое дело.

Сильный озноб охватил все тело Бориса Ивановича. Он почти бегом пошел вперед и, дойдя до церковной ограды, остановился. Потом, пошарив рукой калитку, открыл ее и вошел в ограду.

Прохладный воздух, несколько тихих берез, каменные плиты могил как-то сразу успокоили Котофеева. Он присел на одну из плит и задумался. Потом сказал вслух:

— Сегодня чистописание, завтра рисование. Так и вся наша жизнь.

Борис Иванович закурил папиросу и стал обдумывать, как бы он начал жить в случае чего-либо.

— Прожить-то проживу, — бормотал Борис Иванович, — а к Луше не пойду. Лучше народу в ножки поклонюсь. Вот, скажу, человек, скажу, гибнет, граждане. Не оставьте в несчастье...

Борис Иванович вздрогнул и встал. Снова дрожь и озноб охватили его тело.

И вдруг Борис Ивановичу показалось, что электрический треугольник давным-давно изобретен и только держится в тайне, в страшном секрете, с тем чтобы сразу, одним ударом, свалить его.

Борис Иванович в какой-то тоске почти выбежал из ограды на улицу и пошел, быстро шаркая ногами.

На улице было тихо.

Несколько запоздалых прохожих спешили по своим домам.

Борис Иванович постоял на углу, потом, почти не отдавая отчета в том, что он делает, подошел к какому-то прохожему и, сняв шляпу, глухим голосом сказал:

— Гражданин... Милости прошу... Может, человек погибает в эту минуту...

Прохожий с испугом взглянул на Котофеева и быстро пошел прочь.

— А-а, — закричал Борис Иванович, опускаясь на деревянный тротуар. — Граждане!.. Милости прошу... На мое несчастье... На мою беду... Подайте кто сколько может!

Несколько прохожих окружило Бориса Ивановича, разглядывая его с испугом и изумлением.

Постовой милиционер подошел, тревожно похлопывая рукой по кобуре револьвера, и подергал Бориса Ивановича за плечо.

— Пьяный это, — с удовольствием сказал кто-то в толпе. — Нализался, черт, в буден день. Нет на них закона!

Толпа любопытных окружила Котофеева. Кое-кто из сердобольных пытался поднять его на ноги. Борис Иванович рванулся от них и отскочил в сторону. Толпа расступилась.

Борис Иванович растерянно посмотрел по сторонам, ахнул и вдруг молча побежал в сторону.

— Крой его, робя! Хватай! — завыл кто-то истошным голосом. Милиционер резко и пронзительно свистнул. И трель свистка всколыхнула всю улицу.

Борис Иванович, не оглядываясь, бежал ровным, быстрым ходом, низко опустив голову.

Сзади, дико улюлюкая и хлопая ногами по грязи, бежали люди. Борис Иванович метнулся за угол и, добежав до церковной ограды, перепрыгнул ее.

— Здеся! — выл тот же голос. — Сюды, братцы! Сюды, загоняй!.. Крой...

Борис Иванович вбежал на паперть, тихо ахнул, оглянувшись назад, и налег на дверь.

Дверь подалась и со скрипом на ржавых петлях открылась.

Борис Иванович вбежал внутрь.

Одну секунду он постоял в неподвижности, потом, охватив голову руками, по шатким каким-то, сухим и скрипучим ступенькам бросился наверх.

— Здеся! — орал доброхотный следователь. — Бери его, братцы! Крой все по чем попало...

Сотня прохожих и обывателей ринулась через ограду и ворвалась в церковь. Было темно.

Тогда кто-то чиркнул спичкой и зажег восковой огарок на огромном подсвечнике.

Голые высокие стены и жалкая церковная утварь осветились вдруг желтым скудным мигающим светом.

Бориса Ивановича в церкви не было.

И когда толпа, толкаясь и гудя, ринулась в каком-то страхе назад, сверху, с колокольни, раздался вдруг гудящий звон набата.

Сначала редкие удары, потом все чаще и чаще поплыли в тихом ночном воздухе.

Это Борис Иванович Котофеев, с трудом раскачивая тяжелый медный язык, бил по колоколу, будто нарочно стараясь этим разбудить весь город, всех людей.

Это продолжалось минуту.

Затем снова завыл знакомый голос:

— Здеся! Братцы, неужели-те человека выпускать? Крой на колокольню! Хватай бродягу!

Несколько человек бросилось наверх.

Когда Бориса Ивановича выводили из церкви, огромная толпа полуодетых людей, наряд милиции и пригородная пожарная команда стояли у церковной ограды.

Молча, через толпу, Бориса Ивановича провели под руки и поволокли в штаб милиции.

Борис Иванович был смертельно бледен и дрожал всем телом. А ноги его непослушно волочились по мостовой.

5

Впоследствии, много дней спустя, когда Бориса Ивановича спрашивали, зачем он это все сделал и зачем, главное, полез на колокольню и стал звонить, он пожимал плечами и сердито отмалчивался или же говорил, что он подробностей не помнит. А когда ему напоминали об этих

подробностях, он конфузливо махал руками, упрашивая не говорить об этом.

А в ту ночь продержали Бориса Ивановича в милиции до утра и, составив на него неясный и туманный протокол, отпустили домой, взяв подписку о невыезде из города.

В рваном сюртуке, без шляпы, весь поникший и желтый, Борис Иванович вернулся утром домой.

Лукерья Петровна выла в голос и колотила себя по грудям, проклиная день своего рождения и всю свою несчастную жизнь с таким человеческим отребьем, как Борис Иванович Котофеев.

А в тот вечер Борис Иванович, как и всегда, в чистом опрятном сюртуке, сидел в глубине оркестра и меланхолически позвякивал в свой треугольник.

Был Борис Иванович, как и всегда, чистый и причесанный, и ничего в нем не говорило о том, какую страшную ночь он прожил.

И только две глубокие морщины от носа к губам легли на его лице.

Этих морщин раньше не было.

И не было еще той сутулой посадки, с какой Борис Иванович сидел в оркестре.

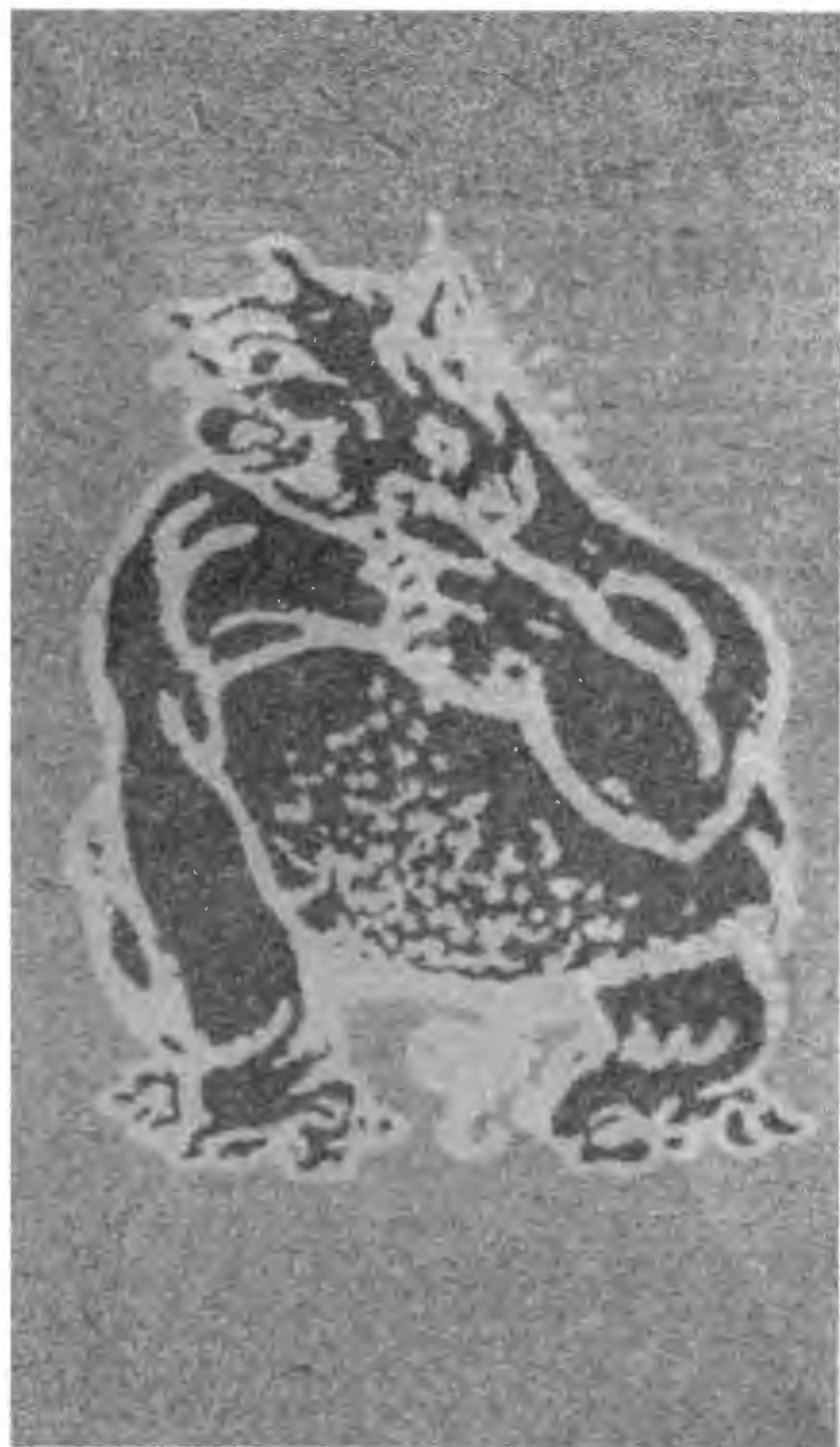
Но все перемелется — мука будет.

Борис Иванович Котофеев жить еще будет долго.

Он, дорогой читатель, и нас с тобой переживет. Мы так думаем.

Толубая книга





От составителя

Не включить эту книгу в том избранных сатирических произведений Михаила Зощенко было невозможно. Но тут была одна трудность.

Дело в том, что, создавая эту — очень важную для него — книгу, Зощенко вставил в нее некоторые ранее написанные свои рассказы, существенно их при этом переработав. Нередко общий замысел книги при включении в нее того или иного рассказа вынуждал автора отказываться от многих ярких подробностей и деталей. В этих случаях (как, впрочем, и в некоторых других) переработанный вариант содержит в себе не только приобретения, но и существенные потери. Я уж не говорю о том, что иному читателю было бы небезынтересно проследить, как видоизменялся замысел автора от варианта к варианту, ибо — «следить за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».

Соблазн включить в этот том и первые варианты рассказов, в измененном виде вошедших в «Голубую книгу», был, таким образом, велик. Но для отнюдь не академического однотомника это было бы непозволительной роскошью.

О выходе в свет «Голубой книги» Зощенко писал:

«Гол. Кн.» наконец напечатана — остались всякие типографские мелочи. Так что книга будет в первой половине января... Редактор меня очень обидел и досадил — порядочно поправок и переделок во всех пяти частях. А в совокупности со старыми поправками — это огорчает ужасно».

«Голубая книга», наконец, вышла, по крайней мере «книжн (контрольный) экземпляр у меня. Снова и не без огорчения увидел, что редактор ужасно меня «потеснил»...

В общем, получилось, что мне подрумянили щеки... Очень досадно. Общій тон несколько сместился. Возможно, что читатель так резко не заметит, но я чувствую это не без боли. В общем, смешно думать о настоящей сатире. Недаром я (посмотрите) написал, что меняю курс литературного корабля...» (Из писем М.М. Зощенко Е.И. Журбиной. Цит. по воспоминаниям Е. Журбиной «Пути исцеления» в кн.: Михаил Зощенко в воспоминаниях современников. М., 1981, стр. 139, 140.)

Эти цензурные искажения сохранялись и во всех последующих изданиях «Голубой книги».

В нашем издании цензорская правка устранена. Но полностью восстановить первоначальный авторский текст мы не смогли, поскольку цензор имел дело не с рукописью, разыскать которую пока не удалось, а с корректурой, к которой до него уже приложил руку редактор.

М. Горькому

Дорогой Алексей Максимович!

Два года назад в своем письме вы посоветовали мне написать смешную и сатирическую книгу — историю человеческой жизни.

Вы писали:

«По-моему, вы и теперь могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить — вышить что-то вроде юмористической «Истории культуры». Это я говорю совершенно убежденно и серьезно...»

Я могу сейчас признаться, Алексей Максимович, что я весьма недоверчиво отнесся к вашей теме. Мне показалось, что вы предлагаете мне написать какую-нибудь юмористическую книжку, подобную тем, какие уже бывали у нас в литературе, например «Путешествие сатириконовцев по Европе» или что-нибудь вроде этого.

Однако, работая нынче над книгой рассказов и желая соединить эти рассказы в одно целое (что мне удалось сделать при помощи истории), я неожиданно наткнулся на ту же самую тему, что вы мне предложили. И тогда, вспомнив ваши слова, я с уверенностью принялся за работу.

Нет, у меня не хватило бы сил и умения взять вашу тему в полной своей мере. Я написал не Историю культуры, а, может быть, всего лишь краткую историю человеческих отношений.

Позвольте же, глубокоуважаемый Алексей Максимович, посвятить вам этот мой слабый, но усердный труд, эту мою «Голубую книгу», которую вы так удивительно предвидели и которую мне было тем более легко и радостно писать, сознавая, что вы будете ее читателем.

Сердечно любящий вас

Мих. Зощенко.
Январь, 1934 г. Ленинград

Предисловие

Веселость нас никогда не покидала.

Вот уже пятнадцать лет мы, по мере своих сил, пишем смешные и забавные сочинения и своим смехом веселим многих граждан, желающих видеть в наших строчках именно то, что они желают видеть, а не что-нибудь серьезное, поучительное или досаждающее их жизни.

И мы, вероятно по своему малодушию, бесконечно рады и довольны этому обстоятельству

Нынче мы замыслили написать не менее веселую и забавную книжонку о самых разнообразных поступках и чувствах людей.

Однако мы решили написать не только о поступках наших современников. Перелистав страницы истории, мы отыскивали весьма забавные факты и смешные сценки, наглядно рисующие поступки прежних людей. Каковые — сценки мы также предложим вашему вниманию. Они нам весьма пригодятся для доказательства и утверждения наших дилетантских мыслей.

Нынче, когда открывается новая страница истории, той удивительной истории, которая будет происходить на новых основаниях, быть может, без бешеной погони за деньгами и без великих злодеяний в этой области, нынче особенно любопытно и всем полезно посмотреть, как жили раньше.

И в силу этого мы решили, прежде чем приступить к новеллам из нашей жизни, рассказать вам кое-что из прежнего.

И вот, перелистав страницы истории своей рукой невежды и дилетанта, мы подметили неожиданно для себя, что большинство самых невероятных событий случилось

по весьма немногочисленным причинам. Мы подметили, что особую роль в истории играли деньги, любовь, коварство, неудачи и кое-какие удивительные события, о которых речь будет дальше.

И вот в силу этого мы разбили нашу книгу на пять соответствующих отделов.

И тогда мы с необычайной легкостью, буквально как мячи в сетку, распахали наши новеллы по своим надлежащим местам.

И тогда получилась удивительно стройная система. Книга заиграла всеми огнями радуги. И осветила все, что ей надо было осветить.

Итак, в книге будет пять отделов.

В каждом отделе будет особая речь о том предмете, который явится нашей темой.

Так, например, в отделе «Любовь» мы расскажем вам, что знаем и думаем об этом возвышенном чувстве, затем припомним самые удивительные, любопытные приключения из прежней истории и уж затем, посмеявшись вместе с читателем над этими старыми, поблекшими приключениями, расскажем, что иной раз случается и бывает на этом фронте в наши переходные дни. И то же самое мы сделаем в каждом отделе. И тогда получится картина полная и достойная современного читателя, который перевалил через вершины прошлого и уже двумя ногами становится в новой жизни.

Конечно, ученые мужи, подобострастно читающие историю через пенсне, могут ужасно рассердиться, найдя наше деление произвольным, крайне условным и легкомысленным.

Но пускай они сердятся, а мы тем не менее будем продолжать. Итак, перед нашим взором пять отделов: Деньги, Любовь, Коварство, Неудачи и Удивительные события.

Отметим, что последний отдел должен быть самый замечательный, примиряющий нас с недостатками, неровностями и шероховатостями жизни.

В этом отделе будут отмечены наилучшие, наиболее роднейшие поступки, поступки высокого мужества, великодушия, благородства, героической борьбы и стремления к лучшему.

Этот отдел, по нашей мысли, должен зазвучать, как Героическая симфония Бетховена.

Нашу книгу мы назвали голубой. Голубая книга!

Мы назвали ее так оттого, что все другие цвета были своевременно разобраны. Синяя книга, белая, коричневая, оранжевая... Все цвета эти были использованы для названий книг, которые выпускались различными государствами для доказательства своей правоты или, напротив, — вины других.

Нам едва оставалось четыре-пять совершенно невзрачных цвета. Что-то такое: серый, розовый, зеленый и лиловый. И посудите сами, что таким каким-либо пустым и незначительным цветом было бы по меньшей мере странно и оскорбительно назвать нашу книгу.

Но еще оставался голубой цвет, на котором мы и остановили свое внимание.

Этим цветом надежды, цветом, который с давних пор означает скромность, молодость и все хорошее и возвышенное, этим цветом неба, в котором летают голуби и аэропланы, цветом неба, которое расстилается над нами, мы называем нашу смешную и отчасти трогательную книжку.

И что бы об этой книге ни говорили, — в ней больше радости и надежды, чем насмешки, и меньше иронии, чем настоящей, сердечной любви и нежной привязанности к людям.

Итак, поделившись с вами общими замечаниями, мы торжественно открываем наши отделы.

И по этим отделам, как по аллеям истории, мы предлагаем читателю прогуляться.

Дайте вашу мужественную руку, читатель. Идемте. Мы желаем вам показать кое-какие достопримечательности.

Итак, мы открываем первый отдел — «Деньги», который в свою очередь распадается на два отдела: исторические новеллы о деньгах и рассказы из наших дней на эту же тему.

А прежде этого в отвличенной беседе обрисуем общее положение.

Итак — «Деньги».

1. Мы живем в удивительное время,

когда к деньгам выражено недоверие.

Мы живем в той стране, в которой прекратилось величественное шествие капитала.

Мы живем в том государстве, где нет почтительного преклонения перед деньгами и где этому предмету, или, вернее, бесконечному могуществу этого предмета, нанесены первые и весьма серьезные смертельные раны.

2. Этот могущественный предмет до сей славной поры с легкостью покупал все, что вам было угодно. Он покупал сердечную дружбу и уважение, безумную страсть и неясную преданность, неслыханный почет, независимость и славу и все, что имелось наилучшего в этом мире.

Но он не только покупал, он еще, так сказать, имел совершенно сказочные свойства превращений.

И, например, обладательница этого предмета, какая-нибудь там крикливая, подслеповатая бабенка, без трех передних зубов, превращалась в прелестную нимфу. И вокруг нее, как больные, находились лучшие мужчины, добиваясь ее тусклого взгляда и благосклонности.

3. Полоумный дурак, тупица или полный идиот, еле ворочающий своим косноязычным языком, становился в наших глазах остроумным малым, поминутно говорящим афоризмы житейской мудрости. Пройдоха, сукин сын и жулик, грязная душонка которого при других обстоятельствах вызывала бы омерзение, делался почетным лицом, которому охота была пожать руку. И безногий калека с рваным ухом и развороченной мордой нередко превра-

щался в довольно симпатичного юношу с ангельской физиономией.

Вот в кого превращались обладатели этого предмета. И вот, увы, этому магическому предмету, слишком действовавшему на наше мягкое, как воск, воображение и имеющему столь поразительные свойства, достойные сказки, нанесены у нас тяжелые раны. И что из этого будет и получится, лично нам пока в полной мере и до конца неизвестно.

Однако мы думаем, что ничего плохого, кроме хорошего, не произойдет. И, быть может, счастье еще озарит нашу горестную жизнь.

4. Вот, если, предположим, какое-нибудь, ну, я не знаю, какое-нибудь там разумное существо, скажем, с другой культурной планеты, ну, предположим, с Марса или там с Юпитера, завернет, допустим, ненадолго на нашу скромную землю, — существо это, не привыкшее к нашим земным делам, до крайности изумится течению нашей земной жизни.

Конечно, хочется думать, что это разумное существо в первую очередь и хотя бы ввиду обширности наших полей и равнин завернет или упадет именно к нам. И тогда его изумление не будет столь грандиозно.

Но если оно, допустим, по неопытности или там из крайнего любопытства, или, чего доброго, из желания, в силу своей порочности, порезвиться завернет сначала в одну из европейских стран, рассчитывая там отвести свою душеньку, засохшую в мытарствах далеких и строгих планет, то оно, непривычное к таким видам, до крайности поразится в первое же мгновение.

5. Вот, предположим, существо это спустилось, или, придерживаясь более земных понятий, скажем — упало на своем летательном аппарате куда-нибудь, ну, там поблизости какого-нибудь мирового города, где, так сказать, блеск, треск и иммер элеган.

Сверкают, предположим, лампионы. Вырываются к небу лучи реклам. Блестит на облаках всем на удивление какая-нибудь там световая бутылка с шампанским. Пробка у ней нарочно выскакивает. Световые брызги блестят. Внизу гремит музыка. Поезд грохочет. Визжит там, я из-

виняюсь, какой-нибудь человечиска, которому отхватило полноги. Сок течет... Автомобиль едет, до отказа наполненный шикарными дамами. Они с хохотом и прибаутками едут куда-нибудь там, ну, я не знаю — в оперу или кабаре, повеселиться. Бравый полисмен оживленно отдает им честь... Где-то мило поют... Где-то раздается выстрел.. Где-то плачут, охают и танцуют.

6. Одним словом, грохот, треск и блеск ошеломляют наше приезжее существо, которое тем не менее бесстрашно устремляется вперед, чтоб посмотреть на невиданное дотоле зрелище.

Смешавшись с толпой, наше странное существо идет, предположим, на своих кривых ножках по главной улице.

Ротик у него раскрыт, глазенки вращаются туда и сюда, в сердце, если имеется таковое, неясная тревога смешивается сожалением, что сдуру оставлено насиженное место, и вот — не угодно ли, может быть, черт знает, что сейчас произойдет

И вдруг существо видит: подъезжает к подъезду какой-нибудь там шикарный мотор.

7. Три швейцара стремительно выбегают и с превеликим почтением открывают дверцы. И любопытные, затаив дыхание, смотрят на того, кто сейчас оттуда вылезет.

И вдруг из авто, наклонив головку, выпархивает, вообразите себе, этакая куколка, крайне миловидная, красивенькая дама, такая прелестная, как только может представить себе праздничная фантазия мужчины. В одной ручке у нее крошечный песик, дрожащий черненький фокстерьер, в другой ручке — кулек с фруктами — ну, там персики, ананасы и груши.

Она выпрыгивает из авто с крайне беспомощными словами: «Ах, упаду!» или «Ах, Алексис, ну где же ты, наконец!»

И вот вслед за ней, кряхтя, плюясь и поминутно сморкаясь, вылезает Алексис на своей хромой ноге. Этакое, представьте себе, грубое животное, этакая у него морда — нос кривой, одной скулы нету, и из глаза гной течет. Нет, он одет модно и элегантно, но, сразу видать, это ему никак не помогает, а, напротив того, усиливает его крайне безобразный вид.

8. И вот все ему тем не менее кланяются в три погибели, все на него восторженно смотрят. Шепот восторга и почтения пробегает по рядам.

— Ах, — говорит швейцар, дрожа от волнения, — какое счастье, господа, что он к нам пожаловал.

А он, этот хромоногий субъект, видать, состарившийся в злодеяниях, небрежно зевая и не закрывая даже своего едала рукой, идет себе на своей кривой ноге, нехотя поглядывая на прелестную даму, которая суть не кто иная, как его жена.

— Пардон. Кто это такое? — испуганно спрашивает наше разумное существо у швейцара. — Это что же будет: какой-нибудь ваш великий ученый, или политический деятель, или, может быть, крупный педагог своего времени?

— Педагог, — презрительно говорит швейцар. — Если б педагог, то никакой бы, извиняюсь, суматохи не случилось. У нас педагогов, может быть, с кашей жрут, а это приехавши миллионер.

9. С трудом понимая, что это значит, наше разумное существо узнает, что этот хромоногий субъект, которому оказано столь великое уважение, только тем и замечательен, что он весьма удачно торгует автомобильными шинами, купленными на те деньги, которые оставил ему его папа.

Не понимая, что это значит, и не желая ломать свои возвышенные мозги, наше разумное существо, рассердившись, решает тогда покинуть землю, где земных обитателей уважают за столь странные и непонятные свойства.

И вот спешит наше приезжее существо обратно к своему летательному аппарату.

И по дороге видит странные сценки. Оно видит шикарных и развязных людей в длинных пубах, подбитых мехом. И людей жалких, бедно одетых, идущих трухлявой, вороватой походкой. Оно видит ребятенка с протянутой лапкой. И роскошного, нахального младенца с свисающими от жира щеками, которого за ручку ведет мама и поминутно кормит то бисквитами, то каким-то мягким шоколадом.

Оно видит картину, наверно привычную и для его потустороннего взора, — оно видит молодую красоточку, поспешно выбежавшую на тротуар и пристающую к мужчинам с надеждой заработать у них на своей миловидности.

10. И, видя все это, наше существо спешит, чтобы сесть в свой аппарат и лететь куда глаза глядят.

И вдруг оно чувствует, как чья-то рука лезет в его карман, которого, вообще-то говоря, у него и нету, а деньги, по обычаю своей планеты, оно, может быть, держит на груди.

Прижав лапчонкой это место, чтобы не уперли последнее сбережение, наше существо садится в аппарат и, нажав кнопку, поспешно взлетает к ярким небесам, бормоча на своем тарабарском наречии:

— А ну вас, знаете ли, к лешему. Тоже, представьте себе. — планета.

Прощайте, прощайте... До свиданья... Прилетайте почаще. Быть может, в дальнейшем что-нибудь изменится. Привет вашим. Пишите. Заглядывайте к нам. У нас течение жизни идет по-иному.

11. Да, в самом деле, у нас иная жизнь. Нет, у нас есть деньги. У нас на них многое можно купить, но они иначе распределяются между людьми. И у нас нет уважения к тому, кто почему-либо их больше имеет. У нас такую личность уважают за другие качества.

Значит, новая жизнь, новые отношения и новая страница истории.

И вот, стало быть, если это так, — интересно и всем обязательно нужно и полезно посмотреть, что было раньше, раз этого сейчас нету, и что случилось в прошлом, раз больше не хотят, чтоб это происходило в настоящем.

И вот, поскленив палец, мы перелистываем пожелтевшие страницы бесстрастной истории.

И тут мы сразу видим, что история знает великое множество удивительных рассказов о деньгах. Однако, прочитав их, мы решительно не можем понять, почему история должна рассказывать об этом беспристрастно. Напротив. Некоторые историйки, на наш взгляд, весьма прекомичны, и над ними надо смеяться. А есть рассказы, над которыми следует проливать слезы.

Но нет, что вы, мы не собираемся пересказать вам всю историю. Мы расскажем то, что было наиболее смешно, и то, что было наиболее характерным, как нам показалось.

12. Вот, например, извольте прослушать рассказ о си-и денег, рассказ о том, как однажды с публичного торга продавался царский трон. Причем не самый, конечно,

трон, не мебель, а целое царствование. И каждый желающий богатый субъект, любитель поцарствовать, мог спокойно стать царем. И мог, так сказать, всем на удивление, создать свою собственную какую ни на есть худородную династию. И это случилось не в какой-нибудь там захудалой стране, где, так сказать, ковыль, леса и белки, а ни больше ни меньше как в самом величественном Риме.

Причем это было тем более достойно всякого удивления, что в то время и трон и царская династия необыкновенно почитались и были, так сказать, нечто божественное, освященное привычками и веками. И уж во всяком случае понятие об этом было несколько иное, чем, извиняюсь, в наши дни. Но тем не менее деньги все же над этим восторжествовали. Бесстрастная история рассказывает, что в Риме в 193 году нашей эры преторианцы¹, нуждаясь в деньгах, пустили императорский трон с публичного торга.

Желающих быть императорами оказалось больше, чем следовало ожидать.

13. Мы представляем себе, как при этом горячились жены претендентов на престол. И какие были крики, стоны и вопли и, может быть, даже, извините, драки и побоища. Было, конечно, весьма соблазнительно из полного ничтожества стать вдруг императрицей. Однако два человека вскоре обскакали всех.

Один богатый человек, городской префект Сульпициан, предложил около восьми миллионов рублей за престол.

Однако другой претендент, сенатор Дидий Юлиан, прикуркуватый и немолодой субъект, жена которого, по-видимому, нервно стояла рядом, хриплым голосом, унимая сердцебиение рукой, сказал, что он дает каждому солдату ровно по шесть тысяч двести пятьдесят динариев, что составляло в общей сложности тринадцать миллионов рублей.

Сумма эта вызвала великий энтузиазм в массах, и сенатор Дидий Юлиан, шатающийся от слабости и волнений, получил заманчивый престол.

¹Преторианцами назывались отборные войска — стража римских императоров. (Здесь и далее прим. М. Зошенко.)

— Ты просто дурак! — вероятно, сказала супруга императору. — Брякнуть тринадцать миллионов! Они бы нам и за девять уступили...

— Ну уж, матушка, почему я знал. Ты бы меня со свету сжила, ежели бы кто другой перебил.

14. Однако со свету сжила его не супруга. А, кое-как процарствовав шестьдесят шесть дней, этот любитель императорской власти неожиданно закончил свое земное существование, — те же преторианцы его умертвили, заколов кинжалами.

— Мерзавцы, — наверно, кричал бедняга-император, — что вы, ей-богу, делаете, я же вам, кажется, заплатил сполна.

Однако доблестные воины, надеясь, вероятно, вовлечь в подобную сделку еще следующего богатого дурака, безжалостно прикололи горе-императора, невинная и многострадальная душа которого поспешно взвилась к небу, горько жалуясь господу Богу на величайшее свинство и вопиющую людскую непорядочность.

Свинство же, действительно, было преогромное — за тринадцать миллионов царствовать всего два месяца и после того отдать богу душу. А впрочем, дурак был отчасти сам виноват — зачем полез в императоры.

Но в общем трон — это неудивительно.

15. Вот было удивительно, когда церковь стала продавать ордера на отпущение грехов. Это у них уклончиво называлось индульгенциями.

Мы, собственно, не знаем, как возникло это дело. Вероятно, было заседание обедневших церковников, на котором, давясь от здорового смеха, кто-нибудь предложил эту смелую идею.

Какой-нибудь там святой докладчик, наверное, в печальных красках обрисовал денежное положение церкви.

Кто-нибудь там несмело предложил брать за вход с посещающих церковь.

Какой-нибудь этакий курносый поп сказал своим гнусавым голосом:

— За вход брать — это они, факт, ходить не будут. А вот, может быть, им при входе чего-нибудь такое легонькое

продавать, дешевенькое, вроде Володи... Что-нибудь вкручивать им...

Кто-нибудь крикнул:

— Дешевенькое тоже денег стоит. А вот, может, нам с каждого благословения брать? Или: водой морду кропил — платите деньги.

16. Но тут вдруг наш курносый поп, фыркая в руку и качаясь от приступов смеха, сказал:

— А может, нам, братцы, грехи отпущать за деньги? У кого какой грех — гони монету... И квиток получай на руки... Ай, ей-богу...

Тут, без сомнения, шум поднялся, смешки, возгласы. Пожалуй, какая-нибудь высохшая ханжа, воздев к небу руки, сказала:

— А как же бог-то, иже еси на небеси?

Курносый говорит:

— А может, мы для него и стараемся... Я только, братцы, другого боюсь — вдруг не понесут деньги... Народ форменный прохвост пошел.

Но тут, проголосовав, решили испытать это дело. Дело, вопреки сомнениям, двинулось хорошо. И вот этой выгодной торговлишкой церковь усердно занималась в течение многих веков.

Любой грех можно было выкупить за определенную плату.

17. Божественный наместник Христа, некто папа Лев X (1514 год), сильно нуждаясь в деньгах и желая расшевелить эту заглохшую было в его время торговлишку, решил отправить за границу специального человечка, надеясь потрясти карманы состоятельным иностранцам, верующим в святость и непогрешимость церкви.

Этот человек, монах Тецель, объехал все германские владения, бойко торгуя там ордерами на отпущение грехов.

Он ездил на лошади с двумя ящиками. В одном ящике у него были папские грамоты и ярлыки на отпущение грехов — прошлых, настоящих и даже будущих. В другой ящик монах пихал деньги за вырученный товар.

История рассказывает про это арапство забавный анекдот, как один германский рыцарь встретил в лесу это-

го монаха. Этот рыцарь купил у монаха ордер на отпущение того греха, который он намерен исполнить. После чего, избив монаха и отняв у него ящик с деньгами, скрылся.

18. Впрочем, что касается церкви, это тоже не так уж поразительно. По части денег церковь всегда отличалась непомерной жадностью. И самые крупные суммы скапливались в церковных и монастырских недрах и подвалах.

Конечно, попы прошлого, надо сказать, несколько отличались от современных затрушенных служителей культа. Это были яростные молодцы и любители хорошо пожрать и выпить. Многие из них ходили со шпорами, вооруженные мечами и пистолетами, многие ездили на конях, сражались и ворочали политическими делами. И, любя широкую жизнь, загребали деньги с живых и мертвых.

Так что все, что касается церкви, это не так поразительно.

А вот очень интересно читать, как из-за денег произошло падение знаменитого придворного деятеля, кавалера и светлейшего князя, господина Меншикова.

Вот это было поразительно, как такой опытный волк и царедворец, переживший четырех императоров, много раз попадавший в кражах, взятках и лихоимствах, дважды еле спасшийся от пыток и дыбы, этот, можно сказать, выдавший виды опытный злодей пропал на совершенно пустом деле.

Поводом к его падению послужила небольшая и весьма даже преглупая денежная история.

19. Надо сказать, что императору Петру II было в то время двенадцать лет. И в день его именин петербургское купечество, не отличаясь фантазией, но желая подольститься к своему царю, подарило ему несколько сот червонцев.

История не говорит, сколько именно червонцев, но то, что их несли на подносе императору, надо полагать, что это было не очень мало и не очень много, а в меру.

А когда служитель нес эти деньги на подносе, светлейший князь Меншиков имел несчастье и неосторожность и третить его.

— Ты что, дурак, несешь? — наверно, спросил Меншиков.

— Так что — деньги.

— Как деньги?! А ну-ка, давай их сюда.

И взял.

— Государь еще слишком мал, — неопределенно добавил Меншиков. — Он еще не понимает, что такое деньги.

Однако, как оказалось, мальчишка-император отлично понимал, что такое деньги.

Узнав о том, что деньги взял себе Меншиков, мальчишка, говорит история, буквально наорал на него.

— Я тебе покажу, что я император! — вскричал разгневанный отрок.

20. Вам живо рисуется эта историческая сценка, достойная быть записанной.

— Да-а, — сказал мальчишка, встретив Меншикова. — Ты что же это мои деньги-то заграбастал? Хитрый какой!

— Ка-акие деньги, ваше величество? Что вы?.. Помилуйте... в глаза-с не видал...

— Да-а... какие! Сам небось взял, а теперь говорит — «какие»... Это мне принесли, а не тебе.

— Ах, эти деньги... Что купцы вам принесли, ваше величество?

— Да-а... Я император, а не ты... Купцы, может, мне принесли...

— Ах, да, да... вспоминаю, ваше величество... А я их, знаете ли... велел, тово... к себе, тово... отнести. Пущай, думаю, у меня полежат, покуда ваше величество не подрастет.

— Отдай мои деньги, — заревел мальчишка. — Я маме скажу. Я тебе покажу, что я император!

Устрашенный Меншиков побежал к себе, чтобы вернуть эти деньги.

«Смотрите, — думал Меншиков, — такой маленький шкет, а уже так отлично понимает. Прямо не хуже меня. Надо будет, действительно, отдать деньги этой шельме, — пожалуй, беды не оберешься».

21. Однако в тот же день вечером, когда Меншиков явился во дворец, его не приняли. А через несколько дней он был арестован и сослан на вечное жительство в глухую деревню.

Конечно, причины этого падения были более сложны. Тут была борьба придворных партий, однако интересно, что поводом к падению послужил именно этот денежный случай.

История рассказывает, что Меншиков чрезвычайно был напуган, когда его не приняли во дворец.

Сохранилось до наших дней его письмо к императору. В этом письме он буквально унижался и молил о пощаде и предлагал «возвратить деньги с избытком».

Однако двор деньги эти вернул с еще большим избытком, чем предполагал господин Меншиков.

Меншикова лишили всех орденов, чинов и поместий. У него конфисковали буквально несметное богатство — несколько сот пудов золота и около четырнадцати миллионов деньгами.

Оказывается, светлейший князь не зевал и за сорок лет близости к царям лихо нагребил себе совершенно сказочное состояние.

Как говорится, поделом вору и мука.

22. Но все это — и трон, и церковь, и политические падения, — все это не более удивительно, чем то, что мы желаем рассказать.

Мы желаем рассказать о том, как сам господин закон почтительно относился к деньгам.

История не знает ничего более поразительного, чем это.

Вот как это у них было согласно истории.

Там у них за уголовные преступления наказаний почти не было. И можно было убивать и так далее. И вместо наказания обвиняемый платил денежный штраф. И его после этого, пожав руку, отпускали. И даже, может, просили почаще заходить.

В общем, очень у них было мило в этом смысле. Легко дышалось. Чего уютно можно было делать. Были бы деньги.

Причем такая гуманная система существовала не только в России, но во всем мире. И это длилось целые века.

Только в России в этом смысле слегка перестарались и прямо дошли до ручки. Там это очень привилось. И там даже специальные законы написали и определили, сколько и за что надо платить.

Так что уголовный кодекс выглядел у них все равно как ресторанное меню. Там цена указана за любой проступок. И каждый, согласно указанной цене, мог выбирать себе любое дело по карману.

Однако перестанем шутить и давайте всерьез зачитаем кодекс.

23. Вот зачитайте выписки из «Русской Правды»¹:

● «Если придет на двор (то есть в суд) человек в крови или в синяках, то свидетелей ему не искать, а обидчик пусть платит продажи² — три гривны».

Отметим, что гривна не равнялась нашему гривеннику и этот мордобой не оценивался в тридцать копеек, не то все ходили бы с распухшей мордой. Гривна — это был кусок серебра около одной трети фунта.

● «Если кто ударит кого батоном, либо чашей, либо рогом, либо тыльной стороной меча, то двенадцать гривен продажи, а если обиженный, не стерпев того, ударит мечом, то вины в том нет».

Штраф этот опять-таки шел в пользу князя, хотя били и не его. Однако кое на чем мог подзаработать и пострадавший.

● «Если кто поранит другому руку и рука отпадет или отсохнет, или поранит ногу, глаз или нос, то платит виру — двадцать гривен, а потерпевшему — десять гривен».

На этом мелком деле князь имел в два раза больше, чем потерпевший, что нельзя назвать полной справедливостью.

Но были дела, на которых князь терпел явные убытки:

● «Кто отрубит другому какой-либо палец — три гривны продажи, а потерпевшему — десять гривен».

¹«Русская Правда», из которой мы делаем выписки, относится к середине XIII века.

²«Продажей» назывался штраф за преступление в пользу князя. Вознаграждение потерпевшему называлось «урок». Штраф за убийство назывался «виной».

Интересно, что и за палец, и за целую руку потерпевший получал одинаково по десять гривен, а князь на пальцах терял почему-то больше чем в семь раз.

24. Однако не будем разбираться в этих психологических тонкостях. Деда небось туго знали, чего делали.

Но вот поразительно: цены за убийство в общем счете почти не превышали цен за драки и моральные оскорбления.

Вот извольте, прејскурант за убийства. Извиняемся, конечно, за отступление, но уж очень у них интересно и наглядно получается.

Делаем выписки из той же «Русской Правды», записанной в «Новгородской летописи»:

● «Если убьют купчину немца в Новегороде, то за голову десять гривен».

Столь унизительно низкая цена за голову иностранного специалиста в дальнейшем, правда, была доведена до сорока гривен, и убийство интуристов, видимо, стало не всем по карману и не всем доступно, но все же цена была немного больше, чем удар чашей или рогом по отечественной морде.

● «Если кто убьет княжого конюха, повара или подъездного — сорок гривен за голову».

● «Если кто убьет княжого тиуна (приказчика, судью, дворецкого) — двенадцать гривен».

Судя по данным ценам, интеллигенция мало ценилась в те времена. Конюхи и повара стоили несколько дороже.

25. Но все эти цены, можно сказать, были до некоторой степени приличны и не слишком уж роняли человеческое достоинство и стоимость человеческой жизни. Эти цены, так сказать, не заставляли думать о тщете человеческой жизни. Однако же были цены просто из рук вон плохие:

● «Если убьют рабочего — пять гривен.

Если убьют смерда (крестьянина) — пять гривен.

За холопа — пять гривен.

За рабу — шесть гривен».

Иной раз, правда, цены за «простых людей» повышались:

● «Кто убьет ремесленника или ремесленницу — двенадцать гривен».

Закон не был чужд и гуманных соображений:

● «Кто убьет кормильца (дядьку) — двенадцать гривен». Кражи и ограбления также оплачивались всевозможными денежными штрафами.

Причем эти штрафы не превышали двенадцати гривен. И только конокрадство и поджог карались знаменитым наказанием — «потоком и разграблением». То есть обвиняемого изгоняли из дома и «всем миром» разграбляли его имущество.

26. В общем, денежный штраф являлся, сколько можно заключить, единственным возмездием за всякое преступление.

И, конечно, такой закон, действующий в течение многих столетий, без сомнения, отличным образом обработал сознание у людей. — кто имел побольше денег, тот мог не только своим ближним разбивать морды жердью или там чем угодно, но мог и убивать их и делать все, что ему заблагорассудится, — закон стоял на страже всевозможных мелких его интересов и душевных потребностей. И мы полагаем, что и в наше время там, где слишком почитается богатство, это высокое, гордое сознание остается неизменным.

Конечно, до революции и в нашей стране любой богатый гражданин с легкостью мог освободиться от самых тяжелых обвинений. И, например, преступления богатых и влиятельных помещиков никогда почти даже и не выявлялись наружу. Поскольку денежные взятки и связи не доводили дело до суда.

Вот, например, был такой знаменитый случай: калужский губернатор Лопухин (1819 год) за взятки прекращал все дела во вверенной ему губернии. Этот аферист и пройдоха однажды за семь тысяч взялся даже прекратить дело помещика Хитрово, который обвинялся в убийстве.

27. Можно представить, какой был при этом разговор!

— Извиняюсь, — сказал, наверно, добродушный губернатор, — только меньше как за семь тысяч я не возьмусь.

— Тысчонок бы пять, — вздохнувши, говорил помещик.

— Лизет, — спросил губернатор супругу, — не помнишь ли, душенька, сколько мы в прошлый раз взяли за этого, ну, как его... которого к медведю... бросили... Четыре? Вот видите, молодой человек, мы четыре тысячи взяли за то, что какой-то там медведь слегка помял дворянина. А тут у вас бог знает что — убийство! Вот не убивали бы — вот, может, я бы и ничего с вас не взял. Это уж ваша неосторожность...

— Ну ладно, — сказал помещик, — согласен, только вы уж тово, поскорей. А то ваши прохвосты каждый день ходят... Беспокоят.

— А вы их в морду, — сказал губернатор, пряча деньги.

В общем, это дело всемогущий губернатор действительно прекратил. Правда, если бы речь шла об убийстве ну, скажем, «смерда» или наемного рабочего, то дело бы окончательно заглохло, но помещик имел неосторожность угробить дворянина. И дело случайно просочилось и стало известным в Петербурге.

Александр I велел отдать Лопухина под суд. Больше года тянулось это каверзное дело, и окончилось оно ничем. Вернее, у прохвоста-губернатора оказался родственник председатель Государственного совета, и Сенат не захотел портить с ним отношений. Дело об этом подлеце так и заглохло. И тем более заглохло дело об убийстве.

28. Итак, если господин закон столь почтительно и робко относился к людям, имеющим деньги, и деньгами можно было оплатить всякое свое преступление, то сами посудите, что тяга и стремление к деньгам были весьма серьезным делом. И действительно, в этом смысле люди сильно преуспевали и в этом деле, можно сказать, доводили свою фантазию до крайних пределов возможного. Но тут, так сказать, мораль у них сильно раскололась. С одной стороны, нужно было хапнуть деньги для того, чтобы жить честно и быть в безопасности от превратностей жизни, а с другой стороны, добыча денег почти всегда была связана с преступлением. Тут можно было растеряться. Поэтому бедняга-человек, награбив деньги и сразу забывши обо всем, лепетал высокие слова о совести и чести и писал об этом законы, а до этих пор вполне мог и был способен с легкостью зарезать родного папу, чтоб воспользоваться его имуществом.

И, скажем прямо, такое сильное стремление к деньгам было таким, что никакое другое дело не могло хотя бы сколько-нибудь с этим равняться.

То есть никаких преград не существовало для достижения денег.

29. Скажем прямо: в смысле добычи денег — это ужас что делалось на протяжении всей истории.

В свое время знаменитый писатель Карамзин так сказал: «Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют».

Однако мы не будем, конечно, говорить о профессиональных ворах и грабителях — так сказать, специалистах по доставанию денег, — дело это повседневное и малоудивительное. Но мы хотим обратить ваше благосклонное внимание на несколько почтенных и уважаемых фигур, воровство и грабежи которых являются некоторой, что ли, неожиданностью.

Мы уже имели честь говорить о Меншикове. Этот пройдоха за одно только царствование Петра I четыре раза был под судом за кражи, взятки и лихоимство. Петр снисходительно относился к своему любимцу и всякий раз спасал его от казни. Но, например, одного штрафа по суду господин Меншиков заплатил около трехсот тысяч рублей. Если не врут историки. А сумма эта по тем временам неслыханная. Так можете себе представить, сколько упер этот тип, если был такой штраф.

Но вот взгляните на пресветлую фигуру тех времен — на господина Петра Толстого. Сей почтенный господин был сподвижник Петра I, наш уважаемый посол в Константинополе, крупнейший деятель того времени, человек умный и даже отмеченный многими талантами. И, скажем к слову, — прапрадед нашего Л.Н. Толстого, что не помешало ему быть изрядным арапом.

30. При отъезде его послом в Константинополь (в 1705 году) он получил на подкуп турецких сановников двести тысяч червонцев. И, как установлено, больше чем половину денег он присвоил себе.

Наверно, он подумал: «Чем я буду каким-то прохвостам туркам платить, дай-ка я возьму себе за труды».

Однако один его подьячий, Тимофеев, сделал на него донос. Этот донос Толстой успел перехватить. И, чтоб спрятать концы в воду, отравил своего этого беднягу-подьячего.

И об этом отравлении лично донес в посольский приказ, мотивируя свое убийство тем, что подьячий хотел будто бы обратиться в магометанство. История сохранила этот на редкость любопытный документ — письмо П. Толстого (от 10 июня 1706 года).

Господин Толстой писал:

«...Подьячий Тимофеев намеревался было стать бусурманом, о котором его намерении бог мне помог увидеть. Позвав его к себе, тайно запер его у себя в избе, где сплю, до ночи. А в ночь он выпил рюмок вина, скоро умер и тем сохранил нас от такой беды...»

Это хитрое письмецо написано, как видите, по правилам дипломатии, без особого нажима на совершившийся факт. А факт был таков, что Толстой, заперев подьячего в комнате, дал ему бутылку отравленного вина. Дурак-подьячий, хлебнув этого вина, вскоре отдал богу свою праведную душу. И тем самым, можно сказать, сохранил Толстого от беды.

31. Но пойдем дальше. Дело об убийстве подьячего заглохло, поскольку мотивировка убийства была сделана с полным знанием дела. Переход человека в иную веру для русского правительства всегда казался каким-то пределом человеческой подлости. Это обижало правительство. И вселяло в них неуверенность, дескать, они не так хороши со своей религией и хозяйством, что от них бегут.

Однако через месяц посольский секретарь также не побоялся написать донос на Толстого. Эта крупная кража червонцев, видимо, слишком подействовала на окружающих, с которыми Толстой не изволил поделиться.

Тогда Толстой отравил и этого несчастного секретаришку. И снова сам сообщил в посольский приказ, что секретирь будто бы имел секретные отношения с турецким визирем и, желая замести следы, сделал донос на него, в сущности ни в чем не повинного человека.

Дело пошло в Петербург, однако Петр I, давно уже переставший удивляться таким делам, посмотрел на все это сквозь пальцы и велел следствие прекратить.

Вероятно, на фоне других фигур Толстой был еще довольно светлой личностью. Воображаем, какие там были остальные.

В общем, госпожа история знает такое великое множество случаев преступлений, связанных с деньгами, что нет возможности пересказать все это.

32. И мы не будем этим утруждать ваше благосклонное внимание и не будем портить вам благодушного настроения перечислением всего того, что мы знаем об этом. Все, так сказать, и так достаточно ясно. Вопросов, как говорится, не имеем. Скажем только, что стремление к деньгам — это одна из самых сильных и могучих страстей, которые потрясали и потрясают уважаемое человечество.

И эту сильную страсть государство иной раз отлично умело использовать для достижения своих мелких нужд и шек. И если, например, нужно было поймать какого-нибудь государственного преступника, первое, что делалось, — объявлялась цена за его голову.

Чуть не на каждой странице истории имеются цены за ту или иную голову.

Например, однажды римский диктатор Сулла (83 год до нашей эры), захватив власть в свои руки, приказал истребить всех приверженцев своего врага и соперника Мария. А для того, чтобы никто не избег этого истребления, Сулла, будучи большим знатоком жизни и человеческих душ, назначил необычайно высокую цену за каждую голову.

Он объявил, что за каждого убитого он заплатит по двенадцать тысяч динариев (около пяти тысяч рублей золотом).

33. Эта высокая цена столь подействовала на воображение граждан, что (история рассказывает) «убийцы ежедневно входили в дом Суллы, неся в руках отрубленные головы».

Мы приблизительно представляем себе, как это было: — Сюда, что ли?.. С головой-то... — говорил убийца, робко стуча в дверь.

Господин Сулла, сидя в кресле в легкой своей тунике и в сандалиях на босу ногу, напевая легкомысленные арийки, просматривал списки осужденных, делая там отметки и птички на полях.

Раб почтительно докладывал:

— Там опять явились... с головой... Принимать, что ли?

— Зови.

Входит убийца, бережно держа в руках драгоценную пошу.

— Позволь, — говорит Сулла, — ты чего принес? Это что?

— Обыкновенно-с... Голова...

— Сам вижу, что голова. Да какая это голова? Ты что мне тычешь?

— Обыкновенная-с голова... Как велели приказать...

— Велели... Да этой головы у меня и в списках-то нет. Это чья голова? Господин секретарь, будьте любезны посмотреть, что это за голова.

— Какая-то, видать, посторонняя голова, — говорит секретарь, — не могу знать... Голова неизвестного происхождения, видать отрезанная у какого-нибудь мужчины.

34. Убийца робко извинялся.

— Извиняюсь... Не на того, наверно, напоролся. Бывают, конечно, ошибки, ежли спешка. Возьмите тогда вот эту головку. Вот эта головка без сомнения правильная. Она у меня взята у одного сенатора.

— Ну, вот это другое дело, — говорил Сулла, ставя в списках галочку против имени сенатора. — Дайте ему там двенадцать тысяч... Клади сюда голову. А эту забирай к черту. Ишь, зря отрезал у кого-то...

— Извиняюсь... подвернулся.

— Подвернулся... Это каждый настрижет у прохожих голов — денег не напасешься.

Убийца, получив деньги и захватив случайную голову, уходил, почтительно кланяясь своему патрону.

В общем, больше двух тысяч голов было доставлено Сулле в течение нескольких недель.

История бесстрастно добавляет, что никто не избег своей печальной участи.

35. Но однажды, полвека спустя (43 год до нашей эры), когда цена за голову случайно скакнула еще выше, произошла такая резня, что, кажется, мир не знал ничего подобного.

Римский консул Марк Антоний после убийства Юлия Цезаря предназначил к смерти триста сенаторов и две тысячи всадников. И, идя по стопам господина Суллы, объявил, что будет платить высокую плату, с тем чтобы объявленных в списках уничтожили в короткий срок.

Цена за голову, действительно, назначена была поразительно высокая — двадцать пять тысяч динариев (около восьми тысяч рублей). Рабам же, чтоб понимали свое низкое положение при убийстве высоких господ, полагалось меньше — тысяча динариев.

Тут страшно представить, что произошло. История говорит, что сыновья убивали своих отцов. Жены отрубали головы спящим мужьям. Должники ловили и убивали на улице своих кредиторов. Рабы подкарауливали своих хозяев. И все улицы были буквально залиты кровью.

Цена, действительно, была слишком уж высокая. Мы имеем мнение, что в течение месяца люди перебили бы друг друга, если бы государство продолжало так платить.

Однако история знает еще более высокую цену. Так, например, за голову знаменитого Цицерона, величайшего из римских ораторов, было назначено пятьдесят тысяч динариев.

Эта отрубленная голова была торжественно поставлена на стол. И жена Марка Антония, эта бешеная и преступная бабенка, проткнула язык Цицерона булавкой, говоря: «Пусть он теперь поговорит».

36. Но самая высокая цена была назначена однажды за голову английского короля Карла I. Карла I выдали за четыреста тысяч фунтов стерлингов (около четырех миллионов). Но тут, пожалуй, меньше нельзя было взять — два государства усердно торговались в течение месяца. И Шотландия, куда бежал Карл, выдала его Англии, поступившись своими христианскими взглядами за четыре миллиона. Карлу I отрубили голову. И мы представляем, с какими предосторожностями рубили эту слишком драгоценную голову.

Однако нас, конечно, интересует не цена, а способ, которыми пользовались.

Наполеон за голову знаменитого тирольца Гофери, поднявшего народное восстание за независимость страны, посулил заплатить всего что-то около двух тысяч руб

лей. Тем не менее Гофер, укрывавшийся в горах, уже через два дня был пойман своими же тирольцами. Он был выдан французам и ими расстрелян (1810 год).

И вот этим милым денежным способом пользовались во все времена на протяжении всей истории, даже новейшей.

Любопытно, что за голову русского провокатора Дегаева¹ (1874 год) царское правительство назначило очень крупную сумму.

На улицах Петербурга были расклеены афиши с его портретом. За указание местонахождения назначалась награда в пять тысяч рублей, а за «содействие к поимке» — десять тысяч рублей золотом.

Однако этот мрачный подлец Дегаев избежал своей участи. Он бежал в Америку и там умер своей смертью, так сказать, при нотариусе и враче.

Между прочим, даже в наше время, в июле 1917 года, Временное правительство предложило двести тысяч рублей тому, кто укажет местонахождение Ленина.

37. Итак, на этом прекращаем наши исторические нотеллы. Скажем только вдобавок ко всему, что во все времена и при всех обстоятельствах деньги были подчас единственным средством для достижения самых наитруднейших задач. За деньги продавались должности и люди. За деньги можно было купить себе графский титул и всякие удивительные возможности. Например, можно было пообедать с царем или с царицей, если, скажем, пожертвовать крупную сумму на что-нибудь такое полезное. В общем, все двери и сердца раскрывались перед этим. И провокаторы продавали остатки своей совести. И все вообще продавалось. И деньги были, так сказать, форменным обрядом вместилищем всякой человеческой пакости. И нередко самые темные дельцы, имея деньги, всплывали на поверхность государственной жизни и распоряжались судьбами целого государства.

¹ Дегаев был член партии Народной воли. За провокаторскую деятельность он был приговорен партией к смерти. Желая избежать смерти, он предложил убить начальника охранного отделения Судейкина, что и сделал.

Был, между прочим, знаменитый случай, когда бандит, спекулянт и самый беззастенчивый авантюрист шотландец Лоу (1716 год), сколотивший себе темными средствами несколько миллионов, был назначен во Франции генерал-контролером финансов.

И мы думаем, что, порывшись в делах нашего времени, мы найдем немало подобных случаев.

38. В общем, перелистав всю историю, мы не увидели ни одного случая, когда бы деньги потерпели крах или поражение.

Впрочем, об одном замечательном поражении мы вам можем рассказать такую интересную новеллу.

Это произошло со знаменитым ювелиром и скульптором Бенвенуто Челлини.

Папский двор, желая наконец освободиться от крайне беспокойного художника, решил умертвить его. А Челлини сидел в это время в тюрьме по обвинению в краже казенного золота. Челлини, конечно, считал себя безвинно пострадавшим, однако мы не дали бы поручительства за него. Разве что из уважения к его гению — покровили бы душой.

И вот попы решили воспользоваться случаем, чтоб покончить с ювелиром. Он долгие годы досаждал им своим дерзким поведением.

И вот решили умертвить его, но таким образом, чтобы смерть эта была бы сколько-нибудь похожа на естественный конец. Яд в этом деле не был пригоден. Признаки отравления ядом слишком заметны. Возникли бы толки и пересуды, коих не желал честный и богобоязненный папа. Все-таки неудобно: папа, высшие идеалы, «Христос воскрес» — и вдруг грубое убийство. Хотелось, одним словом, сделать тихо, бесшумно и, главное, с христианским смирением.

И вот тогда вместо яда решили заключенному дать в пищу толченый алмаз. Это было уже испытанное средство: человек умирал как бы от колик и расстройства желудка.

39. И вот этот алмаз папский двор дал одному ювелиру для того, чтобы тот растолок нелегко поддающийся этому камень.

Пройдоха-ювелир, желая заработать на этом деле, растолок вместо полученного алмаза более мягкий и менее драгоценный камень — голубой берилл. Коруыстный мастер заработал на этом пару золотых, а что касается Б. Челлини, то тот, проглотив с пищей этот растолченный мягкий камень, остался жив на пользу страждущего человечества.

Хотя Челлини и пережил, как он пишет, огромный страх близкой смерти, но потом, как опытный ювелир, он распознал в растолченном камне голубой берилл, а не алмаз, который был бы смертелен.

Вот, пожалуй, единственный случай, когда деньги не сыграли той роли, какая им была предназначена.

Но зато они сыграли ту же роль, но только для другого. Так что сияние денег от этого не померкло.

Однако мы знаем один случай, когда деньги в своем могуществе потерпели ужасный крах. И тут уже ничто на помощь не пришло. Вот как это было.

40. И это даже не новелла, а целая симфония. Речь идет о закате и падении великого Рима.

В ту, можно сказать, грозную эпоху деньги сыграли некоторую роль.

Историки рассказывают, что в Риме вдруг скопились огромные суммы. Дело в том, что Рим перед этим одержал большие победы в Азии и в Македонии. И благодаря этому Рим разбогател. Громадные контрибуции и грабежи в завоеванных землях создали в Риме необыкновенный прилив денег. И тогда Сенат, видя, что дела идут у них весьма хорошо, освободил все население на двадцать четыре года от всех налогов и поборов. Это необычайным образом вдохновило богачей и спекулянтов.

Которые имели деньги — захотели иметь еще больше. Многие бросились в рискованные спекуляции. И стали давить с еще большей силой неимущий класс. И Рим, как сообщается история, стал задыхаться в деньгах. И тогда начался разгул и, прямо скажем, вакханалия.

Денежные аристократы, пресыщенные удовольствиями, устраивали неслыханные оргии и пиршества.

Для столов богачей стали привозить изысканные предметы роскоши.

Знаменитый римский цензор Порций Катон одной фразой определил положение государства. Он сказал: «Городу, в котором рыба стоит дороже упряжного вола, помочь уже ничем нельзя».

41. Так и случилось — Риму ничто не помогло. И Рим вскоре потерял свое мировое значение.

Вот что рассказывает история о деньгах.

Она рассказывает о великих злодеяниях, о преступлениях и убийствах. Она рассказывает о гибели народов, о возвеличении подлецов и темных проходимцев и о всех, больших и малых потрясениях, которые нещадно нанесли людям деньги.

И мы, простите, не верим, что сейчас это совсем не так происходит, как это происходило раньше. Мы имеем мнение, что именно так и происходит. А что касается до нашей страны, то у нас в основном этого нету, и по этой причине нам, так сказать, с горы видней.

Но мы, конечно, не строим свою философию на морали. Мы, любезный читатель, не делим жизнь и дела на добро и зло. И не говорим ах или ох. А мы нашу пресветлую жизнь делим более грубо: на хорошую и плохую.

И вот, с добросовестным и прилежным старанием прочитав историю, мы заметили, что даже при таком делении хорошего было слишком мало, а плохого было достаточно повсюду и куда ни плюнь.

И мы имеем скромное мнение, что это плохое произошло, пожалуй, даже не из-за денег, а из-за удивительной системы, или, вернее, из-за распределения денег, которые проходили не через те руки, через которые им надлежало проходить.

42. Но, ах, мы вдруг в тумане будущего видим снисходительную и кривую усмешку человека, который утонченными пальцами перелистывает горестные страницы варварской истории, в которой деньги, можно сказать, затмили солнце, звезды, луну и вполне уважаемую человеческую личность. И даже любовь, о которой мы имеем представление кое-что рассказать вам в следующем отделе.

Но мы не хотим заниматься бесцельными речами, рассуждениями и восклицаниями.

Скажем прямо, что деньги играют и будут еще играть преогромную роль даже и в нашей измененной жизни. И нам (совестно признаться) не совсем ясны те торжественные дни, когда этого не будет. И нам лично, собственно, даже и неизвестно и не совсем понятно, как это произойдет и что при этом каждый будет делать. И как это вообще пойдет.

Но мы должны сказать, что у нас многие печальные дела, связанные с деньгами, вернее — с богатством, уже безвозвратно исчезли. И мы освободились от некоторых опасностей и превратностей жизни. И мы снимаем шапку перед этими обстоятельствами.

43. Но деньги, мы повторяем, играют у нас изрядную роль, и за них совершаются и происходят многие комичные и варварские истории, о которых мы вам и собираемся рассказать.

Давайте же посмотрим, какие это истории.

А перед тем отметим, что мы, почтенный критик, возьмем для этого отрицательные факты. А что касается до положительных сторон, то мы тебя, как пресветлую личность, желающую все время читать только хорошие и достойные случаи, с легким сердцем отсылаем к пятому отделу, что имеется у нас в конце книги. И там твое усталое сердце успокоится от всего хорошего.

Итак, начинаются наши юмористические рассказы о деньгах.

Любезный читатель, побереги свои карманы.

Рассказы о деньгах

Сколько человеку нужно¹

Конечно, плата, она как-то ограничивает человека в его фантазиях. Она борется с излишествами, с проявлением разных темных сторон характеров. Она в этом смысле имеет свои светлые стороны. Она лакирует жизнь.

¹Часть новелл, помещенных здесь, написана мною специально для «Голубой книги». Другая часть новелл — переработка моих рассказов прежних годов.

Вот если подумать, что с завтрашнего дня трамвай будет бесплатный, то нет сомнения, что для многих граждан просто закроется доступ к этому дешевому передвижению. Конечно, оно и сейчас, мягко говоря, не так уж симпатично ехать в трамвае, а тогда и подавно будет немыслимо. Тут не только, я извиняюсь, на подножках, тут на электрической дуге будут ехать.

Другому вовсе и не надо ехать — ему всего два шага шагнуть. Ему это для прогулки очень полезно, а он непременно поедет. Он непременно захочет проявить свою утнетенную амбицию. И он вопреется в самую гущу человеческих тел и поедет, хотя его могут там задавить до смерти. Но это ему неважно. Ему бы только поехать. А там хоть трава не расти.

И он ведь, заметьте, до конца рейса доедет, хоть это ему и не надо. А если трамвай круговой, так он, я так думаю, весь круг обернет, а то и два загнет, прежде чем добровольно слезет на своей остановке. Вот какие бывают люди. Некоторые по три круга станут погибать. А некоторых вообще будет не выкурить с трамвая. Они, может, даже спать там лягут. Они до остервенения дойдут, если объявить, что это даром.

Нет, по-моему, надо менять свои характеры. По-моему, это отблеск буржуазной культуры. И с этим надо энергично бороться и переделывать свою психику.

Вот давеча я сам, не целиком переделавши свою психику, съел на одном банкете что-то такое, кажется, кружков десять мороженого. И после недели две разогнуть тела не мог.

Так что я эти слова заявляю, лично продумавши и все испытавши.

Я как-то такое видел на одной площади бесплатную карусель. Она была поставлена как раз в аккурат против церкви. Наверное, чтоб верующие могли развлечься, а безбожники могли бы, не заходя в храм, провести культурно время.

Так там очень серьезные дела происходили. Многие-то, конечно, не знали, что карусель даром. И потому стеснялись заходить. А которые знали, то на тех прямо удержу не было.

Я видел одного парнишку, которого оттягивали, и то он не шел.

Он как сел на деревянную кобылку, так прямо как прилип к ней и мотался на ней часа три. Только когда он совсем сомлел и стал белый, как глина, он позволил себя снять своим друзьям. И то брыкался и не хотел допустить, чтобы его сняли.

Ну, конечно, его положили на землю, он дышал, как рыба, и смотрел на небо, еле чего понимая. Но потом, оправившись, обратно полез на лошадь и крутился до тех пор, пока снова не захворал. И то после этого не сразу слез. А он слез только тогда, когда «в Ригу поехал».

Тут волей-неволей ему пришлось слезть. А то публика стала обижаться, говоря, что при вращении карусели оно как-то не тово получается. А то бы он не слез. Но тут его сторож стянул и даже, кажется, заехал в морду за недопустимое безобразие.

После чего парень долго лежал на брюхе, надеясь, отдохнув, еще малость покрутиться. Но потом, видимо не совладав с пошатнувшимся здоровьем, попер домой.

Так что, вообще говоря, неизвестно, сколько человеку всего нужно. Наверно, больше того, чем сколько ему нужно, и не менее того, чем сколько он хочет. Ну а плата — она несколько ограничивает потребности.

Так что все в порядке. «Потолок» имеется. Пламенный привет молодым людям, переделывающим свои характеры.

Что касается престарелых людей, то мы про них не говорим. Они, воспитанные на прежних денежных делах, сами понимают в этом меру и чуть что хватаются всякий раз за карман. Но зато они не понимают меру в смысле доставания денег. Вот тут они прямо способны на всякое безобразие. Вот, извольте, расскажу про одну старушеницу, которая дошла до крайних пределов выдумки и свинства в этом деле. Вот каким мерзким способом она доставала деньги.

Рассказ про няню, или Прибавочная ценность у этой профессии

Конечно, старый человек не всегда может попасть ногой с новой жизнью.

Это особенно почему-то относится к старухам. Вот этот старческий материал вообще, надо честно сказать, как-то

слабо разбирается в современных течениях. Перед ихними старческими глазами какие-то, что ли, круги плавают, или мошки, или пес их знает что, но только им как бы не до того. Они не слишком-то задумываются о грядущих судьбах человечества. И они тем более гимнастикой не могут заниматься, отчего часто подвержены меланхолии и неведению в творческие силы пролетариата.

Вообще надо сказать, что старухи, воспитанные на прежних капиталистических делах, зачастую решительно отказываются перестраиваться и буквально не хотят хотя бы слегка, что ли, изменить свою закоренелую психику. Они знай себе гнут то, чего было раньше, и не понимают то, чего есть, и то, чего решительно не может быть.

Особенно если речь идет о деньгах. Если речь идет о деньгах, то это конченное дело. Тут никакие советы не помогут. Старый человек, он любит заработать, скопить, и вообще у него при виде денег руки дрожат и ноги подгибаются.

И не только, скажем, глубоко дряхлые старухи гнут эту прежнюю линию, но и более молодые, которым, может, там по сорок пять, пятьдесят, пятьдесят пять лет. Эти тоже малодоступны перевоспитанию.

На этой почве на днях произошло одно прямо возмутительное дело у нас в Ленинграде.

Тут такие супруги Фарфоровы имели няню. Они взяли ее до своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они оба-два служили на производстве.

Сам Серега Фарфоров служил. И она служила. Он рублей, может, шестьдесят брал. И она не меньше полста огребала.

И вот при такой ситуации у них происходит рождение ребенка.

Вот родился у них ребенок, как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли.

Тем более у них даже такой привычки не было — брать себе няню. Они не понимали такого барства.

Но тут тем более им выгодней было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства.

И вот, конечно, определилась к ним няня. Не очень такая старая и не очень такая молодая. Одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная.

Но за безобразной внешностью Фарфоровы вскоре увидели у нее доброе сердце. И никак не могли предвидеть, что за гадюку они пригрели на своей груди.

А они, конечно, нарочно взяли себе такую некрасивую, чтоб она не шляется и чтобы не имела личного счастья и чтоб только смотрела на ихнего младенца.

И тем более они ее взяли по рекомендации. И там им сказали — дескать, это вполне непьющая, пожилая, некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спускает. И даром что это старуха, но это такая старуха, что она вполне достойна войти в новое бесклассовое общество.

Это им так сказали. Но они еще не имели своего мнения.

И вот они берут себе эту няню и видят, действительно, золото, а не няня. Тем более она сразу полюбила ребенка. Все время с ним ходит, с рук не спускает и прямо гуляет с ним до ночи.

А Фарфоровы, являясь передовыми людьми, не переменили в этом. Они понимали, что воздух и гулянье вполне укрепляют организм ихнему младенцу. И думают: «Пожалуйста. Пушай гуляет. Тем более мы будем реже видеть ее зверскую харю».

И вот происходит такая ситуация.

Утром родители на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет с ним прямо до глубокой ночи.

Только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он — с домкома. Он — одна из главных фигур в правлении.

Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из вверенных ему жильцов на черную доску занести как злостного неплательщика. И вдруг — смотрит — что такое? Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под ного младенца она просит. Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание.

А та им кланяется. И показывает младенца — дескать, не для себя прошу, а вот для этого.

Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел, он просто так поглядел на ее личность. И видит, личность будто знакомая. И глядит — да, действительно, это суть няня с фарфоровским ребенком. Тем более обознаться трудно — морда у нее такая, что очень глубоко в душу западает.

Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ни копыя не подал, но повернулся и пошел обратно домой.

Неизвестно, как он дожил до вечера, но вечером говорит самому Фарфорову:

— Я, — говорит, — чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ, но, — говорит, — или вы своей домработнице денег не платите, или, — говорит, — я не пойму подобной ситуации. А если, — говорит, — вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то вы, — говорит, — есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме.

Фарфоров, конечно, говорит:

— Я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите — я чего-то не пойму.

Тогда член правления говорит про то, чего видел, и про то, чего перечувствовал, наблюдая подобное зрелище.

Тут происходят разные сцены. Происходят крики и улыбки. И все выясняется.

Тогда зовут няню. Ей говорят:

— Как же так можно? Вы что — обалдели? Или вы ненормальная, и у вас в голове не все дома.

Няня говорит:

— В этом пороку нет. Так ли я стою, или мне сердобольные прохожие в руку дают. Я, — говорит, — прямо не пойму, об чем разговор. Ребенок через это не страдает. И, может, ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя.

Фарфоров говорит:

— Да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не позволю вам производить такие действия.

Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, говорит:

— Нам это в высшей степени оскорбительно. Мы вас выгоняем со своего места.

Цаплин говорит:

— А я как член правления скажу: вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку.

Старуха говорит:

— Ах, подумаешь, до чего испугали! Нянь нынче не очень много — меня, может, с руками оторвут. А я под вашего щенка едва трешку зарабатывала, а уж упреков не оберешься. Я от вас сама уйду, поскольку вы какие-то бесчувственные подлецы, а не хозяева.

После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил. После чего ее с позором выгнали. Так она и ушла и рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Но, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает.

Наверное, ей до зарезу нужны деньги, иначе прямо трудно объяснить ее поведение. А на что ей деньги — этого я прямо не пойму. Старуха сыта, одета, валенки имеет, жалованье получает, это прямо ее какой-нибудь каприз и, главное, наверное, прежнее мелкобуржуазное воспитание, бессмысленная тяга к деньгам и неправильное мировоззрение.

Я еще понимаю, если у нее есть какая-нибудь благородная цель. Вот если бывает цель, тогда я могу снисходительно отнестись к подобным фактам в смысле доставания денег.

И я однажды, как мы сейчас увидим из следующего рассказа, весьма снисходительно и терпимо отнесся к подобному случаю, о котором мы имеем намерение вам рассказать сейчас.

Мелкий случай из личной жизни

Стою я раз в кино и дожидаясь одну даму.

Тут, надо сказать, одна особа нам понравилась. Такая довольно интересная бездетная девица. Служащая.

Ну, конечно, любовь. Встречи. Разные тому подобные слова. И даже сочинения стихов на тему, никак не связанную со строительством, чего-то такое: «Птичка прыгает на

ветке, на небе солнышко блестит... Примите, милая, привет мой... И что-то такое, не помню — та-та-та... болит...»

Любовь в этом смысле всегда отрицательно отражается на мировоззрении отдельных граждан. Замечается иной раз нытье и разные гуманные чувства. Наблюдается какая-то жалость к людям и к рыбам и желание им помочь. И сердце делается какое-то чувствительное. Что совершенно излишне в наши дни.

Так вот раз однажды стою в кино со своим чувствительным сердцем и дожидаясь свою даму.

А она, поскольку служащая и не слишком дорожит местом, — она любит опаздывать. На службе-то, конечно, за это строго. Ну а тут она знает — за два опоздания ее не уволят. Вот она и отыгрывается на личной почве и на гуманных чувствах.

Так вот стою, как дурак, в кино и дожидаясь.

Так очередь у кассы струится. Так дверь раскрыта на улицу — заходите. Так я стою. И как-то так энергично стою, весело. Охота петь, веселиться, дурака валять. Охота кого-нибудь толкнуть, подшутить или схватить за нос. На душе пенье раздается, и сердце разрывается от счастья.

И вдруг вижу — стоит около входной двери бедно одетая старушка. Такой у нее рваненький ватерпруф, облезлая муфточка, дырявые старинные башмачонки.

И стоит эта старушка скромно у двери и жалостными глазами смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли.

Другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, нарочно поют тонкими голосами или бормочут какие-нибудь французские слова, а эта стоит скромно и даже как-то стыдливо.

Гуманные чувства заполняют мое сердце. Я вынимаю кошелек, недолго роюсь в нем, достаю рубль и от чистого сердца, с небольшим поклоном, подаю старухе.

И у самого от полноты чувств слезы, как брильянты, блестят в глазах.

Старушка поглядела на рубль и говорит:

— Это что?

— Вот, — говорю, — примите, мамаша, от неизвестного.

И вдруг вижу — у ней вспыхнули щеки от глубокого волнения.

— Странно. — говорит, — я, кажется, не прошу. Чего вы мне рубль пихаете?.. Может быть, я дочку жду — собираюсь с ней в кино пойти. Очень, — говорит, — обидно подобные факты видеть.

Я говорю:

— Извиняюсь... Как же так... Я прямо сам не понимаю... Пардон... — говорю. — Прямо спутался. Не поймешь, кому чего надо. И кто за чем стоит. Шутка ли, столько народу...

Но старуха поднимает голос до полного визга.

— Это что же, — говорит, — в кино не пойди — оскорбляют личности! Как, — говорит, — у вас руки не отсохнут производить такие жесты? Да я лучше подожду дочку и в другое кино с ней пойду, чем я буду с вами сидеть рядом и дышать зараженным воздухом.

Я хватаю ее за руки, извиняюсь и прошу прощения. И поскорей отхожу в сторонку, а то, думаю, еще, чего доброго, заметут в милицию, а я даму жду.

Вскоре приходит моя дама. А я стою скучный и бледный, и даже несколько обалдевший, и стыжусь по сторонам глядеть, чтобы не увидеть моей оскорбленной старухи.

Вот я беру билет и мелким шагом волочусь за своей дамой.

Вдруг подходит ко мне кто-то сзади и берет меня за локоть.

Я хочу развернуться, чтоб уйти, но вдруг вижу — передо мной старуха.

— Извиняюсь, — говорит она, — это не вы ли мне давеча рубль давали?

Я что-то невнятное лепечу, а она продолжает:

— Тут не помню кто-то мне давал сейчас рубль... Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, а вторые места дороже, чем мы думали. А в третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Извиняюсь, — говорит, — что напомнила.

Я вынимаю кошелек, но моя дама впускает следующие слова:

— Совершенно. — говорит, — не к чему швыряться деньгами. Уж если на то пошло, я лучше нарзану в буфете выпью.

Я говорю:

— Нарзан вы получите, не скулите. Но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо, — говорю, — по-товарищески относиться.

Нет, я все-таки дал старухе рубль, и мы в растрепанных чувствах стали глядеть картину.

Под музыку дама меня пилила, говоря, что за две недели знакомства я ей пузырек одеколону не мог купить, а, между прочим, пыль в глаза пускаю и раздаю рубли направо и налево.

Под конец стали показывать веселую комедию, и мы, забыв обо всем, весело хохотали.

А эта старуха сидела со своей дочкой недалеко от нас и тоже иногда весело похрюкивала.

И я был очень рад, что доставил ей это культурное удовольствие. И даже если бы она у меня попросила два рубля, я бы тоже ей дал не моргнув глазом.

Но в общем это мелкий факт, а что касается до крупных дел, связанных с деньгами, то мы, например, знаем такой нижеследующий случай.

Вот забавная новелла, при чтении которой любители таинственного получают кой-какое удовольствие.

Таинственная история, кончившаяся для одних печально, для других удовлетворительно

Про эту таинственную историю рассказал мне один врач по внутренним и детским болезням.

Это был врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он поседел или вообще поседел — неизвестно. Только, действительно, был он седой, и голос у него был сильный и надломленный.

То же и насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще.

Но дело не в этом.

А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает свои грустные мысли:

«Пациент-то, — думает, — нынче нестоящий пошел. То есть каждый норовит по страхкарточке даром лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку».

И вдруг звонок раздается.

Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается, и вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита.

Осмотрел врач больного — ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И все на месте. И никакого умирания в организме незаметно.

Тогда прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит семь гривен, покачал головой и, по правилам своей профессии, велел ему зайти еще раз завтра. На этом они и расстались.

На другой день в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Она поминутно сморкается, плачет и говорит:

— Давеча, — говорит, — приходил к вам мой любимый племянник, Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ли ему после этого выдать свидетельство о смерти?

Врач говорит:

— Очень, — говорит, — удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, — говорит, — свидетельство о смерти выдать не могу — надо мне увидеть покойника.

Старушонка говорит:

— Очень великолепно. Идемте тогда за мной. Тут недалеко.

Взял врач с собою инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой.

И вот поднимаются они в пятый этаж. Входят в квартиру. Действительно, ладаном пахнет. Покойник на столе расположен. Свечки горят вокруг. И старушка где-то жалобно хрюкает.

И так врачу стало на душе скучно и противно.

«Экий я, — думает, — старый хрен, каково смертельно ошибся в пациенте. Какая канитель за семь гривен».

Присаживается он к столу и быстро пишет удостоверение. Написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел. Вышел. Дошел до ворот. И вдруг вспомнил — мать честная, калоши позабыл.

«Экая, — думает, — перепрка за семь гривен. Придется опять наверх ползти».

Поднимается он вновь по лестнице. Входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит: сидит покой-

ник Василий Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой о чем-то препирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечки гасит. Послужит палец и гасит.

Очень удивился этому врач, хотел с испугу вскрикнуть, однако сдержался и как был без калош кинулся прочь.

Прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисовых капель, успокоился и позвонил в милицию.

А на другой день милиция выяснила всю эту историю.

Оказалось: агент по сбору объявлений Василий Митрофанович Леденцов присвоил три тысячи казенных денег. С этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь.

Однако не пришлось.

Калоши врачу вернули месяца через три после всяких длинных процедур, заявлений, просьб и хождений по всем местам.

В общем, врач отделался сравнительно благополучно и, кроме испуга и расстройства нервов по поводу долгой невыдачи калош, других неприятностей не имел.

И, рассказав мне эту историю, врач, вздохнувши, добавил:

— Имея три тысячи, этот фрукт хотел за семь гривен смыться из этого мира, но медицина не допустила. Вот до чего доводит людей жадность к деньгам.

Однако мы знаем историю о такой жадности к деньгам, какая не так-то уж часто бывает.

Вот эта история.

Рассказ про одного спекулянта

Жил в Ленинграде некто такой Сисяев. Такой довольно арапистый человек. Он во время нэпа, когда частники еще работали, держал парикмахерскую. Только, кроме стрижки и брижки, он еще иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстрипывал. Ну и, конечно, засыпался.

Он засыпался в тридцатом году летом. Маленько поси-
дел где следует. И вскоре его, голубчика, выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то, одним словом,

дали — минус семь или плюс семь, или восемь — черт его разберет. Я в этих делах пока что слабо понимаю.

Одним словом, его как спекулянта выслали в Нарымский край.

И, значит, он, хочешь не хочешь, поехал.

А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было беспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угодить куда-нибудь.

И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда десять царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните — государство в двадцать четвертом году выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей.

Вот он, значит, на всякий пожарный случай и подзашил свое добро в тужурку, и прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да еще в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. И в сапоги под стельки положил более носкую валюту — доллары.

И стал поджидать.

Только он недолго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой. И осенью он поехал куда следует.

Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорей всего он не очень худо жил. Тем более бумажных денег у него было вдоволь припасено. Он знай себе подпарывал брюки и вынимал что-то из бумажника. А до золота, между прочим, не дотрагивался.

Только живет он так больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился. Его там просквозило на работе. И он там захворал.

Конечно, кашель поднялся, насморк, хрипы, температура минус сорок градусов. В боку колет. Аппетита нету. И вообще человек чувствует приближение собственной кончины.

И тогда ночью снимает он с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик.

Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди.

«Поскольку, — думает он, — я помру, а тут кто-нибудь шарить начнет. А мне это неприятно. И пушай это золото у меня в брюхе лежит, чем кто-нибудь им воспользуется». И, значит, подумавши так, глотает.

Только, может, он проглотил пять или шесть штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по семь человек вместе жило.

Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги.

И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит:

— Мне, — говорит, — не так золота жалко. Я себе золота не возьму. Но я, — говорит, — не могу допустить проглатывать. Тем более воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет и вообще засорение желудка.

Короче говоря, больной вскоре, действительно, поправился. Он выздоровел. Грудь ему освободило. Дыхание вернулось. Но является новая беда — в желудке колет, кушать неохота, и слюна идет.

И спасибо, что больной не все монеты заглотал. А то бы совсем невозможно получилось.

Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Он, может, пугался, что во время хлороформа он недосмотрит и хирурги разворуют его монеты, лежащие в желудке.

Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать.

Разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует.

Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарам несколько монет, или они в желудке остались.

Так что ежели считать, что в желудке ничего нету, то недостает трех монет и одного квадрата. Тогда, значит, действительно уперли. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение.

Но зачем на людей тень наводить? Может быть, монеты лежат себе в желудке.

Тем более для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину, так что оно может лежать до бесконечности.

Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но, может, она и в движении у других граждан.

Что касается до спекулянта, то он имеет мнение, что золото благополучно лежит у него в желудке, зацепившись за какой-нибудь естественный поворот внутренней системы. Но для душевного спокойствия он непременно хочет

сделать себе просвечивание. И если наука найдет, что золото там внутри, то он и не будет его трогать до поры до времени.

Эту правдивую историю мы рассказали, желая показать вам, что любовь к деньгам иной раз бывает сильнее смерти.

А прочитав следующий рассказ, вы вполне убедитесь в этом и даже в большем.

Это рассказ о том, как одна жадная бабенка благодаря отсутствию денег не разрешила умереть своему мужу. Что является просто возмутительным даже хотя бы с точки зрения медицины.

Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть

Проживал на Петроградской стороне один небогатый живописец по имени Иван Саввич Бутылкин.

Он состоял в какой-то, я не знаю, кустарной артели и там чего-то такое делал. Он, кажется, работал. Он писал там плакаты и вывески, и разные номера для домов, и всякие указатели и так далее.

Он, между прочим, мог бы очень недурно жить, но он, к сожалению, часто хворал и, не отличаясь хорошим здоровьем, не мог работать и тем более зарабатывать. Хотя и имел весьма крупное дарование в своей профессии.

Но жил он удивительно худо, бедно и то есть никак не имел возможности наладить свою препечальную жизнь.

А в довершение всего на его плечах находилась еще его супруга по имени Матрена Васильевна, тоже Бутылкина, на которой он имел несчастье жениться до революции, не понимая еще, что значит такое подруга жизни.

Это была чересчур невозможно крикливая баба, любительница ничего не делать.

Она ничего не работала, разве только что готовила обед и грела иногда на примусе воду. И она не была помощницей своему щедушному супругу, который по состоянию своего здоровья не мог много зарабатывать.

В довершение всего она же его и пилила, и ругала, и своими ежедневными грубыми возгласами, криками и скандалами выворачивала наизнанку слабую и поэтиче-

скую душу нашего художника и живописца. Она требовала, чтоб он больше зарабатывал. Она хотела ходить в кино и кушать разные фрикасе и прочее.

Он, конечно, старался, но из этого мало чего выходило. Ну и она, конечно, его ругала.

Одним словом, он всецело находился у нее под башмаком.

Тем не менее она прожила с ним восемнадцать лет. Правда, они другой раз между собой ссорились и дрались, но так чтобы слишком больших скандалов или убийств — этого у них не было.

Она на это не шла, поскольку понимала, что супруг к ней все-таки бережно относится. А если его не будет или с ним разойтись, то еще неизвестно, как обернется. Другой, может, такой арап попадется, что сам ничего делать не будет, а ее, вечную страдалицу, заставит работать круглые сутки.

А она, родившись задолго до революции, понимала свою женскую долю как такое, что ли, беспечальное существование, при котором один супруг работает, а другой апельсины кушает и в театр ходит.

И вот, представьте себе, однажды Иван Саввич Бутылкин неожиданно вдруг захворал.

А перед тем как ему захворать, он ослаб вдруг до невозможности. И не то чтоб он ногой не мог двинуть, ногой он мог двинуть, а он ослаб, как бы сказать, душевно. Он затосковал, что ли, по другой жизни. Ему стали разные кораблики сниться, цветочки, дворцы какие-то. И сам стал тихий, мечтательный. И все обижался, что беспокойно у них в квартире. Зачем, дескать, соседи на балалайке стрекочут. И зачем ногами шаркают.

Он все хотел тишины. Ну прямо-таки собрался человек помереть. И даже его на рыбное блюдо потянуло. Он все солененького стал просить — селедку.

Так вот, во вторник он заболел, а в среду Матрена на него насила.

— Ах, скажите, пожалуйста, зачем, — говорит, — ты лег? Может, ты нарочно привередничаешь. Может, ты работу не хочешь исполнять. И не хочешь зарабатывать.

Она пилит, а он молчит.

«Пуцай, — думает, — языком треплет. Мне теперича решительно все равно. Чувствую, что помру скоро».

А сам горит весь, ночью по постели мечется, бредит. А днем лежит ослабший, как сукин сын, и ноги врозь. И все мечтает.

— Мне бы, — говорит, — перед смертью на лоно природы поехать, посмотреть, какое это оно. Никогда ничего подобного в своей жизни не видел.

И вот осталось, может, ему мечтать два дня, как произошло такое обстоятельство.

Подходит к его кровати Матрена Васильевна и ехидным голосом так ему говорит:

— Ах, помираешь? — говорит. Иван Саввич говорит:

— Да уж, извиняюсь... Помираю... И вы перестаньте меня задерживать. Я теперича вышел из вашей власти.

— Ну, это посмотрим, — говорит ему Мотя, — я тебе, подлецу, не верю. Я, — говорит, — позову сейчас медика. Пушай медик тебя, дурака, посмотрит. Тогда, — говорит, — и решим — помирать тебе или как. А пока ты с моей власти не вышел. Ты у меня лучше про это не мечтай.

И вот зовет она районного медика из коммунальной лечебницы. Районный медик Ивана Саввича осмотрел и говорит Моте:

— У него или тиф, или воспаление легких. И он у вас очень плох. Он не иначе как помрет в аккурат вскоре после моего ухода.

Вот такие слова говорит районный медик и уходит. И вот подходит тогда Матрена к Ивану Саввичу.

— Значит, — говорит, — взаправду помираешь? А я, — говорит, — между прочим не дам тебе помереть. Ты, — говорит, — бродяга, лег и думаешь, что теперь тебе все возможно. Врешь. Не дам я тебе, подлецу, помереть.

Иван Саввич говорит:

— Это странные ваши слова. Мне даже медик дал разрешение. И вы не можете мне препятствовать в этом деле. Отвяжитесь от меня...

Матрена говорит:

— Мне на медика наплевать. А я тебе, негодяю, помереть не дам. Ишь ты какой богатый сукин сын нашелся — помирать решил. Да откуда у тебя, у подлеца, деньги, чтоб помереть! Нынче, для примеру, обмыть покойника — и то денег стоит.

Тут добродушная соседка, бабка Анисья, вперед выступает.

— Я, — говорит, — его обмою. Я, — говорит, — Иван Саввич, тебя обмою. Ты не сомневайся. И денег я с тебя за это не возьму. Это, — говорит, — вполне божеское дело — обмыть покойника.

Матрена говорит:

— Ах, она обмоет! Скажите, пожалуйста. А гроб! А, например, тележка! А попу! Что, я для этой цели свой гардероб буду продавать? Тьфу на всех! Не дам ему помереть. Пушай заработает немного денег и тогда пушай хоть два раза помирает.

— Как же так, Мотя? — говорит Иван Саввич. — Очень странные слова.

— А так, — говорит Матрена, — не дам и не дам. Вот увидишь. Заработай прежде. Да мне вперед на два месяца оставь — вот тогда и помирай.

— Может, попросить у кого? — говорит Иван Саввич. Матрена отвечает:

— Я этого не касаюсь. Как хочешь. Только знай — я тебе, дураку, помереть не дам.

И вот до вечера Иван Саввич лежал словно померший, дыхание у него даже прерывалось, а вечером он стал одеваться. Он поднялся с койки, побряхтел и вышел на улицу.

Он вышел во двор. И там, во дворе, встречает дворника Игната.

Дворник говорит:

— Иван Саввичу с поправлением здоровья.

Иван Саввич говорит ему:

— Вот, Игнат, положеньице. Баба помереть мне не дает. Требуется, понимаешь, чтоб я ей денег оставил на два месяца. Где бы мне денег-то раздобыть?

Игнат говорит:

— Копеек двадцать я тебе могу дать, а остальные валяй попроси у кого-нибудь.

Иван Саввич двутривенного, конечно, не взял, а пошел на улицу и от полного утомления присел на тумбу.

Вот он присел на тумбу и вдруг видит — какой-то прохожий кидает ему монету на колени. Он как бы подает, увидев перед собой больного и чересчур ослабевшего человека.

Тут Иван Саввич слегка оживился.

«Ежели, — думает, — так обернулось, то надо посидеть. Может, набросают. Дай, — думает, — сниму шапку».

И вот, знаете, в короткое время, действительно, прохожие накидали ему порядочно.

К ночи Иван Саввич вернулся домой. Пришел он распаренный и в снегу. Пришел и лег на койку.

А в руках у него были деньги.

Хотела Мотя подсчитать — не дал.

— Не тронь, — говорит, — погаными руками. Мало еще.

На другой день Иван Саввич опять встал. Опять крихтел, оделся и, распялив руки, вышел на улицу.

К ночи вернулся, и опять с деньгами. Подсчитал выручку и лег.

На третий день то же. А там и пошло, и пошло — встал человек на ноги. И после, конечно, бросил собирать на улице. Тем более что, поправившись, он уже не имел такого печального вида, и прохожие сами перестали ему давать.

А когда перестали давать, он снова приступил к своей профессии.

Так он и не помер. Так Матрена и не дала ему помереть.

Вот что сделала Матрена с Иван Саввичем.

Конечно, какой-нибудь районный лейб-медик, прочитав этот рассказ, усмехнется. Скажет, что науке неизвестны такие факты и что Матрена ни при чем тут. Но, может, науке и точно неизвестны такие факты, однако Иван Саввич и посейчас жив. И даже на днях он закончил какую-то художественную вывеску для мясной торговли.

А впрочем, случай этот можно объяснить и медицински, научно. Может, Иван Саввич, выйдя на улицу, слишком распарился от волнения, перепрел, и с потом вышла у него болезнь наружу.

Впрочем, неизвестно.

В общем, жадная бабенка, любительница денег, сохранила благодаря своей жадности драгоценную жизнь своему супругу. Что является, конечно, весьма редким случаем. А чаще всего бывает наоборот. Чаще всего бывает так, что благодаря такой жадности человек теряет даже и то, что имеет.

И вот вам об этом рассказ.

Вот интересная новелла про одну жадную молочницу, пожелавшую увеличить свои доходы.

Рассказ про одну корыстную молочницу

Одна симферопольская жительница, зубной врач О., вдова по происхождению, решила выйти замуж.

Ну а замуж в настоящее время выйти не так просто! Тем более если дама интеллигентная и ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта.

В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах — вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена окончательно, а тут, я извиняюсь, — женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче немного. То есть есть, конечно, но все они какие-то такие: или уж женатые, или уже имеют две-три семьи, или вообще хворают, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни.

И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа. Он у ней умер от туберкулеза.

Вот, значит, помер у ней муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. «А-а, — думает, — ерунда!..» А потом видит — нет, далеко не ерунда!.. женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала.

И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила. Поскольку муж у ней помер от туберкулеза, так вот она начала заботиться о себе — усиленно питалась. Она пила молоко по два литра в день. И от этого питания она прямо распухла и имела здоровье очень выдающееся. И, наверно, оттого к ней стали заходить в голову разные легкие, воздушные мысли о супружестве.

И вот, значит, она пьет молоко около года, все больше поправляется и, между прочим, имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей.

Неизвестно, с чего у них началось. Наверно, она пришла на кухню и разговорилась. Вот, мол, продукты дорожают. Молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит:

— Да, мол, безусловно, чего-чего, а этого мало!

Зубной врач говорит:

— Зарабатываю подходяще. Все у меня есть — квартира, обстановка, деньжата! И сама, — говорит, — я не такой

уж мурло. А вот, подите ж, вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай!

Молочница говорит:

— Ну, — говорит, — газета — это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать.

Зубной врач отвечает:

— В крайнем случае я бы, — говорит, — и денег не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака.

Молочница спрашивает:

— А много ли вы дадите?

— Да, — говорит врачиха, — смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, — говорит, — червонца три я бы дала не моргнув глазом.

Молочница говорит:

— Три, — говорит, — это мало. Давайте пять червонцев, тогда я вам подыму это дело. У меня, — говорит, — есть на примете подходящий человек.

— Да может, он не интеллигент, — говорит врачиха, — может, он крючник? За что я буду давать пять червонцев?

— Нет, — говорит, — зачем крючник. Он очень интеллигентный. Он — монтер.

Врачиха говорит:

— Тогда вы меня познакомьте. Вот вам пока червонец за труды.

И вот на этом они расстаются.

А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга.

Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи.

И вот приходит она домой и говорит своему супругу:

— Вот, Николаша, чего получается. Можно, — говорит, — рублей пятьдесят схватить так себе, здорово живешь, без особых хлопот и волнений.

И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та сдуру возьмет да и отсыплет ей пять червонцев.

— И, — говорит, — в крайнем случае, если она будет настаивать, можно записаться. В настоящее время это не

составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра или там послезавтра — обратный ход!

А муж этой молочницы, этаким довольно красивый мужчина, с усиками, так ей говорит:

— Очень отлично. Пожалуйста! Я, — говорит, — всегда определенно рад пятьдесят рублей взять за ни за что. Другие ради такой суммы месяц работают, а тут такие пустяки — записаться!

И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом.

Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги.

Теперь складывается такая ситуация.

Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачом, переходит временно на ее апартаменты и пока что живет там.

Так он живет пять дней, потом неделю, потом десять дней.

Тогда приходит молочница.

— Так что, — говорит, — в чем же дело?

Монтер говорит:

— Да нет, я раздумал вернуться! Я, — говорит, — с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается.

Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнения своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан.

Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру и дико скандалила, требуя возврата своего супруга, однако ни черта хорошего не вышло. Больше того — ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм.

Так за пять червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга.

И мы вообще очень рады и довольны, что именно так произошло.

Теперь эта дура может на досуге и в полном одиночестве подумать, какую ошибку она совершила.

Однако бывает, что люди и не совершают подобных ошибок и вообще не слишком уж загораются при виде де-

нег, тем не менее когда им деньги случайно попадают в лапы, они имеют душевные волнения и сильные переживания не в меньшей степени, чем эта дура-баба молочница. Вот об одном таком человеке, которому попались в руки деньги, мы и хотим вам рассказать. И вы сейчас увидите, как влияют деньги на симпатичного человека.

Трагикомический рассказ про человека, выигравшего деньги

Конечно, таких рассказов, в которых человек выиграл, скажем, сто тысяч и с ним после этого чего-то такое случилось и стряслось, таких рассказов в литературе существует, конечно, до черта.

Но то, чего мы хотим рассказать, по своей комичности положений превосходит все, до сих пор написанное в этой области.

Отметим к тому же, что все это голая правда.

Вот представьте себе утро. Туманный Ленинград. Надо сейчас идти трудящимся на работу. Вот сейчас они пьют чайку и пойдут гордой вереницей.

Но что случилось? Чей-то крик, я извиняюсь, раздается.

Это в нашей коммунальной квартире раздаются крик, топот, треск и разные возгласы.

Жильцы сбегаются на это место и видят вот что.

Рабочий Борька Фомин в розовых подштанниках шляется по своей комнате. Челюсти у него трясутся. И лицо белое, как глина. В одной руке у него газета. В другой — почтовая открытка. В третьей руке его супруга держит талон, и так она восклицает:

— Ах, уйдите все из комнаты. Еще ничего неизвестно. А я лично не могу поверить, что мы с Борей пять тысяч выиграли.

Борька Фомин, у которого от волнения с носа капля падает, говорит:

— Получаю открытку со сберкасы. Что такое? Пардон! Выиграл деньги...

Жена говорит:

— Вся моя жизнь проходит в сумерках. Что-нибудь удивительное случилось — этого не бывает. Если же Борька выиграл такие деньги, то я, — говорит, — непременно

знаю, что произойдет какое-нибудь такое, благодаря чему я скорей всего не увижу этих денег.

Один жилец говорит:

— Часто бывает — они печатают, недосмотревши циффы. Или нолики у них заскакивают и не там расположены. Трудящиеся ахают, а после, конечно, не то выигрывают...

Тут приносят семь газет из разных комнат.

Все глядят и проверяют и видят — нету сомненья, Борька Фомин, этот, не представляющий из себя ничего особенного, выиграл пять тысяч, и не известно никому, чего он сейчас будет делать с этими деньгами.

Борькин племянник, живущий тут же молодой мальчишка лет семнадцати, Вовка Чучелов, сдающий экзамен на звание шофера и не привыкший еще давить людей, говорит Борису Андреевичу:

— Чем, дядя, понапрасну слова кричать — побегите в сберкассе. Если вам дадут эти деньги, значит, вы, действительно, выиграли.

Тут все начинают кричать на Бориса Андреевича и велют ему побежать в кассу.

Его жена по своей женской недоверчивости при этом так восклицает:

— Сейчас он у меня, подлец, под трамвай ссыплется или его автобус зацепит. Этого не бывает, чтоб я свободно по пять тысяч выигрывала.

Вот Борис моментально одевается, бежит и вскоре возвращается обратно — белый, как глина.

Он говорит всем присутствующим ослабевшим голоом человека, только что летавшего в стратосферу.

Он говорит:

— Да, я выиграл пять тысяч. Они мне велели послезавтра прийти за деньгами. Они говорят: «Это в нашем районе бывает раз в сто лет».

Тут все поздравляют Бориса Андреевича и велют ему полежаь на кушетке, чтоб не сорвать ход организма до получения денег. Жена говорит:

— Ах, уйдите все из комнаты. Я хочу строго подумать, чего может случиться, благодаря чему мы не получим этих денег.

Вот проходит целый день, и утром снова раздаются крик, топот и грубые восклицания.

Все жильцы спешат на место происшествия и видят вот что:

Борис Андреевич лежит в розовых подштанниках на кушетке. Челюсти у него трясутся, и капли падают с носа.

Жена говорит:

— Еще хорошо, что его, подлеца, у меня в ряды партии не приняли. Вот бы он мне конфетку подложил.

Жильцы говорят:

— А что такое?

— Да как же, — говорит, — что! Он, оказывается, у меня две недели назад, не дождавшись выигрыша, стал, как ребенок, рекомендации себе просить у разных высших лиц. Хорошо — ему не дали. Он хотел, видите ли, записаться. Вот бы пришлось, наверное, я так думаю, половину денег отдать на борьбу с тем и с этим, и в МОПР и во все места.

Один жилец говорит:

— Отдавать необязательно, но, конечно, другие по своей охоте оставляют себе рублей шесть на папиросы, а все остальное отдают на строительство.

Жена говорит:

— Хорошо, что дураков в партию не принимают, — вот был бы номер!

Борька кричит:

— Об чем речь, раз этого нету. В жизни все бывает и лучшему.

Жена говорит:

— Ах, уйдите все из комнаты. Я хочу подумать, чего еще может случиться.

На третий день Боря получил деньги сполна. Он со вздохом отдал двадцатку на дирижабль, а остальные принес домой. И заперся в комнате.

На четвертый день утром раздаются крики, воркотня, ноши, топот и грубая брань.

Это Борис Андреевич, поругавшись с женой, разводит-ся с ней и теперь уходит к одной барышне. Такая жила в другом конце коридора — Феничка. Такая белобрысенькая. И, кажется, из чухонки. Но такая удивительно миленькая душечка. Тоненькая, как мечта поэтов.

И он, собрав вещи, как раз переходит к ней и так про жену восклицает:

— Ухожу от нее, поскольку я увидел всю ее мелкобуржуазную сущность. Она меня в такое героическое время подбила взять заявление, и я ей никогда этого не прощу и всякий раз, видя ее, буду непременно страдать и огорчаться. Но я не хочу ее даром бросить. Я ей дам рублей сто денег, и пушай она, дьявол, не вмешивается в мои сердечные дела.

Жена говорит:

— Вот так да! Я же вам говорила.

Тогда племянник Вовка совместно с Борисом Андреевичем моментально переносят вещи к Феничке и там весь вечер празднуют пышный бал.

На шестой день снова в квартире раздаются крики, возгласы и дамские слезы.

Что такое? Пардон. Извиняюсь, что случилось?

Ах, это, знаете, у Бориса Андреевича сперли ночью все деньги.

Рисуется чудовищная картина ужаса и потрясения.

Сам Борис Андреевич лежит на кровати с мордой бледной, как глина. Он шепчет слова удивления и разводит руками, показывает этим силу своего душевного страдания.

Тут же рядом на ковре лежит без памяти Феничка. У нее украли туфельки и пальто.

Тут узнается, что Борькин племянник Чучелов, не сдав еще экзаменов на шофера, исчез неизвестно куда. Рисуется картина подлой кражи со стороны этого бешеного родственника.

Тогда вдруг появляется Феничкин брат или черт его знает кто. Тоже, кажется, из чухонцев. Со значком ГТО.

Он почти ничего не говорит и только ногами выпихивает лишних обитателей из комнаты.

Последним номером он выгоняет Борьку Фомина и бьет его в рыло за исковерканную дамскую жизнь плюс туфельки и пальто.

Борька с криками страдания мечется по коридору с мордой вспухшей, как пирог.

Тогда его бывшая жена берет его под свое покровительство и разрешает ему снова находиться на ее половине.

Борька ложится на пол в ее комнате и страдает так, что даже пришедший милиционер, привыкший видеть все, чего бывает, не может этого видеть.

Борька говорит жене:

— Ах, я сам не понимаю, как я от вас ушел. Только ваша любовь завсегда скрашивала мои невероятные страдания. Я, как в бреду, жил три дня с этой белобрысой чухонкой, у которой совершенно поделом сперли плюшевые туфли и пальто и у которой брат я не знаю какой подлец и убийца живых существ. Ах, у меня была морoka в голове от этих всех дел. Я вам в присутствии товарища милиционера приношу свои сердечные извинения за все явления.

Милиционер говорит:

— Ах, перестаньте вы канючить. Моя душа буквально разрывается от этих слов. Я прошу вас замолчать и говорить то, что случилось, а не то, что было. Я, — говорит, — составляю протокол, а не пишу поэмы из жизни оборванцев.

Борька говорит:

— Тогда слушайте. Феничка ночью спала, а я, не помню зачем-то, на минутку пошел в уборную. Наверное, Вовка Чучелов все это увидел и взял из комнаты эти деньги и эти вещи.

Милиционер записывает это и уходит.

Муж с женой мирятся и живут друг с другом с необыкновенной любовью.

Борька с Феничкой не раскланивается. А она щеголяет и новых туфельках, неизвестно откуда полученных.

Феничкина сестра Сима, с которой Борька разговаривал, сказала, что этот белобрысый, набивший ему морду, отнюдь не брат, а любовник. И этим все объясняется.

Страдания Борьки прекращаются. Он ходит на работу и там дает разные смелые обещания.

Жена говорит:

— Ну ладно, что же делать, если тебе нравится, попроси у кого-нибудь рекомендацию. Ты у меня тянешься ко всему, как ребенок.

Вдруг через две недели вызывают Борьку в милицию. И там ему сообщают, что в Гаграх на Кавказе поймали его племянника, Вовку Чучелова. Он истратил четыреста рублей, а остальные деньги Борька может моментально получить обратно.

Борька, с лицом бледным, как глина, возвращается домой. У него в руках деньги. И он садится на кушетку, неохотно смотрит на всех и не совсем понимает, что случилось.

Его жена говорит:

— Ах, уйдите все из комнаты. Еще неизвестно, что будет.

Эта неизвестность продолжается три дня.

После чего Борис Андреевич вдруг моментально с бухты-барахты женится на Феничкиной сестре — Симе.

От счастья он не ходит на работу три дня, и его выгоняют на полгода. Но он на это плюет и не горюет. Он кладет свои деньги на книжку. И эту книжку носит теперь на груди на самом толстом шпагате.

Феничка говорит, что ей все это безразлично. А жена говорит: «Вот так штука!» — и выходит неожиданно замуж за знакомого бывшего поляка, который переезжает на ее площадь, как не имеющий таковой.

Вот теперь интересно, что будет, когда Борис Андреевич поистратится.

Прочитавши этот рассказ, мы можем вместе с вами подивиться удивительным делам. И, подивившись этим делам, давайте с надеждой подумаем о тех прекрасных днях, в которые деньги не будут, может быть, иметь такое выдающееся значение.

Мир ахнет и удивится, какая, наверное, будет замечательная жизнь.

А нам, подлецам, воспитанным на дряни и безобразии, даже и не понять, как это будет.

На этом мы хотели закончить наши рассказы о деньгах, с тем чтобы перейти к рассказам о любви. Однако близость этого поэтического отдела «Любовь» позволяет нам рассказать еще одну новеллу, в которой два наших предмета — деньги и любовь — столкнулись между собой.

И вот что получилось.

Это рассказ об одной богатой и состоятельной гражданке, которая за деньги приобрела себе любовь.

Вот как это было.

Последний рассказ под лозунгом «Счастливый путь»

Богатых, собственно, у нас нету. Но зажиточные у нас имеются.

У нас некоторые хорошо получают. Некоторые по займам выигрывают. Некоторые вообще пес их знает откуда берут деньги.

Но что такое богатство — мы мало себе представляем. Мы почти не знаем, что это за состояние, при котором все можно купить и рушатся все преграды и нет ничего на свете, чего нельзя пожелать.

Конечно, у нас бывает кое-что вроде этого. Ну там кое-какие мелкие остатки прежних состояний. И тогда при этом случаются удивительные дела, от которых мы отвыкли, но на которые нам стоит поглядеть.

Вот извольте рассказ о том, как одна любовь была куплена за деньги и что из этого получилось.

А жила в Ленинграде одна вообще дамочка, дочка одного богатого инженера.

Или он не был инженер, а был подрядчик — сейчас это хорошо неизвестно. Только факт, что он строил частные дома и при этом неимоверно разбогател. Ну, может быть, там хапнул или вообще украл, я не знаю.

Вот он чертовски разбогател (а было это в начале нэпа) и, разбогатевши, стал, конечно, приобретать разные ценные вещицы, разные там картины, ковры, лампы, одеяла. При этом у него имелись золотые монеты царской чеканки, брильянты и вообще чертова уйма всякого добра и костюмов.

Конечно, неизвестно, что случилось бы с ним в наши дни, но он, будучи неглупым человеком, своевременно в двадцать четвертом году умер со спокойной улыбкой на устах — дескать, эх вы, дураки, не знаю, как вы, а я прилично нажил и дочке все передаю.

И сам, как говорится, сыграл в ящик.

А дочка у него была ну вообще малоинтересное существо, такая вообще барышня ни то ни се. Ну вообще ходит, сидит, говорит и кушает, но к поэзии не имеет склонности и на рояле играть не может.

Без своего богатства ей, конечно, ноль цена, но, поскольку у нее было богатство, за ней мужчины сильно водлопочились и даже три раза подряд женились на ней, но все как-то неудачно. И даже за ней один доктор ухаживал. Но, будучи политически грамотным человеком, он не придавал значения ее богатству, понимая, что это есть нечто кратковременное, без чего хочет обойтись социальная революция. Он несколько поухаживал за ней и, предвидя неприятности, ушел, как говорится, в кусты.

Но тут она знакомится с одним инженером. Такой интересный красавец, тоняга, одевается. Такой вообще педант и любимец женщин. Душистый платок в кармане, какие-то запонки, еще что-то такое. И при этом имеет имя — Лютик.

Вот этот молодой любимец дам посещает нашу Елену Григорьевну и видит у нее несметное количество ценного барахла. И вот, распалившись на это добро, он кружит дамочке голову и однажды говорит ей, мол, не хотите ли вы быть моей женой.

А эта дура, влюбленная в него как кошка, трясется от радости и говорит: «Ах, я твоя навеки».

Вот он, не будь дурак, женится на ней поскорей, чудно живет, восторгается жизнью, закусывает по пять раз в день и думает: «Вот так устроился!»

Он переезжает в Детское Село в собственный дом и вдруг примечает, что дамочка-то ему малоинтересна. Никакой такой любви у него к ней не имеется, и даже ему неохота находиться с ней рядом и дышать тем же воздухом.

«Разводиться, — думает, — мне с ней в высшей степени глупо, но я, — думает, — зевать не буду».

И вот он заводит разные флирты и романы и разные любовные похождения. Живет там на полный ход с какой-то невероятной красавицей. При этом с ней кутит и выпивает и бросает к ее ногам разные мелкие ценности.

Домой приезжает, как говорится, еле можаху, но при этом делает вид, будто он чересчур утомился строительством и делами и поэтому не может даже беседовать со своей супругой.

— Я, — говорит, — извиняюсь, не могу по-прежнему подолгу разговаривать с вами на разные темы и тем более любоваться вами, поскольку от усиленных занятий у меня изменился характер и я потерял некоторую живость своего темперамента.

И при этом он стал при ней притворяться — ходит сгорбившись, охает, харкает лишней слюной и прикрывается двумя одеялами. А у самого морда цветущая и здоровые — лучше не надо.

В довершение всего он подговорил одного знакомого врача Орлова, чтобы тот нашептал Елене Григорьевне разные устрашающие слова. И дал ему для этого некоторую сумму денег.

Вот врач приезжает, ахает, восклицает и говорит Елена Григорьевне:

— Да! Это да! Охо-хо! Такое молодое, цветущее существо, а здоровье у него в высшей степени поганое. Вы его берегите и не волнуйте. Пушай он лучше всего спит в отдельном кабинете. И ваше дамское дело исполнять все его капризы и требования.

Вот эта дура немисливо рыдает, ходит на цыпочках и ничем не тревожит своего супруга, которого по-прежнему любит и обожает.

И так проходит год и два. И наконец три. И проходит пять лет, и дело приближается к нашим дням.

И вот наступает 1933 год.

И вот раз однажды приходит до Елены Григорьевны ихний сосед. Такой счетовод Федоров. Такой вообще счетоводишка — дурак, фанфарон и мелкая личность.

Чего-то они разговорились о том о сем (а Лютика не было дома), а Елена Григорьевна говорит:

— Знаете что, мне нынче скучно. Поедмте в ресторан. Я буду платить, а вы не беспокойтесь. Послушаем музыку, скушаем по цыпленку и провернем интересно время.

Этот прохвост, счетоводишка Федоров, говорит:

— Очень рад. С великим удовольствием.

Вот они едут в Ленинград. Заходят в «Асторию». Ковры. Столики. Играет оркестр. Танцуют великолепные пары. А этот болван Федоров одет, наверное, в свой серый пиджачок, небритая морда, галстук, наверное, свернулся на сторону. Ай-яй!

Вот они садятся за столик, заказывают себе цыпят и так далее. И вдруг Елена Григорьевна видит — что такое — фантазмагория! Она видит: ее супруг, Лютик, танцует шимми с какой-то дамой.

Ах, она ничего не сказала и не вздрогнула. Она только встала из-за столика и пошла к выходу, будто с ней приключилось нехорошо и ей надо пойти в уборную.

А ее счетоводишка Федоров, видя, что сумочка с деньгами на столе, не стал тревожиться. Она, думает, навряд ли сбежала. А в крайнем случае я два цыпленка съем.

Вот Елена Григорьевна летит моментально домой. И по дороге ей полностью раскрывается вся чудовищная картина. Ей сразу стало все ясно и какой обман она имела в течение семи лет.

Она летит домой. Сразу роется в его письменном столе. Вытаскивает разные письма и записочки и читает это все побелевшими губами. И видит — да, обман налицо, и он не поддается описанию.

Она находит разные дамские письма. Она читает в них поэтические слова о том о сем: «Уважаемый Лютик...», «Ты — мой бог...», «Целую вас...», «Ах, ах...». И все такое.

Она восклицает: «Ах!», падает ненадолго в обморок, но потом берет себя в руки и говорит себе: «Я, кажется, полюбила подлеца».

Нет, она ничего не говорит ему, когда он на другой день приезжает. Она только нервно ходит по саду, нетерпеливо рвет листочки с деревьев и шепчет: «Вот так да!»

А этот подлец Лютик, не привыкши видеть ее такой, приходит от этого зрелища в содрогание и говорит себе:

«Это, кажется, я перехватил через край. Семь лет я обманываю эту дуру и даже не живу с ней. А в силу ее любви ко мне я, кажется, закрываю ей доступ к интересам жизни».

И тогда он, у которого нежные побеги совести еще не совсем завяли, приходит в сад, садится с ней рядом на скамеечку и так говорит ей:

— Сердечный привет, Елена Григорьевна. Я хочу вам нынче рассказать кое о чем. Вот, знаете, какое дело...

И начинает ей рассказывать, как это было.

— Да, — говорит, — я не жил с вами семь лет в силу обмана. Но я не желаю больше заедать вашу жизнь. Каждое живое существо имеет право на чью-либо любовь и ласку, и вы используйте этот закон природы.

Она говорит:

— Это хорошо, что вы мне сказали. И, поверьте, мне очень дороги нежные побеги вашей совести. Но я, — говорит, — и без того все это знала.

Он сильно удивляется, а она продолжает:

— Что же касается ваших слов насчет любви и ласки, то я, — говорит, — не такая уж дура, как вы думаете. Любовь и ласка у меня бывали, и вы напрасно меня жалеете и считаете за придурковатую, думая, что я только на вас и глядела.

Тогда он в страшном гневе встает со скамейки и говорит:

— Как понимать ваше выражение? Значит, вы цацкались с другими и имели, кажется, любовников, или, — го-

ворит, — я чего-то не понимаю. Ответьте мне их имена, или я сам за себя не отвечаю.

Она называет ему семь различных имен, и в числе их упоминает фамилию Федоров и фамилию Орлов.

От этих двух фамилий Лютик приходит в содрогание и падает на скамейку.

Он говорит:

— Тогда я дурак, что вам рассказал. Вы, — говорит, — есть проявление всей человеческой подлости. И мое презрение к вам не позволяет мне находиться с вами рядом. Я, — говорит, — от вас уезжаю. До свиданья.

Он думал, что она будет его умолять, но она, почувствовав силу своего богатства, говорит:

— Очень великолепно. А то я сама хотела вам это предложить.

Он плюет на цветы, на клумбу, на скамейку и, взбешенный, собрав свои чемоданы, моментально уезжает в Ленинград.

А она смеется и говорит:

— Валяй, валяй, я, — говорит, — за свои деньги почище тебя видела.

Вот он уезжает к своей невероятной красавице, которая, видя, что он приехал налегке и не может теперь иметь такой комфорт жизни, вскоре расстается с ним.

А он тогда женится на одной зажиточной певичке, которая выступает на концертах по пять раз в день и имеет право на хорошую жизнь.

Что касается Елены Григорьевны, то она вскоре выходит замуж за этого дурака Федорова.

А тот, по странному совпадению, прожив с ней полгода и не зная подробностей о предыдущем муже, стал тоже чего-то жаловаться на свое здоровье, но Елена Григорьевна, насмеявшись, сказала:

— Ну что ж, если так, тогда давайте расстанемся.

На что тот, почти моментально поправившись, стал повсюду бывать с ней, и жизнь их потекла по установленным правилам.

Они часто выезжают в ресторан. Она, уставшая от житейских бурь, слегка постарела и, сидя за столиком, презрительно поглядывала на мужчин. А болван Федоров, кушая цыплят и утей, в свою очередь с тоской поглядывал на

молоденьких баб, которые там и сям расположены в ресторане.

Неимоверные траты денег заставили Елену Григорьевну сильно раскошелиться. Она беззастенчиво стала продавать золотые монеты царской чеканки. И вскоре на этом засыпалась.

Ей пришили дело и недавно выслали ее на жительство в город Арзамас.

А подлец Федоров от этих дел отбоярился. Он сказал: «Я не я, и супруга не моя, и насчет денег я понятия не имел, — я любил ее бескорыстно».

Тем не менее, снедаемый такой любовью, он за ней в Арзамас не поехал.

Так пожелаем же ей счастливого пути и спокойной жизни в Арзамасе, где она, наверное, будет конторщицей и где она получит те чувства, которые она заслуживает без своего крупного богатства.

Счастливый путь!

На этом мы закончим наши рассказы о деньгах.

И, прочитавши еще небольшое нижеследующее послесловие, которое, так сказать, вроде как бантиком завяжет наш отдел, мы с великими надеждами перейдем ко второму отделу, который у нас носит заманчивое и на первый взгляд игривое название «Любовь».

Итак, извольте небольшое, вроде болтовни, послесловьице к первому отделу.

Послесловие

Итак, на этом, с вашего разрешения, мы заканчиваем, милостивые государи, наш отдел «Деньги».

И вот, что же мы видим, прочитавши все это с добросовестным вниманием? Что же мы видим, прочитавши интересные новеллы из истории и смешные рассказы из нашей жизни?

А мы видим, что деньги, как это ни удивительно, приносят людям большие огорчения. Но как это бывает — мы не беремся утверждать. Быть может, это происходит от злосчастливого свойства денег, а быть может, и наоборот — от горестных сторон наших в сущности неважных характеров. Хотя, наверно, и характеры от чего-нибудь зависят.

Но, быть может, одно влияет на другое и как-нибудь такое взаимно действует.

И если, предположим, изменить одно, то, наверно, изменится другое. А которые думают, что можно второе изменить, а первое пускай остается в прежней силе, в прежнем блеске и почете, — те, я так думаю, пренебрежительно ошибаются.

В общем, наше дело сказать, а вы там как хотите.

Итак, на этом, проливши несколько капель слез и погоревав о падении и гибели многих хороших людей, мы закрываем наш отдел, озаренный несчастьем, и со своей романтической душой вступаем с пылкой надеждой в новый, радостный отдел — «Любовь».

И мы уже слышим шепот, и робкое дыхание, и трели на гитаре, и кой-какие стишки. И дамские крики. Выстрел. И рев младенца. И, пардон, кажется, снова звон денег.

Читатель, пригладь свои волосы и завяжи потуже галстук. Мы сейчас пойдем с тобой по той аллее, которая требует некоторой, что ли, выправки, красоты разных линий, очертаний и внешних форм. Туда, я извиняюсь, нельзя прийти на косолапых ногах и с небритой мордой.

Итак, пригладьте свою прическу, — мы пойдем по аллее, освещенной трепетной луной. Высокие липы, представьте себе. Скамейка под деревом. Пруд. Как сказал поэт:

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде...

Ах, вот где, наверно, мы увидим радость и восторги, которых люди вполне заслуживают. Вот где, наверно, мы увидим счастье, которое нам искупит огорчения прежних страниц.

Читательница, ваше милое присутствие здесь крайне необходимо. Дайте вашу нежную ручку, положите ее нам на грудь, успокойте наше сердцебиение, которое происходит от предчувствия всего хорошего.

Итак, мы начинаем новый отдел — «Любовь».

1. В^{от} когда госпожа смерть

подойдет неслышными стопами к нашему изголовью и, сказав «ага», начнет отнимать драгоценную и до сих пор милую жизнь, — мы, вероятно, наиболее всего пожале-ем об одном чувстве, которое нам при этом придется поте-рять.

2. Из всех дивных явлений и чувств, рассыпанных щедрой рукой природы, нам, наверно, я так думаю, наи-жалче всего будет расстаться с любовью.

И, говоря языком поэтических сравнений, расстава-ясь с этим миром, наша вынутаая душа забьется, и засто-нет, и запросится назад, и станет унижаться, говоря, что она еще не все видела из того, что можно увидеть, и что ей хотелось бы чего-нибудь еще из этого посмотреть.

Но это вздор. Она все видела. И это есть пустые отго-ворки, рисующие скорей величие наших чувств и стрем-лений, чем что-либо иное.

3. Конечно, есть и помимо того разные исключитель-ные и достойные случаи и чувства, о которых мы тоже, на-верно, горько вздохнем при расставании.

Нам, без сомнения, жалко будет не слышать музыки духовых и симфонических оркестров, не плавать, напри-мер, по морю на пароходе и не собирать в лесу душистых ландышей. Нам препечально будет бросить нашу славную работу и не лежать на берегу моря с целью отдохнуть.

Да, это все славные вещи, и обо всем этом мы тоже, ко-нечно, пожалеем при расставании. И, может быть, даже всплакнем. Но вот о любви будут пролиты особые и гор-

чайшие слезы. И, когда мы попросимся с этим чувством, перед нами, наверно, весь мир померкнет в своем величии, и он покажется нам пустым, холодным и малоинтересным.

Как у одного поэта сказано:

Любовь украшает жизнь,
Любовь — очарование природы...
Существует внутреннее убеждение,
Что все, сменяющее любовь, ничтожно.

Вот видите, французский поэт Мюссе сказал, что все ничтожно в сравнении с этим чувством. Но он, конечно, отчасти ошибался. Он, конечно, слегка перехватил через край.

4. Тем более нельзя забывать, что эти строчки сказал француз. То есть человек, от природы крайне чувственный и, простите, вероятно, бабник, который от чрезмерно волновавших его чувств действительно может брякнуть бог знает что из этой области.

Они, французы, там у себя, в Париже, сколько нам говорили, выйдут вечером на бульвар и, кроме разных красоточек, которых они величают «курочками», спервоначалу решительно ничего другого не видят. Вот какие они любители женской красоты и грации!

Так что у нас есть основания слегка погасить удивительную пылкость этих поэтических строк.

5. Но вот взгляните на русского поэта. Вот и русский поэт не отстает от пылкого галльского ума. И даже больше. Не только о любви, а даже о влюбленности вот какие мы находим у него удивительные строчки:

О влюбленность, ты строже судьбы,
Повелительней древних законов отцов..
Слаще звуков военной трубы.

Из чего можно заключить, что наш прославленный поэт считал это чувство за нечто высшее на земле, за нечто такое, с чем не могут даже равняться ни строгости уголовных законов, ни приказания отца или там матери. Ничего, одним словом, он говорит, не действовало на него в сравнении с этим чувством. Поэт даже что-то такое наме-

кает тут насчет призыва на военную службу — что это тоже ему было как будто бы нипочем. Вообще что-то тут поэт, видимо, затаил в своем уме. Аллегорически выразился насчет военной трубы и сразу затемнил. Наверно, он в свое время словчился-таки от военной службы. Оттого, может, и пустился на аллегорию.

В этом смысле гораздо легче иметь дело с прозой. В прозе не может быть таких туманностей. Там все ясно. А впрочем, и поэзию, как видите, можно разъяснить.

6. У другого русского поэта мы тоже находим не менее сильные строчки.

У этого поэта, надо сказать, однажды сгорел дом, в котором он родился и где он провел лучшие дни своего детства. И вот любопытно посмотреть, на чем этот поэт утешился после пожара.

Он так об этом рассказывает. Он описывает это в стихотворении. Вот как он пишет:

Казалось, все радости детства
Сгорели в погибшем дому,
И мне умереть захотелось,
И я наклонился к воде,
Но женщина в лодке скользнула
Вторым отраженьем луны,
И если она пожелает,
И если позволит луна,
Я дом себе новый построю
В неведомом сердце ее.

И так далее, что-то в этом роде.

7. То есть, другими словами, делая вольный перевод с гордой поэзии на демократическую прозу, можно отчасти понять, что поэт, обезумев от горя, хотел было кинуться в воду, но в этот самый критический момент он вдруг увидел катающуюся в лодке хорошенькую женщину. И вот он неожиданно влюбился в нее с первого взгляда, и эта любовь заслонила, так сказать, все его невероятные страдания и даже временно отвлекла его от забот по приисканию себе новой квартиры. Тем более что поэт, судя по стихотворению, по-видимому, попросту хочет как будто бы переехать к этой даме. Или он хочет какую-то пристройку

сделать в ее доме, если она, как он туманно говорит, пожелает и если позволит луна и домоуправление.

Ну, насчет луны — поэт припел ее, чтоб усилить, что ли, поэтическое впечатление. Луна-то, можно сказать, мало при чем. А что касается домоуправления, то оно, конечно, может не позволить, даже если сама дама в лодке и пожелает этого, поскольку эти влюбленные не зарегистрированы, и вообще, может быть, тут какая-нибудь недопустимая комбинация.

8. То есть я не знаю, может, наш грубый солдатский ум, обстрелянный тяжелой артиллерией на двух войнах, не совсем так понимает тончайшие и нежнейшие поэтические сплетения строчек и чувств. Но мы осмеливаемся приблизительно так думать благодаря некоторому знанию жизни и пониманию насущных потребностей людей, жизнь которых не все время идет по руслу цветистой поэзии.

Короче говоря, поэт и тут говорит о любви как о наивысшем чувстве, которое, при некоторой доле легкомыслия, способно заменить человеку самые насущные вещи, вплоть даже до квартирных дел. Каковое последнее утверждение всецело оставляем на совести поэта.

Но это, конечно, не есть мнение только трех пылких поэтов.

И все остальные тоже, бряцая, как говорится, даже на самых дребезжащих лирах, напевали любовные слова, еще более даже поразительные и беззастенчивые, чем эти.

9 Что-то там такое вспоминается из Апухтина:

Сердце воскреснуло, снова любя,
Трам-та-ра-рам, там-там...
Все, что в душе дорогого, святого...
Трам-та-ра-рам...

Причем это написал далеко не мальчик лет восемнадцати. А это написал солидный дядя лет сорока восьми, очень невероятно толстый и несчастный в своей личной жизни. Тем не менее он тоже, как видите, считает, что все мертво и безжизненно, пока в его сердце не возникла любовь.

Вот еще вспоминаются какие-то бешеные строчки:

Что такое любовь? О любви! О любви!
Это солнце в крови, это в пламени кровь.

Что-то такое, черт побери... да...

Это райская сень, обретенная вновь.
Смерть над миром царит, а над смертью — любовь.

10. Тут даже французская поэзия, пожалуй, маленько отстает — у них, можно сказать, нету такого бешеного натиска, как, например, в этих строчках. А это писала русская поэтесса. Она проживала в начале нашего столетия и была, говорят, довольно интересная. Во всяком случае, с большим поэтическим темпераментом. Вообще дамочка, видать, прямо дрожала, когда сочиняла это стихотворение. Факт, можно сказать, больше, конечно, биографический, чем пример поэзии... Бедняге мужу, наверно, сильно доставалось... Наверно, капризная. Дурака валяет. Целый день, наверно, в постели валяется с немойтой мордой. И все время свои стишки вслух читает. А муж-дурак сидит. «Ох, — восклицает, — это изумительно, пупочка, гениально!» А она говорит: «Правда?»...

Дураки! А потом взяли и оба умерли. Она, кажется, от туберкулеза, а он тоже, наверно, чем-нибудь заразился.

11. Тут, без сомнения, многие скептики, ученые и педанты, у которых сердца обледенели в одиноких скитаниях по полярным странам науки, прочтя эти стихотворные строчки, пожмут, пожалуй, плечами и скажут: дескать, это какое-то неумеренное мнение каких-то слишком пылких сердец, развязных душ и развращенного мировоззрения.

И они удивятся, что об этом чувстве существует такое мнение, и такие стихи, и такие слова, каких они вовсе не знали и даже не допускали мысли, что об этом что-либо подобное когда-либо произносилось.

И, может, и правда удивительно, что это так и что у нас бывает такая поэзия, но вот нам в руки недавно попала одна прозаическая книжка. Автор ее — знаменитый певец, Федор Иванович Шаляпин.

Так он в этой книжке с полной откровенностью признается, что все, что он делал в своей жизни, он делал главным образом для любви и для женщины. Вот какие бывают мнения о любви поэтически настроенных людей.

12. А что касается до людей трезвых и рассудительных, что касается философов и разных там мыслителей, умы которых пролили много света на самые таинственные и сложные явления жизни, что касается до этих людей, то они в общем счете мало чего говорили об этом чувстве, но иногда, конечно, считались с ним, подсмеивались и даже произносили в другой раз кой-какие афоризмы своей житейской мудрости.

Из более меланхоличных изречений мы можем, если хотите, привести вам слова Шопенгауэра, одного из самых мрачных философов, каких только знал мир.

Этот мрачный философ, жена которого, несомненно, изменяла ему на каждом шагу, произнес такие слова о любви:

«Любовь — это слепая воля к жизни. Она заманивает человека призраками индивидуального счастья и делает его орудием для своих целей».

13. Из более дурацких старинных изречений можем привести следующее:

«Любовь есть как бы сочетание небесных звуков». Из более поэтических:

«Никогда нельзя ударить женщину, даже цветком». Из более трезвых, но с уклоном в идеализм: «Любовь возникает от таких преимуществ, которые любящий ценит тем более, чем менее он сам ими владеет».

Небезызвестный философ Платон даже предложил такую теорему:

«Сущность любви заключается в полярном различии возможно больших противоположностей»¹.

Из более правильных изречений мы можем привести слова нашего пресветлого поэта и философа Пушкина:

¹ Любопытно, что Платон в дальнейшем отказался от этого взгляда. В своей знаменитой книге «Идеальное государство» Платон приводит следующие положения: «Женщина должна «рожать государству» в возрасте от двадцати до сорока лет. Мужчина может «творить государству» от тридцати до пятидесяти пяти лет. Сильнейшие должны жить с сильнейшими. Слабейшие со слабейшими. Детей от первых — воспитывать, от вторых — бросать. Если б этот фантастический закон, предположим, провели в жизнь, то мир не знал бы ни Наполеона, отцу которого было двадцать два года, а матери восемнадцать, ни Пушкина, отцу которого было двадцать семь лет.

Пора пришла, она влюбилась.
Так в землю павшее зерно
Весны огнем оживлено.
Давно сердечное томленье
Теснило ей младую грудь,
Душа ждала кого-нибудь.

14. Но это, так сказать, философия и механика любви.

А что касается до более точных исследований в этой области, то мы мало чего знаем об этом. И, может быть, даже и не надо об этом знать. И даже скорей всего, что ничего не надо знать. Поскольку сознание портит и помрачает почти все, до чего оно дотрагивается.

Как у Достоевского очень правильно сказано: «Слишком много сознания и даже всякое сознание — болезнь». А у другого поэта сказано: «Горе от ума». И мы полагаем, что эта фраза сказана далеко не случайно. Вообще, как возникает любовь — от психических ли представлений, или скорей всего существует какая-нибудь точная формула из неизведанной области электричества, — мы не знаем и решительно не хотим знать.

Итак, сознавая, что мы мало чего знаем о любви, но вместе с тем признавая за этим неясным чувством нечто немаловажное и даже грандиозное, мы с особым трепетом и сердечным волнением берем в свои руки тяжелые тома истории.

Мы хотим поскорей увидеть ту достойную роль, какую играло это чувство в жизни народов. Мы хотим увидеть грандиозные события, приключившиеся из-за любви, или там великолепные поступки отдельных граждан. Мы знаем, что мы хотим увидеть. И потому, чтоб понежить свою душу, мы располагаемся поудобней в кресле и, закулив душистую сигару, начинаем уверенной рукой перелистывать пожелтевшие страницы истории. И вот что мы там видим.

15. Сначала нам под руку лезут все какие-то, черт возьми, мелкие любовные дела и чепуховые, срундовые делишки из повседневной жизни — разные там браки, предложения и свадьбы, заключенные деловыми и рассудительными умами.

Вот видим, какой-то герцог... Что-то такое... Женится на дочери короля, имея надежды на трон.

Вот еще какая-то гран-персона, желая прирезать к своим владениям ряд городов, тоже делает предложение какой-то припадочной принцессе...

Российские великие князья... Что-то такое... Из эпохи татарского ига.. «Наперерыв стремятся (как пишет историк) пережениться на дочерях хана с тем, чтобы снискать себе его расположение»...

Вот какой-то еще, вообразите себе, Хильперих I... Франкский король... Женится на дочери короля испанского... Как буквально пишет история, «с тем, чтобы нанести удар своему врагу, принцу Зигеберту».

16. Причем об этих любовных делах на коммерческой подкладке историки пишут без всякого, можно сказать, воодушевления, этаким вялым канцелярским тоном, как о самых пустых, примелькавшихся предметах. Историки даже не добавляют от себя никаких восклицаний, вроде там: «Ай-яй!», или «Вот так князья!», или «Фу, как некрасиво!», или хотя бы: «Глядите, еще одним подлецом больше!»

Нет, ничего подобного беспристрастные историки не восклицают. Хотя, правда, если начать восклицать, то, пожалуй, никаких восклицаний не хватит, поскольку по ходу мировой истории видим целое море подобных дел.

Но мы, пожалуй, не будем подробно перечислять эти коммерческие предприятия. Мы хотим коснуться более интересных вопросов. Хотя, конечно, и в этой области тоже были разные поразительные случаи и анекдоты, достойные внимания современного читателя.

17 Вот, например, очень забавный факт. Он нам понравился своей, так сказать, наглядностью сюжета. Он очень характерен, этот факт. Он взят из старинной русской жизни. Из эпохи Иоанна Грозного.

А приехал в то время в Россию немецкий герцог, некто Голштинский.

Неизвестно, что он там делал в этой своей Германии, но только историкам стало известно, что он прибыл в Россию с тем, чтобы жениться по политическим соображениям на дочери двоюродного брата Ивана IV.

И вот он приехал. Наверное, расфуфыренный. В каких-нибудь шелковых штанах. Банты. Ленты. Шпага сбоку. Сам, наверное, длинновязый. Этакая морда красная, с рыжими усищами. Пьяница, может быть, крикун и рукосуй.

Вот он приехал в Россию, и, поскольку все уже было письменно оговорено, сразу же назначили свадьбу.

18. Ну, суетня, наверное, мотня. Мамочка бегаёт. Курей режут. Невесту в баню ведут. Жених с папой сидит. Водку хлещет. Врет, наверно, с три короба. Дескать, у нас, в Германии... Дескать, мы, герцоги, и все такое.

И вот происходит такая, довольно печальная вещь. Невеста, увы, неожиданно умирает. Она, бедняжка, возвращается из бани, простуживается чертовски и умирает в течение трех дней.

Жених, конечно, в неопишемом горе, хочет обратно уезжать в Германию. И в растрепанных чувствах уже прощается с родными, как вдруг ему говорят:

— Товарищ герцог! Погодите уезжать. У нас еще, на ваше счастье, имеется одна барышня. Ее сестренка. Она, правда, постарше той, и она менее интересна из себя, но все-таки она, может быть, вам подойдет. Тем более такой путь сделали из Германии — обидно же возвращаться с голым носом.

Герцог говорит:

— Конечно, подойдет. Что же вы раньше-то молчали? Ясно, что подойдет. Об чем речь! А ну покажите.

В общем, несмотря на траур, свадьба была вскоре сыграна.

19. Но, может быть, черт возьми, подобные факты и поступки происходили только у царей и среди герцогов?

Может, только в королевских чертогах существовали такая грубая расчетливость и брак без всякой любви, в силу там, может быть, разной, ну, я не знаю, дипломатии, хронического безденежья или там неважных условий царской жизни.

Может быть, у простых смертных как раз наоборот: любовь протекала естественным образом, и она веселила и радовала сердца окружающих?

На этот вопрос придется ответить отрицательно.

Некоторым категориям простых смертных вообще было как будто не до любви. Владетельные господа, как известно, женили своих верных рабов, как им вздумается.

Недавно мы прочитали, что русские помещики весьма часто женили своих крестьян по такому способу: они устраивали своих крестьян по росту и записывали их с кем попало: высоких мужиков с высокими женщинами, низеньких с низенькими. И такую запись посылали священнику для исполнения.

Тут, можно сказать, было не до любви.

А что касается разных там, я извиняюсь, чиновников, спекулянтов, мешочников и так далее, то эти господа тоже, по-видимому, мало чего понимали в любви. Браки у них совершались вроде как коммерческие дела. И без приданого там вообще не имели привычки шагу шагнуть.

20. Ну а если коснуться жизни более высокого полета и взять там разных графов, баронов и купцов, то эти господа, при всей своей праздной жизни, тоже мало себе представляли, какого цвета любовь.

Вот прелестная историческая новелла, рисующая нам все, как оно у них было.

Во Франции при Людовике XV (1720 год) один спекулянт нажил себе темными аферами огромное состояние. Он всего достиг. И у него все было. Но он еще захотел непременно породниться с самой наидревнейшей аристократической фамилией, — у него мелькнула такая фантазия. И он со своим богатством, не зная никаких преград, решил выдать замуж свою дочку за обедневшего маркиза со знаменитой фамилией д'Уау.

А дочке его в то время было всего три года. А маркизу было лет тридцать. Причем обедневший маркиз, несмотря на крупнейшее приданое, вовсе не имел никакого намерения ожидать двенадцать лет.

Изячно разводя руками и сверкая золотым лорнетом, он, наверное, говорил папаше-спекулянту сильным голосом:

— Послушайте, я бы рад с вами породниться, и сумма меня вполне устраивает, но у вас невеста чересчур мала. Пушай немного подрастет, тогда будет видно. — я, может быть, женюсь.

21. Но честолюбивый папаша пожелал немедленно стать родственником маркиза. Он тем самым, так сказать, хотел прикоснуться к высшей аристократии. И вот тогда он заключил с маркизом такой договор. Он ежемесячно выплачивает маркизу огромное жалованье до совершеннолетия невесты. Через двенадцать лет маркиз обязуется жениться на ней. Обручение же должно состояться теперь.

И вот в течение девяти лет маркиз аккуратно получал свое жалованье и предавался всем радостям жизни. А на десятый год молоденькая двенадцатилетняя невеста, заболев дифтеритом, скончалась.

Можно представить себе, какие слезы лил папаша-спекулянт! Во-первых, конечно, безумно жалко девочку, а во-вторых, подумать только, сколько денег зря ухлопано! И, конечно, нет никаких надежд получить с господина маркиза назад хоть частицу.

А тот, наверно, потирая руки, говорил огорченному папаше: дескать, насчет денег уж, конечно, сами понимаете. Раз девочка скапутилась — мое счастье.

22. Но это еще что! Были также и более удивительные дела на любовном фронте.

Вот, например, очень странно читать, как мужчины — разные красавцы, бароны, отважные рыцари, кавалеры, купцы, помещики и цари — женились, не видя своих невест. Причем это было довольно частое явление. И вот это нам, современным читателям, до некоторой степени удивительно.

Там узнавали только, какие дела и финансы и какое имущественное положение у невесты, кем папаша служит или где он царствует — и все. Ну, некоторые, может быть, осторожные женихи спрашивали, какая приблизительно подруга жизни, не горбатая ли — и все.

Давали свое согласие и женились, так сказать, втемную, заглазно. И невесту только в последний момент видели.

Нет, в наше время — трудно даже представить, как бы это могло у нас быть! У нас были бы, наверно, вопли, нервные крики, отказы, заваруха, мордобой и черт знает что. А там как-то такое обходилось.

23. Конечно, случались неприятности и безобразия. Например, из мировых скандалов известны два.

Один — знаменитый случай, который даже в театрах играют как чудовищную трагедию и драму из царской жизни.

Филипп II Испанский, старик лет шестидесяти, решил женить своего сына и наследника, знаменитого Дон-Карлоса. Он его решил женить на французской принцессе Изабелле, что было выгодно и необходимо согласно высокой политике. Сам же он эту принцессу не видел. Знал, что молоденькая и стремится выйти замуж, но какая она из себя, он не знал.

Но когда, после обручения, он ее увидел, то влюбился в нее и женился на ней сам, к громадному огорчению сына, который тоже был равнодушен к своей прелестной невесте. После чего, как известно, произошла драма между отцом и сыном.

24. Второй случай был в Персии. Персидский царь Камбиз (сын знаменитого Кира) сделал предложение дочери египетского фараона Амазиса II (529 год до нашей эры). Это предложение Камбиз сделал, не видя невесты. В это время разъезды и переезды были весьма сложным делом. И на поездку в Египет надо было затратить несколько месяцев.

А по слухам стало известно, что дочь египетского фараона отличается выдающейся красотой и миловидностью.

И вот могущественный персидский царь, отец которого завоевал почти весь мир, взял и послал предложение дочери египетского царя.

Фараон, чрезвычайно любивший свою единственную дочь, не захотел отпустить ее в неведомые края. Но вместе с тем он боялся оскорбить отказом владыку мира. И вот он тогда выбрал наиболее красивую девушку из рабынь и послал ее в Персию вместо своей дочери. Причем он послал ее как свою дочь, и для этой цели ей дали соответствующие указания.

История рассказывает, что Камбиз, женившись на ней, чрезвычайно полюбил ее, но, когда случайно обман раскрылся, он безжалостно умертвил ее и, оскорбленный в лучших чувствах, пошел войной на Египет.

Это была, пожалуй, одна из сильнейших любовных драм, из которой можно увидеть, как иной раз возникает любовь и как она заканчивается.

25. Ах, мы живо представляем себе этот драматический эпизод и этот трагический момент, когда раскрылся весь обман!

Вот они сидят, обнявшись, на персидской оттоманке.

На низенькой скамейке стоят, представьте себе, восточные сласти и напитки — там рахат-лукум, коврижки и так далее. Этаким толстенный перс с опахалом в руках отгоняет мух от этих сладостей.

Персидский царь Камбиз, выпив стаканчик какого-нибудь там шерри-бренди, с восхищением любит свою прелестную супругу и бормочет ей разные утешительные слова: дескать, «ах, ты, моя египтяночка!.. Ну, как там у вас, в Египте?.. Папаша-фараон, наверно, тебя чересчур баловал. И, вообще, как же можно тебя не баловать, когда ты такая у меня душечка, и я полюбил вас, моя дорогая принцесса, с первого своего взгляда за вашу царственную походку, и так далее».

26. Тут или она понадеялась на свои женские чары, или уже неизвестно, что случилось в ее женском сердечке, только она, засмеявшись серебристым смехом, сказала, что вот, дескать, какой нелепый случай: дочка-то фараона существует сама по себе в Египте, а он вот, персидский царь Камбиз, без ума полюбил ее, ничего общего с дочкой фараона не имеющую. Он полюбил простую девушку из рабынь. Вот что делает любовь с сердцем мужчины.

Тут без содрогания нельзя представить дальнейшую сцену.

Наверно, он заорал диким голосом. Вскочил с дивана в одних подштанниках. С одной босой ноги туфля упала. Губы побелели. Руки трясутся. Колени подгибаются.

— Как?! — закричал он по-персидски. — Повтори, что ты сказала! Господа министры! Арестуйте нахалку!

Тут министры прибежали. Ах, ах! Что такое? Успокойтесь, ваше величество!.. Глядите — туфельку с ноги обронили, теряете королевское достоинство.

Но, конечно, не так-то легко успокоиться, поскольку громадное оскорбление нанесено самолюбию.

27. И вот вечером, после того как спешно отрубили голову несчастной египтянке, Камбиз, наверно, долго совещался с министрами.

Размахивая руками и волнуясь, он нервно ходит по комнате.

— Нет, какая сволочь египетский фараон, а? — восклицает он с возмущением.

Министры, почтительно вздыхая, качают головами и разводят руками, ехидно переглядываясь между собой.

— Что же я теперь делать буду, господа, после такого оскорбления? Войной, что ли, мне пойти на этого негодяя?

— Можно войной, ваше величество.

— Только он, собака, забрался далеко... Египет... Африка... Туда чуть не год идти... На верблюдах, кажется, надо...

— Ничего, ваше величество... Войска дойдут.

— Я ее обласкал, — снова раздражаясь, говорил Камбиз. — Я ее принял как египетскую принцессу, страстно полюбил, а это оказывается не то... Как же, господа? Что же я — собака, что мне его дочка недоступна? Взял и подослал какую-то шуштуру... А?

28. Министр иностранных дел, сдерживаясь от приступов внутреннего смеха, говорит:

— Главное, ваше величество, мировой скандал-с...

— Вот именно!.. Я же и говорю — скандал. Ай, ну что же я буду делать?

— Главное, ваше величество, в мировую историю войдет, вот что худо... Дескать, Персия... Камбиз... Подсудобили барышню...

— Ай, ну что ты меня расстраиваешь, сукин сын!.. Собирать войска!.. Идти походом!.. Завоевать и стереть весь Египет к чертовой матери!..

В общем, Камбиз самолично двинул войска на Египет и в короткое время завоевал его. Однако престарелый и горемычный фараон Амазис к тому времени умер. А его племянник Псаметих, не ожидая для себя ничего хорошего, покончил с собой.

Что же касается до злополучной царской дочери, то никаких следов о ее судьбе мы, к сожалению, в истории не нашли...

Один знакомый профессор истории, читающий лекции в университете, мне сказал, что Камбиз эту египтянку

будто бы отдал в гарем одного из своих министров. Но насколько это верно, мы не беремся утверждать. Но это, конечно, возможно. В общем, любовь рассеялась как дым. Из чего видно, почему стоил фунт этого чувства.

29. Значит, что же? Значит, дело обстоит как будто неважно? Где же эта знаменитая любовь, прославленная поэтами и певцами? Где же это чувство, воспетое в дивных стихах?

Неужели недоучки-поэты, рифмоплеты и любители всякой красоты и грации, допустили такое возмутительное преувеличение? Что-то мы, читая историю, не находим подобных эффектных переживаний.

Нет, конечно, перелистывая историю, мы кое-что встречаем. Но это чересчур мало. Мы хотели, чтоб на каждой странице сверкала какая-нибудь бесподобная жемчужина. А то раз в столетие натываемся на какую-нибудь сомнительную любвишку.

Вот тут мы наскребли что-то такое несколько любовных рассказов. А прочитали для этого со старанием решительно всю историю от разных там, я извиняюсь, эфиопов и халдеев и от сотворения мира вплоть до нашего времени.

И вот только и наскребли то, что вы сейчас увидите. Вот, например, довольно сильная любовь, благодаря которой одна дочка переехала на колеснице своего папу.

Вот как это у них было.

30. Римский царь Сервий Тулий имел дочку. А у дочки был муж, человек довольно сомнительной репутации. Но тем не менее дочка его исключительно любила.

И вот этот господин замыслил сбросить с престола благородного отца этой дочки, Сервия Тулия. Конечно, это был старик — Сервий Тулий, и он вел какие-то неудачные войны с этими, представьте себе, с какими-то этрусками. Но все-таки сбрасывать его было жалко. И тем более убивать его не надо было. Это уже было свинство.

Но этот энергичный зять, посоветовавшись с дочкой старика, решил все-таки убить ее папу. И она, из любви к этому кровопийце, согласилась.

И вот на площади этот энергичный зять, подкупив наемного убийцу, безжалостно убивает кинжалом благород-

ного старичка. И тот, не пикнув, падает. И народ кричит: «А кто же, господа, теперь у нас будет императором?»

И вот дочка этого убитого отца, вместо того чтобы от огорчения рыдать и падать на труп своего папы, вскакивает на колесницу и, желая приветствовать нового императора — ее мужа, с криком радости колесами переезжает к черту труп своего только что убитого отца.

Сцена хотя до некоторой степени препротивная, но все же сильная. И любовь этой царской дочки выходит довольно содержательная. Все-таки надо очень любить, чтоб в такой момент старика переехать.

Стоит на колеснице. Гикает. Волосы растрепались. Морда перекосилась. «Ура!» — кричит новому императору. И едет через все, что попало.

А в толпе кричат:

— Глядите, эта бесстыдная бабенка не постеснялась даже, кажется, своего папу переехать.

Нет, все-таки это была любовь. И отчасти, наверно, желание самой царствовать. В общем, неизвестно.

31. Но вот вам еще более сильная любовь, случившаяся с одной небезызвестной исторической дамой на закате ее жизни.

Русская императрица Екатерина II на склоне своих лет, имея от роду что-то пятьдесят восемь лет, безумно влюбилась в одного молодого отважного красавца — Платона Зубова. Ему было двадцать один год, и он был, действительно, юноша очень интересный собой. Хотя его брат, Валериан, был еще того более интересен. В Русском музее имеются два их портрета. — так это действительно: брат был неслыханной красоты.

Но старуха увидела брата позже и поэтому, не зная, как и чего, сразу влюбилась в Платона. А когда увидела Валериана, то ахнула и сказала: «Да, этот юноша мне бы тоже понравился. Но, поскольку я уже полюбила Платона, и уж так, пожалуй, и буду продолжать».

А Платон, видя, что Валериан произвел на старуху неотразимое впечатление, послал этого своего братишку на войну. И красавцу на войне оторвало ногу ядром.

Так что старуха целиком привязалась к Платону и осыпала его разными удивительными милостями.

Интересно бы знать, как у них возник роман. Красавчик, вероятно, ужасно стеснялся на первых порах и робел, когда пожилая дама на него напирала. Естественно — робеешь: все-таки священная особа, так сказать, императрица вся Россия и так далее, и вдруг, черт возьми, какие-то грубые дела!

32. Представим себе этот роман.

— Ну, обними же меня, дурачок! — говорила императрица.

— Прямо, ей-богу, не смею, ваше величество, — бормотал фаворит. — Имею, так сказать, робость и уважение к императорскому сану.

— Да забудь ты об этом. Ну, назови меня Екатерина Васильевна (или как там ее по батюшке).

И мальчишка, неестественно смеясь, почтительно дотрагивался до стареющих плеч императрицы. Но потом привык и за свою любовь получил больше, чем следует.

В общем, в свои двадцать четыре года красавец уже был генерал-аншеф, наместник Новороссийского края и главный начальник всей артиллерии.

Немолодая дама, влюбляясь с каждым годом в него все более, не знала, как бы и чем ему угодить.

Она разрешила ему просматривать все секретные депеши и донесения из-за границы. Все министры и генералы, прежде чем попасть к Екатерине, проходили через него.

Министров и придворных юноша принимал, лежа на кушетке в шелковом бухарском халате. Старые генералы, почтительно дрожа, стояли навытяжку перед молодым красавчиком.

Старая императрица, влюбленная без меры, доверила ему все самые ответственные государственные дела. Любовь ее буквально ослепила.

33. А между тем мальчишка имел весьма смутные представления о жизни и политике. Например, известен его проект новой России.

В этом удивительном проекте столицами первой степени гордо указаны: Петербург, Берлин, Астрахань, Москва и Константинополь. Среди городов второй степени указаны почему-то Краков, Таганрог и Данциг. В этом проекте имеется такая фраза:

«Государыня столь обширной империи уподобляться должна солнцу, благотворным взором своим согревающему все, что лучи его достать могут».

В общем, по одному этому проекту можно судить, насколько старой даме было решительно наплевать на все государственные дела и как вся мировая политика померкла в сравнении с ее последней любовью.

Но этот случай скорей показывает нам стареющего человека во всей его печальной красоте, чем счастливые свойства любви.

Однако вот вам история одной большой любви, которая случилась в расцвете сил.

34. История эта тоже довольно известная, обошедшая театральные площадки. Так что мы не будем особенно долго на ней останавливаться. Это, знаете, о том, как римский консул Марк Антоний полюбил египетскую царицу Клеопатру. В общем, давайте вспомним эту историю, тем более что эта трогательная история все же до крайности удивительна. Честолюбивый человек, достигший, представьте себе, огромной власти, влюбившись в женщину, бросил решительно все. Он бросил даже свои войска, с которыми он шел на завоевание. И навсегда застрял в Египте.

Он подарил Клеопатре римские земли, правда завоеванные им, — Армению, Сирию, Киликию и Финикию. И возвел ее в сан «царицы царей».

Римский сенат, видя скандальные действия военачальника, спешно отрешил Антония от должности первого консула. Но влюбленный Антоний не захотел даже вернуться на родину.

Тогда Рим объявил войну Клеопатре. И у них началась славная борьба.

Антоний, совместно с Клеопатрой, выступил против римского войска.

Римские войска приближались к Александрии, и римский консул Октавиан написал Клеопатре письмо о том, что она может еще спасти свою жизнь и престол, если только пожертвует Антонием.

35. Госпожа царица, видя, что ее дела неважные, решила пожертвовать своим пылким возлюбленным.

И, пока Антоний вел борьбу с Октавианом, Клеопатра уведомила своего любовника через слуг, что она лишила

себя жизни. Она знала, что любивший ее Антоний не переживет горя. И действительно: узнав о гибели Клеопатры, Антоний пронзил себя мечом.

Однако рана оказалась несмертельной. И Антоний, узнав, что Клеопатра жива, велел принести себя на носилках к ней. И в ее объятиях он умер, простив ее за обман.

Эта удивительная история действительно говорит о довольно большой любви, которая затмила решительно все остальное.

А Клеопатра в дальнейшем тоже покончила с собой.

Дело в том, что Октавиан собирался отправить ее в Рим в качестве трофея. Клеопатра хотела было своим кокетством увлечь и этого вождя, но из этого ничего не вышло, и тогда она, не желая пережить позора, отравилась. И вместе с ней отравились тридцать ее прислужниц.

И нам почему-то жалко эту красавицу, которой Октавиан сказал: «Брось, царица, свои уловки, — меня на это не поймает». А ей было уже сорок лет, и она поняла, что ее песенка спета.

36. Но вот еще одна большая любовь, при которой человек позабыл даже о своем революционном долге.

Речь идет о муже знаменитой мадам Талльен.

Во Французскую революцию главный секретарь Революционного совета был послан Робеспьером в Бордо для ареста бежавших туда аристократов.

И вот в тюрьме он познакомился с арестованной молодой женщиной — Терезой Фонтенэ. Он влюбился в нее и выпустил ее из тюрьмы.

Робеспьер, узнав, что Талльен выпустил арестованную, снова велел арестовать ее.

Тогда Талльен, соединившись со сторонниками Дантона, повел такую борьбу против Робеспьера, что в короткое время сумел свалить его. И одним из мотивов этой борьбы была, несомненно, любовь к Терезе Фонтенэ.

В дальнейшем Талльен женился на ней, но она вскоре его бросила и вышла замуж за какого-то князя.

Но это еще не все, что знает история.

Еще помимо этого совершались по временам небольшие и на первый взгляд малозаметные события, но тем не менее эти события буквально можно сказать как солнце пробивались сквозь дебри лесов. Это была большая любовь.

37. ● Вот, например, жены декабристов, блестящие светские дамы, бросили все и добровольно, хотя их никто не высылал, пошли в Сибирь за своими мужьями.

● Большой Радищев должен был отправиться в ссылку. А незадолго до этого умерла его жена. Тогда сестра жены последовала за ним на поселение...

● Сын богатого помещика, блестящий кавалергард Ивашев, полюбил гувернантку Камиллу, служившую в их доме. Родители, конечно, отказали ему в этом браке. Но через год, когда Ивашев по делу декабристов был сослан на двадцать лет в Сибирь, молоденькая гувернантка добровольно последовала за ним.

● У английского поэта Р. Броунинга умерла горячо любимая жена. Страшно оплакивая ее, поэт положил в гроб самое дорогое, что было для него, — тетрадь своих новых сонетов.

Правда, в дальнейшем, когда поэт еще раз полюбил, он достал эту тетрадь, но это не так важно.

● Наполеон в разгар сражения в 1796 году писал Жозефине: «Вдали от тебя весь мир — пустыня, в которой я одинок и покинут. Ты — единственная мысль всей моей жизни».

● Лассаль писал Елене Деннигес: «У меня исполинские силы, и я их утысячерю, чтобы завоевать тебя. Никто в мире не в состоянии оторвать тебя от меня... Я страдаю в тысячу раз больше, чем Прометей на скале».

38. ● Чернышевский, влюбленный в свою жену, писал Некрасову: «Не от мировых вопросов люди топятя, стреляются, делаются пьяницами, — я испытал это и знаю, что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли».

● Город Вейнсберг осажден неприятелем. Победители разрешили женщинам покинуть город перед разгромом. Причем разрешили каждой женщине взять то, что ей было наиболее дорого, и то, что она может унести с собой. И вот несколько женщин на руках вынесли своих доблестных мужей.

Конечно, это последнее событие похоже на легенду. История любит по временам, так сказать, для морального равновесия, придумать что-нибудь такое чувствительное.

39. Из чувствительных анекдотов забавен следующий.

Какой-то рыцарь, отправляясь в поход, поручил жену своему другу. Друг влюбился в жену. Жена влюбилась в него. Но клятва верности, конечно, ненарушима.

И вот, чтобы сохранить и испытать эту верность, они спят в одной постели, положив между собой обоюдоострый меч.

Меч-то, может быть, они и положили, и спали, может быть, они тоже в одной постели, — этот исторический факт мы опровергать не будем, — но что касается всего остального, то, извините, сомневаемся.

В общем, на этой сентиментальной чепухе мы заканчиваем наши исторические новеллы.

Вот что рассказывает история о любви.

Она, в общем, весьма немного рассказывает об этом чувстве. Дескать, да, действительно, чувство это, кажется, имеется. Истории, дескать, приходилось иной раз сталкиваться с этой эмоцией. Дескать, бывали даже кой-какие исторические события и случаи на этой почве. И совершались кое-какие дела и преступления.

Но чтоб это было что-нибудь такое, слишком грандиозное, вроде того, что напевали поэты своими тенорами, — вот этого история почти не знает.

Напротив, коммерческие души вполне оседлали это чувство. И оно не представляет никакой опасности для тихого хода истории.

40. Нет, это чувство не помешало людям идти по той дороге, по которой они добросовестно и терпеливо идут.

И историки вправе монотонными голосами рассказывать нам о том, что было, и о том, сколько какой жених получил «карбованцев» за то или иное свое чувство.

Да, конечно, тут речь шла о прошлых столетиях. И, может быть, теперь кое-что изменилось?

Мы, к сожалению, не побывали за границей и в силу этого не можем полностью удовлетворить ваше законное любопытство.

Но мы имеем мнение, что навряд ли там произошли какие-нибудь крупные перемены.

Наверно, мы так думаем, какой-нибудь маркиз со своим звучным именем является женихом трехлетней крошки. И папаша ежемесячно выплачивает ему жалованье.

И, наверно, какая-нибудь стареющая особа, позабыв все на свете, держит при себе какого-нибудь танцора Зубова и осыпает его своими милостями.

Все, надо полагать, идет, как оно и шло.

А что касается как у нас, то благодаря социальной революции у нас произошли изрядные перемены.

41. И главное, коммерческий расчет прекратился. И денежные счета упростились и сильно уменьшились. И вообще, оно стало как-то в этом смысле понятней и менее хлопотливо и не так обременительно.

Нет, кое-что дрянное у нас осталось. Кое-какие комичные и неважные дела еще случаются у нас на любовном фронте. И было бы удивительно, если бы этого вовсе не было.

Давайте же посмотрим, какие это дела. И, так сказать, железной метлой сатиры подметим то, что можно подмести.

Итак, переходим к любовным рассказам из нашей жизни.

РАССКАЗЫ О ЛЮБВИ

Рассказ о старом дураке

Есть такая, может быть, знаете, знаменитая картина из прежней жизни, она называется — «Неравный брак».

На этой картине нарисованы, представьте себе, жених и невеста.

Жених — такой, вообще, престарелый господинчик, лет этак, может быть, семидесяти трех с хвостиком. Такой, вообще, крайне дряхлый, обшарпанный субъект нарисован, на которого зрителю глядеть мало интереса.

А рядом с ним — невеста. Такая, представьте себе, молоденькая девочка в белом подвенечном платье. Такой, буквально, птенчик, лет, может быть, девятнадцати.

Глазенки у нее напуганные. Церковная свечка в руках трясется. Голосок дрожит, когда брюхастый поп спрашивает: ну как, довольна ли, дура такая, этим браком?

Нет, конечно, на картине этого не видеть, чтоб там и рука дрожала и чтоб поп речи произносил. Даже, кажется, и попа художник не изобразил по идеологическим мотивам.

вам того времени. Но все это вполне можно представить себе при взгляде на эту картину.

В общем, удивительные мысли навеивает это художественное полотно.

Такой, в самом деле, старый хрен мог до революции вполне жениться на такой крошке. Поскольку, может быть, он — «ваше сиятельство» или он сенатор, и одной пенсии он, может быть, берет свыше как двести рублей золотом, плюс поместья, экипаж и так далее. А она, может, из бедной семьи. И мама ее нажучила: дескать, ясно, выходи.

Конечно, теперь всего этого нету. Теперь все это, благодаря революции, кануло в вечность. И теперь этого не бывает.

У нас молоденькая выходит поскорей за молоденького. Более престарелая решается жить с более потрепанным экземпляром. Совершенно старые переключаются вообще на что-нибудь эфемерное — играют в шашки или гуляют себе по набережной.

Нет, конечно, бывает, что молоденькая у нас иногда выходит за пожилого. Но зато этот пожилой у нас обыкновенно какой-нибудь там крупнейший физиолог, или он ботаник, или он чего-нибудь такое изобрел всем на удивление, или, наконец, он ответственный бухгалтер и у него хорошая материальная база на двоих.

Нет, такие браки не вызывают неприятных чувств. Тем более тут можно искренне полюбить — может, это какая-нибудь одаренная личность, хороший оратор или у него громадная эрудиция и прекрасный голос.

А таких дел, какие, например, нарисованы на вышеуказанной картине, у нас, конечно, больше не бывает. А если что-нибудь вроде этого и случается, то это вызывает всеобщий смех и удивление.

Вот, например, какая история произошла недавно в Ленинграде.

Один, представьте себе, старик, из обыкновенных служащих, неожиданно в этом году женился на молоденькой.

Ей, представьте себе, лет двадцать, и она интересная красавица, приехавшая из Пензы. А он — старик, лет, может быть, шестидесяти. Такой, вообще, облезлый тип. Морда какая-то у него потрепанная житейскими бурями. Глаза какие-то посредственные, красноватые. В общем,

ничего из себя не представляющая личность, из таких, какие в каждом трамвае по десять штук едут.

И к тому же он плохо может видеть. Он, дурак, дальтонизмом страдает. Он не все цвета может различать. Он зеленое принимает за синее, а синее ему, дураку, мерещится белым. В довершение всего он был женат. И вдобавок ко всему жил со своей старухой в крошечной и неважной комнатенке.

И вот тем не менее, имея такие дефекты, он неожиданно и всем на удивление женится на молодой прекрасной особе.

Окружающим он так объяснил это явление: дескать, новая эра, дескать, нынче даже старики кажутся молодыми и довольно симпатичными.

Окружающие ему говорят:

— Вы поменьше занимайтесь агитацией и пропагандой, а вместо этого поглядите, чего ей от вас нужно. Это же анекдот, что она за вас выходит замуж.

Старик говорит:

— Кроме своей наружности и душевных качеств, я ничего материального не имею. Жалованье маленькое. Гардероб — одна пара брюк и пара рваных носовых платков. А что касается комнаты, этой теперешней драгоценности, то я живу пока что со своей престарелой супругой на небольшой площади, какую я намерен делить. И в девяти метрах, с видом на помойку, я буду, как дурак от счастья, жить с той особой, какую мне на старости лет судьба послала.

Окружающие ему говорят:

— А ну вас к лешему! Вас не убедишь.

И вот он разделил площадь. Устроил побелку и окраску. И в крошечной комнатке из девяти метров начал новую великолепную жизнь, рука об руку с молодой цветущей особой.

Теперь происходит такая ситуация.

Его молодая подруга жизни берет эту крошечную комнату и меняет ее на большую. Поскольку нашелся человек, которому дорого было платить и он хотел иметь свои законные девять метров, без излишков.

И вот она со своим дураком переезжает на эту площадь, в которой четырнадцать метров.

Там живет она некоторое время, после чего проявляет бешеную энергию и снова меняет эту комнату на комнату уже в двадцать метров. И в эту комнату снова переезжает со своим старым дураком.

А переехав туда, она с ним моментально ссорится и дает объявление в газету: дескать, меняю чудную комнату в двадцать метров на две небольшие в разных районах.

И вот, конечно, находится пара, которая мечтает пожить совместно, и за эту комнату они с радостью отдают две свои.

Короче говоря: через два месяца после, так сказать, совершения таинства брака наш старый дурак, мало чего понимая, очутился в полном одиночестве в крошечной комнатке за городом, а именно — в Озерках.

А молодая особа поселилась на Васильевском Острове, в небольшой, но славной комнатухе.

А вскоре, имея эту комнату, она вышла замуж за молодого инженера, и теперь она бесконечно счастлива и довольна.

Старый дурак хотел подать в суд на эту особу за надувательство. И даже он разговаривал по этому поводу с одним бывшим юристом. Но этот юрист, из бывших адвокатов, весело посмеявшись, заявил, что обман этот доказать крайне трудно и к тому же молодая особа, может быть, искренне увлеклась им и, только узнав его поближе, разочаровалась.

На этих сладких мечтах наш старый дурень и успокоился. И теперь он ежедневно трясется на поезде, выезжая из этих своих Озерков на службу.

В общем, как говорится, не угадал папаша. Старого воробья провели на мякине. А он расчувствовался, фантазию построил, всякие любовные мечты, за что и пострадал сверх всякой меры.

Вообще, как видите, и в нашей жизни на любовном фронте случаются неприятности. У молодых это бывает реже. А старость, скромные средства и красные подслеповатые глаза не создают в любви благоприятную ситуацию.

Вот вам еще крошечный рассказ о коммерческой любви. А засим мы перейдем к более достойным случаям.

**Женитьба — не напасть,
как бы после не пропасть**

Говорят, будто в прежнее время без приданого браков почти не существовало.

Каждый порядочный жених приставал к родителям невесты прямо с ножом к горлу: дескать, объясните, какое будет приданое у невесты и сколько денег и сколько чего, или я жениться не буду.

Ну, родители с перепугу назначали сумму и рассказы-вали, где какое у невесты приданое.

А в настоящее время у нас даже это слово «приданое» позабыто. Даже мы слабо представляем себе, как это у них с этим было.

Конечно, и в наше суровое время случаются типы, которые вместе с женитьбой норовят чего-нибудь такое за-получить лишнее: какую-нибудь там, может быть, мебель, комнату или, в крайнем случае, хотя бы носильное платье, чтобы себе перешить.

Однако это у нас тоже не так-то легко бывает. И жени-ху не всегда удастся реализовать подобную бессмыслен-ную фантазию.

Даже, например, такая мелочь — висит хорошенькая брошка на груди у невесты. Однако это ровным счетом ни-чего не означает. Женился человек, и оказывается, ника-кой брошки у супруги нету. Оказывается, брошка была за-нята у подруги, а подруга, может быть, уже шесть раз была замужем, и брошка у нее к тому же из нетемнеющего ме-талла.

Или, например, висит шуба на вешалке. А после ока-зывается, что шубу комнатный жилец повесил.

Нет, нынче, которые женятся, наперед знают, что много с невесты не возьмут.

Конечно, многие сейчас смотрят не так на имущество, как на служебное положение будущей супруги. Но это то-же не всегда является чем-то положительным.

Вот какой случай произошел однажды.

Один молодой человек познакомился с одной молодой особой. И видит, что эта молодая, прекрасная особа очень интересная и приятная собой.

Но внешность его не так удивила. А он очень удивился и призадумался, когда узнал, что эта особа — женщина-бухгалтер.

Профессия эта довольно редкая. Она требует особого напряжения ума, а потому бухгалтеров у нас мало, и они все прилично оплачиваются.

А молодой человек смотрел на жизнь и на ее проявления крайне трезво. Он любви не понимал и только одним интересовался: как бы ему получше пожить и попитаться.

И вот вдруг видит такой экстраординарный случай — женщина-бухгалтер. Так сказать, великолепная подмога в жизни. И вот он с ней получше познакомился. Сводил ее пару раз в кино, объяснился в любви. И сказал: «Не желаете ли записаться?» А она говорит: «Ах, пожалуйста! Я очень рада».

И вот он с ней записался. Чертовски полюбил ее. И она его полюбила.

Но вдруг она является однажды со службы и ему говорит:

— Вот, Петя, какое дело. Я ушла с работы. Я, скажу откровенно, давно мечтала: как выйду замуж, так и перестану мотаться по канцеляриям. В общем, я бросила работу.

Вот супруг чертовски взволновался. Ахает, кричит и просит. И думает: «Вот так штука! Я же специально из-за этого женился». Но супруга говорит:

— Нет, довольно колбасы, — я служить не буду. Я не имею намерения в душной канцелярии терять высокую квалификацию своей красоты и молодости.

Супруг говорит:

— Но поймите, это буржуазное мещанство! Ты, — говорит, — мне особенно нравилась своей самостоятельностью. Я, — говорит, — прямо потрясен печальным фактом!

Но, сколько он ни говорил, она настояла на своем — и теперь не служит. А он чертовски мучается и все мечтает с ней разойтись, но это ему не удастся, поскольку они переехали в общую комнату, за которую отдали две свои, что было, конечно, легче сделать, чем наоборот.

А в довершение всего она родила ему младенца и тем самым его еще больше прикрепила. И он ее уже не бросит, поскольку ему будет жалко зря платить ей алименты.

В общем, он ошибся в своих расчетах и теперь адски страдает.

А случай этот, конечно, частного характера, — он не большой и мелкий. И мы, не занимаясь обобщением и не обличая наших уважаемых граждан в излишнем корыстолюбии, переходим к более солидным делам из любовной практики.

Вот, извольте, интересный рассказ, из которого вы увидите, на что любовь и ревность могут толкнуть не старую еще женщину.

Рассказ о письме и о неграмотной женщине

Жили себе в Ленинграде муж и жена.

Муж был ответственный советский работник. Он был нестарый человек, крепкий, развитой и вообще, знаете ли, энергичный, преданный делу социализма и так далее.

И хотя он был человек простой, из деревни, и никакого такого в свое время высшего образования не получил, но за годы пребывания в городе он поднаторел во всем и много чего знал и мог в любой аудитории речи произносить. И даже вполне мог вступать в споры с учеными разных специальностей — от физиологов до электриков включительно.

А жена его, Пелагея, между тем была женщина неграмотная. И хотя она приехала из деревни вместе с ним, но ничему такому не научилась, осталась неграмотной, и даже свою фамилию она не могла подписывать.

А муж Пелагеи, видя такую ситуацию, ужасно огорчался, страдал и не понимал, как ему выйти из беды. Тем более он сам был чересчур занят и не имел свободного времени на переподготовку своей супруги.

И он ей говорил:

— Ты бы, Пелагеюшка, как-нибудь научилась читать или хотя бы фамилию подписывать. Наша страна, — говорит, — постепенно выходит из вековой темноты и некультурности. Мы кругом ликвидируем серость и неграмотность. А тут вдруг супруга директора хлебозавода не может ни читать, ни писать, ни понимать, чего написано! И я от этого терплю невозможные страдания.

А Пелагея на это, конечно, так говорит. Она рукой махает и так отвечает:

— Ах, — отвечает, — Иван Николаевич, об чем вы хлопчете! Мне этим не к чему заниматься. В свое время я за это не взялась, а теперь мои годы постепенно проходят, и моя молодость исчезает, и мои руки специально не гнутся, чтобы, например, карандаш держать. На что мне учиться и буквы выводить? Пушай лучше молодые пионеры занимаются, а я и так до старости лет доживу.

А муж Пелагеи, конечно, вздыхает с огорчением и говорит:

— Эх, эх, Пелагея Максимовна!..

Но однажды все-таки Иван Николаевич принес домой учебник.

— Вот, — говорит, — Поля, новейший букварь-самоучитель, составленный по последним данным науки. Я, — говорит, — сам тебе буду показывать. И просьба — мне не противоречить.

А Пелагея усмехнулась тихо, взяла букварь в руки, повертела его и в комод спрятала: пушай, дескать, лежит, может, потомкам пригодится.

Но вот однажды днем присела Пелагея за работу. Пиджак Ивану Николаевичу надо было починить, рукав протерся.

И села Пелагея за стол. Взяла иголку. Сунула руку под пиджак — шуршит что-то.

«Не деньги ли?» — подумала Пелагея.

Посмотрела — письмо. Чистый такой, аккуратный конверт, тоненькие буковки на нем, и бумага вроде как духами или одеколоном пахнет.

Екнуло у Пелагеи сердце.

«Неужели же, — думает, — Иван Николаевич меня зря обманывает? Неужели же он сердечную переписку ведет с порядочными дамами и надо мной же, неграмотной душой, насмехается?»

Поглядела Пелагея на конверт, вынула письмо, развернула — не разобрать по неграмотности.

Первый раз в жизни пожалела Пелагея, что читать она не может.

«Хоть, — думает, — и чужое письмо, а должна я знать, чего в нем пишут. Может, от этого вся моя жизнь переменится, и мне лучше в деревню ехать, на мужицкие работы».

И у самой в груди закипело от обиды и досады. И сердце перевернулось от огорчения.

«Все-таки, — думает, — я Ивана Николаевича чересчур люблю, если через это письмо я настолько страдаю, мучаюсь и ревную. Как, — думает, — обидно, что я этого письма прочесть не могу! Я бы сразу узнала, в чем тут дело».

И вот она заплакала. И стала вспоминать разные мелочи про Ивана Николаевича. Да, он, действительно, как будто переменялся в последнее время. Он стал об усиках своих заботиться — причесывает их. И руки часто моет. И надевает новую кепку.

Сидит Пелагея, думает эти мысли, смотрит на письмо и ревет белугой. А прочесть письма, конечно, не может. Поскольку даже не понимает буквы. А чужому человеку ей показать, конечно, совестно.

После она, поплавав, спрятала письмо в комод, дошила пиджак и стала поджидать Ивана Николаевича.

И когда пришел он, Пелагея и виду не показала. Напротив того: она ровным и спокойным тоном разговаривала с мужем и даже намекнула ему, что она не прочь бы поучиться и что ей чересчур надоело быть темной и неграмотной бабой.

Очень этому обрадовался Иван Николаевич.

— Ну и отлично! — сказал он. — Я тебе сам буду показывать.

— Что ж, показывай! — сказала Пелагея.

И сама в упор посмотрела на ровные, подстриженные усики Ивана Николаевича. И снова у ней сердце сжалось и в груди перевернулось от досады и огорчения.

Два месяца подряд Пелагея изо дня в день училась читать. Она терпеливо по складам составляла слова, выводила буквы и заучивала фразы. И каждый вечер вынимала из комода заветное письмо и пыталась разгадать его таинственный смысл.

Однако это было очень нелегко.

Только на третий месяц Пелагея одолела науку.

Утром, когда Иван Николаевич ушел на работу, Пелагея вынула из комода письмо и принялась читать его.

Она с трудом разбирала тонкий почерк. И только еле уловимый запах духов от бумаги подбадривал ее.

Письмо было адресовано Ивану Николаевичу. Пелагея читала:

«Уважаемый товарищ Кучкин.

Посылаю вам обещанный букварь. Я думаю, что ваша жена в два-три месяца вполне может одолеть премуд-

рость. Обещайте, голубчик, заставить ее это сделать. Внушите ей, объясните, как, в сущности, отвратительно быть неграмотной бабой.

Сейчас, к этой годовщине, мы ликвидируем неграмотность по всей республике всеми средствами, а о своих близких почему-то забываем.

Обещайте, Иван Николаевич, это сделать.

*С коммунистическим приветом
Мария Блохина.*

Пелагея два раза прочитала это письмо и, чувствуя какую-то новую обиду, заплакала.

Но потом, подумав об Иване Николаевиче и о том, что в ее супружеской жизни все в порядке, успокоилась и спрятала в комод букварь и злополучное письмо.

Так в короткое время, подгоняемая любовью и ревностью, наша Пелагея научилась читать и писать и стала грамотной.

И это был поразительный случай из истории ликвидации неграмотности у нас в Союзе.

Но вот прочтите рассказ о любви еще более интересный, чем этот.

Рассказ про даму с цветами

Следует отметить, что этот рассказ не такой уж чересчур смешной.

Другой раз бывают такие малосмешные темы, взятые из жизни. Там какая-нибудь драка, мордобой или имущество свистнули.

Или, например, как в этом рассказе. История о том, как потонула одна интеллигентная дама. Так сказать, смеха с этого факта немного можно собрать.

Хотя надо сказать, что и в этом рассказе будут некоторые смешные положения. Сами увидите.

Конечно, я не стал бы затруднять современного читателя таким не слишком бравурным рассказом, но уж очень, знаете, ответственная современная темка. Насчет материализма и любви.

Одним словом, это рассказ насчет того, как однажды через несчастный случай окончательно выяснилось, что

всякая мистика, всякая идеалистика, разная неземная любовь и так далее и тому подобное есть форменная брехня и ерундистика. И что в жизни действителен только настоящий материальный подход и ничего, к сожалению, больше.

Может быть, это чересчур грустным покажется некоторым отсталым интеллигентам и академикам, может быть, они через это обратно поскулят, но, поскуливши, пущай окинут взором свою прошедшую жизнь и тогда увидят, сколько всего они накрутили на себя лишнего.

Так вот, дозвоьте старому, грубоватому материалисту, окончательно, после этой истории, поставившему крест на многие возвышенные вещи, рассказать эту самую историю. И дозвоьте еще раз извиниться, если будет не такой сплошной смех, как хотелось бы.

Тем более, повторяем, какой уж там смех, если одна дама потонула. Она потонула в реке. Она хотела идти купаться. И пошла по бревнам. Там, на реке, у берега, были гонки. Такие плоты. И она имела обыкновение идти по этим бревнам подальше от берега, для простору и красоты, и там купаться. И, конечно, потонула.

Но дело не в этом.

А в деревню Отрадное, по реке Неве, приехал в этом году на дачу некто такой инженер — Николай Николаевич Горбатов.

Он — инженер-технолог или путеец. Одним словом, у него на форменной фуражке какой-то производственный значок — напильник и еще чего-то такое. Но не в этом суть.

Весной в этом году приехал в Отрадное этот инженер со своей молодой супругой — Ниной Петровной.

Ничего такого особенного в ней не наблюдалось. Так — дама и дама. Черненькая такая, пестренькая. Завсегда в руках цветы. Или она их держит, или она их нюхает. И, конечно, одета очень прекрасно.

Несмотря на это, инженер Горбатов ее до того любил, что было удивительно наблюдать.

Действительно верно, он ничего другого от жизни не имел и никуда не стремился. Он общественной нагрузки не нес. Статей не писал. И вообще, надо откровенно сказать, он избегал общественной жизни.

Он не попал в ногу современности. Ему было, конечно, лет сорок, и он весь был в своем прошлом. Ему, одним словом, нравилась прошлая буржуазная жизнь с ее разными подушечками, консоме и так далее.

А в настоящей текущей жизни он ничего, кроме грубого, не видел и свою личность от всего отворачивал.

И, поскольку она — супруга и не выдаст его, он рассказывал ей свои разные реакционные мысли и взгляды.

— Я, — говорит, — человек глубоко интеллигентный, мне, — говорит, — доступно понимание многих мистических и отвлеченных картин моего детства. И я, — говорит, — не могу удовлетвориться той грубой действительностью, бедностью, сокращением, квартирной платой и так далее. Я, — говорит, — воспитан на многих красивых вещах и безделушках, понимаю тонкую любовь и не вижу ничего приличного в грубых объятиях, — и так далее и тому подобное. — Я, — говорит, — только считаюсь с духовной жизнью и с запросами сердца, а что касается ихнего марксизма, то я над этим насмехаюсь и в этом вижу первые детские шаги варварской жизни.

Так вот он не раз ей говорил и, конечно, имея такие взгляды, не стремился найти что-нибудь хорошее в нашей современности.

И вот, в силу всего этого, он оторвался от масс и окончательно замкнулся в свою семейную жизнь и в свою любовь к этой милочке с цветочками.

А она, безусловно, соответствовала своему назначению.

И, поскольку она была его супругой, она в тон ему пела, со всем таким соглашалась и чересчур горевала о прежней жизни.

Одним словом, это была поэтическая особа, способная целый день нюхать цветки и настурции или сидеть на березку и глядеть вдаль, как будто там что-нибудь имеется определенное — фрукты или ливерная колбаса.

Вот, значит, какие это были супруги со своей любовью!

Про нее нельзя сказать, чтоб она его чересчур любила и обожала, но он, действительно, глаз с нее не сводил. Утром он уезжает на пароходе, а она, в своем миленьком пеньюаре, спешит его провожать на своих тонких интеллигентских ножках. Он ее за локоток придерживает, чтоб, боже сохрани, она ножки себе не вывихнула. И чего-то ей

щебечет, воздушные поцелуи с парохода посылает. Одним словом, противно и тяжело смотреть.

Вот он уехал, а она и сидит, что дура, мечтает про разные отвлеченные вещи. Ну, пойдя постирай, если не хочешь физкультурой заниматься. Или пойдя тому же самому Горбатову кровать прибери. Нет! Сидит и сидит. И кушать не просит. Зато потом, наверное, легко растерялась со своими мечтами и не могла через это на сушу выбраться.

Ну, постольку поскольку она уже утонула, не будем тревожить ее память разными оскорбительными замечаниями.

Так вот, часов около семи Горбатов приезжал обратно с места своей службы. Он приезжает с места службы и спешит увидеть свою голубку.

Он первый прыгает с парохода. И что-нибудь несет в своих руках. Или там гостинцы, или там трусики ей, или какой-нибудь новенький бюстгальтер.

Он дарит ей тут же, и сам ее по спинке хлопает, дурачится, обнимает. Чего ему! Он, главное, никакой общественной нагрузки не несет и весь замкнулся в свой горизонт и в свои нежные переживания.

Ну, она посмотрит, что он принес, нахмурит носик и идет на своих тонких ножках.

Только, одним словом, она потонула. Очень, конечно, жалко, вполне прискорбный факт, но вернуть ее к жизни, тем более с современной медициной, невозможно.

Конечно, занимайся она в свое время хотя бы зарядкой гимнастикой, она нашлась бы в самый последний момент и выплыла бы. А тут со своими цветами окунулась — и враз пошла ко дну, не сопротивляясь природе.

Тем более она шла по скользким бревнам. Она всегда по этим бревнам ходила купаться. А тут пошла после дождя на своих французских каблучках — и свалилась. Только что трусики остались на плоту.

А может быть, она и нарочно в воду сунулась. Может, она жила-жила с таким отсталым элементом и взяла и утонула. Тем более, может быть, он заморочил ей голову своей мистикой.

Но только, конечно, вряд ли. Скорей всего, если объяснить психологически, она поскользнулась на бревнах и потонула.

Конечно, не будем чересчур расстраивать читателей художественным описанием дальнейших событий. Скажем только, что инженер Николай Николаевич чрезвычайно убивался и страдал от этого факта. Он валялся на берегу, рыдал и все такое, но его подруга погибла безвозвратно, и даже ее тело не могли найти. И от этого инженер тоже чересчур страдал и расстраивался.

— Если бы, — говорил он своей хозяйке, — она нашла, я бы больше успокоился. Но, — говорит, — такая жуткая подробность, что ее не нашли, совершенно меня ослабляет. И я, — говорит, — через это ночи не сплю и все про нее думаю. Тем более я ее любил совершенно неземной любовью, и мне, — говорит, — только и делов сейчас, что найти ее, приложиться к ее праху и захоронить ее в приличной могилке и на ту могилку каждую субботу ходить, чтобы с ней духовно общаться и иметь с ней потусторонние разговоры. Поскольку моя любовь выше земных отношений.

Так он сказал, настриг листочков и на этих листочках написал крупным шрифтом: мол, нашедшему тело, и так далее, будет дано крупное вознаграждение в размере тридцати рублей, и тому подобное.

И эти записульки он расклеил по всей деревне и по рыбацкому поселку.

Только проходит месяц — безрезультатно. Очень многие ее ищут кошками, баграми и так далее, но почему-то найти не могут.

А он, голубчик инженер Горбатов, ходит все время стороной, ни с кем не здоровается, и только у него и делов, что ожидает, не найдут ли его подруги.

Конечно, никакое горе особенно долго не может продолжаться. В этом отношении наш организм дивно устроен. И самая кошмарная драма слишком скоро забывается, и почти ничего от нее не остается.

Так что горе инженера немножко тоже поутихло... Хотя он и продолжал горевать, считая, что его крупная любовь останется с ним навеки.

И, горюя, он не переехал с дачи, а продолжал ежедневно ездить, не желая расставаться с дорогими местами.

И вот в начале сентября рыбаки отыскиали ее тело. Естественным образом отнесло километров на пять и прибило к берегу.

Ну, приезжают к инженеру два рыбака и докладывают: мол, осмотрите, надо опознать, и, в случае чего, с вас приходится.

Ах, он очень засуетился, побледнел, заторопился в своих движениях, сел в лодку и поехал с рыбаками.

Не будем особенно сгущать краски и описывать психологические подробности, скажем только, что инженер Горбатов тут же на берегу подошел к своей бывшей подруге и остановился подле нее. Крутом рыбаки, конечно, стоят молча и глядят на него, чего он скажет: признает ли он или не признает, тем более признать было, конечно, затруднительно — время и вода сделали свое черное дело. И даже грязные тряпки от костюма были мало похожи на что-нибудь такое приличное, на бывший прекрасный костюм. Не говоря уже про лик, который был тем более попорчен временем.

Тогда один из рыбаков, не желая, конечно, терять понапрасну драгоценное времечко, говорит: дескать, ну, как? Она? Если не она, так давайте, граждане, разойдемся, чего стоять понапрасну.

Инженер Горбатов наклонился несколько ниже, и тут полная гримаса отвращения и брезгливости передернула его интеллигентские губы. Носком своего сапожка он перевернул лицо утопленницы и вновь посмотрел на нее.

После он наклонил голову и тихо прошептал про себя:

— Да... это она.

Снова брезгливость передернула его плечи. Он повернулся назад и быстро пошел к лодке.

Тут рыбаки начали на него кричать: мол, а деньги, деньги, мол, посулил, а сам тигалья дает, а еще бывший интеллигент и в фуражке!

Горбатов, конечно, без слова вынимает деньги и подает рыбакам и прибавляет еще пять целковых с тем, чтобы они как-нибудь сами захоронили эту даму на здешнем кладбище.

И после этого Н.Н. Горбатов уехал в Отрадное, а оттуда в Ленинград.

А недавно его видели — он шел по улице с какой-то дамочкой. Он вел ее под локоток и что-то такое интересное кручивал. Так вот и вся история.

Память об утонувшей и глубокую неземную любовь к ней со стороны инженера почтим вставанием и перейдем

к текущим делам. Тем более время не такое, чтоб подолгу задерживаться на утонувших гражданах и подводить под них всякую психологию, физиологию и тому подобное.

Тем более что из текущих дел у нас еще имеются вопросы о любви, которые мы должны проработать.

Вот пока что прочтите смешной, но пустенький случай из нашей личной жизни.

Мелкий случай из личной жизни

Иду я раз однажды по улице и вдруг замечаю, что на меня женщины не смотрят.

Бывало, раньше выйдешь на улицу этаким, как говорится, кандебобером, а на тебя смотрят, посылают воздушные взгляды, сочувственные улыбки, смешки и ужимки.

А тут вдруг вижу — ничего подобного!

Вот это, думаю, жалко! Все-таки, думаю, женщина играет некоторую роль в личной жизни.

Один буржуазный экономист или, кажется, химик высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, а все, чего мы ни делаем, мы делаем для женщин. И, стало быть, борьба, слава, богатство, почести, обмен квартиры и покупка пальто и так далее и тому подобное — все это делается ради женщины.

Ну, это он, конечно, перехватил, собака, заврался на потеху буржуазии, но что касается личной жизни, то я с этим всецело согласен.

Я согласен, что женщина играет некоторую роль в личной жизни.

Все-таки, бывало, в кино пойдешь, не так обидно глядеть худую картину. Ну там ручку пожмешь, разные дурацкие слова говоришь, — все это скрашивает современное искусство и бедность личной жизни.

Так вот, каково же мое самочувствие, когда раз однажды я вижу, что женщины на меня не смотрят!

Что, думаю, за черт? Почему на меня бабы не глядят? С чего бы это? Чего им надо?

Вот я прихожу домой и поскорей гляжусь в зеркало. Там, вижу, вырисовывается потрепанная морда. И тусклый взор. И краска не играет на щеках.

«Ага, теперь понятно! — говорю я сам себе. — Надо усилить питание. Надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку».

И вот я в спешном порядке покупаю разные продукты.

Я покупаю масло и колбасу. Я покупаю какао и так далее.

Все это ем, пью и жру прямо безостановочно. И в короткое время возвращаю себе неслыханно свежий, неутомленный вид.

И в таком виде фланирую по улицам. Однако замечаю, что дамы по-прежнему на меня не смотрят.

«Ага, — говорю я сам себе, — может быть, у меня выработалась дрянная походка? Может быть, мне не хватает гимнастических упражнений, висения на кольцах, прыжков? Может, мне недостает крупных мускулов, на которые имеют обыкновение любоваться дамы?»

Я покупаю тогда висячую трапецию. Покупаю кольца и гири и какую-то особенную рюху.

Я вращаюсь, как сукин сын, на всех этих кольцах и аппаратах. Я верчу по утрам рюху. Я бесплатно колю дрова соседям.

Я, наконец, записываюсь в спортивный кружок. Катаюсь на лодках и на лодчонках.купаюсь до ноября. При этом чуть не тону однажды. Я ныряю сдуру на глубоком месте, но, не достав дна, начинаю пускать пузыри, не умея прилично плавать.

Я полгода убиваю на всю эту канитель. Я подвергаю жизнь опасности. Я дважды разбиваю себе башку при падении с трапеции.

Я мужественно сношу все это и в один прекрасный день, загорелый и окрепший, как пружина, выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку.

Но этой улыбки опять не нахожу.

Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои легкие. Краска начинает играть на моих щеках. Морда моя розовеет и краснеет. И принимает даже почему-то лиловый оттенок.

Со своей лиловой мордой я иду однажды в театр. И в театре, как ненормальный, кружусь вокруг женского состава, вызывая нарекания и грубые намеки со стороны мужчин и даже толкание и пихание в грудь.

И в результате вижу две-три жалкие улыбки, каковые меня мало устраивают.

Там же, в театре, я подхожу к большому зеркалу и люблюсь на свою окрепшую фигуру и на грудь, которая дает теперь с напружкой семьдесят пять сантиметров.

Я сгибаю руки и выпрямляю стан и расставляю ноги то так, то так.

И искренне удивляюсь той привередливости, того фигуранья со стороны женщин, которые либо с жиру бесят-ся, либо пес их знает, чего им надо.

Я люблюсь в это большое зеркало и вдруг замечаю, что я одет неважно. Я прямо скажу — худо и даже безобразно одет. Прекороткие штаны с пузырями на коленях приводят меня в ужас и даже в содрогание.

Но я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описанию которых не место в художественной литературе.

«Ах, теперь понятно, — говорю я сам себе. — Вот что сокрушает мою личную жизнь, — я плохо одеваюсь».

И, подавленный, на скрюченных ногах, я возвращаюсь домой, давая себе слово переменить одежду.

И вот в спешном порядке я строю себе новый гардероб. Я шью по последней моде новый пиджак из лиловой портьеры. И покупаю себе брюки «Оксфорд», сшитые из двух галифе.

Я хожу в этом костюме, как в воздушном шаре, огорчаясь подобной моде.

Я покупаю себе пальто на рынке с такими широкими плечами, которых вообще не бывает на нашей планете.

И в выходной день однажды в таком наряде выхожу на Тверской бульвар.

Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами.

Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха.

Мужчины — те смотрят менее косо. Раздаются ихние замечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих всей ситуации.

Там и сям слышу фразы:

— Эва, какое чучело! Поглядите, как, подлец, нарядился! Как, — говорят, — ему не стыдно? Навернул на себя три километра материи.

Меня осыпают насмешками и хохочут надо мной.

Я иду, как сквозь строй, по бульвару, неясно на что-то надеясь.

И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством.

Я улыбаюсь в ответ и три раза, играя ногами, обхожу памятник Пушкину. После чего присаживаюсь на скамеечку, что напротив.

Прилично одетая дама, с остатками поблекшей красоты, пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано все хорошее.

Я наклоняю голову, повожу плечами и мысленно люблю стройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин.

Я подмигиваю Пушкину: дескать, вот, мол, началось, Александр Сергеевич.

Я снова обращаюсь к даме, которая теперь, вижу, буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением.

Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху у этого существа. И уже хочу уйти. И уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать куда глаза глядят, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики.

Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит:

— Извините, уважаемый... Очень, — говорит, — мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украло у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку.

«Ну да, конечно, — думаю, — неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты».

Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напряжкой.

Оглядев подкладку, дама поднимает истощный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто! Краденое пальто, которое теперь этот прохвост, то есть я, носит на своих плечах.

Ее стенания режут мне уши. Я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто.

Мы идем в милицию, где составляют протокол. Мне задают вопросы, и я правдиво на них отвечаю.

А когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру и вдруг от этой почти трехзначной цифры прихожу в содрогание.

«Ах, вот отчего на меня не смотрят! — говорю я сам себе. — Я попросту постарел. А я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни».

Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и на легке, со смятенным сердцем, выхожу на улицу.

«Ну, ладно, обойдусь! — говорю я сам себе. — Моя личная жизнь будет труд. Я буду работать. Я принесу людям пользу. Не только света в окне, что женщина».

Я начинаю издеваться над словами буржуазного ученого.

«Это брехня! — говорю я себе. — Это досужие выдумки! Типичный западный вздор!»

Я хохочу. Плюю направо и налево. И отворачиваю лицо от проходящих женщин.

Но вот что интересно — этот небольшой случай произошел со мной года два назад.

И хотя за эти два года я, казалось бы, еще больше постарел, но тем не менее этим летом я познакомился с одной особой, и она, представьте себе, мною сильно увлеклась. И, главное, смешная подробность: я в это лето одевался, как нарочно, исключительно худо. Ходил черт знает в каких штанах и в дырявых спортивных туфлях.

И вот тем не менее это на любовь не повлияло. И я через это счастлив и доволен, и даже мы вскоре женимся по взаимной любви!

И я надеюсь, что то, что вы прочтете в следующем рассказе, с нами не произойдет.

Свадебное происшествие

Конечно, Володька Завитушкин немного поторопился. Был такой грешок.

Володька, можно сказать, толком и не разглядел своей невесты. Он, по совести говоря, без шляпки и без пальто ее никогда даже и не видел. Потому — все главные события на улице развернулись.

А что перед самой свадьбой Володька Завитушкин заходил со своей невестой к ее мамаше представляться, так он не раздеваясь представился. В прихожей. Так сказать, на ходу.

А познакомился Володя Завитушкин со своей невестой в трамвае. Дней за пять до брака.

Сидит он в трамвае и вдруг видит — перед ним этакая барышня вырисовывается. Такая ничего себе барышня, аккуратненькая. В зимнем пальто.

И стоит эта самая барышня в зимнем своем пальто перед Володькой и за ремешок рукой держится, чтоб пассажиры ее не опрокинули. А другой рукой пакет к груди прижимает. А в трамвае, конечно, давка. Пихаются. Стоять, прямо сказать, нехорошо.

Вот Володька ее и пожалел.

— Присаживайтесь, — говорит, — ко мне на одно колено, все легче ехать.

— Да нет, — говорит, — мерси.

— Ну так, — говорит, — давайте тогда пакет. Кладите мне на колени, не стесняйтесь. Все легче будет стоять.

Нет, видит, и пакета не отдает. Или пугается, чтоб не упер. Или еще что. Глянул на нее Володя Завитушкин еще раз и прямо обалдел. «Господи, — думает, — какие бывают миловидные барышни в трамваях».

Едут так они две остановки. Три. Четыре. Наконец, видит Завитушкин — барышня к выходу тискается. Тоже и Володька встал. Тут у выхода, значит, у них знакомство и состоялось.

Познакомились. Пошли вместе. И так у них все это быстро и без затрат обернулось, что через два дня Володька Завитушкин и предложение ей сделал.

Или она сразу согласилась, или нет, но только на третий день пошли они в гражданский подотдел и записались. Записались они в загсе, а после записи и развернули главные события.

После записи пошли молодые на квартиру к мамаше. Там, конечно, полная суматоха. Стол накрывают. Гостей много. И вообще семейное торжество — молодых ждут.

И какие-то разные барышни и кавалеры по комнате суетятся, приборы ставят и пробки открывают.

А свою молодую супругу Володька Завитушкин еще в прихожей потерял из виду.

Сразу его, как на грех, обступили разные мамыши и родственники, начали его поздравлять и в комнату тащить. Привели его в комнату, разговаривают, руки жмут, спрашивают, в каком, дескать, союзе находится.

Только видит Володька — не разобрать ему, где его молодая жена. Девушек в комнате много. Все вертятся, все мотаются, ну, прямо с улицы, со свету, хоть убей, не разобрать.

«Господи, — думает Володька, — никогда ничего подобного со мной не происходило. Какая же из них моя молодая супруга?»

Стал он по комнате ходить между девушек. То к одной толкнется, то к другой. А те довольно неохотно держатся и особой радости не показывают.

Тут Володька немного даже испугался.

«Вот, — думает, — на чем засыпался — жену уж не могу найти».

А тут еще родственники начали коситься — чего это молодой ходит, как ненормальный, и на всех девушек бросается. Стал Володька к двери и стоит в полном упадке.

«Ну, спасибо, — думает, — если сейчас за стол садиться будут. Тогда, может, что-нибудь определится. Которая со мной сядет, та, значит, и есть. Хотя бы, — думает, — вот эта белобрысенькая села. А то, ей-богу, подсунут какое-нибудь дерьмо, потом живи с ним».

В это время гости начали за стол садиться.

Мамаша Христом-богом просит обождать еще немного, не садиться. Но на гостей прямо удержу нету, прямо кидаются на жратву и на выпивку.

Тут Володю Завитушкина волокут на почетное место. И рядом с ним с одного боку сажают девушку.

Поглядел на нее Володька, и отлегло у него на сердце.

«Ишь ты, — думает, — какая. Прямо, — думает, — недурненькая. Без всякой шляпки ей даже лучше. Нос не так уж просится наружу».

От полноты чувств Володя Завитушкин нацедил себе и ей вина и полез поздравлять и целоваться.

Но тут и развернулись главные события.

Начали раздаваться крики и разные вопли.

— Это, — кричат, — какой-то ненормальный сукин сын. На всех девушек кидается. Молодая супруга еще к столу не вышедши — прибирается, а он с другой начал упражняться.

Тут произошла абсолютная дрянь и неразбериха.

Володьке бы, конечно, в шутку все превратить. А он очень обиделся. Его в суматохе какой-то родственник бутылкой тиснул по затылку.

Володька кричит:

— А пес вас разберет! Насажали разных баб, а мне разбейрайся.

Тут невеста в белом балахоне является. И цветы в ручках держит.

— Ах, так, — говорит, — ну, так это вам выйдет боком.

И опять, конечно, вопли, крики и истерика. Начали, конечно, родственники выгонять Володьку из квартиры. Володька говорит:

— Дайте хоть пожрать. С утра, — говорит, — не жравши по такой канители.

Но родственники поднажали и ссыпали Володьку на лестницу. На другой день Володя Завитушкин после работы зашел в гражданский подотдел и развелся.

Там ему сказали несколько кислых слов.

— Хотя, — говорят, — иной раз бывают такие легкомысленные браки. Но впредь этого не делайте. А то под суд попадете.

И тут же сразу развели.

Так что он теперь холостой и снова может жениться на желающих.

Но чего хорошего в браке и зачем к этому стремиться — это прямо трудно понять.

Обыкновенно жены изменяют, и загадочная подробность — всегда вместо мужа любят кого-нибудь другого. Так что не знаю, как вы, а я гляжу против такого брака. Хотя если говорить о браке, то я стою за крепкий и твердый брак. Тем не менее не закрываю себе глаза на это и знаю, что это такое.

В общем, вот чего однажды приключилось на любовном фронте.

Забавное приключение

Жена одного служащего, довольно молодая и очень интересная дама, выходец из мелкобуржуазной семьи, влюбилась в одного актера.

Он был артист драмы и комедии. И вот она в него влюбилась.

Или она увидела его на подмостках сцены и он покориł ее великолепной игрой, или, наоборот, она игры его не видела, а он, может, просто понравился ей своей артистической внешностью, но только, в общем, она в него порядочно сильно влюбилась. И даже она одно время не знала, как ей поступить: уйти ли ей от мужа и перейти к артисту, или от мужа ей не уходить, а просто увлекаться актером, не перестраивая своей жизни.

Но потом, увидев, что актер драмы вроде как ничего не имеет — ни пайка, ничего такого особенного, — решила от мужа не уходить. Тем более что артист и сам не горел желанием на ней жениться, будучи уже человеком, обремененным многочисленной семьей.

Но поскольку они были влюблены друг в друга, они все же стали встречаться по временам.

И он ей звонил по телефону, и она к нему забегала на репетицию, чтоб посмотреть, как он бойко играет роль. И через это она в него еще сильнее влюбилась и мечтала с ним почаще встречаться.

Но поскольку им, собственно, негде было встречаться, то они, буквально как Ромео и Джульетта, стали встречаться на улице или в кино или забегали в кафе, чтобы перекинуться нежными словами.

Но такие короткие встречи их, конечно, мало удовлетворяли, и они постоянно горевали, что ихняя жизнь неблагоприятно складывается и им даже негде поговорить о своей безумной любви.

А к нему она, конечно, не могла заходить, поскольку артист был семейный человек.

А что касается если к ней зайти, то она нередко его приглашала, когда ее супруг был в учреждении. Но он, зайдя пару раз, категорически от этого отказался.

Как человек нервный, одаренный, кроме того, болезненным художественным воображением, он попросту пугался находиться у нее, думая, что вот, мало ли, сейчас войдет муж и начнутся, может быть, крупные разговоры, со стрельбой и так далее.

И, в силу таких мыслей, артист находился у нее в гостях, так сказать, в ненормальном состоянии и, вообще, полумертвый от страха.

И тогда она, конечно, перестала его приглашать к себе, поскольку видит, что человек ну просто душевно болеет и делается как бы не от мира сего.

И вот однажды она ему говорит:

— Тогда — вот что! Если хотите со мной повидаться, то приходите в следующий выходной день к моей подруге.

Артист драмы говорит:

— Вот и великолепно! А то, знаете, моя профессия требует утонченных нервов, и я, — говорит, — не могу не робеть, находясь — у вас. Я, — говорит, — переживаю ну все равно как на сцене.

А у нее была ближайшая подруга Сонечка. Очень миленькая особа, не без образования. Кажется, из балетных.

И муж нашей дамы вполне одобрял это знакомство, говоря, что лучшей подруги для жены он себе и не желает.

И вот наша балетная после горячих просьб разрешила своей подруге повидаться у нее для переговоров с любимым человеком.

И вот утром, в выходной день, наш артист, получше принарядившись, попорол на это свидание.

А надо сказать, что в трамвае у него случился небольшой эпизод и столкновение с соседом. Ну, вообще — легкая перебранка, крики и так далее. В результате чего наш артист, как человек несдержанный, немного более, чем следует, погорячился. И когда сосед после перебранки сошел с трамвая, наш артист, не утерпев, плюнул в него. И был очень рад, что трамвай быстро пошел и оскорбленный сосед не мог уже догнать его, как того хотел.

Однако от этого столкновения настроение нашего артиста не испортилось. Он встретился со своей симпатией, и они совместно пошли к подруге, которая проживала в коммунальной квартире, в небольшой, но уютной комнате, ключ от которой находился в их руках.

И вот они зашли в комнату, присели на диван, чтоб поговорить о своей дальнейшей жизни, но вдруг в дверь кто-то постучал.

Молодая дама сделала артисту знак не отзываться, но артист и без того замер в безмолвии.

Вдруг за дверью раздается голос:

— Скажите, а скоро она вернется?

Наша дама, услышав голос, страшно побледнела и шепотом сказала актеру, что это голос ее мужа. И что муж,

должно быть, увидел их на улице и вот он теперь их выследил.

Артист драмы, услышав о подобном камуфлете, просто даже затрясся и задрожал и, затаив дыхание, прилег на диван, с тоской глядя на свою симпатию.

А голос за дверью говорит:

— Тогда я напишу записку. Скажите, что я заходил.

И вот муж нашей дамы (а это был действительно он), написав записку, подсунул ее под дверь и сам пошел к выходу.

Наша дама, очень удивившись, моментально схватила эту записку и стала читать ее. После чего начала громко рыдать, вопить и падать на диван.

Артист драмы, немного придя в себя от звуков дамского голоса, тоже не без удивления зачитал эту записку, в которой говорилось:

«Крошка Сонечка! Я случайно освободился раньше и заскочил к тебе, но — увы! — не застал. Зайду в три. Крепко целую. Николай».

Наша дама сквозь слезы и рыдания говорит артисту:

— Что бы это значило? Как вы думаете?

Артист говорит:

— Скорее всего ваш муж увлекается вашей подругой. И он зашел сюда не иначе как отдохнуть от своей семейной жизни. Теперь ваша совесть должна быть спокойна, — позвольте вашу ручку.

И только он хотел преподнести ее ручку к своим шершавым губам, как раздается неистовый стук в дверь. И за дверью слышится тревожный голос подруги:

— Ах, откройте поскорее! Это я пришла. Не заходил ли кто-нибудь без меня?

Услышав эти слова, наша дама моментально разразилась рыданиями и, открыв дверь, с плачем подала подружке оставленную записочку.

Та, прочитав записку, немного смутившись, сказала:

— В этом нет ничего удивительного. А раз вы все знаете, то я скрываться не буду. В общем, я прошу вас моментально уйти, поскольку ко мне должны кое-кто зайти.

Наша дама говорит:

— То есть как кое-кто? Из записки видно, что к тебе сейчас мой муж зайдет. Хорошенькое дело — уйти в такую

минуту. Да я, может, желаю посмотреть, как этот подлец переступит порог этого вертепа.

Молодой человек, у которого попросту испортилось настроение от всех этих передраг, хотел было уйти от греха, но наша дама в пылу раздражения не велела ему уходить.

Она сказала:

— Вот сейчас явится мой муж, и тогда мы разрубим этот запутанный узел.

Услышав слова, близкие к лексикону военной жизни, артист, найдя шапку, стал уже более энергично прощаться и уходить. Но тут между подругами произошла перебранка и спор относительно его самого — надо ли ему уходить.

Сначала обе подруги хотели его оставить до прихода мужа как вещественное доказательство. Первая — чтоб показать мужу, что за птица ее подруга, допустившая их в свою комнату, вторая — чтоб показать, какова его жена.

Но после этого мысли у них переменялись. Подруга вдруг не захотела себя компрометировать, а жена не пожелала упасть в глазах мужа. И, на этом сговорившись, они велели нашему артисту моментально поскорей уйти.

И только этот последний, довольный таким оборотом, стал прощаться, как вдруг снова раздался стук в дверь. И голос мужа произнес:

— Дорогая Соня, это я! Откройте!

Тут произошла некоторая паника и замешательство в комнате.

Артист драмы моментально поник духом и, находясь в страшной тоске, хотел было прилечь на диван, чтоб притвориться больным или умирающим, но вовремя подумал, что как раз в подобном горизонтальном положении по нем и могут скорей всего открыть огонь, как по легкомысленно лежащему на диване.

И в силу этого он стал мотаться по комнате, задевая за все ногами и производя страшный шум и грохот.

Пришедший муж, находясь за дверью, крайне удивился задержке и грохоту и начал уже более энергично колотить в дверь, думая, что в комнате происходит что-нибудь особенное.

Тогда подруга говорит артисту:

— Вот эта дверь ведет в комнату моего соседа. Я вам сейчас ее открою. Пройдите туда и оттуда дуйте в коридор и на лестницу. Горячий привет!

И сама поскорей открывает крючок на двери и велит артисту побыстрее уйти, тем более что пришедший муж, услышав в комнате шум, стал срывать дверь с петель, чтоб войти в комнату. Тогда наш артист пулей вбежал в соседнюю комнату и хотел было уйти в коридор, как вдруг заметил, что дверь в коридор была заперта с той стороны, по-видимому, на висячий замок.

Артист бросился назад, чтоб сказать двум дамам о том, что он в критическом положении — дверь закрыта, и ему не пройти. Однако уже было поздно.

В эту комнату был впущен муж, и там поднялся разговор, при котором появление артиста было бы крайне нежелательным.

Тогда артист, как человек неуравновешенный, моментально ослаб от множества событий и, почувствовав крайний физический упадок и головокружение, прилег на кровать, полагая, что он тут в полной безопасности.

И вот он лежит себе на кровати и думает разные отчаянные мысли — о том, о сем и, в частности, о вздорности любовных порывов. И вдруг слышит, как кто-то гремит замком в коридоре. Кто-то такое, одним словом, возится около двери и, должно быть, сейчас войдет в комнату.

И вдруг дверь, действительно, открывается, и на пороге показывается человек с корзинкой пирожных из Торгсина.

Увидев человека, лежащего на его кровати, пришедший раскрывает рот от удивления и, мало чего понимая, хочет захлопнуть за собой дверь.

Артист начинает извиняться и лепетать разные слова, и вдруг он с ужасом видит, что вошедший хозяин комнаты есть не кто иной, как тот человек, с которым он утром поборанился и в которого он плюнул с площадки трамвая.

Не рассчитывая унести ноги, наш артист снова, как малолетний ребенок, ложится на кровать, думая, что это в крайнем случае только сон, который сейчас пройдет, и тогда наступит великолепная жизнь, без всяких особых неприятностей и передраг.

Вошедший, у которого удивление пересилило гнев, говорит жалобным голосом:

— Да что ж это такое, господа? Ко мне сейчас знакомая придет, а тут, глядите, какое-то мурло у нас расположилось в моей комнате. Как же он в нее вошел? В запертую дверь?

Артист, видя, что ему рук не ломают и его не бьют по сопатке, говорит с душевным подъемом:

— Ах, пардон! Я сию минуту уйду. Я только на секундочку прилегу отдохнуть... Я не знал, что это ваша кровать... У меня голова закружилась от множества событий.

Тут хозяин комнаты, у которого гнев снова пересилил удивление, стал кричать:

— Но это безобразие! Он, глядите, вперся с ногами на мою кровать. Да я, может быть, знакомым своим не разрешаю с ногами находиться. Это что за новости! Какой подлец!

И он подбегает к артисту, хватая его за плечи и буквально вытряхивает с кровати. И вдруг замечает, что личность артиста уже ему знакома по утреннему происшествию.

Тут наступает небольшая пауза.

Хозяин, мало чего понимая, говорит:

— Ах, вот когда ты мне попался, рыбий глаз!

И хочет его схватить за горло.

Но в это время раздается нежный стук в дверь. Хозяин говорит:

— Ну, скажи спасибо, что ко мне дама сейчас пришла, которую я жду. А то бы я с тебя сейчас размазню сделал.

И, взяв артиста за воротник, тащит его к дверям, чтоб выпихнуть его в коридор, как тряпку, на что артист вполне соглашается и даже доволен.

Но вдруг открывается дверь, и на пороге комнаты появляется довольно интересная дама, которая пришла в гости к хозяину и явилась в некотором роде как бы спасительницей нашего пресловутого артиста.

Однако наш артист при виде дамы просто попятился назад от изумления и даже закачался, поскольку эта вошедшая дама была его супруга.

И в смысле совпадения это было, действительно, нечто поразительное.

Тут наш артист, крайне молчаливый за последние два часа, начал просто орать и буяннить, требуя от жены объяснений, что значит это таинственное посещение.

Жена начала плакать и рыдать и говорить, что это ее сослуживец и что она действительно иногда к нему заходит попить чаю с пирожными.

Сконфуженный сослуживец сказал, что теперь, поскольку они квиты, они могли бы помириться и втроем выпить чаю. На что актер разразился такой неистовой бранью и криками, что жена впала в истерику. А ее сослуживец снова полез драться, почувствовав оскорбление за плевки.

И тогда все соседи прибежали поглядеть, что у них тут делается.

Среди присутствующих оказались также и наша дама с мужем и с подругой.

Узнав все, что произошло, все шестеро, собравшись в комнате, стали совещаться, что же им делать.

Которая из балетных так говорит своей подруге:

— Очень просто! Я выхожу замуж за Николая. Артист женится на тебе, а эти двое сослуживцев тоже составят вполне счастливую пару, служащую в одном учреждении. Вот как нам надо сделать.

Сослуживец, к которому пришла жена артиста, говорит:

— Здравствуйте, пожалуйста! У ней, кажется, куча ребятишек, а я на ней буду жениться. Тоже, знаете, нашли простачка.

Артист драмы говорит:

— Я прошу не оскорблять моей жены. Тем более я не намерен выдавать ее за первого встречного.

Жена артиста говорит:

— Да я бы к нему и не переехала. Глядите, какая у него комната! Разве я могу вчетвером, с детьми, тут находиться?

Сослуживец говорит:

— Да я тебя с детьми на пушечный выстрел к этой комнате не подпущу. Имеет такого подлеца мужа да еще вдобавок мою комнату хочет оттяпать. Вижу — уже лежит один на моей кровати.

Сонечка из балетных примиряюще говорит:

— Тогда, господа, давайте так: я выйду за Николая, артист с супругой так и останутся, как были, а на жене Николая мы женим этого дурака-сослуживца.

Сослуживец говорит:

— Здравствуйте! Еще не легче. Вот я сейчас с ней запишусь. Держите карман шире! Да я в первый раз вижу эту облезлую фигуру. К тому же, может, она карманная воровка?!

Артист говорит:

— Просьба не оскорблять наших дам. Я считаю, что это правильный выход.

Наша дама говорит:

— Ну нет, знаете. Я не намерена из своей квартиры никуда выезжать. У нас три комнаты и ванна. И не собираюсь болтаться по коммуналкам.

Сонечка говорит:

— Из-за трех негодяев у нас все пары распадаются, — так было бы славно. Я за Николая, эта за этого. А эти так.

Тут между дам началась грубая перебранка и счеты о том о сем. После чего мужчины скрепя сердце решили, что все должно идти по-прежнему. На этом они и разошлись.

Однако совершенно по-прежнему не пошло. Сонечка вскоре вышла замуж за своего соседа, сослуживца жены артиста. И к ней по временам стал приходить в гости наш артист, который ей понравился благодаря своему мягкому, беззащитному характеру.

А наша дама, разочаровавшись в обывательском характере артиста, влюбилась в одного физиолога. А что касается Николая, то у него, кажется, сейчас романов нет и он всецело погружен в работу, но с Сонечкой он, впрочем, иногда встречается, и в выходные дни он нередко ездит с ней за город.

Вот какие иногда бывают случаи на любовном фронте.

На этом мы хотим закончить наши любовные рассказы, с тем чтобы перейти к следующему отделу — «Коварство».

Однако близость этого отдела позволяет нам рассказать еще одну новеллу, в которой два этих предмета — любовь и коварство — соединились между собой.

И вот что получилось.

Последний рассказ под названием «Коварство и любовь»

Один молодой человек, некто Сергей Хренов, браковщик-приемщик с одного учреждения, начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Или она к нему начала ухаживать. Сейчас, за давностью времени, нету возможности в этом разобраться. Только известно, что стали их вместе замечать на саратовских улицах.

Начали они вместе выходить. Начали даже под ручку прохаживаться. Начали разные всякие любовные слова произносить. И так далее. И тому подобное. И прочее. А этот франтоватый браковщик однажды замечает своей даме:

— Вот, — говорит, — чего, гражданка Анна Лыткина. Сейчас, — говорит, — мы гуляем с вами и вместе ходим и безусловно, — говорит, — совершенно не можем предвидеть, чего из этого будет и получится. И, — говорит, — будьте любезны, дайте мне на всякий случай расписку: мол, в случае чего и если произойдет на свет ребенок, то никаких претензий вы ко мне иметь не будете и не станете с меня требовать денег на содержание потомства. А я, — говорит, — находясь с такой распиской, буду, — говорит, — еще более с вами любезен, а то, — говорит, — сейчас, когда каждое действие предусматривает уголовный кодекс, я нахожусь как скованный. И я, — говорит, — скорее всего отвернусь от нашей с вами любви, чем я буду впоследствии беспокоиться за свои действия и платить деньги за содержание потомства.

Или она была в него слишком влюблена, или этот франтик заморочил ей голову, но только она не стала с ним понапрасну много спорить, а взяла и подписала ему бумажку. Мол, и так далее, и в случае чего я никаких претензий к нему не имею и, ладно, с него денег требовать не буду.

Она подписала ему такую бумажку, но, конечно, сказала кое-какие горькие слова:

— Это, — говорит, — довольно странно с вашей стороны! Я раньше никогда таких расписок никому не давала. И даже мне, — говорит, — чересчур обидно делается, раз ваша любовь принимает такие причудливые формы. Но, — говорит, — раз вы настаиваете, то я, конечно, могу подписать вашу бумажку.

— Да уж будьте любезны! Я, — говорит, — уже много лет присматриваюсь к нашей стране и знаю, чего боюсь.

Одним словом, она подписала бумажку. А он, не будь дурак, засвидетельствовал подпись ее прелестной ручки в домоуправлении и спрятал этот драгоценный документ поближе к сердцу.

Короче говоря, через полтора года они как миленькие стояли перед лицом народного суда и докладывали ему о своем прежнем погасшем чувстве.

Она стояла в белом своем трикотажном платочке и покачивала малютку.

— Да, — говорит, — действительно, я по глупости подписалась, но вот родился ребенок, как таковой, и пускай отец ребенка тоже несет свою долю. Тем более я не имею работы, и так далее.

А он, то есть бывший молодой отец, стоит таким огурчиком и усмехается в свои усики.

Мол, об чем тут речь? Чего такое тут происходит, ась? Чего делается, я не пойму. Когда и так все ясно и наглядно, и при нем, будьте любезны, имеется документ.

Он торжественно распахивает свой пиджак, недолго в нем роется и достает свою заветную бумажку. Он достает заветную бумажку и, тихонько смеясь, кладет ее на судейский стол.

Народный судья поглядел на эту расписку, посмотрел на подпись и на печать, усмехнулся и так говорит:

— Безусловно, документ правильный...

Браковщик говорит:

— Да уж совершенно, так сказать, я извиняюсь, правильный. И вообще не остается никакого сомнения. Все, — говорит, — соблюдено и все не нарушено.

Народный судья говорит:

— Документ, безусловно, правильный, но только является такое соображение: советский закон стоит на стороне ребенка и защищает как раз его интересы. И в данном случае, по закону, ребенок не должен отвечать или страдать, если у него отец случайно попался довольно-таки хитрый сукин сын. И в силу, — говорит, — вышеизложенного, ваша расписка не имеет никакой цены, и она только дорога как память. Вот, — говорит, — возьмите ее обратно и спрячьте ее поскорее к себе на грудку. Эта расписка вам будет напоминать о вашей прошлой любви.

Короче говоря, вот уже полгода, как бывший отец платит деньги.

И это совершенно справедливо.

На этом, товарищи, мы закончим наши рассказы о любви.

Этих рассказов оказалось восемь, а не десять. Ну пусть так и будет. Наша жизнь не так-то уж забита любовными делами, чтобы без конца рассуждать о чувствительных

мотивах. На этом мы прекращаем наши рассуждения о любви.

И, прочитавши еще небольшое нижеследующее послесловие, мы с превеликой тревогой перейдем к третьему отделу, который у нас имеет угрожающее название, — «Коварство».

Итак, прочтите небольшое послесловьице ко второму отделу. Это послесловьице, так сказать, крепче свяжет все то, что мы вам говорили про любовь.

Послесловие

Итак, на этом, уважаемые товарищи, мы заканчиваем наш отдел «Любовь».

И вот, что же мы видим, прочитавши все это с добросовестным старанием? Что же мы видим, прочитавши новеллы из нашей жизни и смешные рассказы из прежней истории?

А мы видим, что любовь, как это ни удивительно, связана прежде всего с крупнейшими неприятностями. То, знаете ли, обман наблюдается, то ссора и завидушка, то муж вашей любовницы круглый дурак, то жена у вас попадает такая, что, как говорится, унеси ты мое горе, то вообще сильная корысть наблюдается, только припасай деньги.

Главное, что можно заключить, — наши характеры уж очень препаршивые. Они, знаете, как-то мало еще приспособлены для занятий столь чудесными делами, как, например, любовь, свадьбы, встречи с дорогими особами и т. д.

Да, у нас, приходится сознаться, дрянные и корыстные характеры, благодаря которым мы сами закрываем себе доступ к безоблачной жизни.

И в этом смысле мы все-таки слегка завидуем тем будущим, вполне перевоспитанным молодым людям, которые, поплеывая, будут проживать, скажем, через пятьдесят лет. Вот уж эти, черт возьми, возьмут свое. Вот они не будут разбазаривать свое время на разную чепуху — на всякие крики, скандалы...

Воображаем, с какими образцовыми, изумительными красавицами они будут, черт возьми, знакомы!

Даже какой-нибудь мелкий человечишка, не представляющий из себя ничего значительного, и тот, наверное, будет наряду со всеми пользоваться великолепной, сказочной жизнью, достойной человека тех времен.

Ах, нет, мы не жалуемся, мы в этом смысле отчасти тоже весьма довольны своими сердечными делами, но это, конечно, не мешает нам видеть кое-какие недостатки. То, например, наша знакомая одета небрежно, то у нее на голове, к примеру, такая шляпочка, что лошади пугаются. То вообще просит повести ее в ресторан. А то давеча вел одну под руку — у ней, представьте себе, французский каблук сломался. Главное, совестно, идти не может: одна нога короче, другая длиннее, когда идет — хромает. А снять туфли и идти в чулках — я не позволяю. Мне как-то совестно, что у меня такая дама идет. Извозчиков нету. Денег мало, чтоб нанять людей перенести даму. Здоровье плохое, чтоб нести самому. Дама плачет. Ах, какие бывают дела!

Конечно, это мелочи, пустяки в сравнении с вечностью, но все-таки хочется полного комфорта, который не за горами.

Итак, друзья, подумав возвышенным образом о скором будущем, мы переходим к новому отделу: «Коварство».

Тут у нас главным образом пойдет речь о всяких жуликах и подлецах, которые своими коварными действиями тормозят плавный ход нашей жизни.

И мы уже слышим ихние трескучие голоса и видим трясущиеся руки и нахальный блеск ихних глаз.

И хотя нам весьма противно братья за это самое, однако мы с прилежным терпением постараемся вывести всех подлецов на свежую воду.

Так вот, переходим к отделу — «Коварство».

Краска стыда и негодования заливает наше лицо.

Коварство

1. *У* так, не без душевных треволнений

открываем новый отдел — «Коварство».

Но прежде чем приступить к делу, дозвольте поделить-ся с читателем гражданской скорбью.

2. Своей профессией, уважаемый читатель, мы не особенно довольны.

Профессия сатирика довольно, в сущности, грубая, крикливая и малосимпатичная.

Постоянно приходится говорить окружающим какие-то колкости, какие-то грубые слова — «дураки», «шантрапа», «подхалимы», «заелись» и так далее.

Действительно, подобная профессия в другой раз как-то даже озадачивает современников. Некоторые думают: «Да что это такое? Не может быть! Да нужно ли это, вообще-то говоря?»

3. И верно — на первый, поверхностный взгляд все другие профессии кажутся значительно милей и доступней человеческой душе.

Бухгалтер, например, специально как-то там складывает цифры между собой на пользу страждущего человечества, чтобы оно, так сказать, не слишком проворовалось в денежном смысле.

Другой там какой-нибудь тип из актерской братии энергично поет с эстрады и своим, скажем, козлетоном отвлекает людей от всевозможных житейских страданий.

Там какой-нибудь, я не знаю, профессор, питомец академических наук, решительно все знает и опять-таки всех удивляет своими невероятными знаниями.

Хирург режет разные язвы и карбункулы на наших скоропортящихся телах, способных каждую минуту загнить и зачервиветь. Водолаз откачивает воду и ныряет на дно морское. Дворник стережет дом и открывает калитку.

И только, я говорю, мы, сатирики, вроде как бы и не люди, а собаки.

4. Нет, вообще-то говоря, если подумать глубже, профессия эта тоже нужная и полезная в общественном смысле. Она одергивает дураков и предостерегает умных от их глупых поступков. Она расширяет кругозор и мобилизует внимание то одних, то других на борьбу то с тем, то с этим. Она иллюстрирует всякого рода решения и постановления, а также приносит известную пользу в смысле перевоспитания людских кадров.

Так что профессия, спору нет, в высшей степени не так уж очень особенно бесполезная.

Единственно, я говорю, профессия тем не хороша, что она не дает много беспечной радости своему владельцу.

Она утомляет ум и зрение. Она вредна и недопустима при малокровии и туберкулезе. А также при колите и язвах желудка ею не следует заниматься.

Она предрасполагает к меланхолии и нарушает обмен веществ. Нервная экзема и сахарное изнурение также иной раз суть прямые следствия этой вредной профессии. Кроме того, она портит характер, ссорит с окружающими и нередко разводит с женами.

5. И, в силу вышеизложенного, отличаясь оптимизмом и крайней любовью к жизни и к людям, решили мы больше не напирать на сатирическую сторону дела.

И, не отказываясь вовсе от сатиры, решили мы с этого момента слегка, что ли, переменить курс нашего литературного корабля.

И даже въезжая, как видите, в столь ответственную гавань, носящую грозное название «Коварство», решили мы уже и на этот раз попробовать свои силы не в качестве желчного сатирика прежней формации, из таких, которые заламывают руки, стыдят и восклицают, а решили мы попробовать себя в качестве, ну, вроде бы члена коллегии защитников.

Конечно, казалось бы, в высшей степени странно защищать подобные дефекты человеческого духа, но защита у нас будет до некоторой степени своеобразная, и далеко не всех мы намерены защищать.

6. Итак, значит, произнося на палубе нашего корабля подобные эффектные речи, пытаемся мы тем временем въехать в обширную и плохо защищенную гавань. Но бурные воды всевозможных литературных течений, вдребезги разбившие берег, не разрешают нам с легкостью это произвести.

И, желая тогда переждать некоторое время, чтоб обдумать, как бы полегче к этому подойти, — останавливаемся мы на рейде и не без растерянности поглядываем на берега, на которых уже, подмигивая, прохаживаются всякого рода проходимцы, жулики, хитрецы, арапы, комбинаторы и заплечных дел мастера.

И при виде этого сброда у нас на душе делается слегка, мы бы сказали, коломитно.

И мы так восклицаем: «Ах, кажется, мы напрасно решили заступиться за эту шушуру!»

Впрочем, вот какое мы имеем соображение.

7. Звери, например. Предположим, животные. Ну, там, скажем, кошки, собаки, петухи, пауки и так далее. Или даже в крайнем случае взять — дикие звери. Слоны там. Отчасти жирафы. И так далее.

Так у этих зверей, согласно учению Брема, ничего подобного вроде того, что у нас, не бывает. Они, как это ни странно, коварства почти не понимают. И там у них этого нету.

И это, вообще говоря, отчасти даже курьезно, что у людей это есть, а у остальных этого нету. А люди как бы все-таки, чего бы там ни говорили, в некотором роде есть венец создания, а те наоборот. И тем не менее у тех нету, а у этих есть. Вот это даже странно. И как-то нелепо.

Это всегда отчасти коробило и волновало наиболее честных специалистов-философов, проповедующих общее развитие и душевную бодрость.

«Нельзя допускать, — сказал в свое время славный философ Платон, — чтоб птицы и звери имели нравственное превосходство перед людьми».

Но с тех пор в ужасной, можно сказать, сутолоке жизни прошло что-то там, кажется, две тысячи лет, и эти так и продолжали иметь то, чего не было у зверей.

А звери, может быть, тем временем постепенно совершенствовались и совершенствовались и наконец дошли до того, чего они сейчас из себя представляют.

8. Итак, согласно доказательству Брема, звери не имеют коварства. Они живут бодро и энергично, некоторые из них поют, некоторые все-таки крикают, рычат, вопят, рывкают и так далее, но тем не менее все они отличаются бодростью и любовью к жизни. И жизнь у них протекает сравнительно гладко, без особого арапства, среди красивых картин природы, в тиши лесов и полей.

Другое дело, что им там все-таки проще обходиться. Как сказал поэт про какого-то, не помню, зверька — что-то такое:

И под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.

Это, кажется, он сказал про какого-то отдельного представителя животного мира. Что-то такое в детстве читалось. Какая-то чепуха. И после заволокло туманом. Одним словом, речь шла там про какую-то птицу или про какую-то козу. Или, кажется, про белку. Что ей так легко живется и что ей, конечно, в голову не приходит ловчиться или там идти на всякие лесные комбинации и аферы.

Но это, конечно, другой вопрос. В общем, только факт, что животный и растительный мир почти не знаком с коварством.

А поскольку некоторые европейские ученые отчасти смешали в одну кучу людей и зверей и они не делают слишком большой разницы между теми и этими, то мы осмеливаемся поэтому вывести стройное умозаключение, что ничего такого лишнего, чего не бывает у зверей, не должно бы, собственно говоря, быть и у представителей нашей славной породы.

9. А если чего-нибудь есть или имеется, значит, были к тому уважительные причины.

И которые возьмут в руки историю, те сразу могут убедиться, отчего это бывает.

Прошлая жизнь, согласно описанию историков, была уж очень, как бы сказать, отвратительно ужасная. То и дело правили какие-то кровавые царьки, какие-то в высшей степени, пес их знает, свирепые тираны, владетельные господа, герцоги, потомственные дворяне, бароны и так далее. И все они, конечно, делали со всей публикой чего хотели. Отрезали языки у тех, которые болтали не то, чего надо. Сжигали на кострах, если, например, человек высказывал собственные научные или религиозные мысли. Кидали для потехи диким зверям и крокодилам. И вообще, без зазрения совести поступали как хотели.

И от всех этих дел публика, наверное, нравственно ослабла. И характеры у них отчасти испортились. У них, может, озлобился ум. И они стали ко всему приноравливаться, и с течением веков через это, может быть, произошли коварство, арапство, подхалимство, приспособленчество и так далее и тому подобное и прочес.

10. А сами-то по себе, может, все эти и тому подобные явления чисто случайные, и они наносные на прекрасной и в высшей степени порядочной натуре человека.

Вот интересно. В свое время Наполеон так отозвался о Голландии. Он, видите, присоединял к Франции эту маленькую цветущую страну и в государственном акте так, в высшей степени коварно, отозвался об ней: он назвал ее — «наносная земля французских рек».

Так вот, может, и тут. Может быть, коварство и все такое есть наносная земля, возникшая благодаря бурному и свирепому течению прежней жизни.

А если это так, то мы, как защитники угнетенных, с удовольствием высказываем эту мысль. Наверное, так оно и есть.

И, значит, скорей всего, с переменой курса, как, например, у нас, все это как сон, наверно, исчезнет, и наступит счастье, способное удовлетворить запросы самого капризного ума.

И, говоря о таких вещах, всегда как-то хочется приподнять завесу, которая закрывает от нас грядущее. Все-таки очень хочется увидеть, как-то там у них пойдет.

11. Но у них в этом смысле, без сомнения, отлично пойдет. Это уж отчасти заметно по некоторым данным нашей жизни. У нас, в общем счете, публика, что ни говорите, за-

метно исправилась к лучшему. Многие стали более положительные, честные. Работяги. Заметно меньше воруют. Многие вдруг заинтересовались наукой. Чтением книг. Некоторые поют. Многие играют в шахматы. В домино. Ходят на концерты. Посещают музеи, где глядят картины, статуэтки и вообще чего есть. Дискуссируют. Лечатся. Вставляют себе зубы. Гуляют в парках и по набережной. И так далее.

В то время как раньше эти же самые дулись бы в карты, орали бы в пьяном угаре и перед дверью ресторанов выбивали бы друг другу остатние зубы.

Нет, если говорить о чистоте нравов, то у нас перемена в наилучшую сторону. И с этим можно поздравить население. Поздравляем! Пламенный привет, друзья! (Бурные аплодисменты. Все встают.)

12. И при всем том прошло, заметьте себе, немного меньше чем два десятка лет. А нуте, пройдет, предположим, еще полсотни лет?! Ого! Это прямо удивительно, что может получиться!

Итак, все дрянное постепенно, может быть, будет отставать и отлепляться, и, наконец, ударит год, когда мы, сами того не понимая, предстанем друг перед другом во всей своей природной красоте.

Конечно, для полноты цели потребуется, естественно, довольно продолжительное время. Чтоб перековаться еще более основательно.

А то, конечно, некоторые, в силу своего коварства, возможно, что отчасти подыгрывают, или они делают вид, что они уже совершенно готовы, в то время как в душе у них горит небось пламя прежней жизни. И они, может, горюют, что им не дают развернуться. И только это никому не видно, благодаря опять-таки коварству, которое, я так думаю, при перековке одно из последних покинет наши бранные тела.

13. Истории вполне известны такие факты, когда малоустойчивые элементы обнаруживали свое настоящее лицо. Как, например, однажды было в Англии. Представьте себе: строгая пуританская Англия. Кромвель. Чистота нравов. Сжигание для чего-то музыкальных инструментов. И так далее.

И вдруг в самое короткое время, то есть меньше чем в полгода, эта чопорная Англия превращается в самую разгульную страну. Крики, пьянство, базар, танцы. Бренчат на всех инструментах. Безобразие. Бешеный разгул. Проституция. И так далее. И даже не проходит полгода, как один из друзей Кромвеля, генерал Монк, восстанавливает, представьте себе, королевскую власть. Он восстанавливает на престол Карла II. Ну что это такое? Какой подлец! То есть ужас, что было.

То есть это было, по словам историков, то, что все низкое и подлое носило до сих пор маску коварства и благочестия, которую при первом же случае все эти молодцы моментально скинули. Вот как опасны мошенники со своим коварством. Двадцать пять лет носили маску!

14. Итак, коварство. История знает, прямо скажем, превеликое множество рассказов о коварстве.

Даже первая страница, первый, можно сказать, младенческий ход на полях истории, и то у них начинается с коварства и недоверия.

Такой, в общем, благородный жест, который теперь умиляет наши сердца, такой славный жест, как, например, рукопожатие друзей, имел в своем историческом прошлом несколько иной смысл, чем он сейчас имеет. Наши славные предки всего-навсего хотели, оказывается, удостовериться, нет ли в руках подошедшего какого-нибудь камня или оружия. И, благодаря этому, они, конечно, трогали за руку. И этим они проверяли, не допущена ли хитрость.

А после это, может, вошло у них в привычку. А теперь убрать как-то даже неохота. Особенно, отчего бы в наше время не поздороваться за руку с какой-нибудь знакомой, которой отчасти симпатизируешь? И в руке которой явно, кроме сумочки с пудрой, ничего не бывает. Ну а на службе — другой вопрос. Там, пожалуй, здороваться не к чему — лишняя трата времени и не так уж слишком гигиенично.

И кто бы мог думать, что такой в высшей степени благородный и отчасти сентиментальный жест — символ культуры и роста духа — имеет такое тяжелое прошлое! Как это, право, неприятно! Это как-то даже снижает наше значение.

15. Итак, первая страница истории открывается с коварства, недоверия и хитрости.

А дальше, как из рога изобилия, сыплются всякие тому подобные факты и рассказы о коварстве.

Кое-чего, извольте, расскажем. Но начинать придется, между прочим, с попов. То есть с церкви и с ихних церковно-славянских дел.

Главное, мы вовсе не имеем какой-нибудь особой тенденции запачкать или уронить в грязь эту культсекцию. Мы вовсе не хотим подрывать ее авторитет в глазах мировой буржуазии. И вообще мы бы ни в коем случае с них не начинали. Но в данном случае очень уж их дела, говоря церковным языком, вопиют к небу.

Тут надо отдать должное: они были на первом месте. Тут у них в области коварства есть дела, прямо не перекрытые за весь ход мировой истории.

Например, чего они делали. Они приговоренных к сожжению передавали светской власти с таким елейным заключением: «Наказать с возможной кротостью, без пролития крови».

И это самое «без пролития крови» как раз и обозначало на ихнем церковно-славянском языке — сожжение.

16. Конечно, какой-нибудь современный поп, читая эту фразу, наверно, сильно переконфузится. Может, даже он скажет: да, дескать, наши слегка, пожалуй, перехватили через край, извиняюсь.

Но нам, конечно, с этого извинения не шубу шить.

Вот они еще на что шли в своем рвении к небесной чистоте. Они там, у себя в застенках, во время инквизиции брали с арестованных такого сорта расписки:

«А если при этом (то есть при пытке) осужденный умрет или будет ранен, или если за этим последует кровотечение или членовредительство, то произошло это по его вине, ибо он не хотел сознаться и сказать правду».

И вот с христианским смирением какой-нибудь толстоватый поп подкладывал для подписи своей жертве подобную хамскую записку, где в каждом слове проявление высшего коварства и подлости.

И при этом, наверное, вздыхал и поднимал к потолку свои белесые буркалы. И сам вежливенько говорил: «Сын мой, подмахни эту записульку...»

И прошло, может, триста лет, а у нас в груди закипает от желания, я извиняюсь, ударить в рожу этой преподобной личности. Разные святые слова: «Христос воскрес», «святый Боже», а сами сколько прекрасного народу пережгли на своих поповских кострах. Ради, так сказать, чистоты христианского учения. Вот уж, можно сказать, башмак стоптался по ноге. Крапивное семя!

17. Я извиняюсь, конечно, за некоторую неровность стиля. Волнение, знаете, ударяет. Уж очень беспримерное нахальство с ихней стороны.

Вообще в смысле коварства это была очень отчаянная публика.

Среди них один римский папа особенно чересчур отличился.

Он придумал удивительное коварство для достижения своей цели. Это был папа Сикст Пятый. Это ему такое имя дали при восшествии на папский престол. А так-то, до этого его звали Перетта. И он был не папа, а простой кардиналишка из монахов.

И вот он находится в положении обыкновенного кардинала, и это ему все мало. Он еще непременно хочет стать римским папой. Еще чего! То есть он хочет быть папой, но не может. И прямо он от этого желания страдает и чуть не умирает.

А там у них это было не так-то просто — папой быть. Другие, может быть, тоже к этому стремятся. А наш герой — из простых монахов и не имеет особой протекции. Только что он не дурак.

18. И вот тут, как нарочно, умирает у них прежний римский папа. Может быть, Сикст Четвертый. Я, впрочем, не уверен в этом. И вот у них начинаются перевыборы. Может быть, пленум. Или там конференция специалистов по священному писанию. Одним словом — выборы.

Воображаю, какие понаехали! Шелковые рясы. Выступают медленно. Ручки пухлые. Морды лоснятся. И почти все кардиналы. Крапивное семя!

И наш герой, кардиналишка Перетта, тоже, конечно, поторопился сюда приехать.

Поглядел, может, на избранное общество и думает: «В таком виде, какой я есть, они, мерзавцы, навряд ли ме-

ня выберут. Их надо чем-нибудь заинтересовать. Дай, — думает, — я им устрою метаморфозу».

И с этими словами он является на перевыборы вроде как больной. Он охает, кашляет и ходит сгорбившись. По-минутно хватается за грудь и при этом восклицает: вот, дескать, братцы, какой номер! Ослаб в высшей степени, серьезно хвораю и думаю скоро протянуть ноги. И, главное, прямо ничем не интересуюсь, до чего меня прищемило.

И сам говорит шепотом. С одышкой. И только у него, у подлеца, глаза сверкают, как у мошенника.

19. Другие кардиналы думают:

«Вот бы хорошо в самом деле такого слабенького папу выбрать. Он тихий, болезненный, все время хворает. Очень будет милый и застенчивый папа. И он навряд ли будет во все входить и всех подтягивать. А то, ей-богу, другого выберешь, он тебе навернет. Нет, непременно надо этого выбрать».

И с этими словами они его выбирают.

Историки говорят, что сразу после избрания, почти немедленно, произошла чудовищная перемена. Кардинал выпрямил стан и заговорил с собравшимися таким резким и суровым тоном, что привел всех в трепет.

И он пять лет был папой. И он весьма сурово вел дела. Он во все вникал и всех тянул. И даже казнил двух кардиналов. И сам был здоров как бык. Так что все вскоре убедились, что он их чертовски надул.

В общем, когда он умер, обозлившиеся церковники сбросили его статую с пьедестала и разбили ее в мелкие дребезги. И это, говорят, был в некотором роде единственный случай, что разбили статую.

Наверное, он, собака, сильно им всем насолил. Но это был, в общем, большой психолог. Молодец!

20. А то они еще однажды одного довольно хорошего короля убили. То есть он, может быть, и не так был хорош, но они тоже уж, знаете, слишком хороши. Они его в церкви убили. Они ему яд в причастие подсыпали.

И это был один из удивительнейших церковных номеров — подсыпать яд в причастие и дать человеку, который, может быть, заскочил в церковь с самыми благими и божественными намерениями.

В общем, они его отравили таким поразительным способом. А это был, между прочим, германский император Генрих Седьмой. Там у них было, если помните, несколько Генрихов. Собственно, семь. Генрих Птицелов. Он, вероятно, любил птиц ловить. Скорей всего надо предполагать, что это была какая-нибудь порядочная балда, что он за птицами гонялся вместо того, чтоб честно править.

Потом был у них такой Генрих Мореплаватель. Этому, наверное, нравилось любоваться морем. Или он, может быть, любил посылать морские экспедиции. Впрочем, он, кажется, правил в Англии или в Португалии. Где-то, одним словом, в тех краях. Для общего хода истории это абсолютно неважно, где находился этот Генрих. А что касается Германии, то там, кроме того, были еще какие-то маловыдающиеся Генрихи. И, наконец, этот наш несчастный труженик — Генрих Седьмой. Он правил Германией еще значительно до фашизма. Он был у них императором в четырнадцатом веке.

21. И он ничего особенного из себя не представлял. Единственно он, говорят, пугался, как бы современники его не убили. И в этом смысле он сильно остерегался. Так что мы их, то есть церковников, вполне понимаем, что иначе как в церкви его и нельзя было взять. Так что по-своему они и правы. Потому что дома он давал еду попробовать повару и приближенным. И, наверное, кроме того, со специальной целью у него под столом собаки находились. И он, может, по временам бросал им огрызки, чтоб удостовериться, правильная ли еда.

Ну а в церкви он, естественно, не мог на этот счет тревожиться. Он был абсолютно спокоен. И он, наверное, глотнул причастие без всякого сомнения. Он, наверное, его пил с большим удовольствием. Может быть, он даже подумал: это, мол, единственное местечко, где я не тревожась пью и кушаю. Не начать ли мне, думает, вообще в храмах закусывать. Сейчас, думает, питье допью и просвиры закусю. Славно!

Но не тут-то было. Только он выпил и только он хотел облаткой заесть, как вдруг зашатался, побледнел и, как говорится в священном писании, упал с катушек долой.

22. И, наверное, упавши, сердито на попов взглянул. Дескать, что ж это вы, господа, обалдели! Неужели у вас хватило нахальства подсыпать чего-нибудь мне в причастие? Вот так номер!

И, вздохнувши раз-другой, скончался, увидев всю несостоятельность христианской церкви. Но было уже, к сожалению, поздно.

Попы, наверное, вскрикнули от удивления. Которые, конечно, не знали, в чем дело, и которые, может, сами хотели допить причастие и докушать просвирки. Но теперь забоялись это делать.

А которые знали, те, конечно, потирая руки, вприпрыжку побежали докладывать об этом кому следует.

И только потом историки откуда-то узнали, что яд в причастие велел подсыпать папа, который не ладил с этим императором.

Вот какой это был арапский случай из церковной жизни. А наш скромный Генрих так и помер. И даже ничего путного не сказал потомству.

Вообще что касается императоров, то они после попов стоят на втором месте в смысле количества рассказов о коварстве.

И нам бы пришлось рассказать множество исторических новелл, если бы у нас на это была сильная охота.

23. Жизнь императоров, естественно, переплетается с высшей царской политикой, так что она всегда бывает полна коварства и хитрости. И в этом нет ничего особенно удивительного.

Так что мы ограничимся небольшим повествованием об императорах, с тем чтобы поскорей перейти к более средним людям, проживающим без всяких особых намерений.

Вот, например, из императоров был большой негодяй, некто Тарквиний Гордый. Он был римский император. Или, кажется, царь.

Человек это был в высшей степени заносчивый и, судя по названию, наверное, гордый. Он у них в Риме правил. И он там одно время, в Риме, водопроводы проводил. И этим он в дальнейшем очень удивил последующие поколения. И, собственно говоря, этим он отчасти и прославился. Все

его за это чересчур хвалили. То есть потомки. А для своих-то современников он был большой подлец.

Он так говорил о своем правлении:

— Поборы, налоги, каторжный труд — все это входит в систему моего правления. Бедным и задавленным народом мне наилегче всего управлять.

Однако народ не захотел оценить эти гордые мысли императора Тарквиния, и его к черту сбросили с трона. И последние свои годы он, несмотря на свою гордость, провел в крайней бедности и нищете. Поделом вору и мука!

24. Исключительным коварством отличался, между прочим, прославленный император Нерон. Вот этот вообще шел на любые поступки для достижения своих целей.

Но особенное коварство он проявил в отношении своей матери. Он непременно хотел убрать с дороги свою царственную мамашу, которая его резко осуждала и вмешивалась в политику. Он хотел ее убить, но это ему не удавалось. Она была в высшей степени увертливая и живучая особа. И даже, всецело понимая каторжный характер своего сына, она, по словам историков, всякий раз принимала перед едой противоядие, так сказать — на всякий пожарный случай.

Особа была во всяком случае опытная и себя в обиду не давала. К тому же и сама порядочная преступница. Так что умоляем читателей особенно ее не жалеть, когда речь дойдет до происшествия.

В общем, римский историк Светоний рассказывает, как Нерон велел сделать в ее комнате потолок, который мог бы обрушиться на старуху.

Вот как пишет Светоний. И это поразительно читать:

«Он устроил в ее спальне потолок с обшивкой, который с помощью машины можно было обрушить на нее во время сна».

25. Можно представить, каков был разговор при заказе этого потолка.

— Не извольте беспокоиться! — говорил подрядчик. — Потолок сделаем — просто красота! Аи, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество!..

— Да гляди, труху у меня не клади, — говорил Нерон. — Гляди, клади что-нибудь потяжелше. Легкая труха ей нипочем. Знаешь, какая у меня мамаша!

— Как же не знать, ваше величество? Характерная старушка. Только какая же может быть труха? Аи, ей-богу, интересно, ваше величество: я особо большой камешек ве-лю положить в аккурат над самой головкой вашей преподабной маменьки.

— Ну уж вы там как хотите, — говорил Нерон, — но только чтоб — раз! — и нет маменьки.

— Не извольте тревожиться. Считайте, что ваша маменька уже как бы не существует на этом свете. Не успеют они на днях проснуться, как на них потолок — кувырк! И вообще-с, несчастный случай, вроде землетрясения. Никто не виноват, и маменька, между прочим, больше не присутствует. Аи, ей-богу, интересно вы придумали, ваше величество! Очень, как бы сказать, натуральное средство против маменьки.

— Ну ладно, ладно! Поменьше, дурак, языком трепли!

26. Но подрядчик оказался слишком энтузиастом своего дела. Он так кругом раззвонил об этом заказе, что слухи дошли до ушей царственной мамыши, которая, конечно, разгневалась и оскорбилась и тотчас покинула гостеприимный дворец.

Однако Нерон на этом не успокоился.

Он тогда срочно приказал командующему флотом заманить свою мамашу на особый разборный корабль. При чем корма этого корабля была устроена таким образом, что она могла внезапно отделяться и все находящиеся на ней падали в воду.

И старуха, которая хотела подальше удалиться от своего сына, с удовольствием, конечно, воспользовалась любезным приглашением и сдуру села на этот корабль.

И вдруг она вскоре очутилась в воде. Можно представить, какой поднялся визг и крик! И какая вообще была неожиданность кувыркнуться в воду! Тем не менее, привыкшая благодаря сыну к походной жизни, старуха и тут не потеряла голову. Она начала плавать и нырять и, хватаясь за деревянные части корабля, все-таки удержалась на морской поверхности.

А близкие друзья этой старухи вскоре подросли и вытаскивали ее на берег.

И тогда она вместе с ними скрылась в одном из загородных дворцов.

Но вскоре неутомимый Нерон проникнул, где она находится, и подослал туда наемного убийцу. Там ее и убили.

Вот это какой был коварный подлец! Впрочем, мамаша его была не менее подловата, а потому, повторяем, жалеть ее, так сказать, не приходится.

27. А то у них был еще такой — Лизистрат. Этот, кажется, даже не был императором. Но он в свое время все-таки как-то там правил. Он был правителем, собственно, даже у них не в Риме, а в Афинах. То есть он вообще был грек. И, будучи греком, он себе и правил помаленьку в Греции.

Однако, по словам историков, его правление что-то ему не особенно задавалось. Тем более время было слишком тревожное. Возникали, говорят, разные политические партии. Борьба. Шаткое положение. И так далее.

А он, конечно, хотел завоевать симпатии народа, чтоб покрепче утвердиться. Но и это ему не удавалось, как он ни старался. А без этой симпатии его, конечно, могли каждую минуту легко скосырнуть. Тогда, по словам историков, он взял кинжал и нанес себе неопасную рану в грудь. И в таком, можно сказать, отвлеченном виде, с кинжалом в груди, он предстал перед удивленным народом. Он приехал на площадь на колеснице. И в груди кинжал торчит. Очень, так сказать, оригинально!

28. И там, на площади, не вынимая кинжала, он произнес громкую речь о покушении злодея на его жизнь и о своей горячей любви к народу, которая выше его жизни.

Согласно утверждению историков, народ, после недоверчивого молчания, растрогался и стал аплодировать задрывавшемуся вождю.

После чего народ стал, говорят, относиться к нему более симпатично и не прогонял его со своего поста, считая, что он вполне сердечный человек, не дорожащий своей жизнью ради общего блага.

А он этим воспользовался и вскоре утвердил единовластие.

После чего он очень счастливо правил, покуда вскоре не умер.

Но историки, узнав откуда-то обо всех этих подробностях и, в частности, о кинжале, пригвоздили его к позорному столбу как арапа и жулика, который с холодным расчетом пустился на подобную аферу, чтоб покрепче захватить власть в свои руки.

Вообще о царях и правителях можно было бы рассказать бесчисленное множество разных любопытных историй, пока не надоест.

Однако нас наиболее всего интересует частная жизнь и ее теневые стороны, чем что-либо другое. Нас интересует коварство, проявленное, если так можно сказать, исключительно для личного пользования.

29. Мы имеем намерение вам рассказать об одном человеке, который проявил исключительное коварство для достижения своей цели. Причем, благодаря этому коварству, многие пострадали, а двоим даже отрезали языки. Это было при русской императрице Елизавете Петровне.

В общем, вот как это было.

Сначала там правила, может, вы уже слышали, такая Анна Леопольдовна. Вообще, молодая особа, со своим маленьким сыном. Но вскоре ее, конечно, прогнали, и на трон вступила Елизавета Петровна. А она была, между прочим, дочь Петра Великого. И, конечно, как это всегда бывает, там сразу после переворота начались аресты и так далее. Многих сенаторов и царедворцев вообще прогнали. Кое-кто угодил в тюрьму. А такой был у них обер-гофмаршал Левенвольд, — так его вообще решили выслать в Сибирь.

А это был в высшей степени красивый мужчина и франт. И он всем женщинам исключительно нравился. И он пользовался у них успехом.

И когда стали ссылать такого мужчину, естественно, многие заволновались.

А одна, красавица Лопухина, узнав, когда и куда он идет, вызвала к себе начальника отряда, который должен был сопровождать в Сибирь этого франта.

30. Это был некий поручик Бергер.

Этот поручик весело и интересно жил в Петербурге. Неселился и мотал наследство, и ему, конечно, просто не хотелось ехать в Сибирь.

А тут как раз приглашает его Лопухина и изъявляет желание с ним поговорить.

Вот он приходит к ней, и она ему говорит: вот, дескать, заботьтесь хорошенько о вашем арестанте. И передайте ему, что я его искренне люблю и помню. И пусть он не особенно расстраивается и пусть надеется на лучшие перемены.

Так она ему это откровенно сказала об этом и попрощалась.

А молодой поручик, услышав подобную фразу о переменах, решил сделать себе карьеру. Он решил раздуть историю, надеясь, что его тогда не пошлют в Сибирь, а арестанта, может быть, даже тут повесят, на его счастье. В общем, только он тотчас забежал во дворец и с преувеличением рассказал камергеру Лестоку, как и чего ему было сказано.

31. Старая лиса Лесток, желая еще больше выдвинуться, решил раздуть это дело до громадных размеров. Он решил создать из этого дела что-то вроде какого-нибудь заговора. Тотчас образовали какую-то комиссию, следствие, суд.

И бедную красавицу Лопухину за неосторожную фразу о переменах подвергли пытке и казни. Мерзавцы отрезали ей язык, били ее кнутом и сослали в Сибирь.

А этого Бергера императрица вызвала к себе и поблагодарила. Она ему сказала: «Хвалю. Вот так и впредь поступай. Вот теперь, — говорит, — я чувствую, что вполне могу положиться на тебя в этом ответственном деле — при охране государственного злодея Левенвольда. Поезжай с богом! Еще раз хвалю».

Засим Бергер был допущен к царской ручке, и дня через три он, совершенно обалдевший от всех дел, трясся в кибитке, сопровождая арестанта в Сибирь.

Так его негодяйство и не доставило ему того, чего он рассчитывал.

И в противном случае нам было бы это слишком огорчительно читать.

Вообще, он оставался несколько лет в Сибири. И там он спился. И умер от водянки.

Вот к чему приводят иной раз подобные коварные замыслы.

Но эта история о поручике Бергере все-таки как-то понятна человеческой душе. Ну, хотел человек скомбинировать, чтобы не ехать в Сибирь. Но это ему не удалось.

Подобные факты подряд бывают в истории — когда подлец строит свое счастье на чужом несчастье и для этой цели хитрит, травит и подсиживает. Это, так сказать, «великое вечное», и с этим во все времена следует горячо бороться.

Но в другой раз коварство проявляется без особой на то нужды. Вот что нас крайне удивляет.

32. Вот какую историческую новеллу мы желаем вам рассказать. Только это было, конечно, очень давно. Это было в шестом веке. Так что просьба — не удивляться собственным именам, которые целиком правдивы и не выдуманы.

Жену короля звали Австрахильда. А короля — Гунтрам. Он был король в Бургундии. И, согласно утверждению историка, он был сыном меровингского короля Хлотаря Первого. Вот какие, между прочим, были короли на заре европейской жизни!

Так вот, эта супруга бургундского короля, мадам Австрахильда, начала последнее время что-то хворать. У нее было, по-видимому, какое-то внутреннее заболевание, поскольку лучшие врачи того времени терялись и не могли определить, что именно у нее есть.

Но тем не менее ее как-то лечили. Хотя она была отчасти недовольна этим лечением и за полтора года она переменила девять врачей, тем не менее ей все делалось хуже, и, наконец, она стала умирать.

Собрались, конечно, родственники у ее изголовья. Ее дети. Король бургундский Гунтрам тоже пришел.

Начал ее, наверное, утешать: дескать, что же сделать, потерпите. Бог дал, бог и взял. Ничего, дескать, похороним пышно. Нет ли вообще каких-нибудь у вас последних земных забот, просьб или приказаний?

Она ему говорит:

— Да, у меня кое-что есть из земных забот. Меня лечили девять врачей. Однако я теперь, как видите, умираю. Я, — говорит, — прошу вас, ваше величество, в тот день, когда я умру, отрубите им головы. И это есть мое последнее пожелание.

33. Историки не приводят слов, которые сказал Гунтрам в ответ на эту супружескую просьбу. Весьма вероятно, что он, пожав плечами, сказал:

— Пожалуйста. Об чем речь! Сколько там у вас их было? Ах, только девять. Да сделайте одолжение! Очень рад! Что же вы раньше-то молчали?

Австрахильда говорит:

— Да как-то так... Надеялась, что это порядочные люди и что они меня вылечат, а они вот куда загнули, — я теперь, как видите, умираю, наверно, через этих врачей.

— Не знаю, как вы, — сказал Гунтрам, — а я их на пушечный выстрел к себе не подпускаю. Это вы дали маху.

Австрахильда говорит:

— Вот я теперь и прошу вас отрубить головы у этих медицинских работников.

Гунтрам говорит:

— Просьбу вашу, конечно, исполню. Что другое — не знаю, а это сделаю с превеликим удовольствием. Даже жалею, что вы за такое малое количество людей просите. Может, хотите пристегнуть сюда еще чего-нибудь, — например, ваших сиделок и которые за вами убирают?

34. Австрахильда говорит:

— Пожалуй! Можно и их. Они тоже, конечно, дурака валяют.

В общем, король и нежный супруг исполнил это последнее желание.

Австрахильда умерла вечером, а утром на рассвете девяти алополучным врачам отрубили головы перед королевским жилищем.

И это был в свое время, надо полагать, довольно тяжелый удар по медицине.

И это, конечно, произошло оттого, что королева, наверное, сильно разочаровалась в медицине, что было вполне естественно в ее критическом положении.

А главная причина была, несомненно, в том, что королева была мстительная особа и ум имела в высшей степени коварный и озлобленный.

В общем, как бы там ни было, врачи снова сомкнули свои поредевшие ряды и снова мало-помалу стали лечить,

уже не встречая подобных пациентов. Но кое-что вроде этой пациентки все-таки иной раз бывало.

А то был еще такой случай из области коварства.

35. Такой жил при Екатерине Второй крупный политический деятель, некто Орлов. Знаменитый граф, любитель лошадей.

Вообще-то он не был графом, но после убийства Петра Третьего, к чему он был причастен, его произвели в графы.

А вообще это был крупный прохвост. Это был джентльмен из числа человеческого отребья, которые возвеличиваются благодаря удаче, личному нахальству и счастливой наружности.

А тут еще вдобавок брат его, Гриша Орлов, состоял одно время, как известно, любовником Екатерины. Естественно, что жизненный путь обоих этих братьев был усыпан розами.

Короче говоря, однажды Екатерина Вторая приглашает к себе этого джентльмена и так ему говорит:

— Будь, — говорит, — другом: поезжай сейчас в Италию. Там, — говорит, — объявилась самозванка, княжна Тараканова. Она выдает себя, между прочим, за дочку Елизаветы Петровны. Или, может, это действительно ее дочка. Только она метит на престол. А я этого не хочу. Я еще сама интересуюсь царствовать. Короче говоря, тебе, Орлов, поручается как-нибудь арестовать и доставить эту государственную злодейку.

И Орлов, конечно, поехал. И, наверно, даже не без удовольствия, поскольку интересная командировка.

36. Он приехал в Рим, познакомился там с этой княжной и сделал вид, что в нее он исключительно горячо влюбился.

А ее дамское сердце сразу растаяло от такой любви, и она стала ему доверять.

И он говорит:

— Я до того в вас влюбился, что согласен помочь вам вступить на всероссийский престол.

Что у них там было, в Риме, в подробностях историкам неизвестно, только всем остальным известно, что она в дальнейшем, уже в тюрьме, родила ему младенца.

Так вот, Орлов ухаживает за этой княжной, всюду с ней бывает и устраивает ей для развлечения всякие смотры и парады.

И вот однажды приезжают они в Ливорно для этой цели. Там стоял русский флот, и княжна Тараканова, как будущая императрица, сильно заинтересовалась этим флотом. Она хотела, может быть, посмотреть, как он плавает.

А Орлов, который подбил ее на это, говорит:

— Я вам покажу морской парад — это, госпожа Тараканова, что-нибудь особенное.

И вот они приехали в Ливорно и глядят, чего происходит на море.

Орлов, собака, говорит:

— Хотите, может быть, покататься по морю. То, — говорит, — я с большим удовольствием вас прокачу на каком-нибудь военном корабле, сиречь судне.

Та говорит:

— Пожалуй.

37. И вот они садятся на корабль и едут.

Он с ней очень любезен и поминутно ей целует ручки. И говорит:

— Немножко покатаемся — и назад. Не волнуйся.

Только вдруг она замечает, что они уже далеко заехали и берегов не видно. Она начинает волноваться, но он ей замечает:

— Что вы! Какие могут быть сомнения! Хотите, — говорит, — мы даже сейчас на корабле перевенчаемся.

И вот пара матросов переодевается попами, и под сдавленный смех окружающих разыгрывают венчание.

Потом молодые удаляются в каюту, а на другой день к каюте приставляется часовой, и княжне объявляют, что она арестована.

Вообще княжну Тараканову привезли в Петербург и посадили в Петропавловскую крепость.

Сияющий Орлов предстал перед императрицей и рассказал все, что было. Но она нахмурилась и говорит:

— Ну уж это ты слишком загнул. Это ты перехватил. Но победителя не судят — за поимку спасибо.

Вскоре княжна Тараканова родила в каземате орловского выроodka. А сама она вскоре умерла от чахотки. И ребяенок тоже, кажется, умер.

А Орлов имел нахальство однажды к ней зайти на допрос. И она плюнула ему в лицо, и, кроме того, он получил от нее пощечину.

И будь он жив, мы бы тоже били бы его в морду при первой встрече.

Вот какие бывают случаи исключительного коварства.

38. На этом, собственно говоря, мы хотели закончить наши исторические новеллы. Но сделать это не так-то просто. Это не отдел «Любовь», где пять-шесть фактиков — и вам все ясно и понятно. Это «Коварство», которое в истории накопилось до самых краев. И тут пятью новеллами не отделаться.

Тут у нас накопилось слишком громадное количество разных фактов.

Тогда мы решили вот что сделать.

Исторические рассказы о коварстве больше вам рассказывать не будем. А вот, сколько тут есть у нас фактов, выслепем все в одну кучу, и разбирайтесь сами. И будет это у нас вроде как отдел «Смесь».

Тут вы найдете весьма любопытные и острые сценки и случаи. Некоторые писатели, которым лень будет рыться в историческом белье, могут даже воспользоваться, если захотят, одной-другой темкой. Автор во всяком случае не будет на это в претензии. Тем более история, можно сказать, общее достояние и общее дело, за которое следует всем краснеть.

Итак, исторические новеллы закончены. Начинаются разные мелочи и анекдоты. Вот они:

39. Гай Юлий Цезарь отдал распоряжение по войскам украшать оружие золотом, серебром и драгоценными камнями. Он рассчитывал, что благодаря этому солдаты при отступлении не будут бросать оружие. Так и оказалось.

● По древним русским законам, если обвиняемый не сознавался в своей вине, его испытывали огнем. Обвиняемый должен был взять голый рукой кусок раскаленного железа. Если рука останется невредимой, говорит закон, обвиняемого следует оправдать.

● Римский император Константин, желая распространить христианство, издал постановление — освобождать от рабства всех рабов, которые пожелают креститься.

● Вольтер наиболее смелые свои книги издавал под чужой фамилией. Он приписывал эти книги умершим авторам.

● На одном пиршестве римский император Калигула, взглянув на возлежавших близ него двух сенаторов, разразился громким хохотом. Сенаторы учтиво спросили, почему он смеется.

— Потому, — ответил Калигула, — что одного моего кивка достаточно, чтоб вас двоих удавили. Вот почему я и рассмеялся.

40. ● Людовик Четырнадцатый, чтобы возвеличить блеск своего царствования, стал осыпать золотом и подарками художников, писателей и поэтов, которые действительно начали прославлять его в своих произведениях, описывая благосостояние страны и высший разум правителя.

● Русский поэт Надсон, переписываясь с какой-то его поклонницей — графиней Лидой, весьма откровенно ей отвечал на все ее политические вопросы. Эта графиня Лида оказалась женой жандармского полковника, действующей по поручению полиции.

● Последний царский министр Протопопов, желая удержать власть и влияние при дворе, сделал распоряжение по полиции посылать императрице с разных концов России телеграммы с изъявлением верноподданнических чувств.

● Первый русский драматург, знаменитый Сумароков (1775 год), задолжал богачу Демидову две тысячи рублей. Демидов описал дом Сумарокова. Чиновники, чтобы унижить писателя, дом, стоивший шестнадцать тысяч, оценили в девятьсот один рубль шестнадцать с половиной копеек, за каковую сумму дом и был продан.

41. Делаем небольшую передышку. Слишком большое количество подлецов и негодяев вызвало у нас легкое сердцебиение и дрожь в руках.

Из этих вышеуказанных мелочей следует особо отметить, во-первых, последний факт. Можно представить гнусные морды чиновников, которые вошли с портфелями и расположились в креслах и, чтобы покочевряться и показать свою силу, нарочно так низко оценили дом. Сума-

роков от людской подлости, как он сам говорил, «упал духом и запил». И вскоре умер в страшной нищете и упадке.

Очень интересен также факт с Протопоповым. Об этом, между прочим, писал английский посланник Бьюкенен. И это вполне похоже на правду. Этот грязный тип вполне мог пойти на такое мелкое коварство.

Что касается Надсона, то его переписка с «графиней Лидой» была в свое время опубликована и вызвала, говорят, большой скандал.

Калигула же был, по словам римского историка Светония, выдающимся преступником и злодеем. И ничего нет удивительного, что он так подумал и потом рассмеялся. Воображаем самочувствие этих двух сенаторов. Один, наверное, сильно поперхнулся, а другой, вероятно, засмеялся дребезжащим смехом и сказал:

— Всегда вы, ваше величество, что-нибудь забавное придумаете. Очень имеете острый ум.

А что до того, что Юлий Цезарь велел украшать оружие, то это был интересный психологический трюк. Вообще это был великий полководец. Молодец!

42. Но пойдем дальше.

● Любownik Екатерины Первой, камергер Монс, был казнен Петром. Несчастного посадили на кол. А голову потом отрезали и положили в банку со спиртом. И эту банку Петр велел поставить в комнате Екатерины. Когда эту голову принесли, Екатерина сказала придворным:

— Вот, господа, до чего доводит разврат придворных!

● В приговоре о казни Монса буквально сказано: «Государственный преступник Монс приговаривается к казни за вмешательство в дела, не принадлежащие ему».

● Екатерина Вторая, желая осмотреть завоеванные местности, отправилась на галере по Днепру. Светлейший князь Потемкин, чтобы удивить императрицу и желая показать, что завоеванные земли сказочно богаты, велел построить по берегам Днепра красивые домики, церкви и сады. Сюда были пригнаны стада коров и овец. Двигались обозы. И подставные мужики — в нарядных костюмах — сидели на берегу.

● Перед приездом Екатерины (1785 год) в Москву московский губернатор издал постановление — выгнать всех нищих из города, «дабы видение толикого числа нищих ее не беспокоило».

● Петергоф был устроен Петром Первым на манер Версаля. Приезжие иноземные гости поражались сказочному великолепию дворца, и это, как пишут историки, «разрушало у них обычное представление как о дикой варварской Московии».

● Революционер Сазонов, бросивший бомбу в министра Плеве, был ранен осколком этого снаряда. Он очнулся в больнице. Над ним склонялось доброе лицо врача.

— Вы тут бредили, молодой человек, — сказал врач, — называли разные имена. Но ничего, на меня вы можете вполне положиться. Я сам когда-то увлекался идеями. Можете мне довериться.

Один из служащих больницы предупредил Сазонова, что этот врач — агент полиции.

— Ну что вы кричите? — сказал врач, когда Сазонов попросил его уйти. — Ну хорошо: я позову фельдшера, он вам сделает перевязку.

Этот фельдшер тоже оказался агентом сыскной полиции.

43. На этом заканчиваем наше историческое повествование. И прямо жалость берет. Имеем еще целую кучу материала. Но чтоб не погрешить против красоты формы, решили мы на этом остановиться.

Только разве что вскользь отметим кое о чем. Зароним, так сказать, искру в ваше воображение. А вы уж, благодетели, сами там дорисуйте общую картину.

Отметим хотя бы провокаторов. Вот где в высшей степени процветало коварство. Например, один Азеф чего стоил! Или, скажем, зубатовщина. Это было тоже нечто неслыханное. Этот господин при помощи полиции начал вдруг организовывать рабочее движение. И даже устраивал стачки. Вот собака!

Отметим также представителей торгового мира с их славным лозунгом — «не обманешь — не продашь». Обратите ваше внимание на буржуазный быт, при котором нередко болонки печенье жрут, а трудящиеся только на это смотрят.

Отметим, наконец, слишком мягкое перо господ писателей, которые иной раз писали далеко не то, чего думали. И наоборот.

Ах, мы не можем отказать себе в удовольствии привести небольшую, так сказать, писанину, в которой видать, как и что.

Неизвестный мадридский борзописец составил отчет о генеральном аутодафе в 1680 году. Вот как он пишет.

44. Только прежде необходимо сказать нижеследующее. Во время инквизиции государственные преступники и еретики нередко приговаривались к сожжению. Причем тех, которые раскаивались в своей ереси, предварительно душили, а потом сжигали. А упорствующих грешников сжигали без удушения.

Вот составитель отчета пишет о казни в таком стиле: «Сии последние (то есть упорствующие) шли со странной бледностью в лице, с очами, помраченными и как бы извергающими пламя, с таковым видом, что казались одержимы бесом...» «Обращенные же шли с великим смирением, утешением, покорностью и веселием духовным, что казалось — сквозь них сияла благодать Божия. Можно было думать, что они, счастливые, уже были вознесены на небеса... Засим преступники были казнены. Сначала удушены были гарротой обращенные, засим преданы огню упорствующие, кои были сожжены заживо, с немалыми признаками нетерпения, досады и отчаяния».

Форсисто написано! И то, что, наверное, требовалось. Прямо сквозь строчки видим ехидную морду составителя, который склонился над бумагой. Улыбается. Продажная личность! Нашел духовное веселие у приговоренных людей. Но, поскольку свыше требовался подобный восторженный стиль, — вот он его и выполнял.

Впрочем, конечно. Наверное, жрать надо. Семья. Жена. Дети. Мало ли! Но все-таки сукин сын! Крапивное семя!

Итак, на этих чертовских строчках закончено наше историческое повествование.

И с сердцем, разорванным пополам, мы закрываем пожелтевшие от грязи страницы истории.

Вот что рассказывает она о коварстве.

45. Она рассказывает, что этого добра по ходу мировой истории было слишком много и достаточно, куда ни плюнь.

И вообще чуть не каждая страница истории понабита этим действием.

Оно посещало пышные дворцы и великолепные чертоги. Оно заглядывало в бедные хижины и жалкие лачуги. И дух его присутствовал то там, то там.

Бедняки иной раз шли по этой скользкой дорожке, чтобы не потерять нить своей жизни. А богатые нередко проявляли свое коварство благодаря своему злобному и мещанскому характеру.

А что касается попов и царей, то эти, как мы видим, особенно отличились.

Да, конечно, тут речь шла о прошлых веках и столетиях. И вот интересно знать, как теперь обстоят дела в этом.

Матушка Европа, конечно, имеет буржуазный строй, так что коварство, несомненно, там на прежней высоте. И разницы там, скорей всего, никакой не случилось.

А что касается как у нас, то в жизни у нас, конечно, большие перемены. И разные хорошие факты произошли, и превосходные дела, о которых мы упоминали уже в других отделах. Но коварство у нас, конечно, имеется.

46. Что касается коварства, то — увы! — оно у нас, несомненно, тоже еще есть, и не будем закрывать глаза — его порядочно.

И было бы странно, если бы его совершенно не было. Можно сказать, столько веков создавали и лелеяли это самое. И, наверное, не может того быть, чтоб раз-два — и нет ничего.

Нет, у нас коварство, конечно, есть. И даже у нас специальные названия подобрали для обозначения этого — двурушники, комбинаторы, авантюристы, аферисты, арапы и так далее. Из чего вполне видать, что у нас этого добра еще достаточно.

Но только у нас именно то хорошо, что есть полная уверенность, что с течением времени этого у нас не будет. И с чего бы ему быть, раз на то никаких причин не останется.

Но пока, конечно, и на нашем горизонте еще имеются разные подобные дела. Давайте же посмотрим, какие это дела. И давайте метлой сатиры подметим то, что нужно и можно подмести.

Итак, начинаются рассказы из нашей жизни.

РАССКАЗЫ О КОВАРСТВЕ

Интересная кража в кооперативе

Воровство у нас есть. Но его как-то значительно меньше.

Кое-кто успел перековаться и больше не ворует. А некоторых не удовлетворяет, как бы сказать, выбор ассортимента. Некоторые же, не видя собственников и миллионеров, перестроились и крадут теперь у государства.

Но, конечно, естественно, крадут не так, как они это раньше производили.

Нынче только дурак крадет, не понимая современности.

А многие современность отлично понимают и уже осваивают новейшие течения.

Например, недавно в нашей кооперации произошла кража. Так за этой кражей видна по крайней мере философская мысль.

Вот как это было.

Кооперация. Вообще, кооператив. Так сказать, открытый распределитель.

Естественно, много товаров. Экспортные утки лежат на окне. Семга почему-то. Свиные, я извиняюсь, туши. Сыр. Это — из еды. И из вещей тоже много всего. Дамские чулки. Гребенки. И так далее.

Все это в изобилии набросано и, так сказать, очень выигрышно лежит на витрине.

И, конечно, естественно, это привлекло чей-то взор.

Короче говоря, кто-то такое с заднего входа влез в ночное время в магазин и сильно там похозяйничал.

И, главное, дворник у ворот спал, ничего такого не заметил.

— Какие-то сны, — говорит, — мне, действительно, в эту ночь показывали, но ничего такого потустороннего я не слышал.

А он очень, между прочим, перепугался, когда это воровство обнаружили. Бегал по магазину, за всех цеплялся. Умолял его не подводить. И так далее.

Заведующий говорит:

— Твое дело маленькое. Что ты спал, за это тебя, конечно, по головке не погладят, но навряд ли тебе пришьют какое-нибудь обвинение. Так что ты не пугайся. Не путай-

ся тут под ногами и не нервируй работников прилавка своими восклицаниями. А иди себе и досыпай дома.

Но дворник не уходит. Он стоит и расстраивается. Главное, его расстраивает, что так много уперли.

— Вот этого, — говорит, — я прямо не могу понять. Я сплю всегда чутко и ноги протягиваю вдоль ворот. Не может быть, чтобы через меня два мешка сахару перенесли. Мне это очень странно.

Заведующий говорит:

— Дюже крепко спал, сукин сын! Это ужаси подобно, сколько уперли!

Дворник говорит:

— Чтoб много уперли, этого не может быть. Я бы проснулся.

Заведующий говорит:

— А вот сейчас составим акт и увидим, какая ты есть ворона — какой неимоверный убыток государству причинил.

Тут они начали составлять акт в присутствии милиции. Начали говорить цифры. Подсчитывать. Прикидывать. И все такое.

Бедняга дворник только руками всплескивает и чуть не плачет — до того, видать, граждански страдает человек, сочувствует государству и унижает себя за сонное состояние.

Заведующий говорит:

— Пишите: «Девять пудов рафинаду. Папирос — сто шестьдесят пачек. Дамские чулки — две дюжины. Восемь кругов колбасы...»

Он диктует, а дворник прямо подпрыгивает при каждой цифре.

Вдруг кассирша говорит:

— Из кассы, — запишите, — сперли боны на сто тридцать два рубля. Три чернильных карандаша и ножницы.

При этих словах дворник начал даже хрюкать и приседать — до того, видать, огорчился человек от громадных убытков. Заведующий говорит милиции:

— Уберите этого дворника! Он только мешает своим хрюканьем.

Милиционер говорит:

— Слушай, дядя, уходи домой! Тебя попросят, когда надо будет.

В это время счетовод кричит из задней комнаты:

— У меня висело шелковое кашне на стене, — теперь его нету. Прошу записать, — я потребую возместить понесенные мне убытки.

Дворник вдруг говорит:

— Ах он подлец! Я не брал у него кашне. И восемь кругов колбасы — это прямо издевательство! Взято два круга колбасы.

Тут наступила в магазине отчаянная тишина.

Дворник говорит:

— Пес с вами! Сознаюсь. Я своровал. Но я сравнительно честный человек. И меня, может быть, возмущает такое составление акта. Я не позволю лишнее приписывать.

Милиционер говорит:

— Как же это так? Значит, дядя, выходит, что это ты проник в магазин?

Дворник говорит:

— Я проник. Но я не трогал эти боны, и ножницы, и это сволочное кашне. Я, — говорит, — взял, если хотите знать, полмешка сахару, дамские чулки одну дюжину и два круга колбасы. И я, — говорит, — не позволю иметь такое жульничество под моим флагом. Я стою на страже государственных интересов. И меня, как советского человека, возмущает, что тут делается — какая идет нахальная приписка под мою руку.

Заведующий говорит:

— Конечно, мы можем ошибиться. Но мы проверим. Я очень рад, если меньше украли. Сейчас мы все это прикинем на весы.

Кассирша говорит:

— Пардон, боны завалились в угол. Боны не взяты. Но ножниц нету.

Дворник говорит:

— Ах, я ей плюну сейчас в ее бесстыжие глаза! Я не брал у нее ножней. А ну, ищи лучше, куриная нога! Или я тебя сейчас из кассы выну.

Кассирша говорит:

— Ах, верно, ножницы нашлись. Они у меня за кассу завалились. И там лежат.

Счетовод говорит:

— Кашне тоже найдено. Оно у меня в боковом кармане заболталось.

Заведующий говорит:

— Вот что, перепишите акт. Сахару, действительно, не хватает полмешка.

Дворник говорит:

— Считай, холера, колбасу. Или я за себя не отвечаю. У меня, если на то пошло, есть свидетельница — тетя Ньюша.

Вскоре подсчитали товар. Оказалось, украли все, как сказал дворник.

Его взяли под микитки и увели в отделение.

И его тетю Ньюшу тоже задержали. У ней эти продукты были спрятаны.

Так что, как видите, — тут сперли на копейку, а наввернули на тысячу. И в этом видна, так сказать, игра коварной фантазии и кое-какая философская мысль.

А без этого, говорят, сейчас никак нельзя. Без этого только дурак ворует. И вскоре попадается.

Так что в этом деле хитрость и коварство вступили в свои права. И даже в другой раз братья Кант и Ницше кажутся прямо щенками против современной мысли.

И в нижеследующем рассказе это можно вполне видеть.

Рассказ о том, как чемодан украли

Недалеко от Жмеринки у одного гражданина свистнули, или, как говорится, «увели» чемодан.

Дело было, конечно, в скором поезде.

И это прямо надо было удивляться, каким образом у него взяли этот чемоданчик.

Главное, пострадавший попался, как нарочно, в высшей степени осторожный и благоразумный гражданин.

У таких обыкновенно даже ничего не воруют. То есть не то чтобы он сам у других пользовался. Нет, он честный. Но только он осторожный.

Он, например, своего чемодана из рук весь день не выпускал. Он, кажется, даже с ним посещал уборную. Хотя это ему, как говорится, было не так легко.

А в ночное время он, может быть, лежал на нем ухом. Он, так сказать, для чуткости слуха и чтоб не унесли во время процесса сна, ложился на него головой. И как-то там на нем спал, — не знаю.

И он даже для верности не приподнимал головы с этой своей вещи. А если ему нужно было перевернуться на другой бок, то он как-то там со всем этим предметом вращался.

Нет, он в высшей степени чутко и осторожно относился к этому своему багажу.

И вдруг это у него свистнуло. Вот так номер!

А еще тем более его предупредили перед сном. Ему кто-то там сказал, когда он ложился:

— Вы, — говорит, — будьте добры, осторожней тут ездите.

— А что? — спрашивает.

— На всех, — говорит, — дорогах воровство почти что прекратилось. Но тут, на этом перегоне, еще отчасти бывает, что шалят. И даже бывает, что сапоги с сонных людей снимают, не говоря о багаже, и так далее.

Наш гражданин говорит:

— Меня это не касается. Если речь идет о моем чемодане, то я имею привычку спать на нем довольно чутко. И этот перегон меня не волнует.

И с этими словами он ложится на свою верхнюю полку и под голову закладывает свой чемодан с разными, наверное, ценными домашними вещами.

Значит, ложится он и спокойно засыпает.

И вдруг ночью к нему кто-то подходит в темноте и тихонько начинает сапог с ноги стаскивать.

А наш проезжающий был в русских сапогах. И сразу такой сапог, конечно, не снять, благодаря его длинному голенищу. Так что неизвестный только немного сдернул этот сапог с ноги.

Наш гражданин сдержался и думает:

«Подожду, что будет дальше. Интересно. Неужели он желает с меня сапоги снять?»

А в это время неизвестный берет его теперь за другую ногу и снова дергает. Но на этот раз дергает со всей силы.

Вот наш гражданин как вскочит с размаху, как ахнет вора по плечу! А тот — как сиганет в сторону! А наш проезжающий — как брыкнется с полки за ним! Хочет, главное, бежать, но не может, поскольку у него сапоги наполювину сдернуты. Ноги в голенищах болтаются, как звонки.

Пока то да се. Пока ноги взошли вовнутрь, глядит — вора уж и след простыл. Только слышать, что он, мошенник, дверкой на площадке хлопнул.

Поднялись крики. Тарарам. Все вскочили.

Наш проежающий говорит:

— Вот интересный случай. Чуть у меня сапоги с сонного не сняли.

И сам вдруг косо поглядел на свою полку, где должен был стоять его чемодан.

Но его, увы, уже не было.

Ну, конечно, опять крики и опять тарарам. Один из пассажиров говорит:

— Наверное, вас за ногу нарочно потянули, чтобы вы, извиняюсь, освободили чемодан от головы. А то все лежите и лежите. Поэтому вас скорее всего и потревожили.

Пострадавший сквозь слезы страдания говорит:

— Вот этого я не знаю.

И сам на первой станции бежит в Транспортный отдел и делает там заявление. Там сказали:

— Хитрость и коварство этих жуликов не поддаются описанию.

И, узнав, что у него там было в чемодане, отпустили, обещав, в случае чего, сообщить. Они сказали:

— Мы поищем. Хотя, конечно, ручаться не можем.

И это они, конечно, сделали правильно, что не поручились, так как вора с чемоданом они так и не нашли.

Но мы знаем один практический случай, когда поимка вора пошла безошибочно. И даже в самом начале уже можно было давать полную гарантию, что вора поймут. Ибо для этого допущено исключительное коварство. Вот как это было.

Поимка вора оригинальным способом

(Быль)

Украдены были дрова. Во дворе нашего дома. При чем — интересная подробность: кража произошла в зимнее время, когда они как-никак представляют собою особую ценность как для тех, так и для других.

Дрова, вообще говоря, даже и в другие сезоны представляют известный интерес для населения.

Некоторые даже их иногда на именины дарят.

Одной моей родственнице, Елизавете Игнатьевне, я, помню, однажды, в день рождения, подарил целую вязан-

ку дров. А Петр Андреевич, ее супруг, человек горячий и вспыльчивый и отчасти мещанин, плетущийся в хвосте у событий, ударил меня, бродяга, поленом по голове. Правда, в конце вечеринки.

— Это, — говорит, — не девятнадцатый год и не та эра, чтоб дрова преподнести.

Но это, конечно, между прочим.

А дрова, во всяком случае, дело драгоценное и святое. Как сказал поэт Блок:

И не раз и не два
Вспоминаю святые слова —
Дрова...

И еще что-то такое он сказал, в высшей степени ценное, про дрова.

Так вот, значит, стали во дворе нашего дома пропадать дрова.

Ну, известно, наложены дрова во дворе. Вот они и пропадают. Их кто-то берет на предмет отопления.

То у одного жильца несколько полн пропадет. То у другого, то, наконец, третий крик поднимает:

— У меня, — кричит, — не хватает...

И невозможно разобрать, кто их ворует, и где дрова, и кто ими пользуется.

Тогда жильцы на собрании говорят друг другу:

— В доме завелся вор. Вот это интересно. И, может быть, он даже тут сидит и на нас с вами глядит. Но поскольку у нас сорок пять жильцов, то угадать не представляется возможным. Давайте, в крайнем случае, найдем сторожа или будем сами поочередно караулить.

Некто Серега Пестриков моментально подсчитал, во что обойдется сторож. Оказалось, каждое полено удорожится на девяносто копеек. Это показалось дорогим.

Тогда решили, что будут караулить сами.

Серега Пестриков написал расписание и повесил его во дворе.

Стали все дежурить поочередно. Но, видят, дрова опять воруют.

Тогда образовалась во дворе одна небольшая экстренная группа в три человека.

Некто жилец Боборыкин, Власов Егор Иванович и его племянник Мишка. Тоже почему-то Власов.

Этот Мишка является к своему дяде и так ему интимно говорит:

— Я, — говорит, — товарищ дядя, как вам известно, состою в союзе химиков. Мы там у себя имеем разные химические штучки, всякие химические газы, дымовые шашки и прочую тому подобную чертовщину. И я, — говорит, — последние ночи худо сплю. Я, — говорит, — товарищ дядя, мечтаю принести домой динамитный патрон. И мне хочется этот патрон заложить в полено. И это полено мы, я извиняюсь, дядя, бросим совместно с другими поленьями, будто оно лежит само по себе. Вор его непременно возьмет. Он его положит в печку. А там уж, товарищ дядя, предоставьте действовать технике.

Дядя, не понимая еще, как и что, говорит:

— Ну что ж, принеси. Посмотрим.

Племянник говорит:

— Это такое средство, дядя, что против него никакой вор не удержится. И то есть непременно мы так или иначе вора поймаем. Где взорвет, в какой квартире — там, значит, и взято.

Дядя, обрадовавшись, говорит:

— Тогда — неси. Это действительно в высшей степени интересно. Главное, накануне у нас будет дух захватывать — у кого взорвет.

Жилец Боборыкин говорит:

— Только ни об чем никому говорить не будем, но сами все совершим и увидим. У кого в какой печке взорвет, тот и есть то, чего мы ищем. Это становится забавным.

Племянник Мишка говорит:

— Патрончик я принесу небольшой, чтобы было допущено небольшое разрушение, но чтобы громадной катастрофы не было.

Боборыкин говорит:

— Небольшую катастрофу допустить тоже можно. И это даже полезно для других. Она всех может немного утрашить и одернуть. Это полезно. Но, конечно, дом разрушать не надо.

Вот Мишка вскоре принес патрон со службы, и этот патрон они заложили в полено.

То есть они выдолбили дырочку в полене и его туда вложили.

И небрежно кинули это поленьшко на дрова. И сами с интересом стали ждать, что будет.

На другой день вечером в доме произошел адский взрыв.

Взорвалось в аккурат под жильцом Боборыкиным, в квартире у Сергея Пестрикова.

Все моментально узнали, какой это взрыв и чему его приписать. И все бросились к месту происшествия.

И все глядели на Сергея Пестрикова, который суетился около своей разрушенной печки и восклицал:

— С чего бы это она, господа?

Но ему ничего не говорили. Только говорили:

— Ну и ну!

Между прочим, Мишка Власов не учел, и патрон оказался до того боевой, что совершенно разломал к черту всю печку и две стены.

Кроме того, разбило стекла в двух этажах. И что-то произошло с канализацией. Она, правда, и раньше почти не работала, но сейчас она совсем что-то заштопорила. Хотя многие это и не приписывают взрыву.

Жертва была одна. Серегин жилец — инвалид Гусев — помер с перепугу. Его, собственно, звездануло кирпичом по затылку. И он, привыкший к многочисленным ранениям на войне, тут, в тылу, совершенно растерялся и, как говорится, сразу, без сопротивлений, отдал богу душу. То есть он скончался.

Кроме того, Серегиной сестре, которая была совершенно тут ни при чем, надуло флюс благодаря разбитому окну.

Сереге признался, что он для экономии брал изредка по одному полену от других и не считал, что это какое-нибудь особенное ограбление или воровство.

В скором времени он предстанет перед судом, и там он даст исчерпывающий ответ.

Между прочим, на суд попала также вся наша боевая тройка — оба Власовы и Боборыкин.

Их обвинили в незаконных поступках и в порче государственного имущества.

Так что они тоже будут судиться.

И, наверное, их тоже к чему-нибудь присудят, поскольку нельзя же идти на такие чрезвычайные поступки.

А Мишка пока что развернул еще сильнее свою деятельность.

В другой коммунальной квартире, у его мамы, крали, между прочим, керосин. Так этот Мишка разбавил керосин водой, а после увидел, в каком примусе зашипело.

Вообще этот мальчишка подает большие надежды благодаря пониманию современного коварства.

Но вот, извольте, еще рассказ, основанный на самой тончайшей современной хитрости.

В этом факте мы отчасти сами участвовали, так что с большим удовольствием осветим это дело. Вот как это произошло.

Мелкий случай из личной жизни

На днях мы отправляли с вокзала вещи.

Мы их отправляли багажом. Одной нашей родственнице. Это ее вещи. Но они у нас временно лежали. И вот она вдруг просит — пришлите.

И мы поехали на вокзал отправлять багажом.

И вот на вокзале видим такую картину, как говорится, в духе Рафаэля.

Будка для приема груза. Очередь, конечно. Десятичные метрические весы. Весовщик за ними. Весовщик, такой в высшей степени благородный служащий, быстро говорит цифры, записывает, прикладывает гирьки, клеит ярлыки и дает свои разъяснения.

Только и слышен его симпатичный голос:

— Сорок. Сто двадцать. Пятьдесят. Сымайте. Берите. Отойдите... Не станови сюда, бабда! Станови на эту сторону.

Такая приятная картина труда и быстрых темпов.

Только вдруг мы замечаем, что при всей красоте работы весовщик очень уж требовательный законник. Очень уж он соблюдает интересы граждан и государства. Ну не каждому, но через два-три человека он обязательно отказывает груз принимать. Чуть расхлябанная тара — он ее не берет. Хотя видать, что сочувствует.

Которые с расхлябанной тарой, те, конечно, охают, ахают и страдают.

Весовщик говорит:

— Заместо страданий укрепите вашу тару. Тут где-то шляется человек с гвоздями. Пушай он вам укрепит. Пушай туда-сюда пару гвоздей вобьет и пушай проволокой надтянет. И тогда подходите без очереди, — я приму.

Действительно верно: стоит человек за будкой. В руках у него гвозди и молоток. Он работает в поте лица и укрепляет желающим слабую тару. И которым отказали, те смотрят на него с мольбой и предлагают ему свою дружбу и деньги за это самое.

Но вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках. Он не интеллигент, но близорукий. У него, видать, трахома на глазах. Вот он и надел очки, чтобы другим его было хуже видать. А может быть, он служит на оптическом заводе и там даром раздают очки.

Вот он ставит свои шесть ящиков на метрические десятичные веса.

Весовщик осматривает его шесть ящиков и говорит:

— Слабая тара! Не пойдет. Сымай обратно.

Который в очках, услышав эти слова, совершенно падает духом. А перед тем как упасть духом, до того набрасывается на весовщика, что дело почти доходит до зубочистки.

Который в очках кричит:

— Да что ты, собака, со мной делаешь! Я, — говорит, — не свои ящики отправляю. Я, — говорит, — отправляю государственные ящики. Куда я теперь с ящиками сунусь? Где я найду подводу? Откуда я возьму сто рублей, чтобы везть назад? Отвечай, собака, или я из тебя котлетку сделаю!

Весовщик говорит:

— А я почему знаю?

И при этом делает рукой в сторону.

Тот, по близорукости своего зрения и по причине запотевших стекол, принимает этот жест за что-то другое. Он всхлипывает, чего-то вспоминает, давно позабытое, роется в своих карманах и выгребает оттуда рублей восемь денег, все рублями, и хочет их подать весовщику. Тогда весовщик багровеет от этого зрелища денег. Он кричит:

— Это как понимать? Не хочешь ли ты мне, очкастая кобыла, взятку дать?!

Который в очках сразу, конечно, понимает весь позор и ужас своего положения. Он говорит:

— Нет, я вынул деньги просто так. Я хотел, чтобы вы их поддержали, пока я сыму ящики с весов.

Он совершенно теряется, несет сущий вздор, принимается извиняться и даже, видать, согласен, чтобы его ударили по морде, только чтоб не что-нибудь другое.

Весовщик говорит:

— Стыдно! Здесь взятки не берут. Сымайте свои шесть ящиков с весов, — они мне буквально холодят душу. Но, поскольку это государственные ящики, обратитесь вот до того рабочего: он вам укрепит слабую тару. А что касается денег, то благодарите судьбу, что у меня мало времени возжаться с вами.

Тем не менее он зовет еще одного служащего и говорит ему голосом человека, только что перенесшего оскорбление:

— Знаете, сейчас мне хотели взятку дать. Понимаете, какой абсурд! Я жалею, что поторопился и для виду не взял деньги, а то теперь трудно доказать.

Другой служащий отвечает:

— Да, это жалко. Надо было развернуть историю. Пущай не могут думать, что у нас по-прежнему рыльце в пуху.

Который в очках, совершенно сопревший, возится со своими ящиками. Их ему укрепляют, приводят в христианский вид и снова волокут на весы.

Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара. И покуда до меня не дошла очередь, я подхожу к рабочему и прошу его на всякий случай укрепить мою сомнительную тару. Он спрашивает с меня восемь рублей. Я говорю:

— Что вы, — говорю, — обалдели! Восемь рублей брать за три гвоздя?!

Он мне говорит интимным голосом:

— Это верно, я бы вам и за трояк сделал, но, — говорит, — войдите в мое пиковое положение: мне же надо делиться вот с этим крокодилом.

Тут я начинаю понимать всю механику.

— Стало быть, — говорю я, — вы делитесь с весовщиком?

Тут он несколько смущается, что проговорился, несет разный вздор и небылицы, бормочет о мелком жалованье

ишке, о дороговизне, делает мне крупную скидку и приступает к работе.

Вот приходит моя очередь.

Я становлю свой ящик на весы и любуюсь крепкой тарой.

Весовщик говорит:

— Тара слабовата. Не пойдет.

Я говорю:

— Разве она слабовата? А мне только сейчас ее укрепили. Вот тот, с клещами, укреплял.

Весовщик отвечает:

— Ах, пардон, пардон! Извиняюсь! Сейчас ваша тара крепкая, но она была слабая. Мне это завсегда в глаза бросается. Что пардон, то пардон.

Принимает он мой ящик и пишет накладную. Я читаю накладную, а там сказано: «Тара слабая».

— Да что же вы, — говорю, — делаете, арапы? Мне же, — говорю, — с такой надписью обязательно весь ящик в пути разворуют. И надпись не позволит требовать убытки. Теперь, — говорю, — я вижу ваши аралские комбинации.

Весовщик говорит:

— Что пардон, то пардон! Извиняюсь!

Он вычеркивает надпись, и я ухожу домой, рассуждая по дороге о перестройке характеров, о хитрости и коварстве и о той неохоте, с какой некоторые мои уважаемые сограждане сдают свои насиженные позиции.

Но они непременно рано или поздно сдадут эти свои позиции. Некоторые сдадут после длительных боев. А некоторые сразу после незначительного улучшения быта.

И это даже наплевать, что некоторые из них отошли на другую линию и там, как видите, ведут бой по всем правилам искусства.

Мы их и оттуда выкурим. Даром что у них позиция больно хороша и она не всем заметна.

А вот мы сейчас их еще с флангу слегка ударим. Сейчас наш удар придется в аккурат по всякому свинству и жульничеству.

В общем, вот еще какой боевой рассказ из серии «Коварство» мы предлагаем вашему скромному вниманию.

Рассказ о подлеце

Ввиду того что это тоже факт и тут речь пойдет об одном живом человеке, то мы бы не хотели затрагивать в печати его фамилию.

То есть, вообще говоря, он, конечно, подлец и его следует публично прохватить, но он в настоящее время и без того чересчур расстраивается и говорит, что в ближайшее время он непременно перестроится.

Поэтому, из педагогических целей, назовем его ***.

И вот едет этот «три звездочки» в трамвае.

Вот он едет в трамвае. А по виду никак не скажешь, что это подлец едет. По виду — это едет скромный работник в валенках. Он едет в гости. Он едет к своему приятелю на именины.

Вот он едет в трамвае к нему в гости, думает, может, там про свои всякие подлости — чего он сожрет, и хорошо, думает, что подарка имениннику не купил. Другие, думает, имеют привычку подарки покупать, а что касается меня, то они не на таковского напали.

И вот он едет на именины без подарка. И на углу Седьмой линии он слезает. Он, вернее, не дождавшись остановки, спрыгивает с трамвая, чтобы поскорее пойти в гости, а то, думает, все сожрут. Им только, нахалам, опоздай.

И вот он, в силу этого, спрыгивает поскорей. И вдруг слышит свисток, и чьи-то ноги спешат. Это милиция к нему поспешает. Желает узнать, как он спрыгнул, не повредил ли внутренностей и, вообще, есть ли у него лишние деньжонки в кармане.

Наш герой думает:

«Ну, налетел на трешку. Лучше бы, — думает, — я имениннику пару червивых яблок купил, чем мне теперь штраф платить!»

И, так подумавши, поскорей смешивается с толпой и идет как ни в чем не бывало. Будто это и не он прыгнул, а кто-нибудь там другой.

Милиционер говорит:

— Некрасиво делаете, что убегаете!

*** говорит:

— А что такое? Это не я прыгнул. За что я буду штраф платить? Что ты — ошалел, стоявши на своем посту? Я иду

спокойно. И в трамвае я по крайней мере три дня назад ехал.

Милиционер говорит:

— Ах, вот какие речи! Тогда пойдемте в милицию.

*** говорит:

— Пойдемте.

И сам, видя, что вокруг никаких свидетелей нету, начинает по дороге нашего милиционера чихвостить и косячить настолько, что тот аж рот раскрывает, но сдерживается. Самые ужасные слова и грубости ему говорит. А милиционер тактично молчит и не теряет своего достоинства.

Вот приходят они в милицию. Докладывают дежурному, что случилось. Милиционер говорит:

— И, кроме того, он меня незаслуженно оскорблял. Запишите.

Наш подлец говорит:

— Он нахально врет. Никаких оскорблений я не допускал. Свидетелей не было, и я отказываюсь от этих показаний.

Начальник милиции говорит:

— А мы привыкли своим милиционерам доверять. И на тебя мы сейчас составим протокол.

И вот они составляют протокол и спрашивают его, где он служит и где живет. А *** с перепугу и по своей подлости нарочно указывает не тот адрес. А то, думает, пожалуй, накладка будет.

Вот он дает не тот адрес и говорит:

— Можно мне идти? А то я опаздываю.

Дежурный говорит:

— Посиди маленько.

И сам поспешает к телефону. Он вызывает адресный стол и там берет справку. Тогда *** говорит:

— Ой, пардон, я спутался! Я вам не тот адрес дал. И не ту фамилию. На меня затмение нашло.

Начальник милиции говорит:

— Ах, вон ты какой фрукт! Ну, нам теперь твоя характеристика видна. Говори свой правдивый адрес и вымещайся.

Тогда *** предвидя суд и неприятности, говорит адрес, но опять-таки говорит не свой адрес, а, во избежание дальнейших неприятностей, на всякий случай говорит адрес своего приятеля, именинника.

И при этом думает: «Тому все равно ни черта не будет. Тот докажет свою невинность, а тут и адрес сойдется, если справку возьмут, и мне легче вздохнется».

Вот он дает адрес именинника и называет себя его фамилией.

Вот начальник милиции звонит в адресный стол, и там вскоре отвечают:

— Такой есть, живет по этому адресу, и все правильно. Отпустите.

И вот в хорошем настроении духа спешит наш *** на именины. Но приходит туда поздно. Там уж всё съели, и ему подают лишь стакан чаю и какие-то пустяки.

***, расстроившись от такой подачи, думает про себя: «Ничего! Я ему тоже хороший подарок преподнес. Он у меня теперь, свинья, побегаёт!»

И снова в хорошем настроении уходит домой.

Дня через два на работу является бывший именинник, весь не в себе. Он говорит друзьям:

— Со мной такое случилось, что только в сказках происходит. На меня какие-то подлецы двадцать пять рублей штрафа наложили за оскорбление милиции и за вранье. И я, — говорит, — сам теперь не пойму, что к чему. А они говорят: «Плати, или мы на твое жалованье наложим».

От этих слов *** сконфузился и так отвечает:

— Знаешь, Ваня, я тебе на именины ничего не подарил. Хочешь, я тебе десятку дам, чтобы ты внес этот штраф и не волновался.

Тогда бывший именинник вдруг начинает кое-что понимать.

— Позволь! — говорит. — Я твою скудость преотлично знаю. А то, что ты мне десятку суешь, это мне в высшей степени удивительно. Уж не ты ли, собака, мне это дело удружил? То-то я вспоминаю, что ты опоздал и пришел в расстроенных чувствах. Так вот какие ты подарки даришь своим друзьям!

И с этими словами, размахнувшись, ударяет того по физиономии.

Тот удивляется и говорит:

— Ну хорошо: я весь штраф заплачу, только не губи моей хорошей репутации. Вот тебе двадцать пять целковых, поспеши заплатить.

Бывший именинник говорит:

— Это еще что за новости? Ты — такой подлец, а я буду за тебя ходить и платить.

*** говорит:

— Ну хорошо: я сейчас сам пойду и заплачу. Только громко не кричи.

И бежит в милицию.

А там, как назло, сидит то же самое начальство, которое объяснялось с именинником, но не то начальство, которое было в первый раз. А наш герой, не сообразив мелочей, подает повестку и кладет на нее деньги.

Дежурный изумляется перемене в наружности пришедшего и говорит:

— А ну вас к черту! Что-то я ничего не пойму. То один не хочет заплатить, то другой, наоборот, хочет.

Только вдруг приходит начальник отделения милиции. Он сразу разбирается во всем деле и говорит:

— А, вот оно что! Ну теперь мы тебе пришили обвинение.

*** просит прощения и унижается. Но на него составляют протокол. И этот протокол отсылают на место службы.

Там состоялся товарищеский суд, на котором нашего подлеца, к общему удивлению, оштрафовали на десять целковых. И, кроме того, приговорили к общественному порицанию и дали строгий выговор с предупреждением.

А бывший именинник перестал с ним здороваться и говорит:

— Вот так он мне подарок преподнес!

А сам этот тип ходит теперь тише воды ниже травы и говорит:

— Так-то я довольно честный, но, конечно, и у меня случаются затмения. Но теперь, после этого факта, я совершенно перековался.

Однако от перековки мы требуем порядочно. И если говорить о перековке, то нам желательно, чтоб окружающие люди были умные, честные и чтобы все стихи писать умели. Ну, стихи даже, в крайнем случае, пушай не пишут. Только чтоб все были умные.

Хотя, впрочем, конечно, ум — дело темное. И часто неизвестно, откуда он берется.

Так что желательно, чтоб все были хотя бы честные и чтоб не дрались. В крайнем случае даже пусть себе немножко дерутся, но только чтоб вранья не было.

Это не значит, что не соври. Нет, врать можно. Но только самую малость. Ну, например, жена спросит: где был? Ну, тебе сказать неохота, где был. Ну, скажешь — в аптеке был. Ну, она — хлесь со всего размаху.

— Как это, скажет, в аптеке, когда, например, от тебя пивом пахнет?!

Нет, драться тоже нехорошо.

И лучше совсем без вранья, тогда, может, и драки прекратятся.

Итак, желательно, чтоб все были довольно честные и чтоб даже в частной жизни, хотя бы опять-таки в гостях, наблюдалось поменьше вранья и свинства.

А то хозяева иногда от этого сильно переживают.

Вот, например, какой однажды, благодаря бытовому коварству, произошел случай на одной вечеринке.

Интересный случай в гостях

Это было порядочно давно. Кажется, лет восемь назад. Или что-то около этого. И проживал тогда в Москве некто Григорий Антонович Караваев.

Он — служащий. Бухгалтер. Он не так молодой, но он любитель молодежи. И у него под выходные дни всегда собиралась публика. Все больше, так сказать, молодые начинающие умы.

Велись разные споры. Разные дискуссии. И так далее.

Говорилось, может быть, про философию, про поэзию. И прочее. Про искусство, наверно. И так далее. О театре, наверно, тоже спорили. О драматургии.

А однажды у них разговор перекинулся на международную политику.

Ну, наверно, один из гостей, попивши чай, что-нибудь сказал остро-международное. Другой, наверно, с ним не согласился. Третий сказал: Англия. Хозяин тоже, наверно, что-нибудь дурацкое добавил. В общем, у них начался адский спор, крики, волнения и так далее. В общем — дискуссия.

Что-то у них потом перекинулось на Африку, потом на Австралию и так далее. В общем, в высшей степени дурацкий, беспринципный спор.

И в разгар спора вдруг один из гостей, женщина, товарищ Анна Сидоровна, служащая с 23-го года, говорит:

— Товарищи, чем нам самим об этих отдаленных материях рассуждать — давайте позвоним, например, какому-нибудь авторитетному товарищу и спросим, как он про этот международный вопрос думает. Только и всего.

Один из гостей говорит, вроде как шуткой:

— Может, еще прикажете запросить об этом председателя народных комиссаров?

Женщина Анна Сидоровна немного побледнела и говорит:

— Отчего же? Вызовем, например, Кремль. Попросим какого-нибудь авторитетного товарища. И поговорим.

Тут среди гостей наступила некоторая тишина. Все в одно мгновение посмотрели на телефон.

А в те годы на посту председателя был, кажется что, товарищ Рыков.

Вот Анна Сидоровна побледнела еще больше и говорит:

— Вызовем к аппарату товарища Рыкова и спросим. Только и делов.

Поднялись крики, гул. Многим это показалось интересным. Некоторые сказали:

— В этом нет ничего особенного.

А другие сказали:

— Нет, не надо.

Но хозяин ответил:

— Конечно, этим звонком мы можем ему помешать, но все-таки поговорить интересно. Я люблю молодежь и согласен предоставить ей телефон для этой цели.

Тут один энергичный товарищ Митрохин подходит к аппарату твердой походкой и говорит:

— Я сейчас вызову.

Он снимает трубку и говорит:

— Будьте любезны... Кремль...

Гости, затаив дыхание, встали полукругом у аппарата. Товарищ Анна Сидоровна сделалась совсем белая, как бумага, и пошла на кухню освежаться.

Жильцы, конечно, со всей квартиры собрались в комнату. Явилась и квартирная хозяйка, на имя которой записана была квартира, — Дарья Васильевна Пилатова.

Она — ответственная съемщица. И она пришла поглядеть, все ли идет правильно во вверенной ей квартире.

Она остановилась у двери, и в глазах у нее многие заметили тоску и непонимание современности.

Энергичный товарищ Митрохин говорит:

— Будьте любезны, попросите к аппарату товарища Рыкова. Что?

И вдруг гости видят, что товарищ Митрохин переменялся в лице, обвел блуждающим взором всех собравшихся, зажал телефонную трубку между колен, чтоб не слышать было, и говорит шепотом:

— Чего сказать?.. Спрашивают — по какому делу? Откуда говорят?.. Секретарь, должно быть... Да говорите же, черт возьми.

Тут общество несколько шархнулось от телефона. Кто-то сказал:

— Говори: из редакции... Из «Правды»... Да говори же, подлец этакий...

— Из «Правды»... — глухо сказал Митрохин. — Что-с? Вообще насчет статьи.

Кто-то сказал:

— Завели волюнку. Теперь расклебывайте. Вовсе не надо было врать, что из «Правды». Так было бы вполне хорошо, а теперь наврали, и неизвестно еще, как обернется.

Квартирная хозяйка Дарья Васильевна Пилатова, на чье благородное имя записана была квартира, покачнувшись на своем месте и сказала:

— Ой, тошнехонько! Зарезали меня, подлецы. Вешайте трубку. Вешайте в моей квартире трубку. Я не позволю в моей квартире с вожжами разговаривать...

Товарищ Митрохин обвел своим блуждающим взглядом общество и повесил трубку.

В комнате наступила тишина. Некоторые из гостей встали и пошли по домам.

Оставшееся общество минут пять тихо сидело, рассуждая о том, что врать не надо было. А просто вызвали бы по личному делу и поговорили. И ясно, что в этом им бы не отказали. А теперь соврали, и получилось некрасиво.

Во время этой тихой беседы вдруг раздался телефонный звонок. Сам хозяин, бухгалтер Караваев, подошел к аппарату и с мрачным видом снял трубку.

И стал слушать. Вдруг глаза у него стали круглые и лоб покрылся потом. И телефонная трубка захлопала по уху.

В трубке гремел голос:

— Кто вызывал товарища Рыкова? По какому делу?

— Ошибка, — сказал хозяин. — Никто не вызывал. Извиняюсь...

— Никакой нет ошибки! Звонили именно от вас.

Гости стали выходить в прихожую. И, стараясь не глядеть друг на друга, молча выходили на улицу.

И никто не догадался, что этот звонок был шуточный.

И узнали об этой шутке только на другой день. Оказывается, один из гостей сразу после первого разговора вышел из комнаты, побежал в аптеку и оттуда позвонил с тем, чтобы разыграть всю компанию.

В этом он на другой день сам и признался. И при этом страшно хохотал.

Но хозяин, бухгалтер Караваев, отнесся к этому без смеха и поссорился с этим своим знакомым. И даже хотел набить ему морду, как проходимцу, который ради собственного развлечения пускается на подобные мелкие аферы и хитрости, заставляющие других людей переживать. А главное, хозяин не захотел простить этому гостю за то, что тот для смеха произнес в телефон несколько бранных слов, которые бухгалтер воспринял как должное. За это он ему в дальнейшем не простил и больше не приглашал на вечеринки, которые в скором времени и совсем отменил.

В общем, нижеследующая история еще более забавная своей бытовой хитростью.

Забавное происшествие с кассиршей

В одном кооперативе «Пролетарский путь» за последние полтора года сменилось двадцать три кассирши. И это мы ничуть не преувеличиваем.

Двадцать три кассирши в течение короткого времени. Это, действительно, нечто странное и поразительное.

Заведующий в свое время так об этом явлении сказал. Он сказал:

— Они все не соответствовали своему назначению. И все были дуры.

И подряд их двадцать две штуки сменил.

Ну, конечно, были дамские крики, вопли и объяснения. Но дело от этого не изменилось. Каждая такая работала у него неделю или полторы, и после он ее с шумом вышибал. Он их вышибал назад, на биржу труда. И требовал еще.

— Если можно, — он говорил, — дайте кассира. Мужчину.

Но ему почему-то вечно присылали не то. То есть женщин. Кассирш. Наверное, мужчин не было. А то бы они, конечно, прислали. Вообще это довольно странное психологическое явление. Скажем, за прилавком обязательно мужчина работает, а за кассой определено женщина.

И почему это? Почему за кассой женщина? Что за странное явление природы?

Или наш брат, мужик, не может равнодушно глядеть на вращение денег вокруг себя? Или он запивает от постоянного морального воздействия и денежного звона? Или еще есть какие-нибудь причины? Но только очень изредка можно увидеть нашего брата за этим деликатным денежным делом. И то это будет по большей части старый субъект, вроде бабы, с осоловевшими глазами и с тонким голосом.

Короче говоря, несмотря на все просьбы заведующего, ему все время присылали барышень.

И вот он сменил их уже свыше двух десятков.

И наконец он сменяет двадцать третью.

А эта двадцать третья была очень миленькая собой. Она была интересная. И даже отчасти красавица... Во всяком случае франтоватая. Хорошо одетая. И потому она хорошо и выглядела. В общем, она была хорошенкая.

Но, несмотря на это, наш заведующий, не поглядев на ее миловидность, тоже ее вышибает.

Она вдруг в слезы. Драмы. Истерики. Скандал.

Конечно, кассирша настоящего времени отчасти может даже удивиться этим истерикам. И не поймет причину огорчения. Но пять лет назад это было в высшей степени понятно. Тогда работа на полу не валялась. И местом кассирши многие интересовались.

В общем, когда эту нашу хорошенкую кассиршу уволили, — она в слезы.

И говорит окружающим:

— Я знаю, почему меня уволил ваш заведующий. Я, — говорит, — к нему сурово относилась и мало, — говорит, —

смотрела на него как женщина. И вот он меня за это и прогнал.

Ну, конечно, слухи эти дошли до инспекции труда. Вообще, советский контроль. И так далее. Нашего заведующего вызывают. Он говорит:

— Это наглая ложь. Я на эту барышню даже не глядел. Меня она вообще мало интересует. Пожалуйста, посмотрите мой жизненный путь: за полтора года только и делал, что их увольнял.

Ему говорят:

— Но, может быть, вы их увольняли как раз за то, на что эта жалуетсяя.

Заведующий говорит:

— Я, — говорит, — не нахожу слов от возмущения. Хорошо, — говорит. — В таком случае я сознаюсь, почему я их уволил. И раз меня теперь на двадцать третьей обвиняют как раз в обратном смысле, то я не считаю больше возможным скрывать настоящую причину. Видите, в чем дело. Я, как бы сказать, любитель иногда выругаться. Ну, знаете, фронтовая привычка. На работе я еще сдерживаюсь. Но в конце трудового дня или там при подсчете товара я сдерживаться затрудняюсь. И если у меня кассирша, то это меня совершенно стесняет. Она мне не дает творчески развернуться. Вот почему я уволил двадцать две кассирши. И почему уволил двадцать третью. Я щадил их наивность. И все надеялся, что мне пришлют какого-нибудь из нашего лагеря, перед которым я смогу быть самым собой. И поэтому я пустился на подобное коварство — стал подряд выкуривать всех барышень в надежде когда-нибудь наскочить на мужчину. Но этого, увы, не случилось. И вот я теперь пострадал за свою хитрость. И нахожусь перед вами.

Тогда инспекция вызывает эту хорошенькую кассиршу. И ей говорит:

— Что же вы дурака валяете? Ведь вот он у вас какой!

Кассирша говорит:

— А я почему знала? Я думала, что он меня уволил по другой причине. А что касается этого, то это меня отнюдь бы не тревожило. Подумаешь, Художественный театр! За что другое, а как раз за это меня не надо было увольнять. Смешно.

Заведующий говорит:

— Да, кажется, с этой кассиршей я бы смог сработать. Я жалею, что я ее выгнал, не узнав характеристики.

В общем, эта кассирша снова работает в этом магазине.

Но заведующий, к сожалению, там уже не работает. Ему сделали строгий выговор с предупреждением и сказали, чтоб в другой раз он не пускался бы на подобное арапство для угождения своим низменным вкусам.

И перевели его работать в склады. Там он, может быть, и отводит душу.

Но хочется думать, что это его одернуло и он уже расстался со своей привычкой, благодаря которой он испортил настроение двадцати трем женщинам, из которых одна была даже недуренькая.

Интересная хитрость была также допущена в одном общежитии.

Предлагаем вашему вниманию рассказ об этом небольшом происшествии.

Хитрость, допущенная в одном общежитии

В одном общежитии жила некто Маруся Кораблева. Очень кокетливая особа. Молоденькая. Лет восемнадцати. Довольно вертлявая и вообще склонная к мещанскому уюту.

Она училась, конечно, плоховато. Но в высшей степени любила нравиться мужчинам. И для этой цели она подводила себе глазки и пудрила кожу. И кроме того, очень отчаянно душилась. Духами или одеколоном. Ей это было все равно.

И она, несмотря на свои скромные капиталы, непременно всегда тратилась на эту жидкость.

У нее перед кроватью стоял ночной столик, и на этом столике у нее всегда красовался пузырек с духами. И лежала разная подмазка, зеркальце и так далее.

Только вдруг однажды Маруся стала замечать, что кто-то у нее берет эти духи. Кто-то ими пользуется.

Стала она тогда в столик класть пузырек. Все равно кто-то неуклонно отливает. Может быть, какая-нибудь ее подруга, не имея своей парфюмерии, пользуется чужой.

Марусенька и в столик прятала свои духи, и под подушку зарывала — не помогает. Чья-то невидимая рука нет-нет да и скрадет немного.

Стала она отметки делать на этикетке — сколько было. Тоже не помогает. Воры с этим не считались и при каждом удобном случае знай себе отливают.

Короче говоря, Маруся придумала такую штуку. Она взяла и на баночке сделала наклейку «яд» и поверх наклейки изобразила череп с двумя костями. И этот флакончик поставила на стол. И с тех пор никто уже больше не прикасался к жидкости.

За исключением, впрочем, одного раза. Одна истеричка взяла и за раз выпила всю жидкость.

Она, видите ли, поссорилась с одним знакомым. И суду заглотала всю жидкость, правда без особого вреда для себя.

А если б не этот случай, то это ее изобретение было бы на высоте положения. Можно было бы даже патент схлопотать, так сказать, за остроту и хитрость мысли.

Но, безусловно, изобретение несколько меркнет, ибо оно направлено на мещанские интересы — на охрану собственности.

В общем, после этого случая Маруся Кораблева переменила тактику. Она теперь носит пузырек в сумочке. Отчасти это неудобно и тяжело, но зато безопасно.

Сей забавный рассказ предлагаем вниманию кокетливых особ. Без желания доставить им неприятные минуты.

А следующий рассказ, наоборот, — кокетливых просит не тревожиться. А пускай его читают отцы и деды и также матери. Детям же читать тоже не рекомендуется, чтоб философская мысль этого произведения не натолкнула бы их на нечто похожее.

Рассказ о том, как девочке сапожки покупали

Трофимыч с нашей коммунальной квартиры пошел своей дочке полсапожки покупать.

Дочка у него, Нюшка, небольшой такой дефективный переросток. Семи лет.

Так вот, пошел Трофимыч с этой своей Нюшкой сапоги приобретать. Потому как дело к осени, а сапожонок, конечно, нету.

Вот Трофимыч поскрипел зубами — мол, такой расход, — взял, например, свою Нюшку за лапку и пошел ей покупку производить.

Зашел он со своим ребенком в один коммерческий магазин. Велел показать товар. Велел примерить. Все вполне хорошо: и товар хорош, и мерка аккуратная. Одно, знаете, никак не годится — цена не годится. Цена, прямо скажем, неинтересная.

Тем более Трофимыч, конечно, хотел купить эти детские недомерки совсем за пустяки. Но цена его напугала.

Пошел тогда Трофимыч, несмотря на отчаянный Ньюшкин рев, в другой магазин. В другом магазине опять та же цена. В третьем магазине — та же картина. Одним словом, куда ни придут, та же история: и нога по сапогу, и товар годится, а с ценой форменные ножницы — расхождение, и вообще Ньюшкин рев.

В пятом магазине Ньюшка примерила сапоги. Хороши. Спросили цену. Ему говорят:

— Напрасно ходите, цена, — говорят, — всюду казенная и никакой скидки.

Начал Трофимыч упрашивать, чтоб ему скостили несколько рублей для морального равновесия, а в это время Ньюшка в новых сапожках подошла к двери и, не будь дура, вышла на улицу.

Кинулся было Трофимыч за этим своим ребенком, но его заведующий удержал:

— Прежде, — говорит, — заплатить надо, товарищ, а потом бежать по своим делам.

Начал Трофимыч упрашивать, чтоб обождали.

— Сейчас, — говорит, — ребенок, может быть, явится. Может, ребенок пошел промяться в этих новых сапожках.

Заведующий говорит:

— Это меня не касается. Я товара не вижу. Платите за товар деньги. Или с магазина не выходите.

Трофимыч отвечает:

— Я с магазина не выйду. Я обожду, когда ребенок явится.

Но только Ньюшка в магазин не вернулась.

Она вышла из магазина в новеньких баретках и, не будь дура, домой пошла.

«А то, — думает, — папая как пить дать обратно не купит, по причине все той же дороговизны».

Так и не вернулась.

Нечего делать — заплатил Трофимыч, сколько спросили, поскрипел зубами и пошел домой.

А Нюшка была уже дома и щеголяла в своих баретках. Хотя Трофимыч ее слегка потрепал, но, между прочим, баретки так при ней и остались.

Теперь, после этого факта, может быть, вы заметили: в государственных магазинах начали отпускать на примерку по одному левому сапогу.

А правый сапог теперь прячется куда-нибудь, или сам заведующий зажимает его в коленях и не допускает трогать.

А детишки, конечно, довольно самостоятельные пошли.

Поколение, я говорю, довольно свободное.

А что со стороны ребенка допущено такое маленькое коварство, то это скорей всего, я так думаю, по причине папиной скупости или, может, у него деньжонок не хватило.

На этом невинном детском рассказике мы хотели закончить наш отдел «Коварство» с тем, чтобы перейти к новому — «Неудачи», однако близость этого отдела позволяет нам рассказать еще одну новеллу, в которой два этих предмета — коварство и неудачи — соединились между собой. И вот что получилось.

История с переодеванием

Конечно, всем известно, что в гостинице достать номер сейчас не так легко.

Я как приехал на юг, так сразу в этом убедился. Слез с парохода, зашел в одну гостиницу, там портье говорит:

— Знаете, я прямо удивляюсь на современную публику. Как пароход приходит, так все непременно к нам. Как будто у нас тут гостиница. Ну, гостиница. Но номеров у нас нет. Переполнение.

Тогда я решаюсь пуститься на такую хитрость. Я выхожу на улицу и обдумываю план действия.

В руках у меня два места. Одно место — обыкновенная корзинка, на какую глядеть мало интереса. Зато другое место — очень великолепный фибровый, или, вернее, фанерный чемодан.

Корзинку я оставляю у газетчика, выворачиваю наизнанку свое резиновое международное пальто с клетчатой подкладкой, напяливаю кепку на нос, покупаю сигару и ее

закуриваю и вот в таком неестественном виде со своим экспортным чемоданом вламываюсь снова в эту гостиницу.

Швейцар говорит:

— Напрасно будете заходить — номерей нету.

Я подхожу до портье и говорю ему ломаным языком:

— Ейн шамбер-циммер, — говорю, — яволь?

Портье говорит:

— Батюшки-светы, никак иностранец к нам приперся.

И сам отвечает тоже ломаным языком:

— Яволь, яволь. Она, шамбер-циммер, безусловно яволь. Битте-дритте сию минуту. Сейчас выберу номер, какой получше и где поменьше клопов.

Я стою в надменной позе, а у самого поджилки трясутся. Портье, любитель поговорить на иностранном языке, спрашивает:

— Пардон, — говорит, — господин, извиняюсь. Ву зет Германия, одер, может быть, что-нибудь другое?..

«Черт побери, — думаю, — а вдруг он, холера, по-немецки кумекает? И сейчас на этом языке разговорится».

— Но, — говорю, — их бин ейне шамбер-циммер Испания. Компрене? Испания. Падеспань.

Ох, тут портье совершенно обезумел.

— Батюшки-светы, — говорит, — никак к нам испанца занесло. Сию минуту, — говорит. — Как же, как же, — говорит, — знаю, слышал — Испания, падеспань.

И у самого, видать, руки трясутся. И у меня трясутся. И у него трясутся. И так мы оба разговариваем и трясемся. Я говорю ломаным испанским языком:

— Яволь, — говорю, — битте-цурбитте. Несите, — говорю, — поскорей чемодан в мою номерулю. А после, — говорю, — мы поговорим, разберемся, что к чему.

— Яволь, яволь, — отвечает портье, — не беспокойтесь!

Ау самого, видать, коммерческая линия перевешивает.

— Платить-то как, — говорит, — будете? Инвалют одер все-таки неужели нашими?

И сам делает из своих пальцев знаки, понятные приезжим иностранцам, — нолики и единицы. Я говорю:

— Это я как раз вас не понимает. Неси, — говорю, — холера, чемодан поскорее.

Мне бы, думаю, только номер занять, а там пущай из меня лепешку делают.

Вот хватает он мой чемодан. И от старательности до того энергично хватает, что чемодан мой при плохом замке раскрывается.

Раскрывается мой чемодан, и, конечно, оттуда вываливается, прямо скажем, разная дрянь. Ну, там, бельишко залатанное, полукальсоны, мыльце «Кил» и прочая отечественная чертовщина.

Портье поглядел на это имущество, побледнел и сразу все понял.

— А нуте, — говорит, — испанский подлец, покажи документ.

Я говорю:

— Не понимает. А если, — говорю, — номеров нету, я уйду.

Портье говорит швейцару:

— Видали? Он пытался пройти под флагом иностранца.

Я хочу поскорей уйти, но швейцар говорит:

— Тс-с, товарищ, подойдите сюда. Не бойтесь. Скажите, неужели вам так нужен номер?

Я говорю:

— На пароходе закачал — еле стою. И даже согласен дать премию, только чтоб мне дали в номере полежать.

Портье говорит:

— У нас взятки не берут. А если вам так нужен номер, то я вам могу дать просто так. Безвозмездно. Но он без ключа. Номер заперт, а ключ потерян. За это вы слесарю заплатите пятнадцать рублей. Он вам откроет и ключ подберет из старья.

Я плачу эти деньги и получаю номер.

А вечером узнаю, что никто от этого номера ключа не терял, а просто они мне загнали за пятнадцать целковых обыкновенный ключ от этого номера. Об этом мне сказал сосед, с которого они взяли за то же самое десять целковых. А с меня на пять рублей дороже как с бывшего испанца.

В общем, я был доволен, что получил номер.

На этом рассказе мы закончим наше повествование о коварстве. Конечно, возможно и даже скорей всего мы позабыли еще что-нибудь отметить из этой области. Так что если читатели вспомнят что-нибудь острое о современном коварстве, — пусть они это отметят в своих сердцах.

Прочтите только тут еще небольшое послесловие к нашему отделу «Коварство». После чего мы с вами перейдем к четвертой книге — «Неудачи».

И в этой книге будем говорить о таких делах, от которых мужчины задрожат, а женщины ахнут.

Итак, извольте небольшое, вроде болтовни, послесловие. Оно, так сказать, морским узлом завяжет все то, что вам говорили про коварство.

Послесловие

Итак, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш отдел «Коварство».

Что же мы видим, прочитавши исторические новеллы и забавные мелочишки из нашей жизни?

А мы видим, что в истории редко что случалось без коварства. И что на этот скользкий путь, несомненно, многих толкало темное прошлое. И что с переменой курса все это как дым, наверно, испарится и начнется нечто хорошее.

А поскольку у нас эта перемена есть, — наше будущее нас не так уж особенно волнует. А что касается интуристов, то они, наверно, тоже схватятся за ум и до чего-нибудь додумаются.

Тем более там многие сами не захотят, чтоб на вершине жизни в полном блеске и в сказочном великолепии болтались у них главным образом спекулянты и темные дельцы со своим коварством и хитростью.

То есть это прямо, знаете, исторический анекдот. Кто больше спер, тот и царь. Кто больше выиграл или наспекулировал, тому полное почтение. Ну что это такое? Ясно, что коварства чересчур много.

Нет, это не может быть, чтоб это так у них сохранилось на вечные времена. Ясно, что это переменится.

Во всяком случае, старый мир с его мешочниками, купцами и спекулянтами в дальнейшем, без сомнения, рассыплется в прах и в тартарары. Разве что ради курьеза где-нибудь останется что-нибудь такое, вроде Монте-Карло, куда специально будут приезжать любители вспомнить о прошлой жизни.

Да еще возможно, что госпожа великая Англия из гордости и самолюбия что-нибудь такое оригинальное придумает. И поскольку там современный строй плюс король, то от них можно ожидать и еще какого-нибудь исключитель-

ного соединения — капитализма, например, с социализмом и еще с чем-нибудь. Но, может быть, они и без этого обойдутся.

В общем, мы не сомневаемся в победном шествии жизни. Все дрянное уйдет. Арапство исчезнет. Обиды, боль, слезы и огорчения забудутся. Детишки засмеются. Взрослые заплодируют. И весь старый мир, все прошлое будет сосчитано как печальное недоразумение на заре человеческой жизни.

И все это прошлое исчезнет и, так сказать, пройдет.

Как сказал поэт:

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

И мы в этом не сомневаемся.

Итак, друзья, подумавши возвышенным образом о дальнейшем, перейдем к нашему новому отделу «Неудачи».

Тут, как многие уже, наверное, успели догадаться, речь пойдет о неудачах. И мы уже слышим отрывистые голоса и всхлипывания. Мы слышим недовольные речи и брюзжание. И кто-то канючит. Это брюзжат и канючат неудачники. Ах, им не хочется неудач. Они хотят кататься как сыр в масле. Но это, конечно, не так-то легко дается. Вот они и брюзжат...

В общем, переходим к очередному отделу — «Неудачи».

Неудачи

1. Когда мы в свое время лежали

себе в люльке и крошечными губенками, мало чего понимая, тянули через соску теплое молоко, — какое, наверное, архиблаженство испытывали мы от окружающей жизни.

2. Главная причина блаженства, я теперь так думаю, заключалась именно в том, что мы решительно ниоткуда не ожидали никаких неприятностей и не испытывали никаких неудач.

Ну, разве там, предположим, животик у нас неожиданно схватит, либо там блоха, соскочивши со взрослого, начнет кусать наше еще не окрепшее тельце.

Вот, так сказать, и все неудачи, вот вам и все трудности переходного возраста.

А все остальное текло, конечно, в чудном свете безмятежного существования.

3. А каким удивительным, каким прямо сказочным рисовался нам окружающий мир, когда мы юношей с превеликим удовольствием вступали на шаткий путь нашей жизни.

Какая прямо волшебная панорама расстилалась тогда перед нашим невинным взором.

Весь мир, нам казалось, наполнен счастьем, любовью, удачами и чем-нибудь вроде этого. Каким-нибудь упоением.

Мужчины представлялись мыслителями. А женщины в нашем воображении рисовались вроде каких-то бравурных испанских певичек, которые то и дело поют, хохочут и

выпивают. И кругом них только и происходит, что свадьбы, танцы, журфики и поцелуи.

Изредка там, мы думали, совершается что-нибудь неприятное — пожары там или обмороки. И снова опять журфики. Пляски. И так далее.

4. Но вот прошло, конечно, очарование юности. И все оказалось, как говорится, совсем напротив.

Так сказать, глазами разума мы имели неосторожность взглянуть на окружающий ландшафт. И вдруг, как в сказке, в одно мгновение исчезли все эти волшебные картинки. И поблекли пестрые краски. И пропало все, от чего мы было пришли в такой неопиcуемый восторг.

Как сон все это исчезло, погасло и прекратилось.

И от этого нам стало так досадно, что мы прямо даже не можем вѣм и выразить.

Об этой досаде в свое время прекрасно выразился один наш славный поэт. Он так воскликнул, говоря о прошедших днях своей юности. Вот как он сказал об этой неудаче с чувством досады, с крайней растерянностью и с дрожью огорчения. Вот его слова:

Жизнь моя,

— воскликнул он, —

иль ты приснилась мне!

Словно, —

говорит, — я весенней, гулкой ранью проскакал на розовом коне.

5. Да, это очень прекрасно сказано.

Буквально как на розовом коне, мало чего понимая, проскакали мы по цветущим полям нашей юности.

И вот наш коняга принял вдруг свой нормальный вид. И из розового он стал скорей всего каким-то лиловатым или пес его знает, каким он теперь стал. Он, миленький мой, иной раз спотыкается, фыркает и хвостом треплет.

А когда прекратился этот наш бешеный галоп и мы взглянули вокруг себя, то от испуга прямо чуть не свалились с этой нашей розовой сивки. До того мы ужаснулись от того, что увидели по сторонам.

Мы увидели жалкие картины нашей северной природы — бедность, огорчения и обиды. И мы слышали вякание вокруг себя. Это вокруг нас выражали свое недовольство неудачники и те, которые не получали от жизни ничего хорошего. И вот они больше не хотят такого положения. Им больше не хочется огорчений и обид. И они просят, чтобы их как-нибудь от этого избавили.

Но, конечно, это было не так легко сделать. И, может быть, лучшие люди своего времени ломали над этим свои головы. И, может быть, ради этого избавления произошла социальная революция, которая окончательно говорит свое новое слово в этой области неудач, огорчений и чертовских обид.

6. И вот, по примеру прошлых отделов, открываем мы историю, чтобы, конечно, поглядеть, как там у них раньше было насчет этих самых неудач. И откуда они, собственно, возникали, эти неудачи? Не от глупости ли? А если не от глупости, то это, может, и поправимо.

И вот глядим в историю. Перелистываем ее туда и сюда. Средний мир. Древние века. Халдея там. Финикия. И мало ли там чего. Персия. Сиам.

И видим прямо нечто удивительное.

То есть, кроме неудач, у них как будто мало чего и было. Нищие бродят. Прокаженные лежат. Рабов куда-то гонят. Стегают кнутом. Война гремит. Чья-то мама плачет. Кого-то царь за ребро повесил. Папу в драке убили. Богатый побил бедного. Кого-то там в тюрьму сунули. Невеста страдает. Жених без ноги является. Младенца схватили за ножки и ударили об стенку... Как много, однако, неудач. И какие это всё заметные неудачи.

Вот как один ученый русский поп сказал в 1734 году. Он так сказал о знаменитой тайной канцелярии, которая учиняла жестокую расправу с царскими врагами. Он сказал на своем дурацком наречии:

«Ежели бы перстом руки изрыть частицу земли на месте оном, то ударила бы из нее фонтаном кровь человеческая».

И вот, окончательно соскочивши с розового коня, давайте коснемся этого мотива.

7. Да! из всех чертовских неудач, рассыпанных на каждой странице истории, наиболее всего нас может поражать какая-то, прямо скажем, бешеная жестокость по отношению к своей же подчиненной публике.

То есть это прямо в другой раз как-то даже плохо укладывается в голове. Все-таки встречаются милые люди. И вдруг там читаем — целую семью запихали в клетку к медведям. С другого там сняли кожу. Этому отрубили руку. Отрезали нос. Прибили гвоздем шляпу к голове. Посадили на кол.

Английский посол Горсей пишет в своих записках (в 1578 году):

«...А Тулупова посадили на такой длинный кол, что тот вышел около затылка. И пятнадцать часов князь Тулупов мучился и разговаривал со своей женой».

Другого «правонарушителя», доктора Емельяна Бомельню, Иван Грозный приказал сжарить на вертеле. И медика привязали к деревянному шесту и медленно жарили, поворачивая шест. Потом еле живого бросили в сарай на солому.

8. Знаменитую красавицу Лопухину и ее подругу (1743 год) били кнутом на площади в Петербурге и потом, по приказанию императрицы Елизаветы, «урезали» языки. И когда Лопухина не давалась палачу, тот схватил ее за горло, потряс и, вытащив рукой язык, отрезал его щипцами. Эта Лопухина уже старухой вернулась из ссылки. И всех при дворе удивляла своим мычанием. Так пишет госпожа история.

Может быть, впрочем, прекратить эти неприятные речи?

Нет, просьба потерпеть еще немного. Но все-таки извольте прочесть еще небольшой отрывок. Иначе не поймете, чего такое — неудача.

Наиболее распространенная пытка в России была такого рода. У обвиняемого позади связывали руки в опущенном состоянии и привязывали веревку к ним. И эту веревку перекидывали через блок, укрепленный на потолке. Потом этой веревкой тянули руки вверх. Причем по мере подтягивания руки выворачивались из плеч. При этом чаще всего обвиняемого подпаливали на медленном огне или били кнутом.

9. Весьма часто вплоть до середины XVIII века обвиняемых закапывали в землю, оставляя над землей только голову. Это была весьма мучительная смерть, которая наступала на четвертый, а то и на пятый день. Иногда вешали за ноги или за ребро. А также вплоть до XIX века четвертовали.

Один шведский офицер, присутствовавший при казни четвертованием изменника Паткуля (при Карле XII), застрелил этого преступника. Он не мог выдержать картины этой казни. Сначала Паткулю отрубили одну руку и одну ногу, потом другую руку. Но он еще был жив и взглянул на офицера такими глазами, что тот выхватил пистолет и пристрелил его. За это Карл XII велел немедленно расстрелять офицера, что и было исполнено.

Но еще более свирепая казнь — колесование, при которой приговоренному раздробляли все кости и ноги соединяли с головой. Эта казнь возникла в Риме и продолжалась по всей Европе вплоть до XIX века.

Может быть, прекратить эти речи? Может быть, перескочить прямо на исторические анекдотики?

10. Может быть, впрочем, господа, у вас неважные нервы и вы не выдерживаете подобной моральной встряски? Может быть, вы страдаете мигренями или одержимы туберкулезом легких?

В таком случае мы прекращаем описание подобных дел. Надеемся, что у вас уже создалось некоторое представление о том о сем.

Прямо, оказывается, очень было избранное общество. С одной стороны, это были даже тонкие люди, ценители красоты, господа положения, у которых почему-то расцвело искусство и особенно живопись. А с другой стороны, вот оно что. Как-то это странно. Не укладывается в голове.

Отчасти даже можно понять французского поэта Мюссе, который, вероятно подумавши обо всех делах, воскликнул:

Проклята семья и общество,
Горе дому, горе городу
И проклятье матери-отчизне.

Да, эти чертовские слова можно было произнести под бременем тяжелых неудач и не видя, главное, никаких перемен в дальнейшем.







большой

да и

Нет

чем

ловить

вам

обезьяну

и

испытывать

такие

не-

правильности.

Короче

говоря,

собака

убеждала,

а

наша

обезьяна

прыгнула

во

двор.

А

во

дворе

в

это

время

колла

дрова

один

мальчик,

подросток,

назвал

Алеша

Помов.

Вот

он

колет

дрова

и

вдруг

видит

обезьяну.

А

он

очень

любил

обезьян.

И

всю

жизнь

мечтал

взять

при

себе

какую-нибудь

такую

обезьяну.

И

вдруг

—

получается.

Алеша

схватил

с

себя

подмачоч

и

этим

пих-

ЗНФ

в зоологический сад? Нет, у меня в зоологическом саду. А я буду продавать жить в моей квартире.

Алеша сказала своей бабушке: — Нет, бабушка, вам не надо переходить в зоосад. Я вам гарантирую, что мартишка больше ничего у вас не съест. Я её воспитала, как человека. Я научу её кушать с ложечки. И пить чай из стакана. Что касается прыжков, то вы можете же и запретить ей лезть на диван, который висит на потолке. Оттуда, конечно, она может прыгнуть вам на голову. Но вы, главное, не пугайтесь, если это произойдет. Потому что это всего лишь безобидная обезьяна, привезенная в Африку прыгать и скакать.





ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОС. ЦИРКАМИ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕАТР САТИРЫ

Презент 28-го октября, 33

Телефон 4-30-70

ПРЕМЬЕРА

Суббота **17** мая

ПРЕМЬЕРА

Комедия в 3-х действиях

Мих. ЗОЩЕНКО

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ

.....
Л. О. УТЕСОВА

Музыка:
З. А. Майман

Постановки: **Э. П. ГАРИН** и **Х. А. ЛОКШИН**

Конструкция:
А. Ф. Бобулев

3 скетча ансамбля
старинной цыганской песни:

ЕЛЕНА и НИНА ШИШКИНЫ

Инициатор **Ю. ХРИАНОВСКИЙ**

Музыкальные автракты ТЕА-ДЖАЗа **Л. О. Утесова**.

Действующие лица:

Директор театра . . . **Р. В. Рубинштейн**
Берберов **Л. А. Утесов**
Актриса Нина **Е. А. Шихина**
Актриса Елена **Л. А. Шихина**
Ведущий **В. В. Бутусов**
В. В. Бутусов **В. В. Бутусов**
Рассказчик **В. В. Бутусов**
Р. В. Рубинштейн **Р. В. Рубинштейн**
Его жена **Л. А. Шихина**
Полковник **В. В. Бутусов**

Потрохов **В. В. Бутусов**
Топ. Матвей **В. В. Бутусов**
Фотограф **В. В. Бутусов**
Неизвестная барышня **Л. А. Шихина**
Домочеев **В. В. Бутусов**
В. В. Бутусов **В. В. Бутусов**
Маленький **В. В. Бутусов**
Орехов **В. В. Бутусов**
Молой Ершов **В. В. Бутусов**
Шляхет, посетитель лавки, публики.

Спектакль ведет **М. Ф. Назаров**.

Начало спектакля в 7 ч. 30 м и 10 ч. веч., в продолж. зап.—5.30, 7.30 и 10 ч.

Предметный продажа билетов со скидкой с 12 до 7 час. веч. Вытиски
билеты распространяются по распоряжению Театра тел. 33 91 и 94
экска Театра, тел. 142-44.

Афиша. 1930 г.



С Николаем Черкасовым



В.В. Зощенко

С. Игумов и В. Зощенко - С. Игумов

Рисунок кабинета М. М. Зощенко, подаренный
В. В. Зощенко в 1966 году.

Установить автора этого рисунка не удалось



М. М. Зощенко в своем кабинете.
Фотография 1957 г.

Памятник М. М. Зощенко
на могиле в Сестрорецке



11. Итак, прекращаем описание этих свирепых дел. И переходим к более мягким историческим моментам. И к более легким пейзажикам и сценкам.

Но все же остается, так сказать, некоторый неприятный осадок. Какая-то горечь.

Поэт так сказал, усиливши эти чувства своим поэтическим гением:

Но все же навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать и больно жить.

Насчет боли — это он, конечно, поэтически усилил, но какой-то противный привкус остается. Будто, извините, на скотобойне побывали, а не в избранном обществе, среди царей и сановников.

Вот, кстати, славный урок получают всякого сорта барышни, которые при наивности своего мировоззрения согласны воскликнуть: дескать, ах, они охотнее бы находились в каком-нибудь там поэтическом XVI столетии, чем в наше прозаическое время.

Вот вам, я извиняюсь, и поэзия, — глядите, за ребро повесят. Дуры.

12. Правда, глупость какая. Стремление к поэтическим идеалам. Вот там покажут кузькину мать.

Хотя это, с одной стороны, сама поэзия слегка туману напустила.

Розы и грезы, а насчет того, что за ноги вешают, — об этом поэзия барышням ничего не подносила.

В общем, извиняемся, что доставили вам сразу столько моральных затруднений. Но поскольку неудачи, так ясно, что приходится затрагивать то и се.

Итак, переходим к нормальным историческим новеллам о неудачах. В которых надеемся, что ничего такого вроде этого уже не будет. Но, конечно, гарантии не даем.

В общем, друзья, история знает огромное количество событий, связанных с неудачами. Но среди них одно небольшое событие прямо нас умиляет своей нетронутой простотой. И хотя это было давно, но случай этот и в наши дни приобретает некоторую, что ли, остроту. Он у нас может легко пойти под лозунгом — борьба с религиозным дурманом или что-нибудь вроде этого.

13. В общем, это было в древнейшие времена, когда процветали какие-то доряне. И они воевали тогда с афинянами. Но доряне в общем — тоже греки. И афиняне — греки. Уж об афинянах-то и говорить, конечно, нечего. Они тем более, конечно, греки. Это уж всем известно. Афины. И так далее. Тем не менее они между собой, эти греки, усиленно воевали. В древние времена бывала подобная неразбериха. Только факт, что у них была продолжительная война. Спарта и эти. Вообще передрались. Черт знает что такое.

А в Афинах был царь, носивший, наверное, чисто греческое имя Кодр.

И вот сидит однажды этот Кодр на позициях в своей военной палатке и размышляет, как бы ему там получше завоевать, что ли, этих самых дураков, дорян. И вдруг ему докладывают, что знаменитый спартанский оракул недавно сделал среди своих дорян интересное предсказание. Он сказал, что доряне непременно одержат победу. И только они в том случае проиграют войну, если они убьют афинского царя Кодра. Тогда, дескать, ожидайте поражения.

14. Кодр, услышав эти слова, прямо задрожал в своей палатке. И, безмерно любя свою Грецию, решил пожертвовать своей особой. Во имя, так сказать, своей героической родины.

И вот ночью он переоделся в другое платье, перешел в лагерь дорян и там затеял с одним солдатом ссору, в результате чего этого нашего героя и убили.

Скорей всего с улыбкой на устах принял он эту кончину, — дескать, перехитрил вас, все-таки вы меня, доряне, убили. Теперь сдавайтесь согласно предписанию оракула.

Самое смешное в этой истории то, что доряне, убив Кодра, вдобавок еще одержали победу над его войсками и вскоре выиграли всю войну.

Так что лавры оракула сильно после того подмокли. И, главное, через него невинно пострадал наш доблестный царь Кодр, излишняя доверчивость которого и отчасти глупость завела его в такой тупик. В общем, подобная крупная неудача поистине бывает только раз в жизни.

Вот что значит доверять мошенникам и хиромантам. Так дурак и помер. И даже, кажется, династия на нем прекратилась. Ну что это такое! Вот психопат.

15. Интересный случай неудачи испытал на себе также знаменитый и прославленный римский папа Борджиа Александр VI (умер в 1503 году).

Не будем его здесь описывать. Всем известна его отрицательная личность. Отметим только, что подобные оригиналы и мошенники не раз бывали на папском престоле. Но этот был особенный. Он прямо как с цепи сорвался.

Главное, что всех нас в этом папе поражает, — это его любовь к убийствам. И он вообще ни перед чем не останавливался в достижении намеченных идеалов.

Это был, вообще говоря, довольно сильная личность. И он итальянскому народу очень много крови испортил своим бурным поведением.

У него вдобавок был еще сын Цезарь. Тот совсем был мошенник и вор. Так что они оба-два — папа с сыном на пару, так сказать, лихо поработали там у себя в Риме.

Вот, вообще, даже не понять. Эпоха Возрождения. Рафаэль все-таки. Микеланджело. Леонардо да Винчи работал, между прочим, у этого папы. И наряду с этим — такой исключительный папа. Как-то это даже странно с нашей точки зрения. А тогда, наверно, этому не так уж удивлялись.

16. Да, так вот, в католической церкви происходили тогда некоторые волнения. Папа хотел объединить всю Италию под своей божественной властью. А другие стеснялись и не хотели этого. Вот Александр VI и горячился.

И он, главное, хотел устранить двух кардиналов, которые ему мешали. Он подсылал убийц, но из этого ничего пока не выходило. Тогда он пригласил их однажды к себе на именины. И тем отказать уже было неловко. Все-таки — папа.

И они, конечно, приехали.

А папа только этого момента и ждал. Он их решил отравить за ужином. И он в вино подсыпал какой-то сильный египетский яд.

И чтобы у гостей не было сомнения, это вино в четырех одинаковых золотых бокалах принес на подносе кто-то там из лакеев. Какой-нибудь там мажордом. Торжественно, может быть, внес этот поднос в столовую. И папа любезно сказал: «Вот, дескать, друзья, нас тут — раз, два,

три, четыре — вы оба и мы с сыном. Давайте же поздравим друг друга с именинами и выкушаем этот искрометный напиток. Ура!»

17. Или он чего-нибудь вроде этого сказал. И подмигнул лакею, — дескать, обноси, дурак, и станови перед каждым по их бокалу.

А надо сказать, что два бокала с отравой были чуть-чуть побольше в вышину. А которые два поменьше — те содержали в себе чистое вино.

А лакей, дурак, запарившись, перепутал и сунул кардиналам более маленькие кубки. А более возвышенные бокалы, конечно, схватили для себя папа с сыном.

Но папа-то еще понятно. Папа только отдал распоряжение и не знал, куда они всыпали отраву. Он на своих надеялся. Но насчет сына Цезаря — это прямо изумительно. Он сам засыпал яд и вдруг в последнюю минуту позабыл приметы. И потащил к губам отравленный напиток.

И папа, глядя на него, тоже за ним потянулся. И кардиналы с ними чокнулись.

В общем, факт, что они все четверо выкушали это вино. И вдруг у папы с сыном моментально глаза на лоб полезли. Сын говорит: «Папа, знаешь, кажется, мы ошиблись».

18. Кардиналы им говорят: что, дескать, с вами, папа с сыном? Но те произносить слова не могут. И падают. И сын падает. И папа к черту под стол сползает.

Драма, конечно, скандал. Крики. И сразу все разъяснилось. Кардиналы задрожали задним числом. Стали на потолок зыркать и креститься о чудесном спасении. После чего подбежали к папе, но тот уже тихо лежит кверху брюхом и дышать не может.

А его сын, этот бешеный Цезарь, даром что он тоже свое вино вылакал, все-таки, благодаря, может быть, своей молодости и нахальству, вскочил на ноги и пулей бросился куда-то там такое. Он моментально отыскал противоядие, принял его. Его хорошенько вырвало, прослабило, и он остался жив всем на удивление. После чего его хотели отдать под суд, но он сбежал за границу. И жил там исключительно хорошо, покуда вскоре не умер. Его там, кажется,

ся, наконец убили. Так что он достиг все-таки своей настоящей планеты.

А папа так и умер на месте. Вот это была неудача. Дурак какой.

19. Но это, конечно, скорей личная неперка, чем неудача. А то бывают неудачи крупного значения. Какие-нибудь язвы общества и так далее. Или там проявление угодливости, низкопоклонства и что-нибудь вроде этого. Конечно, это тоже неудачи. Но уже в области характеров. Это уже общественные неудачи. То есть это уже не пустяки вроде вышеуказанной ошибки — бокалы перепутали.

Вот, например, представьте себе такую сцену из римской жизни.

Римский император Тиберий. Сначала он был ничего. То есть в своей молодости он был даже приятный человек. Во всяком случае, не был подлец. Но под конец он испортился. У него голова от власти закружилась. И он наделал чертовские дела по своей жестокости. Его в Риме очень не любили. Но он на это плевал. Он сказал такую историческую фразу: «Пусть ненавидят, лишь бы подчинялись».

Но тем не менее в своей молодости он был ничего себе человек. Он даже, как отмечает история, горел лучшими намерениями. Особенно когда он был еще консулом. У него тогда были разные планы. И он любовно относился к людям. Как-то гуманно.

20. И, будучи в хорошем, чувствительном настроении, он однажды сказал за обедом:

— Вот, дескать, господа, мы пользуемся всем на свете и отличаемся хорошим здоровьем. А многие несчастные, может быть, тем временем хворают и умирают. Как это нехорошо. Я бы, — говорит, — хотел им посочувствовать. На днях, — говорит, — я непременно объеду все больницы и поговорю с больными — кто в чем нуждается. Я, — говорит, — хочу прикоснуться к страданиям, чтобы хоть немножко облагородиться.

Тут окружающие, наверно, заплодировали. Дескать, какое сердце, какие поступки, — человек ездит по больницам и наблюдает разные там язвы и лишай, будучи консулом.

Тиберий говорит:

— Ну что вы. Отчего же. Я даже завтра могу поехать.

И вот он, распаленный в своих лучших чувствах, действительно решил завтра же объехать все больницы.

Однако окружающее начальство, желая угодить Тиберию и желая доставить ему поменьше затруднений при подобном осмотре больниц, решило упростить это дело. И был отдан приказ — собрать всех больных в городском саду и разложить их там по роду их болезней.

Что, по словам римского историка Светония, и было на другой день исполнено.

21. Можно представить, какое волнение поднялось в больницах, когда пришло подобное распоряжение.

Многие заведующие больницами бросились, конечно, куда-нибудь там в ихнее управление. Начали доказывать. Горячиться. Дескать, что это не представляется возможным. И где же транспорт взять и так далее. И тем более многие больные у нас довольно плохо себя чувствуют, — они хворают. А кое-кто плохо даже передвигается. Которые ослабшие или с тифом. Как же так, господа, взять их и всех, что ли, свалить в сад? Или что? Объясните распоряжение. Конечно, если вы настаиваете, мы не возражаем. Тем более если это приказ, то мы понимаем, что его надо исполнить.

В общем, медицинские работники, вздыхая, и шипя, и перекидываясь обывательскими фразами, бросились назад по своим больницам и стали там готовить больных к передвижению.

И, значит, вскоре под барабанный бой двинули их к городскому саду. Где и стали всех располагать там по группам. Или, как Светоний говорит, — по роду заболеваний.

То есть, наверно, чахоточных посадили с чахоточными. Подагриков к подагрикам. А ревматиков живописной группой расположили под деревом. А хворающим воспалением легких велели лечь около бассейна, чтобы они могли освежаться и утолять жажду. И так далее.

Засим все стали ожидать. Заиграла музыка. Подагрики и роженцы подтянулись и выглядели молодцами.

И наконец раздались голоса: «Несут». И Тиберий, окруженный друзьями, сияющий и молодой, предстал перед трепещущей медициной.

22. К чести его надо сказать, что эта живая картина в городском саду ему не понравилась.

То есть сначала он от изумления двух слов не мог произнести.

Один из начальников говорит:

— Собрали их всех в саду-с. Чтоб, так сказать, вам не трепаться по разным учреждениям.

Тиберий говорит:

— Да, но как же так, господа? Собрать их всех в одну кучу... Как-то странно.

— Отчего же странно? Собрали-с в одну кучу, чтоб, так сказать, вы могли бы сразу лицезреть, что к чему.

Тиберий говорит:

— Да, но, может быть, они не хотят этого... Может быть, они больные. Вон как они у вас болезненно смотрят.

— Отчего же не хотят? Они очень хотят. Только они перед вами стесняются. Вот они и смотрят слегка болезненно. А так-то до вас они у меня тут диски кидали. И хоть бы что.

23. Тиберий говорит:

— Да нет, я ничего не говорю, только почему они такие бледные. Что, они больные у вас, что ли?

— Хворают-с. Вот они и побелели. А так-то они ничего еще. Крепыши.

Тиберий говорит:

— А врачи-то что же говорят?

— А врачи прямо на седьмом небе от удовольствия. Они говорят: сколько лет ждали, чтобы это наконец было, и вот это случилось. Они выражают вам благодарность за это решение. Они говорят, что только после этого они почувствовали настоящее внимание к медицине. А то прямо находились все равно как сироты. Тосковали. И вдруг теперь могут отыграться. А в крайнем случае можно, конечно, отдать распоряжение, чтобы они обратно возвращались. Если вы уж насмотрелись на картины человеческого страдания.

Тиберий говорит:

— Пойду, что ли, извинюсь перед больными.

И, подойдя к больным, стал перед ними извиняться за излишество и за бездушный бюрократический перегиб, допущенный со стороны начальства.

И, по словам историка Светония, «он даже извинился перед людьми самыми маленькими и неизвестными».

В общем, снова загремела музыка. Больные подтянулись. И наш Тиберий, покачивая головой и вздыхая, вышел из сада в сопровождении восхищенных друзей.

Сия история говорит о том, как иной раз возникают неудачи, с которыми во все времена следует горячо бороться путем сатиры и просвещения.

24. Но это что. Вот был еще более крупный случай неудачи. В 1740 году в Европе стало известно, что некий великий герцог тосканский Франц Стефан продает дивный брильянт.

Дело в том, что этот герцог вел войну с Испанией. И вот он сильно поиздержался. И теперь ему до зарезу нужны были деньги.

И вот он стал продавать свой лучший брильянт.

А брильянт этот действительно был исключительной дивной красоты. И он был очень громадный. В нем было сто тридцать четыре карата.

То есть ювелиры говорят, что это что-то особенное. Они говорят, что только три или четыре алмаза есть крупнее этого. Один какой-то фантастический алмаз в триста шестьдесят карат у султана на Борнео. Затем в двести семьдесят. Такой какой-то под названием «Великий Могол». Затем французский алмаз в сто тридцать шесть карат. И, наконец, наша стекляшка в сто тридцать четыре карата.

Так что можете себе представить, что это был за камешек.

И вот он вдруг продается.

25. Конечно, началось волнение среди царских особ. Каждому царю небезынтересно такой алмаз в свою корону поставить. А герцог торгуется. Ему дают полмиллиона, но это ему мало.

А на этот алмаз очень исключительно разгорелась наша русская императрица Анна Ивановна со своим Бироном. У ней там был брильянтик в ее короне, но небольшой, в пятьдесят три карата, а ей непременно хотелось этот вдеть. Ей казалось, что это ей пойдет. К ее внешности. А сама-то она, как говорят современники, была солидная,

расплывчатая дама с рябоватым лицом и с красноватыми глазами. И мы так думаем, что это навряд ли ей могло пойти.

Но поскольку она русская императрица, то она была неограниченна в своих дурацких фантазиях. И вот она стала покупать этот камень.

Ах да, в русской короне был еще один громадный брильянт в сто девяносто три карата. Но он был куплен уже в дальнейшем, при Екатерине II. А наша дама прожила как раз до этого факта. Так что она, естественно, расстраивалась, что не захватила эту будущую эпоху с более крупным камнем.

А герцог, видя, что она так расположена покупать, не будь дурак, спросил с нее миллион.

26. Еще полмиллиона она могла наскрести, но всей суммы у нее не было. Тогда она ему сказала следующую историческую фразу:

«Я вам даю, герцог, полмиллиона и вдобавок еще пятьдесят тысяч русского войска, чтобы вы могли продолжать войну с Испанией».

У герцога задрожали коленки от волнения, и он уже хотел соглашаться, но тут вмешалась Австрия и дала герцогу два миллиона в долг, только чтобы он не путался с русскими.

И герцог сказал нашей даме: «Алмаз я больше не продаю. Он у меня остается в короне. С тем и съешьте».

Так она алмаза и не купила. Наверно, ревела. Корова.

Но тут, конечно, неудача не в том, что у ней покупка не состоялась. А в том, что пятьдесят тысяч русских мужиков могли бы пойти драться с Испанией. Пятьдесят тысяч здоровых русских парней могли бы лечь на полях за один дамский каприз рябой бабы.

Какая неудача, что этим делом так легко можно было распорядиться. Впрочем, такие неудачи все время случались в нашей славной истории.

Нет, какая скотина. «Пятьдесят тысяч мужиков, — говорит, — господин герцог, я вам даю». Надо, братцы, хорошенько понять эту фразу. И потом уже говорить о политике.

27. Из больших неудач можно также сосчитать в свое время неудачное отношение к поэзии.

При той же Анне Ивановне жил в России такой неизвестный поэт Тредьяковский.

Как поэт он ничего особенного из себя не представлял. Но все-таки стишки там кое-как кропал.

Что-то такое:

Стрекочушу кузнецу в зеленом блате сушу,
Ядовиту червецу по злаку полазушу.

Как-то у него так оригинально выходило. И для своего времени он считался ничего себе. Одним из крупнейших поэтов. Вроде, что ли, Уткина.

Но человек он тем не менее был не особенно приятный. Вернее, он был большой интриган и льстец. На что его толкала, наверно, мрачная эпоха. А человек он был довольно ученый. И не без образования. В общем, симпатии наши на его стороне.

Но это между прочим. В общем, живет себе поэт. Пишет стихи. Вдруг его вызывают к министру.

28. Министр Волынский ему говорит:

— Вот что, друг, тут у нас по распоряжению императрицы будет происходить шутовская свадьба. Мы женим нашего придворного шута Голицына с одной карлицей. Так вот, нам надо, чтоб ты написал стишки по поводу этого забавного бракосочетания. И поскольку ты поэт, то мы ожидаем от тебя расцвета творчества на этот счет.

Тредьяковский, конечно, стал отнекиваться, но министр ему сказал:

— Тогда я попросту велю тебе написать, и кончен бал. Не надо с министром спорить.

Поэт говорит:

— Свое поэтическое дарование я не намерен разбазаривать на такие дела. Подыщите себе другого поэта.

Историки говорят, что министр задрожал от гнева и стал по щекам бить поэта. Как тогда говорилось: «Из собственных ручек набил морду». Потом, побивши, велел посадить его под арест, и злосчастного поэта взяли под микитки и увели в караульную. А министр ему на прощанье сказал:

— До тех пор тебя, негодяя, не выпущу наружу, пока ты мне не сочинишь каких-нибудь хорошеньких стишков.

29. На другой день поэт все-таки, сидя в караульне, сочинил стихи. И эти стихи вошли, так сказать, в железный

фонд русской поэзии. Они стали историческими стихами. Вот они:

Здравствуйте, женившись, дурак и дура.
Теперь-то прямое время вам повеселиться.
Теперь-то всячески, поезжане, должно беситься.

И так далее. Собственно говоря, по справедливости, надо было бы после написания этого стихотворения наколотить морду поэту. Но министр поторопился. И он до написания потрудился. И тем самым, так сказать, поступил отчасти педагогически.

Из чего мы можем заключить, что время для расцвета поэзии было не совсем такое, что ли, удачное.

Между прочим, этот министр, побивши поэта, также потерпел неудачу.

Он чем-то не угодил Бирону и сложил свою пылкую голову на плахе. Его пытали. Отсекли правую руку, а потом голову.

Вот какие бывали неудачи как в поэзии, так и в прозе. Теперь, как говорится, в заключение нашего концерта из новелл — послушайте вальс Штрауса: «Жизнь художника». Ах, это очень трогательная история!

30. Эта сентиментальная новелла будет о В. П. Боткине, который проживал в России в середине XIX века.

Он был, между прочим, друг Белинского и Некрасова. И сам он занимался литературой — критиковал, писал стихи и еще что-то такое.

Человек, говорят, был тончайшей души. Он был эстет. Он восхищался перед красотой. Любил музыку. Декламировал стихи. Увлекался хорошенькими дамами. И так далее. Он писал: «Главная задача писателя — развивать в читателе эстетические вкусы».

Поэтесса Авдотья Панаева, то есть она не поэтесса, а подруга поэта Некрасова, так о нем выразилась в своих записках:

«Он был тонкий ценитель всех изящных искусств».
Вот каков был наш герой.

31. Такие эстеты, между прочим, нередко бывали среди обеспеченных русских интеллигентов и помещиков.

А наш Боткин хотя и не был помещиком, но имел в банке капитал. Он жил себе на проценты. Его папа держал

чайную фирму. И оставил нашему Василию Петровичу сто пятьдесят тысяч золотом. Худо ли!

Так что у него денег было много. Но он капитала не трогал и даже процентов не проживал. Он скупился. Он копил деньги. Сам не зная для чего. И жил больше чем скромно.

Панаева говорит, что он был до крайности расчетлив. Он, например, считал, сколько конфет осталось в коробке. И если хоть одна пропадала, он устраивал крики и скандалы своим лакеям.

В Париже он, попив кофе, имел привычку прятать в карман оставшийся сахар.

А когда раз в Париже он под пьяную лавочку дал кокетке сто франков, так он неделю не мог успокоиться.

Но тем не менее он был эстет и любил красоту, в чем бы она ни выражалась.

32. И вот ударило нашему эстету пятьдесят четыре года. И он стал хворать.

У него открылись боли в правом боку. И кроме того, у него ослабла нервная система от постоянного восхищения перед красотой.

Короче говоря, он ослаб и стал прихварывать.

И он в первый раз тогда подумал, что все люди смертны. А то он думал, что это все время так и будет. Красота и так далее. И вдруг — нет.

Он подумал: «Живу пятьдесят четыре года. Начинается старость и все такое. А как я жил? Я оставил громадный капитал. И жил, как скотина. Скупился и урезывал».

И, так подумавши, он стал лихорадочно растрачивать деньги.

Он нанял дивную квартиру в девять комнат. И стал обставлять ее с неслыханной роскошью.

Но когда он въехал в эту квартиру, он еще больше захворал. И даже не мог устраивать балов, ради чего он, собственно, и переехал в эти апартаменты.

33. Тогда он стал доставлять себе удовольствие в питании. Он стал обжорой. Он нанял лучшего повара. И заказывал какие-то потрясающие блюда. Но вдруг желудок его перестал работать. И он мог только высасывать сок из бифштекса.

Тогда он стал скупать картины лучших мастеров. Но тут ударило самое большое горе, и он вдруг ослеп. И не мог больше любоваться шедеврами, которыми он увешал свои стены.

Тогда он нанял француженку, чтобы та читала ему романы. И сидел в креслах вялый и слабый, еле слушая, чего ему читали.

И когда однажды к нему зашел Панаев, он с отчаянием ему сказал:

— Знаешь, Иван Иванович, ведь я даже еще не прожил процентов. Вот что меня побивает.

Вскоре он умер. И никто о нем не вспомнил. И только Панаева о нем написала: «Он был скуп, мелочен и трус».

Вот вся память, которая осталась от ценителя искусства. Какая неудача!

34. Кстати, если вы заметили, мы неожиданно перебрались с вами поближе к жизни писателей и поэтов.

Это, конечно, понятно. Мы это знаем. И нам это доступно пониманию.

Так что так и будем продолжать. В том же духе. Как через каплю воды можно сообразить кое-что о воде, так и через эту группу мы можем увидеть, как вообще бывало.

Но, конечно, новелл вам больше рассказывать не будем, а снова, по примеру прошлого отдела, устроим «Смесь». Из жизни писателей и поэтов. А вы уж, благодетели, обдумывайте сами эту смесь. Приучайтесь к самостоятельному мышлению. Вот эти мелочишки:

- Гаршин, уже будучи известным писателем, принужден был взять место приказчика в Гостином дворе, в писчебумажном магазине.

- Знаменитый философ Спиноза жил тем, что полировал стекла для оптических инструментов. Умер от чахотки в 1677 году.

- 16 апреля 1852 года Тургенев был посажен на съезжую за статью о Гоголе.

35. ● Надеждин писал об «Евгении Онегине» Пушкина в 1830 году: «Ветреная и легкомысленная пародия на жизнь. Мыльные пузырьки, пускаемые затейливым воображением. Талант его слабеет».

● Булгарин о Пушкине: «Ни одной мысли, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения. Совершилось падение».

● Вольтер высмеял герцога Рогана с его высокомерием. Герцог велел своим лакеям прибить Вольтера. Что и было исполнено. Вольтер вызвал герцога на дуэль. Но тот отказал, так как Вольтер не был дворянином.

● Знаменитый историк Полибий был продан в рабство и увезен из своего отечества. Погиб от нужды и лишений.

● Автор «Робинзона Крузо» Дефо за сатирическую статью (1703 год) приговорен к тюремному заключению. Сутки он провел привязанный к позорному столбу на площади. Проходящие обязаны были в него плевать. Дефо было тогда сорок два года.

● Автор «Дон Кихота» Сервантес попал в плен к морским разбойникам. Был продан в невольники в Алжир. Там ему отрубили левую руку. Выкупили родственники. Последние годы жизни был сборщиком податей. Ходил по деревням. Умер в нищете в 1616 году.

36. Передохнем немного. А то сразу как-то слишком много неудач.

Нам исключительно жалко Сервантеса. И Дефо тоже бедняга. Воображаем его бешенство, когда в него плевали. Ой, я бы не знаю, что сделал!

А каково Вольтеру? Тоже можно представить, какой злобой он пылал к этому негодяю герцогу.

А Булгарин — подлец. Свиная душа. Как это, правда, часто бывает, что такие ошибки совершались в оценках. Вот где тоже кроются ужасные ошибки и неудачи. Например, взгляните, что писали о Гоголе его современники.

● Сенковский писал: «Я обожаю чистоту — ваши зловонные картины поселяют во мне отвращение...»

● Н. А. Полевой о «Мертвых душах»: «Начнем с содержания — какая бедность».

● «Северная Пчела» о Гоголе: «От Гоголя много ждали. Но он разрешился ничтожными «Мертвыми душами».

● Из критических статей: «Гоголь не хочет возвыситься хоть настолько, чтобы не уступить Поль де Коку».

37. ● Писатель Дружинин писал о себе: «Я всегда буду в первых рядах литературы».

● Кукольник сказал: «Кукольника оценит потомство».

● Пушкина называли «поэтом легкого жанра», а Баратынского — «поэтом мысли».

● Дрянного и сейчас неизвестного поэта Тимофеева критика назвала «русским Байроном, который может соперничать только с Гёте».

● Величайший украинский поэт Шевченко был арестован и отдан в солдаты. Был выслан в Омск.

● Достоевский был приговорен к смертной казни. Пять минут стоял с завязанными глазами, ожидая повешения. Эта казнь была заменена каторгой.

● Поэт Леонид Семенов (друг Блока) за революционную деятельность был избит до полусмерти городскими в полицию.

● О смерти поэта Лермонтова, сосланного на Кавказ, Николай I сказал: «Собаке — собачья смерть».

Не беспокоит? Тогда пойдемте дальше.

38. ● Знаменитый греческий философ Диоген уже в преклонном возрасте был продан в рабство на остров Крит.

● Не менее знаменитый баснописец Эзоп был до того беден, что сам себя продал в рабство, чтобы расплатиться с долгами. Ему тогда было тридцать лет. Он был маленький и горбатый.

● Знаменитый итальянский философ Джордано Бруно был сожжен на костре за «еретическую философию».

● Несколько сот афинских матросов и торговцев разбирали дело Сократа. Они приговорили его к смерти за его неправильные философские воззрения.

● Философ Платон был продан в рабство на остров Эгин. Нашелся почитатель, который выкупил Платона за тридцать мин. Платону было тогда сорок пять лет.

● Испанский поэт Серран де Кресто за сатирические и вольные стихи просидел в тюрьме десять лет. Священный трибунал заставил его присутствовать при казни сына, которого удушили и сожгли на костре.

● Испанский драматург Антонио Сильва был сожжен на костре 19 октября 1739 года. В тот же день в театре шла его пьеса «Гибель Фазтона».

● Знаменитый писатель Чернышевский после двух лет сиденья в тюрьме был приговорен к четырнадцати годам каторги на рудниках.

39. ● Русский писатель Полежаев за одно стихотворение был сослан в солдаты. За самовольную отлучку просидел год в тюрьме, закованный в кандалы. Приговорен был к прогнанию сквозь строй. Умер тридцати трех лет.

● Русский писатель Радищев был приговорен к смертной казни. Казнь была заменена вечной ссылкой.

● Л. Н. Толстой был предан анафеме. Раз в год во всех церквях торжественно провозглашалась анафема трем лицам — Мазепе, Гришке Отрепьеву и нашему великому писателю.

● Писатель Ник. Успенский, находясь в крайней бедности, давал цирковые представления в трактирах. Зарезался бритвой.

● Писатель Марлинский (Бестужев) был приговорен по делу декабристов к смертной казни. Казнь заменена ссылкой на двадцать лет. Погиб в стычке с горцами — был изрублен шашками.

● Мраморная церковь в Петербурге, начатая при Екатерине II, достраивалась при Павле кирпичом. Поэт Акимов написал такие стихи:

Се памятник двух царей,
Обоим столь приличный:
На мраморном низу
Воздвигнут верх кирпичный.

За это четверостишие поэту отрезали уши и язык и сослали в Сибирь.

40. Руссо за книгу «Эмиль» был приговорен к тюремному заключению. Бежал в Англию.

● Бомарше после представления своей пьесы «Свадьба Фигаро» был арестован и посажен в тюрьму. Людовик XVI, играя в карты, написал приказ об аресте на семерке пик.

● Книга Вольтера «Философские письма» была сожжена рукой палача. Сам Вольтер бежал за границу.

● Итальянский философ Кампанелла пишет: «В последний раз моя пытка продолжалась сорок часов. Туго перевязанный веревками, разбившими мне кости, подвешен-

ный над острым колом, я потерял двадцать фунтов крови и чудом остался жив».

В своем учении он проповедовал общность имущества.

● Знаменитый Посошков, написавший (при Петре I) свое «Рассуждение о богатстве», был посажен в тюрьму, и там его держали до смерти.

● Итальянского поэта Торквато Тассо без всякой вины герцог д'Эсте продержал семь лет в тюрьме.

41. ● После побед римлян многие греческие философы были привезены в Рим, где и продавались в рабство. Римские матроны покупали их в качестве воспитателей к своим сыновьям. Чтобы продаваемые не разбежались, торговцы держали их в ямах. Откуда покупатели их и извлекали.

● Замечательный писатель протопоп Аввакум писал (в 1678 году): «Меня взяли со стрельцами и на чепь посадили ночью. И на чепи кинули в темную палатку, и сидел три дня, не ел, не пил... Никто ко мне не приходил, только мыши и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно».

Его как еретика сожгли вместе с его единомышленниками.

● Знаменитый русский народный поэт Кольцов, умирающий, лежал в ужасных условиях, в проходной комнате, забытый всеми. Причем в квартире происходила чья-то свадьба. Поэт писал в 1812 году: «Все начали ходить и бегать через мою комнату. Полы моют то и дело, а сырость для меня убийственна. Трубки благовонные курят каждый день... У меня образовалось воспаление в правом боку. Потом — в левом. А в ту пору вечеринка... Прошу не курить, — курят больше. Прошу не благовонить, — больше...»

Поэт умер, когда ему было тридцать три года.

42. Хотели помолчать, но скажем пару слов. Последний факт уж очень характерный. Умирает прекрасный поэт. И такая сволочь кругом. И такая нищета. А в это же время какой-нибудь пустой дурак, продувная бестия, содержатель ларька или чайной, понятия не знал, что такое беда. Вот что может огорчить. Вот в чем одна из главных неудач у них, у капиталистов и трактирщиков.

А философы! Только представьте себе картину. Яркое солнце. Пыль. Базар. Крики. Яма, в которой сидят философы. Некоторые вздыхают. Некоторые просятся наверх. Один говорит:

— Они в прошлый раз скоро выпустили, а нынче что-то долго держат.

Другой говорит:

— Да перестаньте вы, Сократ Палыч, вздыхать. Какой же вы после этого стоик? Я на вас прямо удивляюсь.

Торговец с палкой около края ямы говорит:

— А ну, куда вылезаете, подлюга. Вот я тебе сейчас трахану по переносью. Философ... Ученая морда...

Черт возьми! Какие, однако, бешеные неудачи выпадали на долю мыслящей братии. Может, это случилось за то, чтоб поменьше думали, что ли. Наверно, так и есть. Прямо это как-то озадачивает.

43. Давайте совсем краешком глаза взглянем тогда на не писателей. Может быть, слегка отдохнем от неудач. Может, те немного интересней жили. Но вряд ли. Уже видать, так сказать, трухлявую походку жизни.

● Голштинский ученый Олеарий, побывавший в Москве в 1621 году, пишет: «Тут без меры дерут и скоблят кожу с простого народа».

● Светлейший князь Потемкин, приревновав капитана Щеглова к одной польской княгине, без суда сослал его в кандалах в Сибирь, где тот и пробыл пятьдесят два года.

● Секретарь саксонского посланника писал своему королю об Екатерине I: «Она вечно пьяна, вечно пошатывается, вечно в бессознательном состоянии».

● Официально инквизиция была отменена всего лишь сто лет назад — в 1835 году.

● Николай I при посещении (в 1842 году) первой гимназии грубо сказал директору, указывая на одного из учеников: «А это что там у вас за чухонская морда?» Директор что-то пробормотал, на что Николай I добавил: «Первая гимназия должна быть во всем первой. Чтоб таких физиономий у вас тут не было».

● Когда Сиракузы пали, римские воины бросились по домам грабить. Два солдата вбежали в комнату к великому математику Архимеду. Он чертил на полу фигуры. Это по-

чему-то рассердило воинов, и они убили его, проткнув дротиком.

- Римский историк Светоний пишет о беззакониях Нерона: «Римлянин Пет Тразеа был осужден за его постоянное выражение лица недовольного педагога».

44. ● Великий астроном Галилей был арестован священным трибуналом. Его заставили отречься от его научной «ереси». Отречение состояло в том, что великий философ, стоя на коленях в одной рубашке, то есть в одежде кающегося грешника, прочел перед собранием народа речь, сочиненную инквизиторами от его лица.

- Ивашка Култыгин (XVII век), работник Яузской мельницы, изобрел сани с парусом. За это его схватили и пытали — к чему он выдумал такие сани. Сани эти сожгли, а Култыгина побили батогами.

- Знаменитая помещица Дарья Салтыкова запорола до смерти свыше ста своих крепостных.

- Продажа людей в конце XVII века происходила в Петербурге на площади против Владимирской церкви. Где сейчас Кузнечный рынок.

- Объявление в «С.-Петербургских Ведомостях» за 1800 год: «На Васильевском Острове по Болын. Просп. под № 76 доме продаются мужской партной, забавной зеленой попугай и пара пистолетов».

- Цена крепостных в 1810 году: за рабочую девушку — сто пятьдесят рублей, за мужика — двести рублей, за изрядно пишущего — триста рублей.

- Помещик имел право сослать крепостного в каторжные работы. Помещица Козлянова сослала крепостного Сергеева на двадцать лет.

- По мнению историков, реформы Петра I уменьшили население России примерно на двадцать процентов.

45. ● В VII веке арабы, завоевав Египет, сожгли в Александрии замечательную, мирового значения, библиотеку. В течение нескольких месяцев этой библиотекой отапливалась городская баня. Военачальник, отдавший распоряжение сжечь эту библиотеку, сказал: «В Коране и без того все есть».

- Царский министр путей сообщения Кривошей строил южную железную дорогу с таким расчетом, чтобы она прорезала его имение.

- Помещик Измайлов в 1810 году имел одиннадцать тысяч душ крепостных. Домашней челяди у него было восемьсот человек. Двенадцать девушек специально ходили за его законными и внебрачными детьми.

- Самоучка инженер Торговатов подал проект устройства туннеля под Невой. Александр I положил резолюцию: «Выдать ему двести рублей и обязать подпиской, чтоб он впредь прожектками не занимался».

- Несколько крестьян подали Павлу I на своих господ челобитную с жалобой на жестокое обращение. Павел положил резолюцию: «Дать каждому из жалобщиков столько ударов, сколько пожелают их господа».

- После покушения Каракозова на Александра II портрет «спасителя» Комиссарова носили по улицам. И каждого, кто не снял шапку перед этим портретом, нещадно избивали. Газеты приторным и елейным тоном писали: «Единый от малых сих сподобился сделаться орудием бога живого».

46. По отчету Можайской канцелярии за 1807 год, счетоводы получали жалованья три рубля в месяц, а некоторые чиновники от рубля до двух.

- Петербургский богач, владелец девяти домов, генерал Трофимов, в конце каждого года выселял среди зимы до десяти процентов своих жильцов. Часть квартирантов изгонялась за неаккуратные платежи, часть — за политическую неустойчивость и за непочтительное отношение к домовладельцу. Трофимов говорил: «Я терплю убытки из принципа».

- Московский лабазник Сорокин сверх жалованья платил своим молодцам по десяти рублей, за что и выговаривал себе позволение — бить своих служащих под горячую руку.

- На каждую тысячу жителей Рима приходилось сорок тысяч рабов.

- Кичащиеся своим происхождением графы Гендриковы вели свой род от ямщика и конюха Гендрикова. Скавронские — от сапожника Скавронского, родственника «солдатской женки» Екатерины I. Светлейший князь Менши-

ков был из денщиков. Несколько графских родов создала Екатерина II по линии своих любовников.

● По отчету тюремного ведомства за 1899 год, в тюрьмах России находилось свыше ста десяти тысяч.

47. ● После 9 термидора в Париже были устроены «Танцевальные вечера жертв». На этих вечерах могли танцевать только те, у кого родственники погибли на гильотине. Причем дамы танцевали в черных платьях и на шее имели узкую красную ленточку.

● Изменник Павзаний спрятался в храме, где по закону нельзя было никого убить. Тогда афиняне решили замуровать преступника в храме. Первый камень обязана была положить мать Павзания. Что она и сделала.

● Мать декабриста Ивашева просила у Николая I разрешения — поехать в Сибирь повидаться с сыном. Николай I на прошении положил следующую резолюцию: «Ехать может с тем, чтобы не возвращаться в Россию».

● Сын придворного лакея Мережковский и его жена Гишпиус бежали за границу, захватив с собой (по словам Ясинского) редчайшие документы по истории революции. Эти материалы предназначались для библиографического словаря, над которым Мережковский согласился работать.

● Последний ассирийский царь Сарданапал, живший в крайней роскоши, отдал распоряжение назначить огромную премию тому, кто выдумает новое наслаждение.

48. Из этого отметим следующее. Ассирийский царь остался при своих наслаждениях, и премии никто не получил. По-видимому, царь до всего дошел своим умом.

Что касается до количества рабов в Риме, то пропорция эта не так уж удивительна. При буржуазном строе на каждую тысячу торговцев, банкиров и влиятельных господ приходилось много больше «обслуживающего персонала» и лиц, коими можно почти всецело распоряжаться. Что хотя бы отчасти видно из поведения домовладельца Трофимова. А таких, извините, прохвостов у нас было куда ни плюнь.

А что у помещика Измайлова двенадцать нянь ухаживали за его детьми, то из этого ничего путного не получилось. Лихое его потомство, получив столь нежное и забот-

ливое воспитание, скорей всего погибло в гражданскую войну во славу контрреволюции и за идеалы своего отца.

Вообще, прочитавши все эти мелочи, вам непременно может прийти в голову фраза, которую в свое время игри-во сказал Людовик XV: «Будь я на месте моих подданных, я стал бы бунтовать».

Ах, это было весьма не глупо сказано. И так оно, собственно, и случалось по временам.

С этой фразой, друзья, мы заканчиваем наше историческое повествование.

Вот что рассказывает история о неудачах.

49. Она рассказывает, что населению неслыханно неважно жилось. То есть до того неважно, что прямо приходится руками разводить и извиняться перед публикой за допущенные крайности. И знаете, писатели-то как неважно жили. Мы думали, они там блаженствовали в свое время, а они — вон что. Философы бедняги тоже очень пострадали.

А рабы-то и всякие подчиненные. Ужас!

А насчет господ положения прямо приходится удивляться, как это у них не испортилось настроение от всех подобных картин. Другие бы давно физически и морально захворали от этих дел. Конечно, заболевания идут само собой среди мирового купечества. Многие у них ужас как ослабли и мечтают о конце культурной жизни. Им бы хотелось, как они говорят, вернуть далекие времена, когда народы шлялись в одних трусиках и охотились, может, на дикобразов. Об этих картинах они сильно вздыхают, танцуя и выпивая. А некоторые, наоборот, очень здоровы, и им ни хрена не делается.

Конечно, наша речь шла о прошлых веках и столетиях, и некоторые премьер-министры с высоты своей Европы нам могут, рассердившись, возразить: дескать, то было некультурное прошлое, а, дескать, в наши дни иные песни и другие картины, — просьба это не смешивать.

50. Но тем не менее мы все-таки отчасти это смешиваем, поскольку перед нашим взором примерно такая славная картина, которая возникла перед нами, когда мы не без трепета раскрыли учебник истории.

Нищие бродят. Сифилитики лежат. Война гремит. Чья-то мама плачет. Кому-то голову топором оттапали. Богатый жрать не дает бедному — зерно топит в море, чтоб цену не сбавлять. Невеста страдает. Жених без ноги является. Книги сожгли, непригодные фашистскому правительству («В Коране все есть»). Кого-то там пытали. Потом в тюрьму сунули. Резиновой дубинкой избили. Бедняк хнычет. Богатый чарльстон танцует и забавляется.

Нет, честно говоря, почти те же самые неудачи, господа премьер-министры.

Может быть, единственно научились шибче ездить по дорогам. И сами бреются. И радио понимать умеют. И стали летать под самые небеса. И вообще — техника.

А так в смысле отношения друг к другу все почти без особых перемен. И сердечно бы рады признать в этом что-нибудь особенное, но не выходит, господа, не сердитесь. Конечно, оно некоторое моральное улучшение есть — в смысле того, что, например, публичных казней не устраивают. Но, может быть, это идет за счет нервной слабости. Что-с?

А что некоторые там писатели виллы себе покупают на Средиземном море, то это отчасти и раньше было. И кто, например, не ссорился с римским папой, тот мог довольно прилично жить и с великими почестями имел возможность помереть.

А прекрасные слова насчет техники, — что она улучшит отношения между людьми, — не оправдались. И в этом приходится с горечью сознаться.

51. А что касается как у нас, то, конечно, у нас неудачи имеются. Все-таки прошло не так-то уж много лет после перестройки. И у нас, естественно, имеются самые разнообразные неудачи. Но у нас тем хорошо, что постепенно они будут исчезать. А некоторые неудачи у нас, например, уже исчезли. Например, хотя бы у нас лучше других живет не тот, который, например, умеет лихо продавать нитки, и не тот, который может вовремя купить картофель с тем, чтобы его потом с надбавкой перепродать, а тот, который имеет способности, играет на рояле, танцует или может петь. Или там, что ли, он хорошо декламирует, рисует и так далее. Или к науке он имеет талант, или, наконец, он хорошо летает, или беззаветно любит свою родину.

А через это со счетов жизни снята одна из самых опасных неудач. С чем мы всех и поздравляем.

А что касается некоторых других вопросов, то, конечно, еще случаются неудачи. И от этого у нас не отказываются. И с этим борются.

52. Мы, знаете, как-то лежали вечером в гамаке и думали о себе: какие, например, неудачи имеются ну вот хотя бы в нашей личной жизни.

Стал думать. Сначала в голову лезла всякая мелкая чушь. Так что даже подумалось: уж не впал ли я, чего доброго, в мещанство.

Вот, подумал, завтра на работу надо слишком уж рано вставать. Неохота. Радио у соседей гремит до поздней ночи — не высыпаюсь. Жена все время денег требует, — надо, говорит, долги платить. А это не так-то легко достается. Управдом стал что-то высказывать неудовольствие насчет антисанитарии. То есть, говорит, грязно. Придирается. Не уважает меня как человеческую единицу. Но сам любит, чтоб его уважали и хвалили. Тогда еще ничего. Интересовался бы осенью поехать в Ялту, но неизвестно, что завтра будет. Родной сестре ударило сорок лет, — муж ее бросил, женился на молоденькой. Она горюет. И ее настроение нам передается. Приволокнул за одной особой — муж хочет ее с квартирной площади погнать. Пришлось отказаться от чувства к ней.

Вот какие мысли нам являлись, когда мы, лежа в гамаке, стали подумывать о недочетах личной жизни.

Но эти недочеты, в сущности, невелики. Это сравнительно мелкие бытовые неудачи, и они с каждым могут случиться. В этом нет ничего особенного.

53. А если с кем-нибудь и бывает более крупная неудача, то, может быть, он и сам виноват. Или уж очень он глуп. А которые умны и на неудачу наскочили без вины, то, значит, попросту с ними было недоразумение. И оно рассеется. А если и не то и не другое, то, значит, о чем же и толковать.

Из неудач: родственники тоже вот как-то в последнее время взбесились. Некоторые не так высказывают свои чувства, как это происходило в прежние времена. Родственники стали более прохладно относиться к факту, на-

пример, вашей кончины или заболевания. Раньше, ожидая подачки, вздыхали, окружали родственным кольцом заболевшего. А нынче, когда все заболевшие вылезли из собственных экипажей и все, как один, поперли пехтурой и поехали в трамвае, и у всех на морде появилась надпись: «Оставь надежду навсегда», — это любезное внимание прекратилось. Слабых и одиноких это может утратить и повергнуть в пучину меланхолии, но сильные могут воскликнуть: это к лучшему.

Конечно, оно еще с непривычки как-то странно беседовать с такими родственниками. Но можно попривыкнуть. И даже оно гораздо лучше. По крайней мере видишь, с кем имеешь дело. И видишь, кому и как надлежит исправлять свои характеры, пошатнувшиеся от времени и объективных причин.

54. Пришло, в общем, время терять фальшивые иллюзии. Пора расстаться с этим, чтоб взглянуть в лицо настоящей жизни. А которые интуисты не захотят взглянуть, то, может быть, их устраивает такая покупная и продажная любезность как родственников, так и всех вообще. Может, это им нравится.

Вот где, черт возьми, каверзный для них вопрос.

И вот каким фальшивым ключом они открывают двери, чтобы войти в рай своей буржуазной жизни. И это тоже у них одна из главных и непоправимых неудач.

В общем, вместо отвлеченной болтовни о том о сем давайте перейдем к делу. И давайте критически взглянем на наши неудачи с тем, чтобы от них в дальнейшем отказаться, если они нас не вполне устраивают.

Но, может быть, они отчасти пережитки прошлых дней и они уже уходят? Тогда мы с ними любезно распрощаемся и поторопим их поспешить к выходным дверям.

55. А если встретим неудачу, от которой нынче не уйти, то воспылаем надеждой, что она у нас ненадолго задержится. Как сказал философ: все течет, и ничто не пребывает на месте. Но пока в прошлом, как вы сейчас это видите, все больше текла дрянь и грязь российской жизни. Так что, сколько бы она ни текла и ни не пребывала бы на месте, она бы нас с этим философом никак не устроила. Поскольку — теки не теки — все была бы неудача.

Но в силу того что у нас произошла такая, как сейчас, перемена, то многие неудачи померкли в своем первоначальном значении. И они не так уж нас волнуют, как это бывало раньше, поскольку у всех теперь возникла полная уверенность, что все, что из этого осталось, — все в свою очередь окончательно уйдет и превратится в прах вместе с глупостью, хамством, мещанством, бездушным бюрократизмом и елейным подхалимством.

В общем, начинаются рассказы о неудачах нашего времени.

РАССКАЗЫ О НЕУДАЧАХ

Проншествие на Волге

Для начала мы вам собираемся рассказать об одной забавной маленькой неудаче.

Эта неудача заключалась именно в том, что группа отдыхающих получила моральное потрясение по случаю одного недоразумения.

Вот как это случилось. Это было.

В первые еще годы революции, когда установилась жизнь и по Волге стали курсировать чудные пароходы с первоклассными каютами и с подачей пассажирам горячей пищи, группа отдыхающих граждан — шесть конторщиков и в том числе я — выехала отдохнуть на Волгу.

Нам все советовали прокатиться по Волге. Поскольку там чудный отдых. Природа. Берега. Вода, еда и каюта.

И, значит, группа конторщиков, уставшая, так сказать, от грохота революции, выехала освежиться.

Попался чудный первоклассный пароход под названием «Товарищ Пенкин».

Мы стали интересоваться, кто такой этот Пенкин, — нам говорят: какой-то, кажется, работник водного транспорта.

Нам было, собственно, все равно, и мы, конечно, поехали на этом неизвестном товарище.

Приехали в Самару.

Вылезли своей группой, — пошли осматривать город. Осматриваем. Вдруг слышим какие-то гудки.

Нам говорят:

— Расписание сейчас неточное. Возьмет еще и уйдет наш «Пенкин». Давайте вернемся.

И вот, кое-как осмотрев город, вернулись.

Подходим к пристани, видим — уже нету нашего парохода. Ушел.

Крики поднялись, вопли.

Один из нас кричит: «Я там в штанах свои документы оставил». Некоторые кричат: «А мы — багаж и деньги. Что ж теперь делать?.. Ужас!»

Я говорю:

— Давайте сядем на этот встречный пароход и вернемся назад.

Глядим, действительно, стоит у пристани какой-то волжский пароход под названием «Гроза».

Спрашиваем публику плачевным голосом: давно ли, дескать, «Пенкин» ушел. Может, его можно по берегу догнать.

Публика говорит:

— Зачем вам догонять? Эвон «Пенкин» стоит. Только это теперь «Гроза». Он бывший «Пенкин». Ему перекрасили название.

Тут мы обрадовались чрезвычайно. Бросились на этот свой пароход и до самого Саратова с него не сходили. Боялись.

Между прочим, спросили капитана, почему такой забавный факт и такая срочность.

Капитан говорит:

— Видите, у нас это наименование дали пароходу отчасти ошибочно. Пенкин имеется в рядах водного транспорта, но только он отчасти не был на высоте своего положения. И в настоящее время он находится под судом за превышение власти. И мы получили телеграмму закрасить его название. Вот мы и назвали его «Гроза».

Тут мы сказали:

— Ах, вот что! — и безразлично засмеялись.

Приехали в Саратов. И своей группой вышли осматривать город.

Там мы тоже долго не прохлаждались. А мы дошли до ларька и купили папирос. И осмотрели пару зданий.

Возвращаемся назад — опять, видим, нету нашего парохода «Гроза». И видим, вместо него стоит другой пароход.

Конечно, испуг у нас был не такой сильный, как в Самаре. Думаем, шансы есть. Может быть, они опять заглавие закрасили. Но все-таки некоторые из нас опять сильно испугались.

Подбежали ближе. Спрашиваем публику:

— Где «Гроза»?

Публика говорит:

— А вот это и есть «Гроза». Бывшая «Пенкин». А теперь, начиная с Саратова, он у них — «Короленко».

Мы говорим:

— Что ж они красок-то не жалеют?

Публика говорит:

— Не знаем. Спросите боцмана.

Боцман говорит:

— Жара с этими наименованиями. «Пенкин» у нас да-ли ошибочно. А что касается до «Грозы», то это было мало-актуальное название. Оно отчасти было беспринципное. Это явление природы. И оно ничего не дает ни уму, ни сердцу. И капитану дали за это вздрючку. Вот почему и за-красили.

Тогда мы обрадовались и сказали:

— Ах, вон что! — и сели на этот пароход «Короленко». И поехали.

А боцман нам говорит:

— Смотрите, в Астрахани не пугайтесь, если обратно найдете другое название.

Но мы говорим:

— Нет, это навряд ли будет. Поскольку это «Королен-ко» — выдающийся писатель.

В общем, до Астрахани доехали благополучно. А отту-да мы дернули по суше.

Так что дальнейшая судьба парохода нам была неиз-вестна.

Но можно не сомневаться, что это наименование так при нем и осталось. На вечные времена. Тем более что сам Короленко умер и тем самым, так сказать, уже не сможет каким-нибудь своим поступком снизить свою значитель-ную ценность. А Пенкин был жив, и в этом была основная его неудача, доведшая его до переименования.

Так что тут неудача заключается скорей всего даже в том, что люди бывают, что ли, живы. Нет, пардон, тут во-обще даже не понять, в чем кроется сущность неудачи.

С одной стороны, нам как будто бы иной раз выгодно быть неживым. А с другой стороны, так сказать, покорно вас за это благодарю. Удача сомнительная. Лучше уж не надо. А вместе с тем быть живым вроде как тоже в этом смысле относительная неудача.

Так что тут, как бы сказать, с двух сторон теснят человека неприятности.

Вот почему этот маленький, вроде недоумения, пусячок мы поместили в ряду наших рассказов о неудачах.

Однако, кроме как на Волге, большие неудачи случаются также в банях.

Предлагаем вашему вниманию рассказ о подобной неудаче.

Рассказ о банях и их посетителях

В свое время мы чего-то такое писали насчет бань. Сигнализировали опасность. Дескать, голому человеку нон-мерки некуда деть и так далее.

Прошло после того несколько лет.

Затронутая нами проблема вызвала горячие дискуссии в банно-прачечном тресте. В результате чего кое-где в банях отвели особые ящики, куда каждый пассажир может класть свою, какую ни на есть, одежду. После чего ящик замыкается на ключ. И пассажир с радостной душой поспешает мыться. И там привязывает этот ключ к шайке. Или, в крайнем случае, не выпускает его из рук. И как-то там моется.

Короче говоря, несмотря на это, вот какие события развернулись у нас в одной из ленинградских бань.

Один техник захотел у нас после мытья, конечно, одеться. И вдруг он с ужасом замечает, что весь его гардероб украли. И только вор, добрая душа, оставил ему жилетку, кепку и ремень.

Он прямо ахнул, этот техник. И сам без ничего стоит около ящика своего — и прямо не имеет никакой перспективы. Он стоит около ящика, в чем его мама родила, и руками разводит. Он ошеломлен.

А он — техник. Не без образования. И он прямо не представляет себе, как он теперь домой пойдет. Он прямо на ногах качается.

Но потом он сгоряча надевает на себя жилетку и кепку, берет в руки ремень и в таком, можно сказать, совершенно отвлеченном виде ходит по предбаннику, мало чего соображая.

Некоторые из публики говорят:

— В этой бане каждый день кражи воруют.

Наш техник, имея головокружение, начинает говорить уже на каком-то старорежимном наречии с применением слов «господа». Это он, наверно, от сильного волнения потерял некоторые свойства своей новой личности.

Он говорит:

— Меня, господа, главное интересует, как я теперь домой пойду.

Один из немывшихся еще говорит:

— Позовите сюда заведующего. Надо же чего-нибудь ему придумать.

Техник говорит слабым голосом:

— Господа, позовите мне заведующего.

Тогда банщик в одних портках бросается к выходу и вскоре является с заведующим. И тут вдруг все присутствующие замечают, что этот заведующий — женщина. Техник, сняв кепку с головы, задумчиво говорит:

— Господа, да что же это такое! Еще того чище! Мы все мечтали увидеть сейчас мужчину, но вдруг, представьте себе, приходит женщина. Это, — говорит, — чтоб в мужской бане были такие заведующие, это прямо, — говорит, — какая-то курская аномалия.

И, прикрывшись кепкой, он в изнеможении садится на диван. Другие мужчины говорят:

— Чтоб заведующий — женщина, это, действительно, курская аномалия.

Заведующая говорит:

— Для вас, может, я и курская аномалия. А там у меня через площадку — дамское отделение. И там, — говорит, — я далеко никакая не курская аномалия. Попрошу воздержаться от подобных слов.

Наш техник, запахнувшись в свою жилетку, говорит:

— Мы, мадам, не хотели вас оскорбить. Что вы ерепенились? Лучше бы, — говорит, — обдумали, в чем я теперь пойду.

Заведующая говорит:

— Конечно, до меня тут были заведующие мужчины. И на этой вашей половине они были очень хороши в своем назначении, а в дамском отделении они все с ума посходили. Они туда слишком часто заскакивали. И теперь мужчинам назначения редко дают. А дают все больше женщинам. И что касается меня, то я захожу сюда по мере надобности или когда тут что-нибудь сперли. И я от этого не горяжусь. А что я постоянно нарываюсь тут у вас на оскорбления и меня каждый моющийся непременно обзывает курская аномалия, то я предупреждаю — каждого, который меня впредь оскорбит на моем посту, я велю такого отвести в отделение милиции... Что у вас тут случилось?

Техник говорит:

— Господа, что она ерепенится? Ну ее к черту. Я не предвижу, как я без штанов домой пойду, а она мне не позволяет называть ее курская аномалия. И она грозит меня в милицию отвести. Нет, лучше бы тут заведующий был мужчина. По крайней мере он бы мне мог одолжить какие-нибудь свои запасные брюки. А что тут заведующая женщина — это меня окончательно побивает. И я, господа, теперь уверен, что из этой бани я несколько дней не уйду, — вот посмотрите.

Окружающие говорят заведующей:

— Слушайте, мадам, может, тут у вас в бане есть муж и, может быть, он у вас имеет лишние брюки. Тогда дайте им в самом деле их на время поносить. А то они страшно полнеют. И не понимают, как им теперь домой дойти.

Заведующая говорит:

— В дамском отделении у меня полная тишина, а на этой половине ежедневно происходит все равно как извержение вулкана. Нет, господа, я тут отказываюсь быть заведующей. У меня муж в Вятке работает. И ни о каких, конечно, штанах не может быть и речи. Тем более что сегодня это уже второе заявление о краже. Хорошо, что в первый раз украли мелочи. А то бы ко мне опять приставали с брюками. Тогда, господа, вот что: если есть у кого-нибудь какие-нибудь запасные штаны, то дайте им, а то мне на них прямо тяжело глядеть. У меня мигрень начинает разыгрываться от всех этих волнений.

Банщик говорит:

— Хорошо, я опять дам свои запасные штаны. Но вообще надо будет сшить наконец казенные. У нас часто воруют

ют, и в этот месяц у меня прямо сносили мои штаны. То один возьмет, то другой. А это мои собственные.

Вот банщик дает нашему технику ситцевые штаны, а один из моющихся дает куртку и шлепанцы. И вскоре наш друг, с трудом сдерживая рыдания, облачается в этот музейный наряд. И в таком нелепом виде он выходит из бани, мало чего понимая.

Вдруг после его ухода кто-то кричит:

— Глядите, вон еще чья-то лишняя жилетка валяется и один носок.

Тогда все обступают эти найденные предметы. Один говорит:

— Вероятно, это вор обронил. Поглядите хорошенько жилетку, нет ли там в карманах чего. Многие в жилетках документы держат.

Выворачивают карманы и вдруг там находят удостоверение. Это пропуск на имя Селифанова, служащего в центральной пошивочной мастерской.

Тут всем становится ясно, что воровские следы уже найдены.

Тогда заведующая бойко звонит в милицию, и через два часа у этого Селифанова устраивается обыск.

Селифанов страшно удивляется и говорит:

— Чего вы, обалдели, господа? У меня у самого сегодня в этой бане вещи украли. И я даже делал об этом заявление. А что касается этой моей жилетки, то ее, наверно, вор обронил.

Тут перед Селифановым все извиняются и говорят ему: это недоразумение.

Но вдруг заведующий пошивочной мастерской, где служил этот Селифанов, говорит:

— Да, я уверен, что вы сами в бане пострадали. Но скажите, откуда у вас этот кусок драпа, что лежит в сундуке? Этот драп из нашей мастерской. Его у нас не хватает. И вы его наверно взяли. Хорошо, что я из любопытства пришел вместе с обыском.

Селифанов начинает лепетать разные слова, и вскоре он признается в краже этого драпа.

Тут его моментально арестовывают. И на этом заканчивается банная история и начинаются уже другие дела. Так что мы и помолчим, чтобы не смешивать две темы.

В общем, и бани, и моющиеся там люди, казалось бы, могли за последнее время подтянуться и выглядеть еще более эффектно. В банях могли бы чего-нибудь особенное придумать на этот счет, а люди могли бы не воровать имущество в таких ответственных местах.

Но тут в сравнении с другими учреждениями еще плетутся в хвосте.

И это очень жаль.

А что мы сказали насчет других учреждений, то там, конечно, тоже иногда бывают неудачи.

Вот, например, порядочная неудача, с которой мы однажды столкнулись в городском учреждении по охране бульваров и зеленых насаждений.

Вот что там со мной произошло.

Страдания молодого Вертера

Я ехал однажды на велосипеде.

У меня довольно хороший велосипед. Английская марка — Б.С.А.

Приличный велосипед, на котором я иногда совершаю прогулки для успокоения нервов и для душевного равновесия.

Очень хорошая, славная современная машина. Жалко только — колеса не все. То есть колеса все, но только они сборные. Одно английское — «Три ружья», а другое немецкое — «Дукс». И руль украинский. Но все-таки ехать можно. В сухую погоду.

Конечно, откровенно говоря, ехать сплошное мученье, но для душевной бодрости и когда жизнь не особенно дорога — я выезжаю.

И вот, стало быть, еду однажды на велосипеде.

Каменноостровский проспект. Бульвар. Сворачиваю на боковую аллею вдоль бульвара и еду себе.

Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая травка. Грядки с увядшими цветочками. Желтые листья на дороге. Чухонское небо надо мной.

Птички щебечут. Ворона клюет мусор. Серенькая собачка лает у ворот.

Я гляжу на эту осеннюю картинку, и вдруг сердце у меня смягчается, и мне неохота думать о плохом. Рисуеться замечательная жизнь. Милые, понимающие люди. Уважение к личности. И мягкость нравов. И любовь к близким. И отсутствие брани и грубости.

И вдруг от таких мыслей мне захотелось всех обнять, захотелось сказать что-нибудь хорошее. Захотелось крикнуть: «Братцы, главные трудности позади. Скоро мы заживем, как фон-бароны».

Но вдруг раздается вдалеке свисток.

«Кто-нибудь проштрафился, — говорю я сам себе, — кто-нибудь, наверное, не так улицу перешел. В дальнейшем, вероятно, этого не будет. Не будем так часто слышать этих резких свистков, напоминающих о проступках, штрафах и правонарушениях».

Снова недалеко от меня раздается тревожный свисток и какие-то окрики и грубая брань.

«Так грубо, вероятно, и кричать не будут. Ну, кричать-то, может быть, будут, но не будет этой тяжелой, оскорбительной брани».

Кто-то, слышу, бежит позади меня. И кричит осипшим голосом:

— Ты чего ж это, сука, удираешь, черт твою двадцать! Остановись сию минуту.

«За кем-то гонятся», — говорю я сам себе и тихо, но бодро еду.

— Лешка, — кричит кто-то, — забегай, сволочь, слева. Не выпускай его из виду!

Вижу — слева бежит парнишка. Он машет палкой и грозит кулаком. Но я еще не вижу, к кому относятся его угрозы.

Я оборачиваюсь назад. Седоватый почтенный сторож бежит по дороге и орет что есть мочи:

— Хватай его, братцы, держи! Лешка, не выпускай из виду!

Лешка прицеливается в меня, и палка его ударяет в колесо велосипеда.

Тогда я начинаю понимать, что дело касается меня. Я соскакиваю с велосипеда и стою в ожидании.

Вот подбегает сторож. Хрип раздается из его груди. Дыханье с шумом вырывается наружу.

— Держите его! — кричит он.

Человек десять доброхотов подбегают ко мне и начинают хватать меня за руки. Я говорю:

— Братцы, да что вы, обалдели! Чего вы с ума спятили совместно с этим постаревшим болваном?

Сторож говорит:

— Как я тебе ахну по зубам, — будешь оскорблять при исполнении служебных обязанностей... Держите его крепче... Не выпускайте его, суку.

Собирается толпа. Кто-то спрашивает:

— А что он сделал?

Сторож говорит:

— Мне пятьдесят три года, — он, сука, прямо загнал меня. Он едет не по той дороге... Он едет по дорожке, по которой на велосипедах проезду нет... И висит, между прочим, вывеска. А он, как ненормальный, едет... Я ему свищу. А он ногами кружит. Не понимает, видите ли. Как будто он с луны свалился... Хорошо, мой помощник успел остановить его.

Лешка протискивается сквозь толпу, впивается своей клешней в мою руку и говорит:

— Я ему, гадюке, хотел руку перебить, чтоб он не мог схватить.

— Братцы, — говорю я, — я не знал, что здесь нельзя ехать. Я не хотел удирать.

Сторож, задыхаясь, восклицает:

— Он не хотел удирать! Вы видели наглые речи. Водите его в милицию. Держите его крепче. Такие у меня всегда убегают.

Я говорю:

— Братцы, я штраф заплачу. Я не отказываюсь. Не вертите мне руки.

Кто-то говорит:

— Пушай предъявит документы, и возьмите с него штраф. Чего его зря волочить в милицию? Провинность у него, в сущности, не так крупная.

Сторожу и нескольким добровольцам охота волочить меня в милицию, но под давлением остальной публики сторож, страшно ругаясь, берет с меня штраф и с видимым сожалением отпускает меня восвояси.

Я иду со своим велосипедом, покачиваясь. У меня шумит в голове и в глазах мелькают круги и точки. Я бреду с развороченной душой. Я по дороге стгоряча произношу

нелепую фразу: «Боже мой». Я массирую себе руки и говорю в пространство: «Фу!»

Я выхожу на набережную и снова сажусь на свою машину, говоря:

«Ну ладно, чего там. Подумаешь — нашелся фон-барон, руки ему не верти».

Я тихо еду по набережной. Я позабываю грубоватую сцену. Мне рисуются прелестные сценки из недалекого будущего.

Вот я, предположим, еду на велосипеде с колесьями, похожими друг на друга как две капли воды.

Вот я сворачиваю на эту злосчастную аллею. Чей-то смех раздается. Я вижу — сторож идет в мягкой шляпе. В руках у него цветочек — незабудка или там осенний тюльпан. Он вертит цветочком и, смеясь, говорит:

— Ну куда ты заехал, дружок? Чего это ты сдуру не туда сунулся? Экий ты, милочка, ротозей. А ну валяй обратно, а то я тебя оштрафую — не дам цветка.

Тут, тихо смеясь, он подает мне незабудку. И мы, полюбовавшись друг другом, расстаемся.

Эта тихая сценка улаживает мое страдание. Я бодро еду на велосипеде. Я верчу ногами. Я говорю себе: «Ничего. Душа не разорвется. Я молод. Я согласен сколько угодно ждать».

Снова радость и любовь к людям заполняют мое сердце. Снова им хочется сказать что-нибудь хорошее или крикнуть: «Товарищи, мы строим новую жизнь, мы победили, мы перешагнули через громадные трудности, — давайте все-таки уважать друг друга».

С переполненным сердцем я вернулся домой и записал эту сценку, которую вы сейчас читаете.

Это случилось в прошлом году, и с тех пор подобных происшествий с нами уже не было, из чего мы заключаем, что подобное боевое настроение среди служащих по охране зеленых насаждений идет на убыль. И это очень хорошо. А то это слишком неприятная неудача, с которой следует бороться со всей энергией.

Другой случай весьма досадной неудачи мы как-то раз наблюдали в деревне, среди полей и равнин. И он нас не менее огорчил, чем этот.

Рассказ об имениннице

Однажды я поехал в деревню Борки. Мне туда надо было по делу.

От станции до этой деревни было не так много. Может быть, километра три. Но пешком я идти не рискнул. Весенняя грязь буквально доходила до колена.

Возле самой станции, у кооператива, стояла крестьянская подвода. Немолодой мужик в зимней шапке возился около лошади.

— А что, дядя, — спросил я, — не подвезешь ли меня до Борок?

— Подвезти можно, — сказал мужик, — только даром мне нет расчета тебя подвозить. Рублишко надо мне с тебя взять, милый человек. Дюже дорога трудная. Воды много.

Я сел в телегу, и мы тронулись.

Дорога, действительно, была аховая. Казалось, дорога была в свое время специально устроена с тем тонким расчетом, чтобы вся весенняя дрянь со всех окрестных полей стекала именно сюда. Жидкая грязь покрывала почти полное колесо.

— Грязь-то какая, — сказал я.

— Воды, конечно, много, — равнодушно ответил мужик.

Он сидел на передке, свесив вниз ноги, и непрестанно цокал на лошадь языком.

Между прочим, цокал он языком абсолютно всю дорогу. И только когда переставал цокать хоть на минуту, лошадь поводила назад ушами и добродушно останавливалась.

Мы отъехали шагов сто, как вдруг позади нас, у кооператива, раздался истошный бабий крик.

И какая-то баба в сером платке, сильно размахивая руками и ругаясь на чем свет стоит, торопливо шла за телегой, с трудом передвигая ноги в жидкой грязи.

— Ты что ж это, бродяга! — кричала баба, доходя в некоторых словах до полного визгу. — Ты кого ж посадил-то, черт рваный? Обормот, горе твое луковое!

Мой мужик оглянулся назад и усмехнулся в бородачку.

— Ах, паразит-баба, — сказал он с улыбкой, — кроет-то как!

— А чего она? — спросил я.

— А пес ее знает, — сказал мужик, сморкаясь. — Не иначе как тоже в телегу ладит. Неохота ей, должно стать-ся, по грязи хлюпать.

— Так пушай сядет, — сказал я.

— Трех не можно увезти, — ответил мужик, — дюже дорога трудная.

Баба, подобрав юбки чуть ли не до живота, нажимала все быстрее, однако по такой грязи догнать нас было трудновато.

— А ты что, с ней уговорился, что ли? — спросил я.

— Зачем уговорился? — ответил мужик. — Жена это мне. Что мне с ней зря уговариваться?

— Да что ты?! Жена? — удивился я. — Зачем же ты ее взял-то?

— Да увязалась баба. Именинница она, видишь, у меня сегодня. За покупками мы выехали. В кооператив... Эвон, гляди, как нажимает. Аи, ей-богу, смехота...

Мне, городскому человеку, ужасно как стало неловко ехать в телеге, тем более что именинница крыла теперь все громче и громче и меня, и моих родных, и своего полупочтенного супруга.

Я подал мужику рубль, прыгнул с телеги и сказал:

— Пушай баба сядет. Я пройдусь.

Мужик взял рубль и, не снимая с головы шапки, засунул его куда-то под волосы.

Однако свою именинницу он не стал ждать. Он снова зацокал языком и двинул дальше.

Я мужественно шагал рядом, держась за телегу рукой, потом спросил:

— Ну, что ж не сажаешь-то?

Мужик тяжело вздохнул:

— Дорога дюже тяжелая. Не можно сажать сейчас... Да ничего ей, бабе-то. Она у меня, дьявол, двужилъная.

Я снова на ходу влез в телегу и доехал до самой деревни, стараясь теперь не глядеть ни на моего извозчика, ни на именинницу. По дороге мужик сказал:

— Я, видишь ли, собственно, лошадь жалею. Тем более мы не в колхозе. А мы — единоличники. А то я бабу обязательно бы посадил. На казенную лошадь. А эту я берегу. Тем более баба у меня может ходить сколько угодно. По самым худым дорогам.

Я говорю мужику:

— Все-таки она именинница. Надо было бы ее уважить.

— Дома я ее непременно уважу, — сказал мужик. — Но тут дорога тяжелая, и ты еще влез.

Через полчаса мы приехали.

Мужик сказал:

— Дорога дюже тяжелая, вот что я скажу. За такую дорогу надо тройка брать с вас, городских. Кажется, видел, я бабу не посадил — до чего тяжелый путь.

Я говорю:

— Против цены не спору.

И стал с ним расплачиваться.

А когда расплатился, вдруг подошла именинница. Поткатил с нее градом. Она одернула свои юбки и, не глядя на супруга, сказала:

— Выгружать, что ли?

— Конечно, выгружать, — сказал мужик, — не до лету лежать товару.

Именинница подошла к телеге и стала выгружать покупки, унося их в дом.

Я подарил имениннице пять целковых и с расстроенной душой пошел по своим делам.

А когда возвращался обратно в город, то думал о деревенской жизни. И о таких нравах, которые даже и не записаны в литературе.

Вот, дорогие друзья, какого сорта бывают неудачи. Хорошо, что они сменяются удачами.

И как это, правда, хорошо и вполне удачно, что теперешняя перемена в деревне как раз ударила по таким мужьям, у которых такие именинницы. И ударила по такому быту, который мы развернули перед вами всего лишь на одной страничке.

И мы теперь имеем превеликую надежду, что там вскоре рассыплется в прах весь, как говорится, дурацкий строй старой деревенской жизни.

И, может быть, тут-то и лежала одна из крупнейших неудач российской жизни.

Так что вот вам пример неудачи, который нам с вами говорит о нужных переменах.

Теперь, друзья, не угодно ли махнуть с нами в город. Там с нами случилась маленькая неудача. И мы, так сказать, для смеха хотим вам о ней рассказать.

Мелкий случай из личной жизни

Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно если сбоку поднапрут да сзади какой-нибудь архаровец на задник наступит, — вот вам и нет галоши.

Галошу потерять — прямо пустяки.

С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел.

В трамвай вошел — обе галоши стояли на месте, как сейчас помню. Еще рукой потрогал, когда влезал, — тут ли? А вышел из трамвая — гляжу: одна галоша здесь как миленькая, а другой нету. Сапог — здесь. И носок, гляжу, здесь. И подштанники на месте. А одной галоши нету.

А за трамваем, конечно, не побежишь.

Снял галошу, которая осталась, завернул в газету и пошел так. После работы, думаю, пушусь на розыски. Не пропадать же товару. Где-нибудь да раскопаю.

После работы пошел искать. Первым делом — посоветовался с одним знакомым вагоновожатым.

Тот прямо вот как меня обнадежил.

— Скажи, — говорит, — спасибо, что в трамвае потерял. Это тебе очень поперло, что ты именно в трамвае потерял. В другом общественном месте — не ручаюсь, а в трамвае потерять — святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело!

— Ну, — говорю, — спасибо. Прямо гора с плеч. Главное, галоша почти что новенькая. Всего третий сезон ношу.

На другой день поехал в камеру.

— Нельзя ли, — говорю, — братцы, галошу заполучить обратно? В трамвае сняли.

— Можно, — говорят. — Какая галоша?

— Галоша, — говорю, — обыкновенная какая. Размер — двенадцатый номер.

— У нас, — говорят, — двенадцатого номера, может, двенадцать тысяч. Расскажи приметы.

— Приметы, — говорю, — обыкновенно какие: задник, конечно, обтрепан, внутри байки нету, — сносились байка.

— У нас, — говорят, — таких галош, может, больше тысячи. Нет ли специальных признаков?

— Специальные, — говорю, — признаки имеются. Носок вроде бы начисто оторван, еле держится. И каблука, — говорю, — почти что нету. Сносился каблук. А бока, — говорю, — еще ничего, пока что удержались. Галоша, — говорю, — конечно, не новенькая, но дорога как память о потраченных деньгах.

— Посиди, — говорят, — тут. Сейчас посмотрим.

Вдруг выносят мою галошу.

То есть ужасно обрадовался. Прямо умилился. Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю, идейные люди, сколько хлопот на себя приняли из-за одной галоши. Я им говорю:

— Спасибо, — говорю, — друзья, по гроб жизни. Давайте поскорей ее сюда. Сейчас я надену. Благодарю вас.

— Нету, — говорят, — уважаемый товарищ, не можем дать. Мы, — говорят, — не знаем, может, это не вы потеряли.

— Да я же, — говорю, — потерял. Что вы, объелись?

Они говорят:

— Верим и вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это вы потеряли именно эту галошу. Но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял галошу. Пущай домоуправление заверит этот факт, и тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял.

— Братцы, — говорю, — святые товарищи, да в доме не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги.

— Дадут, — говорят, — это ихнее дело дать. На что они у вас существуют?

Поглядел я еще раз на галошу и вышел.

На другой день пошел к председателю нашего дома.

— Давай, — говорю, — бумагу. Галоша гибнет.

— А верно, — говорит, — потерял? Или закручиваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба?

— Ей-богу, — говорю, — потерял.

Он говорит:

— Конечно, на слова я не могу положиться. Вот если бы ты мне удостоверение достал с трамвайного парка, что галошу потерял, — тогда бы я тебе выдал бумагу. А так не могу.

Я говорю:

— Так они же меня к вам посылают.

Он говорит:

— Тогда, — говорит, — напиши мне в крайнем случае заявление.

Я говорю:

— А что там написать?

Он говорит:

— Пиши: сего числа пропала галоша. И так далее. Даю, дескать, расписку о невыезде впредь до выяснения.

Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил.

Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою галошу.

Только когда надел галошу на ногу, почувствовал полное умиление. Вот, думаю, люди работают! Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с моей галошей столько времени? Да выкинули бы ее с трамвая — только и делов. А тут неделю не хлопотал, выдают обратно. Одно досадно, за эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее под мышкой в пакете — и не помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в трамвае. Это гиблое дело, что не в трамвае. Ну где ее искать?

Но зато другая галоша у меня. Я ее на комод поставил. Другой раз станет скучно — взглянешь на галошу, и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает.

Рассказали вам эту историю и теперь пугаемся, как бы трамвайщики на нас не обиделись. А чего обижаться? Наверное, они уже эти свои недочеты поправили. И, наверное, у них галоши выдаются еще более проще. Тем более это было еще в тридцатом году. А с тех пор я ничего не терял. Так что не могу удовлетворить ваше любопытство.

А в общем, тут дело даже не в трамвае, а в самой закрыченной психологии. А поскольку с этой психологией идет борьба и вообще канцелярия выравнивается, то об чем же может быть и речь. Конечно, это борьба нелегкая. Тем более подобная психология есть скорей всего глупость. А глупость — не головная боль, которая от порошка проходит.

В общем, другой мелкий случай из области подобных неудач произошел на этом фронте уже не со мной, а с другим. Вот что с ним случилось.

Интересное происшествие в канцелярии

Недавно один уважаемый товарищ Кульков, Федор Алексеевич, изобрел способ против бюрократизма. Вот государственная башка-то!

А способ до того действительный, до того дешевый, что надо бы патент взять, да, к глубокому сожалению, Федор Алексеевич Кульков в тюрьме сидит за свой опыт. Нет пророка в отечестве своем.

А против бюрократизма Федор Кульков такой острый способ придумал.

Кульков, видите ли, в одну канцелярию ходил очень часто. По одному своему делу. И не то он месяц туда ходил, не то два. Ежедневно. И все никаких результатов. То есть не обращают на него внимания бюрократы, хоть плачь. Не отыскивают ему его дела. То в разные этажи посылают. То завтраками кормят. То просто в ответ грубо сморкаются.

С одной стороны, это было даже удивительно наблюдать к нему такое бюрократическое отношение. Поскольку канцелярия сейчас у нас находится на большой высоте.

А с другой стороны, было отчасти понятно. Они осе- нью переезжали в другое помещение и это кульковское дело куда-то засунули. Или они его потеряли. Они, во всяком случае, не могли его сразу найти. И вдобавок, наверно, ис-кали без особой охоты.

И вот, естественно, тянули. Хотели, может, на сроках отыграться. Там, думают, отыщут в дальнейшем. Либо, думают, посетитель захворает и помрет. И тогда все само собой встанет на место. Не надо будет искать. Либо еще чего-нибудь будет.

Может быть, они так подумали и стали тянуть с ним канитель. И вдобавок ему об этих подробностях ничего не говорили. Стеснялись это ему в глаза сказать.

И он как дурак знай себе ходит в эту канцелярию.

И там, естественно, он всех возненавидел.

Он прямо не мог видеть уже этих канцелярских работников, которые сидели за своими столами и что-то такое делали.

Он приходил в ужас от них. Но крепился.

И только говорил с ними немного более визгливо, чем полагается. Но все-таки сдерживался.

Однажды он пришел туда и думает:

«Если сегодня дело не кончу, то я так думаю, они меня еще свыше месяца затаскают».

И с этими мыслями он спрашивает кого-то там:

— Ну как?

Тот говорит:

— Еще, — говорит, — не прояснилось.

Наш Кульков в смятении чувств выбегает от этого работника, чтоб скорей выйти на улицу отдышаться.

И вдруг на пути, в одной комнате, видит такую возмутительную картину.

Сидит за столом какой-то средних лет бюрократ и абсолютно ничего не делает. Он ноготки себе полирует и пошвыстывает. И сам напыщенный. Развалившись сидит в кресле. И слегка ногой болтает. Салон-вагон.

То есть эта картина прямо вывела из себя нашего терпеливого Кулькова.

Он и так-то взволнованный выскочил из кабинета. А тут вдруг нарывается на подобный пейзаж.

Наверное, Кульков подумал:

«Я хожу свыше месяца в это учреждение, мне тут морочили голову и учиняют такую волокиту, а тут наряду с этим сидят бюрократы подобного типа. Нет, я не могу терпеть».

И, возмущившись еще больше, подходит до этого чиновника и, мало чего соображая, ударяет его наотмашь.

Тут свалился этот бюрократ со своего венского кресла. Кричит.

Тут другие бюрократы сбежались со всех сторон. Схватили Кулькова и держат, чтобы он не ушел.

Битый, приподнявшись, говорит:

— Я, — говорит, — по делу пришедши и с утра не жравши сижу. И если, — говорит, — меня натошак по морде еще хлопать начнут в этом учреждении, то я, — говорит, — категорически от этого отказываюсь.

Кульков то есть до крайности удивился от этих слов. Он говорит:

— Неужели вы не здесь работаете, а вы посетитель?

Побитый говорит:

— Да. Я к ним второй месяц хожу за своим делом. И они все тянут. И уж меня-то, во всяком случае, не надо было трогать. В том-то и дело, что я посетитель. А если б я

был из тутошних, то я, может быть, ничего бы вам и не сказал.

Кульков говорит ему:

— Пардон, товарищ, я прямо не знал. Я думал, вы среди них бюрократ и ничего не делаете, так себе сидите за столом.

Битый говорит:

— Я тут попривык у них, вот и сел за стол. А вы меня вдруг бьете.

Какие-то начальники в это время орут:

— Отыскать туда-сюда кульковское дело. Это он еще что за фрукт. Надо поглядеть в его бумаги.

Побитый говорит:

— Позвольте, почему же такая привилегия бьющему? Пуцай тогда и мое дело отыщут. Фамилия — Обрезкин.

Те кричат:

— Отыскать туда-сюда и Обрезкина дело.

Обрезкин говорит Кулькову:

— Теперь, кажется, они найдут. Без вас бы, кажется, этого не случилось.

Кульков говорит:

— Скажите спасибо. Без меня бы вы тут совсем закисло.

Тут, меньше чем в час, отыскали оба эти дела.

Кулькову говорят:

— Вот ваши бумаги, получите на руки, но за битье в нашем учреждении ответите по закону.

Потом обращаются до Обрезкина и говорят ему:

— А что касается вас, молодой человек, то вы вообще ошиблись учреждением. Вам надо в собес, а не к нам. Так что вы схлопотали себе по морде отчасти даже зря. И это уж целиком ваша неудача.

Тут рассерженный Обрезкин уходит. А на Кулькова составляют протокол. И потом за мордобой дают ему месяц заключения.

И правильно. Нельзя так поступать и горячиться. А уж лучше пожаловаться, чем лезть в физиономию.

Но неудача, собственно, тут даже не в том, что Обрезкина побили, а в том, что среди конторского труда бывает еще такая забывчивость на бумаги. Но это, конечно, мелочь, пустяки на общем фоне жизни.

Между прочим, совсем другое, более крупное дело, чем с этим Кульковым, произошло однажды с одним поэтом. С ним произошла огромная неудача.

Он приезжий поэт. Он недавно побывал у нас в ленинградском Литфонде, где ему пришлось выдать сто целковых на дорогу.

Вот что с ним случилось. Он нам подробно рассказал о своей неудаче. А то иначе он не получил бы это пособие. Так что эту свою историю он поведал нам скорее по необходимости, чем по общительности характера. Вот его поэтическая история, которая обошлась Литфонду в сто рублей.

Мы ее, кстати, рассказываем более коротко, чем поэт. Поэту крайне нужны были деньги на дорогу, и потому он старался не пропускать подробностей, чтоб не уменьшить дело в его психологическом значении.

Мы же расскажем вам это своими словами, без особых тонкостей, но со знанием сердца мужчины.

Романтическая история с одним начинающим поэтом

Один молодой поэт, довольно интересной волевой наружности, автор книги «Навстречу жизни», влюбился на курорте в одну недуренькую особу.

Она не была поэтесса; но она имела все время склонность к поэзии, и от этого наш поэт совершенно от нее растаял.

Кроме того, она вдобавок понравилась ему как тип. То есть ее наружность соответствовала его идеалам.

Она была из блондинок, в то время как там у них на юге, он говорит, преобладали все больше черноватые, которые не вызывали у него поэтических эмоций. Тем более что он был лирик и, как он говорит, певец революционных будней. В результате чего он и влюбился в эту особу до потери сознания.

Ну, вообще — поэт. Мировоззрение. Пылкая, забывчивая натура. Стихи пишет. Любитель цветов и хорошо покушать. И ему всякая красота доступна. И он психологию понимает. Знает дам. И верит в их назначение.

Он встретил ее на южном побережье, куда он прибыл в сентябре месяце по путевке. И она тоже со своей путевкой прибыла туда же в сентябре.

И там они имели неожиданное счастье встретиться. Они там познакомились. И у него возникло чувство к ней. И она тоже им исключительно увлеклась.

И у них там целый месяц прошел как в утаре.

С одной стороны, море, природа, беззаботная жизнь на готовом питании, с другой стороны — понимание с пол-слова, поэзия, переживания, красота.

То есть как во сне промелькнули все дни, которые были один другого лучше.

И вот ударило время разлуки. Наступило время расставанья.

Она вернулась к себе в Ленинград и приступила там к завершению курса каких-то там исключительных наук. А он прибыл к себе в Ростов или куда-то там в эти места.

И там продолжал свою поэзию.

Но там он продолжать ее не мог, поскольку ему вспоминалась его особа. Он там тосковал по ней. И, будучи лириком, грустил.

И вот, просидев пару недель в своем южном городе, он вдруг моментально сложился и, никому ничего не сказав, дернул к своей особе в далекий Ленинград.

Он только в последний момент сказал своей супруге:

— Возникло чувство к другой. Расстаемся. Деньги буду посылать почтой.

И с этими словами махнул в Ленинград. Тем более она его туда усиленно звала. Она ему говорила:

— Приезжай скорей. Я живу там совершенно одиноко. Совсем одна. Кончаю курс науки. Ни от кого не завишу. И мы там будем продолжать наше чувство.

И теперь, перебирая в своей памяти эти нежные слова, полные глубокого значения, наш поэт лихорадочно спешил поскорей с ней встретиться.

И он даже удивлялся, как это он не сообразил сразу выехать к ней, раз имелись такие великолепные предпосылки.

Короче говоря, он прибыл к ней и вскоре держал ее в своих объятиях.

И они оба были так довольны, что и сказать нельзя. Она его спросила: «Надолго ли?» И он ей поэтически ответил: «Навсегда!»

И они опять были очень довольны.

Но он у ней остановиться не мог, поскольку она жила не одна в общегитии.

Не без некоторого волнения он вдруг увидел в ее уютной комнате четыре постели, при виде которых сердце оборвалось в его груди.

Она сказала:

— Живу с тремя подругами по образованию.

Он сказал:

— Я это вижу и недоумеваю. Вы мне сказали о своем одиночестве, через что я и имел смелость приехать. Вы, кажется, мне прихвастнули.

Она сказала:

— Я это сказала: «живу одиноко» — не в смысле комнаты, а в смысле чувства и брака.

Он сказал:

— Ах, вон что. В таком случае это недоразумение.

После чего они снова обнялись и долго не могли друг на друга налюбоваться. Он сказал:

— Ну ничего. Я пока буду жить в гостинице. А там мы посмотрим. Может быть, вы кончите образование, или, может быть, я напишу какие-нибудь ценные стихи.

И она сказала:

— Вот и хорошо.

Он переехал в гостиницу «Гермес» и там стал с ней жить.

Но он порядочно уже поистратился и недоумевал, что же, собственно, будет дальше. К тому же, на его несчастье, сразу после его приезда она была два дня подряд именинница. То есть один день у нее были ее именины. И наш поэт, зная немного жизнь, было уже совсем успокоился. Но на второй день, без перерыва, ударило вдруг ее рождение. И наш поэт совершенно обезумел от трат на это. На первый день он ей купил кондитерский крендель. И думал — только и делов. Но, узнавши об рождении, он растерялся и купил ей бусы. Каково же было его удивление, когда она, получив бусы, вдобавок сказала:

— Сегодня, по случаю моего дня рождения, я бы хотела в этих бусах пройти с вами в какой-нибудь коммерческий ресторан.

И при этом она сказала ему еще что-то про Блока, который в свое время тоже любил почем зря бывать в ресторанах и в кондитерских.

И хотя он ей ответил уклончиво:

— То Блок... — но все-таки вечером он с ней побывал в ресторане, где страдания его достигли наивысшей силы

по случаю порционных цен, о которых в Ростове слышали только мельком.

Нет, он не был скуп, наш поэт, но он, так сказать, совершенно вытряхнулся. И к тому же, имея мелкобуржуазную сущность, он ей не решился сказать о своем крайнем положении. Хотя намекал, что в гостиницах ему беспокойно. Но она, подумав о его нервности, сказала:

— Надо взять себя в руки.

Он пытался взять себя в руки. И в день ее рождения попробовал было оседлать свою поэтическую музу, чтоб настрочить хотя бы несколько мелких стихотворений на предмет, так сказать, продажи в какой-нибудь журнал.

Но не тут-то было. Муза ему долго не давалась, а когда далась, то поэт просто удивился от того, что у него с ней получилось. Во всяком случае, по прочтении продукции ему стало ясно, что не может быть и речи о гонораре. Получилось нечто неслыханное, что поэт приписал отчасти своей торопливости и беспокойствию духа.

Тогда наш молодой поэт, подумав о превратностях судьбы и о том, что поэзия — дело, в сущности, темное, не способствующее ведению легкой жизни, продал на рынке свое пальто.

И налегке побывал со своей барышней там, где она того хотела.

После чего он рассчитывал пару дней прожить легко, стараясь ни о чем не думать, так сказать, в полное свое удовольствие, снимая пенки с блестящего ресторанного вечера. И только уже после этого он решил обдумать свое положение. И как-нибудь извернуться. В крайнем случае он надумал признать некоторую сумму у своей особы.

Но на другой день после ее рождения вдруг ударил в Ленинграде ранний мороз. И наш поэт в легком пиджачке стал на улице попрыгивать, говоря, что он совершенно закалился там у себя на юге и потому так ходит почти без ничего.

В общем, он простудился. И слег в своей гостинице «Гермес». Но там удивились его нахальству и сказали, что прежде следует заплатить за номер, а потом хворать.

Но все же, узнав, что он поэт, отнеслись к нему гуманно и сказали, что вплоть до выздоровления они его не тронут. После каковых слов поэт совершенно ослаб физически и дней шесть не поднимался с постели, ужасаясь, что

даже за лежачего жильца в советских условиях насчитываются за номер те же суточные деньги.

Барышня его посещала и приносила ему пожрать, а то ему пришлось бы совсем невероятно. И, может быть, он даже бы не поправился.

После выздоровления поэт было думал снова на пушку поймать свою музу. Но та вовсе отказала что-либо путное ему присочинить. И поэт до того упал духом, что дал себе обещание, в случае если он выпутается благополучно из создавшегося положения, непременно найти службу, чтоб не полагаться в дальнейшем на чистое искусство.

Правда, после того как у него в номере побывал директор гостиницы, поэт еще в третий раз пробовал приблизиться к своей поэзии, но, кроме как трех строк, ему ничего не удалось из себя выжать:

В который раз гляжу на небо
И слышу там пропеллеров жужжанье,
И кто-то вниз сигает на...

Но уже слова «на парашюте» никак не входили в размер стиха. А сказать «с парашютом» он не рисковал, не зная авиационной терминологии. После чего поэт окончательно захандрил и сложил оружие.

Мечты же занять у своей подружки оказались тоже нереальны. К его удивлению, в тот самый момент, когда он было решился ей сказать об этом, она сама ему сказала о том же, но только про себя, а не про него. Так что поэт, ослабший от болезни, не сразу даже и понял всей остроты ситуации. Она сказала, что ей до получения пособия осталась ровно неделя и что если он сможет, то пусть ей кое-что одолжит, тем более что она ему покупала еду во время болезни.

Он сказал: «Непременно».

И после ее ухода решил ликвидировать свой коверковый костюм.

Он продал на рынке костюм, отчасти устроился со своими делами и в одной майке и в спортивных брючках вдруг в один прекрасный день явился к нам в ленинградский Литфонд, где и рассказал нам эту свою историю.

И мы ему дали за этот рассказ сто рублей на билет, с тем чтоб он ехал к себе на родину.

И он нам сказал:

— Эта сумма мне хватит, чтобы уехать. А я бы желал прожить еще тут неделю. Мне бы этого очень хотелось.

Но мы ему сказали:

— Уезжайте теперь. И лучше всего устройтесь там у себя на работу. И параллельно с этим пишите иногда хорошие стихи. Вот это будет правильный для вас выход.

Он сказал:

— Да я так, пожалуй, и сделаю. И я согласен, что молодые авторы должны, кроме своей поэзии, опираться еще на что-нибудь другое. А то вон что получается. И это правильно, что за это велась кампания.

И, поблагодарив нас, он удалился. И мы, литфондовцы, подумали словами поэта:

О, как божественно соединение,
Извечно созданное друг для друга,
Но люди, созданные друг для друга,
Соединяются, увы, так редко.

На этом заканчивается история с начинающим поэтом, и начинается другая история, еще более исключительная.

Там совсем другое дело, чем с поэтом, случилось с одним работником. Причем то, что с ним случилось, для него была крупнейшая неудача, а для других — мы бы этого не сказали.

В общем, вот что с ним произошло.

Рассказ о человеке, которого вычистили из партии

Еще в первую чистку вычистили из партии одного человечка.

Он каким-то там у них был по линии инвалидов — парикмахеров и брадобреев.

Причем вычистили его по бытовому признаку, — он слишком выпивать любил. У него была такая вообще бурлацкая натура. Он чуть что, за воротник заливал. И не всегда твердо стоял на ногах.

Так что если он из брадобреев, а не в канцелярии, то он мог бы причинить физические увечья любому из клиен-

тов. Не говоря уж о порче пациентам мировоззрения и так далее.

В общем, его, наверное, я так думаю, вычистили под лозунгом «худая трава с поля вон».

И с этими словами его вычистили.

А больше никаких дел он за собой не замечал.

Он считал себя всецело на высоте положения. Он энергично работал, ни в чем таком особенном замешан не был, и вообще он удивился, зачем его вычистили.

Он очень что-то расстроился.

Думает: «Сколько лет я крепился и сдерживал порывы своей натуры. Сколько лет, — думает, — я себе ничего такого особенного не позволял. Вел себя порядочно. И не допускал никаких эксцессов. И вдруг — пожалуйста бриться. А что касается выпивки, то почему бы и не так?»

Комиссии он ничего не сказал, но подумал: «Ах, вот как».

И, значит, придя домой, хорошенько выпил, нахлестался, можно сказать, побил супругу, разбил стекла в дворницкой и исчез на пару дней.

Где он мотался — неизвестно. Только пришел с поколотой мордой, рваный и без пальто.

И жильцам сказал:

— Что меня вычистили, я никакого горя не имею. И даже напротив, я рад не встречаться больше с ненужной дисциплиной. Сколько лет, — говорит, — я сдерживался и портил себе кровь всякими преградами. И то нельзя, и это не так, и жену не поколотить. Но теперь это кончилось, аминь. Профессия моя хороша при всех режимах. Так что я плевал на вас всех, вместе взятых.

Жильцы удивились его словам. Но он сам сосчитал свои поступки правильными. И, снова надравшись, выбил в дворницкой то же самое окно, что только что вставили.

А в жакте он содрал со стены все лозунги и санитарные плакаты. И одним картонным плакатом с надписью: «Не пьет, не курит пионер — берите, взрослые, пример» — побил даже председателя.

И, в общем, за три дня он до того развязал свою натуру, что все в доме поразились — как это так.

И вдруг он откуда-то узнает или кто-то ему сказал, что хотя и вычистили, но опять как будто восстановили.

То есть что было, передать нет возможности.

Он мигом протрезвел и почистился. Собрал жильцов и им сказал:

— Бывают, друзья, происшествия. Умоляю вас, забудьте то, что эти дни видели. Меня, — говорит, — как это ни странно, кажется, восстановили.

И сам бежит куда полагается и там говорит:

— Вот так номер вы со мной учинили. Сначала так, а потом обратный ход даете. Это каждый может растеряться, как себя вести. Я, — говорит, — не знал и за эти промежуточные дни наделал делов. И если вам теперь пришлют на меня два протокола, то виноват не я, а обстоятельства.

Ему говорят:

— Тебя, товарищ, не восстановили, чего ты расстраиваешься. Это, действительно, один из товарищей про тебя сказал: «Он, кажется, ничего, только выпивает, так что вы, — говорит, — его, пожалуй, даже зря вычистили». Но теперь сомнения отпадают, поскольку такая картина.

Он говорит:

— Я не знал же.

Ему отвечают:

— Значит, ты не чистой воды пролетарий. Другой бы при всех ситуациях был как стеклышко. А ты чуть что — обнаружил свою свиную морду. Привет.

Так его и не приняли.

А он теперь сидит в своей комнате тихо и не бузит. Все думает — вот его позовут и скажут: видим, что ты на высоте положения, принят.

Но его не зовут. Поскольку теперь его хорошо знают.

Тут неудача человека в том, что он проявил себя во всем объеме. А для других как раз это была удача. И она бы возросла, если бы такое происшествие повторилось еще с кем-нибудь.

Между прочим, совсем другое дело, чем с этим тупицей, произошло недавно с одним стариком.

Старика никто ниоткуда не чистил, и ниоткуда никто его не выгонял. А он сам всех запутал своим поведением. И сам всех выгнал из квартиры.

Вот такая житейская неудача произошла с этим дураком в прошлом году.

Рассказ о беспокойном старике

У нас в Ленинграде один старичок заснул летаргическим сном.

Год назад он, знаете, захворал куриной слепотой. Но потом поправился. И даже выходил на кухню ругаться с жильцами по культурным вопросам.

А недавно он взял и неожиданно заснул.

Вот он ночью заснул летаргическим сном. Утром просыпается и видит, что с ним чего-то такое неладное. То есть, вернее, родственники его видят, что лежит бездыханное тело и никаких признаков жизни не дает. И пульс у него не бьется, и грудка не вздымается, и пар от дыхания не садится на зеркальце, если это последнее преподнести к ротуку.

Тут, конечно, все соображают, что старичок тихо себе скончался, и, конечно, поскорей делают разные распоряжения.

Они торопливо делают распоряжения, поскольку они всей семьей живут в одной небольшой комнате. И кругом — коммунальная квартира. И старичка даже поставить, извините, некуда, — до того тесно. Тут поневоле начнешь торопиться.

А надо сказать, что этот заснувший старикан жил со своими родственниками. Значит, муж, жена, ребенок и няня. И вдобавок он, так сказать, отец, или, проще сказать, папа его жены, то есть ее папа. Бывший трудящийся. Все как полагается. На пенсии.

И нянька — девчонка шестнадцати лет, принятая на службу на подмогу этой семье, поскольку оба-два — муж и жена, то есть дочь его папы, или, проще сказать, отца, — служат на производстве.

Вот они служат и, значит, под утро видят такое грустное недоразумение — папа скончался.

Ну, конечно, огорчение, расстройство чувств: поскольку небольшая комнатка и тут же лишний элемент.

Вот этот лишний элемент лежит теперь в комнате, лежит этакий чистенький, миленький старичок, интересный старичок. Он лежит свеженький, как увядшая незабудка, как скушанное крымское яблочко.

Он лежит и ничего не знает, и ничего не хочет, и только требует до себя последнего внимания.

Он требует, чтобы его поскорей во что-нибудь одели, отдали бы последнее «прости» и поскорей бы где-нибудь захоронили.

Он требует, чтобы это было поскорей, поскольку все-таки одна комната и вообще стеснение. И поскольку ребенок вякает. И нянька пугается жить в одной комнате с умершими людьми. Ну, глупая девчонка, которой охота все время жить, и она думает, что жизнь бесконечна. Она пугается видеть трупы. Она дура.

Муж, этот глава семьи, бежит тогда поскорей в районное бюро похоронных процессий. И скорее оттуда возвращается.

— Ну, — говорит, — все в порядке. Только маленько с лошадьми зацепка. Колесницу, — говорит, — хоть сейчас дают, а лошадей раньше как через четыре дня не обещают.

Жена говорит:

— Я так и знала. Ты, — говорит, — с моим отцом завсегда при жизни царапался и теперь не можешь ему сделать одолжение — не можешь ему лошадей достать.

Муж говорит:

— А идите к черту! Я не верховой, я лошадьми не заведую. Я, — говорит, — и сам не рад дожидаться столько времени. Очень, — говорит, — мне глубокий интерес все время твоего папу видеть.

Тут происходят разные семейные сцены. Ребенок, не привыкший видеть неживых людей, пугается и орет благим матом.

И нянька отказывается служить этой семье, в комнате которой живет покойник.

Но ее уговаривают не бросать профессию и обещают ей поскорей ликвидировать в комнате смерть.

Тогда сама мадам, уставшая от этих делов, поспешает в бюро, но вскоре возвращается оттуда бледная как полотно.

— Лошадей, — говорит, — обещают не так скоро. Если б мой муж, этот дурак, оставшийся в живых, записался, когда ходил, тогда через три дня. А коляску, — говорит, — действительно, хоть сейчас дают.

И сама одевает поскорей своего ребенка, берет орущую няньку и в таком виде едет в Сестрорецк — пожить у своих знакомых.

— Мне, — говорит, — ребенок дороже. Я не могу ему с детских лет показывать такие туманные картины. А ты как хочешь, так и делай.

Муж говорит:

— Я, — говорит, — тоже с ним не останусь. Как хотите. Это не мой старик. Я, — говорит, — его при жизни не особенно долбил, а сейчас, — говорит, — мне в особенности противно с ним вместе жить. Или, — говорит, — я его в коридор поставлю, или я к своему брату перееду. А он пуцай тут дожидается лошадей.

Вот семья уезжает в Сестрорецк, а муж, этот глава семьи, бежит к своему брату.

Но у брата в это время всей семьей происходит дифтерит, и его нипочем не хотят пускать в комнату.

Вот тогда он вернулся назад, положил заснувшего старичка на узкий ломберный столик и поставил это сооружение в коридор около ванной. И сам закрылся в своей комнате и ни на какие стуки и выкрики не отвечал в течение двух дней.

Тут происходит в коммунальной квартире сплошная ерунда, волынка и неразбериха.

Жильцы поднимают шум и вой.

Женщины и дети перестают ходить куда бы то ни было, говорят, что они не могут проходить мимо без того, чтобы не испугаться.

Тогда мужчины нарасхват берут это сооружение и переставляют его в переднюю, что, естественно, в высшей степени вызывает панику и замешательство у входящих в квартиру.

Заведующий кооперативом, живущий в угловой комнате, заявил, что к нему почему-то часто ходят знакомые женщины и он не может рисковать ихним нервным здоровьем.

Спешно вызвали домоуправление, которое никакой рационализации не внесло в это дело.

Было сделано предложение поставить это сооружение во двор.

Но управдом заявил:

— Это, — говорит, — может вызвать нездоровое замешательство среди жильцов, оставшихся в живых, и, главное, невзнос квартирной платы, которая и без того задерживается.

Тогда стали раздаваться крики и угрозы по адресу владельца старичка, который закрылся в своей комнате и сжигал теперь разные стариковские ошметки и оставшееся ерундовое имущество.

Решено было силой открыть дверь и водворить это сооружение в комнату.

Стали кричать и двигать стол, после чего покойник тихонько вздохнул и начал шевелиться.

После небольшой паники и замешательства жильцы освоились с новой ситуацией.

Они с новой силой ринулись к комнате. Они начали стучать в дверь и кричать, что старик жив и просится в комнату.

Однако запершийся долгое время не отвечал. И только через час сказал:

— Бросьте свои арапские штучки. Знаю — вы меня на плешь хотите поймать.

После долгих переговоров владелец старика попросил, чтобы этот последний подал свой голос.

Старик, не отличавшийся фантазией, сказал тонким голосом:

— Хо-хо...

Этот поданный голос запершийся все равно не признал за настоящий.

Наконец он стал глядеть в замочную скважину, предварительно попросив поставить старика напротив.

Поставленного старика он долго не хотел признать за живого, говоря, что жильцы нарочно шевелят ему руки и ноги.

Старик, выведенный из себя, начал буйнить и беспощадно ругаться, как бывало при жизни, после чего дверь открылась, и старик был торжественно водворен в комнату.

Побранившись со своим родственником о том о сем, оживший старик вдруг заметил, что имущество его исчезло и частично тлеет в печке. И нету раскидной кровати, на которой он только что изволил помереть.

Тогда старик, по собственному почину, со всем нахальством, присущим этому возрасту, лег на общую кровать и велел подать ему кушать. Он стал кушать и пить молоко, говоря, что он не посмотрит, что это его родственники, а подаст на них в суд за расхищение имущества.

Вскоре прибыла из Сестрорецка его жена, то есть дочь этого умершего папы.

Были крики радости и испуга. Молодой ребенок, не вдававшийся в подробности биологии, довольно терпимо отнесся к воскресению. Но нянька, эта шестнадцатилетняя дура, вновь стала проявлять признаки нежелания служить этой семье, у которой то и дело то умирают, то вновь воскресают люди.

На девятый день вдруг приехала белая колесница с факелами, запряженная в одну черную лошадь с наглазниками.

Муж, этот глава семьи, нервно глядевший в окно, чтоб забыться, первый увидел это прибытие.

Он говорит:

— Вот, папаня, наконец за вами приехали лошади.

Старик начал плевать и говорить, что он больше никуда не поедет.

Он открыл форточку и начал плевать на улицу, крича слабым голосом, чтоб кучер уезжал поскорей и не мозолил бы глаза живым людям.

Кучер в белом сюртуке и в желтом цилиндре, не дождавшись выноса, поднялся наверх и начал грубо ругаться, требуя, чтоб ему, наконец, дали то, за чем он приехал, и не заставляли бы его дожидаться на сырой улице. Он говорит:

— Я не понимаю низкий уровень живущих в этом доме. Всем известно, что лошади остродефицитные. Нет, — говорит, — я в этот дом больше не езду.

Собравшиеся жильцы совместно с ожившим старичком выпихнули кучера на площадку и ссыпали его с лестницы вместе с сюртуком и цилиндром.

Кучер долго не хотел отъезжать от дома, требуя, чтоб ему в крайнем случае подписали какую-то путевку. Без чего он никуда не поедет.

Оживший старик плевался в форточку и кулаком грозил кучеру, с которым у них завязалась острая перебранка.

Наконец кучер, охрипнув от крика, утомленный и побитый, уехал, после чего жизнь потекла своим чередом.

На четырнадцатый день старичок, простудившись у раскрытой форточки, захворал и вскоре по-настоящему помер.

Сначала никто этому не поверил, думая, что старик по-прежнему валяет дурака, но вызванный врач успокоил всех, говоря, что на этот раз все без обмана.

Тут произошла совершенная паника и замешательство среди живущих в коммунальной квартире.

Многие жильцы, замкнув свои комнаты, временно выехали кто куда.

Жена, то есть, проще сказать, дочь ее папы, пугаясь заходить в бюро, снова уехала в Сестрорецк с ребенком и ревущей нянькой.

Муж, этот глава семьи, хотел было устроиться в дом отдыха. Но на этот раз колесница неожиданно прибыла на второй день. И все кончилось вполне благополучно.

Так что тут была скорей нечеткость работы с колесницами, чем постоянное запоздание. Оно не повторялось всякий раз, а бывало, что ли, случайно. Раз на раз, как говорится, не придется. Ну — была неудача, недоразумение.

Но теперь это у них сгладилось. И они подают так, что прямо — красота. Лучше не надо.

На этом мы вообще хотели закончить наши новеллы о неудачах, но близость нового отдела «Удивительные события», в котором речь главным образом пойдет об удачах, позволяет нам рассказать еще одну историйку, в которой два эти предмета — удача и неудача — соединились вместе. И вот что от этого получилось.

Рассказ о зажиточном человеке

Конечно, некоторые говорят, что все дело в зажиточности. Что бедность унижает человека, что при этом человек не может, что ли, стоять на высоте положения. А что при зажиточности он, наоборот, моментально расцветает и приподнимается и делает то, что всем надо.

Насчет бедности мы не возражаем. Она, конечно, унижает личность, и при ней довольно трудно удержаться в своих рамках. А что касается зажиточности, то это еще не всегда дает правильные результаты.

Был такой курьер Федор. Он работал на заводе. Он приехал из деревни. Был очень бедный. Еще тут не обжился. И даже первое время шлепался в деревянных сапогах.

И был очень грубая личность. Любитель выпить. Ругатель. Грубый скандалист и бузотер.

Он начал у них жить в общежитии. И там от его свинных выходок многие сторонились.

Вот его вызвали в управление. И там ему сделали крепкий нагоняй.

Ему сказали:

— Еще чего? Это не может продолжаться.

А он на это так ответил:

— Вы, профсоюзные вожди, меня срамите за мое поведение. А спросите меня — отчего это бывает.

И тогда его спросили:

— А скажите, отчего.

Он и говорит:

— Я живу абсолютно не так, как хочу. Вполне один, без семьи и жены. У меня, может, семья и жена проживают в деревне. Меня, может, сострадание берет оттого, что я их не вижу. Двое моих детишек, наверное, пасут коров и терпят дожди и вьюги. Я живу, как холуй, имею один пиджак, и мне некому даже подложить подушку, чтоб я прилег, усталый от работы. А вы интересуетесь, отчего я выпиваю и в своей выпивке грубо задеваю остальных и всем бью морду. Вот отчего это бывает.

Вот тогда все сконфузились и сказали:

— Мы тебе непременно дадим комнату.

И вот вскоре ему дали комнату, и он вскоре выписал свою жену и двух пастушков из деревни.

И вот он с ними живет, но мы видим, что он по-прежнему выпивает, скандалит и орет, и всем бьет морды, и дает затрещины и шлепки своим подпаскам.

Тогда снова его вызывают в управление.

Он говорит:

— Да, конечно, я и сейчас еще подлец. Я выпиваю и все такое и под горячую руку всех колочу. Это оттого, что я нервничаю. Я имею перед собой картины бедности. Мы на примусе варим щи. Нас в одной комнате набилось шесть человек народу. Жена ругается со своей мамой, а я их всех бью и крошу, потому что мне мало интереса глядеть на эту деревенскую серость и некультурность. Меня быт съедает без остатка... И к тому же у меня окно выходит в наружный двор. А если бы оно выходило, например, на речку, —

и бы, может, целый день рядом сидел и песни пел и глядел бы, как птицы на волнах кувыркаются.

И тогда все сконфузились и так ему сказали:

— У нас сейчас дом отстраивается. Мы тебе дадим квартиру. Там газ и отопление. И там все на свете. Там свет блеснет в твои глаза, и ты будешь такой, как сумеешь.

И вот ему вскоре дали квартиру. Две комнаты и ванна. И три шкафчика для внутреннего употребления. И окна в сад. И в саду ежегодно цветут деревья. И газ. И все на свете.

И ему жалованья прибавили. И вдобавок он по займу выиграл. И пошил себе пиджак. И построил брюки. И по случаю купил диван и пианолу. И наш товарищ Федор вознесся на неслыханную высоту.

Только видят — он по-прежнему выпивает и дерется. И очень ругается и срывает из окна молоденькие ветки с деревьев и стегает ими своих бывших пастухов. А жену и ее преподобную мамашу и всех соседей при случае колотит так, что те в страхе разбегаются.

Тогда его снова призывают к ответу.

Он говорит:

— Какое странное дело. Все у меня что-нибудь не так. У меня мебель хороша, и пианолу непрерывно играет. Только, — говорит, — жена, эта деревенская дура, своим видом не подходит к моей обстановке. Она меня раздражает. Я хочу жениться на другой. И тогда непременно у меня пойдет другая музыка.

И вот он разделил свою квартиру. И стал жить с одной конторщицей. И вскоре у них там стали возникать драки и побоища. Он ее ревновал, и нещадно бил, и выгонял на улицу.

И тут все поняли, в чем дело. Тут все поняли, что это — попросту дрянной неудачный человек и его зажиточность тут ни при чем, — она на его ход жизни не влияет.

И тогда все поняли, что ему зажиточность нужна, но что при этом его надо нянчить и его перевоспитывать.

И тогда всем стало легче. Все вздохнули и поняли, что с ним надо делать.

И в этом понимании была большая удача. И под давлением этой удачи померкнут вышеуказанные неудачи и начнется то, чего всем хочется.

На этом, друзья, мы заканчиваем наши рассказы о неудачах с тем, чтобы поскорей перейти к новому, более счастливому отделу.

И близость этих новых страниц приподнимает наше настроение, и, несмотря на только что рассказанные неудачи, нам делается весело и забавно жить.

И мы рады отметить, что чертовские и неслыханные неудачи не сломили наш железный характер.

Вот сейчас только помоемся и сполоснемся после всей этой пакости и перейдем к дальнейшему.

Ах да, может быть, мы, перечисляя неудачи, что-либо забыли отметить. Просьба опять-таки отметить в своих сердцах.

Прочтите тут еще небольшое послесловьице к нашему отделу «Неудачи». Оно, так сказать, подведет итоги всему вышесказанному о неудачах.

После чего мы перейдем к новой книге «Удивительные события».

Итак, извольте небольшое, вроде болтовни, послесловие.

Послесловие

Итак, на этом, друзья, мы заканчиваем нашу четвертую книгу.

Позвольте же после столь тяжелых испытаний вас чувствительно с этим поздравить.

Давайте же коротенько подведем итоги.

Что же мы с вами, друзья, увидели, прочитавши исторические новеллы и рассказы из нашей жизни?

А мы в первую голову увидели в прошлом большой урожай на неудачи.

А потом мы увидели, что этот урожай снимается по многочисленным причинам, из которых глупость и темнота не плетутся в хвосте.

И даже мы отчасти заметили, что неудачи — законное дите, рожденное от бракосочетания этих причин с торопливым желанием хорошо пожить.

Так что удивляться не приходится, отчего они бывают.

Они бывают не по милости судьбы, как это согласны думать люди со слабым и робким мировоззрением. А они

случаются от более простых и грубых причин. Благодаря чему, если не сидеть сложа руки, многое можно значительно исправить.

И у нас на это смело пошли. А если и бывают вышеуказанные неудачи, то отчасти еще публика непривычна, да и вообще борьба с этим далеко еще не закончена.

И если говорить о дальнейшем, то неудачи у нас не то чтобы совсем исчезнут, но их, вероятно, станет так мало, что все будут прямо удивляться.

И даже, может быть, глупость, под давлением чего-нибудь там особенного, возьмет и померкнет в своем величии. А если это ослабнет, то все тогда смогут поздравить друг друга с неслыханной удачей.

В общем, если говорить в планетарном масштабе, — мы вдаль глядим без особых тревожлений. Крутом народы окончательно скажут свое слово. Утвердят свое право. Все воспрянут духом. И всем станет смешно, что были такие неудачи на заре их юности.

А если говорить о нашей стране, то можно повторить удивительные и пророческие слова поэта, произнесенные еще в прошлом столетии:

Вынес достаточно русский народ,
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе.

И вот мы теперь видим то, что видим. И это было удивительное предсказание, которое на наших глазах постепенно выполняется. Но, конечно, не следует забывать — борьба далеко не закончена, и продолжается революция. И идет столкновение двух миров и все, что с этим. Так что слова о прекрасной тишине будут произнесены после. И тогда этот наш отдел с неудачами можно будет зачитать с небрежной улыбкой.

А что касается до стихов, то их произнес великий поэт, который умер шестьдесят лет назад. И его память следует почтить вставанием.

И это так жаль, что он не дожил до наших дней.

Кстати, о смерти.

Некоторые считают неудачей короткую, как сон, человеческую жизнь. Но вместе с тем как подумаешь, что тебе,

например, еще двести лет надо будет думать и мозговать, так прямо наши законные восемьдесят лет ничуть не кажутся особенной неудачей.

Итак, на этом заканчиваем книгу о неудачах и переходим к новому и последнему отделу.

И мы уже слышим шум и выстрелы. И кто-то рукоплещет. И кто-то кричит «ура».

Это люди, которые от неудач не потеряли присутствия духа, стремятся к новым берегам.

И те, которые хотя и не стремятся никуда, но ведут себя так, как требуется.

И мы не без волнения спешим туда, чтобы им пожать руки и сказать: «Здравствуйте».

Итак, начинается новый отдел «Удивительные события».

Удивительные события

1. Вот подходит наша книга

к желанному концу.

Осталась у нас с вами одна последняя часть. И вот она перед вами.

Она заключает в себе то, чего бы крайне не хватало, если б наша жизнь была только такой, какой мы вам сейчас преподнесли.

И можно было бы даже потеряться от горя, если б мы на этом закончили наше сочинение.

2. Но, к общему счастью, жизнь тоже имеет свою пятую часть. И только она не перед каждым раскрывалась.

И многие видели только четыре части, и от этого они бывали чересчур несчастны. Многие из них вешались, другие любили выпивать, третьих постигали душевные заболевания, четвертые попросту дурака валяли. А некоторые впадали в меланхолию и восклицали: ах, дескать, господа.

Вот так же, как в свое время воскликнул один из прекрасных поэтов: ах, господа, — он воскликнул, —

Жизнь, как посмотришь
С холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка.

Или — штука. Не помню. Одним словом, он что-то вроде этого воскликнул, переполненный глубокой меланхолией.

3. Но многие так не думали и про жизнь таких стихов не восклицали, а увидевши все — как и чего бывает, энергично выступали против этого и с этим боролись. И выска-

зывали свои мысли. И показывали чудеса храбрости, мужества и понимания.

И вот о таких людях и о таких поступках и о многих замечательных делах и героях мы и желаем произнести наше слово.

И мы предоставляем для этих людей последнюю, пятую главу, чтоб они своим примером показали бы, как надо поступать малодушным людям.

Таких слабеньких читателей они своим поведением возьмут на буксир и потянут их туда, куда надо.

Однако обернем предмет со всех сторон.

4. Читатель со своей привычкой к темам современной литературы уже, наверно, начинает соображать, что речь у нас непременно пойдет о борцах революции и о тех, которые заботились о прекрасном будущем.

И действительно, речь пойдет главным образом об этих людях.

И мы сейчас увидим такую волю, и такое мужество, и такую силу человеческого духа, что, если у нас имеется хоть какая-нибудь тяжесть на сердце, нам сразу станет легко, и нам захочется жить и радоваться.

И нам всем захочется любезно и внимательно подходить к людям. И нам захочется воскликнуть: как это поразительно, что среди людей бывают такие выдающиеся герои.

И действительно, как это радостно, что среди грязи и болота и посредственной пошлости находятся такие сильные люди.

В общем, сейчас речь пойдет о революционных событиях и о тех людях, которые этим занимались.

Но прежде нам желательно сказать несколько вступительных слов о том о сем. Мы хотим побеседовать с читателем.

5. Вернее, мы хотели бы побеседовать даже не с читателем, а с каким-нибудь, например, ну, что ли, представителем буржуазной философии. Только чтоб он, ради бога, не горячился и не хватал бы нас чуть что за горло. А вел бы себя порядочно и корректно.

Тогда бы мы с ним тихо побеседовали на диване.

Наверно, он бы так сказал, иронически усмехнувшись и играя моноклем:

— Ну, революция, борьба... А жизнь, господа, проходит буквально как сон. Она коротка — жизнь. Так не лучше ли, господа, продолжать так, как есть, чем думать о каком-то будущем. И тратить на это считанные дни. Давайте, синьор, ударим по рукам и — мир и тишина. В сущности, все мы дети одной больной матери.

И я, взглянув на его гладкое лицо и на прекрасный перстень на пальце, спросил:

— Простите, сэр, я вас перебыю. Я позабыл. У вас дом, кажется, — один или два?

— Один... А что?

— Просто так. Продолжайте же, пожалуйста, сэр.

— Да, так вот я и говорю, — сказал философ, — в сущности, жизнь нереальна... Так пусть себе забавляются народы — устраивают оперетку, — какие-то у них короли, солдаты, купцы. Кто-то торгует. Выигрывает. Некоторые из них нищие. Кое-кто — богачи. Всё — игра. Понимаете? А вы хотите жить всерьез. Простите — как это глупо. Вы хотите пустыньскую, но, в сущности, милую жизнь отдать за какой-то другой сон. Может быть, более скучный. И даже наверно более скучный. Какая чушь!

6. Я говорю философу:

— А скажите, и большой доход вам приносит ваш дом? Небоскреб, наверно?

— При чем тут дом... Ну, приносит... Пустяки приносит... Как нынче приношение — ерунда. Сон...

И наш философ сердито докуривает сигару и откидывается на спинку дивана.

И мы ему говорим, философу, соблюдая международные законы вежливости и почтения:

— Вот что, сэр. Пусть даже останется ваше забавное определение жизни — оперетта. Пусть так. Но осмелимся вам заметить, что вы за оперетту, в которой один актер поет, а остальные ему занавес поднимают. А мы...

— А вы, — перебивает он, — за оперетту, в которой все актеры — статисты... и которые хотят быть тенорами.

— Вовсе нет. Мы за такой спектакль, в котором у всех актеров правильно распределены роли — по их даровани-

ям, способностям и голосовым данным. И безголосый певец у нас не получит роли премьера, как это бывает у вас.

— А у вас маленький актер так маленьким и останется. У него не будет стремления быть большим. У нас...

— Простите, сэр, вы не в курсе наших событий. Вы черпаете сведения из древней истории. У нас совершенно разные оклады для актеров. Ведь у нас, к вашему сведению, нету так называемой уравниловки. А кроме того, у нас есть другие стимулы для работы.

7. Философ говорит:

— Тем не менее, — говорит он, — я не хотел бы участвовать в вашем спектакле. У вас — фантазия ограничена. У себя я могу все время двигаться вперед. Я могу стать миллионером. Я могу мир перевернуть. У меня есть цель. Меня, так сказать, деньги толкают вперед. У меня есть стремление. Я не боюсь слов — я наживаю. Я накапливаю... Жизнь — движение. Останавливаться нельзя. И это мне дает то устремление, которое нужно. И повторяю, — не боюсь слов, — наживаю. Не все ли равно, какая цель перед лицом смерти? А если деньги не играют никакой роли, то...

— Сэр, вы опять-таки не в курсе событий. У нас деньги играют значительнейшую роль, и вы можете их накапливать на сберкнижке, если у вас есть такое могучее устремление. Больше того — вы даже проценты на них получаете. Или, кажется, какую-то премию.

Философ оживает. Он говорит:

— Не может быть...

— Только, — я говорю, — получение денег у нас иное. У нас нужно заработать их.

— А-а... — поникшим голосом говорит философ, — заработать. Это скучно, господа. Нет, мне с вами не по пути. У вас какое-то странное отношение к жизни — как к реальности, которая вечна. Заработать. Позаботиться о будущем! Как это смешно и глупо — располагаться в жизни как в своем доме, где вам предстоит вечно жить. Где? На кладбище. Все мы, господа, гости в этой жизни — приходим и уходим. И нельзя так по-хозяйски произносить слова: заработать! Какое варварское мышление! Какие огорчения вам предстоят еще, когда вы научитесь философски оценивать краткость жизни и реальность смерти.

8. И, посмотрев на меня с сожалением, он продолжает:

— А мы смотрим на жизнь как на нечто нереальное. Мир — это мое представление. Все сказочное... Все дым, сон, нереально. И вот наша с вами разница. И мы — правы. Какая, к черту, может быть реальность, если человеческая жизнь проходит как один миг!

— Но ваш собственный дом, осмелюсь заметить, — это реальность.

Философ, видать, с неохотой говорит:

— Нет, дом — это отчасти тоже нереальность.

— Но если это нереальность, то отчего бы вам не напустить туда нереальных людей и нереально отказаться от нереальных денег. Небось так не делаете?

Философ испуганно говорит:

— То есть что вы хотите этим сказать? Слушайте, оставьте мой дом в покое. Что вы, ей-богу, привязались. Я говорю в мировом масштабе, а вы все время сворачиваете на ерунду. Прямо как в печенку въелись — дом, дом... Прямо, ей-богу, скучно. Ну, дом. Нереально все.

— Да как же, — говорю, — помилуйте, нереально...

Философ говорит, чуть не плача:

— Прямо, ей-богу, человека нервничать заставляете. Вот я теперь, как назло, вспомнил, что троё у меня квартплату не внесли. Теперь я буду беспокоиться. Какие-то у вас, простите, грубые, солдатские мозги. Не даёте пофилософствовать.

И философ в изнеможении откидывается на спинку дивана и нервно курит.

9. И мы ему говорим:

— И мы даже согласны с вами, что...

Философ оживает:

— Вот видите... согласны... А сами человеку прямо дыхнуть не даёте...

Я говорю:

— Мы согласны с вами в том, что жизнь коротка. А вернее, она не так коротка, как плохая. А от этого она, может быть, и короткая. Пусть даже короткая. Но только короткая жизнь может быть хорошая, а может быть плохая. Так вот мы за длинную, хорошую жизнь. И в этом у нас цель и стремление. А что для вас жизнь коротка, то, несмотря на

ее краткость, вам, вероятно, не помешало положить в банк тысяч сто. Простите, сэр.

— Фу, как грубо, — говорит философ, поперхнувшись. — А, говорите, впрочем, что хотите. Мне теперь безразлично. Вы чем-то, не знаю, меня окончательно расстроили. А кроме того, — холодно добавляет он, — я считаю, что человеческие свойства неизменны. Это природа. Все равно обувь стопчется по ноге. Привет.

И мы вежливо встаем с дивана и говорим, соблюдая мировые правила приличия:

— Сэр, я ваш покорный слуга. Примите уверения в совершенном моем к вам уважении и почтении до последнего дыхания. А что касается человеческих свойств, то они, сударь, меняются от режима и воспитания.

Философ в сердцах бросает окурочку на пол, плюет и уходит, приветствуя нас рукой.

10. Мы описали вам эту воображаемую сценку, чтобы показать, какая бывает борьба на фронте мысли.

И действительно, некоторые рассуждения могут отчасти смутить более слабую душу. Более слабая душа может поникнуть от таких слов — сон, короткая жизнь, нереальность, считанные дни... Эти слова не раз смущали даже более крепких людей. И были даже среди революционеров люди, которые били отбой и перебежали в другой лагерь. И история знает подобные факты.

И тут надо, действительно, иметь мужественное сердце, чтоб не смутиться от яда этих слов, в которых как будто есть доля правды — иначе они бы не действовали ни на кого. Тем не менее эти слова неправильны и ложны. И это диалектика. Нет, мы не хотим сказать, что все ужасно легко и борьба — прогулка. И у некоторых, которые у вас сейчас размахивают руками и горячатся (и, может быть, и у меня в том числе), не хватило бы духу начинать сначала. Но находились люди, которые смотрели поверх всего. И это были удивительные люди. И они создавали удивительные события. И старались переделать все, что барахталось в грязи, в тине и в безобразии.

И вот об этих людях, побеседовав с философом, мы сейчас и будем говорить. И вы сейчас увидите такую силу духа, что просто содрогнетесь от собственного малодушия.

11. Но прежде — еще одно, совсем коротенькое отступление. Вроде справки.

Представители старого мира имеют, в сущности, понятную привычку говорить о революционерах как о людях, потерявших совесть и человеческое подобие. Не знаем, как в других странах, но у нас, у матушки России, была привычка называть таких людей злодеями и нерусскими людьми.

Так вот для примера осмелимся привести несколько слов, написанных царским цензором Никитенко о повешенном декабристе Рылееве.

Вот что пишет Никитенко:

«Я не знаю другого человека, который обладал такой притягательной силой, как Рылеев. Он с первого взгляда вселял в вас как бы предчувствие того обаяния, которому вы неизбежно должны были подчиниться при близком знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, стоило поглубже взглянуть в его удивительные глаза, чтоб всем сердцем безвозвратно отдаться ему. И я на себе испытал чарующее действие его гуманности и доброты».

Вот как Никитенко описывает «злодея» Рылеева. И мы, прочитав эти строчки, в предчувствии всего хорошего переходим к историческим новеллам об этих борцах за революцию.

12. Вот рассказ о Рылееве. Рылеев был поэт. Он был дворянин и офицер. Но это не помешало ему написать такие агитационные строчки:

Долго ль русский народ
Будет ружьядью господ.
И людьми, как скотами,
Долго ль будут торговать.

Он был мужественный революционер. И перед 14 декабря он выступал за немедленное восстание против царя.

И накануне, вместе со своим другом Н. Бестужевым, он обошел несколько полков и призывал солдат к выступлению.

Больше того, он останавливал солдат на улице и вел с ними беседу.

И вот наступил день восстания.

Уже прогремели ружейные выстрелы, и два враждебных лагеря замерли в некоторой нерешительности.

Мятежники стояли в каре у сената, а царские войска теснились около строящегося Исаакиевского собора.

И был момент, когда восставшие получили моральный перевес. И могли бы выиграть дело.

И об этом моменте Николай I так пишет в своих записках:

«Уже пули просвистели мне чрез голову. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями. Надо было решиться положить скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни, и тогда войска были бы в самом трудном положении».

13. И тогда царский генерал Васильчиков сказал Николаю:

— Ваше величество, нужна картечь.

Государь сказал:

— Вы хотите, чтобы я в первый день моего царствования пролил кровь моих подданных?

— Чтобы спасти империю, — сказал генерал.

И тотчас пушки были поставлены против сената. Николай I сам скомандовал:

— Пали!

И первый выстрел загрохотал.

«Первый выстрел, — пишет Николай, — ударил высоко в здание сената, и мятежники отвечали неистовыми криками и беглым огнем».

И тогда Рылеев снял шапку, подошел к Бестужеву и обнял его. Он сказал:

— Последние минуты наши близки. Но это минуты нашей свободы. Мы дышали ею. И я теперь охотно отдам за них мою жизнь.

Вы понимаете, что он сказал? Он сказал, что сейчас все будет кончено, но что даже за минутное ощущение свободы, которое он сегодня испытал, он без сожаления отдает свою жизнь.

Нет сомнения, что цензор Никитенко не ошибся в Рылееве, когда он о нем так прекрасно сказал. Такие слова, которые произнес Рылеев и в такую минуту, мог сказать только большой и замечательный человек. И мы так рады и так взволнованы, что он именно так сказал и что он оказался такой большой человек. Значит, двух мнений быть не может — за кем надо было идти.

14. И вот через несколько минут на Сенатской площади действительно все было кончено.

Надежды генерала Васильчикова оправдались.

Пушки сделали свое дело.

«Второй и третий выстрелы, — пишет Николай I, — ударили в самую середину толпы».

Каре восставших дрогнуло. Часть мятежных солдат бросилась к Неве, на Английскую набережную, а часть, как пишет Николай I, «навстречу выстрелов из орудия при Семеновском полку, дабы достичь берега Крюкова канала».

В общем, все было кончено.

Рылеев в тот же день был арестован и после суда приговорен к смерти.

Это был настоящий, мужественный человек с большим и даже великим сердцем. И это так ужасно, что его жизнь прекратилась на виселице.

Ему было тридцать один год. И как горько знать, что так рано и так страшно закончилась его жизнь.

И он умер так мужественно, как редко кто.

15. Из героических историй, в которых бы участвовала женщина, нам известен такой рассказ.

Это факт об одной смелой и отважной революционерке.

Конечно, история революции знает множество достойных женщин, причем некоторые из них прославились на весь мир. Как, например, Перовская и Засулич. И о них много писалось. И вы, наверно, об этом почти все знаете.

А мы расскажем вам о женщине, о которой весьма мало написано.

Вот рассказ о малоизвестной революционерке, о работнице табачной фабрики Лизе Торсуевой.

Она жила в Ростове в начале девяностых годов прошлого столетия.

Она работала на табачной фабрике Асмолова.

И там, в Ростове, она со своим братом организовала рабочий кружок.

Причем это был социал-демократический кружок, где изучались основы научного социализма.

А чтоб работать в таком кружке, надо было иметь немало мужества и отваги, поскольку с рабочим движением шла очень жестокая борьба.

16. Царское правительство и жандармы страшились, конечно, народников с их бомбами и револьверами, но рабочее движение приводило их в ужас, в трепет и в смятение. И они это движение давили с огромной свирепостью. И почти за каждый шаг революционерам приходилось расплачиваться тюрьмой, ссылкой и даже каторгой.

Добавьте к этому: рабочий день на фабрике — четырнадцать часов, а летом — шестнадцать!

И заработок — восемь рублей в месяц.

И тогда можно понять, какой нужен был героизм, чтоб сквозь все преграды идти к намеченной цели.

И вот табачная работница Лиза Торсуева, несмотря на все препятствия, энергично повела смелую революционную работу.

А брат ее вскоре стал, к сожалению, толстовцем, и он отошел от рабочего движения.

Но Торсуеву это не смутило, и она совместно с двумя рабочими энергично принялась за дело.

17. А тогда среди рабочих табачной фабрики была большая темнота и большая жажда знаний. И, помимо политики, надо было знать многое другое.

И Торсуева и сама была почти без всякого образования. И она ночи сидела за книгами, чтобы узнать, как ей отвечать на те вопросы, что ей задают рабочие.

А ей было тогда двадцать пять лет. Она была молода и очень красива. Она всех поражала своей миловидностью, умом и удивительной смелостью.

Она была очень смела и отважна.

Например, расклеивая прокламации на 1 мая (1898 года), она не удержалась и наклеила прокламацию на дверях подъезда жандармского управления. Причем прокламация была наклеена лаком, так что жандармы могли ее снять только вместе с дверью.

Вдобавок в тот же день на строящейся церкви кружок Торсуевой повесил красное знамя со словами: «Да здравствует социал-демократическая партия. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

И это знамя три часа висело на церкви, так как рабочие, повесив знамя, разрушили внизу леса.

И это знамя сыграло свою агитационную роль — в городе было много разговоров и большое возбуждение.

18. И вот жандармы, увидя, что подпольная работа в кружке идет блестяще, пришли в большое огорчение. И они решили положить этому конец.

Они арестовали несколько рабочих из комитета. И однажды утром поставили двух сыщиков у ворот торсуевского дома. И эти шпики должны были арестовать Торсуеву при выходе на улицу.

Конечно, они могли бы арестовать ее и дома, но считалось более полезным для дела арестовать при выходе, так как она могла нести какие-нибудь важные документы или же она могла пойти в конспиративную квартиру, неизвестную жандармам. Вот они и ждали ее выхода.

Но Торсуевой сказали друзья об этом.

Тогда Торсуева, нарядив сестру в свое платье, попросила ее выйти на улицу.

И сестра так и сделала — она взяла с собой пакет с бельем и вышла за ворота.

Сыщики же, приняв ее за Лизу Торсуеву, потащились за ней. Они надеялись, что она куда-нибудь зайдет по делам кружка. Но сестра Торсуевой нарочно два часа мотала их по улицам. И тогда они наконец, выйдя из терпения, ее арестовали. Но тут, узнав, что это не Елизавета Торсуева, а Валентина, снова бросились к своему боевому посту. Но было поздно. Лиза Торсуева уже успела сложить свой чемодан. И выехала из Ростова.

19 А жандармский полковник Артемьев, узнав, что главная виновница скрылась, пришел в исключительное бешенство. Он без разбора арестовал еще тридцать человек и сказал им, что он их не выпустит, покуда не арестует Торсуеву.

А Лиза в это время скрывалась на Кавказе.

Но ей друзья сообщили о словах полковника.

Тогда она сказала своим друзьям:

— Моя личность менее ценна для дела, чем столько арестованных активных работников. Я должна вернуться в Ростов.

И с этими словами она вернулась назад и добровольно явилась в жандармское управление.

Полковник, правда, выпустил заложников, но Лизу Торсуеву продержал в одиночке около года.

Но потом ее выпустили. И она с новой энергией принялась за революционную работу.

Вот какие бывают женщины — наши жены, сестры и дочери. И это приятно знать, что женщины так высоко держали знамя революции.

20. Из удивительных героических событий, в которых бы участвовал писатель, история знает такой случай.

Писатель Радищев при Екатерине II написал свою знаменитую книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».

Это была книга настолько смелая и революционная по своим взглядам, что даже теперь, читая ее, приходится поражаться необычайному мужеству автора.

Просто трудно представить, на что мог рассчитывать автор, выпуская такую книгу в царской, крепостной России.

Так, например, о крепостном праве у него сказано: «Зверский обычай порабощать себе подобных».

И вся книга была — открытое воззвание против царского правительства.

Это был призыв к восстанию, так что, кроме смерти или бегства, автор ни на что другое не мог рассчитывать.

Но тут мнение у потомства раскололось. Некоторые считают этот поступок необычайно мужественным. А некоторые считают это какой-то непродуманностью и слепым безрассудством. И приводят в доказательство покорные слова Радищева о его якобы «минутном заблуждении» и его поведение, которое могло быть более гордым и смелым, как у человека, написавшего такую мужественную книгу.

21. Но тут следует заступиться. Его поведение было совершенно правильным, но нервы у него были плохие, и от этого он не всегда мог сдержаться. И в этом нет ничего удивительного. И это ничего не показывает.

И что касается его мужества, то вот его описание.

Типографщики не хотели набирать эту книгу, несмотря на разрешение. Тогда Радищев завел типографию у себя в деревне. И там напечатал книгу в количестве шестисот пятидесяти экземпляров.

Больше того, он ходил с кипой книг и разбрасывал их по дорогам и на постоялых дворах. И это не было минутным заблуждением, а это было поступком революционера и агитатора.

Его приговорили к смертной казни, но казнь заменили ссылкой в Сибирь.

И это был великий гражданин, и о нем надо вспоминать с чувством радости и уважения.

И такие люди нередко бывали среди пишущей братии. И об этом так приятно знать.

22. Теперь прослушайте рассказ о замечательном подвиге Федора Подтелкова.

Он происходил из бедной казачьей семьи. И был сыном трудового народа.

А в германскую войну он был солдатом гвардейского полка. А после его произвели в подпрапорщики за храбрость и прекрасное знание военной службы.

Но это свое прекрасное военное знание он с честью использовал для революции.

В апреле 1918 года он уже был командующий Донской советской армией.

И вот, желая увеличить эту свою революционную армию, он организовал специальную экспедицию для мобилизации и вербовки казаков северных округов. И с этой целью во главе небольшого отряда он двинулся по казачьим станицам.

Но в одном районе части белогвардейского казачества задержали экспедицию Подтелкова. Они сочувствовали атаману Каледину, который тогда занял Ростов, и поэтому они окружили отряд и обманным образом его разоружили. И приговорили весь отряд к расстрелу. А Подтелкова и его помощника Кривошлыкова, желая унижить, приговорили к повешению.

23. И вот 11 мая 1918 года в станице Краснокутской было закончено это ужасное дело.

Семьдесят шесть человек они расстреляли. А двоих повели вешать.

А когда их вешали, они держали себя удивительно хладнокровно и с большим мужеством.

Но Подтелков всех поразил своим удивительным поведением.

Громадная толпа казаков стояла около виселицы.

И Подтелков, держа в руке петлю, обратился к ним с речью.

Сначала он сказал: «Минуточку внимания».

От этих неожиданных слов толпа буквально замерла. И тогда Подтелков, отстранив рукой растерявшегося палача, сказал:

«Трудовой народ! Я призываю вас не верить в обманные слова, которые говорят вам офицерство и дворянство во главе с атаманом Калединым. Помещики снова хотят пить кровь трудового народа. Неужели вы не видите? Это есть ваше ослепление. И я призываю вас идти на борьбу за рабоче-крестьянское трудовое дело».

24. Толпа заволновалась.

Начальник караула подъесаул Сенин, закричав: «Не надо слов», вытащил наган и бросился к Подтелкову.

Но тут палач снова приступил к своим обязанностям, и через несколько минут все было кончено.

Так погиб донской казак Усть-Хоперской станицы, Медведицкого округа, сын трудового народа Федор Подтелков.

И в этом было мужество, воля и долг революционера. Тот долг, который был выше личных чувств и страха смерти.

И имя Федора Подтелкова надо всем знать не менее, чем прославленные имена революционных героев.

Кстати, в приказе о расстреле всего отряда перечислены семьдесят шесть человек. А внизу перед самой подписью какого-то контрреволюционера Попова указано: «А трое не заявили о своей личности».

Жаль, что мы не знаем имена этих трех революционеров, у которых хватило мужества и презрения не заявить о своей личности.

25. Вот еще героический рассказ о французском революционере Луи Бланки (1805—1881).

Это был такой неустрашимый человек, что читать о нем просто поразительно.

Его два раза приговаривали к смертной казни. Три раза он был ранен в уличных схватках с полицией. Дважды его изгоняли из его любезного отечества. И много раз его бросали в тюрьму и ссылали под надзор полиции.

Это был тот самый Бланки, у которого тридцать восемь лет жизни ушло на тюрьмы и ссылки.

Можно представить, какой был натиск на этого революционера.

Но это не меняло его настроения. И он буквально в тот же день по выходе из тюрьмы снова всякий раз с неукротимой энергией принимался за свою революционную работу.

Его программа выражалась в таких его словах — раньше народ угнетали знать и духовенство. А сейчас народ угнетают знать, духовенство и финансовая аристократия. И с этим надо покончить.

И вот в течение пятидесяти лет он был просто гроза для своего правительства.

26. Это был тот самый Бланки, о котором Тьер сказал свою историческую фразу. Дело в том, что 18 марта 1871 года в Париже была провозглашена коммуна. И Бланки за несколько дней до восстания был арестован и брошен в тюрьму.

Тогда парижские коммунисты вошли в переговоры с Версальским правительством. Они предложили правительству обменять Бланки на одно довольно важное духовное лицо. Дело в том, что они захватили парижского архиепископа. И вот теперь они хотели поменять одного на другого.

И, значит, послали Версальскому правительству извещение, что они эту духовную особу — крайне нужного правительству архиепископа — могут отдать в обмен на Бланки.

Член Версальского правительства, кровавый Тьер, несмотря на пламенные просьбы духовенства, отказался произвести эту мену. И он сказал такую историческую фразу:

«Вернуть им Бланки — это то же самое, что послать им в помощь целый армейский корпус».

И это было правильно сказано.

Так вот после разгрома коммуны Бланки просидел семь лет в тюрьме в Новой Каледонии.

Но за три года до смерти его выпустили.

27. И вот из тюрьмы вышел седой, почтенный семидесятитрехлетний старик — ученый и революционер.

Казалось бы, что после такой бурной и тяжелой жизни он вполне заслужил отдых и спокойствие. Но это было не

для него. Теперь у него была огромная популярность и большое имя, которое он и не мог не использовать для революции. И тотчас по выходе из тюрьмы он стал разъезжать по всем промышленным центрам. И своими пламенными речами и своим присутствием он вселял уверенность в счастливый и победный конец революционной борьбы. И это, как и вся его жизнь, нам кажется не менее удивительным, чем то, что мы говорили о других. И в этом было не менее мужества и героизма. Он умер в 1881 году и до последнего момента не прекращал работы.

И память о нем будет всегда жива.

28. Конечно, этот рассказ и то, что прежде мы вам рассказали, — это капля в море подобных дел. И эти наши рассказы о героических делах и событиях — только маленький штришок в общем ходе жизни. А чтобы полностью об этом сказать, надо написать по крайней мере двенадцать томов сочинений. Поскольку революция постоянно выдвигала таких сильных людей и настолько могучие характеры, что только поражаешься и думаешь: значит, эти правы.

И никакое другое дело, кроме этого, не знает ничего подобного. Все доблестные поступки спорта, искусства и науки, все доблестные военные подвиги — все это отчасти меркнет в сравнении с этим. Вот что значит сознание справедливости своих мыслей и высокая цель.

И тут можно было бы во множестве привести различные примеры.

И частично мы это сделаем.

Мы предлагаем вашему вниманию отдел, который по традиции нашей книги следует у нас за историческими новеллами.

Этот отдел у нас носит название «Смесь». И вот он перед вами.

Он вам добавочно и красочно расскажет о том, как с этим было в прошлом.

29. ● Николай I на допросе сказал декабристу Н. Бестужеву: «Я могу простить вас, если поверю, что в вас буду иметь верного слугу». Бестужев ответил: «Я бы желал, чтоб жребий ваших подданных, государь, зависел бы от закона, а не от вашей угодности».

● Степан Разин необычайно мужественно вел себя во время пытки. Палач, приложив к его груди раскаленное железо и улыбаясь, спросил: «А теперь больно?» Разин сказал: «Ничуть не больно, будто баба иглой кольнула».

● София Бардина (1877 год) на суде сказала: «Мы стремимся к счастью и справедливости. И я не прошу у вас милосердия и не желаю его. Я глубоко убеждена, что наше движение не может быть остановлено никакими мерами».

● Рабочий (ткач) революционер Петр Алексеев (1849—1891), приговоренный к десяти годам каторги, произнес на суде свою знаменитую речь. Тщетно председатель суда старался остановить его. Алексеев закончил свою речь такими словами: «Скоро поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и тогда ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах...»

● 15 ноября 1905 года морской офицер лейтенант Шмидт на восставшем крейсере «Очаков» поднял сигнал: «Командую черноморским флотом».

30. Ипполит Мышкин, обвинявшийся в процессе 193-х, сказал в своей речи: «Здесь сенаторы из подлости и холопства, из-за чинов и окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью».

● Во время еврейского погрома в Одессе (1905 год) шесть студентов кавказского землячества (социал-демократической партии), вооруженные револьверами, обороняли целый квартал и сдерживали натиск озверелой пятидесятитысячной толпы.

● Думская фракция большевиков (1914 год) выступила против войны и против военных кредитов.

В тот патриотический момент «всеобщего энтузиазма» этот поступок мог рассматриваться только как государственная измена. За большевистскую работу фракция (Самойлов, Бадаев, Петровский, Шагов, Муранов) была послана в Сибирь.

● Бадаев, высланный в Туруханский край, организовал там пораженческую группу и вел энергичную агитацию против войны. За это вторично был отдан под суд.

31. ● Члену первого рабочего комитета А. Сонкину (Киев, 1898 год) было поручено срочно разбросать прокламации на машиностроительном заводе. Однако весь завод

был оцеплен полицией. Тогда Сонкин, достав пачку реклам мануфактурного магазина, явился к заводу и на глазах полиции стал раздавать прокламации рабочим, а реклам-ы-листки — полицейским.

● Учительница французского языка (в Москве), французская коммунистка Жанна Лабурб вызвалась повести агитацию среди французских солдат и матросов, занявших Одессу в 1919 году. Была расстреляна офицерами.

● Царский генерал А.П. Николаев принимал деятельное участие в организации Красной армии. Был захвачен в плен и после избиения приговорен белыми к повешению. На площади (в Ямбурге) у виселицы он после прочтения приговора гордо сказал: «Вы отнимаете у меня жизнь, но вы не отнимете у меня веру в грядущее счастье людей».

● Официант Гранд-отеля, член партии большевиков А.С. Раков в гражданскую войну был военным комиссаром бригады. Находясь в штабе, он был окружен белыми и, не желая сдаться, один забаррикадировался в избе и в течение нескольких часов отстреливался из пулемета. Истратив все ленты, он застрелился.

Его голова была оценена финскими белогвардейцами в тридцать тысяч марок золотом.

32. ● Я.М. Свердлов за свою короткую жизнь (тридцать четыре года) был шесть раз арестован, два года сидел в крепости, был сослан в Нарымский край (откуда бежал) и наконец был выслан в Туруханский край. Он целиком отдал свою жизнь пролетарской революции.

● В 1919 году в здание Московского комитета во время заседания партийных работников была брошена анархистами бомба. Присутствовавший на заседании член партии большевиков Денис Загорский, не растерявшись, схватил в руки шипящую бомбу и пытался выбросить ее в окно. Был разорван на части.

● Дора Любарская за подпольную работу в Одессе была казнена белыми в начале 1920 года. Оставила такое письмо: «Славные товарищи, я умираю честно, как честно прожила свою жизнь. Через восемь дней мне будет двадцать два года, а вечером меня расстреляют. Мне не жаль, что я погибну, жаль, что мало мною сделано для революции. Целую мою старенькую маму-товарища. Прощайте, будьте счастливы».

● Баварский коммунист Левинэ обвинялся в организации коммуны. В своей речи прокурор назвал Левинэ «жалким трусом», якобы бросившим в опасный момент поднятые им массы. На это ложное обвинение Левинэ ответил: «Я приглашаю вас на мой расстрел, и вы посмотрите, как мужественно умеют умирать революционеры».

И как, не правда ли, удивительно читать эти маленькие заметки о больших и замечательных людях, так мужественно отдавших свою жизнь ради будущей победы. И теперь пришла эта победа, и она постепенно закрепляется. Уверенность этих людей в том, что это будет, совершенно оправдалась. И, быть может, в дальнейшем, лет так через пятнадцать-двадцать, кто-нибудь, лежа в спокойной позе на плюшевой оттоманке, прочтет такие стихи.

Братья, вы наши плоды пожинаете,
Нам же в земле истлевать суждено.
Все ли нас, бедных, добром вспоминаете,
Или забыли давно?

И он содрогнется от этих слов и скажет: «Разве это можно позабыть?»

Нет, никто из этих людей не будет позабыт. И лучшие воспоминания обо всех героях, отдавших свою жизнь за революцию, будут в дальнейшем написаны золотыми чернилами для поучения, как надо жить и как надо поступать, чтобы называться человеком.

И об этом также когда-нибудь прочтут новые, далекие народы, которые будут жить в глубине каких-нибудь новых, отдаленнейших веков. И эти прекрасные народы, прочтя все, что об этих людях написано, заплачут от горя, что погибли такие люди, и скажут: «Вот это были такие же, как мы. А про обывателей, — скажут, — в сущности, и говорить не хочется. Поскольку они коптили небо своим поведением и не положили ни одного кирпича в общую постройку новой земли. Это, — скажут, — дрянная и пустая публика. И они для нас ничего не сделали».

А всем доблестным и мужественным героям они, наверно, поставят грандиозный памятник. И там сделают надпись:

«Нет, мы вас никогда не забудем».

И это правда нельзя забыть, потому что это так удивительно, когда люди отдают свою жизнь для того, чтобы перестроить старый мир крови, слез и огорчений.

И мы не сомневаемся, что это будет лучший памятник из всех построенных до него. И на нем, помимо того, о чем мы говорили, будут перечислены славные имена всех замечательных людей, поступки которых дышали доблестью, мужеством и героизмом.

33. На любом попритче жизни история знает удивительные героические поступки, которые тоже могут вызывать радость и почтение.

И несколько новелл о таких удивительных делах мы и предложим вашему вниманию.

И вы, надеюсь, оцените эти поступки и поймете, что это тоже исключительно хорошо. И тоже достойно уважения. И тоже играет роль в создании новой жизни и новых людей.

Вот, например, исторический рассказ о знаменитом греческом философе Диогене.

Их, правда, было несколько Диогенов. Но наш был самый значительный, проживавший одно время в бочке.

Он был из города Синопа. И он там им сказал: «Надо жить так, чтобы от жизни не зависеть». Он был большой оригинал.

Но только в бочке ему долго не пришлось прожить. Его кто-то, я уж не знаю, продал в рабство. Там у них в Греции это было довольно часто — подобные вещи.

В общем, он вскоре выкупился из рабства, и в тот год, о котором идет речь, он жил себе помаленьку у знакомых в Коринфе.

И вскоре до того он там прославился своим умом, что все сбегались посмотреть на него.

34. И вот об его чудном уме дошел слух до мирового властителя, Александра Македонского.

А это был человек тоже в высшей степени замечательный. Это был гениальный человек, смелый, молодой, энергичный.

И непременно захотел поговорить с этим философом.

Он хотел его обласкать. И что-нибудь сделать ему хорошее.

И с этой целью однажды со всей свитой этот славный вождь приехал в Коринф и заглянул к философу.

Можно представить себе картину.

Блестящая кавалькада подъехала к дому. Молодой адъютант, сверкая шлемом, обращается к собравшейся толпе:

— Послушайте, господа, не тут ли живет этот... как его... Диоген, что ли... Который... что ли... думает...

В толпе, ухмыляясь, говорят:

— Тут. Эвон на заваulinке сидит. Загорает на солнце. Чудак, действительно.

35. Александр Македонский, соскочив с лошади, подходит к философу и начинает с ним тихо беседовать. Потом он ему говорит:

— Твой ум, папаша, меня восхищает... Я хочу тебе сделать все, что ты у меня попросишь.

Диоген, усмехаясь, говорит:

— Да мне ничего не надо. Что мне тебя просить?

— Проси решительно об чем хочешь.

Адъютант Александра Македонского шепчет философу:

— Проси, дурак, загородную дачку. Скажи — у меня мамаша слепая. Или проси колесницу с лошастью. Ой, какая раззява... Скажи — дайте колесницу. Скажи — у меня мамаша пешком ходить не может. Да говори ты, олух царя небесного!

Диоген говорит Александру Македонскому:

— Да вот разве что я тебя, голубчик, попрошу — отойди немного в сторонку, а то ты мне загородил солнце.

Конечно, будь на месте Александра какой-нибудь дурак, хам или тупица, — тот непременно бы стал кричать, вопить, оскорбляться и, чего доброго, сунул бы нашего славного философа в тюрьму.

Но Александр Македонский был великий человек. Он засмеялся и сказал: «Знаете, господа, я бы хотел быть Диогеном, если б не был Александром Македонским».

И на этом они оба весело рассмеялись и разошлись. И это дало им обоим здоровую зарядку. Вот это молодцы. Прелестные люди. Мы никогда не перестанем на них любоваться. Побольше бы таких! И тогда бы жизнь выиграла во многих отношениях. Поскольку ум и великолепное поведение одинаково полезны в жизни, как героизм и мужество.

36. Из древней жизни вот еще зачитайте небольшую и всем известную побасенку о весьма мужественном поступке.

Этот случай, можно сказать, классический, так что вполне полезно его напомнить читателю.

Это уже насчет римлян. Там среди них тоже бывали хорошие характеры.

Там вот что однажды произошло. Этрусский царь Порсена обложил Рим своими, что ли, этрусскими войсками. Он его осадил. И хотел завоевать. При помощи этих самых этрусков.

Но среди римлян нашелся один горячий патриот, который вызвался убить этого этрусского царя. Это был римский гражданин из плебейского рода — Кай Муций.

И вот он ночью пробрался в лагерь к этим этрускам и по несчастной случайности вместо царя убил его писца, который находился в той же палатке. Наверно, это был видный мужчина — этот писец. А царь, наверно, имел какую-нибудь дурацкую, невзрачную внешность. Какой-нибудь этакий худосочный, с кривым носом, этрусский тип. Так что, наверно, ошибиться было в высшей степени легко. И Муций, думая, что это писец, убил другого. Очень, конечно, жалко, но ничего не поделаешь — ошибка.

37. В общем, Муция схватили, и этот неказистый царь, похожий на писца, стал его допрашивать и грозить пытками и казнью.

Муций сказал:

— Я твоих пыток не боюсь. Вот смотри мое мужество.

И с этими словами он протянул свою руку над жертвенником и стал ее жечь.

А в древности некоторые римляне из религиозных побуждений зажигали у себя особые жертвенники. Такая чашка на трех ножках. И там у них что-то горит. Запах, наверно, отчаянный. Копоть. И все время надо что-то подкладывать. Пламя, наверно, маленькое, но все-таки класть туда руки не рекомендуется.

А наш славный римлянин, несмотря на это, протянул свою правую руку и стал ее жечь. И держал ее до тех пор, пока кисть руки не обуглилась. И при этом он не пикнул и ни один мускул не дрогнул на его лице.

Царь, наверно, сначала смеялся, потом стал серьезный и сказал: «Довольно».

38. А потом совсем его отпустил в Рим. И вскоре снял осаду. Поскольку видит, что там римская публика способна проявить чудеса храбрости. И лучше с такими не связываться.

Конечно, может закрасться сомнение — верно ли, он настолько сжег свою руку. Может, он едва сунул руку в огонь и тотчас с криком ее отдернул. И запрыгал от боли. А царь, может, от этих прыжков рассмеялся и отпустил его. И, может, у него всего один пузырь вскочил. А уж история, может, взяла и раздула кадило и нарисовала красоту человеческой души. Но, оказывается, нет. Все, знаете, именно так и было.

И даже нашего героя прозвали Муций Сцевола. То есть — левша. Поскольку у него правая рука после пожара совсем не действовала. И это есть отчасти верное доказательство.

Но, конечно, могли бы ему более хорошее прозвище дать. Поступок все-таки незаурядный. Тем более там у них в Риме даже, кажется, «Скорой помощи» не было, так что это особенно усиливает мужество этого римского бойца. В общем, и этим поступком мы вполне любимся. Он указывает на силу и присутствие духа, что в жизни тоже немаловажно.

39. Теперь мы расскажем вам удивительную историю, которая закончилась весьма радостно и приятно.

И в этой истории наряду с большим мужеством и силой духа вы увидите исключительную любовь товарища, и дружескую поддержку, и громадный риск, и все, что с этим. А это тоже что-нибудь да стоит.

И эта история во многих отношениях является удивительным событием. И она так интересна, что читается одним духом.

Мы собираемся вам рассказать о том, как знаменитый революционер и анархист Кропоткин бежал из Петропавловской крепости. Ему помог бежать его друг — доктор Веймар. И храбрый поступок этого врача мы вполне причисляем к удивительным историям.

А Кропоткин был арестован царским правительством и год сидел в ужасном каземате Петропавловской тюрьмы.

Ему грозила каторга и ссылка на вечное поселение.

И тогда его друзья во главе с этим доктором решили спасти его.

И вот однажды вместе с передачей Кропоткин получает карманные часы. Это его удивило. Он стал рассматривать часы, и, к его удивлению, он нашел в механизме часов записочку на тончайшей бумаге. И в этой записочке излагался план бегства.

40. План был такой. В ближайшие дни во время двадцатиминутной тюремной прогулки за стеной крепости Кропоткин услышит игру на скрипке. И это будет знак, по которому он должен добежать до ворот крепости. А у ворот будет ждать лихач, который и отвезет его в назначенное место.

Так что все дело было — добежать до ворот. Но это было крайне нелегко. До ворот было шагов триста. А на прогулке за Кропоткиным по пятам следовал солдат с ружьем. А у ворот стоял часовой.

И вот однажды в июльский день по данному сигналу Кропоткин бросился к воротам.

Причем это было так неожиданно, что конвойный солдат в первую минуту растерялся. И благодаря этому Кропоткин выиграл несколько шагов.

С криком «держи!» конвойный побежал за арестантом и несколько раз пытался ударить его штыком, бросая вперед руку с ружьем, но безуспешно. Причем не стрелял, вероятно уверенный, что арестанта поймают у ворот.

41. Но у ворот специальный человек (приятель Веймара) отвлек внимание часового. Он ему что-то рассказывал, и часовой слушал развесив уши.

Тогда Кропоткин, сбросив для легкости арестантский халат, побежал быстрее. Конвойный приготовился стрелять, но, к счастью, в ворота въехали крестьянские подводы с фуражом, и Кропоткин успел за ними скрыться.

И вот еще несколько усилий — и Кропоткин в воротах. И за воротами он видит лихача.

Но тут он с ужасом замечает, что в пролетке лихача сидит какой-то блестящий гвардейский офицер.

Была секунда, когда Кропоткин замер. И не знал, что ему делать.

Но офицер закричал:

— Скорей же, черт побери, прыгай!

Кропоткин одним духом прыгнул в экипаж. Офицер протянул ему складной цилиндр и плащ и сам, вскочив с сиденья и потрясая револьвером, закричал кучеру страшным голосом:

— Гони!.. Убью!..

И великолепный призовой рысак рванул что есть мочи.

42. Сзади раздались крики: «держи!». И прогремело несколько выстрелов. Но было поздно.

Рысак уже был далеко. И гвардейский офицер (а это был переодетый друг Кропоткина — отважный доктор Веймар) спокойно откинулся на спинку сиденья. И теперь в экипаже ехали роскошные господа — офицер и барин в цилиндре и в крылатке. И проходящие жандармы отдавали честь, хотя где-то вдалеке продолжали кричать: «держи!».

Беглецы выехали на Каменноостровский и вскоре были на квартире у своих друзей.

Однако тут находиться было небезопасно. И Кропоткин уехал за город. А через два дня был уже в Финляндии. И оттуда перебрался в Швецию.

Родных Кропоткина продержали два месяца в тюрьме, но, видя, что они ни при чем, отпустили. И это так радостно, что из семьи Кропоткиных никто не пострадал.

И храбрый доктор Веймар тоже не пострадал. О нем, собственно, никто даже и не знал. И только потом все это выяснилось.

Вот какие бывают врачи и доктора. И это весьма приятно знать. И даже у таких врачей хочется лечиться.

43. В общем, поступки, подобные рассказанным в этих трех новеллах, нас тоже трогают своим величием и мужеством.

И мы не сомневаемся, что на памятнике, о котором у нас с вами была речь, это тоже будет соответствующим образом отмечено в наизидание людям.

И на этом славном памятнике, помимо всего остального, наряду со всем этим будут также, без сомнения, перечислены еще герои науки и искусства, отдавшие на это свою жизнь и здоровье.

Особенно, мы так думаем, будут тепло отмечены поступки ученых и исследователей.

Но и работники искусства тоже, вероятно, будут представлены какой-нибудь своей аллегорической группой, под которой будет исполнена хорошая, бодрящая надпись, дескать, мы и вас тоже не забудем. Старайтесь. Дескать, хотя некоторые из вас стали героями поневоле, имея кое-какие дефекты в характерах, а некоторые из честолюбия, но от этого, так сказать, чистота звуков и красок не меркнет. И, дескать, мы отдаем дань восхищения вашему мужеству и силе духа. Молодцы, дескать.

И верно, жизнь некоторых деятелей искусства и науки поражает своим величием и героизмом.

И тут мы для примера и доказательства приводим несколько заметок о доблестных и славных делах деятелей этого рода.

- Итальянский ученый Лациаро Спалланциани (умер в 1799 году), изучая жизненные процессы человеческого организма, произвел множество опытов над самим собой. Он вводил в кровь различные микробы и для наблюдения над пищеварением проглатывал малосъедобные и вовсе несъедобные вещества. Умирая, он сказал: «У меня плохое сердце, и я прошу: тотчас после моей смерти исследуйте его лучше, быть может, это даст новый факт для изучения сердечных болезней».

- Микеланджело всю колоссальную мощь и страстность своей личности отдал живописи, в ущерб всей своей жизни. Работая в Ватикане над своими гениальными фресками, он нередко дни и ночи проводил на лесах, лежа в неудобной позе под самым потолком. Ночью он работал, прикрепив свечку к обручу, надетому на голову. Воск нередко залеплял ему глаза. Благодаря этому он в дальнейшем потерял зрение. И его, слепого старика, водили в музеи, где он с наслаждением ошупывал руками скульптурные работы.

- Бетховен отказался от любви, предложенной одной из его поклонниц. Он сказал своим друзьям: «Если б я таким образом захотел тратить свои силы, что бы осталось для лучшего, для благородного».

Он писал тогда свою знаменитую Шестую симфонию.

44. Однако, помимо всего перечисленного, бывает еще один сорт героизма и мужества. И это тоже нас может удивлять своей силой. Но полного восхищения это у нас не

вызывает. И на упомянутом памятнике это ничем не будет отмечено.

Мы говорим о храбрых поступках, которые, так сказать, лишены большой цели и значения.

Ну, например, был такой знаменитый протопоп и писатель Аввакум. И он проявил исключительное мужество. Его пытали, кидали в тюрьмы и в ссылки. Подкупали. Упрашивали, наконец, отказаться от его идеи. Но он так и не сдался. И настаивал на своем. Пока его не убили.

А вся его идея заключалась, извините, в том, что он был против того, чтобы публика крестилась тремя перстами. Он говорил, что верующих это должно смущать. Что это им может напоминать кукиш в его первоначальной форме. И настаивал на двух пальцах. И так с этой славной идеей и помер. Его сожгли. И он даже с костра кричал: «Еретики, мерзавцы!»

Согласитесь сами, что подобный храбрый поступок может удивлять, но восхищения он не вызовет.

45. Или второй случай. Фельдмаршал Миних.

Его, как известно, при Елизавете Петровне в 1742 году судили. Он, собственно, засыпался по общественному делу. Он у прежней царицы состоял в фельдмаршалах. И та относилась к нему благосклонно. А эта новая прямо как с цепи сорвалась.

И только свергли с престола эту добродушную молоденькую дуру, Анну Леопольдовну, со своим детенышем, как Елизавета Петровна сразу вдруг велела отдать под суд нашего почтенного фельдмаршала.

И вдобавок председателем суда назначили одного из его подчиненных — Трубецкого.

Трубецкой на суде говорит:

— Подсудимый Миних, признаете ли вы себя виновным?

Миних говорит:

— Я в одном только виноват, господин судья.

— В чем же именно?

— Именно в том, — сказал Миних, — что я тебя, собаку, не повесил, когда ты у меня в прошлом году попался в плутовстве, будучи крингс-комиссаром.

46. От этого смелого ответа многие в суде фыркнули. А председатель побледнел и без сожаления приговорил Миниха к смертной казни.

Но Елизавета Петровна, отличаясь слабостью нервов, не захотела казни и велела сослать на вечное поселение.

И в этом ответе Миниха было, конечно, много храбрости и мужества. Другие бы стали ныть и подхалимничать. А этот сделал такой гордый ответ. Но тут, конечно, были личные счеты — сильная ненависть и желание обидеть.

И потому подобный поступок при всей его храбрости нас только может удивлять, но к человеку мы остаемся холодны и равнодушны. Нам, как бы сказать, даже наплевать на него.

Вот что значит цель и устремление.

В общем, из двух последних новелл можно вывести заключение, что в любом поступке немаловажную роль играет цель и назначение.

И там, где цель ничтожна, там даже храбрейший поступок может вызвать нашу насмешку. А где цель высока, там героизм, как мы видели, достигает своего величия.

47. А правильная и великая цель совместно с героической борьбой и удивительным мужеством создала, например, социальную революцию.

И на этой революции завершилось прошлое и наступило настоящее. И о прошлом, перелистывая историю, мы вам говорили. А что касается настоящего, то оно перед вашими глазами. И все вы видите, что это такое. Это то, что жизнь из рук владельцев магазинов и из рук помещиков окончательно перешла в руки тех, кто работает. И это есть одно из самых удивительных событий и перемен, известных за все время.

И наблюдатели этих перемен должны учитывать, что настоящий момент в сравнении с тем, что будет, еще не совсем показателен для наблюдений. А некоторые трудности наших дней еще ничего не говорят. А то, что сделано почти из ничего, — уже чрезвычайно много. А то, что будет вскоре, — будет в высшей степени хорошо, поскольку все будет делаться для себя, — а никто сам себе не враг. Трудящиеся сами без банкиров разберутся, что к чему.

Но то, что есть, не пришло само по себе. А было проявлено для этого высшее мужество и сила духа, и были испытаны большие страдания и огромные потери.

А из удивительных событий, происходивших в эти годы, помимо указанного, можно назвать такие.

48. Первое удивительное событие — это гражданская война, закончившаяся полным поражением барской России. Как сказал наш славный советский поэт:

За это бились под Орлом,
Под Жмеринкой дрались.
За эту драку, черт возьми, кривую, как коса,
Нас всех, оставшихся в живых, берут на небеса.
Но нам, ребята, не к лицу благословенный край...

И действительно, в эту войну многими было проявлено такое мужество и такой героизм, что мало что с этим может равняться! И имена этих героев у всех на устах. И некоторые из них погибли, а некоторые живы, и их можно видеть. И имена тех и других будут записаны на мраморную доску золотыми буквами.

А второе удивительное событие было такое, что частные торговцы и купцы с их привычкой ежедневно торговать потерпели окончательное поражение. А сначала казалось, что наоборот и что победа за ними останется. И они уже высоко подняли свое знамя и гордо с этим шли своей отдельной колонной, не желая отставать от революции. Но в этот момент они потерпели поражение и сошли со страниц новейшей истории со своими актуальными лозунгами: «Не обманешь — не продашь», «Кто прост, тому коровий хвост» и «Деньги не пахнут».

И это было одно из самых удивительных событий за последние годы. И тут победа одних была бы поражением других. И это событие тоже следует записать золотыми буквами.

49. Что касается до третьего удивительного события, то оно — Большие Перемены.

Еще не так давно поэт писал такие стихотворные строчки, в которых ради сомнительной рифмы допущена поэтическая вольность:

Довольно гнить и ноесть
И славить взлетом гнусь, —
Уж смысла, стерла деготь
Воспрянувшая Русь.

Однако эти строчки уже ничего не говорят. И смывшая деготь Русь из соломенной и деревянной стала железной. И это тоже абсолютно удивительное явление, которое само за себя говорит без всякой записи.

А четвертое удивительное событие уже видно всем, но вполне и целиком его могут понять лица, отчасти знакомые с экономикой. И мы не будем затруднять читателя объяснением, как и чего, и не будем затрагивать вопросов политической экономики. Только скажем, что материальное улучшение, которое теперь началось, все время будет возрастать, пока не достигнет своего идеала. И вместе с этим все время будет уменьшаться количество неудачников и ротозеев.

И мы в этом уверены и на это, согласно правильной экономике, вполне надеемся. И оно наверно так и будет.

И когда это целиком подтвердится, то это удивительное событие оценят все без исключения и все запишут его в своем сердце.

50. А что касается пятого удивительного события, то оно — Большая Работа. И она с такой силой велась и так энергично, что это всех привело в изумление. И даже некоторые сказали: это чересчур опасно для ихнего здоровья.

И это действительно была такая громадная работа, небезопасная для здоровья, что представитель дворянского класса может просто не понять, что это такое.

Как в свое время поэт Некрасов сказал, обращаясь к своему светскому читателю:

Эту привычку к труду благородному
Нам бы не худо с тобой перенять,
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.

И мы к этому стиху добавим, что «мужики», в свою очередь, должны научиться уважать друг друга и быть друг к другу внимательными и любезными. И должны заботиться друг о друге. А то если они к работе будут слишком внимательны, а к людям нет, и если они работу будут нежно любить,

а людей шпынять, то получится превеликий конфуз и неожиданное поражение с фланга. И этого надо непременно срочно избежать. Это очень опасный момент. Тут могут быть снова споры, обиды и огорчения, которые сформируют целую армию неудачников.

И это на голубом мраморе надо записать черными буквами с пятью восклицательными знаками.

51. Может быть, конечно, мы позабыли сказать еще о каких-нибудь удивительных событиях. — просьба отметить их в своей памяти.

А что касается удивительных и славных дел за границей, то это очень часто у них бывает. И там находятся такие исключительные герои и бывают такие великолепные поступки храбрости и мужества, что даже враги поражаются, и они этим напуганы, страшно сердятся, мстят и убивают.

И вы об этом по временам читаете. И имена этих героев у вас на устах. И эти прекрасные имена тоже будут высечены на мраморе золотыми буквами.

И вот на этом, друзья, мы позволим себе закончить описание удивительных исторических событий и краткий перечень удивительных событий нашего времени.

Так пожелаем же счастья и удачи новым людям и новой удивительной жизни, которая разворачивается перед нашим взором.

52. Здравствуй, новая молодая жизнь!

Вот теперь все принадлежит самим трудящимся, и поэтому мы надеемся, что все будет хорошо и что все рабские чувства и мысли, созданные мрачной историей, — суетливая услужливость, лакейская угодливость и чрезмерная готовность — уйдут и исчезнут и никогда не будут больше унижать человеческое достоинство.

Это было создано страхом и свирепой борьбой за существование и всем неприглядным ходом истории.

Так здравствуй же, новая молодая жизнь, — не такая, как записана в истории.

И на этом приятном восклицании, в котором много радости и надежды, мы и заканчиваем наш отдел с пожеланием всего хорошего.

Попросим вас только зачитать небольшое послесловие к пятому отделу.

Послесловие

Итак, друзья, наш славный пятый отдел закончен.

Так что же мы видим, прочитавши все это — исторические новеллы и краткий конспект современных удивительных событий из наших дней.

А мы видим, что сквозь все невозможные невзгоды, сквозь мрак, холод и туман всегда пробиваются светлая мысль, бодрость, надежда и мужество.

Мы видим, как наряду с жалкими и низкими поступками происходят удивительные поступки, достойные наивысшего названия и одобрения.

Мы, наконец, видим, как меняется наша жизнь и как из одной она делается другой — такой, как это будет нужно и полезно для населения.

И в силу этого мы, примиренные с жизнью и с людьми, уже не без некоторой нежности взираем на то и это.

И видим, что то и это не так уж слишком печально, как иной раз изображалось нашими предшественниками. Нас радует и примиряет то, что под скромной оболочкой и под жалкими тряпками теплится иной раз настоящая любовь и бьется настоящее сердце. И это бывает видно даже в самые тяжелые и отчаянные минуты. И это очень хорошо. А то было бы совсем невозможно.

И мы теперь рады случаю поспорить с поэтом, который в свое время так сказал, не видя пятой части жизни:

Как часто плачем — вы и я
Над жалкой жизнью своей!
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней.

Но мы холода и мрака грядущих дней не видим.

А мы видим и представляем себе иные и великолепные картины. И очень хорошо, что поэт ошибся.

И даже если заглянуть очень далеко и на минуту подумать, что вот появятся какие-нибудь народы и они откажутся от хорошей жизни, и у них снова начнется мрак, пьянство, хамство и базар, то и тогда непременно придет возмездие, и более крепкие и сильные руки в бараний рог согнут все, что не годится, и тогда начнется то, что требуется.

Итак, все очень хорошо, что хорошо кончается.

И на этом, друзья, мы заканчиваем пятую и последнюю часть нашей Голубой книги.

Впрочем, для разбития мыслей мы еще предложим вашему вниманию такое, что ли, специальное приложение. И в этом приложении вам будет рассказано кое-что забавное и смешное.

И этот наш добавочный отдел отчасти будет приложением к пятой части, а отчасти он будет завершать всю нашу книгу в ее близком конце.

И это будет, так сказать, мост, по которому вы плавно перейдете на житейский берег после долгих литературных путешествий.

В общем, мы предлагаем вам зачитать пять современных новелл по числу наших отделов и с их значением.

Так, например, первая новелла будет о деньгах в их удивительном значении. Вторая о любви тоже в удивительном преломлении. И так далее. Вплоть до конца.

Итак, начинаются наши развлекательные новеллы, написанные для разбития мыслей и для того, чтоб посмеяться и получить бодрую зарядку.

Приложение к пятому отделу

Бедная Лиза

Одна молодая особа, весьма недурненькая и развитая брюнетка, решила в этом году непременно разбогатеть.

То есть не то чтобы она хотела заполучить сказочное богатство, как это иной раз бывает в странах капитала среди миллионеров и спекулянтов.

Нет, она, конечно, этого не хотела. То есть, вообще-то говоря, она именно как раз этого и хотела. Но только она не понимала, как это теперь бывает. И потому она решила иметь то, что в пределах возможного.

Она хотела иметь какой-нибудь голубой «фордик» с постоянным, что ли, шофером. Стандартную дачку. Некоторый счет в Торгсине. И, конечно, какое-нибудь знатное положение мужа, чтоб ей бывать повсюду и всех видеть.

А муж у нее был обыкновенный инженер. То есть он был гидролог. Это у них там что-то насчет воды. А если это так, то он, конечно, никаких там особых колонн не проек-

тировал, за что бы ему шли деньги и премии, как творцу новых идей и положений.

Короче говоря, он жил помаленьку на свои семьсот монет. И, будучи энтузиастом своего дела, был до некоторой степени вполне доволен.

Супругу же его не устраивала эта сумма. И, будучи женщиной праздной и пустенькой, со слабым мировоззрением, она мечтала о сказочной роскоши и так далее.

А ей кто-то сказал, что вообще как будто писатели живут довольно недурно. Что некоторые из них имеют пишущие машины, отдельные квартиры, дачи, а иной раз даже и автомобиль. И пусть она среди этой прослойки что-нибудь себе поищет.

Но Лиза не знала, где ей этого искать. И потому она не без поспешности сошлась с одним первым попавшимся автором.

Но, между нами говоря, этот инженер человеческих душ, как нарочно, оказался на редкость несостоятельным и ограниченным субъектом. И вдобавок он был любитель алкоголя. Благодаря чему через месяц он выразил желание, чтоб она непременно где-нибудь служила. Поскольку он сам на себя не надеялся, создавая слабые, маловысокохудожественные книги, не отражающие в полной мере величие эпохи.

В общем, он не оправдал ее надежд, и тогда она покинула этого своего выроodka, потеряв при этом веру в литературу и в ее могущество.

В общем, она вернулась к своему супругу. Но, вернувшись, она не оставила своих пылких надежд и только ждала, чтоб что-нибудь у нее поскорей случилось.

И вот как раз тогда ее познакомили с одним иностранцем. Ей представили его в ресторане. И сказали, что он интурист. И что он живет в отеле, но этим недоволен и мечтает найти комнату в частном доме месяца на два. Нет ли у нее такой?

И хотя у нее этого не было, но она тем не менее крайне обрадовалась и решила на два месяца переселить куда-нибудь свою преподобную мамашу, чтоб только ей не упустить избалованного иностранца, не могущего проживать в неудобных, шумных отелях среди звонков и проходящих девиц.

В общем, этому интуристу и изнеженному аристократу она устроила у себя в квартире комнату. И хотя супруг ее не допускал до этого, но она на своем настояла. И тот к ним переехал со своим ослепительным гардеробом, одеколоном, фотоаппаратом и так далее.

И вот Лиза, думая, что наступил главный момент в ее жизни, сошлась с этим иностранцем.

И тот ее исключительно полюбил. И сделал ей формальное предложение. На что она согласилась и даже сверх того — очень тому обрадовалась, прямо до того, что и описать нельзя.

И тогда она сразу бросила мужа. И стала с ним жить в мамашинной комнате.

И хотя ее иностранец по-русски почти не говорил, а она, наоборот, говорила только по-русски, тем не менее это отнюдь не послужило преградой для их взаимного международного счастья. В общем, она была счастлива и мечтала о Париже, Лондоне, Средиземном море и так далее.

Но через месяц интурист, научившись более сносно выражать по-русски свои мысли, как-то раз особенно разговорился о том о сем на этом языке, и из разговора она отчасти выяснила, что тот вовсе не собирается уезжать в Европу. А, напротив, он даже хочет тут обосноваться. И что по случаю затруднительных дел там у них за границей закрылось какое-то предприятие, и он по этому случаю остался как бы даже без работы. Вот почему он и прибыл в Союз, надеясь тут найти что-нибудь по своей специальности.

Она, побледнев, попросила его повторить эти грубые русские фразы о том о сем. И он снова сказал ей то же самое, добавив, что у него есть большие надежды здесь у нас устроиться, поскольку он специалист по шипучим водам и тут в Союзе это как раз, наверное, очень надо. И, если он устроится, тогда через год они смело смогут съездить в Париж, если уж она так этого хочет.

Тогда она, вспыхнув, не без яду спросила, зачем же он при своем положении, будучи простым безработным, называется интуристом и при этом не оставляет своих изнеженных привычек и не живет в дешевом номере. А своим видом и поведением смущает окружающих, допуская их делать невесть какие выводы.

Тогда он заметил ей, что вот именно он как раз и переехал из отеля к ним ради, так сказать, экономии.

Тогда она заплакала, сказав, что если это так, то в ее слабой голове спутались все понятия об устройстве мира. И что об интуристах она была совершенно другого мнения. Она думала, что они все без исключения ездят ради прихоти и любопытства, а не ради того, зачем он прибыл. Не хватало, дескать, ей еще за безработных выходить. Ведь этого даже у нас нету. А тут вот она нашла такого. Так уж лучше она выйдет замуж за нашего конторщика и будет получать свои сто целковых, чем что-либо другое.

И она от обиды и унижения три дня плакала. И велела интуристу уехать в отель, поскольку мама жила на улице.

В общем, она рассталась с ним, поскольку тем более ее первый муж, как выяснилось, сделал какую-то крупнейшую экономию на службе и за это получил десять тысяч рублей премии, что и было объявлено в газетах.

Однако супруг, не зная еще, что она к нему вернется, отдал эти деньги на строительство. Он был большой энтузиаст и был отчасти равнодушен к деньгам. Вот он и отдал эту сумму государству.

А она, вернувшись и узнав об этом, до того расстроилась, что супруг боялся за целостность ее рассудка. И тогда она, успокоившись, снова затаила в душе решение найти что-нибудь лучшее.

А ей кто-то сказал, что тот самый злосчастный писатель-лишка, с которым она недавно жила и не была счастлива, неожиданно сильно пошел в гору. Он бросил писать свои слабые вещицы и неожиданно вдруг написал пьеску, которая по силе, говорят, не уступала Борису Шекспиру или что-нибудь вроде этого. И что он теперь буквально великолепно зарабатывает.

Она, огорчившись, что не подождала этой хорошей полосы, снова хотела сойтись с этим драматургом. Но он, оказалось, уже имел две семьи и был сравнительно счастлив.

Тогда она, подойдя, благодаря этому знакомству, несколько ближе к театральным делам, нашла тут большие возможности. Вдобавок ее в театре познакомили с одним эстрадным комиком, который, говорят, зарабатывал очень, очень крупные деньги.

Она хотела было сразу сойтись с этим комиком, но в последний момент испугалась какого-нибудь надувательства или подвоха с его стороны, вроде как было у ней с интуристом или что-нибудь вроде этого.

И тогда она не вышла за него замуж, а решила, если на то пошло, сама стать артисткой.

И она стала изучать характерные танцы, чтоб с ними как-нибудь выступать на эстраде и зарабатывать, как другие.

Но от хронических ее неприятностей с интуристом и с писателем у нее доктора нашли невроз сердца и нервную сыпь на теле. И поэтому она стала учиться петь.

И сейчас она поет. И уже начала порядочно зарабатывать в закрытых концертах и в домах отдыха.

А мужу она сказала, что теперь она с ним останется жить. Что раньше у нее были старые взгляды на деньги и супружеские отношения, но что сейчас, получая до тысячи рублей и больше за свое пение, она вполне перевоспиталась и даже довольна и идет не против самостоятельности женщин.

Но довольство ее продолжалось до тех пор, пока ей не рассказали об ее интуристе.

Ей сказали, что этот ее иностранец нашел здесь по своей редкой специальности очень хорошее место, получил прекрасное содержание, женился на одной девице и с ней выехал к себе на родину для устройства своих дел и чтобы привезти сюда автомобиль.

Ей сказали, что она, наверное, плохо договорилась с ним по-русски, если упустила такой экземпляр.

Вот это известие она действительно перенесла с трудом. И у нее даже пропал голос.

Но через две недели она снова оправилась и сейчас опять поет, как умеет. Но сыпь на коже у нее так и осталась.

Вот какие бывают барышни. И вот что с ними случается, когда они хотят получить деньги не так, как это у нас принято.

А что она после этого стала артисткой, то для нее это очень хорошо, а для публики это, наверно, весьма посредственно.

И, конечно, в таких случаях всегда лучше танцевать, чем петь. И молодые особы должны учитывать это горячее пожелание публики. А в общем, даже и зарабатывая день-

ги, надо стараться иметь иной характер и иное сердце, чем у вышеуказанной молодой особы!

В общем, этот рассказ есть до некоторой степени описание удивительного события, связанного с деньгами. И тут главное удивительно, как праздная женщина прежней, так сказать, конструкции потерпела неожиданное поражение.

А второй удивительный момент рассказа — это как инженер отдал премию на строительство.

И это наш первый удивительный рассказ. А второй рассказ будет касаться удивительного события в любви.

И вот он перед вами.

Рассказ о студенте и водолазе

Вот интересно. Подрались два человека. Схватились два человека, и слабый человек, то есть совершенно ослабевший, золотушный парнишка, наклепал сильному.

Прямо даже верить неохота. То есть как это слабый парень может, товарищи, нарушить все основные физические и химические законы? Чего он сжулил? Или он перехитрил того?

Нет! Просто у него личность преобладала. Или я так скажу — мужество. И он через это забил своего врага.

А подрались, я говорю, два человека. Водолаз, товарищ Филиппов. Огромный такой мужчина, с буденновскими усами. И другой парнишка, вузовец, студент. Такой довольно грамотный, полуинтеллигентный студентик. Между прочим, однофамилец нашего знаменитого советского романиста Малашкина.

Водолаз Филиппов, я говорю, был очень даже здоровый тип. В водолажном деле слабых, конечно, не употребляют, но это был ужасно какой здоровый дьявол.

А студент был, конечно, мелковатый, непрочный субъект. И он красотой особой не отличался. Чего-то у него за всегда было на морде. Или золотуха. Я не знаю. Вот они и подрались.

А только надо сказать, промежду них не было классовой борьбы. И тоже не наблюдалось идеологического расхождения. Они оба-два были совершенно пролетарского происхождения. У них драка возникла на любовной подкладке. Они просто, скажем грубо, не поделили между со-

бой бабу! На этом году революции они не поделили бабу! Это ж прямо анекдот.

Такая была Шурочка. Так, ничего себе. Ротик, носик — это все есть. Но особенно такого сверхъестественного в ней не наблюдалось.

А водолаз, товарищ Филиппов, был в нее сильно и чересчур влюбившись.

А она с ним немножко погуляла и перекинулась на сторону полуинтеллигенции. Она на Малашкина кинулась. Может, он ей разговорчивей показался. Или у него руки были чище. Я не знаю. Только она, действительно, отошла к нему. И у нее с ним возникла пылкая любовь.

А тот, знаете, и сам не рад своему счастью. Потому, глядит, очень ужасный у него противник. Однако виду не показывает. Ходит довольно открыто и водит свою мадам в разные места. И водит храбро, под ручку. Так через двор и ведет. В то время как водолаз на них смотрит. Но студент виду не показывает, что робеет, и знамя своей любви высоко держит.

А водолаз, конечно, его задевает. Прямо не дает ему дыхнуть.

Называет его разными хамскими именами и при случае в грудь пихает. Пихнет и говорит:

— А ну, выходи на серенаду! Сейчас я тебе, паразит, башку отвинчу.

Ну, конечно дело, студент терпит. Отходит. А раз однажды стоят ребята во дворе дома. Тут все правление. Члены. Контрольная комиссия. Водолаз тоже сбоку стоит. И вдруг идет по двору Костя Малашкин со своей Шурочкой. И так как-то мило идут. Любовно. А водолаз нарочно громко говорит контрольной комиссии:

— На морде, — говорит, — проказа, а, между прочим, любовь крутит и барышень до самых дверей провожает.

Тогда студент провожает свою даму и возвращается назад.

Он возвращается назад, подходит до компании и ударяет товарища водолаза по морде. Водолаз, конечно, удивляется такому нахальству и хлоп в свою очередь студента. Студент брык наземь. Водолаз к нему подбегает и хлоп его обратно по брюху и по разным важным местам.

Тут, конечно, контрольная комиссия оттеснила водолаза от студента. Поставили того на ноги. Натерли его слабую грудку снегом и отвели домой.

Тот ничего, отдышался и вечером вышел подышать свежей прохладой.

Он вышел подышать прохладой и на обратном ходу встречает водолаза. И тогда он снова быстрым темпом ходит до водолаза и обратно бьет его в харю.

Только на этот раз не было контрольной комиссии, и водолаз, товарищ Филиппов, порядочно отутюжил нашего студента. Так что пришлось его на шинельке домой относить.

Только проходит, может, полторы недели. Студент совершенно поправляется, встает на ножки и идет на домовое собрание.

Он идет на домовое собрание и там обратно встречает водолаза.

Водолаз хочет его не увидеть, а тот подходит до него вплотную и снова ударяет его по зубам.

Тут снова происходит безобразная сцена. Студента кидают, вращают по полу и бьют по всем местам. И снова уносят на шинельке.

Только на этот раз дело оказалось серьезней. У студента буквально, как говорится, стали отниматься передние и задние ноги.

А дело было к весне. Запевали птички, и настурции цвели. И наш голубчик-студент после этой битвы ежедневно сидел у раскрытого окна — отдыхал. И водолаз всегда отворачивался и проходил мимо. А когда к водолазу подходил народ, даже хотя бы с контрольной комиссии, он ужасно сильно вздрагивал и башку назад откидывал, буд-то его бить собирались.

Через недели две студент еще три раза бил водолаза и два раза получил сдачи, хотя не так чувствительно.

А в третий и в последний раз водолаз сдачи не дал. Он только потер побитую морду и говорит:

— Я, — говорит, — перед вами сдаюсь. Я, — говорит, — через вас, товарищ Костя Малашкин, совершенно извелся и форменно до ручки дошел.

Тут они полюбовались друг другом и разошлись.

Студент вскоре расстался со своей Шурочкой. А водолаз уехал на Черное море нырять за «Черным принцем».

На этом дело и кончилось.

Так что сила силой, а против силы имеется еще одно явление.

И этот рассказ есть удивительнейшее событие из любовной жизни.

А что касается коварства, то нам вспоминается такое забавное происшествие. И оно отчасти тоже удивительное.

Проишествие

Конечно, об чем может быть речь, — дети нам крайне необходимы.

Государство без них не может так гладко существовать. Они нам — наша смена. Мы на них надеемся и расчеты на них строим. Тем более взрослые не так легко могут расстаться со своими мещанскими привычками. А детишки, может быть, подрастут и определенно выровняют нашу некультурность.

Так что в этом отношении детей мы прямо на руках должны носить, и пыль с них сдувать, и носики им сморкать. Невзирая на то — это наш ребенок или ребенок чужой и нам посторонний.

А только этого как раз мало наблюдается в нашей жизни со стороны обывателей.

Нам вспоминается одно довольно оригинальное событие, которое развернулось на наших глазах в поезде, не доезжая Новороссийска.

Которые были в этом вагоне, те почти все в Новороссийск ехали.

И едет, между прочим, в этом вагоне среди других такая вообще бабешечка. Такая молодая женщина с ребенком.

У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет.

Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж, что ли, там служит на заводе.

Вот она к нему и едет.

И вот она едет к мужу. Все как полагается: на руках у ней малютка, на лавке узелок и корзинка. И вот она едет в таком виде в Новороссийск.

Едет она к мужу в Новороссийск. А у ей малютка на руках очень такой звонкий. И орет, и орет, все равно как оглашенный. Он, видать, хворает. Его, как оказалось, в пути желудочная болезнь настигла. Или он покушал сырых продуктов, или чего-нибудь выпил, только его в пути схватило. Вот он и орет.

Одним словом — малютка. Он не понимает, что к чему и зачем у него желудочек страдает. Ему сколько лет? Ему, может быть, три года или там два. Не наблюдая детей в частной жизни, затруднительно определить, сколько этому предмету лет. Только он, видать, октябренок. У него такой красный нагрудник повязан.

И вот едет эта малютка со своей мамашей в Новоросийск. Они едут, конечно, в Новороссийск, и, как назло, в пути с ним случается болезнь.

И по случаю болезни он каждую минуту вякает, хворает и требует до себя внимания. И, конечно, не дает своей мамаше ни отдыха, ни сроку. Она с рук его два дня не спускает. И спать не может. И чаю не может попить.

И тогда перед станцией Лихны она, конечно, обращается до пассажиров:

— Я, — говорит, — очень извиняюсь, — поглядите за моим крошкой. Я побегу на станцию Лихны, хотя бы супу скушаю. У меня, — говорит, — язык к глотке прилипает. Я, — говорит, — ну прямо не предвижу конца. Я, — говорит, — в Новороссийск еду до своего мужа.

Пассажиры, конечное дело, стараются не глядеть, откуда это говорится, отворачиваются, дескать, еще чего: то орет и вякает, а то еще и возись с ним! Еще, думают, подкинет. Смотря какая мамаша. Другая мамаша очень свободно на это решится.

И хотя в дальнейшем этого не случилось и любящая мать осталась при своем ребенке, однако пассажиры не знали всей этой дальнейшей ситуации и в силу этого отнеслись к просьбе сдержанно — одним словом, отказали. И, значит, не берутся.

А едет в вагоне, между прочим, один такой гражданин. Он, видать, городской житель. В кепочке и в таком международном прорезиненном макинтоше. И, конечно, в сандалиях. Он так обращается до публики:

— То есть, — говорит, — мне тошно на все глядеть. То есть, — говорит, — что вы за люди — я прямо дивуюсь! Нельзя, — говорит, — граждане, иметь такой слишком равнодушный подход. Может, на наших глазах мать покушать затрудняется, ее малютка чересчур сковывает, а тут каждый от этих общественных дел морду отворачивает. Это ну прямо ведет к отказу от социализма.

Другие говорят:

— Вот ты и погляди за крошкой! Какой нашелся бродяга — передовые речи в спальном вагоне произносить!

Он говорит:

— И хотя я есть человек холостой, и мне чертовски спать хочется, и вообще не мое дело в крайнем случае за это самое браться, но я не имею такого бесчувствия в детском вопросе.

И берет он малютку на руки, качает его и пальцем его забавляет.

Конечно, молодая женщина очень горячо его благодарит и на станцию Лихны сходит.

Уходит она на эту станцию в буфет и долго не является. Поезд стоит десять минут. Эти десять минут проходят, и уже дается сигнал. И дежурный машет красной шапкой. А ее нету...

И уже дергается состав, и поезд бежит по рельсам, а молодой матери нету.

Тут происходят разные сцены в вагоне. Которые открыто хохочут, которые хватают за тормоза и хотят состав остановить.

А сам, который в сандалиях, сидит побледневший, как сукин сын, и спать больше не может. И речей больше не хочет произносить.

Он держит малютку на своих коленях и разные советы слушает.

Ну, один, конечно, советует телеграмму за свои деньги дать, другие, напротив того, говорят:

— Довезите до Новороссийска и сдайте на станции в охрану. А если там малютку не примут, то усыновите в крайнем случае.

А малютка между тем вякает, хворает и с рук нипочем не уходит.

И вот проходят отчаянные два часа, и поезд, конечно, останавливается на большой станции. Который в сандалиях берет свою малютку за ножки и хочет пойти на платформу в транспортную охрану. Только вдруг молодая мамаша в вагон вкатывается. Она входит в вагон и так защищается:

— Я, — говорит, — извиняюсь! Я как горячего супу покушала, так меня сразу и разморило, и я нарочно зашла в тот соседний вагон и маленько там подзаснула. Я, — гово-

рит, — два дня не спавши. А если бы в этот вагон зашла, — я навряд ли бы выпалась.

И берет она своего крошку и снова его нянчит. Который в сандалиях говорит:

— Довольно неаккуратно поступаете, гражданка! Но раз вы поспали, то я вхожу в ваше положение. Дети нам — наша смена, — я не против за ними поглядеть.

Тут в вагоне происходит веселый смех, дающий здоровую зарядку.

Который в сандалиях говорит:

— Только, конечно, надо предупреждать. А то я за эти два часа много пережил. Вот это нехорошо с вашей стороны.

Тут снова в вагоне происходит веселый взрыв смеха.

И тогда который в сандалиях тоже начинает улыбаться, и вскоре он вполне прощает маленькое коварство, допущенное со стороны матери.

И тогда все кончается к общему благополучию.

И наш следующий рассказ есть удивительное событие в области неудач.

Мелкий случай из личной жизни

Презабавная история произошла со мной на транспорте этой осенью.

Я ехал в Москву. Из Ростова. Вот подходит почтово-пассажирский поезд в 6.45 вечера.

Сажусь в этот поезд.

Народу не так чтобы безобразно много. Даже, в крайнем случае, сесть можно.

Прошу потесниться. Сажусь.

И вот гляжу на своих попутчиков.

А дело, я говорю, к вечеру. Не то чтобы темно, но темновато. Вообще сумерки. И огня не дают. Провода экономят.

Так вот, гляжу на окружающих пассажиров и вижу — компания подобралась довольно славная. Такие все, вижу, симпатичные, не надутые люди. Прошу их запомнить.

Один такой без шапки, длинногривый субъект, но не поп. Такой вообще интеллигент в черной тужурке.

Рядом с ним — в русских сапогах и в форменной фуражке. Такой усатый. Только не инженер. Может быть, он сторож из зоологического сада или агроном. Только, видать, очень отзывчивой души человек. Он держит свои-

ми ручками перочинный ножик и этим ножиком нарезает антоновское яблоко на кусочки и кормит своего другого соседа — безрукого. Такой с ним рядом, вижу, безрукий гражданин едет. Такой молодой пролетарский парень. Без обеих рук. Наверное, инвалид труда. Очень жалостно глядеть.

Но он с таким аппетитом кушает. И поскольку у него нету рук, тот ему нарезает на дольки и подает в рот на кончике ножа.

Такая, вижу, гуманная картинка. Сюжет, достойный Рембрандта.

А напротив них сидит немолодой, седоватый мужчина в черном картузе. И все он, этот мужчина, усмехается.

Может, до меня у них какой-нибудь забавный разговор был. Только, видать, этот пассажир все еще не может остыть и все хохочет по временам: «хе-е» и «хе-е».

А очень меня заинтриговал не этот седоватый, а тот, который безрукий.

И гляжу я на него с гражданской скорбью, и очень меня подмывает спросить, как это он так опростоволосился и на чем конечности потерял. Но спросить неловко.

Думаю, попривыкну к пассажирам, разговорюсь и после спрошу.

Стал посторонние вопросы задавать усатому субъекту как более отзывчивому, но тот отвечает хмуро и с неохотой.

Только вдруг в разговор со мной ввязывается первый интеллигентный мужчина, который с длинными волосами.

Чего-то он до меня обратился, и у нас с ним завязался разговор на разные легкие темы: куда едете, почему капуста и есть ли у вас жилищный кризис на сегодняшний день.

Он говорит:

— У нас жилищного кризиса не наблюдается. Тем более мы проживаем у себя в усадьбе, в поместье.

— И что же, — говорю, — вы там комнату имеете или собачью будку?

— Нет, — говорит, — зачем комнату. Берите выше. У меня девять комнат, не считая, безусловно, людских, сараев, уборных и так далее.

Я говорю:

— Может, врете? Что ж, — говорю, — вас не выселили в революцию, или это есть совхоз?

— Нет, — говорит, — это есть мое родовое имение, особняк. Да вы, говорит, приезжайте ко мне. Я иногда ве-

вчера устраиваю. Кругом у меня фонтаны брызжут. Симфонические оркестры поминутно вальсы играют.

— Что же вы, — говорю, — я извиняюсь, арендатор будете или вы есть частное лицо?

— Да, — говорит, — я частное лицо. Я, между прочим, помещик.

— То есть, — говорю, — как вас, позвольте, понимать? Вы есть бывший помещик? То есть, — говорю, — пролетарская революция смела же вашу категорию. Я, — говорю, — извиняюсь, чего-то не разобрать в этом деле. У нас, — говорю, — социальная революция, социализм, — какие у нас могут быть помещики.

— А вот, — говорит, — могут. Вот, — говорит, — я помещик. Я, — говорит, — сумел сохраниться через всю вашу революцию, и, — говорит, — я плевал на всех — живу как бог. И нет мне дела до ваших, подумаешь, социальных революций.

Я гляжу на него с изумлением и прямо не понимаю, что к чему. Он говорит:

— Да вы приезжайте — увидите. Ну, хотите — сейчас заедем ко мне. Очень, — говорит, — роскошную барскую жизнь встретите. Поедем. Увидите.

«Что, — думаю, — за черт. Поехать, что ли, поглядеть, как это он сохранился сквозь пролетарскую революцию? Или он брешет».

Тем более вижу — седоватый мужчина смеется. Все хочется: «хе-е» и «хе-е».

Только я хотел сделать ему замечание за неуместный смех, а который усатый, который раньше нарезал яблоко, отложил перочинный нож на столик, дожрал остатки и говорит мне довольно громко:

— Да вы с ними перестаньте разговор поддерживать. Это психические. Не видите, что ли?

Тут я поглядел на всю честную компанию и вижу — батюшки мои! Да ведь это действительно ненормальные едут со сторожем. И который длинноволосый — ненормальный. И который все время хохочет. И безрукий тоже. На нем просто смиренная рубашка надета — руки скручены. И сразу не разобрать, что он с руками. Одним словом, едут ненормальные. А этот усатый — ихний сторож. Он их перевозит.

Гляжу я на них с беспокойством и нервничаю — еще, думаю, черт их побери, задушат, раз они психические и не отвечают за свои поступки.

Только вдруг вижу — один ненормальный, с черной бородой, мой сосед, поглядел своим хитрым глазом на перочинный ножик и вдруг осторожно берет его в руку.

Тут у меня сердце екнуло и мороз по коже прошел. В одну секунду я вскочил, навалился на бородатого и начал у него ножик отбирать.

А он отчаянное сопротивление мне оказывает. И прямо меня норовит укусить своими бешеными зубами.

Только вдруг усатый сторож меня назад оттягивает.

— Чего вы, — говорит, — на них навалились, как вам, право, не совестно. Это ихний ножик. Это не психический пассажир. Вот эти трое — да, мои психические. А этот пассажир просто едет, как и вы. Мы у них ножик одалживали — попросили. Это ихний ножик. Как вам не совестно!

Которого я подмял говорит:

— Я же им ножик давай, они же на меня и накидываются. Душат за горло. Благодарю — спасибо. Какие странные поступки с ихней стороны. Да, может, это тоже психический. Тогда, если вы сторож, вы за ним получше глядите. Эвон, накидывается — душит за горло.

Сторож говорит:

— А может, и он тоже психический. Пес его разберет. Только он не с моей партии. Чего я за ним буду зря глядеть. Нечего мне указывать. Я своих знаю.

Я говорю задушенному:

— Я извиняюсь, я думал — вы тоже ненормальный.

— Вы, — говорит, — думали. Думают индейские петухи... Чуть, сволочь, не задушили за горло. Разве не видите, что ли, ихний безумный взгляд и мой — натуральный.

— Нет, — говорю, — не вижу. Напротив, — говорю, — у вас тоже в глазах какая-то муть, и борода тычком растет, как у ненормального.

Один психический — этот самый помещик — говорит:

— А вы дерните его за бороду, — вот он и перестанет ненормальности говорить.

Бородатый хотел закричать, но тут мы приехали на станцию Игрень, и наши психические со своим проводником вышли. И вышли они довольно в строгом порядке. Только что безрукого пришлось слегка подталкивать.

А после кондуктор нам сказал, что на этой станции Игрень как раз имеется дом для душевнобольных, куда иной раз возят таких психических. И как же их еще возить? Не в собачьей теплушке же. Обижаться нечего.

Да я, собственно, и не обижаюсь. А вот которого я подмал, тот действительно обиделся. Он долго глядел на меня хмуρο и с испугом следил за каждым моим движением. А после, не ожидая от меня ничего хорошего, перешел с вещами в другое отделение.

Пожалуйста. Ничего не имею против.

А когда он ушел и я остался один, — мне стало весело и смешно от всего того, что со мной произошло. И этот маленький случай показался мне удивительно забавным происшествием, основанным на не совсем удачной перевозке психических.

И я, посмеявшись, хорошо заснул. И утром встал в хорошем настроении. Так что иной раз и неудача оборачивается удачей.

Теперь, дорогие друзья, зачитайте последний рассказ, который содержит в себе все удивительное и все сразу — деньги, любовь, коварство, неудачу и большое событие, — причем все эти предметы взяты в своем удивительном преломлении. И это не так-то часто бывает. Вот этот рассказ.

Последний рассказ

Еще в первые годы революции произошел у нас в доме такой необыкновенный случай.

Дом громадный. Пять этажей. И, несмотря на это, он весь шел на керосиновом освещении. Такой, можно сказать, подарок от царского режима остался революции.

Другие рядом дома шли на полной электрической нагрузке, а наш был вот какой. И это всех раздражало.

И вот тогда жильцы начали хлопотать, чтоб им что-нибудь было по части света. Чтоб наконец у них кончилось это неудачное житье в полном мраке и темноте.

И им сказали — это можно.

И при этом наиболее всех хлопотала наша квартирная хозяйка, или, как теперь говорят, ответственная съемщица, Елисавета Игнатьевна Хлопушкина. И даром что эта дама только что соскочила со старого режима и была в свое время замужем за одним убитым штабс-капи-

таном, тем не менее она проявила себя как общественница и любительница электрического освещения, предпочитая на нем греть воду, чем на примусе.

В общем, она зарекомендовала себя с лучшей стороны, и за это ей честь и хвала.

И вот, стало быть, благодаря ее хлопотам вскоре в доме вспыхнул свет, и все воспрянули духом.

Но вскоре наша хозяйка Хлопушкина, пожив дня три со светом, становится неестественно мрачной и неразговорчивой.

Мы ее спрашиваем, что такое.

Она говорит:

— Видите, я недовольна освещением. Свет глаза режет и вызывает слепоту. А главное, — говорит, — он у меня в комнате осветил такое барахло, что я прямо смущаюсь к себе заходить. Муж мой, бывший штабс-капитан, скончался на войне десять лет назад, да еще до этого факта лет пятнадцать-двадцать я ремонта у себя не делала. И мне этого было не нужно, поскольку комнатка у меня полутемная и ничего такого не видала. А теперь взгляните, что там есть при полном свете.

Но мы туда не стали заходить, поскольку приблизительно нарисовали себе картину, что там могло быть.

Тем более один из нас меланхолично говорит:

— Бывало, действительно, выйдешь утром на работу, вечером явишься, чай попьешь — и спать. И ничего такого лишнего при керосине у себя не видал. А теперича я зайду к себе, освещу, и мне тоже, как ей, неинтересно становится.

Вот мы и зашли к нему. Зажгли свет. Видим, действительно, нечто невероятное. Тут туфля, тут штаны рваные валяются. Тут обойки оторваны и клочком торчат. Видим — клоп рысью бежит, от света спасается. На столе лежит тряпка, неизвестно какая. Пол жуткий. Тут плевок, тут окурок, тут блоха резвится.

Стоит канапе. И мы сколько раз на этом его канапе сидели, думали — ничего. А теперь видим — это совершенно страшное канапе. Все торчит, все висит, все изнутри лезет. Тогда мы, все жильцы, собрались в коридоре и сказали: «Кажется, пришло время ремонт производить». И после жарких споров и дискуссий мы собрали деньги и решили подчиститься, чтоб у нас не было расхождения со светом.

И вот вскоре мы произвели ремонт. Подчистили. Подправили. И тогда квартирка стала прямо ничего себе.

Чистенько, красиво, весело, и клопов уж очень мало. Они только у двоих жильцов и остались. А что касается блох, то на них почему-то электричество не действует, и они продолжают свою кипучую деятельность.

А что касается общего настроения, то все как переродились. После работы приходят, моются, убирают комнаты, чистятся и так далее. И даже больше — многие стали более вежливо себя держать. А один даже начал учиться французскому языку. И, наверно, у него что-нибудь получится. А некоторые, поскольку стало светло, пристрастились к чтению и к игре в шашки. И вообще при свете началась другая жизнь, полная интересов и внимания друг к другу. Вот что произошло после включения в общую сеть.

И даже ответственная съемщица, Елисавета Игнатьевна Хлопушкина, неожиданно, представьте себе, вышла замуж за техника Анатолия Скоробогатова, который в нее влюбился. И она тоже его безумно полюбила. И многие приписали этот роман действию электрического света, поскольку при свете Хлопушкина оказалась еще ничего себе, несмотря на ее пятьдесят два года. А другие приписали это тому, что свет окончательно выяснил размеры ее комнаты, благодаря чему Скоробогатов рискнул жениться в ожидании чего-нибудь лучшего. И тем самым он возможно, что проявил со своей стороны возмутительное коварство.

Но, так или иначе, она сейчас еще замужем и очень счастлива. И просила всем кланяться и благодарить за изобретение электричества и вообще за электрификацию.

В общем, все громадные перемены в квартире и даже, пожалуй, отчасти этот брак были удивительными событиями, которые мы и записываем золотыми чернилами, только они немного расплываются, поскольку бумага не так еще хороша. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут.

И на этом рассказе мы заканчиваем наши развлекательные новеллы. И вместе с этим заканчиваем наше приложение к пятому отделу.

Итак, друзья, Голубая книга в основном окончена. Прочтите тут еще небольшое послесловьице ко всему нашему труду.

Это послесловие, как в конторской книге, подведет итог всему, о чем мы с вами беседовали в пяти частях нашего сочинения.

Послесловие ко всей книге

Итак, Голубая книга окончена. Подводим исторические итоги. Делаем жирную черту и пишем: Итого.

И в «итого» у нас, как ни считай, получается — ужасные убытки. Можно сказать, три тысячи лет публика торговала кирпичом и оставалась ни при чем.

Но дело ликвидировать не надо. А его надо смело продолжать. Поскольку новые совладельцы, наконец, расшевелили предприятие и дело начинает идти хорошо. И оно непременно вскоре будет вполне рентабельным. И даже самые мелкие заказчики, не имеющие кредита, наверно, мы так думаем, останутся вполне довольны.

И на этом канцелярском счете мы заканчиваем наш экстренный бухгалтерский отчет за три тысячи лет.

И вместе с тем заканчивается наша музыкальная симфония. Громко гремит медь. И бьют барабаны. И контрабас гудит: «Вперед, друзья, без страха и сомненья».

И мы очень рады и довольны, что на этот раз заканчиваем наше сочинение с чувством сердечной радости, с большой надеждой и с пожеланием всего хорошего.

И основную тему нашей радости можно определить в нескольких словах. И, чтобы критики не сбились в этом сложном деле, мы им по дружбе хотим слегка подсказать. Нас трогает стремление к чистоте, к справедливости и к общему благу.

И нас радостно удивляет, почему с такой удивительной настойчивостью люди, которые все равно умрут, стремятся к этому.

Нас, если хотите, удивляет идея справедливости, которую мы по временам отыскиваем в грязи истории. И нас радует здравый смысл, к чему непременно, обязательно и всегда приходят люди.

И вот пример из жизни литераторов.

В золотом фонде мировой литературы не бывает плохих вещей. Стало быть, при всем арапстве, которое иной раз бывает то там, то тут, — есть абсолютная справедливость. И эта идея в свое время торжествует. И, значит, ничего не страшно, и ничего не безнадежно.

Вот почему медные трубы нашего сочинения звучат на этот раз непривычно громко. Но нашего смеха тем не менее эти трубы почти не заглушают.

Французский писатель Вольтер своим смехом погасил в свое время костры, на которых сжигали людей. А мы по мере своих слабых и ничтожных сил берем более скромную задачу. И своим смехом хотим зажечь хотя бы небольшой, вроде лучины, фонарь, при свете которого некоторым людям стало бы заметно, что для них хорошо, что плохо, а что посредственно.

И если это так и будет, то в общем спектакле жизни мы считаем нашу скромную роль лаборанта и осветителя исполненной.

Теперь все сказано, и нам осталось любезно попрощаться с читателем, чтобы вполне закончить наше сочинение.

Ах да, долг вежливости требует — попрощаться с буржуазным философом, с которым мы в свое время в детстве воспитывались.

И поэтому вы, надеюсь, поймете наши чувства и не посетуете на небольшую задержку в окончании.

Прощание с философом

Философ был принят нами вместе с двумя какими-то министрами без портфеля, заехавшими просто так представиться и узнать, как и чего бывает.

Беседа протекала за чашкой чая.

И министры остались до того довольны любезной беседой, что от восхищения еле могли дойти до своих моторов. И в книге почетных посетителей они елевым тоном написали, что ничего подобного они не испытывали в своей жизни. И что это превзошло все их ожидания. И что они были бы рады, если б это продолжалось всю жизнь.

Беседа продолжалась два часа, из которых полтора часа ушло на обмен этих любезностей. Но в передней гости задержались.

— Последнее время, — сказал философ, — я что-то опять стал увлекаться социализмом. Вы знаете, это действительно может получиться неплохо. Не знаю, как у вас, но на другие страны я очень надеюсь. Они возьмут от нас несколько светлых идей. Плюс ваши идейки. И может получиться очень, очень мило.

— Что же от вас они возьмут? Простите.

— Ну, там пустяки. Об чем говорить. Ну, там собственность, что ли. Капитал. Ну, небольшой. А? Пожалуйста. Все равно вам без этого не обойтись... Все равно вы незаметно приплывете к нашим берегам. Так что не будем о деньгах спорить. А кроме того... Ну, домик там... Землишка... Что? Дачка.

— Если вы для себя, а не для эксплуатации, то можете и дачку иметь.

— То есть что значит для себя? Нет, господа, все-таки это все, простите, вздор. Наше дело более гармонично. Богатство, капитал — дает человеку по крайней мере уверенность. Он дает независимость. А тут где независимость я буду искать? Тут вы меня суετε в лапы к людям. У них искать независимость? Да, может, мне попадется какой-нибудь свирепый начальник, так ведь он меня в бараний рог согнет, если что-нибудь не по нем.

— Сударь, вы говорите о буржуазном строе? У нас есть общественность, пресса и новый уклад жизни, которые не позволят вас сгибать. А потом — ваш строй весьма ведь немногим дает независимость. Единицам.

— Ну и что же... Ну хорошо, — он дает немногим, богатым, удачникам. Остальные стремятся к этому, надеются. Это — борьба.

— Но их надежды почти всегда разбиты. А мы хотим жизнь сделать такой, чтобы надежды оправдывались. У нас сейчас, сэр, революция, но тем не менее у нас человек, желающий работать, уверен, что он работу найдет. Вот вам надежды, которые уже оправдываются. И это дает огромную уверенность, чего нет у вас.

— Ну предположим, — сказал философ. — Но вот, скажем, мне пятьдесят три года. А в эти годы, господа, я должен быть богат. Ну не богат, ну иметь что-то. Иначе я, как бы сказать, не участвую в жизни. То есть участвую, но меня уже обходят. Меня уже принимают с поправкой на мое

состояние. А у меня, господа, отнюдь не меньше желаний. Господа министры, поддержите.

Министры говорят:

— Да уж ясно уж. Что ж уж об этом говорить. Что-что, а уж желаний-то сколько угодно-с!

Я говорю:

— Видите, сэр, с возрастом человек повышает свою квалификацию, он становится умней, острее в своем деле или в искусстве, и он, конечно, должен получать больше комфорта и лучшие условия. Это не вопрос. А если он настолько стареет, что теряет квалификацию, то государство берет его на свое иждивение. И каждый имеет разное. Сейчас это, может быть, мало и не всегда достаточно. Но мы хотим сделать жизнь такой, чтобы и старость была здоровая и веселая. И мы об этом думаем. И это разрабатываем. И мы хотим, чтоб стариков принимали с поправкой на их внутренние качества, а не с поправкой на богатство, которое может быть краденым.

— В таком случае я предпочел бы стареть в Европе, — холодно сказал философ, видимо оценивая свои душевные качества. — Как вы, господа министры?

— Да уж ясно уж. Что об этом толковать. Желаний-то еще ого-го...

— Вообще, — сказал философ, — я за социализм, но только не при мне. После меня хоть потоп. А я человек старой культуры, и позвольте мне уж, господа, прожить в моем старом культурном Риме.

— Пожалуйста, — говорю, — живите.

Тут мы все встали, и началось среди нас любезное прощание, протекавшее почти в дружеской атмосфере.

Философ, прощаясь, сказал:

— Потом вот еще что. Во всем мире любовь продается. А у вас нет. Это противно человеческой природе.

Министры неестественно засмеялись.

— Это меня тоже как-то расхолаживает к вашей идее, — сказал философ, — у вас надо на это тратить время и деньги. А у нас только деньги. Вы, господа, непременно провентилируйте этот вопрос. Человечество от этого может захворать. И это на браки крайне влияет. Прямо я на вас удивляюсь.

— Сэр, — сказал я, — у нас иной подход к любви. Мы не считаем унизительным тратить на это время. У нас теперь другой мир и другие чувства, сэр. А те люди, которые сохранили ваши мысли, — сказали мы, смеясь, — те будут к вам ездить.

— Если с валютой, — сказал философ, — то отчего бы и нет. Очень рады.

Министры многозначительно переглянулись. И мы, попрощавшись, разошлись. И я пошел прощаться с читателем.

Прощание с читателем

И вот осталось нам попрощаться с читателем, и на этом книга закроется.

Дорогие наборщики, потрудитесь еще немного — поднаберите тут еще несколько строк, чтоб мы могли любезно попрощаться с нашим дорогим читателем.

Итак, дорогие друзья, привет! Наилучшие пожелания. Кланяйтесь вашей мамаше. Пишите.

А в ответ на ваше любезное письмецо сообщаем, что живем мы ничего себе, — много работаем, здоровье стало лучше, и оно укрепляется. Тут было в прошлом году мы прихворнули, но ничего, как говорится, — бог миловал.

А что касается нашей дальнейшей литературной работы, то мы задумали написать еще две забавные книжонки. Одна на этот раз — из области нашей личной жизни в свете медицины и философии. Другая историческая — сатира на глупость с эпиграфом из Кромвеля: «Меня теперь тревожат не мошенники, а тревожат дураки».

Но, конечно, мы еще не знаем, когда возьмемся за эти наши новые сочинения.

На «Возвращенную молодость» у нас ушло три года. И эту сочиняли два года без перерыва. Так что надо теперь отдохнуть и поразвлечься.

Вообще, если что-нибудь интересное мелькнет в нашей жизни, тогда мы сделаем перерыв в работе, а если нет — тогда мы вскоре приступим к первому сочинению, еще более забавному, чем это.

А эту Голубую книгу мы заканчиваем у себя на квартире в Ленинграде, 3 июня 1935 года.

Сидим за письменным столом и пишем эти строчки. Окно открыто. Солнце. Внизу — бульвар. Играет духовой оркестр. Напротив серый дом. И там, видим, на балкон выходит женщина в лиловом платье. И она смеется, глядя на наше варварское занятие, в сущности несвойственное мужчине и человеку.

И мы смущены. И бросаем это дело.

Привет, друзья. Литературный спектакль окончен. Начинается моя личная жизнь во всей своей красе.

Интересно, что получится.

Зощенко о себе





От составителя

Составляя этот том, я решил отказаться от ставшего традиционным в «Антологии Сатиры и Юмора» раздела воспоминаний, заменив его двумя другими: «Зощенко о себе» и «Письма, документы, отклики современников».

В раздел «Зощенко о себе», помимо не очень известных широкому читателю высказываний писателя о себе и своей работе, я включил некоторые письма Михаила Михайловича, дающие некоторое представление о его положении и душевном состоянии после постигшей его катастрофы.

[Автобиография]

Я родился в Полтаве в 1895 году.

Мой отец — художник. Из дворян.

В 1913 году я окончил классическую гимназию и поступил на юридический факультет Петербургского университета.

Курса не кончил. В 1915 году пошел добровольцем на фронт. Был ранен и отравлен газами. Получил порок сердца. Чин имел штабс-капитана.

В 1918 году пошел добровольцем в Красную армию.

В 1919 году вернулся в первобытное состояние.

В 1921 году занялся литературой.

Первый мой рассказ напечатан в 1921 году в «Петербургском альманахе».

О себе

Я родился в 1895 году. В прошлом столетии! Это меня ужасно огорчает.

Я родился в 19-м веке! Должно быть, поэтому у меня нет достаточной вежливости и романтизма к нашим дням, — я юморист.

О себе я знаю очень мало.

Я не знаю даже, где я родился. Или в Полтаве, или в Петербурге. В одном документе сказано так, в другом — этак. По-видимому, один из документов — «липа». Который из них «липа», угадать трудно, оба сделаны плохо.

С годами тоже путаница. В одном документе указано — 1895, в другом — 1896. Определенно, «липа».

Профессий у меня было очень много. Об этом я всегда говорю без иронии. Даже с некоторым удивлением к самому себе.

Наиболее интересные профессии, кроме самых разнообразных военных, были такие:

1. Студент Петроградского университета.
2. Комендант почт и телеграфа. (При Керенском.)
3. Агент уголовного розыска. (Район Ленинград — Ораниенбаум.)
4. Инструктор по кролиководству и куроводству. (Смоленская губерния, город Красный. Совхоз «Маньково».)
5. Поставой милиционер. (В Лигове.)
6. Телефонист пограничной охраны.
7. Сапожник.
8. Конторщик Петроградского военного порта.

Было еще множество других профессий. Всего не вспомнишь.

Между прочим, о ремесле сапожника. Я очень люблю это спокойное, благородное ремесло. Я почти год (1920) работал подмастерьем у сапожника Воскресенского (или Вознесенского) на Васильевском Острове, по Второй линии, напротив Румянцевского сквера.

Однажды произошла такая встреча. В подвал к нам пришел человек в крылатке. Я разговорился с ним. Он назвал себя писателем Н. Шебуевым. За руку я с ним не здоровался, но разговаривал о чем-то долго. Я был тогда никому не известный юноша. Литературой в то время не занимался. А на коленях, на зеленом фартуке, у меня лежали дамские недочиненные ботинки. И поэтому, вероятно, я не назвал Шебуеву своей фамилии. Воображаю, с каким удивлением Н. Шебуев будет читать эти строчки!

Во второй раз Н. Шебуев пришел к нам вместе со своей женой. Мы опять о чем-то долго разговаривали. Однако я не чинил ему сапоги. Чинил хозяин.

Самая пышная должность у меня была в 17-м году. После Февральской революции. Я был комендантом почт и телеграфа в Петрограде. Мне полагалась тогда лошадь. И дрожки. И номер в «Астории».

Я на полчас являлся в Главный Почтамт, небрежно подписывал бумажки и лихо уезжал в своих дрожках.

При такой жизни я встречал множество удивительных и знаменитых людей. Например, Горького. Шалапина

как-то раз встретил у Горького. Знаком с Дм. Цензором. Иногда встречаю Липатова. Два раза сидел с Сергеем Есениным в пивной. На Михайловской улице.

Старик Есенин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил...

Рабиндраната Тагора не пришлось увидеть. Но твердо верю, что встречу и этого почтенного старца.

Сейчас у меня биография скудная. Писатель. Кажется, это последняя профессия в моей жизни. Мне жаль, что остановился на этой профессии.

Это очень плохая профессия, черт ее побери! Самая плохая из 12, которые я знаю.

О себе, об идеологии и еще кое о чем

Отец мой художник, мать — актриса. Это я к тому говорю, что в Полтаве есть еще Зощенки. Например: Егор Зощенко — дамский портной. В Мелитополе — акушер и гинеколог Зощенко. Так заявляю: тем я вовсе даже не родственник, не знаком с ними и знакомиться не желаю.

Из-за них, скажу прямо, мне даже знаменитым писателем не хочется быть. Непременно приедут. Прочтут и приедут. У меня уж тетка одна с Украины приехала.

Вообще писателем быть трудновато. Скажем, тоже — идеология... Требуется нынче от писателя идеология. Вот Воронский (хороший человек) пишет:

«...Писателям нужно «точнее идеологически определяться». Этакая, право, мне неприятность!

Какая, скажите, может быть у меня «точная идеология», если ни одна партия в целом меня не привлекает?

С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть. Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эсер, не монархист, я просто русский. И к тому же — политически безнравственный.

Нынче же я заработал себе порок сердца и потому-то, наверное, стал писателем. Иначе — я был бы еще летчиком. Вот и все.

Да, чуть не забыл: книгу я написал. Рассказы — «Разнотык» (не напечатал; может быть, напечатаю часть). Другая книга моя. «Рассказы Назара Ильича господина Си-

небрюхова» — в продаже. Продается она, я думаю, в Пищевом тресте, ибо в окнах книжных лавок я ее не видел.

А разошлась эта книга в двух экземплярах. Одну книжку купила — добрый человек — Зоя Гацкевич, другую, наоборот, — Могилянский. Для рецензии. Третью книжку хотел купить Губер, но раздумал. Кончаю.

Из современных писателей могу читать только себя и Луначарского.

Из современных поэтов мне, дорогая редакция, больше всего нравятся Оленька Зив и Нельдихен. А про Гучкова так и не знаю.

О себе, о критиках и о своей работе

Предупреждение

Эта моя статья написана не для книги. Происхождение статьи совершенно случайное.

В Институте истории искусств читали доклад о моей литературной работе. Меня попросили выступить после доклада.

Я говорю плохо, несколько запутанно и, по этой причине, перед докладом за полчаса набросал эти строчки.

Статья получилась спорная. Я и сам сейчас не совсем согласен с ней. Но в тот день мне казалось именно так. Я беллетрист. И это качество, к сожалению, никогда не оставляет меня.

Я сообщаю читателю об этих обстоятельствах для того, чтобы читатель более терпимо отнесся к этой моей случайной статье.

Относительно моей литературной работы сейчас среди критиков происходит некоторое замешательство.

Честное слово даю — не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков... В какой партии Гучков? А черт его знает, в какой он партии. Знаю: не большевик, но эсер он или кадет — не знаю и знать не хочу, а если и узнаю, то Пушкина буду любить по-прежнему.

Многие на меня за это очень обидятся. (Этакая, скажут, невинность сохранилась после трех революций.) Но это так. И это незнание для меня радость все-таки.

Нету у меня ни к кому ненависти — вот моя «точная идеология».

Ну, а еще точнее? Еще точнее — пожалуйста. По общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить я с ними согласен.

Да и кому быть большевиком, как не мне?

Я «в бога не верю». Мне смешно даже, непостижимо, как это интеллигентный человек идет в церковь Параскевы Пятницы и там молится раскрашенной картине...

Я не мистик. Старух не люблю. Кровного родства не признаю. И Россию люблю мужицкую.

И в этом мне с большевиками по пути.

Но я не коммунист (не марксист вернее) и думаю, что никогда им не буду.

Мне 27 лет. Впрочем, Оленька Зив думает, что мне меньше. Но все-таки это так.

В 13-м году я поступил в университет. В 14-м поехал на Кавказ. Дрался в Кисловодске на дуэли с правоведом К. После чего почувствовал немедленно, что я человек необыкновенный, герой и авантюрист, — поехал добровольцем на войну. Офицером был. Дальше я рассказывать не буду, иначе начну себя обкрадывать. Нынче я пишу «Записки бывшего офицера», не о себе, конечно, но там все будет. Там будет даже, как меня однажды в революцию заперли с квартирмейстером Хоруном в городском холодильнике.

А после революции скитался я по многим местам России. Был плотником, на звериный промысел ездил к Новой Земле, был сапожным подмастерьем, служил телефонистом, милиционером служил на станции Лигово, был агентом уголовного розыска, карточным игроком, конторщиком, актером, был снова на фронте — добровольцем в Красной армии.

Врачом не был. Впрочем, неправда — был врачом. В 17-м году после революции выбрали меня солдаты старшим врачом, хотя я командовал тогда батальоном. А произошло это оттого, что старший врач полка как-то скуповато давал солдатам отпуска по болезни. Я показался им сговорчивей.

Я не смеюсь. Я говорю серьезно.

А вот сухонькая таблица моих событий:

арестован — 6 раз,

к смерти приговорен — 1 раз,

ранен — 3 раза,
самоубийством кончал — 2 раза,
били меня — 3 раза.

Все это происходило не из авантюризма, а «просто так» — не везло.

Критики не знают, куда собственно меня причалить — к высокой литературе или к литературе мелкой, недостойной, быть может, просвещенного внимания критики.

А так как большая часть моих вещей сделана в неуважаемой форме — журнального фельетона и коротенького рассказа, то и судьба моя обычно предreshена.

Обо мне критики обычно говорят как о юмористе, о писателе, который смешит и который ради самого смеха согласен сделать черт знает что из родного русского языка.

Это, конечно, не так.

Если я искажаю иногда язык, то условно, поскольку мне хочется передать нужный мне тип — тип, который почти что не фигурировал раньше в русской литературе.

А относительно мелкой литературы я не протестую. Еще неизвестно, что значит сейчас мелкая литература.

Вот, в литературе существует так называемый «социальный заказ». Предполагаю, что заказ этот в настоящее время сделан неверно.

Есть мнение, что сейчас заказан красный Лев Толстой.

Видимо, заказ этот сделан каким-нибудь неосторожным издательством. Ибо вся жизнь, общественность и все окружение, в котором живет сейчас писатель, заказывают, конечно же, не красного Льва Толстого. И если говорить о заказе, то заказана вещь в той неуважаемой, мелкой форме, с которой, по крайней мере раньше, связывались самые плохие литературные традиции.

Я взял подряд на этот заказ.

Я предполагаю, что не ошибся.

В высокую литературу я не собираюсь лезть. В высокой литературе и так достаточно писателей.

Но когда критики, а это бывает часто, делят мою работу на две части: вот, дескать, мои повести — это действительно высокая литература, а вот эти мелкие рассказы — журнальная юмористика, сатирикон, собачья ерунда, это неверно.

И повести и мелкие рассказы я пишу одной и той же рукой. И у меня нет такого тонкого подразделения: вот,

дескать, сейчас я напишу собачью ерунду, а вот — повесть для потомства.

Правда, по внешней форме повесть моя ближе подходит к образцам так называемой высокой литературы. В ней, я бы сказал, больше литературных традиций, чем в моем юмористическом рассказе. Но качественность их лично для меня одинакова.

А дело в том, что в повестях («Сентиментальные повести») я беру человека исключительно интеллигентного. В мелких же рассказах я пишу о человеке более простом. И само задание, сама тема и типы диктуют мне форму.

Вот отчего так, казалось бы, резко делится моя работа на две части.

Но критика обманута внешними признаками.

А беда вся в том, что особенно последние два года, в силу некоторой усталости, отчаянной хандры и еженедельной обязательной работы, я ухитрился написать много плохих мелких вещей, которые на самом деле не поднимаются выше обычного журнального рассказа. Это еще больше сбивает критиков, которые с большой охотой и чтоб впредь не возиться со мной, загоняют меня чуть не в репортеры.

Но я опять-таки не протестую.

Я только хочу сделать одно признание. Может быть, оно покажется странным и неожиданным. Дело в том, что я — пролетарский писатель. Вернее, я пародирую своими вещами того воображаемого, но подлинного пролетарского писателя, который существовал бы в теперешних условиях жизни и в теперешней среде. Конечно, такого писателя не может существовать, по крайней мере сейчас. А когда будет существовать, то его общественность, его среда значительно повысятся во всех отношениях.

Я только пародирую. Я временно замещаю пролетарского писателя. Оттого темы моих рассказов проникнуты наивной философией, которая как раз по плечу моим читателям.

В больших вещах я опять-таки пародирую. Я пародирую и неуклюжий, громоздкий (карамзиновский) стиль современного красного Льва Толстого или Рабиндраната Тагора и сентиментальную тему, которая сейчас характерна. Я пародирую теперешнего интеллигентского писателя, которого, может быть, и нет сейчас, но который должен

бы существовать, если б он точно выполнял социальный заказ не издательства, а той среды и той общественности, которая сейчас выдвинута на первый план...

Еще я хотел сказать об языке. Мне просто трудно читать сейчас книги большинства современных писателей. Их язык для меня — почти карамзиновский. Их фразы — карамзиновские периоды.

Может быть, какому-нибудь современнику Пушкина так же трудно было читать Карамзина, как сейчас мне читать современного писателя старой литературной школы.

Может быть, единственный человек в русской литературе, который понял это, — Виктор Шкловский.

Он первый порвал старую форму литературного языка. Он укоротил фразу. Он «ввел воздух» в свои статьи. Стало удобно и легко читать.

Я сделал то же самое.

Я пишу очень сжато. Фраза у меня короткая. Доступная бедным. Может быть, поэтому у меня много читателей.

Я переменял десять или двенадцать профессий, прежде чем добрался до своей теперешней профессии...

Скоро 15 лет, как я занимаюсь литературой... Моя работа мало уважалась в течение многих лет... Но я никогда не имел от этого огорчений и никогда не работал для удовлетворения своей гордости и тщеславия.

Профессия моя оказалась все же чрезвычайно трудна. Она оказалась наиболее тяжелой из всех профессий, которые я имел.

М.М.Зощенко — А.М. Горькому

Дорогой и многоуважаемый Алексей Максимович, я больше не буду надоедать Вам своими письмами, мне только хочется ответить на Ваше письмо, еще раз поблагодарить Вас за внимание и рассказать о том деле, в которое я имел бесстыдство втянуть Вас.

Весь этот месяц я просто не находил себе покоя и ругал себя за то, что написал Вам. Я бы никогда этого не сделал и не стал бы затруднять просьбами, но все сложилось как-то помимо моей воли. По правде сказать, мне было даже все равно — кто будет жить в моей квартире и сколько человек. Я уже с этим примирился и успокоился. Но тут жена

проревела несколько дней, этот злополучный техник забросал меня письмами — как это я упустил его комнату, и домоуправление наговорило мне разных вещей. Поверьте, Алексей Максимович, я не упоминал даже Вашего имени и не хвалился знакомством с Вами, я даже ничего не просил, но просто в удрученном состоянии написал то первое письмо, на которое Вы так любезно и внимательно откликнулись.

Мне приятно Вам сказать, что теперь, когда жакт Вашего имени получил Ваше письмо и пошел мне навстречу, — я ничем не воспользовался и попросил все оставить так, как есть, и даже оставить тех людей, которых мне вселили за это время.

Алексей Максимович, я знал, конечно, всю силу Вашего имени, но я попросту не предвидел того эффекта, который произойдет. И это, пожалуй, всего более меня удручило и переконфузило.

Секретарь жакта (жакт — это жилищно-кооперативное товарищество) прибежал ко мне, бледный и взволнованный, и стал что-то такое лепетать и говорить, что все будет сделано и жакт рад исполнить Вашу небольшую просьбу. Секретарь не дал даже мне прочесть Вашего письма, сказав, что там имеются обо мне некоторые лестные фразы и что я могу от этого загордиться. Все домоуправление было страшно взволновано. Начали говорить, что будто бы Вы собираетесь летом приехать в гости. И чуть ли не хотите жить в том доме, в котором Вы когда-то жили (бывш. Сергиевская, 83).

Но я, повторяю, Алексей Максимович, я ничем не воспользовался и впредь обещаю не стричь купонов с Вашего письма.

Вместе с тем позвольте Вам сказать, что я не хотел бы иметь и четверти Вашей легендарной славы — настолько это ответственно и настолько это заставляет быть хорошим человеком!

Я бы не хотел, чтобы Вы имели обо мне ложное представление. Мебель и квартира никогда еще не играли никакой роли в моей жизни. Я живу в той же обстановке, как и в 19-м году. И сплю на той же кровати, на которой спал до того, как сделаться писателем. Правда, я больной, и тишина мне другой раз просто необходима, но, пожалуй, и к этому можно привыкнуть.

Я нарочно, для собственного успокоения, прочел недавно чуть ли не все биографии сколько-нибудь известных и знаменитых писателей. Я, конечно, не хочу равняться ни с кем, но вот ихняя жизнь на меня очень успокоительно подействовала и привела в порядок. В сущности говоря, страшно плохо все жили. Например, Сервантесу отрубили руку. А потом он ходил по деревням и собирал налоги. И, чтобы напечатать своего «Дон-Кихота», ему пришлось сделать льстивое посвящение какому-то герцогу. Данте выгнали из страны, и он влачил жалкую жизнь. Вольтеру сожгли дом. Я уж не говорю о других, более мелких, писателях.

И тем не менее они писали замечательные и даже удивительные вещи и не слишком жаловались на свою судьбу. Так что, если бы писатели дожидались золотого века, то, пожалуй, от всей литературы ничего бы и не осталось.

Вот это привело меня в порядок, и я понял, что надо работать при всех обстоятельствах и вопреки всему. И в этом смысле, обратившись к Вам, я пошел на большой компромисс, за что и не устаю себя бранить.

Это не есть рассуждения человека, который углубился в свою «художественную литературу» и больше ничего не видит и ничего не понимает. Напротив, у меня задачи как бы совершенно другие, даже противоположные. Я всегда работал по самым мелким журналам и всегда старался удерживаться от «высокой литературы». Сейчас я, например, работаю на заводе в стенной цеховой газете и в печатной заводской. Я сам вызвался на эту работу для того, чтобы видеть всю жизнь и принести какую-нибудь пользу, так как, сколько я понимаю, художественная литература сейчас малосущественна и мало кому требуется.

В этом смысле я давно уже перестроил и перекроил свою литературу. И из тех мыслей и планов, которые у меня были, я настругал множество маленьких рассказов. И я пишу эти рассказы не для того, что мне их легко и весело писать. Я эти рассказы пишу, так как мне кажется — они наиболее удобны и понятны теперешним читателям.

Меня часто ругают за эту мелкую и неуважаемую форму, которую я избрал. Но я, хотя и начал литературу иначе, пошел все же на это дело в полном сознании, что так требуется, ожидая при этом всяких себе неприятностей. Надо сказать, что в этом отношении я кое-чего достиг,

и меня не всегда даже сейчас упоминают в числе писателей. Я говорю это без малейшей грусти и огорчения. В этом отношении я просто, вероятно, лишен тщеславия.

Дорогой Алексей Максимович, простите, пожалуйста, меня за многословие и за эту всю литературную философию. Мне очень давно хотелось Вам об этом написать и сказать. Меня всегда волновало одно обстоятельство, я всегда, садясь за письменный стол, ощущал какую-то вину, какую-то, если так можно сказать, литературную вину. Я вспоминаю прежнюю литературу. Наши поэты писали стишки о цветках и птичках, а наряду с этим ходили дикие, неграмотные и даже страшные люди. И тут что-то такое страшно запущено.

И все это заставило меня заново перекраивать работу и пренебречь почтенным и удобным положением.

Возможно, что я ошибаюсь и уже ошибся. Возможно, что, и скорей всего, весь мой опыт ни к чему. И не melancholia и болезни приводят меня в уныние, а вот только это обстоятельство.

Я написал Вам это письмо не для того, чтобы Вы хорошо обо мне подумали или не думали бы: вот живет какой-то сукин сын, который заботится о своей квартирке. Нет, это совершенно не так. Я давно хотел Вам написать. И не для того, чтобы «затеять» переписку. Напротив, я искренне прошу Вас не думать более обо мне и не вспоминать о той злополучной истории, в которую я так просто бесстыдно Вас втянул. И «моральной поддержки» для моей работы мне тоже не нужно. Тут очень личное ощущение. И уверенность бывает только внутренняя. А этой уверенности у меня маловато.

Сердечно любящий Вас
Мих. Зощенко.

30 сентября 1930 г.

М.М. Зощенко — Л.В. Никулину

Дорогой и уважаемый Лев Вениаминович, 19 марта арестовали Валу Сметанича. Сколько я ни старался — мне не удалось выяснить, за что именно его арестовали и какова его судьба в дальнейшем. Родственникам его не удалось до сего времени даже сделать ему передачу.

Сколько я понимаю, никаких дел у него не было, исключая болтовни, правда иной раз резкой и беспашашной. Но и это, я думаю, скорей всего от излишней бравады, фрондерства и суетливости его характера, чем от серьезных убеждений. Во всяком случае, очень жалко нашего философа, и я просто не представляю, как ему помочь. Я понимаю, что сейчас это особенно трудно, но ежели при случае Вам будет возможность с кем-либо потолковать, то это было бы очень неплохо.

Конечно, возможно, что все кончится благополучно и философ не сегодня-завтра снова засияет на наших ленинградских улицах, которые без него просто осиротели. Но все же есть предположение, что его могут выслать. Ехать в ссылку сейчас особенно тяжело, да и голодно, пожалуй. Сметанич хотя и здоров, но нервы его жидковаты, так что неизвестно, как он сможет перенести эту свою беду. Очень бы хорошо замолвить за него словечко. Я тоже со своей стороны сделаю все возможное, хотя с моим характером и чертовски трудно.

26 марта 1931 г.

И. В. Сталину

27 августа 1946 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в ряды Красной Армии и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск.

Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений — с кем мне надо идти — с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом. И этого никто от меня не отнимет.

Мою литературную работу я начал в 1921 г. И стал писать с горячим желанием принести пользу народу, осмеивая все то, что подлежало осмеянию в человеческом характере, сформированном прошлой жизнью.

Нет сомнения, я делал ошибки, впадая иной раз в карикатуру, каковая в двадцатых годах требовалась для сатирических листков. И если речь идет о моих молодых

рассказах, то следует сделать поправку на время. За четверть столетия изменилось даже отношение к слову. Я работал в советском журнале «Бузотер», каковое название в то время не казалось ни пошлым, ни вульгарным.

Меня никогда не удовлетворяла моя работа в области сатиры. Я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это сделать было нелегко, так же трудно, как комическому актеру играть героические роли.

Однако шаг за шагом я стал избегать сатиры, и, начиная с 30-го года, у меня было все меньше и меньше сатирических рассказов.

Я это сделал еще и потому, что увидел, насколько сатира опасное оружие. Белогвардейские издания нередко печатали мои рассказы, иной раз искажая их, а подчас и приписывая мне то, что я не писал. И к тому же не датировали рассказы, тогда как наш быт весьма менялся на протяжении 25 лет.

Все это заставило меня быть осмотрительней, и, начиная с 35-го года, я сатирических рассказов не писал, за исключением газетных фельетонов, сделанных на конкретном материале.

В годы Отечественной войны, с первых же дней я активно работал в журналах и газетах. И мои антифашистские фельетоны нередко читались по радио. И мое сатирическое антифашистское обозрение «Под липами Берлина» играли на сцене Ленинградского театра «Комедия» в сентябре 1941 года.

В дальнейшем же я был эвакуирован в Среднюю Азию, где не было журналов и издательств, и я поневоле стал писать киносценарии для Студии, находящейся там.

Что касается моей книги «Перед восходом солнца» (начатой в эвакуации), то мне казалось, что книга эта нужна и полезна в дни войны, ибо она вскрывала истоки фашистской «философии» и обнаруживала одно из слагаемых в той сложной сумме, которая иной раз толкала людей к отказу от цивилизации, к отказу от высокого сознания и разума.

Я не один так думал. Десятки людей обсуждали начатую мной книгу. В июне 43-го года я был вызван в ЦК и мне было указано продолжать эту мою работу, получившую высокие отзывы ученых и авторитетных людей.

Эти люди в дальнейшем отказались от своего мнения, и поэтому я не считал возможным усиливать их тру-

сость или сомнения своими жалобами. А если я сейчас и сообщаю об этом, то отнюдь не в плане жалобы, а с единственным желанием показать, какова была обстановка, приведшая меня к ошибке, вызванной, вероятно, каким-то моим отрывом от реальной жизни.

После резкой критики, которая была в «Большевике», я решил писать для детей и для театров, к чему всегда у меня была склонность.

Этот маленький шуточный рассказ «Приключения обезьяны» был написан в начале 45-го года для детского журнала «Мурзилка». И там же он и был напечатан.

А в журнал «Звезда» я этого рассказа не давал. И там он был перепечатан без моего ведома.

Конечно, в толстом журнале я бы никогда не поместил этот рассказ. Оторванный от детских и юмористических рассказов, этот рассказ в толстом журнале несомненно вызывает нелепое впечатление, как и любая шутка или карикатура для ребят, помещенная среди серьезного текста.

Однако в этом моем рассказе нет никакого эзоповского языка и нет никакого подтекста. Это лишь потешная картинка для ребят без малейшего моего злого умысла. И я даю в этом честное слово.

А если бы я хотел сатирически изобразить то, в чем меня обвиняют, так я бы мог это сделать более остроумно. И уж во всяком случае не воспользовался таким порочным методом завуалированной сатиры, методом, который вполне был исчерпан еще в 19-м столетии.

В одинаковой мере и в других моих рассказах, в коих усматривался этот метод, — я не применял сатирической направленности. А если иной раз люди стремились увидеть в моем тексте какие-либо якобы затушеванные зарисовки, то это могло быть только лишь случайным совпадением, в котором никакого моего злого умысла или намерения не было.

Я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль. Мне весьма тяжело быть в Ваших глазах литературным пройдохой, низким человеком или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка.

Уверяю Вас.

Мих. Зощенко.

В.К. Кетлинской

27 декабря 1948 г.

Дорогая Вера Казимировна!

Я с маленькой просьбой к Вам. Просьба моя, вернее, относится к А.И. Зонину¹. Но он всегда такой суровый, и я не рискую тревожить его. Дело в том, что Ал. И. обещал мне заплатить в декабре за мою злосчастную конторку (он сказал — рублей 600—700). Видимо, А.И. не получил денег. А у меня завтра (28) последний срок заплатить за квартиру. Не можете ли Вы дать мне хотя бы 300 рублей под этот долг А.И.? Госизд-во (в Петрозаводске) задолжало мне (за напечатанный перевод) — 7 тысяч. И не платит за неимением денег. Вот и приходится изыскивать нелитературные доходы. Извините, что беспокою Вас этим делом. Не сердитесь на меня за это письмо.

Мих. Зощенко.

**Генеральному секретарю ССП,
члену ЦК т. А.А. Фадееву**

Дорогой Александр Александрович!

За три года я написал 22 печ. листа (три комедии, рассказы, фельетоны, книга о партизанах). Все работы мои в основном одобрялись, правились и в конечном счете отклонялись, хотя я и не отказывался сделать именно так, как требовалось.

Всякий раз я наталкивался на такие преграды, которые не позволяли думать, что работы мои могут быть напечатаны или поставлены без особого разрешения.

И это, несомненно, так. Один редактор, которому я недавно послал несколько рассказов, откровенно мне написал, что лично он очень хочет, чтоб я сотрудничал в его журнале, но это не зависит от него.

С грустью вижу, что моя трехлетняя работа сводилась к бессмысленному занятию и что этим я лишь напрасно

¹ Муж Веры Кетлинской.

отнимал время у людей и у себя. Это тем более печально, что свою квалификацию я отнюдь не потерял. И готов читать свои работы в самой строгой аудитории.

Я много раз пробовал достать какую-нибудь несамостоятельную работу (правка, переводы, переделки), но за исключением одного финского перевода мне ничего не удалось получить. Все телефонные распоряжения на этот счет (даже секретаря горкома) ни к чему не приводили. Издательства остерегались иметь дело со мной.

Я пробовал устроиться на службу (не литературскую), но и тут мне отказывали, узнав мою фамилию.

Четвертый год я нахожусь без работы и без заработка.

Обращаюсь к тебе, как к члену ЦК, — укажи, как мне поступить, чтоб не быть лишним человеком в государстве. Все мои искренние желания и многократные попытки включиться в общую работу не дали желательных результатов.

Я прошу у ЦК указания — что я должен делать?

Мих. Зощенко.

27 авг. 49 г. Ленинград, канал Грибоедова, 9, кв. 124.

М.М. Зощенко — Н.П. Акимову

Дорогой Николай Павлович!

Шварц сообщил мне (с Ваших слов), что Пименов не получил мою комедию, посланную ему почтой.

Комедию я послал 7 мая, и передо мной расписка. Не получить комедию Комитет не мог.

Одно из двух — либо секретарь не передал Пименову, либо Владимир Федорович отказался от моей пьесы столь вежливым способом.

И то, и другое досадно в высшей степени. Тем более досадно, что пьеса на этот раз политически правильная — я давал ее на экспертизу специалистам по вопросам, затронутым в пьесе.

Препятствия и преграды оказались столь велики, что они сломили мой дух и я не считаю более приличным просить и кланяться.

Еще осталась слабая надежда на Симонова, которому я недели две назад послал экземпляр комедии, но я пола-

гаю, что и тут результатов не будет, ибо дело не в литературе, а в ситуации.

Извините, что я столь часто беспокоил Вас этой своей работой. Наивность не покидала меня за эти два года. Благодарю Вас за Вашу помощь и сочувствие.

Ваш Мих. Зощенко.

12 июня 1949 г.

М.М. Зощенко — К.А. Федину

23 июня 1950 г.

Дорогой Костинька!

Пришлось-таки обратиться к тебе с нижайшей просьбой: одолжи мне рублей 400—500, если тебя это не затруднит. Никак не обернуться до полочки.

Дела мои сейчас весьма выправляются. В конце мая меня вызвали в Смольный для разговора по телефону с ЦК. Говорил со мной тов. Иванов из отдела агитации и пропаганды ЦК. Он спросил меня, над чем я сейчас работаю, и сказал, что никаких препятствий для печатания моих работ не имеется. И чтоб я работал на равных основаниях со всеми.

Я тотчас послал несколько рассказов в «Крокодил» и в «Огонек» и, к моему глубокому удивлению, получил ответ, что один рассказ пойдет в «Огоньке», а другой в скором времени будет напечатан в «Крокодиле».

Кроме того, непринятая музыкальная комедия прочитана Городским Комитетом и полностью одобрена. Видимо, комедия эта пойдет осенью.

Как видишь — судьба моя переменялась, и хотя блеска в дальнейшем, вероятно, не произойдет (постарел), но кое-какие работы будут сносны и печальное мое имя, быть может, несколько очистится от скандальности.

Без этой реальной перемены я бы и не стал просить тебя об одолжении. Но предстоящие блага дают мне надежду, что в скором времени я уже смогу рассчитываться со своими долгами. Тебе я должен 1500 рублей, каковые деньги непременно верну в течение этого года.

Выхожу из четырехлетней беды с немалым уроном — имение разорено и мужики разбежались». Так что придется начинать сызнова. А за эти годы чертовски постарел и характер мой изменился к худшему — как видишь — стал даже просить денег, чего ранее не бывало.

Не сердись, мой дорогой, за эту перемену и за мою жалкую просьбу. Крепко обнимаю тебя.

Твой Мих. Зощенко.

2 июля 1950 г.

Дорогой Костинька!

Сердечно благодарю тебя за присланные 500 рублей. Деньги эти весьма выручили меня — иначе пришлось бы идти под суд за то, что не платил за квартиру 3 месяца.

Позавчера получил новый номер журнала «Крокодил» с моим первым рассказом (№ 17).

Если редактор чего-либо не испугается и будет и впредь печатать меня, то я, пожалуй, выйду из «штопора».

Почти четыре года болтает меня в воздухе, и приходится удивляться, как до сих пор остался жив да еще чего-то пишу одеревенелой рукой.

Отнесись снисходительно к моим первым литературным шагам.

Однако (взирая на вашего директора «Советского писателя» Корнева) у меня нет полной уверенности в благополучном исходе моего дела. Директор этот весьма недвусмысленно сказал нашему секретарю ССП Дементьеву: «Не дам Зощенке новой работы по переводу до тех пор, пока у меня не будет письменного распоряжения об этом секретариата ССП».

Слова директора повергли меня в уныние, ибо все распоряжения обо мне отдавались по телефону. И новый письменный этап, несомненно, до крайности усложнит мои дела. Хорошо, если другие директора не дойдут до тех же понятий.

А кстати скажу, издательство «Советский писатель» как раз имело письменное распоряжение от Фадеева и от секретариата ССП (от сентября 49 г.), в котором говорилось, чтоб мне и М. Козакову предоставляли бы система-

тическую работу. Правда, тогда Корнева не было, но по становление это имеется в издательстве.

Если случайно увидишь Чагина, скажи ему об этом обстоятельстве. Но вообще, конечно, противно просить о работе у такого директора. Как-нибудь обойдусь без него! Итак, сердечно благодарю тебя, Костя.

Будь здоров. Обнимаю тебя.

Мих. Зощенко.

4 февраля 1953 г.

Дорогой Костя!

Сердечно благодарю тебя за письмецо и за твои хлопоты. Однако Веру Владимировну я сильно побранил за то, что она потревожила тебя. Я знал (от Ивановых), что ты нездоров, и Дора больна, и что ты загружен предельно. Так что у меня не хватило бы смелости тревожить тебя моими дрянными делами.

Но уж если ты сделал то, что Вера Владимировна просила, то я, конечно, очень благодарен тебе.

В этом году мне сильно не повезло. Стал писать книгу по материалу, который долго и кропотливо собирал. Книга — на положительную тему и с положительными персонажами. (Год назад — иначе было нельзя.) Проработал месяцев 8, и этим летом пришлось бросить работу. Изменилась литературная обстановка, да и работа не удовлетворяла меня, шла со скрипом.

Впрочем, первые 4 листа показал Твардовскому. Он отобрал для «Нового мира» всего лишь два рассказа (а это был цикл рассказов), а остальные похерил. И в общем правильно сделал, так как положительные герои мне не слишком-то удаются.

Для меня это была большая катастрофа — потерял много времени и остался без заработка. Для «Нового мира» надо было дослать еще (как он сказал) два-три рассказа. А уже здоровья не хватило.

Стал болеть и даже несколько захандрил. Сейчас немного лучше, но еще не совсем. Впрочем, работаю. Сейчас как раз поворот в литературе, весьма подходящий для моего умения. И если хватит сил, то, вероятно, кое-что сделаю.

Основная сложность, что живу не в Москве. Здесь, в Ленинграде, (для меня) нет работы, а переписываться с московскими редакциями крайне затруднительно. Любой фельетон или рассказ на долгие месяцы откладывается либо вовсе отбрасывается, если требуются поправки. На месте все это решается легче и проще.

А ездить в Москву не так-то просто. Приходится признать, что старость уже за плечами.

Ты извини, Костинька, — это все не нытье, а просто я тебе, так сказать, докладываю, как моему (все же) начальнику и другу о том, что у меня происходит. Хотелось бы, чтобы ты понял о причинах моей слабой активности в литературе...

Ведь чтобы написать хотя бы небольшую книгу, нужен заработок, который у меня всегда был — эстрада, выступления, переиздания. Сейчас всего этого нет. И все эти годы мне пришлось заниматься поденной работой — переводами, правкой.

Написал было две комедии, но не приняли.

Сейчас я принялся за рассказы. И по твоему совету пошел Суркову. А если хватит здоровья, то дошлю и Твардовскому.

В общем работаю и рук не опустил. Уверен, что если не сейчас, то в скором времени сделаю что-нибудь порядочное.

Так что ты еще не маши на меня рукой. Однако учти, что любой человек, даже с большей силой, чем я, вряд ли бы поднялся на ноги в той обстановке, которая возникла вокруг меня. Редакции не слишком-то жаждут моего сотрудничества, заработки отсутствуют, здоровье посредственное, старость близка, новый литературный материал требует новых форм и сильного мастерства — вот все это в общей сумме и не позволяет мне дать то, что я, пожалуй, смог бы.

Но, повторяю, надежды и уверенности не потерял.

Еще раз благодарю тебя сердечно за твое внимание. Крепко тебя целую и от души желаю тебе благополучия. Как грустно, что Дора больна. Да и ты, говорят, очень похудел и даже куришь. Вот это ты напрасно делаешь — нельзя менять режим для легких.

Будь здоров, мой дорогой. Не сердись, что я тебе настрочил такое длинное письмо и что тебе пришлось похло-

потать за меня. Вот уже сколько лет ты занят делами других людей. А это, увы, противопоказано литератору!

Твой Мих. Зощенко.

Кстати скажу — Литфонд напрасно так энергично требует с меня деньги. Эти 14 тысяч составлены из тех сумм, которые выдавали мне Секретариат ССП и Фадеев для того, чтобы я смог работать. Но только сейчас (для меня) возникла возможность работать. И надо бы годик или два обождать. Старость медлительна!

Мих. Зощенко.

27 февраля 1953 г.

Дорогой Костя!

Сердечно благодарю за тысячу рублей. Не ответил тебе тотчас — был нездоров.

Сегодня послал Суркову рассказ (хороший, читал его писателям, с большим успехом).

Кажется, мне удалось нащупать некоторые новые соединения в прозе. В данном случае в сюжет органически вошла наука. Это удавалось в больших вещах — но в малых — нет.

Несколько рассказов, что я набросал, — оправдали мои надежды. Привычный буржуазный сюжет (деньги, любовь) уже будет для меня не обязателен.

Целую тебя, мой дорогой. И еще раз благодарю.

Мих. Зощенко.

М.М. Зощенко — В.А. Лифшицу

27/III-53 г.

Дорогой Володя!

Получил Ваше письмецо. Спасибо...

Книгу (большую) я пока отложил. Начал ее не так, как надо бы. Начал с публицистики, а следовало бы с сатиры. Ну тут всего не угадать было. Да и здоровье не позволяло быть на высоте.

Как-то Алехина спросили — почему он проиграл матч, а он ответил газетчикам: «Этот месяц у меня был неправильный режим питания». Так вот эти годы у меня был неправильный режим питания и вообще не совсем-то правильный режим. По этой причине не рассчитываю сейчас на крупные лит. удачи. Кое-какие рассказы, впрочем, делаю, но без большой уверенности. Рассчитываю летом передохнуть и тогда возьмусь за книгу...

Мих. Зощенко.

М.М. Зощенко — К.А. Федину

31 мая 1956 г.

Костинька, у меня к тебе небольшое литературное дело, которое, надеюсь, тебя не затруднит.

Еще 2 года назад Ленинградский секретариат ССП рекомендовал издательству «Советский писатель» (ленинградское отделение) издать мой одностомник (или проще сказать — сборник моих старых и новых рассказов).

Издательство охотно согласилось на это. Однако без договора у меня не было возможности заняться этой книгой. И только теперь (зимой 1956 г.) я сделал такой сборник и сдал его издательству.

Редакция вполне одобрила книгу. И вот на днях директор и главный редактор издательства (Наумов) — выехал в Москву для утверждения редплана. Но перед этим мне издательство посоветовало написать кому-нибудь из руководителей Союза об этом деле — для того, чтобы директор издательства (в Москве) не выкинул бы из плана мою книгу, которая для него явится, быть может, неожиданной и страшноватой.

Вот по этой причине, Костинька, я и решил потревожить тебя. Ежели ты (и Секретариат) не против (в принципе) издать такой сборник, то очень желательно, чтобы кто-нибудь позвонил бы директору и сказал бы ему о законности этого дела.

Тем более что книга моя собрана с помощью издательства и она несомненно сможет пройти самую строгую цензуру.

Появление такой книги было бы для меня весьма желательно — это прекратило бы всякие пересуды вокруг меня и, так сказать, ввело бы меня снова в лоно советской литературы. А то я который уж год хожу в каких-то преступниках и не предвижу, как выйти из такого положения, какое мне навязано не по заслугам.

Хорошая и правильная книга из старых и новых рассказов начисто разрешит этот вопрос и прекратит мое «уголовное» дело, в котором уже и позабыты мои сочинения.

Так вот, если ты, Костинька, согласен с моими соображениями, то я буду просить тебя позвонить директору издательства, чтобы он не путался моей фамилии. Конечно, это в том случае, если руководство Союза разделяет мнение Ленинградского секретариата о желательности выпустить мою книгу.

Мне же лично кажется, что только таким литературным [де]маршем можно убрать тот скандал, в котором я и сейчас еще вязну.

А хотелось бы малый остаток жизни спокойно поработать.

Извини, мой дорогой Костинька, что я этим делом беспокою тебя. Я написал несколько слов В. Каверину, но он не в Секретариате. И я не уверен, что с ним посчитаются.

Да я и не стал бы поднимать все это дело, но мне почему-то думается, что такой выход необходим во всех отношениях.

Итак, прошу тебя позвонить директору издательства, согласовавшись с Секретариатом.

Твой (уже старый)
Мих. Зощенко.

Извини еще раз, что беспокою тебя своими делами.

P.S. Теперь у меня другая (маленькая) квартира (в том же доме). Ежели когда-нибудь напишешь: Ленинград, канал Грибоедова, 9, кв. 119.

Целую тебя,
Мих.

12 июля 1956 г.

Костинька, сердечно благодарю тебя за твое доброе письмо и за твое «поручение», которое выполнил Ал. А. Сурков.

Госиздат и в самом деле подписал со мной договор на однотомник. Причем книгу выпустят еще в этом году (в декабре). Это, конечно, порадовало меня.

Без такой книги мне не хотелось возвращаться в литературу, и поэтому я перебивался переводами. Но теперь дело меняется. И ежели господь бог даст мне здоровья, то я еще, быть может, снова «изумлю мир» какими-нибудь сочинениями.

Однотомник мой я складывал не без грусти. Я думал, что в юности я и в самом деле надебоширил. Ничего подобного! Добродетельные рассказы! И даже с педагогическим уклоном.

На днях сдаю книгу издательству. В общем, событие это большое в моей тусклой жизни. И я снова чувствую себя литератором — то, чего не было у меня 10 лет.

Еще раз благодарю тебя и обнимаю.

Твой М. Зощенко.

М.М. Зощенко — В.Е. Ардову

...дела мои, Витенька, пошли в гору. Госиздат печатает мой однотомник — рассказы 20-х и 30-х годов (25 листов). Книга выйдет в этом году, до декабря — как обещает издательство. Так что я несколько разбогател — чего не было со мной лет пятнадцать.

Все остальные мои (литературные) дела тоже сейчас в порядке и сулят золотые горы. 17/VII.56.

...Вторая книга моя (избранные рассказы) выходит-таки в Госиздате, но выходит (опять) в малом тираже. Хотели печатать 150 тысяч, а дошли до 80. Стало быть, книги опять не появятся на прилавке.

Вообще-то мне наплевать, но денежно — огорчительно. Все еще не могу разбогатеть, чтобы заняться литературой, как прежде.

Книга выходит в конце апреля либо в начале мая. Верстка уже подписана. Но книга — тощая. Из 37 листов оставили 27. И тут — убыток.

Под конец жизни стал скуп. И кроме гонорара ничем не интересуюсь.

30/III 57 г.

М.М. Зощенко — К.И. Чуковскому

Благодарю Вас, дорогой Корней Иванович, за Вашу милую открытку.

Как жаль, что Вы не написали мне — что хорошо и что плоховато в моей книге!

Сейчас передо мной верстка моего однотомника (для массового тиража Госиздата) и я в затруднении — надо вычеркнуть 10—12 рассказов, так как в сборнике на несколько листов больше, чем следует. И я не знаю, что убрать, чтобы не попортить сборника.

Ах, если бы у Вас нашлось минут десять для этого дела! Вы бы написали мне, что в моей книжке Вам было огорчительно или же неприятно видеть.

Как это помогло бы мне.

Ведь можно написать в 2-х словах — перечислить несколько названий, ежели книга у Вас под рукой.

Я на всякий случай задержу верстку на неделю.

Но, конечно, пусть это Вас ни к чему не обязывает, дорогой Корней Иванович. Я и без этого (как и всегда) буду Вас сердечно любить и почитать Ваш светлый разум.

Да и тени не будет неудовольствия. Но просто я подумал, что мне и в самом деле очень бы сейчас помогли Ваши самые краткие замечания.

Кстати скажу, что и в первый и в массовый сборник (они по содержанию почти одинаковы, но во 2-м сборнике на 8 листов больше) я не включал «дискуссионных произведений».

Хотелось сделать простенькую книжку.

Что, мне кажется, и удалось?

Но не буду задавать вопросов. Сейчас речь только идет о том, что надлежит вычеркнуть из сборника.

Очень порадуюсь, если получу вторую Вашу открыточку.

Ваш Мих. Зощенко.

4 янв. 57 г.

М.М. Зощенко — К.А. Федину

3 декабря 1957 г.

Дорогой Костинька, спасибо за книгу. Читаю ее с великим интересом и с наслаждением. И вовсе не потому, что там имеются страницы обо мне.

Обо мне — иная речь. Читая твою статью, я не раз от изумления подскакивал на стуле — до того тонко и умно ты проанализировал многие мои «ситуации».

Вот — почти прожил я свою жизнь, а не знал, что ничто не укрылось от твоих глаз. В другой раз (ежели вторично буду жить) поведу себя в юности более осмотрительно.

Но вот что смущает меня в твоей удивительной статье. В молодые годы мои, когда в душе было много гордыни, я и в самом деле обижался и «на Горбунова» и даже, пожалуй, «на Лескова». А теперь строго смотрю на литературу. Увидел в моих сочинениях множество самого непростительного сору. И отчасти по этой причине стало мне как-то неловко и совестно от твоей высокой похвалы. Поверь: говорю об этом не от ханжества, а по чистой справедливости.

И второе дело: беспокоюсь — не выпустили бы на тебя какого-нибудь доктора филологических наук, типа Ермилова, который совершенно уверен, что я-то и есть мещанин, а что он (со своей неумытой харей) уже протиснулся в первые ряды коммунистического общества.

Было бы огорчительно, если б кто-нибудь из таких задел бы тебя. Ну да бог милостив!

А в общем, благодарю тебя, мой старый друг, что ты захотел вырвать из плена мой почти погасший дух. В молодые годы, прочитав столь высокую похвалу, я бы тебе сказал: «Уж и не знаю, дружище, сумею ли я оправдать твои надежды!»

А нынче подвертываются на мой язык какие-то совсем иные слова. Что-то, понимаешь, вроде: «И новая печаль мне сжала грудь, мне стало жаль моих покинутых цепей...»

Да, за 15 лет я привык к моим веригам. Привык к мысли, что обойдусь без литературы. Ложась спать, я уже перестал думать о ней, как думал прежде — всякий вечер. Да и сейчас я не мыслю себя в этом прежнем качестве.

И вот теперь твоя статья ужасно, ужасно встревожила меня. Как? Неужели надо будет опять взвалить на свои плечи тот груз, от которого я чуть не сдох? А ради чего? И сам не знаю. Мне-то какое собачье дело до того — какое будет впредь человечество.

Много было во мне дурости. За что и наказан.

Что же теперь? Нет, я, конечно, понимаю, что формально почти ничто не изменится в моей жизни. Но в ду-

ше, вероятно, произойдут перемены. И вот я не знаю — хватит ли у меня сил отказаться от того, что так привлекало меня в юности и что теперь опять, быть может, станет возможностью.

А надо, чтобы хватило сил отказаться. Иначе не умру так спокойно, как я рассчитывал до этого чрезвычайного происшествия, какое ты вдруг учинил в моей жизни своей статьей обо мне.

Целую тебя, мой старый друг. И еще раз благодарю тебя за твое доброе сердце и за твой светлый разум.

Твой Мих. Зощенко.

КИРИЛЛ КОСЦИНСКИЙ

Ненаписанный рассказ Зощенко

Однажды летом 1956 года мы прогуливались с ним по песочному пляжу Сестрорецка недалеко от скромной дачи Зощенко. Я не помню уже, что именно послужило поводом или толчком, побудившим Михаила Михайловича к этому рассказу, но вот как он прозвучал.

— Это случилось много лет назад, — говорил Зощенко своим глуховатым, неторопливым голосом. — Я был в зените славы, журналы и издательства охотились за мной, и не было такой эстрады, с которой не звучали бы мои рассказы.

И я очень любил одну женщину. Она тоже любила меня, но у нее был муж, он был страшно ревнив, и поэтому мы встречались чрезвычайно редко: на премьере в театре, в филармонии, у общих знакомых. Мы обменивались двумя-тремя фразами, иногда только взглядом, и тут же расходились, так как поблизости немедленно возникал ее муж.

Но вот однажды она встретила меня радостной улыбкой и сообщила, что ее отпускают отдохнуть. Она приедет в Ялту в начале августа, и, если только я смогу, она будет очень рада встретиться со мной там. И мы условились, что сразу по приезде она сообщит мне свой адрес в письме до востребования на ялтинскую почту.

Я был чрезвычайно занят в то время, я готовил к изданию одну книгу, заканчивал работу над другой, у меня были еще какие-то обязательства, но я бросил все и к первому августа примчался в Ялту. Как это ни глупо, я сразу же отправился на почту. Конечно, писем мне не было.

Я не помню, как я прожил оставшиеся два дня, но на третий день я пришел на почту за несколько минут до ее открытия. Писем мне не было.

Я зашел на почту еще вечером, и на следующий день, и еще, и еще, но всякий раз барышня, сидевшая у окошка за стеклянной перегородкой, заглянув в свой ящик, отрицательно качала головой: «Вам ничего нет».

И вот после какого-то очередного посещения почты я наконец понял, в чем дело: письмо затерялось. Одно письмо среди сотен и сотен других попало в какую-то другую ячейку и лежит теперь там, пока случайно не обнаружится и не вернется на свое место. Но вот если бы на мое имя пришло еще одно письмо, то они, эти два письма, вероятно, сразу бы нашли друг друга...

Идея была глупая, но я почему-то сразу же уверовал в нее. Я купил конверт, вложил в него кусок газеты, надписал: «Ялта, почтамт, до востребования, М.М.Зощенко» — и опустил в ближайший почтовый ящик.

На следующий день я пришел на почту в состоянии тревожного и радостного ожидания, как игрок, высчитавший все свои шансы на выигрыш и поставивший на карту все свое состояние.

Писем мне не было.

Я растерялся. Что за черт?! Не могло же затеряться и второе письмо! Это второе письмо шло не из Москвы, не из Харькова, даже не из Симеиза: я опустил его в десяти шагах от входа в почтамт. Я терялся в догадках и совершенно не мог понять ни что происходит, ни что мне надлежит делать. Не мог же я, в самом деле, поднять скандал и заявить, что всего лишь накануне я опустил вот в этот почтовый ящик письмо самому себе...

Когда я пришел на почту на следующий день, барышня еще издали заметила меня, заулыбалась и встретила меня словами: «Вам письмо!»

Увы, я сразу узнал его: я отправил его два дня назад.

Я провел в Ялте еще с неделю, ежедневно наведываясь на почту, и, так и не дождавшись письма, уехал...

Прошло несколько лет. Я очень любил одну женщину, она любила меня, но у нее был ревнивый муж и еще более ревнивый любовник, поэтому мы не встречались вовсе. Лишь изредка я видел ее издали, когда после спектакля она выходила из Мариинки или оказывалась на крыше «Европейской», а то появлялась на вернисаже какого-нибудь художника, но всякий раз под неотступным наблюдением.

Я был очень несчастен, мне скверно работалось, и поэтому, когда мне предложили литературную поездку по югу России, я с радостью согласился. Я побывал в Харькове, в Сталинграде, в Саратове, где-то еще, а середина лета застала меня в Ростове-на-Дону. Как всегда, я остановился в «Деловом дворе», старой купеческой и довольно удобной гостинице. Днем я работал у себя в номере, а по вечерам выступал с чтением своих рассказов в рабочих клубах и дворцах культуры.

Однажды в середине дня я спустился вниз в ресторан — ну, вы, конечно, знаете этот большой, высокий двухсветный зал, — и вдруг с порога увидел ЕЕ. Она сидела одна за угловым столиком, и перед нею был лишь один прибор. На всякий случай я посмотрел направо, посмотрел налево, но не увидел ни ее мужа, ни ее любовника. Тут и она заметила меня, улыбнулась и легким движением указала на место рядом с собой.

Выяснилось, что она только этим утром приехала в Ростов, что у нее должны быть два или три концерта, после чего она сразу же возвращалась в Ленинград.

Мы пообедали вместе, потом поднялись в ее номер, и я провел там несколько самых счастливых часов в моей жизни...

Был уже вечер, когда зазвонил телефон. Она сняла трубку, зазвучал мужской голос, на лице ее отразилось удивление: «Это вас, Миша!»

Говорил директор дворца культуры завода «Ростсельмаш». Было совершенно непонятно, как он нашел меня в этом номере. «Михаил Михайлович, вы, вероятно, забыли, что сегодня вы выступаете у нас. Уже двадцать минут

восьмого, зал набит до отказа, и публика начинает волноваться...»

Я ответил, что очень скверно себя чувствую, что я очень, **ОЧЕНЬ** прошу моих слушателей извинить меня и что я готов выступить перед ними завтра и послезавтра, но только не сегодня.

«Но, Михаил Михайлович, — продолжал настаивать директор, — поймите же, что вас ждут восемьсот лучших ударников нашего завода. Они давно мечтают о встрече с вами, и вдруг...»

Я еще раз повторил, что очень скверно себя чувствую, что сегодня никак не могу приехать, и положил трубку.

Моя дама посмотрела на меня внимательно и с некоторым любопытством.

— Скажите, Миша, — заговорила она вдруг. — Как вы, так любящий славу, так много делающий для нее, — как **ВЫ** можете отказаться от встречи с почти тысячей ваших почитателей?..

Я очень удивился. Я не могу сказать, что я совершенно безразличен к тому, что называется славой и что связано с нею. Но я никогда ничего не делал для нее. Я делал то, что считал своим писательским долгом, я писал о жизни так, как я ее видел и понимал, и если случилось, что мои писания принесли мне славу, то это, видимо, объяснялось тем, что мои рассказы раскрывали людям что-то такое, что было им близко и понятно, что трогало или смешило их. С чего она взяла, что я делаю что-то специально для славы?

И тут неожиданно выяснились удивительные вещи. Тут выяснилось, что ее муж работал в НКВД, в отделе, который наблюдал за искусством и литературой. Более того, он занимался непосредственно мною, и в то памятное лето, когда я ежедневно бегал на ялтинскую почту, он тоже — случайно или не случайно — оказался в Ялте.

И вот в руки НКВД попало мое письмо, то самое, которое я отправил самому себе. Его вскрыли, извлекли обрывок газеты и принялись его изучать. Они пытались обнаружить симпатические чернила, они рассматривали этот обрывок в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, они разглядывали его с помощью лупы в надежде найти какие-то надколотые буквы, с помощью которых кто-то пы-

тался передать мне какое-то сообщение. Конечно, они ничего не нашли и терялись в невероятных догадках.

И тут муж моей дамы еще раз взглянул на конверт, узнал наконец мой почерк и сразу понял, в чем дело: Зощенко приехал в Ялту и, обнаружив, что местные газеты ни словом не обмолвились об этом событии, решил написать письмо самому себе, с тем чтобы почтовая барышня, прочитав имя адресата, оповестила бы о его приезде всех его ялтинских поклонниц и поклонников.

Трудно было придумать что-либо глупее!

И вот в то время, когда имя Жданова вряд ли было кому-либо известно, за много-много лет до всех тех несчастий, которые произошли со мною и лишили меня возможности работать в литературе, это фантастическое, непостижимое внимание ко мне со стороны НКВД вдруг открыло мне глаза: я понял, что нахожусь в неразрешимом конфликте с обществом, в котором живу.

«Континент», № 21, 1979 г.

В секретариат ЛО ССП от члена ЛО ССП Мих. Мих. Зощенко

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мне исполнилось 60 лет. Плохое здоровье и неудовлетворительные материальные обстоятельства понуждают меня просить о пенсии.

В профессиональном союзе я состою с 1924 года (Союз Работников Просвещения). А с 1930 года по сие время непрерывно в Союзе работников полиграфии и печати.

После постановления ЦК (от 14 авг. 46 г.) я был исключен из Союза писателей. В 1953 г. вновь принят. Однако за эти годы я не прерывал литработы и мои рассказы печатались в журналах «Новый мир», «Крокодил» и «Огонек». За эти же годы (46—53) издательства выпустили 5 книг в моем переводе. Из них повесть «За спичками» выдержала 4 издания.

В настоящее время я работаю для эстрады и над книгой рассказов.

Награды за мою 35-летнюю работу я имел следующие:

1) Орден Трудового Красного Знамени (в 1939 году).

2) Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (в 1946 г.).

Прошу Вашего ходатайства о предоставлении мне какой-либо пенсии.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1) Справка Домоуправления. 2) Копия первой страницы паспорта. 3) Копия первых страниц членских билетов профсоюза. 4) Справка от месткома о зарботке.

Ленинград, кан. Грибоедова, 9, кв. 119.

М.М. Зощенко — К.И. Чуковскому

Дорогой Корней Иванович!

Сердечно благодарю за Ваше милое письмецо. И за то, что Вы побывали в Союзе, — узнали о моей пенсии.

С грустью подумал, что какая, в сущности, у меня была дрянная жизнь, ежели даже предстоящая малая пенсия кажется мне радостным событием. Эта пенсия (думается мне) предохранит меня от многих огорчений и даст, быть может, профессиональную уверенность.

Мне и самому не нравятся эти мысли. Ведь не так же плохо у меня было прежде. Вот в 56-м году издан был мой однотомник и я получил за него почти 70 тысяч. Да и до войны все время были деньги.

Это, вероятно, за последние 15 лет меня так застращали.

А писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации. Снова возьмусь за литературу, когда у меня будет на книжке не менее 100 тысяч.

Впрочем, прежнего рвения к литературе уже не чувствую. Старость! Позавидовал Вашей молодости и энергии.

Рецептура, впрочем, и у меня есть. Надо игнорировать старость. И тогда тело будет послушно выполнять предначертанное. Пожалуй, не только старость, но и смерть зависит от собственного мужества.

Быть может (ради спортивного интереса), испробую эту рецептуру.

Сердечно приветствую Вас и еще раз благодарю

Мих. Зощенко.

11 февраля 58 г.

Дорогой Корней Иванович, я слегка заболел, простудился. Боюсь выходить на улицу. Посылаю поэтому почтой эти мои 4 книжки.

Я начал было в них вычеркивать то, что мне не нравится. После бросил. Очень много не нравится.

Посылаю так, как есть. Пущай переводчик сам разбирается. Только я думаю, что «просвещенная нация» вряд ли одобрит мою литературу. Очень уж это не в ихнем плане.

Всего хорошего, Корней Иванович.

Ваш Зощенко.

[illegible]

1. Установите соответствие между названиями растений и их семействами.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

SECRET

100-443887-1000

1978

HOCHSTADT, S. O. (1970) *Journal of Fish Biology* 2: 1-10.

Письма, документы, свидетельства современников



Ю. А.
1921

ВЕЧЕР
— СЕГОДНЯ —
А. РЕМИЗОВ
Н. НИКИТИН
ЗОЩЕНКО
Л. ЛУНЦ



От составителя

А в этот раздел вошли письма, обращенные к Зоженко теми его друзьями, которые не отвернулись от него в самый трудный период его жизни, а также другие материалы (официальные партийные документы, записи устных выступлений, дневниковые записи, фрагменты из книг и газетных публикаций), важные для понимания писательской судьбы Зоженко и трагической ситуации, в которой он оказался. Особое место среди них занимают сравнительно недавно опубликованные архивные материалы (секретные «докладные записки» и резолюции, стенограммы «закрытых заседаний», «справки» и донесения «компетентных органов»).

Вера Зощенко

Из дневника

10 августа (28 июля) 1923 года

Я спросила его, почему он такой грустный и печальный. Он ответил, что бывает веселый только тогда, когда что-нибудь хорошее напишет, а сейчас он **почему-то** не может и не хочет писать, хотя есть масса сюжетов.

Я говорила, что он просто устал, переутомился от непрерывной умственной работы, что он совершенно не живет своей жизнью, обыкновенной человеческой жизнью, что он слишком отдался своему творчеству и из-за ~~несо~~ совершенно забыл живую человеческую жизнь. Я советовала ему отдохнуть, развлечься, не думать вечно о своей работе.

На это он ответил, что его ничто не интересует. Если он не пишет, он или играет в карты, хотя и это ему **начи**нает надоедать, или сидит в пивной. Идти в гости, слушать разговоры простых, обыкновенных людей — ему невыносимо скучно. Все, что они говорят, **ему неинтересно** и не нужно, а нужного и интересного он ни от кого не слышит. Его звал к себе Сологуб — он не пошел. Был у ~~Ходот~~ — постоял, постоял и ушел. Стало скучно.

Женщины его еще иногда волнуют, но и то, пока не знаком с ними, а познакомится — и скучно, и не нужно.

Читать он совсем не может — противно. Сейчас может читать одного Пушкина. Даже Достоевский для него невыносим.

Что он любит? — «Слово люблю, хорошую фразу, хороший сюжет люблю» — то есть все то же, только свое искусство. Сейчас мучается над поисками новой формы, потому что для новых рассказов ему нужна и новая форма, писать все в одном тоне он не может.

Говорит, что за это время проделал огромную, незаметную еще для других работу, создал совершенно новый, страшно сжатый, короткий язык.

Говорил, что его до сих пор никто не понимает, как нужно, смотрят на него, в большинстве случаев, как на рассказчика веселых анекдотов, а он совсем не то. Как он часто это любит делать, проводил параллель между собой и Гоголем, которым он очень интересуется и с которым находит очень много общего. Как Гоголь, так и он совершенно погружены в свое творчество. Муки Гоголя в поисках сюжета и формы ему совершенно понятны. Сюжеты Гоголя — его сюжеты. Наконец, они оба юмористы. Даже происхождение одно — хохлацкое: — «Может быть, одна кровь сказывается».

Даже в некоторых жизненных мелочах он находит сходство со своей литературной судьбой. Гоголя часть критиков не признавала, считала «жалким подражателем Марлинского», а часть при жизни произвела в гении. И с ним тоже — одни считают анекдотистом, подражателем Лескова, другие, наоборот, — «говорят такое, что неловко становится». (Его собственное выражение.)

Вера Зощенко

Кусочки автобиографии

С Михаилом Михайловичем Зощенко я познакомилась весной 1917 года. Познакомили меня с ним его друзья — студенты, с которыми с осени 1915 года я устраивала любительские спектакли «в пользу воинов» и для раненых солдат маленького «частного» лазарета, находившегося в доме, где я жила, — на Колпинской улице в Петрограде.

В 1915—16 году я еще училась в гимназии, а в свободное время дежурила в этом лазарете и увлекалась постановками домашних спектаклей.

Михаила Михайловича в те годы не было в Петрограде — с начала войны 1914 года он пошел добровольцем в Павловское военное училище, в 1915 году был из училища выпущен и в чине прапорщика зачислен в Гренадерский Мингрельский полк Кавказской дивизии и отправлен на фронт, где находился вплоть до демобилизации в марте

1917 года. Демобилизован он был по случаю болезни — порока сердца, который он получил после отравления удушливыми газами, примененными немцами в бою при местечке Сморгони 20 июля 1916 года.

После демобилизации, при Керенском, он, молодой штабс-капитан, кавалер пяти боевых орденов, был назначен комендантом Главного почтамта и телеграфа.

После нашего знакомства, когда мы шумной молодой компанией ездили кататься на лодках на Острова, Михаил Михайлович стал часто бывать у нас.

Он писал мне (хотя мы жили почти рядом) красивые, поэтичные и такие оригинальные письма, читал мне свои первые литературные опыты — «Новеллы о чужой любви», которые, к счастью, сохранились в моем архиве.

Ему было 22 года, он был поразительно красив, умен, талантлив, тонок. А меня тогда писательница Лидия Чарская, повестями которой я увлекалась в детстве и с которой в ту весну познакомилась, называла «Феей Раутенделейн» и «Весенней принцессой»...

Это лето было началом нашей любви, и оно сохранилось в моей памяти как прекрасная волнующая сказка, «сказка белых ночей».

Но осенью Михаил Михайлович получил назначение — адъютантом дружины в г. Архангельск, откуда всю зиму слал мне свои «необыкновенные письма»...

Вернулся он вместе с весной — 25 марта 1918 года — и встречи наши возобновились, сказка продолжалась...

В декабре 18-го года он пришел ко мне, приехав на несколько дней с фронта из Красной Армии...

В коротенькой куртке, переделанной им самим из офицерской шинели, в валенках... такой не похожий на изящного, «изысканного» штабс-капитана 17-го года.

Я сидела на маленьком пуфике перед топящейся печкой — в крошечной моей «гостиной» на Зелениной ул., д. 9.

Он стоял, прислонившись к печке.

Я спросила его:

— Что же для вас самое главное в жизни?

И была уверена, что услышу: «Конечно же, вы!»

Но он сказал очень серьезно и убежденно:

— Конечно же, моя литература....

Корней Чуковский

Из дневника

6 августа 1927 г.

...Зоценко поведал мне, что у него, у Зоценки, арестован брат его жены — по обвинению в шпионстве. А все его шпионство заключалось будто бы в том, что у него переночевал однажды один знакомый, который потом оказался как будто шпионом. Брата сослали. Хорошо бы похлопотать о молодом человеке: ему всего 20 лет. Очень бы обрадовалась теща.

— Отчего же вы не хлопочете?

— Не умею.

— Вздор! Напишите бумажку, пошлите к Комарову или к Кирову.

— Хорошо... непременно напишу.

Потом оказалось, что для Зоценки это не так просто. Вот я три дня буду думать, буду мучиться, что надо написать эту бумагу...

Взвалил я на себя тяжесть... Уж у меня такой невозможный характер... Зоценко очень осторожен — я бы сказал: боязлив. Дней 10 назад я с детьми ездил по морю под парусом. Это было упоительно... Мы наслаждались безмерно, но когда мы причалили к берегу, оказалось, что паруса запрещены береговой охраной. Вот я и написал бумагу от лица Зоценко и своего, прося береговую охрану разрешить кататься под парусом, Луначарский подписал эту бумагу и удостоверил, что мы вполне благонадежные люди. Но Зоценко погрузился в раздумье, испугался, просит, чтобы я зачеркнул его имя, боится, «как бы чего не вышло» — совсем расстроился от этой бумажки.

23 августа.

Мы вышли вместе из моей квартиры и зашли в Academia за письмами Блока. Там Зоценко показали готовящуюся книгу о нем — со статьей Шкловского, еще кого-то и вступлением его самого... Ему сказали, что еще од-

ну статью о нем пишет Замятин. Он все время молчал, на-
супившись.

— Какой вы счастливый! — сказал он, когда мы вы-
шли. — Как вы смело с ними со всеми разговариваете.

Сильва Гитович

Из воспоминаний

Наступил страшный 37-й год. И каждую ночь у нас под окнами гудели машины, и мы не спали и тревожно прислушивались к шагам на лестнице. Утром дворники называли номера квартир, где ночью были обыски. Так взяли Берзина, Тагер, Олейникова, Куклина, Стенича и многих других. В отличие от правил, Заболоцкого взяли днем.

Перед арестом Николай Алексеевич жил в доме творчества в Елизаветино. Секретарь парторганизации, Григорий Мирошниченко, вызвал его телеграммой, в которой говорилось, что Заболоцкий должен явиться 18 марта к 4 часам в партком.

Приехав утром, Николай Алексеевич зашел к нам, и мы договорились, что, как только он освободится, он сразу же приходит, остается у нас обедать и будет читать первую главу только что им переведенного «Слова о полку Игореве».

Обед уже давно был на столе, а Николай Алексеевич все не приходил. Я несколько раз звонила к ним, не понимая, чей это мужской голос отвечает мне, что Николая Алексеевича нету дома. Когда я, наконец, сказала, что мне непонятно, где он может быть, ведь он обещал у нас обедать, тот же мужской голос грубовато стал меня уговаривать не ждать Николая Алексеевича, а садиться за стол.

Но мы всё ждали.

А в девятом часу пришла совершенно убитая Екатерина Васильевна и сказала, что у них был обыск и Николай Алексеевича арестовали. Нечего и говорить, какое это было горе для нас всех.

Екатерина Васильевна осталась одна с двумя маленькими детьми. Она мне рассказывала, что Зощенко, будучи

очень плохо знаком с Заболоцким, а ее и совсем не зная, услышав об аресте Николая Алексеевича, пришел к ней и предложил ей деньги.

**Из докладной записки
секретарям ЦК ВКП(б)
Г. Маленкову и А. Жданову**

В журнале «Октябрь» (№ 6—7 и № 8—9 за 1943 г.) опубликована пошлая, антихудожественная и политически вредная повесть Зощенко «Перед восходом солнца». Повесть Зощенко чужда чувствам и мыслям нашего народа. Вся повесть Зощенко является клеветой на наш народ, опошлением его чувств и его жизни..

Президиум Союза советских писателей, органами которого являются литературно-художественные журналы, совершенно не руководит их работой... Несмотря на неоднократные указания ЦК ВКП(б) о необходимости коренного улучшения постановки литературной критики, со стороны Президиума и лично тов. Фадеева не были приняты меры к повышению роли и значения литературной критики. Литературно-критические выступления тов. Фадеева на совещаниях писателей малосодержательны, абстрактны и нередко ошибочны... За последние годы ЦК ВКП(б) неоднократно давал прямые указания Союзу писателей об улучшении работы литературно-художественных журналов... Однако Президиум ССП и лично тов. Фадеев не сделали для себя необходимых выводов из этих указаний, не ведут воспитательной работы среди писателей и не оказывают никакого влияния на их творческую работу...

Управление пропаганды считает необходимым принять специальное решение ЦК ВКП(б) о литературно-художественных журналах...

Начальник Управления
пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)

Г. Александров

Заместитель начальника Управления

А. Пузин

Заведующий отделом художественной
литературы Управления

А. Еголин

**Докладная записка секретаря Ленинградского
горкома ВКП(б) по пропаганде и агитации
А.Маханова секретарю ЦК ВКП(б) А. Жданову**

Товарищу Жданову А.А.

Направляю Вам статью «О вредной повести», написанную группой читателей. Статья выражает возмущение и протест против повести Зощенко «Перед восходом солнца».

Прошу разрешить опубликование статьи в газете «Ленинградская правда».

11 января 1944 г.
А. Маханов

Резолюция А.Жданова

1. Лучше сказать: об одной вредной повести.

2. Лучше было бы сократить раздел по защите наших великих писателей от обвинений их в отсутствии патриотизма и любви к Родине, т. к. к ним такое обвинение не пристанет, с тем чтобы еще усилить нападение на Зощенко, которого нужно расклевать, чтобы от него мокрого места не осталось.

3. Это должно пойти не в «Ленинградскую правду», а в «Правду».

Жданов

**Справка МГБ СССР на писателя
Зощенко Михаила Михайловича**

10 августа 1946 г.

Зощенко Михаил Михайлович, 1895 года рождения, уроженец г. Полтавы, беспартийный, русский, из дворян, быв. штабс-капитан царской армии, член Союза советских писателей, орденоносец. Постоянно проживает в гор. Ленинграде.

В своей автобиографии Зощенко пишет, что он родился в семье художника, отец его происходит из дворян.

В 1913 году окончил гимназию, поступил на юридический факультет университета; в начале 1915 года ушел из университета на фронт, где и пробыл вплоть до весны

1919 года — сначала в царской армии, потом, в гражданскую войну, в Красной Армии. На фронте был ранен и отравлен газами. В апреле 1919 года вследствие болезни сердца был освобожден от военной службы, после чего в течение 3 лет переменял до 10 профессий. Был агентом Уголовного розыска — Ораниенбаум, инструктором по кролиководству и куроводству — Маньково, Смоленской губернии, телефонистом пограничной охраны, милиционером (Лигово) и т.д. В 1921 году начал писать рассказы. Первый рассказ был напечатан в декабре 1921 года в «Петербургском Альманахе».

На протяжении ряда лет Зощенко характеризуется как писатель с антисоветскими взглядами, критикующий политику партии в области искусства и литературы.

Зощенко до последнего времени в своей творческой деятельности остается в стороне от советской действительности, не принимая участия в создании литературных произведений, отражающих нашу современность.

В прошлом (1921 г.) Зощенко являлся членом литературного содружества «Серапионовы братья» — группировки, вредной по своему идеологическому характеру. В выпущенном в 1921 году «Манифесте» этой группы говорилось: «В эпоху регламентации и установления казарменной жизни, создания железного и скучного устава, мы вынуждены организоваться. Нас атакуют и справа и слева.

У нас спрашивают, с кем мы — с монархистами, с эсерами или с большевиками? Мы — ни с кем, мы просто русские... Нас ни одна партия в целом не удовлетворяет. Искусство не имеет общественной функции. Общественная функция убивает искусство, убивает талант. Мы пишем не для пропаганды...»

В этот период Зощенко являлся автором антисоветских рассказов, которые читались в близких ему литературных кругах.

Зощенко постоянно высказывает свое враждебное отношение к советской цензуре, жалуясь на невозможность заниматься творческой работой.

Еще в 1927 году он заявил: «Мы беззубые юмористы, нам не позволяют трогать существенные вопросы. Всякая критика запрещена. Непременное требование идеологии лишает возможности объективно отражать быт и жизнь».

В 1940 году по этому вопросу Зощенко говорил: «Я совсем не знаю, о чем я должен и могу писать, напишешь резко — не пропустят, а написать просто — мне трудно. Я вижу сплошные неполадки вокруг... Рабочие и служащие не заинтересованы в своей работе, да и не могут быть заинтересованы, так как для этого им должны платить деньги, на которые они могли бы существовать, а не прикреплять их к работе... Вообще впечатление такое, точно мозг всех учреждений распался, так как большинство хороших руководящих работников изъято, а новых нет».

В 1942 году, во время наступления немецких войск, Зощенко высказывал неверие в победу Советского Союза в войне с Германией.

В 1943 году Зощенко была написана книга «Перед восходом солнца», в которой показал советскую действительность в вульгарно-обывательских тонах. Советские люди изображены им как нравственно уродливые, мелкие и корыстные. Это произведение было осуждено литературной критикой и общественностью как идеологически вредное.

Зощенко М.М. считал, что критика и осуждение его повести «Перед восходом солнца» были направлены не против книги, а против него самого.

«Мне было ясно дано понять, что дело здесь не только в повести. Имела место попытка «повалить» меня вообще как писателя, так как вся моя писательская работа, а не только повесть «Перед восходом солнца», была осуждена «вверху».

Зощенко рассказывал, что его повесть якобы вызывала всеобщее восхищение, ее одобряло руководство Союза советских писателей; академик Сперанский и психиатр Тимофеев согласились с «научными» выводами Зощенко. Некоторые работники аппарата ЦК ВКП(б) разрешили ее печатать, а во время «проработки» большинство этих лиц «продали» его и выступили против книги.

В этой связи Зощенко давал следующую оценку состояния советской литературы: «Я считаю, что советская литература сейчас представляет жалкое зрелище. В литературе господствует шаблон. Поэтому плохо и скучно пишут даже способные писатели. Нет зачастую у руководителей глубокого понимания задач искусства». «Творчество должно быть свободным, у нас же — все по указке, по заданию, под давлением».

По вопросу о своих планах на будущее Зощенко заявляет: «Мне нужно переждать. Вскоре после войны литературная обстановка изменится и все препятствия, поставленные мне, падут. Тогда я буду снова печататься. Пока же я ни в чем не изменюсь, буду стоять на своих позициях. Тем более потому, что читатель меня знает и любит».

В 1944 году Зощенко возвратился в Ленинград на постоянное местожительство. Здесь им был написан цикл рассказов «О войне», по содержанию политически ошибочных. Внешне подчеркивая стремление перестроить свое творчество на актуальные темы, Зощенко продолжает писать и выступать перед слушателями с произведениями, отражающими его пацифистское мировоззрение (рассказы «Стратегическая задача», «ИЦи» и др.).

Творчество Зощенко в последний период времени ограничивается созданием малохудожественных комедий, тенденциозных по своему содержанию: «Парусиновый портфель», «Очень приятно».

В настоящее время Зощенко продолжает критиковать строгость цензурного режима, отсутствие условий для подлинного творчества. Зощенко имеет довольно обширный круг связей среди писателей Москвы и Ленинграда.

По Ленинграду близок с писателями Слонимским, Кавериным, Н.Никитиным (бывшими членами литературной группировки «Серапионовы братья»).

Начальник отдела
2-го Глав. Управ. МГБ СССР Шубняков

Всеволод Вишневский

Из беседы с американскими журналистами

Август 1946 г.

Толкуют о Зощенко... Кто он такой... Офицер царской армии, человек, который перепробовал ряд профессий, без удач и толка, и начавший в 1922 году писать сатирические рассказы... Они в ту пору били мещан, обывателей... Но потом в стране произошли грандиозные изменения. Страна в 9 раз удвоила (так! — Б.С. и Е.Ч.) свой индустриальный потенциал... А Зощенко, замкнутый, уг-

рюмый, стареющий, все продолжал писать свои сатиры, год за годом повторяя приемы 1922 года. Это надоедало. Он продолжал. Это раздражало, критики указывали на его сумбур, путаницу, на незнание им реальной жизни... Зощенко продолжал свое... Когда началась война, он бросил Ленинград, уехал за пять тысяч километров и стал писать свою «исповедь»... Это одна из самых мрачных и грязных книг, которые я когда-либо читал. Это нудное и циничное самораздевание, раздевание своих близких... Не буду продолжать... Осажденный Ленинград, прочтя первую часть этой «исповеди», — возмутился. Дело было в 1943 году — Ленинград выступил с протестом против клеветника, пасквилянта... Рабочие радиозавода, работавшие 730 суток под огнем немцев, написали решительное письмо-протест. Я сам всю войну был в осажденном Ленинграде и это дело знаю хорошо. С некоторыми рабочими с радиозавода я знаком, они приходили ко мне. Казалось бы, протест боевых, настоящих людей должен был повлиять на Зощенко... Но он опять угрюмо, индивидуалистически отвернулся. Он не понял или не захотел понять возмущенных читателей. Он клеветал в своей повести на Ленинград, — и Ленинград сам ему ответил... Зощенко продолжал свои писания... Он дошел в своем падении до того, что не дал ни одной строки о великой войне! Он игнорировал величайшие муки и жертвы своего народа. И мне вспомнились некоторые детали его биографии. В 1922 году он и его друзья сами называли себя «авантюристами». Они говорили о бессмысленности жизни, о безразличии к политической борьбе и о том, что литература ценима ими лишь как игра... Но играть, клеветая на Россию, на свой родной Ленинград, непоколебимо стоявший с сентября 1941 года по январь 1944 года в немецком окружении, — это свыше всяких мер и сил... И с этим старым клеветником, несоветским человеком мы расстались. Устав Союза советских писателей, который мы разрабатывали с Горьким в 1934 году, — говорит, — что членами Союза советских писателей являются писатели, стоящие на советской платформе и участвующие в социалистическом строительстве... Зощенко больше чем нарушил устав, принятый единогласно. Думаю, что мне нечего добавить к сказанному. Избавление литературы от регрессивных элементов — глубокий анализ вековых револю-

ционно-демократических традиций литературы России, изучение реакционных корней декадентов, символистов, разъяснение молодому поколению вреда, который приносят Зощенки, Ахматовы и прочие, — вот те ценные приобретения, которые мы делаем сейчас...

Мы не хотим, чтобы рядом с испытанным революционным направлением в литературе, рядом с направлением, за которое отдал жизнь великий Горький, рядом с направлением, украшенным именем Маяковского, рядом с направлением боевым, народным, существовали какие бы то ни было «направления» пасквилянтов, клеветников на Революцию и народ, или «направления» старых 60-летних поэтесс, обращающих свои взоры к царским паркам, лебедям и разной архаической чепухе и мистике. Мы не хотим, чтобы подобные направления возникали за нашей спиной, чтобы их создавали люди, трусливо сбежавшие из смелых городов, которые не моргнув глазом приняли чудовищные удары Германии и не только приняли, но и отбили... Помните, что ленинградцы шли в первых рядах штурмующих Берлин войск. Эта честь выпала и мне...

Я заканчиваю. Благодарю вас за внимание, с которым вы прочли мое сообщение. Жму крепко руки американских читателей.

Сильва Гитович

Из воспоминаний

...в бакалее стояла за чем-то большая очередь. Очередь гудела, толкалась, переругивалась. Всем было некогда, и все дружно ругали директора магазина, создающего очереди. Он и пьет, и ворует, и вообще его давно пора посадить в тюрьму.

— Но кого мне будет жаль, если его посадят, так это его жену, — сказала сердобольная старушка. — Жена-то в чем виновата?

— Да, — сказали в очереди. — Жены за все в ответе. Вот и сейчас, ведь все знают, что Зощенко подлец и мерзавец, а жену его Ахматову за что так ругают? Всё за него же!

— Да, бедная она, бедная, — дружно жалела очередь.

Константин Симонов

Из статьи «Об Иване Алексеевиче Бунине»

Перед моими последующими встречами с Буниным наш посол говорил мне, что было бы хорошо как-то душевно подтолкнуть Бунина к мыслям о возможности возвращения...

Я с охотой взял на себя это неофициальное поручение попробовать повлиять на Бунина...

Я уехал из Парижа, когда вопрос о том, захочет ли Бунин получить советский паспорт и поедет ли домой, находился в нерешенном положении...

Я вернулся в Москву и предпринял в Гослитиздате некоторые шаги — там действительно готовились издать его большой однотомник. Я навел справки, выяснил некоторые недоразумения, но как раз в это время появился доклад А.А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград», о Зощенко и Ахматовой...

Когда я это прочел, я понял, что с Буниным дело конечно, что теперь он не поедет...

...Я понял, что на всех наших мыслях о возвращении Бунина надо ставить крест. Так оно и случилось.

Сильва Гитович

Из воспоминаний

...Он нам рассказывал, как в Ленинград приехал Валентин Катаев, позвонил ему и бодро закричал в телефонную трубку: «Миша, друг, я приехал, и у меня есть свободные семь тысяч, которые мы с тобой должны пропить. Как хочешь, сейчас я заеду за тобой».

Это было сказано в то время, когда неизвестно было, чем заплатить за квартиру и где раздобыть денег, чтобы на рынке купить хлеб.

Действительно, очень скоро катаевская машина появилась перед домом. В открытой машине, кроме него самого, сидели две веселые раскрашенные красотки в цветастых платьях, с яркими воздушными шариками в руках, трепыхающимися на ветру

— Миша, друг, — возбужденно говорил Катаев, — не думай, я не боюсь. Ты меня не компрометируешь.

— Дурак, — сказал Михаил Михайлович, — это ты меня компрометируешь.

Из записки Ленинградского обкома КПСС в отдел науки и культуры ЦК КПСС о встрече ленинградских писателей с делегацией английских студентов

27 июня 1954 г.

ЦК КПСС

«5 мая в Доме писателей имени Маяковского г. Ленинграда была организована встреча ленинградских писателей с делегацией английских студентов. Делегация выразила пожелание, чтобы на встрече присутствовали писатели Зощенко и Ахматова...

Был задан вопрос Ахматовой и Зощенко в таком плане: вот в докладе Жданова вас критиковали — как вы считаете, не вступая в сделку со своей совестью, эта критика была правильной или нет?

Зощенко ответил, что с критикой был не согласен, о чем он и написал в свое время письмо И.В. Сталину. Затем он путано доказывал, почему не согласен с критикой, что якобы в 20-х годах не было советского общества, было мещанство, против которого он и боролся.

«Сейчас снова остро поставлен вопрос о сатире. Но этим оружием надо пользоваться осторожно. Теперь я буду снова писать, как велит мне совесть».

Ответ Зощенко был встречен аплодисментами со стороны английской делегации.

Второй выступила Ахматова. Она лаконично заявила, что постановление ЦК правильное и критика тоже. «Так я поняла раньше. Понимаю и теперь». В ответ аплодисментов не было.

На вопрос одного из писателей, почему ответ А. Ахматовой не был удостоен аплодисментов, как ответ Зощенко, члены делегации английских студентов ответили, что выступление Ахматовой для них неприемлемо и не импонирует их взглядам, а Зощенко они аплодировали за исключительную «искренность».

Далее они заявили, что, может быть, Ахматова и Зощенко обидятся на них, но их произведения чтут на Западе.

На вопрос, какие произведения Зощенко издаются на Западе, — английские студенты ответили, что читали сборник рассказов «Когда поет соловей» на русском языке.

На партийном собрании Ленинградского отделения Союза советских писателей, состоявшемся 25 мая, писатели строго осудили выступление Зощенко как антипатриотическое, который никаких выводов не сделал из постановления ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и «Ленинград»...

Секретарь
Ленинградского обкома КПСС...

Сильва Гитович

Из воспоминаний

Щурясь от солнца, Михаил Михайлович читал газету, вывешенную на стене. Он повернулся к Сане¹ и сказал, что его приглашают в Союз писателей на встречу с английскими студентами.

— Видите, дорогой, меня опять начинают водить по паркету.

А когда на другой день я его встретила медленно идущего по Перовской, и он, повернувшись ко мне, глухо сказал: «Вот, Сильва, я опять проштрафился», — у меня больно сжалось сердце. Я уже знала, что на встрече в Союзе англичане задали вопрос Зощенко и Ахматовой, согласны ли они с критикой в их адрес. Анна Андреевна, повернув свой гордый профиль, ответила, что она не обсуждает постановление своего правительства. Михаил Михайлович же взволнованно стал объяснять, что он не может согласиться с тем, что он подонок, предатель и трус.

И когда я вспоминаю сейчас, как он шел, как старик, с трудом передвигая ноги, мне делается страшно.

¹ Гитович Александр Ильич — поэт, переводчик.

Б. Сарнов. Перестаньте удивляться.

Товарищ Зощенко бьет на жалость!

Есть фразы, которые человечество бережно хранит в своей памяти. Такие, например, как легендарная реплика Архимеда, брошенная им за мгновение до смерти замахнувшемуся на него мечом римскому легионеру: «Не тронь моих чертежей!» Или знаменитая фраза Галилея: «А все-таки она вертится!»

Причина долгой жизни этих — и других подобных — фраз, наверное, в том, что каждая из них хранит в себе энергию какого-то высокого движения души. Представляет как бы некую вершину человеческого благородства, бесстрашия, преданности своему делу, верности своим убеждениям.

Но бывает и так, что одна какая-нибудь реплика выражает совсем другую вершину: вершину человеческой подлости. И такие фразы, я думаю, тоже заслуживают, чтобы их занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

К числу таких рекордов подлости безусловно относится реплика Лагина, о которой я рассказывал в предыдущей новелле. А в этой хочу сохранить в благодарной памяти потомства еще одну, не менее замечательную.

В мае 1954 года Ленинград посетила английская студенческая делегация. Студенты выразили желание, чтобы в программу их знакомства с достопримечательностями города была включена встреча с Зощенко и Ахматовой. И вот двух немолодых писателей (Ахматовой тогда было 66, а Зощенко 59 лет) сажают в машину и спешно везут на встречу с юными иностранцами, перед которыми они должны засвидетельствовать свою лояльность.

Когда Ахматова попыталась уклониться от этой чести, чиновная дама, говорившая с нею от имени правления Ленинградской писательской организации, сказала ей:

— Вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили.

Необходимость присутствия Зощенко на встрече с английскими молокососами была высказана с такой же категоричностью.

О том, что происходило на этой встрече, Ахматова тогда же рассказала Лидии Корнеевне Чуковской, а та, с присущей ей дотошностью, записала этот ее рассказ дословно. Вот он:

— За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских совсем мало... Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? Который? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит?.. Спросил кто-то в черных очках... Он спросил, как относится к постановлению м-те Ахматова? Мне предложили ответить. Я встала и произнесла: «Оба документа — и речь т. Жданова, и постановление Центрального Комитета партии — я считаю совершенно правильными». Молчание. По рядам прошел глухой гул — знаете, точно озеро ропщет. Точно их погладили против шерсти. Долгое молчание... Потом кто-то из русских сказал переводчице: «Спросите их, почему они хлопали Зощенко и не хлопали м-те Ахматовой?» — «Ее ответ нам не понравился — или как-то иначе: нам неприятен».

Ответ Зощенко англичанам понравился больше, потому что Зощенко сказал, что с постановлением ЦК и докладом Жданова не во всем согласен. При этом он как будто бы выразился так:

— Я русский дворянин и офицер. Как я могу согласиться с тем, что я подонок?

Этот ответ имел для Зощенко катастрофические последствия. За ним последовал «второй тур», вторая мощная волна травли. Было общее собрание писателей Ленинграда, на которое специально прибыли эмиссары во главе с К. Симоновым. И Зощенко снова уничтожали, снова втапывали в грязь, как в сталинские времена, хотя Сталин уже год как откинул копыта, и уже забрезжила хрущевская оттепель.

Ахматова считала, что на встрече с англичанами Зощенко поступил опрометчиво.

— Михаил Михайлович, — говорила она в том же разговоре с Лидией Корнеевной, — человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить... Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Толь-

ко так. Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым, — он по моему ответу догадался бы, что и ему следовало бы ответить так же. Никаких нюансов и психологии. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым...

Дело, однако, было совсем не в том, что Зощенко не догадался ответить «как следовало». Если бы он отвечал вторым, ответ его, я думаю, был бы точно таким же.

У Ахматовой в то время был в лагере заложник-сын. Отвечая, она не могла не думать о нем, о его судьбе, на которой ее ответ немедленно бы отразился. Она ответила на вопрос англичан «формально» (что, собственно, и требовалось) еще и потому, что относилась к происходящему как к балагану, вернее даже, как к заведомой провокации. Помогло ей и раздраженно-неприятное отношение к английским студентам, не понимающим, да и не способным понять, в каком капкане она и Зощенко оказались.

В «Капитанской дочке», когда Пугачев «милует» Гринева, которого только что чуть не вздернули на виселицу, его подтаскивают к самозванцу, ставят перед ним на колени и шепчут: «Целуй руку, целуй руку!» Верный Савельич, стоя у него за спиной, толкал его и шептал: «Батюшка Петр Андреевич! Не упрямясь! что тебе стоит? Плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Но хотя «чувствования» героя повести, как он говорит, были в ту минуту «слишком смутны», он признается, что «предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению».

Ахматова поступила так, как советовал Гринева Савельич.

Зощенко так поступить не смог.

Он не смог так поступить, наверно, еще и потому, что в его глазах Сталин и Жданов самозванцами не были. Поэтому он не терял надежды найти с ними общий язык, что-то им втолковать, объяснить. И даже на том большом собрании, на котором ему уже окончательно переломали спинной хребет, он, кажется, тоже еще сохранял толику этой надежды. Он даже попытался объяснить, почему на «провокационный» вопрос английских студентов ответил так, а не иначе: — Я не увидел яда в этом вопросе. Если отвлекаться от анкетных и политических формул — что обозначал этот вопрос? «Как вы отнеслись к тому, что вас называли прохвостом?»... Я дважды воевал на фронте, я имел

пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?.. Что вы хотите от меня? Что я должен признаться в том, что я — пройдоха, мошенник и трус?

Последние слова, которые он произнес, были такие:

— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего... Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею.

Произнеся эти слова, он сошел с трибуны и медленно спустился в зал.

Раздалось несколько хлопков. (Аплодировали один-два человека.) Остальные подавленно молчали.

В президиуме забеспокоились, зашептались. Впечатление, которое произвела речь Зощенко на сидящих в зале, надо было как-то сбить. И тут встал Константин Симонов...

Вообще-то он был не Константин, а Кирилл. Но звуки «р» и «л» он не выговаривал. При знакомстве, когда ему приходилось называть свое имя, у него получалось — «Кивив». Вот он и стал Константином.

Звуки «р» и «л», однако, в русской речи встречаются не только в слове «Кирилл». Поэтому фраза, которую я предлагаю занести в книгу рекордов человеческой подлости, прозвучала так:

— Това' ищ Зощенко бьет на жа' ость...

Выписка из стенограммы заседания президиума ССП от 23/VI 1953 г. о приеме в Союз

т. СОФРОНОВ.

Прежде чем перейти к персональным делам, у нас имеется поступившее в Президиум и Секретариат ССП заявление М.М. Зощенко следующего содержания (зачитывается заявление) — о восстановлении его в Союзе писателей. Это заявление было получено Секретариатом, Секретариат слушал его и поручил товарищам Симонову,

Грибачеву и Соболеву ознакомиться с новыми произведениями Зощенко и свои предложения представить Президиуму.

К этому прибавить можно немного. Можно только подтвердить, что за это время Зощенко сделал многое. Здесь есть более подробный перечень его произведений. Можно назвать и «крокодильские» его фельетоны, и рассказы, печатавшиеся за эти годы в различных изданиях.

Многие ленинградские писатели через Правление Ленинградского ССП всячески поддерживают заявление Зощенко. Я разговаривал по этому поводу с товарищем Чивилихиным — заместителем председателя Правления Ленинградского отделения, и он тоже высказался положительно.

т. ШАГИНЯН.

Я видела Зощенко каждый год после постановления ЦК, и я должна сказать, что это по-настоящему человек. Он хорошо реагировал на постановление, понял свои ошибки. Он работающий и по-настоящему талантливый советский писатель. И нам стыдно, если мы сейчас не протянем ему руку помощи. Он находится в очень тяжелом моральном и материальном положении. Вопрос о восстановлении Зощенко может быть решен нами единогласно.

т. СИМОНОВ.

Я был бы против того, чтобы восстанавливать Зощенко. Мы в свое время исключили его из Союза правильно, исключили за серьезные ошибки.

Я согласен с Марнеттой Сергеевной, что он правильно отнесся к критике, что он много и честно работал, что он создал после этого ряд вещей, которые позволяют его принять в Союз — не восстановить, а принять в Союз.

Я бы Зощенко принял в Союз на основании произведений, написанных им за эти годы, с 1946 по 1953, среди них и партизанские рассказы (это первое, что он опубликовал). Это не очень сильно художественно, но это очень честная попытка стать на правильные позиции. Там есть и хорошие вещи — в этих рассказах. Его переводческая деятельность во многом просто блестяща. Это тот случай, когда я принял бы в члены Союза как переводчика за один перевод. Это блестящее художественное произведение.

Я предложил бы принять Зощенко в члены Союза как прозаика и переводчика.

Какие еще есть предложения?

т. ТВАРДОВСКИЙ.

Если употребить выражение «восстановить», это значит отменить решение об исключении из Союза. Восстанавливают тогда, когда признают неправильным исключение, тогда восстанавливают.

Возьмем даже более серьезное дело: исключение из партии. Восстанавливают только в случае признания высшим органом неправильности исключения.

т. ШАГИНЯН.

Это, мне кажется, неверно.

т. СИМОНОВ.

Или когда человек был исключен на срок.

т. ШАГИНЯН.

ЦК не вычеркивал всего литературного пути Зощенко, он дал постановление об определенных его вещах, он не опорочил все то, что Зощенко сделал до этих вещей. Дело идет не о простой формальности. Восстановить — это значит признать его стаж, это значит дать ему право на пенсию. Человек находится в страшно тяжелом психическом состоянии. Принять его в Союз как новичка — это значит делать его начинающим писателем. Кажется, это простая форма, а в ней есть глубокий смысл.

Давайте обратимся с нашим решением в ЦК, может быть, он санкционирует наше решение. Но ставить вопрос, что будто бы восстановление отменяет исключение, это неверно.

Был прецедент: Ахматову мы восстановили. Слабый, чуждый нам поэт.

т. СИМОНОВ.

Мы ее приняли или восстановили?

т. ШАГИНЯН.

А Зощенко, который сформировался при Советской власти, который ближе нам по существу, по внутренней

позиции, которую он не менял все время, — его мы будем принимать, а не восстанавливать. Почему вы так отнеслись к Ахматовой?

т. СИМОНОВ.

Для объяснения своих позиций я хочу сказать, что я не присутствовал при восстановлении Ахматовой, а если бы присутствовал, несомненно, голосовал бы не за восстановление, а за прием. Считаю, что и Ахматову надо было бы принимать в Союз заново, а не восстанавливать. А если есть формулировка о восстановлении, то это — неверная формулировка.

т. ТВАРДОВСКИЙ.

Я не понимаю, почему так хлопочет Мариетта Сергеевна Шагинян, — на пенсию писателя это не влияет.

т. ГРИБАЧЕВ.

Пенсия — вещь персональная, а дается отнюдь не за выслугу лет.

т. ШАГИНЯН.

Все же партия не вычеркивает всей прежней его работы.

т. СОБОЛЕВ.

Мы его исключили из Союза. Прошел какой-то срок, он поработал, показал себя как человек небесполезный, и мы считаем возможным, чтобы он был в нашей организации, не восстанавливая его, а вновь принимая на общих основаниях, как старого литератора.

т. СИМОНОВ.

Есть два предложения: предложение Мариетты Сергеевны Шагинян восстановить Зощенко в ССП, и мое предложение — принять его в члены ССП. Я хотел бы, чтобы члены комиссии, назначенной Секретариатом, высказались по этому вопросу.

т. ГРИБАЧЕВ.

Была приведена серьезная мотивировка. Ведь если мы восстановим его, мы делаем вид, что Зощенко ничего не совершил, что все было ошибкой и Зощенко возвращается в Союз. Этого, по-моему, делать нельзя. А на пенсию это не влияет — это уже совсем другой вопрос.

т. СОБОЛЕВ.

Я также не понимаю, почему вы упираетесь в эту формулировку? Вы говорите, что для него это тяжело. Но если после известного случая и постановления ЦК мы приняли решение о том, чтобы расстаться с писателем, исключить его из наших рядов, то если мы сейчас будем говорить о восстановлении, то по логике русского языка это означает, что мы признаем свою ошибку по поводу исключения из Союза Зощенко и считаем это исключение ошибочным.

т. ШАГИНЯН.

А как же было с Ахматовой?

т. СОБОЛЕВ.

Была допущена ошибка, если она была «восстановлена», а не «принята». Если бы я присутствовал на этом заседании, я сказал бы так же.

Если вы говорите, что на него это подействует, — то тогда он просто не понял, что тогда произошло.

т. СИМОНОВ.

Для него было бы гораздо тяжелее, если бы мы не приняли его в Союз. Я прошу голосовать. Первое предложение Мариетты Сергеевны Шагинян о том, чтобы восстановить Зощенко в ССП. Кто за это предложение? (Один.) Кто за мое предложение — принять в члены Союза? (Единогласно.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять М. М. Зощенко в члены ССП.

В.В. Зощенко — Л.Н. Тыняновой

4/VII-55 г.

...по-моему, все сейчас настолько скверно, как никогда еще не было...

«Октябрь» вернул М.М. рукопись с крайне вежливой телеграммой, извещающей, что, «к большому сожалению, рассказы для журнала не подошли...».

Это было для него таким страшным ударом, что я боюсь, ему от него не оправиться...

В последний свой приезд в Сестрорецк он прямо говорил, что, кажется, его наконец уморят, что он не рассчитывает пережить этот год...

Особенно потрясло М.М. сообщение ленинградского «начальства», что будто бы его вообще запретили печатать независимо от качества работы... По правде сказать, я отказываюсь в это поверить, но М. М. утверждает, что именно так ему было сказано в л[енинград]ском Союзе. Он считает, что его лишают профессии, лишают возможности работать, а этого ему не пережить...

Выглядит он просто страшно, худой, изможденный, сердце сдает до того, что по утрам страшно опухают ноги, ходит еле-еле, медленно, с трудом...

Из Москвы передали через Прокофьева, что там ждут от М.М. какого-то письма в Союз с копией в ЦК...

О том, что написать нужно, М.М. и сам давно думал и не написал до сих пор, во-первых, потому, что вначале мешало ужасное физическое и моральное состояние, в котором он находился до поездки в Сочинский санаторий, во-вторых, после поездки, когда здоровье немножко подправилось, он решил, что должен ответить своей работой, и все силы, все нервы, весь мозг вложил в свою книгу, кот[орую] писал для «Октября»...

И вдруг — такой ужасный, неожиданный удар!..

А книга задумана очень сильная, нужная, полезная, и те рассказы, кот[орые] он написал, получили высокое одобрение у ряда понимающих людей из среды писателей, московских и ленинградских, кому он их читал.

Вообще все было бы совершенной катастрофой, если бы не одно обстоятельство, за что должно принести глубокую благодарность дорогому В[еньямину] А[лександровичу] — благодаря его хлопотам, М.М. получил наконец предложение от автора (забыл фамилию) на большой осетинский перевод.

К сожалению, дело затянулось с оформлением договора, т. к. директор издательства ушел в отпуск и, очевидно, раньше 20 июля нельзя ожидать денег...

Бедный М.М. напрягает все силы, делает героические усилия, чтобы вернуться в ряды писателей, к[а]к полноправный член, но все напрасно, все не нужно, все терпит крах...

Это ужасно. И ужаснее всего вся дикая несправедливость, нелепость выдвинутых против него обвинений и невозможность реабилитировать себя!

Так, видно, и придется погибнуть с клеймом «воинствующего проповедника безыдейности»!

Какая возмутительная нелепость!.. Остальные дела тоже не веселят, но все меркнет перед страхом за жизнь М.М. и перед огромной жалостью к нему, так жестоко и несправедливо обиженному. Загублена человеческая жизнь, загублен большой, своеобразный, редкий талант, и это просто трагично!..

Корней Чуковский

Из дневника

17 июля 1955. Был у Каверина. Лидия Николаевна показала мне письмо от жены Зощенко. Письмо страшное... Прочтя это письмо, я бросился в Союз к Поликарпову. Поликарпов ушел в отпуск. Я к Василию Александровичу Смирнову, его заместителю. Он выразил большое сочувствие, обещал поговорить с Сурковым. Через два дня я позвонил ему: он говорил с Сурковым и сказал мне совсем неофициальным голосом: «Сурков часто обещает и не делает, я прослежу, чтобы он исполнил свое обещание». Вот мероприятия Союза, связанные с зощенковским делом: позвонили Храпченко и спросили его, почему он возвратил из редакции «Октябрь» десять рассказов Зощенко, написали Михаилу Михайловичу письмо с просьбой прислать рассказы, забракованные Храпченко, написали вообще ободряющее письмо Зощенко и т. д.

Я поговорил с Лидиным, членом Литфонда. Лидин попытается послать М. М-чу 5000 рублей. Я со своей стороны послал ему приглашение приехать в Переделкино погостить у меня и 500 рублей. Как он откликнется, не знаю...

Нет, Зощенко не приедет. Я получил от него письмо — гордое и трагическое: у него нет ни душевных, ни физических сил.

Л.К. Чуковская — К.И. Чуковскому

Июль 1955 г.

Дорогой дед, третьего дня вечером я была у М.М. Зощенко. Разыскать его мне было трудно, так как он по большей части в Сестрорецке.

Наконец мы встретились.

Кажется, он похож на Гоголя перед смертью. А при этом умен, тонок, великолепен.

Получил телеграмму от Каверина (с сообщением, что его «загрузят работой») и через два дня ждет Вениамина Александровича к себе.

Говорит, что приедет — если приедет — осенью. А не теперь. Болен: целый месяц ничего не ел, не мог есть. Теперь учится есть. Тебя очень, очень благодарит. Обещает прислать новое издание книги «За спичками».

Худ страшно, вроде Жени. «Мне на все уже наплевать, но я должен сам зарабатывать деньги, не могу привыкнуть к этому унижению»...

К.И. Чуковский — М.М. Зощенко

(По штампу 19 июля 1955 г.)

Дорогой Михаил Михайлович.

Я был в Союзе. Видел Василия Александровича Смирнова, который замещает уехавшего в отпуск Поликарпова. Вас. Алекс. искренне возмущен теми тяжелыми условиями, в которых протекает теперь Ваша работа. Он обещал принять все меры, чтобы облегчить эти условия. Очевидно, на днях Вы получите из Москвы (из Союза) соответствующие письма, запросы и т. д. Кроме того, Лидин, один из руководящих работников Литфонда, обещал мне послать Вам из Литфонда 5000 рублей.

Дача у меня уединенная. При желании Вы могли бы по неделям не встречаться ни с одним человеком (в том числе и со мной). Но если Вам не хочется двигаться с места, ничего не поделаешь. Но вот чего мне страстно хочется, — чтобы Вы не писали никаких писем в Союз писателей — и выше, — не показав их предварительно московским товарищам. Поэтому я хочу предварительно просить Вас: буде

Вам захочется сочинить подобную бумагу, пришлите ее предварительно мне, дабы я мог показать ее Тихонову Н.С., Федину К.А. и другим Вашим друзьям, понимающим дело. Из разговора с руководителями литературы я вывел заключение, что в Москве отношение к Вам в настоящее время иное, чем в Питере.

Весь Ваш К. Чуковский.

Лидия Чуковская

Из книги «Записки об Анне Ахматовой»

19 июля 1955 г. Вчера забыла записать: я рассказала Анне Андреевне о письме, полученном Лидией Николаевной Кавериной от жены Зощенко. Это письмо Лидия Николаевна принесла Корнею Ивановичу. Жена Зощенко пишет, что Михаил Михайлович тяжело болен, отекают ноги, отсутствие работы сводит его с ума. Из «Октября» ему вернули рассказы, в Союзе — в Ленинграде — разъярили, что печатать его не будут... Корней Иванович поехал в Союз к Поликарпову, но — тот в отпуске. Корней Иванович пошел с этим письмом к Смирнову, потом к Суркову. У Корнея Ивановича впечатление такое, что спасти Зощенко они не станут, хотя разговоры велись корректные.

(А ведь это лучший из современных прозаиков... Итак, все, как положено дьяволом или богом: художник умрет, книги его воскреснут, следующие поколения объявят его классиком, дети будут «проходить» его в учебниках... «Все, Александр Герцевич, заверчено давно».)

Анна Андреевна сказала:

— Михаил Михайлович человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить: «Сначала я не понял постановления, потом кое с чем согласился...» Кое с чем! Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так. Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым, — он по моему ответу догадался бы, что и ему следовало ответить так же. Никаких нюансов и психологии. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым.

7 августа 1955 г. Узнав, что в Ленинграде я побывала у Зощенко, Анна Андреевна потребовала полного отчета об этом посещении. Я торопилась, но не могла отказать ей. Она выпрашивала все подробности: какая комната? как он выглядит? как и что говорит?

Я постаралась ответить возможно точнее.

Комната большая, опрятная, пустоватая, с остатками хорошей красной мебели. Михаил Михайлович неузнаваемо худ, на нем все висит. Самое разительное — у него нет возраста, он — тень самого себя, а у теней возраста не бывает. Таким, вероятно, был перед смертью Гоголь. Старик? На старика не похож: ни седины, ни морщин, ни сутулости. Но померкший, беззвучный, замороженный, замедленный — предсмертный. В молодости он разговаривал со всеми очень тихим голосом, но тогда это воспринималось как крайняя степень деликатности, а теперь в его голосе словно не осталось звука. Звук из голоса выкачан. При этом на здоровье он не жалуется — напротив, уверяет, будто с помощью открытой им психотехники сам вылечил свое больное сердце...

Тут Анна Андреевна перебила меня:

— Бедный Мишенька! Он потерял рассудок. Он не выдержал второго тура.

Я продолжала: был он со мною доверчив, внимателен, ласков (хотя мы и не виделись лет двадцать), расспрашивал о Люше. О себе сказал: «Самое унижительное в моем положении — что не дают работы. Остальное мне уже все равно».

Прочитал телеграмму от Вениамина Александровича Каверина: «Правление Союза постановило добиваться обеспечения тебя работой».

Пожаловался, что ничего не ест, что даже с помощью психотехники не может заставить себя есть.

— Он боится, что его отравят. Мне говорили, — сказала Анна Андреевна. — Вот в этом все дело...

После долгого и глубокого молчания снова стала спрашивать о Зощенко.

— Скажите правду, — попросила она. — Он на меня в обиде?

Мне не хотелось, но я ответила:

— Некоторый оттенок обиды был в его расспросах о вас... Но всего лишь оттенок. И быстро притушенный...

Константин Федин

Из книги «Горький среди нас»

Художник всегда болен повышенной чувствительностью, он — как говорят теперь — легко раним. Он реагирует на слабейшие токи в окружающей его среде. Едва повышенное напряжение тока убирает его.

И я не могу забыть, как иду с Зощенко по Литейному в приятный летний день и как, дойдя до Сергиевской, где он тогда жил, Зощенко — очень оживленный, жестикулирующий — вдруг весело прерывает самого себя:

— Да, послушай, какой смешной случай. Я живу в жакете, знаешь? Неожиданно кому-то там приходит на ум, что мою квартиру надо уплотнить. Кто-то там приехал, тетка к управдому или черт знает к кому. Начинают наседать, звонят, ходят. Перемерили все комнаты, рассуждают, где станет сундук чьей-то родственницы, куда подвинуть мой буфет, — размещаются. Я сказал, что никого не впущу. Тогда управдом начал грозиться — в суд, — говорит, — на таких надо подавать, расселились, — говорит, — так, что другим места нет, другие под открытым небом живи. Что делать, понимаешь ли, — донимают, не дают работать. Я тогда решил пожаловаться Горькому. А жакет наш называется его именем — жакет имени Максима Горького. Я подумал — обращусь, так сказать, по принадлежности. Пока я ждал ответа, управдом не дремал и втиснул ко мне жильцов. Началась моя жизнь в коммунальной квартире. Вдруг, понимаешь, в жакет приходит письмо из Италии, от Горького! Он пишет, что ему очень приятно, что жакету присвоено его имя, что он, правда, не знает, что такое — ЖАКЕТ и как писать это слово — с большой буквы или с маленькой и — на всякий случай — пишет с большой. Когда, пишет, буду в Ленинграде, непременно зайду к вам, в красный уголок, попить чайку. И дальше, понимаешь ли, пишет — у вас в доме живет замечательный писатель, Михаил Михалыч Зощенко, так что я очень вас прошу, не притесняйте его, и все такое. Можешь представить себе, что тут началось! Управдом, с письмом Горького в руках, прибегает ко мне, трепеща, извиняется, расшаркивается. На жильцов он топчет ногами, они летят вон из квартиры. Они ему уже никакие не родственники. Весь дом в полном смятении, и даже заседание жакта назначается, и

полы моют. Может, на заседании обсуждалось — не присвоить ли жакету имя Михаила Зощенко вместо Максима Горького...

* * *

Когда среди людей я вижу Зощенко, — как он стоит, худощавый, грустный, по своей обычной манере, отыскивающий незаметное место в сторонке, как будто извиняющийся за молву, им возбужденную, как будто говорящий с улыбкой — да право же, весь этот шум произошел не по моей вине, — когда я вижу его таким, я думаю: мы не должны забывать, что художник реагирует на слабейшие токи; что едва повышенное напряжение тока его убивает; что Горький ушел; что управдом остался; и что Зощенко продолжает бороться за литературу.

Константин Федин

Из дневника

2 февраля 1933 г.

Вчера серапионы у Ильи. Полная примиренность на основе:

1. решительного и единодушного молчания по поводу внутрисерапионовских отношений и 2. единогласного признания исключительного дарования Зощенко. Он прочел несколько рассказов громадной силы (за последние два месяца написал три листа — 18 рассказов — после более чем годового молчания). Его стараются «снизить» — измельчить, печатают в юмористических журнальчиках, чтобы он, кой грех, не поднялся до высоты большой, общественно важной индивидуальности. А он — явление из ряда вон выходящее, очень значительное, не только не Лейкин, не Горбунов, не Аверченко, но нечто большее по масштабу, подымающееся до Гоголя... Его стараются предстать зубоскалом (и то, что он пишет, действительно неудержимо смешно), мещанским «рупором», а он — безжалостный сатирик и — может быть — единственный в наши дни писатель с гражданским мужеством и человеческим голосом, без фистулы подобострастия. Мне показалось, что он переживет всех нас, и, вероятно, я не ошибаюсь.

Л. Пантелеев — Л.К. Чуковской

Разлив

6.VIII.58 г.

...Вы просите меня написать о последних днях Михаила Михайловича. Ничего не знаю, давно не видел его, перед отъездом на дачу собирался заехать, навестить — и не собрался.

О его смерти я узнал из коротенького объявления в «Ленинградской правде». Я все еще болен был, лежал, но упросил Элико взять меня на похороны. М[ежду] прочим, мы боялись, что его уже похоронили. Как и следовало ожидать, телефон С [союза] П [исателей] не откликнулся. Элико позвонила Л.Н.Рахманову и выяснила, что панихида и вынос — в Союзе, в 12 ч. Чудом поймали на шоссе такси и вовремя прибыли на ул. Воинова.

Народу было много, но, конечно, гораздо меньше, чем ожидали некоторые. Власти прислали наряд милиционеров, однако у П.Капицы, ответственного за все это «мероприятие», хватило ума и такта удалить их.

Эксцессов не было. И читателей почти не было. На такие события отзывается обычно молодежь, а молодежь Зощенко не знала. Все-таки ведь 12 лет подряд школьникам на уроках литературы внушали, что Зощенко это — где-то рядом с Мережковским и Гиппиус. И в библиотеках его много лет не было.

И все-таки наше союзное начальство дрейфило.

Гражданскую панихиду провели на рысях.

Заикаясь и волнуясь, с отвратительной оглядкой, боясь сказать лишнее или недостаточно сказать в осуждение покойного, выступил Прокофьев. О Зощенко он говорил так, как мог бы сказать о И. Заводчикове или М. Марьенкове.

Выступил Б.Лихарев. Позже жена его призналась Элико, что все утро он так волновался, что поминутно пил валерьянку и глотал какие-то таблетки.

Вытаращив оловянные глаза, пробубнил что-то бессвязное Саянов. Запомнилась мне только последняя его фраза. Сделав полуоборот в сторону гроба, шаркнул тол-

стой ногой и сухо, с достойным, вымеренным кивком, как начальник канцелярии, изрек:

— До свиданья, тов. Зоценко.

И вдруг — слово предоставляется Леониду Ильичу Борисову.

Это малопрятный человек. Многие отзываются о нем дурно в высшей степени. Выступает он всегда с актерским наигрышем. И здесь, у гроба М.М. Зоценко, когда Борисов, получив слово, выдвинувшись из толпы, прикусил «до боли» губу, потом минуты две щелкал (буквально) зубами, как бы не в силах справиться с волнением, — мне вспомнилось, как смешно и похоже изображал Борисова Е.Л. Шварц. Точно так же, не в силах справиться с волнением, щелкал Борисов зубами, выступая на траурном митинге, посвященном Сталину. Тогда он, говорят, еще и воду пил.

Но на этот раз он сказал (из каких побуждений — не знаю) то, что кто-то должен был сказать.

Начал он свое слово так:

— У гроба не лгут. У всех народов, во всех странах и во все времена у верующих и у неверующих был и сохранился обычай — просить прощения у гроба почившего. Мы знаем, что М.М.Зоценко был человек великодушный. Поэтому, я думаю, он простит многим из нас наши прегрешения перед ним, вольные и невольные, а их, этих прегрешений, скопилось немало.

Сказал он и о том месте, какое занимает Зоценко в нашей литературе, о патриотизме его, о больших заслугах его перед родиной и народом.

Одно место в этой речи показалось (и не мне одному) странным. Он сказал, что Зоценко был патриотом, другой на его месте изменил бы родине, а он — не изменил.

Сразу же после Борисова слово опять взял Прокофьев.

— Товарищи! У гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии. Но я, так сказать, не могу, так сказать, не ответить Леониду Ильичу Борисову...

И не успел Прокофьев стушеваться — визгливый голос Борисова:

— Прошу слова для реплики.

Борисов оправдывается, растолковывает, что он хотел сказать.

Прокофьев подает реплику с места.

В толпе, окружившей гроб, женские голоса, возмущенные выкрики...

В тесном помещении писательского ресторана жарко, удушливо пахнет цветами, за дверью, на площадке лестницы четыре музыканта безмятежно играют шопеновский марш, а здесь, у праха последнего русского классика идет перепалка.

Вдова М.М., подняв над гробом голову, тоже встречает в эту, «так сказать», дискуссию:

— Разрешите и мне два слова.

И не дождавшись разрешения, выкрикивает эти два слова:

— Михаил Михайлович всегда говорил мне, что он пишет для народа.

Становится жутко. Еще кто-то что-то кричит. Суетятся, мечутся в толпе перепуганные организаторы этого мероприятия.

А Зоценко спокойно лежит в цветах. Лицо его — при жизни темное, смуглое, как у факира, — сейчас побледнело, посерело, но на губах играет (не стынет, а играет!) неповторимая зоценковская улыбка-усмешка.

Панихиду срочно прекратили. Перекрывая другие голоса и требования вдовы «зачитать телеграммы», Капица предлагает родственникам проститься с покойным.

Я тоже встал в эту недлинную очередь, чтобы последний раз посмотреть в лицо М.М. и приложиться к его холодному лбу.

И тут, когда все вокруг уже двигалось и шумело, когда швейцары и гардеробщики начали выносить венки, — над гробом выступил-таки читатель. Почти никто не слышал его. Я стоял рядом и кое-что расслышал.

Пожилой еврей, Вероятно, накануне вечером и ночью готовил он свою речь, думая, что произнесет ее громко, перед лицом огромного скопища людей. А говорить ему пришлось — почти наедине с тем, к кому обращены были его слова!

— Дорогой М.М. С юных лет вы были моим любимым писателем. Вы не только смешили, вы учили нас жить. Примите же мой низкий поклон и самую горячую, сердечную благодарность. Думаю, что говорю это не только от себя, но и от лица миллиона ваших читателей.

Тут же, в этой шумной суете, подошел ко мне незнакомый, очень высокий человек и сказал:

— 50 лет я знал Мишу. Вместе в 8-й гимназии учились.

Хоронили Михаила Михайловича — в Сестрорецке. Хлопотали о Литераторских Мостках — не разрешили. Ехали мы в автобусе погребальной конторы. Впереди меня сидел Леонтий Раковский. Всю дорогу он шутил с какими-то дамочками, громко смеялся. Заметив, вероятно, мой брезгливый взгляд, он резко повернулся ко мне и сказал:

— Вы, по-видимому, осуждаете меня, А.И. Напрасно. Ей-богу. М.М. был человек веселый, он очень любил женщин. И он бы меня не осудил.

И этой растленной личности поручили «открыть траурный митинг» — у могилы. Сказал он нечто в этом же духе — о том, какой веселый человек был Зоценко, как он любил женщин, цветы и т.д.

Следующим выступил с большой речью — Н.Ф. Григорьев. Он рассказал собравшимся о том, какой Зоценко был интересный, своеобразный писатель. Осмелев, Н.Ф. сообщил даже, что ему «посчастливилось работать с М.М.». Все решили, что Зоценко редактировал Григорьева. Оказывается, наоборот, — Григорьев, будучи редактором «Костра», редактировал рассказ Зоценко.

— Работать было легко и приятно. С молодыми иной раз бывает труднее работать.

Стиль был выдержан до конца.

По просьбе кого-то Григорьев соврал, сказав, что хоронят М.М. в Сестрорецке — по просьбе родственников.

На кладбище приехало много народу, пожалуй, больше, чем на панихиду. Из москвичей я узнал Д.Д. Шостаковича, Ю. Нагибина.

Не раз в этот день вспоминали мы с друзьями Конюшенную церковь, вагон для устриц и пр.

Но на кладбище хорошо: дюны, сосны, просторное небо. День был необычный для нынешнего питерского лета — солнечный, жаркий, почти знойный.

Вы пишете: «Какая это потеря для нашей литературы!» Зоценко был потерян для нашей литературы 12 лет назад. Он сам это понимал. Еще тогда, в 48 году, он сказал Жене Шварцу: «Хорошо, что это случилось сейчас, когда

мне уже исполнилось 50 лет, и я сделал почти все, что мог сделать».

И все-таки очень горько было — и читать эти холодные казенные слова в узенькой черной рамке, и стоять у свежего холмика на кладбище, и снова ехать в город, где уже нет и не будет Михаила Михайловича.

Л. Пантелеев — Л.К. Чуковской

Разлив, 7.VIII.59 г.

...22-го июля, в годовщину смерти М.М.Зощенко, мы ездили на кладбище: Александра Ивановна, Элико, я, Маша и 7-летний мальчик, гостящий у Александры Ивановны.

С горечью вспоминается мне эта прогулка.

Я почему-то считал, что на могиле в этот день будет много народу, и не знал, как поступить с ребятами, — не будут ли они шуметь, прилично ли это, не оставить ли их где-нибудь в отдалении. Напрасны были мои опасения.

Могилу мы отыскивали с трудом. Впрочем, это никакая даже не могила. Как в прошлом году засыпали яму и свалили на нее цветы и венки, так все и лежит нетронутым в течение года. Не только памятника, надгробной плиты или простой дощечки с именем покойного нет — даже холмика могильного нет. Пройдет год, и не найти будет могилы, сгниют венки и ленты, смоят их дожди, заметет песок...

Валерия Герасимова

Из дневника

...могила Зощенко. Пески, дюны. Двое — типа молодых рабочих или студентов, — так же, как и мы, искали могилу. Вспомнила Зощенко каким его знала, — красивым, немного жестоко-мужским. Палку с набалдашником, что мне не понравилось, воротник соболий, господинский... Едем в Сестрорецк к Вере, жене Зощенко. Дачка — требующая незамедлительного ремонта. Серая, цвета осино-го гнезда. Но на запущенной клумбе бледно-розовые розы: «Как бы Миша удивился — «что это ты тут развела!»... Дач-

ка из клетушек. Обои, поблекшие, с веночками, железная кровать на мансарде под грубым одеялом солдатского типа. «Он все в окно поглядывал. Последнее время отсюда не сходил». «Ел одно яйцо по утрам». «Умер, потому что не хотел жить».

Дон-Аминадо

Поезд на третьем пути

Из далекой Советчины доносились придушенные голоса «Серапионовых братьев»; дошел и читался нарасхват роман Федина «Города и годы»; привлек внимание молодой Леонов; внимательно и без нарочитой предвзятости читали и перечитывали «Тихий Дон» Шолохова.

Восторгался стихами Есенина упорствовавший Осоргин и, где только мог, повторял, закрывая глаза, есенинскую строчку «Отговорила роща золотая»...

Близким и понятным показался Валентин Катаев.

Каким-то чужим, отвратным, но волнующим ритмом, задевала за живое «Конармия» Бабеля.

И только когда много лет спустя появился на парижской эстраде так называемый хор Красной Армии, и, отбивая такт удаляющейся кавалерии с такой изумительной, ни на одно мгновение не обманывавшей напряженный слух, правдивой и музыкальной точностью, что казалось, топот лошадиных копыт замирал уже совсем близко, где-то здесь, рядом, за неподвижными колоннами концертного зала, а высокий тенор пронзительно и чисто выводил этот щемивший душу рефрен — «Полюшко, поле...» — тут даже сумасшедший Бабель стал ближе и на какой-то короткий миг все чуждое и нарочитое показалось, рассудку вопреки, родным и милым.

Впрочем, от непрошенной тоски быстро вылечил чувствительные сердца Илья Эренбург, от произведений которого исходила непревзойденная ложь и сладкая тошнота.

Да еще исполненный на заказ сумбурный роман Ал. Толстого «Черное золото», где придворный неопит бесстыдно карикатурил своих недавних меценатов, поивших его шампанским в отеле «Мажестик» и широко раскрывав-

ших буржуазную мошну на неумеренно роскошное издание толстовской рукописи «Любовь — книга золотая».

«Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости оттенок благородства!»

Зато на славу развлекли и повеселили «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, и первое по праву место занял всеми завладевший сердцами и умами неизвестный советский гражданин, которого звали Зощенко.

О чудотворном таланте его, который воистину, как нечаянная радость, осветил и озарил все, что творилось и копошилось в темном тридевятом царстве, в тридесятом государстве, на улицах и в переулках, в домах и застенках, на всей этой загнанной в тупичок всероссийской жилплощади, — о чудодейственном таланте его еще будут написаны книги и монографии.

В литературный абзац его не вместишь, и, стало быть, покуда будут эти книги написаны, одно только и остается: отвесить утешителку дней низкий земной поклон.

Примечания

Строго говоря, в изданиях такого типа, как это, комментарии необязательны. Не случайно в большинстве томов «Антологии», даже составленных из произведений классиков отечественной сатиры и юмора («Аверченко», «Тэффи», «Хармс», «Галич», «Высоцкий»), составители сочли за благо обойтись без них. Мог обойтись без примечаний и я, тем более что каждый раздел тома предваряется коротким предисловием «От составителя», объясняющим, чем составитель руководствовался, включая в книгу данный раздел.

Но, поразмыслив, я решил, что примечания все-таки нужны.

Помимо многих других соображений у меня было тут еще и такое.

Публикуя — от издания к изданию — старые свои вещи, Зощенко часто менял их названия. В связи с этим возникает большая путаница: читатель не всегда может сообразить, что под тем или иным незнакомым названием печатается рассказ, известный ему под другим заглавием. Чтобы этой путаницы избежать, я счел необходимым — в тех случаях, когда мы сохраняем название последней публикации, — в примечаниях всякий раз указывать, под какими другими названиями этот рассказ печатался раньше.

В некоторых (очень редких) случаях, помимо краткого сообщения о том, где и когда данное произведение было опубликовано впервые, я счел нужным включить в свой комментарий более подробную информацию об истории создания данного произведения или особой роли, какую оно сыграло в творческой судьбе писателя. (Как, например, в случае с рассказом «Приключения обезьяны».)

При подготовке примечаний помимо других источников мною были использованы примечания Ю. Томашевского к Собранию сочинений М. Зощенко в трех томах (Л., 1986—1987) и комментарии М.З. Долинского к книге: Мих. Зощенко. Уважае-

мые граждане. Пародии, рассказы, фельетоны, сатирические заметки, письма к писателю, одноактные комедии (М., 1991).

АВТОБИОГРАФИЯ. В кн.: Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1928, стр. 121—122.

ВЕСЕЛЫЕ РАССКАЗЫ

Полностью: М. Зощенко. Веселая жизнь. Л., 1924.

Отдельные рассказы цикла: «Красный журнал для всех», 1923, № 3—4. Март — апрель. В этом номере журнала цикл «Веселых рассказов», в которых повествование ведется от лица Семена Семеновича Курочкина, состоял из вступления, «Рассказа о том, как Семен Семенович Курочкин попутая на хлеб менял» (позже рассказ перепечатывался под названием «Попутай»), «Рассказа о том, как у Семена Семеныча Курочкина ложка пропала», «Рассказа о герое германской кампании». В том же году появились также «Рассказ о том, как Семен Семенович в Луту ездил» («Дрезина», № 3, позже печатался под названием «Дисциплина») и «Рассказ о том, как Семен Семенович в аристократку влюбился» («Красный ворон», № 42, впоследствии рассказ печатался под названием «Аристократка»).

В 1924 году цикл пополнился «Рассказом о том, как Семен Семенович Курочкин работал у барона Некса» («Красный журнал для всех», № 1, впоследствии рассказ печатался под названием «Барон Некс»), «Рассказом о том, как Семен Семенович перестал в бога верить» (там же, позже печатался под названием «Монастырь»), «Рассказом о том, как Семен Семенович Курочкин встретил Ленина» («Красный ворон», № 4, печатался также под названиями «Встреча» и «Исторический рассказ»), «Рассказом о собаке и собачьем нюхе» («Смехач», № 1. Позже печатался под названием «Собачий нюх»), «Рассказом о медике и медицине» («Красный ворон», № 7), «Рассказом о том, как Семен Семенович в квартире электричество провел» («Красный ворон», № 17, позже печатался под названием «Бедность», в сильно переработанном виде вошел в «Голубую книгу» под заглавием «Последний рассказ») и «Рассказом о колдуне» («Красный ворон», № 10, позже печатался под названием «Колдун»).

ПАРОДИИ

О «Серапионовых братьях». (На Виктора Шкловского.) Журнал «Литературные записки», 1922, № 2, 23 июня.

Кружевные травы. (На Всеволода Иванова.) Там же.

О Борисе Пильняке. (На Корнея Чуковского.) Журнал «Литературный еженедельник». (Приложение к «Красной газете».) Петроград. 1923. № 36, 9 сентября.

Слововое прищипление. (На себя.) Там же. № 39, 7 октября.

НАД КЕМ СМЕЕТЕСЬ?

Нищий. «Красная панорама», 1923, № 4, 26 мая.

Агитатор. «Красный ворон», 1923, № 32.

Веда. «Красный ворон», 1923, № 42.

Жертва революции. «Красный ворон», 1923, № 41.

Приятная встреча. «Красная нива», 1923, № 35, 2 сентября. Под этим же названием у Э. есть другой рассказ, который был опубликован в журнале «Чудак» (1929, № 39). В переработанном виде он вошел в «Голубую книгу» под заголовком «Мелкий случай из личной жизни».

Жених. «Красный ворон», 1923, № 47.

Счастье. «Красный ворон», 1924, № 5.

Любовь. «Красный ворон», 1924, № 1. Под тем же названием публиковался другой рассказ.

Фома неверный. «Смехач», 1924, № 7.

Пациентка. «Красный ворон», 1924, № 14. Публиковался также под названием «Пелагея»...

Исповедь. «Красный ворон», 1924, № 15.

Богатая жизнь. «Красный ворон», 1924, № 18.

Случай в провинции. «Ленинград», 1924, № 21.

«Лирический поэт Дмитрий Цензор» — реальное лицо: Дмитрий Михайлович Цензор (1877—1947) — популярный в 20-е годы поэт.

Полетели. «Смехач», 1924, № 22.

Каторга. «Бегемот», 1927, № 34.

Обезьяний язык. В кн: М. Зощенко. Обезьяний язык. М., 1925. (Библиотека «Огонек», № 3).

Ошибочка. «Смехач», 1925, № 9. Под названием: Ошибка.

Туман. «Бегемот», 1925, № 17.

Крестьянский самородок. «Бегемот», 1925, № 12. Под названием: Самородок.

Пасхальный случай. «Бузотер», 1925, № 12. Под названием: Рассказ о том, как Семен Семенович Курочкин куличи святил. Публиковался также под названием: Пустяковый обряд.

Пассажир. «Бегемот», 1925, № 21.

Неприятность. «Пушка», 1929, № 3. Подпись: Гаврилыч. Не путать с одноименным рассказом 1928 года.

Стакан. «Смехач», 1925, № 27.

Иностранцы. «Бегемот», 1928, № 21. Под названием: Все в порядке.

«Всеволод часто вспоминал какие-то заветные «лакомства» своего детства...

Иногда то были сосульки из замороженного молока, а то так самодельная «жвачка», которую Всеволод изготовил, когда мы жили на даче... При этом изготовлении присутствовали дети и соседская девочка Варя. Свои дети, из уважения и польщенные доверием, покорно жевали прилипавшую к зубам жвачку из смолы вишневого дерева, сваренную с примесью небольшого количества глины. Соседская девочка Варя, сказав: «Подумаешь, я и просто землю могу есть, только противно», — выплюнула жвачку, не стесняясь.

Всеволод сам не употреблял своего изделия, но хранил его в специальном горшочке.

Когда в очередной раз пришли к нам в гости приехавшие на какой-то пленум «серапионы»-ленинградцы, Всеволоду взбрело на ум угостить своей жвачкой друзей. Все «серапионы» (сколько помнится, это были: Федин, Груздев, Никитин, Слонимский) поступили точно так же, как девочка Варя: попросту выплюнули в топившийся камин предложенную им жвачку и весело принялись трунить над Всеволодом.

Но не Михал Михальч.

Зоценко старательно пытался жевать эту жвачку-смолку. Потом побледнел и, едва выговорив (жвачка ведь склеивала зубы): «Прошу простить. Приходится внезапно вас покинуть. Вспомнил о неотложном деле», — стал прощаться.

И как его ни уговаривали, Михал Михальч ушел.

Его деликатность не позволила ему выплюнуть Всеволодову жвачку-смолку в камин, как это спокойно и весело сделали все остальные». (Т. И в а н о в а. О Зоценко. В кн.: Вспоминая Михаила Зоценко. Л., 1990, стр. 179.)

Из этой истории, разумеется, ни в коем случае не следует, что в образе француза, подавившегося куриной косточкой, М. Зоценко вывел себя. Но случай, о котором вспоминает жена писателя Всеволода Иванова, наводит на мысль, что душевное состояние несчастного француза писателю было куда ближе и понятнее, чем глумливая оценка его «странного» поведения зоценковским героем-рассказчиком.

Землетрясение. «Ревизор», 1929, № 28.

Больные. «Бегемот», 1928, № 1.

Бочка. «Бегемот», 1926, № 20. Рассказ печатался и под другими названиями: «Хорошо, да не очень», «Домашнее средство».

- Нервные люди.** «Бегемот», 1925, № 35.
Колпак. «Пушка», 1927, № 37.
Операция. «Бегемот», 1927, № 37.
Зубное дело. «Бегемот», 1927, № 39.
Медицинский случай. «Чудак», 1929, № 3.
Веселенькая история. «Бегемот», 1927, № 40.
Гримаса нэпа. «Бегемот», 1927, № 38.
Мещанский уклон. «Смехач», 1926, № 46.
Прелести культуры. «Бегемот», 1928, № 46.
Лимонад. «Бегемот», 1926, № 47.
Часы. «Бегемот», 1926, № 15.
Рабочий костюм. «Бегемот», 1925, № 24. Под названием: Костюм.
Гости. «Бегемот», 1927, № 1
Монтер. «Бегемот», 1926, № 43. Под названием: Сложный механизм. Печатался также под названием: Театральный механизм.
Прискорбный случай. «Бегемот», 1926, № 26.
Пушкин. «Бегемот», 1927, № 7. Под названием: Гроб. Из повестей Белкина.
Качество продукции. «Бегемот», 1927, № 2.
Дырка. «Бегемот», 1927, № 31.
Бешенство. «Бегемот», 1926, № 25.
Закорючка. «Бегемот», 1927, № 48. Под названием: Легкая жизнь.

ТЕАТР

- Преступление и наказание.** Комедия в одном действии. Эстрада. Л. — М., «Искусство», 1940.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ

- Западня.** «Крокодил», 1933, № 8.
Врачевание и психика. «Огонек», 1933, № 2. Печатался также под названием: Врачевание психики. («Врачевание и психика» — название популярной в то время книги Стефана Цвейга. Зоценко часто давал своим рассказам заглавия знаменитых книг или кинофильмов: «Преступление и наказание», «Коварство и любовь», «Огни большого города» и т.п. В этом тоже проявилась склонность к пародии как к одному из существенных элементов его художественного мышления.)
Какие у меня были профессии. «Литературный Ленинград», 1933, 3 июля. Печатался также под названием: Удивительная профессия.

Грустные глаза. «Крокодил», 1933, № 13.

Водяная феерия. «Крокодил», 1935, № 28/29.

Плохая жена. «Вечерняя Москва», 1935, 30 декабря.

Огни большого города. «Известия», 1936, 7 ноября. Так в советском прокате назывался один из самых знаменитых фильмов Чаплина «Огни города» (1931).

История болезни. «Крокодил», 1936, № 28. Печатался также под названием: История моей болезни.

В трамвае. «Крокодил», 1936, № 29. Печатался также под названием: Облака.

Спи скорей. «Крокодил», 1936, № 32.

Опасные связи. «Крокодил», 1936, № 36. Так называется известный роман в письмах французского писателя Шодерло де Лакло (1741—1803).

Парусиновый портфель. «Крокодил», 1937, № 10.

В пушкинские дни.

Первая речь о Пушкине. «Крокодил», 1937, № 3. Подпись: Заслуженный деятель М. М. Коноплянников-Зуев.

Вторая речь о Пушкине. «Крокодил», 1937, № 5. С той же подписью.

Сердца трех. «Крокодил», 1937, № 24.

Шумел камыш. «Крокодил», 1937, № 35/36.

Клинический случай. «Крокодил», 1938, № 26.

Людоед. «Крокодил», 1938, № 12.

Роза-Мария. «Крокодил», 1938, № 14.

Последняя неприятность. «Крокодил», 1938, № 19.

Поминки. «Крокодил», 1938, № 35.

Научная аномалия. «Крокодил», 1940, № 16. Подпись: Заслуженный деятель М. М. Коноплянников-Зуев.

Рогулька. «Крокодил», 1943, № 16.

Фотокарточка. «Ленинград», 1945, № 3.

Приключения обезьяны. «Мурзилка», 1945, № 12. Вторая публикация («Звезда», 1945, № 5—6). Именно эта — вторая — публикация стала поводом для постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Вариант, появившийся в «Звезде», сильно отличался от текста, опубликованного в «Мурзилке». Разночтения связаны главным образом с тем, что в тексте, появившемся на страницах «Мурзилки», были сделаны многочисленные купюры, почти до неузнаваемости искажившие не только неповторимый голос зоценковского героя-расказчика, но и самый смысл рассказа.

Вот некоторые фразы, изъятые из текста рассказа, появившегося в «Мурзилке», но сохранившиеся в тексте, опубликованном в «Звезде»:

«Ну — обезьяна, не человек. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться в этом городе...»

«Ну — обезьяна. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться без продовольствия при отсутствии зарплаты...»

РАССКАЗЫ О ЛЕНИНЕ

Рассказы о Ленине. М. — Л., Детиздат, 1939.

В этом сборнике цикл опубликован не полностью. В нем, например, нет рассказа «Ленин и часовой». Этот рассказ впервые был опубликован в журнале «Звезда» (1940, № 7), а затем в более позднем издании «Рассказов о Ленине». (М., «Правда», 1941. Б-ка «Огонек», № 4.)

С этим рассказом связана одна из версий, объясняющих первопричину всех его несчастий:

«Михаил Михайлович поделился со мною своими предположениями о «причине причин» и о том, почему были сопоставлены такие, в сущности, далекие имена: он и Ахматова...

В одной из новелл Зоценко о Ленине рассказано, как часовой, молодой красногвардеец Лобанов, никогда не выдавший Владимира Ильича в лицо, отказался однажды пропустить его в Смольный, потому что Ленин, в задумчивости, не сразу нашел в кармане пропуск. Какой-то человек с усами и бородкой грубо крикнул Лобанову: «Извольте немедленно пропустить! Это же Ленин!»...

Редактор посоветовал Михаилу Михайловичу лишить человека, который грубо кричит на красногвардейца, — бородки, а то с усами и бородкой он похож на Калинина. М.М. согласился: вычеркнул бородку, остались усы и грубость. Сталин вообразил, что это о нем.

И участь Зоценко была решена».

(Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой.)

ГОЛУБАЯ КНИГА

Впервые: Л., «Советский писатель», 1935.

ДЕНЬГИ

Сколько человеку нужно. «Дрезина», 1923, № 1. Под названием: Карусель. Печатался также под названием: Бесплатно.

Рассказ про няню. «Ревизор», 1929, № 12/13. Под названием: Няня.

Мелкий случай из личной жизни. М. Зоценко. Избранное. Л., 1934. Под названием: Смешная история.

Таинственная история. «Бегемот», 1925, № 50. Под названием: Святочная история.

Рассказ про спекулянта. «Ревизор», 1929, № 3. Под названием: Сильнее смерти.

Рассказ о том, как жена не разрешила мужу умереть. «Лит. еженедельник», 1923, № 23. Под названием: Матренища.

Рассказ про одну корыстную молочницу. «Ревизор», 1930, № 15. Под названием: Не надо спекулировать. Печатался также под названием: Спекуляция.

Трагикомический рассказ про человека, который выиграл деньги. «Крокодил», 1933, № 34. Под названием: Морока. Печатался также под названием: Трагикомедия.

Последний рассказ под лозунгом «Счастливым путем». «Огонек», 1933, № 26. Под названием: Счастливым путем.

ЛЮБОВЬ

Рассказ о старом дураке. Написан специально для «Голубой книги». Позже выходил под названием: Неравный брак.

Женитьба — не напасть, как бы не пропасть. «Смехач», 1924, № 2. Под названием: Брак по расчету.

Рассказ о письме и о неграмотной женщине. «Смехач», 1924, № 18. Под названием: Ликвидация. Печатался также под названиями «Пелагея» и «Письмо».

Рассказ про даму с цветами. «Прожектор», 1929, № 38. Под названием: Дама с цветами.

Мелкий случай из личной жизни. «Крокодил», 1933, № 2. Под названием: Личная жизнь.

Свадебное происшествие. «Бегемот», 1927, № 14. Под названием: Свадьба. На этот же сюжет автором была написана одноактная пьеса «Свадьба»: «Красная новь», 1933, № 3.

Забавное приключение. Написан специально для «Голубой книги».

Последний рассказ под названием «Коварство и любовь». «Ревизор», 1929, № 36. Под названием: Расписка.

КОВАРСТВО

Интересная кража в кооперативе. «Крокодил», 1933, № 7. Под названием: Кража. На тот же сюжет автором была написана одноактная пьеса «Неудачный день»: «Красная новь», 1933, № 2.

Рассказ о том, как чемодан украли. «Бегемот», 1925, № 23. Под названием: Воры.

Поймка вора оригинальным способом. «Смехач», 1925, № 1. Под названием: Дрова.

Мелкий случай из личной жизни. «Крокодил», 1932, № 10. Под названием: Слабая тара.

Рассказ о подлеце. «Крокодил», 1934, № 3. Под названием: Подарок. Печаталось также под названием: Подлец.

Интересный случай в гостях. «Бегемот», 1927, № 27. Под названием: Неприятная история.

Забавное происшествие с кассиршей. «Ревизор», 1929, № 14/15. Под названием: Не дают развернуться.

Хитрость, допущенная в одном общежитии. «Ревизор», 1930, № 7. Под названием: Хитрость.

Рассказ о том, как девочке сапожки покупали. «Пушка», 1927, № 38. Под названием: Баретки.

История с переодеванием. «Вечерняя Москва», 1932, 11 ноября. Под названием: Юмористический рассказ. Печатался также под названием: С луны свалился.

НЕУДАЧИ

Происшествие на Волге. «Бегемот», 1927, № 33. Под названием: Пароход.

Рассказ о банях и их посетителях. «Крокодил», 1935, № 11. Под названием: Баня и люди.

Страдания молодого Вертера. «Крокодил», 1933, № 1.

Рассказ об имениннице. «Бегемот», 1926, № 13. Под названием: Именинница.

Мелкий случай из личной жизни. «Бегемот», 1927, № 15. Под названием: Галоша. Печатался также под названием: Калоша или: Галоши.

Интересное происшествие в канцелярии. «Бузотер», 1927, № 5. Под названием: Волокита. Есть у Зощенко и другой рассказ (фельетон) с таким же названием.

Романтическая история с одним начинающим поэтом. «Крокодил», 1935, № 15. Под названием: Романтическая история.

Рассказ о человеке, которого вычистили из партии. «Ревизор», 1929, № 38. Под названием: Бурлацкая натура.

Рассказ о беспокойном старике. «Крокодил», 1933, № 3. Под названием: Беспокойный старичок.

Рассказ о зажиточном человеке. Написан специально для «Голубой книги».

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Бедная Лиза. «Крокодил», 1935, № 23.

Рассказ о студенте и водолазе. «Чудак», 1929, № 4. Под названием: Серенада.

Происшествие. «Ревизор», 1929, № 23.

Мелкий случай из личной жизни. «Чудак», 1929, № 39. Под названием: Приятная встреча. Есть у Зощенко и другой рассказ с таким же названием.

Последний рассказ. «Красный ворон», 1924, № 7. Под названием: Электрификация. Подпись: Семен Курочкин. Печатался также под названием: Бедность. В цикле «Веселые рассказы» — под названием: Рассказ о том, как Семен Семенович в квартире электричество провел.

ЗОЩЕНКО О СЕБЕ

О себе. В кн.: Бегемотник (энциклопедия «Бегемота»). Л., 1928, стр. 66—67.

О себе, об идеологии и еще кое о чем. «Литературные записки», 1922, № 3.

О себе, о критиках и о своей работе. В кн.: Михаил Зощенко. Статьи и материалы. Л., 1928, стр. 5—11.

М.М. Зощенко — А.М. Горькому. В кн.: Литературное наследство. Том семидесятый. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963, стр. 160—163.

М.М. Зощенко — Л.В. Никулину. «Дружба народов», 1988, № 3; «...Писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации». М.М. Зощенко: письма, выступления, документы 1943—1958 годов. Публикация Ю. Томашевского. (В дальнейшем — «Дружба народов».)

Кирилл Косцинский. Незаписанный рассказ Зощенко. «Континент», № 21, 1979.

М.М. Зощенко — И.В. Сталину. «Дружба народов».

М.М. Зощенко — В.К. Кетлинской. «Юность», 1988, № 8. Бенедикт Сарнов, Елена Чуковская. Случай Зощенко. Повесть в письмах и документах с прологом и эпилогом, 1946—1958. (В дальнейшем — «Юность».)

М.М. Зощенко — А.А. Фадееву. «Дружба народов».

М.М. Зощенко — К.А. Федину. «Юность».

М.М. Зощенко — В.В. Ермилову. «Юность».

М.М. Зощенко — В.Е. Ардову. «Юность».

М.М. Зощенко — В.А. Лифшицу. «Юность».

М.М. Зощенко — К.И. Чуковскому. «Юность».

М.М. Зощенко — В секретариат ЛО ССП. «Дружба народов».

М.М. Зощенко — К.И. Чуковскому. «Юность».

ПИСЬМА, ДОКУМЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА СОВРЕМЕННОКОВ

Вера Зощенко. Из дневника. «Юность».

Вера Зощенко. Кусочки автобиографии. «Юность».

К.И. Чуковский. Из дневника. «Юность».

Сильва Гитович. Из воспоминаний. Воспоминания о Михаиле Зощенко. Санкт-Петербург, 1995, стр. 274—288.

Из докладной записки секретарям ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову и А.А. Жданову. «Юность».

Резолюция А. Жданова. «Юность».

Справка МГБ СССР на писателя Зощенко Михаила Михайловича. «Юность».

Всеволод Вишневский. Из беседы с американскими журналистами. «Юность».

Сильва Гитович. Из воспоминаний. Воспоминания о Михаиле Зощенко. Санкт-Петербург, 1995, стр. 274—288.

Константин Симонов. Из статьи «Об Иване Алексеевиче Бунине». «Литературная Россия», 22 июля 1966 г.

Сильва Гитович. Из воспоминаний. Воспоминания о Михаиле Зощенко. Санкт-Петербург, 1995, стр. 274—288.

Из записки Ленинградского обкома КПСС в отдел науки и культуры ЦК КПСС. «Юность».

Сильва Гитович. Из воспоминаний. Воспоминания о Михаиле Зощенко. Санкт-Петербург, 1995, стр. 274—288.

Товарищ Зощенко бьет на жалость. В кн.: Б. Сарнов. Перестаньте удивляться. М., 1998.

Выписка из стенограммы заседания президиума ССП от 23.6.1953 о приеме в Союз. «Юность».

В. В. Зощенко — Л.Н. Тьняновой. «Юность».

К.И. Чуковский. Дневник. «Юность».

Л.К. Чуковская — К.И. Чуковскому. «Юность».

К.И. Чуковский — М.М. Зощенко. «Юность».

Л.К. Чуковская. Из книги «Записки об Анне Ахматовой». В кн.: Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. 1952—1962. Том второй. М., 1997.

К.А. Федин. Из книги «Горький среди нас». В кн.: Конст. Федин. Горький среди нас. Картины литературной жизни. М., 1968.

К.А. Федин. Из дневника. «Юность».

Л. Пантелеев — Л.К. Чуковской. «Юность».

Валерия Герасимова. Из дневника. «Юность».

Дон-Аминадо. Поезд на третьем пути. В кн.: Дон-Аминадо. Наша маленькая жизнь. М., 1994, стр. 489.

Литературно-художественное издание

Михаил Зощенко

АНТОЛОГИЯ САТИРЫ И ЮМОРА РОССИИ XX ВЕКА

Том тридцать девятый

Ответственный редактор *М. Яновская*
Художественный редактор *А. Мусин*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Т. Комарова*
Корректор *И. Ларина*

ООО «Издательство «Эксмо»

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16,
многоканальный тел. 411-50-74.

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.

127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.

www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве
в сети магазинов «Новый книжный»:**

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-16.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:

«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «Н КП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: sale@eksmo.com.ua

Подписано в печать 25.02.2005.

Формат 84×108^{1/32}. Гарнитура «Букмэн».

Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 41,16 + вкл.

Тираж 10 000 экз. Заказ 1630.

Отпечатано с готовых диапозитивов издательства.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»

170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15

Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



два раза подряд, выпар

работ, которые в шляпках.

мы ориентократки.

и положено касиром

на свою кавалеру

узнать этого. Не спарте.

кой такой ориентократки

его кантер-адмирала.

я коринтятились. А

— По донесенной книжке —

19 лет, флоранко.

чтобы я не была?

Петр Петрович танцует
подгородом рукавом и сказ
— А я, братишка мой, не люблю
А в особенности не нравлюсь
Главная причина — я их не
вижу. А когда идею мою
карманом повстречу. И
Я сам тут не жалею не
на догери отставного моряка

А это так вышло.

Был я, конечно, в то вре
мя в каменном доме живущий.
Анна Викторовна Зинич
не была. Ане что? 10

два раза подряд, вытер
зал:

но доб. которые в шляпках.
из них орисократии.

но и дологично кескромь

это своему кавалеру,

по уму зная. Не спарке.

одной такой орисократии.

ного контер-адмирала.

реша комитетизации. А

~~.....~~. По донимовой книжке-

к, 19 лет, дворянство.

Бог что-то я не вижу?

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Михаил Зощенко

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Писатель с перепутанной душой —
это уже потеря квалификации.

Человек — животное довольно
странное. Нет, навряд ли оно
произошло от обезьяны. Старик
Дарвин, пожалуй что, в этом
вопросе слегка заврался. Очень
уж у человека поступки —
совершенно, как бы сказать,
чисто человеческие. Никакого,
знаете, сходства с животным
миром.

Мих. Зощенко

ISBN 5-699-09648-5



9 785699 096480 >

Антология Сатиры и Юмора России XX века

Антология Сатиры и Юмора России XX века